ДЖОН

ГОЛСУОРСИ

Братство
Патриций



ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Братство. Патриций
Джон Голсуорси

Аннотация
Джон Голсуорси. Братство; Патриций
Братство
Глава I. Тень
Глава II. Семейный разговор
Глава III. Хилери в раздумье
Глава IV. Маленькая натурщица
Глава V. Комедия начинается
Глава VI. Первое паломничество на Хаунд-стрит
Глава VII. Раскиданные мысли Сесилии
Глава VIII. Односторонний ум мистера Стоуна
Глава IX. Хилери идет по следу
Глава X. Приданое
Глава XI. Груша в цвету
Глава XII. Корабли в море
Глава XIII. Зов в ночи
Глава XIV. Поход в чужие края
Глава XV. Второе паломничество на Хаунд-стрит
Глава XVI. Под вязами
Глава XVII. Братья

Глава XVIII. Идеальная собака
Глава XIX. Бианка
Глава XX. Муж и жена
Глава XXI. День отдыха
Глава XXII. Хилери действует
Глава XXIII. Книга о всемирном братстве
Глава XXIV. Страна теней
Глава XXV. Мистер Стоун в ожидании
Глава XXVI. Третье паломничество на Хаунд-стрит
Глава XXVII. Личная жизнь Стивна
Глава XXVIII. Хилери слышит кукование ку-кушки
Глава XXIX. Возвращение маленькой натур-щицы
Глава XXX. Похороны младенца
Глава XXXI. Лебединая песня
Глава XXXII. За вуалью Бианки
Глава XXXIII. Хилери решает проблему
Глава XXXIV. Приключение Тайми
Глава XXXV. Думы юной девушки
Глава XXXVI. Стивн подписывает чеки
Глава XXXVII. Цветение алоэ
Глава XXXVIII. Хьюз снова дома
Глава XXXIX. Поединок
Глава XL. Конец комедии

Глава XLI. Дом, где царит гармония
Патриций
Часть первая
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII
Глава XVIII
Глава XIX
Глава XX
Глава XXI
Глава XXII
Часть вторая

Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII
Глава XVIII
Глава XIX
Глава XX
Глава XXI
Глава XXII
Глава XXIII
Глава XXIV
Глава XXV
Глава XXVI

Глава XXVII
Глава XXVIII
Глава XXIX
Глава XXX

Аннотация

Действие романа «Братство» разворачивается в Лондоне в начале XX века. Эксцентричный философ Сильванус Стоун работает над трудом «Книга о всемирном братстве», проповедующим идеи всеобщего равенства. Однако его собственные дети и внуки раз за разом разрушают наивные представления пожилого мечтателя о дружбе, чести и морали. Смогут ли новые поколения преодолеть классовые предрассудки или же стремление к роскоши, невежество и эгоизм восторжествуют?

Также в данное издание вошел роман «Патриций», повествующий о наследнике знатной и богатой семьи, который вынужден выбирать между любовью и многообещающей политической карьерой.

Джон Голсуорси
Братство; Патриций

Серия «Зарубежная классика»

Перевод с английского
Н. Дехтеревой («Братство»),
Р. Облонской («Патриций»)



© Перевод. Н. Дехтерева, наследники, 2026
© Перевод. Р. Облонская, наследники, 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026

Братство

Глава I
Тень

Стоял последний день апреля 190… года, над Хай-стрит в Кенсингтоне далеко в вышине бурлило море рваных облачков. Воздушные пары, окутавшие почти весь небосвод, мягко клубились, надвигаясь на клочок голубого неба, по форме напоминающий звезду, — он сверкал, как одинокий цветок горечавки в гуще травы. Казалось, у каждого облачка — пара невидимых крыльев, и, как насекомые, летающие по твердо намеченным путям, облака упорно продвигались вперед, окружая цветок-звезду, который сиял ровным, ясным огнем из своего неподвижного далека. Справа они шли курчавыми стадами, тесня друг друга так, что очертания их стирались; слева они были выше, мощнее и, оторвавшись от своих собратьев, как будто вели атаку на уцелевший островок несказанного сверкания. Бесконечно было многообразие бесчисленных летящих облачков, неизменна и неподвижна была одинокая голубая звезда.

Внизу на улице, над которой шла эта вечная

борьба мягкокрылых облаков с прозрачным эфиром, мужчины, женщины, дети и ближние их — лошади, собаки и кошки — с особым, весенним подъемом делали каждый свое обычное дело. Они двигались шумным потоком, и от их живой суеты поднимался ввысь неумолчный гул.

Пожалуй, теснее всего толпа была возле магазина Роза и Торна. Мимо нескончаемого ряда его дверей шли люди всех рангов, от высшего до низшего, а перед витриной с готовым платьем стояла довольно высокая, тонкая и стройная дама и думала: «Оно совсем голубое, цвета горечавки. Но может, мне все же не следует покупать его, когда вокруг такая нужда…»

Глаза ее, зеленовато-серые и часто принимающие скептическое выражение, чтобы не выдать тайных движений души, тщательно перебирали одно за другим качества платья, разложенного в витрине во всей своей соблазнительности.

«А что, если Стивну я в нем не понравлюсь?» Сомнение заставило даму зажать пальцами одетой в перчатку руки складку на груди блузки. И этот нервный жест выразил всю ее душу: желание иметь и страх перед обладанием, жажду жить и страх перед жизнью; вуаль, спускаясь с нешироких полей шляпы, прикрывала чуть

расплывчатые черты, слишком высокие скулы и слегка впалые щеки — как видно, время целовало их довольно крепко.

Стоявший на тротуаре старик с длинным лицом, глазами в красных ободках, как у попугая, и носом неестественного цвета заметил даму и вынул изо рта пустую трубку. Ему разрешалось продавать здесь «Вестминстерскую газету» при непременном условии, что он будет делать это только стоя.

Знать всех прохожих — это было частью его профессии, а также служило развлечением, так как помогало ему забывать о больных ногах. Высокая дама с изящным лицом вызывала в нем недоумение. Она иногда покупала у него газету, продавать которую, вопреки своим политическим убеждениям, он был обречен судьбой. Такая особа, дама из общества, должна была бы, конечно, покупать газеты, выпускаемые тори. Настоящую леди он уж сразу отличит. Дело в том, что прежде чем жизнь вышвырнула его на улицу, наградив болезнью, на лечение которой ушли все его сбережения, он служил старшим лакеем и к людям «благородным» испытывал чувство почтительности, столь же неискоренимое, как и недоверие к тому сорту людей, «которые покупа-

ют себе вещи вот в этих вот огромных магазинах» и «устраивают танцульки по подписке — там вон, в этом… мунсипалитете». Он наблюдал за дамой с особым интересом, хотя вовсе не старался привлечь ее внимание, остро сознавая в то же время, что успел продать всего лишь пять газет утреннего выпуска. Он удивился и расстроился, когда дама вдруг скрылась, войдя в одну из многочисленных дверей магазина.

Соображения, побудившие даму войти в магазин Роза и Торна, были следующие: «Мне тридцать восемь, у меня семнадцатилетняя дочь. Я не должна терять привлекательности в глазах моего мужа, этого допускать нельзя. Подошло время, когда необходимо особенно тщательно заниматься своей внешностью».

Перед длинным трюмо, в сверкающей глубине которого ежегодно купались сотни полуобнаженных тел и на гладкой поверхности которого ежедневно отражался десяток душ, совершенно обнаженных, глаза дамы приобрели холодный блеск стали. Но когда выяснилось, что платье цвета горечавки придется ушить в груди на два дюйма, в талии на дюйм и в бедрах на три, а подол на дюйм отпустить, они снова затуманились сомнением, как если бы обладательница их уже

готова была отказаться от принятого решения. Вновь надевая блузку, она спросила:

— Когда я смогу его получить?

— В конце недели, мадам.

— Не раньше?

— Как раз сейчас у нас много спешной работы, мадам.

— Пожалуйста, постарайтесь непременно переделать его не позднее четверга.

Продавщица, примерявшая платье, вздохнула:

— Хорошо, я постараюсь.

— Я рассчитываю на вас. Мой адрес: Олд-сквер, дом семьдесят шесть. Миссис Стивн Даллисон.

Спускаясь по лестнице, она подумала: «У бедняжки такой усталый вид. Просто позор, что их заставляют работать по стольку часов» — и вышла на улицу.

Позади нее послышался робкий голос:

— «Вест-министерскую», мадам?

«Это тот бедняга старик с таким безобразным носом, — вспомнила Сесилия Даллисон. — Право, мне совершенно незачем...» — И она стала рыться в сумочке, ища мелкую монету. Рядом с «беднягой стариком» стояла женщина в опрятном черном платье и небольшой, очень поношенной шляпке, когда-то, очевидно, украшавшей более изящную

голову; ее шею обвивала узкая, вся вытершаяся меховая горжетка. Несколько изможденное лицо женщины было не лишено тонкости, карие глаза смотрели ясно и кротко, гладкие черные волосы были стянуты в пучок. Рядом с ней стоял худенький мальчуган, на руках она держала младенца. Миссис Даллисон протянула два пенса за газету, глядя, однако, не на старика, а на женщину.

— А мы вас ждали, миссис Хьюз, — проговорила Сесилия. — Мы думали, вы придете подрубать портьеры.

Женщина прижала к себе младенца:

— Простите, мэм, я обещала, но… у меня такие неприятности…

Сесилия сдвинула брови:

— Вот как!

— Это все из-за мужа.

— Ах, боже мой! — пробормотала Сесилия. — Но почему вы все-таки не пришли к нам?

— Я не могла, мэм, право, не могла…

По щеке у нее скатилась слеза и задержалась в морщинке у рта.

— Да-да, разумеется, — торопливо проговорила миссис Даллисон. — Очень вам сочувствую.

— Вот этот старый джентльмен, мистер Крид, живет в том же доме, что и мы, он хочет погово-

рить с моим мужем.

Старик закивал головой, сидящей на длинной, тощей шее.

— Ему следовало бы вести себя приличнее, — сказал он.

Сесилия взглянула на него и пробормотала:

— Лично вам, надеюсь, он ничего не сделает.

Старик пошаркал ногами.

— Я ни с кем не хочу ссориться, ну а если он вздумает со мной безобразничать, я мигом напущу на него полицию… «Вест-министерскую», сэр? — И, прикрыв от миссис Даллисон рот ладонью, произнес громким шепотом: — Казнь убийцы из Шордитча!

Сесилию вдруг охватило неприятное ощущение, будто все вокруг прислушиваются к ее разговору с этими двумя малопрезентабельными людьми.

— Право, миссис Хьюз, не знаю, что я смогу для вас сделать. Я поговорю с мистером Даллисоном и с мистером Хилери также.

— Да, мэм, спасибо, мэм.

С улыбкой, как будто самое себя осуждающей, Сесилия подобрала юбки и перешла через дорогу. «Надеюсь, я выразила достаточно сочувствия», — подумала она, оглянувшись на три фигуры,

стоявшие у обочины тротуара. Старик с газетами, вздернувший кверху свой безобразный нос под очками в железной оправе, швея в черном платье, худенький мальчуган… Не произнося ни слова, не шевелясь, они смотрели прямо перед собой на оживленную улицу, и вид их вызвал в душе Сесилии протест. Во всех троих было что-то безнадежное, жалкое, неэстетичное…

«Ну чем поможешь женщинам, которые всегда так вот выглядят? — думала она. — И этот бедняга старик… Наверно, мне все же не следовало покупать нового платья, но Стивну так надоело мое теперешнее…»

Она свернула с главной улицы, прошла по другой, доступной только для пешеходов и экипажей, и остановилась подле невысокого длинного дома, почти скрытого деревьями палисадника.

То был дом Хилери Даллисона, брата ее мужа, а также мужа Бианки, родной ее сестры.

Сесилии вдруг пришла в голову курьезная мысль: дом явно похож на самого Хилери! Добрый, неуверенный вид, светло-коричневый тон… Верхние наличники, брови окон, скорее прямые, чем изогнутые, и окна — глубоко сидящие глаза, гостеприимно поблескивают… Негустая вьющаяся зелень — словно бородка и усы, а пятна

кое-где на стенах — морщины на лице тех, кто слишком много думает. Сбоку дома, отдельно от него, хотя и соединенное с ним крытым ходом, стояло оштукатуренное строение, покрашенное в лиловато-синий цвет и с черной дубовой дверью, — в целом оно производило впечатление чего-то жесткого, неподатливого, очень под стать Бианке, которая занималась там живописью. Студия, казалось, глядела на дом, откровенно заявляя, что не желает слишком тесного с ним соседства и вообще не способна к какому бы то ни было сближению. Сесилии, которую постоянно тревожили отношения между сестрой и деверем, все это вдруг показалось весьма знаменательным и символичным.

Но, не желая поддаваться фантазиям, которые, как учил ее опыт, могут завести слишком далеко, она быстро зашагала по выложенной каменными плитами дорожке к дому. У входа, подле самой двери, лежал маленький серебристый бульдог — особа женского пола — из породы комнатных собачек; подняв агатовые глаза, собака деликатно завиляла хвостом, похожим на шнур сонетки, — так она встречала каждого, ибо предки ее от поколения к поколению становились все «породистее» и серебристее, так что в ней оказа-

лись уже вовсе утрачены достоинства, присущие настоящим бульдогам — собакам, которыми травили быков.

Миссис Даллисон позвала: «Миранда!» — и хотела было погладить эту четвероногую дочь дома, но собачонка уклонилась от ее ласк: она тоже предпочитала не заходить слишком далеко…

Понедельник был приемным днем Бианки, и Сесилия направилась к студии. Большое, с высокими потолками помещение было полным-полно народу.

У самой двери одиноко и неподвижно стоял очень худой, сильно сгорбленный старик с седыми волосами и негустой седой бородкой, которую он сгреб в горсть своими прозрачными пальцами. На нем был дымчато-серый, из грубого твида костюм, от которого попахивало золой, и свободного покроя рубашка — воротник ее, слишком низкий, выставлял напоказ тощую коричневую шею; брюки же были чересчур коротки, и из-под них виднелись светлые носки. В позе старика было нечто заставлявшее вспомнить терпеливое упорство мула. Он взглянул на подходящую к нему Сесилию. Сразу становилось понятным, почему в комнате, битком набитой народом, он стоит в стороне, один; его голубые глаза глядели

так, будто он вот-вот начнет пророчествовать.

— Мне рассказали о казни, — проговорил он.

У Сесилии вырвался нервный жест.

— Ну и что, папа?

— Посягательство на жизнь ближнего было отличительной особенностью темного, бессмысленного варварства, все еще преобладавшего в те дни, — продолжал старик, и, хотя в голосе его чувствовалось подлинное волнение, казалось, будто он говорит сам с собой. — Оно явилось порождением самого нерелигиозного из фетишей — веры в бессмертие отдельной личности. Поклонение этому фетишу и породило все скорби человечества.

Сесилия сделала непроизвольное движение, и сумочка в ее руках дрогнула.

— Папа, ну как ты можешь?..

— Они уже не считали нужным любить друг друга в земной жизни, они были уверены, что для этого у них впереди вечность. Доктрину эту придумали для того, чтобы можно было вести себя подобно зверям и не испытывать угрызений совести. Любовь не могла дать настоящих плодов до тех пор, пока доктрина эта оставалась неопровергнутой.

Сесилия поспешно огляделась. Нет, никто не

слышал. Она отошла немного в сторону и смешалась с группой гостей. Губы ее отца продолжали шевелиться. Он снова принял терпеливую позу, вызывающую смутное воспоминание о мулах.

Чей-то голос позади нее произнес:

— Нет, право, миссис Даллисон, ваш отец удивительно интересный человек!

Сесилия обернулась и увидела даму среднего роста с прической в духе раннего итальянского Возрождения и очень маленькими темными шустрыми глазками; они смотрели так, будто любовь этой дамы к жизни заставляла ее жадно поглощать и каждую минуту своего собственного времени, и все те минуты чужого времени, которыми ей удавалось завладеть.

— Ах, это вы, миссис Таллентс-Смолпис? Здравствуйте! Я все собираюсь заглянуть к вам, но вы ведь, конечно, всегда так заняты…

Сесилия смотрела на миссис Таллентс-Смолпис и приветливо, и настороженно, своим заранее шутливым тоном как будто ограждая себя от шуток собеседницы. Миссис Таллентс-Смолпис, которую она уже несколько раз встречала у Бианки, вдова известного знатока-коллекционера, состояла секретарем «Лиги воспитания круглых сирот», вице-президентом общества «Огонек

надежды для девушек в затруднительном положении» и казначеем общества «Танцевальные четверги для девушек-тружениц». Она, по-видимому, знала всех, кого стоило знать, и еще многих других, успевала посетить все выставки, услышать всех музыкантов-исполнителей и побывать на всех премьерах. Что касается литературы, то миссис Таллентс-Смолпис не раз признавалась, что писатели нагоняют на нее скуку; впрочем, она всегда готова была оказать им дружескую услугу, устраивая им у себя встречи с издателями и критиками, а порой, хотя об этом мало кто знал, ссужала их и деньгами, чтобы вызволить из «затруднений», в которые они то и дело попадали, но уж после этого, по собственному ее признанию, она обычно их больше в глаза не видела.

Для миссис Стивн Даллисон эта дама была существом особым, она как бы являлась рубежом между теми из друзей Бианки, которых она была бы весьма рада принимать и у себя, и теми, которых ей принимать не хотелось, ибо Стивн, адвокат, занимающий видное служебное положение, больше всего боялся показаться смешным. Так как Хилери писал книги и был поэтом, а Бианка занималась живописью, все их друзья, естественно, были людьми или интересными,

или странными, но, хотя ради Стивна было важно определить, к какой из этих категорий отнести то или иное лицо, чаще всего оно принадлежало к обеим. В небольшой дозе такие люди действовали приятно-возбуждающе, но из-за мужа и дочери Сесилия отнюдь не желала, чтобы они ходили к ней в дом толпами. Они вызывали в ней сладкое замирание сердца, похожее на то ощущение, с каким она покупала «Вестминстерскую газету», чтобы почувствовать биение пульса общественного прогресса: и приятно, и немного страшно.

Темные глазки миссис Таллентс-Смолпис сверкнули.

— Я слышала, что мистер Стоун — ведь, кажется, так зовут вашего отца? — пишет книгу, которая должна своим выходом в свет произвести настоящую сенсацию.

Сесилия прикусила губу. «Надеюсь, она никогда не увидит света», — чуть не сказала она вслух.

— Как называется его книга? — спросила миссис Таллентс-Смолпис. — Мне помнится, это что-то о всемирном братстве — так мило!

У Сесилии вырвался досадливый жест.

— Кто рассказывал вам об этом?

— Ах! — воскликнула миссис Таллентс-Смолпис. — Вашей сестре всегда удается залучить на

свои понедельники таких милых, занимательных людей! Они так живо всем интересуются!

Удивляясь самой себе, Сесилия ответила:

— Даже слишком, по-моему.

Миссис Таллентс-Смолпис улыбнулась:

— Я имею в виду интерес к искусству и социальным вопросам. Я полагаю, тут не может быть ничего «слишком», не правда ли?

— Нет-нет, разумеется, нет, — поспешила ответить Сесилия.

Обе дамы огляделись. До ушей Сесилии доносился гул голосов:

— Вы видели «Последствия»? Чудесная вещь!

— Бедняга, у него такой отсталый вкус…

— Появился новый гений…

— Она так искренне сочувствует…

— Но положение неимущих классов…

— Кажется, это мистер Бэлидайс? Право же…

— Это дает вам такое острое ощущение жизни…

— Буржуа!..

Голос миссис Таллентс-Смолпис врезался в этот многоголосый хор:

— Скажите мне, ради бога, кто это юное создание, рядом с молодым человеком — вон там, возле картины. Девочка совершенно очаровательна!

Щеки Сесилии приятно порозовели.

— Это моя дочурка.

— Да неужели? У вас такая взрослая дочь? Но ведь ей, должно быть, лет семнадцать?

— Скоро восемнадцать.

— Как ее зовут?

— Тайми, — ответила Сесилия, чуть улыбнувшись. Она ждала, что миссис Таллентс-Смолпис сейчас скажет: «Очаровательно!»

Миссис Таллентс-Смолпис заметила улыбку и сделала паузу.

— А кто этот юноша с ней?

— Мой племянник, Мартин Стоун.

— Сын вашего брата, который погиб вместе с женой во время того несчастного случая в Альпах? У молодого человека очень решительный вид. Вполне современен. Чем он занимается?

— Он уже почти врач. Не знаю толком, получил он диплом или еще нет.

— А я было подумала, что он имеет какое-то отношение к искусству.

— О нет, он презирает искусство.

— А ваша дочь тоже презирает искусство?

— Нет, она его изучает.

— Да что вы! Как интересно! Я нахожу, что подрастающее поколение чрезвычайно забав-

но, — как вы считаете? Они такие независимые!

Сесилия с некоторым беспокойством поглядела на «подрастающее поколение». Молодые люди стояли рядом возле большой картины, как-то ото всех в стороне; они обменивались взглядами и краткими замечаниями и с юношеской бесцеремонностью, даже почти враждебно, разглядывали циркулировавших по комнате людей, которые болтали, раскланивались, улыбались. У молодого человека было бледное, гладко выбритое лицо, волевой подбородок, длинный прямой нос, шишковатый лоб, ясные серые глаза; саркастически сложенные губы были тверды и подвижны. Он смотрел на гостей со смущающей прямотой. На девушке было голубовато-зеленое платье. Она была прелестна: живые серо-карие глаза, свежий цвет лица, пушистые волосы цвета спелого ореха.

— Та картина, возле которой они стоят, ведь это «Тень», работа вашей сестры? — спросила миссис Таллентс-Смолпис. — Я помню, я видела ее на Рождество, помню и маленькую натурщицу, которая послужила моделью, — очень привлекательный типаж! Ваш деверь рассказывал мне, какое участие вы все в ней принимаете. Она, кажется, упала в обморок от недоедания,

когда пришла в первый раз на сеанс, — как это романтично!

Сесилия ответила что-то невнятное. Руки ее нервно двигались, ей было не по себе.

Но все эти признаки беспокойства ускользнули от внимания миссис Таллентс-Смолпис: глаза ее были заняты другим.

— В нашем «Огоньке надежды» я, конечно, вижу много девушек, попавших в щекотливое положение, — буквально на краю… вы понимаете? Миссис Даллисон, вы непременно должны войти в наш «Огонек надежды». Это серьезная и увлекательная работа.

Сомнение в глазах Сесилии стало еще более очевидным.

— О, я в том уверена, — сказала она. — К сожалению, у меня так мало времени…

Но миссис Таллентс-Смолпис продолжала:

— Мы живем в чрезвычайно интересное время, не правда ли? Столько различных новых течений! Это так захватывает. Мы все чувствуем, что больше уже нельзя закрывать глаза на стоящие перед нами социальные проблемы. Взять хотя бы условия жизни бедноты — одного этого достаточно, чтобы вас по ночам преследовали кошмары!

— Да, — сказала Сесилия, — конечно, это ужас-

но.

— Политические деятели и чиновники — совершенно безнадежные люди, от них ждать нечего.

Сесилия выпрямилась:

— Вы так думаете?

— Я только что разговаривала с мистером Бэлидайсом. Он утверждает, что искусство и литература должны быть поставлены на совершенно новую основу.

— Вот как? Это вон тот забавный человечек?

— По-моему, он феноменально умен.

— Да-да, я знаю, знаю, — быстро ответила Сесилия. — Разумеется, необходимо что-то сделать.

— Все мы, по-видимому, так считаем, — сказала миссис Таллентс-Смолпис несколько рассеянно. — Ах да, я хочу спросить вас. Я тут побеседовала с восхитительным субъектом — знаете, из тех, каких видишь в Сити, — их там тысячи, и они все в таких добротных черных пальто. Познакомиться с подобным человеком в наши дни — редкость. Очень освежающе действует — у них такие простые, бесхитростные взгляды! Вот он, стоит как раз позади вашей сестры.

Нервный жест, вырвавшийся у Сесилии, подтвердил, что она узнала человека, на которого указывала миссис Таллентс-Смолпис.

— А, это мистер Пэрси. Понять не могу, почему он у нас бывает.

— Он просто восхитителен, — проговорила миссис Таллентс-Смолпис мечтательно.

Ее темные глазки, словно пчелы, полетели снимать мед с этого нового цветка — широкоплечего мужчины среднего роста, одетого очень тщательно и чувствующего себя, как видно, не совсем в своей тарелке. На губах его, украшенных усами, застыла улыбка; жизнерадостная физиономия была румяна, лоб не отличался ни чрезмерной высотой, ни шириной, но челюсть была внушительная. Волосы у него были светлые и густые, глаза серые, маленькие и проницательные. Он рассматривал какую-то картину на стене.

— Нет, право же, он восхитителен, — повторила миссис Таллентс-Смолпис негромко. — Он, оказывается, даже не подозревает о существовании такой проблемы, как проблема неимущих классов.

— Он вам рассказывал, что купил картину? — спросила Сесилия мрачно.

— О да, работы Гарпиньи, с ударением на «пи». Картина стоит втрое дороже того, что он за нее отдал. Так приятно, когда тебя вдруг заставляют почувствовать, что еще существует множество

людей, все на свете измеряющих деньгами.

— А он не цитировал вам изречение моего деда Карфэкса на процессе Бэнстока? — спросила Сесилия вполголоса.

— Ну как же: «Человека, который сам не знает, чего хочет, следовало бы силой парламентского закона объявить ирландцем». Мистер Пэрси добавил, что это «здорово сказано».

— Это на него похоже.

— Он вас, кажется, несколько раздражает?

— Да нет, я считаю его вполне порядочным человеком. И мы обязаны быть с ним любезны: он оказал моему отцу услугу — так, во всяком случае, полагает он сам. Таким образом и завязалось наше знакомство. Только его аккуратные визиты несколько утомительны. Он все же действует на нервы.

— Ах, вот это в нем и забавно! Ему-то ведь никто и никогда не подействует на нервы. Мне кажется, у нас уж слишком много нервов, как вы считаете? А вот и ваш деверь. Какая интересная внешность! Мне бы хотелось поговорить с ним об этой маленькой натурщице. Она ведь, кажется, из деревни, да?

Миссис Таллентс-Смолпис повернула голову навстречу высокому, чуть сутулому мужчине

с лицом худым и смуглым, с небольшой бородкой, — он только что вошел в комнату. Она не заметила, как Сесилия вдруг вспыхнула и поглядела на нее почти сердито. Высокий мужчина подошел к Сесилии, коснулся ее рукава и сказал мягко:

— Здравствуй, Сесси. Стивна еще нет?

Сесилия отрицательно покачала головой:

— Хилери, ты ведь знаком с миссис Таллентс-Смолпис?

Высокий мужчина поклонился. В его карих, глубоко сидящих глазах светились застенчивость и доброта; брови, почти все время находящиеся в движении, придавали лицу выражение и строгое, и капризное. Темные волосы были тронуты сединой, на губах то и дело играла добрая улыбка. Держался он скромно, без тени позерства, — он почти стушевывался. Кисти рук у него были длинные, тонкие, смуглые. В костюме его не было ничего примечательного.

— Я оставлю вас одних, миссис Таллентс-Смолпис хочет побеседовать с тобой, Хилери.

Группа гостей, окруживших мистера Бэлидайса, не дала, однако, Сесилии отойти далеко, и голос миссис Таллентс-Смолпис долетал до ее ушей.

— Мы как раз говорили о маленькой натурщице, мистер Даллисон. С вашей стороны было так гуманно принять участие в жизни девушки. Не могло бы и наше общество оказаться для нее чем-нибудь полезным?

У Сесилии был отличный слух, и она уловила тон, каким ответил Хилери:

— Благодарю вас, но думаю, что в этом нет необходимости.

— Мне просто пришло в голову, что, быть может, вы сочтете нужным, чтобы наше общество… Позировать художникам — не очень-то подходящая профессия для молодой девушки.

Сесилия увидела, что затылок и шея у Хилери побагровели. Она отвернулась.

— Конечно, многие натурщицы вполне порядочные девушки, — продолжала миссис Таллентс-Смолпис. — Я вовсе не хочу сказать, что все они непременно… если у них сильная воля и характер… и в особенности, если они не позируют обнаженными.

Сесилия услышала сухой, четкий ответ Хилери:

— Благодарю вас, вы очень любезны.

— Разумеется, если нет необходимости… В картине вашей жены, мистер Даллисон, столько

тонкости, такой интересный типаж!

Сама не зная, как это произошло, Сесилия вдруг очутилась возле этой самой картины. Словно попав в немилость, холст стоял несколько повернутым к стене, а изображена была на нем девушка во весь рост, погруженная в глубокую тень, — она простирала руки вперед, как будто моля о чем-то. Глаза ее смотрели прямо на Сесилию, сквозь полуоткрытые губы, казалось, шло живое дыхание. Светло-голубой цвет глаз, светло-красный — полураскрытых губ и светло-коричневый цвет волос были единственными более или менее яркими пятнами во всей картине. Остальное уходило в тень. Передний план был освещен как бы светом от уличного фонаря.

«Глаза и рот этой девушки преследуют меня, — подумала Сесилия. — И что это Бианке вздумалось брать такой сюжет? Но правда, вещь получилась тонкая — для такого человека, как Бианка».

Глава II
Семейный разговор

Брак Сильвануса Стоуна, профессора естественных наук, с Анной, дочерью судьи Карфэкса из известного дворянского рода — Карфэксы из Спринг-Динз в Гемпшире, — был зарегистрирован в шестидесятых годах. В последующие три года в кенсингтонскую церковную книгу были занесены одна за другой записи о крещении Мартина, Сесилии и Бианки, сына и дочерей Сильвануса и Анны Стоун, как если бы лицо, причастное к их появлению на свет, упорно преследовало одну лишь эту цель. Дальнейших записей о крещении не было нигде, словно упорство это натолкнулось вдруг на препятствие. Но в той же церковной книге за восьмидесятые годы имеется запись о погребении «Анны, née[1] Карфэкс, жены Сильвануса Стоуна». Для посвященных эти два слова «née Карфэкс» таили в себе особый смысл. Они не только говорили все самое главное о матери Сесилии и Бианки, но каким-то особым, трудноуловимым образом также и все

---

[1] Примечания: 1
Урожденная *(фр.)*.

самое главное о них обеих, включая ускользающий, обороняющийся взгляд их ясных глаз: хотя в семье о них говорили как о «глазах Карфэксов», в действительности они были унаследованы ими отнюдь не от старого судьи Карфэкса. Такие глаза были у его жены, и они постоянно вызывали у него, человека твердого характера, чувство досады. Он всегда знал, чего добивается, и не забывал дать почувствовать это окружающим; жене он частенько напоминал, что она женщина непрактичная и сама не знает, чего хочет; все доходы, получаемые им на службе закону, судья сберегал для своего потомства. Если бы он дожил до того времени, в которое жили его внучки, он был бы неприятно поражен. Как очень многим способным людям его поколения, ему, человеку, в житейских делах дальновидному, и в голову не приходило, что у потомков таких вот людей, как он, скопивших богатства для детей своих детей, могут развиться совершенно новые качества: склонность медлить, без конца взвешивать за и против, очень долго глядеть вперед и не становиться одной ногой на землю, прежде чем шагнуть другой. Он никак не мог предвидеть, что топтание на месте станет искусством, что, прежде чем отважиться на какой-нибудь поступок, люди

захотят полной гарантии его необходимости и что они будут считать совершенно немыслимым и даже глупым делать то, что могло бы полностью разрешить тот или иной вопрос. Будучи всю свою жизнь человеком действия, он не сумел предугадать, что у людей появится новый инстинкт: действовать — значит как-то связывать себя; если даже то, что ты имеешь, и не совсем то, чего бы ты хотел, — то, чего у тебя нет, будет столь же скверно (если оно тебе достанется). Он не знал, что такое неверие в себя, его поколению это было несвойственно, и, обладая лишь очень слабым воображением, не подозревал, что, готовя своим потомкам возможность обеспеченного досуга, он вместе с тем подготавливает основу для развития в них этих новых качеств.

Из всех, кто в тот вечер находился в студии его внучки, мистер Пэрси, эта приблудная овца, был, пожалуй, единственным, чьи суждения он счел бы здравыми. Никто не накапливал состояния для мистера Пэрси, он сам с двадцати лет наживал деньги.

Как знать, быть может, именно то обстоятельство, что он был здесь не совсем у места, и заставило этого гостя Бианки задержаться в студии, когда другие уже разошлись, а возможно, он

просто думал, что чем больше будет вращаться в артистическом обществе, тем больше приобретет лоска. Вероятнее всего, причиной было это последнее соображение, ибо обладание картиной Гарпиньи, и довольно хорошей, которую он купил совершенно случайно и подлинную ценность которой так же случайно узнал, стало в жизни мистера Пэрси фактом, поставившим его в особое положение среди всех его друзей. Тех больше привлекали корректные пейзажи членов Королевской академии и портреты юных леди в костюмах восемнадцатого века — в пышном цветнике или верхом на лошади. Младший компаньон в одном довольно солидном банковском предприятии, он жил в Уимблдоне, откуда ежедневно приезжал в собственном автомобиле. Именно этому он и был обязан своим знакомством с семьей Даллисонов. Однажды, велев своему шоферу подождать у западных ворот Кенсингтонского сада, он шел по Роттен-Роу, как часто делал, возвращаясь домой, чтобы лишний раз встретиться с кем-нибудь из знакомых. В тот день прогулка оказалась почти безрезультатной. Никто из сколько-нибудь значительных лиц не попался ему на пути. Разочарованный и жаждущий хоть какого-нибудь развлечения, он, уже в

Кенсингтонском саду, вдруг набрел на старика, который бросал птицам корм из бумажного пакета. Завидев мистера Пэрси, птицы улетели прочь, и он подошел к старику принести извинения.

— Простите, сэр, я, кажется, разогнал ваших птиц, — начал он.

Старик в дымчато-сером костюме, от которого исходил острый запах золы, взглянул на него, но ничего не ответил.

— Боюсь, что птицы увидели, как я подходил, — снова начал мистер Пэрси.

— В те дни птицы боялись людей, — ответил странный незнакомец.

Проницательный мистер Пэрси сразу сообразил, что перед ним чудак.

— А, ну да, конечно, — сказал он. — «В те дни» — это вы имеете в виду настоящее время. Забавно сказано. Ха-ха-ха!

Старик ответил:

— Чувство страха неразрывно связано с первобытным состоянием братоубийственного соперничества.

Заявление это заставило мистера Пэрси насторожиться.

«Старик немного того, — подумал он. — Совершенно очевидно, что одному ему разгуливать

незачем». Он стал думать, что лучше: поторопиться обратно к своему автомобилю или остаться на случай, если вдруг окажется необходимой его помощь. Мистер Пэрси был человеком мягкосердечным и верил в свою способность «улаживать дела». Заметив некую тонкость, или, как он сам потом определил, «изысканность», в лице и во всем облике старика, он решил по мере сил помочь ему. Они продолжали прогулку вместе. Мистер Пэрси искоса поглядывал на своего нового знакомца и незаметно направлял путь туда, где поджидал его шофер.

— Вы, как я вижу, большой любитель птиц, — сказал мистер Пэрси осторожно.

— Птицы — наши братья.

Ответ этот окончательно убедил мистера Пэрси в правильности его диагноза.

— У меня тут неподалеку стоит автомобиль, — сказал он. — Давайте-ка я отвезу вас домой.

Новый, но старый годами знакомец, казалось, не слышал; губы его шевелились, будто он рассуждал сам с собой.

— В те дни поселения людей называли грачевниками, — услышал вдруг мистер Пэрси. — Это едва ли справедливо в отношении грачей, таких красивых птиц.

Мистер Пэрси поспешно тронул его за рукав:

— Вон там моя машина, сэр. Я довезу вас до дому.

Впоследствии мистер Пэрси так передавал этот эпизод: «Старик, надо сказать, отлично знал свой адрес, но, провались я на этом месте, если он заметил, что я усадил его в авто — в мой «Дэмайер-А-прим» — и везу по этому адресу. Вот таким образом я и завел знакомство с Даллисонами. Хилери Даллисон — писатель, вы знаете, а она рисует в довольно современной манере. Она без ума от Гарпиньи. Ну так вот, когда я привез старика, Даллисон был в саду. Я, конечно, лишнего не сказал, чтоб зря чего не ляпнуть, только объяснил: «Этот джентльмен, говорю, плутал по парку, ну я и подвез его в своей машине». И представьте себе, оказалось, старик-то — ее отец! Даллисоны были очень-очень мне признательны. Премилые люди, но уж очень, что называется, fin de siècle[2], как все эти профессора и художники-мазилы. Водятся с самой разношерстной публикой, с самыми что ни на есть передовыми и со всякими чудаками и вечно болтают о «неимущих классах», и разных там обществах, и о новых учениях, и о прочей

---

[2] Примечания: 2

Конец века; декадентский *(фр.)*.

такой материи».

Хотя после этого мистер Пэрси уже несколько раз заезжал к Даллисонам, они не захотели лишать его приятной иллюзии относительно совершенного им «доброго поступка», и он так и не узнал, что привез домой не помешанного, как он воображал, но всего лишь философа.

Входя в тот день в студию Бианки, он несколько оторопел, увидев у самых дверей мистера Стоуна. После того случая в Кенсингтонском саду мистер Пэрси неоднократно виделся с ним и знал, что старик пишет книгу, но он все же был склонен думать, что как-то странно встречать такого чудака в обществе. Он тотчас принялся рассказывать мистеру Стоуну о казни убийцы из Шордитча, все, что сам вычитал об этом в вечерних газетах. То, как мистер Стоун отнесся к его рассказу, еще больше укрепило первое впечатление мистера Пэрси. Когда гости разошлись и остались только мистер и миссис Стивн Даллисоны, мисс Даллисон, «эта прехорошенькая девица», да еще молодой человек, «тот, что за ней волочится», мистер Пэрси подошел к хозяйке дома, рассчитывая мирно с ней побеседовать. Она стояла и слушала его — весьма благовоспитанная дама, — и только в улыбке ее чуть мелькала обычная для нее ост-

рая насмешливость, что делало Бианку в глазах мистера Пэрси хотя и «очень-очень эффектной дамой, но немного…» Он недоговаривал, потому что требовался более тонкий, чем он, психолог, чтобы определить эту внутреннюю дисгармонию, несколько портившую красоту Бианки. И оттого, что в ней было слишком бурное скрещение разных кровей, и оттого, что среда была слишком мало для нее подходящей, и еще по многим другим причинам дисгармония эта проступала особенно резко. Те, кто знал Бианку Даллисон лучше, чем мистер Пэрси, отлично понимали, какой неподатливый, гордый дух владеет ее красотой, которая иначе была бы бесспорной.

Она была несколько выше Сесилии, и чуть полнее, и более изящна. Волосы у нее были темнее, глаза также, и посажены глубже, скулы выше, цвет лица ярче. Вероятно, сам дух века — Дисгармония — стоял над ее колыбелью, если девочке с такой темной, живой окраской дали имя Бианка[3].

Мистер Пэрси был не из тех, кто лишает себя удовольствий из-за каких-то эмоциональных тонкостей. Она была «эффектной дамой», и благо-

---

[3] Примечания: 3
Бианка — белая *(ит.)*.

даря картине Гарпиньи между ними существовал некий контакт.

— Мы с вашим отцом, миссис Даллисон, плохо понимаем друг друга, — начал он. — Взгляды на жизнь у нас, как видно, разные.

— Да что вы! — рассеянно проговорила Бианка. — А я полагала, что вы должны бы отлично ладить.

— Он немного… как бы это выразиться? От него, пожалуй, немного отдает Библией, — заметил мистер Пэрси деликатно.

— Мы разве никогда не говорили вам, что мой отец до болезни был довольно известным ученым? — сказала Бианка негромко.

— Вот оно что! — проговорил мистер Пэрси, несколько озадаченный. — Тогда понятно. А вы знаете, миссис Даллисон, мне думается, из всех ваших картин та, которую вы назвали «Тень», самая удачная. Что-то есть в ней такое, что хватает за душу. Я помню ту миленькую девицу, вашу натурщицу — она была у вас на Рождество, — очень она у вас на картине похожа вышла.

Выражение лица Бианки изменилось, но мистер Пэрси обычно не замечал подобных мелочей.

— Надеюсь, вы меня известите, если вздумаете

расстаться с этой картиной, — продолжал он. — То есть я хочу сказать, что буду рад приобрести ее. Я думаю, со временем она будет стоить уйму денег.

Бианка промолчала, и мистер Пэрси вдруг почувствовал себя несколько неловко.

— Ну, мой авто ждет меня, — сказал он. — Мне пора. Да, в самом деле пора.

Пожав руку всем по очереди, он ушел.

Когда дверь за ним закрылась, раздался всеобщий вздох облегчения. Некоторое время все молчали. Первым заговорил Хилери:

— Давай закурим, Стивн, если Сесси не возражает.

Стивн зажал папиросу губами; усов он не носил, а уголки его губ были приподняты в постоянной улыбке, готовой уничтожить в зародыше все, что могло бы заставить его почувствовать себя смешным.

— Уф! Наш приятель Пэрси становится несколько утомительным, — сказал он. — Кажется, что он носит с собой всю пошлость мира.

— Он очень славный, — заметил Хилери вполголоса.

— Но тяжеловат, право же.

У Стивна Даллисона было такое же длинное

и узкое лицо, как у Хилери, но сходство между братьями было небольшое. Глаза Стивна, хотя и не злые, смотрели гораздо более остро, пытливо и трезво, волосы были темнее и глаже.

Выпустив изо рта папиросный дым, он добавил:

— Вот кто мог бы дать тебе хороший здравый совет, Сесси. Самый подходящий для этого человек, тебе следовало бы обратиться к нему.

Сесилия, нахмурясь, ответила:

— Перестань дразнить меня, Стивн. Я ведь это вполне серьезно, относительно миссис Хьюз.

— Право, дорогая, решительно не вижу, чем я могу помочь этой почтенной женщине. В подобного рода семейные дела лучше не вмешиваться.

— Но ведь это ужасно, что мы, на которых она работает, ничего не можем для нее сделать. Разве не так, Бианка?

— Я думаю, что, если бы мы очень сильно захотели этого, мы бы придумали, что сделать.

Голос Бианки, в котором как будто слышалась нотка недоверия к самой себе, столь типичная для современной музыки, очень подходил ко всему ее облику.

Сесилия и Стивн переглянулись. «Узнаю Бианку, она вся тут», — как будто хотели они сказать

друг другу.

— Хаунд-стрит, где они живут, ужасное место.

Это сказала Тайми, и все посмотрели на нее.

— А ты откуда знаешь? — спросила Сесилия.

— Я ходила туда, чтобы увидеть все своими глазами.

— С кем ты ходила?

— С Мартином.

Губы молодого человека, чье имя она назвала, искривились в саркастической усмешке.

Хилери спросил мягко:

— И что же ты там увидела, дорогая?

— Там почти все двери настежь, и…

— Это еще ничего не говорит нам, — заметила Бианка.

— Напротив, это говорит обо всем, — сказал вдруг Мартин глубоким басом. — Продолжай, Тайми.

— Хьюзы живут на верхнем этаже в доме номер один. Это самый лучший дом на всей улице. Внизу живет семья по фамилии Баджен. Он поденный рабочий, жена у него хромая. У них есть сын. Одну из комнат на втором этаже — ту, у которой окно на улицу, — Хьюзы сдают старику по имени Крид…

— Я знаю его, — прошептала Сесилия.

— Он продает газеты, зарабатывает один шиллинг и десять пенсов в день. Комнату с окном во двор они сдают, как вы знаете, тетя Бианка, молоденькой девушке, вашей натурщице.

— Она теперь уже не моя натурщица.

Все промолчали. Такое молчание наступает, когда никто не уверен, вполне ли безопасно развивать затронутую тему. А Тайми рассказывала дальше:

— Ее комната — самая лучшая во всем доме. И просторная, и окно выходит в чей-то сад. Я думаю, девушка решила остаться там потому, что плата за комнату очень невелика. Комнаты Хьюзов…

Она не договорила и наморщила свой прямой носик.

— Итак, жильцы того дома — это один молодой человек, одна юная девушка, две семейных пары… — проговорил Хилери и вдруг обвел взглядом поочередно всех присутствующих: молодого человека, молодую девушку… — и один старик, — добавил он тихо.

— Я бы не сказал, что Хаунд-стрит — самое подходящее место для прогулок, — заметил Стивн иронически. — Как ты полагаешь, Мартин?

— А почему бы и нет?

Стивн поднял брови и взглянул на жену. Лицо

Сесилии выражало недоумение, даже как будто испуг. Все молчали. И тогда Бианка вдруг спросила:

— И что же дальше?

Вопрос этот, как почти все, что она задавала, казалось, смутил всех.

— Значит, Хьюз скверно обращается с женой? — сказал Хилери.

— Она уверяет, что да, — ответила Сесилия. — Во всяком случае, так я ее поняла. Никаких подробностей я, конечно, не знаю.

— По-моему, ей следует порвать с ним, — сказала Бианка.

Среди наступившей тишины раздался звонкий голос Тайми:

— Развода она получить не сможет, в лучшем случае добьется разрешения разъехаться с ним.

Сесилия в замешательстве встала. Эти слова внезапно раскрыли ей все ее полуосознанные сомнения, касающиеся ее «дочурки». Вот что получилось оттого, что девочке позволяли слушать разговоры взрослых и водить дружбу с Мартином! Быть может, она даже слушает то, что говорит дед. Последнее предположение вызвало в Сесилии тревогу. Не зная, что хуже — отрицать свободу слова или одобрять преждевременное

знакомство дочери с жизнью, — Сесилия взглянула на мужа.

Но Стивн помалкивал, чувствуя, что продолжать разговор значило бы либо выслушать назидание на тему о морали, что не очень приятно в присутствии третьих лиц, в особенности в присутствии жены и дочери; либо самому коснуться неприглядных фактов, что при данных обстоятельствах было бы столь же неуместным. Однако и он был смущен тем, что Тайми так широко осведомлена.

За окнами темнело; огонь в камине бросал мерцающий свет, освещая то одно, то другое лицо, делая их все, такие друг для друга привычные, новыми, таинственными.

Наконец Стивн нарушил молчание:

— Очень, разумеется, жаль бедную женщину, но все же лучше предоставить их самим себе: с людьми подобного сорта трудно предугадать, как все может обернуться. Никогда толком не поймешь, чего им, собственно, надо. Спокойнее не вмешиваться. Во всяком случае, этим должно заняться какое-нибудь общество.

— Но она у меня на совести, Стивн, — сказала Сесилия.

— Все они у меня на совести, — пробормотал

Хи– лери.

В первый раз за весь вечер Бианка подняла на него глаза. Затем, повернувшись к племяннику, спросила:

— А ты что скажешь, Мартин?

Молодой человек, лицу которого отсветы огня придали цвет светлого сыра, ничего не ответил.

И вдруг среди всеобщего молчания раздался голос:

— Мне кое-что пришло в голову.

Все обернулись. Из-за картины «Тень» показался мистер Стоун. Его хрупкая фигура в грубом сером костюме, белые волосы и бородка четко вырисовывались на фоне стены.

— Это ты, папа? — сказала Сесилия. — А мы и не знали, что ты здесь!

Мистер Стоун растерянно огляделся — казалось, он и сам не подозревал об этом.

— Так что же тебе пришло в голову?

Отблеск огня из камина упал на тонкую желтую руку мистера Стоуна.

— У каждого из нас есть своя тень в тех местах, на тех улицах, — сказал он.

Послышался легкий шум голосов и движений, как бывает всегда, когда какое-либо замечание не принимают всерьез, и затем стук закрываемой

двери.

Глава III
Хилери в раздумье

— А как ты действительно относишься к этому, дядя Хилери?

Хилери Даллисон, сидевший за письменным столом, повернул голову, чтобы взглянуть в лицо своей юной племяннице, и ответил:

— Дорогая моя, такое положение дел существует испокон веку. Насколько мне известно, нет ни одного химического процесса, который не давал бы отходов. То, что твой дед назвал нашими «тенями», — это отходы социального процесса. Несомненно, что наряду с одной пятидесятой частью счастливцев, вроде нас, имеется и одна десятая часть обездоленных. Кто, собственно, они, эти бедняки, откуда появляются, можно ли вывести их из жалкого состояния, в каком они находятся, — все это, я думаю, очень и очень неопределенно.

Тайми сидела в широком кресле не двигаясь. Губы ее были презрительно надуты, на лбу пролегла морщинка.

— Мартин говорит, что невозможно только то,

что мы считаем невозможным.

— Боюсь, что это старая мысль о горе, движимой верой.

Тайми резко двинула ногу вперед и чуть не задела Миранду, маленького бульдога.

— Ой, прости, малышка!..

Но маленький серебристый бульдог отодвинулся подальше.

— Дядя, я ненавижу эти трущобы, они просто ужасны!

Хилери опер лоб о свою тонкую руку — постоянный его жест.

— Они отвратительны, безобразны, невыносимы. И проблема от того не легче, не правда ли?

— Я считаю, мы сами создаем себе трудности тем, что придаем им такое значение.

Хилери улыбнулся:

— И Мартин тоже так считает?

— Конечно!

— Если брать вопрос шире, то основная трудность — это человеческая природа, — сказал Хилери задумчиво.

Тайми поднялась с кресла:

— По-моему, это очень гадко — быть такого низкого мнения о человеческой природе.

— Дорогая моя, не кажется ли тебе, что, быть мо-

жет, люди, имеющие то, что называется «низкое мнение о человеческой природе», в сущности, более терпимы к ней, больше любят ее, чем те, кто, идеализируя ее, невольно ненавидит подлинную человеческую природу, ту, что существует в реальности?

Хилери, по-видимому, встревожил взгляд, который Тайми устремила на его доброе, приятное, чуть улыбающееся лицо с острой бородкой и высоким лбом.

— Я не хочу, дорогая, чтобы у тебя сложилось обо мне чересчур уж низкое мнение. Я не принадлежу к тем, кто заявляет, что все на свете устроено правильно, на том основании, что у богатых тоже есть свои заботы. Совершенно очевидно, что человеку в первую очередь необходим какой-то минимальный достаток, без этого мы не в состоянии ничего для него сделать, кроме как только жалеть его. Но это еще не значит, что мы знаем, как обеспечить ему этот минимум, не правда ли?

— Мы обязаны это сделать, — сказала Тайми, — больше ждать нельзя.

— Дорогая моя, вспомни мистера Пэрси. Как ты думаешь, многие ли, принадлежащие к высшим классам, хотя бы сознают эту необходимость? Мы,

у которых есть то, что я называю общественной совестью, в этом отношении стоим выше мистера Пэрси. Но мы всего-навсего горстка в несколько тысяч по отношению к десяткам тысяч таких, как Пэрси, а многие ли даже среди нас готовы или хотя бы способны поступать так, как подсказывает нам наша совесть? Что бы там ни провозглашал твой дед, боюсь, что мы слишком резко разделены на классы. Человек всегда поступал и поступает как член своего класса.

— «Классы»! Это, дядя Хилери, устаревший предрассудок и только.

— Ты так думаешь? А мне казалось, что всякий класс — это, быть может, все то же самое «я», но только сильно раздутое; его со счетов не сбросишь. Вот, например, мы, ты и я, с особыми, нам присущими предубеждениями, как мы должны поступить?

Тайми глянула на него с юношеской жестокостью, как бы желая сказать: «Ты мой дядя и очень милый человек, но ты вдвое меня старше. И это, я полагаю, факт решающий».

— Ну как, надумали что-нибудь сделать для миссис Хьюз? — спросила она отрывисто.

— Что говорил твой отец сегодня утром?

Тайми взяла со стола свою папку с рисунками

и пошла к двери.

— Папа безнадежен. Все, что он смог придумать, — это что нужно направить ее в «Общество по предотвращению нищенства».

Она ушла, и Хилери, вздохнув, взял перо, но так ничего и не написал.

Хилери и Стивн Даллисоны были внуками каноника Даллисона, хорошо известного как друга, а порой и советчика некоего викторианского романиста. Каноник происходил из старого оксфордширского рода, представители которого на протяжении по меньшей мере трех столетий служили церкви или государству, и сам был автором двухтомного сочинения «Сократовские диалоги». Своему сыну, чиновнику министерства иностранных дел, он передал если не свой литературный талант, то, во всяком случае, культурные традиции. И традиции эти были затем переданы Хилери и Стивну.

Получив образование в закрытой школе, а затем в Кембриджском университете, обладая если не крупными, то достаточными средствами и воспитанные в том понятии, что разговоров о деньгах следует по возможности избегать, оба молодых человека были как будто отлиты из одной и той же формы. Оба были мягкосердечны,

любили развлечения на свежем воздухе и не были ленивы. Оба также были людьми цивилизованными, глубоко порядочными и питали отвращение к насилию — свойства, которые нигде так часто не наблюдаются, как среди высших классов страны, чьи законы и обычаи так же древни, как ее дороги или как стены, ограждающие ее парки. Но по мере того как время шло, то ценное качество, которое наследственность, образование, окружение и достаток воспитали в них обоих — способность к самоанализу, — проявлялось у братьев совершенно по-разному. Для Стивна оно служило чем-то предохраняющим, словно бы держало его во льду в жаркую погоду, предотвращая опасность разложения при первых же его признаках; в его натуре это качество было здоровым, почти химическим ингредиентом, связующим все составные части, позволяющим им действовать безопасно и слаженно. Для Хилери действие его оказалось иным: как тонкий, медленно действующий яд, это ценное качество — способность к самоанализу — пропитало все его мысли и чувства, проникло в каждую щелочку его души, и он становился все менее способным к четкой, определенной мысли, к решительному поступку. Чаще всего это проявлялось в форме

какого-то мягкого, скептического юмора.

Однажды он сказал Стивну:

— Удивительно, что, усваивая кусочки разрубленного животного, человек приобретает способность оформить ту мысль, что это удивительно.

Стивн секунду помедлил — они сидели за завтраком в ресторане при здании суда и ели ростбиф, — затем ответил:

— Надеюсь, ты не собираешься, как наш почтенный тесть, не употреблять больше в пищу мясо высших животных?

— Напротив, я собираюсь потреблять его и в дальнейшем. Но все-таки это и в самом деле удивительно. Ты не понял моей мысли, Стивн.

Уж если человек ухитряется видеть нечто удивительное в таком простом факте, он, несомненно, зашел довольно далеко, и Стивн сказал:

— У тебя, дорогой, развивается склонность к чрезмерной умозрительности.

Хилери бросил на брата свою странную, словно бы отдаляющую улыбку: он сказал ею не только «прости, если я тебе докучаю», но также «пожалуй, делиться с тобой этим не следует». И на том разговор окончился.

Эта обескураживающая, способная положить

конец беседе улыбка Хилери, которая отгораживала его от внешнего мира, была у него вполне естественной. Человек, умеющий тонко чувствовать, проведший жизнь за писанием книг и постоянно в среде людей культурных, огражденный от материальной нужды скромным, не вульгарно большим богатством, он в сорок два года был не просто деликатен, но щепетилен сверх всякой меры. Даже его собака понимала, что за человек ее хозяин. Она знала, что он не позволит себе пошлых шуток, не станет теребить ее за уши или тянуть за хвост. Она была уверена, что он не станет раздвигать ей пасть, чтобы посмотреть зубы, как делают это некоторые мужчины, а если она ляжет на спину, он нежно погладит ее по груди и притом не вызовет у нее чувства вины, как это свойственно женщинам. А когда она, вот как сейчас, сидела у камина, глядя, не отрываясь, на огонь, он никогда, даже словом, не тревожил ее, никогда ничем не нарушал приятного течения ее бездумных мыслей.

В его кабинете, где постоянно держался запах легкого табака особого сорта, подходящего для нервов человека, занимающегося литературным трудом, стоял бюст Сократа, обладавший, казалось, особой притягательной силой для хозяина

кабинета. Однажды Хилери описал одному из собратьев по перу впечатление, производимое на него этим гипсовым лицом, таким монументально безобразным, как будто тот, кому оно принадлежало, познал сущность человеческой жизни, разделил со всем человечеством его жадность и ненасытность, вожделение и неистовство, но вместе с тем и его тягу к любви, разуму и светлому покою.

«Он как будто зовет нас, — пояснял Хилери, — пить чашу до дна, нырять в пучины к русалкам, лежать на холмах под солнцем, вместе с рабами истекать по́том, знать все и вся на свете. «Нет тебе места среди мудрых, — говорит он, — если ты не познал всего этого, прежде чем взбираться в горние выси». Вот таким кажется мне Сократ — не очень-то это окрыляет людей, подобных нам!»

В тени, падавшей от этого скульптурного портрета мыслителя, и сидел сейчас Хилери, опершись лбом о ладонь. Перед ним лежали три раскрытые книги, листы рукописи и немного сдвинутая в сторону стопка зеленовато-белой бумаги — газетные вырезки, отзывы о его последней книге.

Объяснить точно, какое место занимала литературная деятельность в жизни такого человека, как Хилери Даллисон, не легко. Он получал от

нее определенный доход, не служивший ему, однако, единственным средством к существованию. Поэт, критик, автор очерков, он приобрел некоторое имя — не слишком большое, но все же имя. Его друзья время от времени обсуждали вопрос: выдержала ли бы его изысканность тяготы существования писателя, у которого нет собственного капитала? Вероятно, она устояла бы лучше, чем то предполагалось, потому что иногда он поражал тех, кто считал его дилетантом, способностью вдруг совершенно уйти в себя, скрыться, как улитка в свою раковину, для последней тщательной отработки написанного.

Но в то утро, как ни старался он сосредоточить мысли на своей работе, они все время возвращались к разговору с племянницей и к происходившему за день перед этим в студии его жены обсуждению дел миссис Хьюз, домашней швеи. Когда Стивн, Сесилия и Тайми уходили после обеда, Стивн, пропустив жену и дочь вперед, задержался у садовой ограды, чтобы подать брату последний совет:

— Никогда не становись между мужем и женой — ты ведь знаешь, что такое люди из низших классов!

И через темный сад оглянулся на дом. В одном

из окон на первом этаже горел свет. Окно было открыто, и в нем виднелась небольшая зеленая настольная лампа, а рядом с ней лицо и плечи мистера Стоуна. Покачав головой, Стивн сказал вполголоса:

— А наш старый приятель-то каков, а? «В тех местах, на тех улицах...» Тут уж пахнет не просто безобидным чудачеством, бедный старикан становится почти...

И, слегка коснувшись двумя пальцами лба, он быстро пошел прочь легким, пружинистым шагом человека, умеющего обуздывать свое воображение.

Постояв с минуту среди деревьев, Хилери тоже поглядел на освещенное окно, разрывавшее темноту перед домом, и его маленький серебристый бульдог, выглядывавший из-за ноги хозяина, посмотрел туда же. Мистер Стоун стоял с пером в руке, погруженный в свои мысли, и его седая голова и бородка слегка двигались как бы в такт им. Вот он подошел к окну и, очевидно, не замечая зятя, стал глядеть в темноту.

В темноте таились все очертания, все пятна света и все тени лондонской весенней ночи: темные деревья в цвету; бледная желтизна газовых фонарей, этих тусклых эмблем неуверенности

в себе всякого города; раскиданные на тротуарах и легшие узорами лиловые тени крохотных листьев, словно гроздья черного винограда, втоптанного в землю ногами прохожих. Видны были и силуэты людей, спешащих к своим домам, и огромные квадратные силуэты домов, где жили эти люди. Высоко над городом дрожал светлый нимб — дымка желтого света, туманящего звезды. На противоположной стороне улицы вдоль ограды медленно и бесшумно двигалась черная фигура полисмена.

С этого часа и до одиннадцати вечера, когда автор «Книги о всемирном братстве» приготовит себе какао на маленькой спиртовке, он будет попеременно то склоняться над рукописью, то бездумно вглядываться в ночь…

Внезапно на Хилери вновь нахлынули те мысли, которым он предавался возле бюста Сократа.

«У каждого из нас есть тень в тех местах — на тех улицах…»

В этом изречении было что-то навязчивое. Оставалось либо отнестись к нему юмористически, как это сделал Стивн, либо… В какой мере обязан человек отождествлять себя с другими людьми, особенно людьми слабыми, в какой мере имеет он право изолироваться от всех, держаться

integer vitae[4]? Хилери не был так молод, как его племянница или Мартин, им все казалось просто, но он не был и так стар, как их дед, для которого жизнь уже утратила сложность.

Остро сознавая свою врожденную неспособность к решению этого, вернее, любого вопроса, за исключением разве лишь вопросов, касающихся литературного мастерства, он встал из-за стола и, кликнув Миранду, вышел из дому. Он вдруг надумал посетить миссис Хьюз на Хаунд-стрит и своими глазами увидеть, каково там положение дел. Но была еще и другая причина, почему ему хотелось пойти туда…

---

[4] Примечания: 4
В стороне от жизни *(лат.)*.

Глава IV
Маленькая натурщица

Когда прошедшей осенью Бианка задумала писать свою картину «Тень», никто не был так изумлен, как Хилери, когда она именно его попросила подыскать ей натурщицу. Не зная сюжета картины и уже многие годы, а может быть, даже и никогда не имея доступа в духовный мир жены, он ответил:

— А ты не хочешь, чтобы тебе позировала Тайми?

— У нее слишком прозаическая внешность, мне нужен совсем другой типаж. И затем, леди мне не годится. Фигура должна быть полуобнаженной.

Хилери усмехнулся.

Бианка прекрасно знала почему: потому что она делила всех женщин на леди и на прочих. — И она поняла также, что усмешка эта относится не столько к ней, сколько к нему самому, так как втайне он соглашался с таким делением.

Неожиданно она и сама усмехнулась.

Вся история их совместной жизни выразилась в этих двух усмешках. Они были полны смысла,

они говорили о бесчисленных часах сдерживаемого раздражения, о многих неоправдавшихся надеждах и безуспешных попытках сблизиться. Они явились наивысшим, убедительнейшим доказательством полного расхождения двух жизненных путей — расхождения медленного, отнюдь не преднамеренного и тем более безнадежного, что развивалось оно так спокойно и постепенно. Между ними никогда не происходило открытых ссор, потому что оба придерживались просвещенных взглядов на брак, но они все время усмехались, усмехались так часто и в течение стольких лет, что трудно было бы представить себе людей более далеких друг другу. Усмешки эти не давали им признаться даже самим себе, до какого трагического состояния дошла их супружеская жизнь. Правда, хотя ни Бианка, ни Хилери не могли удержаться от них, усмешки не были умышленными и не имели своей целью ранить: они исходили от враждебно настроенных душ и появлялись на лицах так же непроизвольно, как падает на гладь воды лунный свет.

Хилери два вечера подряд провел среди своих приятелей-художников, пытаясь на основании некоторых указаний Бианки найти натурщицу для «Тени». И наконец нашел. Фамилию ее, Бар-

тон, и адрес дал ему художник Френч, писавший только натюрморты.

— Мне она ни разу не позировала, — пояснил Френч. — Это моя сестра отыскала ее где-то в одном из западных графств. У девицы в прошлом, кажется, какая-то история. Какая именно, мне неизвестно. По-моему, она приехала сюда недавно, всего месяца три назад.

— Она уже больше не позирует вашей сестре?

— Нет, сестра вышла замуж и уехала в Индию. Не знаю, станет ли эта особа позировать полуобнаженной. Но думаю, что станет. Все равно, рано или поздно она к этому придет. Так пусть начинает теперь, тем более что позировать придется женщине. В ней есть что-то привлекательное. Попробуйте, может, подойдет.

И с этими словами Френч снова принялся за свой натюрморт, от которого его оторвал разговор с Хилери.

Хилери написал девушке, приглашая ее зайти. Она явилась в тот же день, перед самым обедом.

Хилери застал ее у себя в кабинете: она стояла посреди комнаты, словно не смея приблизиться к мебели. Уже темнело, и он едва разглядел ее лицо. Она стояла не шевелясь, всем своим видом выражая терпение; на ней была поношенная

коричневая юбка, бесформенная блузка и голубовато-зеленый берет с помпоном. Хилери включил свет. Он увидел круглое личико с широкими скулами, глаза, как незабудки, короткие, черные, как сажа, ресницы и слегка раскрытые губы. Трудно было судить о ее фигуре в этой старой, потрепанной одежде; видно было только, что росту она среднего, что шея у нее белая, голова хорошо посажена, а волосы русые и густые. Хилери заметил, что подбородок ее, хотя и хорошей формы, слишком мал и мягок. Но что сразу бросилось ему в глаза — это ее выражение терпеливого ожидания, словно где-то за пределами настоящего она видит нечто, необязательно приятное, что непременно наступит. Не знай он от Френча, что она приехала из деревни, он принял бы ее за городскую жительницу — так она была бледна. Во всяком случае, ее внешность не казалась «слишком прозаической». Однако речь ее, с легкой картавостью, характерной для западных диалектов, звучала в достаточной мере прозаично: девушка говорила только о продолжительности сеансов и плате, которую ей положат. Посреди разговора она вдруг упала в обморок, и Хилери пришлось приводить ее в чувство печеньем и ликером, который он впопыхах принял за коньяк. Оказалось, что в

последний раз она ела накануне утром, и завтрак ее состоял из чашки чая. Хилери ее пожурил и услышал такой прозаический ответ:

— Если нет денег, ничего не купишь… Мне тут не к кому обратиться, я ведь не здешняя.

— Значит, вы не могли найти работы?

— Не могла, — мрачно ответила маленькая натурщица. — Я не хочу позировать так, как им всем хочется. Уж если не останется ничего другого…

Кровь бросилась ей в лицо, но в следующее мгновение оно снова побледнело.

«Ага, — подумал Хилери, — кое-какой опыт у нее уже есть».

Ни он, ни его жена не могли оставаться равнодушными перед лицом нищеты, но филантропия их проявлялась по-разному. Хилери был просто-напросто не способен отказывать в помощи тому, кто протягивал к нему руку. А Бианка, державшаяся более здоровых взглядов в социальных вопросах, считала, что благотворительность порочна и в правильно организованном обществе никто не должен нуждаться в милостыне. Всех, кто к ней за этим обращался, она, подобно Стивну, отсылала в «Общество по предотвращению нищенства», которое не жалело ни времени, ни сил, чтобы подтвердить самые худшие свои

предположения.

Но в данном случае прежде всего, конечно, необходимо было накормить бедную девушку, а уж потом выяснять, насколько сносны условия ее существования. Оказалось, что сносными их назвать нельзя, и требовалось устроить ее как-нибудь получше. А так как в благотворительных делах всегда желательно убивать одним ударом двух зайцев, тут же договорились с миссис Хьюз, домашней швеей, у которой сдавалась комнатка без мебели, — миссис Хьюз была готова получать за нее четыре, а то и три с половиной шиллинга в неделю. Подыскали и обстановку: скрипучую кровать, умывальник, стол, комод, коврик, два стула, кое-какую кухонную посуду, старые фотографии и гравюры, хранившиеся где-то в глубине шкафов, а также маленькие часы, которые иной раз забывали показывать время. Все это и еще кое-что самое необходимое из одежды было отправлено в фургончике по месту назначения вместе с тремя папоротниками, уже почти отжившими свой век, и горшком с растением, носящим название «Девичья честь». Вскоре после этого девушка пришла позировать Бианке. Она оказалась очень тихой и безропотной натурщицей, и ей даже не пришлось стоять полуобнаженной, потому что

Бианка в конце концов решила, что лучше изобразить «Тень» одетой: она свободно обсуждала обнаженную натуру и могла вполне спокойно смотреть на нее, но, когда дело доходило до того, чтобы самой писать неодетых людей, ее охватывало непреодолимое физическое отвращение.

Хилери, которого маленькая натурщица интересовала, как всякого интересовал бы человек, от голода свалившийся без чувств к его ногам, заходил иной раз в студию и сидел, поглядывая на изголодавшуюся девушку добрыми, чуть прищуренными глазами. Всем своим видом он подтверждал справедливость того, что говорили о нем знакомые: «Хилери способен дать целую милю крюку, только бы не наступить на муравья». Маленькая натурщица с той самой минуты, как он влил ликер сквозь ее стиснутые зубы, почувствовала, очевидно, что он имеет какие-то права на нее, ибо только для его ушей сберегала она свои маленькие прозаические новости. Она сообщала ему их в саду, по дороге на сеанс или после сеанса, либо останавливалась возле кабинета Хилери, а иногда и заходила в самый кабинет и держала себя, как ребенок, который пришел к взрослому показать свой ушибленный пальчик. Она могла сказать совершенно неожиданно: «Ми-

стер Даллисон, а я за эту неделю скопила четыре шиллинга» или: «Мистер Даллисон, а старый Крид пошел сегодня в больницу».

Лицо ее, уже не такое бескровное, как в тот первый вечер, все еще было бледно и в холодную погоду покрывалось пятнами; на висках у нее проступали жилки, а под глазами лежали тени. Губы ее так всегда и оставались слегка раскрытыми, и по-прежнему казалось, что она ждет и боится чего-то; она была похожа на маленькую мадонну или Венеру с картины Боттичелли. Этот ее взгляд в сочетании с простоватостью речи придавал известную остроту всему ее облику.

В первый день Рождества к обозрению уже законченной картины были допущены мистер Пэрси, заехавший по дороге (он «прогуливал свой авто»), и другие ценители искусства. Бианка пригласила на эту церемонию свою натурщицу, рассчитывая, что таким образом поможет девушке подыскать себе новую работу. Но маленькая натурщица, сразу юркнув куда-то в угол, так и осталась стоять там, спрятавшись за старым холстом. Те из гостей, кто замечал ее и улавливал сходство с изображением на картине, с любопытством поглядывали на девушку и проходили мимо, замечая вполголоса, что она, в общем,

очень интересный типаж. Заговаривать с ней они не пробовали, опасаясь, что не найдут с ней общего языка. А возможно, они боялись, как бы их обращение не показалось ей покровительственным. Так или иначе, но она промолчала весь вечер. Хилери это было неприятно. Он то и дело подходил к девушке, улыбался, вызывал ее на разговоры, шутил, но она на все отвечала лишь: «Да, мистер Даллисон» или «Нет, мистер Даллисон».

Увидев его в тот момент, когда он возвращался после одной из таких коротеньких бесед, художественный критик, стоявший возле картины, многозначительно улыбнулся, и глаза его на круглом, гладко выбритом чувственном лице приобрели зеленоватый оттенок, словно жир в черепаховом супе.

Еще два человека обратили на девушку особое внимание — старые знакомые, мистер Пэрси и мистер Стоун. Мистер Пэрси подумал: «А в общем, недурненькая девочка», и глаза его то и дело обращались в ее сторону. То, что девушка была профессиональной натурщицей, придавало ей в его глазах что-то пикантное и запретно-соблазнительное.

Мистер Стоун тоже заметил девушку, но выра-

зил это несколько иначе. Он подошел к ней, как всегда, как-то странно, по-своему, будто видел перед собой только ее одну.

— Вы живете не в семье? — спросил он. — Я зайду к вам.

Если бы это неожиданное предложение исходило от критика или от мистера Пэрси, оно носило бы один смысл, в устах же мистера Стоуна оно, само собой разумеется, значило другое. Сказав то, что он хотел сказать, автор «Книги о всемирном братстве» отвесил поклон, повернулся и отошел. Поняв, что он ничего, кроме двери, перед собой не видит, все расступились, давая ему дорогу. За спиной его, как это бывало всегда, послышались восклицания:

— Удивительный старик!

— Вы знаете, он круглый год купается в Серпентайне.

— И говорят, сам себе готовит еду и убирает свою комнату, а все остальное время пишет какую-то книгу.

— Чудак, да и только!

Глава V
Комедия начинается

Улыбавшийся художественный критик был, как и все люди, достоин скорее жалости, нежели порицания. Ирландец по крови, человек недюжинных способностей, он вступил в жизнь преисполненный высоких идеалов и веры в то, что никогда им не изменит. Он мечтал служить искусству, служить преданно и бескорыстно, но однажды, руководимый чувством личной мести, дал волю своему желчному темпераменту и с тех пор уже не знал, когда он снова вдруг у него сорвется с цепи, как пес, который возвращается потом домой весь вымаранный в грязи. Более того, постепенно он перестал казнить себя за такие срывы. Он растерял один за другим все свои идеалы. Теперь он жил одиноко, утратя чувства стыда и собственного достоинства и черпая утешение в виски, — человек озлобленный, заслуживающий жалости и, когда навеселе, довольный жизнью.

Он уже успел обильно закусить до того, как пришел к Бианке на этот рождественский праздник, но к четырем часам винные пары, помогавшие

ему воспринимать мир как вполне приятное место, почти улетучились, и его снова мучило желание выпить. А может быть, увидев эту девушку с мягким взглядом, он почувствовал, что она должна принадлежать ему, и испытывал естественное раздражение при мысли, что она принадлежит или будет принадлежать кому-то другому. Весьма вероятно также, что органическая мужская неприязнь к творениям женщин-художниц привела его в скверное расположение духа.

Два дня спустя в одной из ежедневных газеток появилась такая заметка без подписи: «Мы узнали, что в галерее Бенкокс вскоре будет выставлена картина «Тень», написанная Бианкой Стоун, являющейся, как то мало кому известно, женой писателя Хилери Даллисона. Картина эта весьма fin de siècle и с неприятным сюжетом: на ней изображена женщина, надо полагать, уличная, стоящая в свете газового фонаря, — произведение довольно анемичное. Если мистер Даллисон, который находит модель, служившую художнице, очень интересной, пожелает воплотить ее в одном из своих очаровательных стихотворений, результат, мы надеемся, будет полнокровнее».

Зеленовато-белый клочок бумаги, содержащий

эту заметку, был вручен Хилери женой во время завтрака. Щеки его медленно залились краской; Бианка не отрывала глаз от этих покрасневших щек. Быть может, мелочи и в самом деле, как говорят философы, имеют большое прошлое, являясь лишь последними звеньями длинной цепи фактов; во всяком случае, они часто приводят к тому, что нельзя не считать серьезным результатом.

Супружеские отношения между Хилери и его женой, до сих пор носившие характер хотя бы формального брака, с этого момента резко изменились. После десяти часов вечера их жизни протекали так далеко одна от другой, как если бы они жили в разных домах. И не было сделано ни малейших попыток объясниться, не последовало ни упреков, ни оправданий: один поворот ключа в двери — и все, и даже это было лишь символом, ибо произошло только однажды, чтобы избежать грубости прямого объяснения. Подобного намека вполне хватило для такого человека, как Хилери, чья деликатность, боязнь очутиться в смешном положении и способность замыкаться в себе совершенно исключали дальнейшие слова или поступки. Оба при этом, вероятно, сознавали, что объяснять, собственно, и нечего. Анонимный

double entente[5] не являлся, в сущности, веским доказательством, которое могло бы послужить причиной разрыва супружеских уз. Беда лежала значительно глубже: раненое женское самолюбие, сознание, что она более не любима, — все это давно взывало к отмщению.

Однажды утром, дня через три после этого случая, невольная виновница его явилась в кабинет к Хилери и, приняв свою всегдашнюю позу покорного терпения, выложила ему свои маленькие новости. Как и всегда, они и в самом деле были невелики, и, как всегда, от нее веяло беспомощностью — ребенок с ушибленным пальчиком. У нее нет больше работы, сказала она, она задержала недельную плату за комнату, она не знает, как теперь быть. Миссис Даллисон говорит, что она ей больше не нужна, — ну что она такого сделала, она просто не понимает! Картина окончена, это правда, но ведь миссис Даллисон обещала, что будет писать ее еще раз, для другой картины…

Хилери молчал.

…а этот старый джентльмен, мистер Стоун, заходил к ней. Он хочет, чтобы она приходила и писала под диктовку его книгу — два часа в день,

---

[5] Примечания: 5
Двусмыслица; *(здесь)* двусмысленный намек *(фр.).*

с четырех до шести, по шиллингу за час. Как ей поступить: согласиться? Он сказал, что книгу свою он будет писать еще много лет.

Прежде чем ответить, Хилери целую минуту стоял молча, глядя в огонь камина. Маленькая натурщица украдкой вскинула глаза, и в этот момент он обернулся и посмотрел на нее. Девушка смутилась. И в самом деле, взгляд был критический и недоверчивый — так Хилери глядел бы на антикварную книгу, сомневаясь в ее подлинности.

— А вы не думаете, — проговорил он наконец, — что для вас, быть может, самое лучшее — вернуться в деревню?

Маленькая натурщица решительно замотала головой:

— Нет, ни за что!

— Почему же все-таки — нет? Жизнь, которую вы теперь ведете, для вас совсем не подходящая.

Девушка снова взглянула на него украдкой, потом сказала угрюмо:

— Я не могу туда вернуться.

— Почему? Ваши родные плохо к вам относятся?

Она покраснела.

— Нет, просто я не хочу туда ехать. — Поняв

по выражению лица Хилери, что деликатность запрещает ему продолжать расспросы, она оживилась: — Старый джентльмен говорит, что работа у него даст мне независимость.

— Ну что ж, — ответил ей Хилери, пожав плечами. — Тогда вам, пожалуй, следует принять его предложение.

Она шла по дорожке от дома и то и дело оборачивалась, словно хотела еще раз выразить свою благодарность.

Когда Хилери немного погодя оторвался от рукописи и посмотрел в окно, девушка все еще не ушла: она стояла возле палисадника и смотрела сквозь кусты сирени на дом и вдруг легонько подпрыгнула, словно ребенок, которого отпустили из школы. Хилери встал взволнованный. Этот ребяческий жест осветил, как луч фонаря, чужую, неизвестную для него жизнь. Он остро почувствовал, как одинока эта девочка — без денег, без друзей, одна в огромном городе.

Прошли январь, февраль и март, и все это время маленькая натурщица ежедневно приходила писать под диктовку «Книгу о всемирном братстве».

В комнату мистера Стоуна — он настоял на том, чтобы самому ее оплачивать, — никто из слуг

никогда не входил. Она была на нижнем этаже, и всякий, кто между четырьмя и шестью часами вечера проходил мимо ее двери, мог слышать, как старик медленно диктует, время от времени останавливаясь, чтобы произнести какое-нибудь слово по буквам. Эти два часа, как видно, посвящались переписке набело всего того, что он успевал сделать за предыдущие семь часов.

В пять часов за дверью неизменно слышался стук посуды и раздавался голосок маленькой натурщицы — ровный, негромкий, деловитый — как всегда, она делала какие-то незначительные замечания, — а затем и голос мистера Стоуна, который тоже делал замечания, явно не имевшие никакой связи с тем, что говорила его юная приятельница. Однажды, когда дверь случайно оказалась открытой, Хилери услышал следующий разговор:

М а л е н ь к а я н а т у р щ и ц а: Мистер Крид говорит, что прежде он был лакеем. У него ужасно некрасивый нос.

(Пауза.)

М и с т е р С т о у н: В те дни люди были поглощены самосозерцанием. Их дела и занятия казались им столь важными…

М а л е н ь к а я н а т у р щ и ц а: Мистер Крид го-

ворит, что все его сбережения ушли на докторов.

М и с т е р С т о у н: …но это было не так.

М а л е н ь к а я н а т у р щ и ц а: Мистер Крид говорит, что его с детства приучали ходить в церковь.

М и с т е р С т о у н *(неожиданно):* С семисотого года нашей эры не существует церкви, в которую стоило бы ходить.

М а л е н ь к а я н а т у р щ и ц а: Да он и не ходит.

Заглянув в дверь, Хилери увидел девушку: пальцами, перепачканными в чернилах, она держала кусок хлеба с маслом; губы у нее были полураскрыты — она готовилась откусить, — а глаза с любопытством устремлены на мистера Стоуна; он держал в прозрачной руке чайную чашку, и неподвижный взгляд его уходил куда-то в пространство.

Однажды, уже в апреле, мистер Стоун в пять часов появился в дверях кабинета Хилери, еще издали, как обычно, возвестив о своем приближении запахами твида и печеного картофеля.

— Она не пришла, — сказал он.

Хилери положил перо на стол.

Это был первый по-настоящему весенний день, и он спросил:

— В таком случае, быть может, вы бы согласились разделить со мной прогулку, сэр?

— Да, — ответил мистер Стоун.

Они отправились в Кенсингтонский сад. Хилери шел, чуть опустив голову, а мистер Стоун — обратив взгляд к своим далеким мыслям и выставив вперед седую бородку.

Звезды крокусов и бледно-желтых нарциссов сверкали на своих зеленых небосводах. Почти на каждом дереве ворковал голубь, на каждом кусте распевал свою песню дрозд. А на дорожках гуляли младенцы в колясочках. Здесь был их рай, и сюда они являлись ежедневно, чтобы с безопасного расстояния смотреть на маленьких перепачканных девчурок, которые сидели на траве и нянчили своих таких же перепачканных братишек, а также слушать бесконечную болтовню уличной детворы и учиться решать проблему неимущих классов. Младенцы сидели в колясочках и задумчиво сосали резиновые соски. Впереди колясок бежали собаки, позади шли няньки.

Среди деревьев реял дух Цвета, окутывая их коричневато-лиловой дымкой; солнце садилось, окрашивая небо в шафран. Стоял один из тех дней, что вызывают в сердце томление, — так же,

как луна томит сердца детей.

Мистер Стоун и Хилери сели на скамью у дороги.

— Вязы… неизвестно, с какого времени они приняли вот эту свою форму, — проговорил мистер Стоун. — У них у всех одна общая душа, так же как и у людей.

Он умолк, а Хилери с беспокойством огляделся по сторонам. Но они были на скамье одни.

Мистер Стоун снова заговорил:

— Их форма и равновесие — это и есть их единая душа, они сохраняют ее неизменной от века к веку. Ради этого они и живут. В те дни… — голос его стал глуше, он просто забыл, что он не один, — когда у людей еще не было общих представлений, им следовало бы брать пример с деревьев. Вместо того чтобы пестовать множество маленьких душ, питая их различными теориями о загробной жизни, им бы следовало заниматься усовершенствованием существующих форм, и таким образом сделать более достойной единую, всеобщую человеческую душу.

— Кажется, вязы всегда считались неподатливыми деревьями, — заметил Хилери.

Мистер Стоун повернул голову и, увидев рядом с собой зятя, спросил:

— Вы, кажется, что-то сказали мне?

— Да, сэр.

Мистер Стоун продолжал задумчиво:

— Быть может, пройдемся?

Они встали со скамьи и возобновили прогулку…

Маленькая натурщица сама объяснила Хилери, почему она не пришла в тот день.

— Мне надо было кое с кем встретиться, — сказала она.

— Предлагали еще работу?

— Да, друг мистера Френча.

— Кто же именно?

— Мистер Леннард. Он скульптор, у него есть студия в Челси. Он хочет, чтобы я ему позировала.

— Ах так!

Она глянула украдкой на Хилери и повесила голову.

Хилери отвернулся к окну.

— Надеюсь, вы понимаете, что значит позировать скульптору?

За его спиной прозвучал голос маленькой натурщицы, как всегда трезво-деловитый:

— Он сказал, что у меня как раз такая фигура, какая ему требуется.

Хилери все стоял, уставившись в окно:

— Мне казалось, вы не хотели позировать обнаженной.

— Я не желаю всю жизнь оставаться нищей.

Неожиданный ответ и странный тон его заставили Хилери обернуться.

Девушка стояла в полосе солнечного света: ее бледные щеки покрылись румянцем, бледные полураскрытые губы порозовели, глаза в оправе коротких черных ресниц были широко раскрыты и глядели мятежно, округлая юная грудь вздымалась, как после долгого бега.

— Я не хочу всю жизнь только и делать, что писать под диктовку.

— Ну что ж…

— Мистер Даллисон, я не хотела… это я только так сказала, право же! Я буду делать только то, что вы мне велите, да, да!

Хилери глядел на нее критическим, недоверчивым взглядом, будто спрашивал: «Что ты такое? Подлинно редкое издание или же…?» — точно таким взглядом, каким уже смутил ее однажды.

Наконец он сказал:

— Поступайте так, как считаете нужным. Я никогда никому не даю советов.

— Я же знаю, что вы не хотите, чтобы я пози-

ровала скульптору, а раз вы не хотите, значит, и мне не хочется, я даже рада отказаться.

Хилери улыбнулся:

— Вам разве не нравится работать у мистера Стоуна?

Маленькая натурщица сделала гримаску:

— Мистер Стоун мне нравится — такой смешной старичок.

— Да, это общее мнение, — ответил Хилери, — но, видите ли, мистер Стоун считает, что это не он, а мы смешные.

Маленькая натурщица тоже слегка улыбнулась. Полоса солнечного света тянулась теперь позади нее — девушка стояла на фоне миллиона плавающих в воздухе золотых пылинок, и на мгновение Хилери почудилось: это юная Тень Весны, ожидающая, что принесет ей грядущий год.

Мистер Стоун, сказав из-за двери «Я готов», прервал их беседу…

Хотя положение девушки в доме на первый взгляд казалось укрепившимся, время от времени какой-нибудь маленький инцидент — так, пустяки, соломинки, поднятые ветром, — показывал, какие чувства скрываются за внешним дружелюбием, за той осторожной и почти из-

виняющейся манерой, с какой обращаются к бедным и слабым, — манерой, столь характерной для людей, обладающих тем, что Хилери называл общественной совестью. Всего за три дня до того, как он сидел в раздумье подле бюста Сократа, Сесилия, приглашенная к завтраку, бросила такое замечание:

— Конечно, никто не в состоянии разобрать папин почерк, я знаю, но почему бы ему не диктовать машинистке, а не этой девчушке? Машинистка справилась бы вдвое быстрее. Просто не понимаю.

Ответ Бианки последовал несколькими секундами позже.

— Быть может, это понимает Хилери?

— Тебе неприятно, что она приходит сюда? — спросил он.

— Нет, не очень. А что?

— По твоему тону я заключил, что тебе это неприятно.

— Я не сказала, что мне неприятно то, что она приходит работать к отцу.

— А разве она приходит еще за чем-нибудь?

Сесилия, быстро опустив глаза в тарелку, сказала, пожалуй, чересчур поспешно:

— Папа все-таки невероятно эксцентричен.

В последующие три дня в те часы, когда приходила маленькая натурщица, Хилери уходил из дому.

Вот это и было второй причиной, почему в то утро первого мая он довольно охотно пошел навестить миссис Хьюз, проживавшую на Хаунд-стрит, в Кенсингтоне.

Глава VI
Первое паломничество на Хаунд-стрит

Хилери и его маленький бульдог вступили на Хаунд-стрит с ее восточного конца. То была серая улица, застроенная трехэтажными домами одного и того же архитектурного стиля. Почти все входные двери были открыты, и на порогах младенцы и ребятишки постарше вкушали радость пасхальных праздников. Они сидели тихо, с самым апатичным видом, лишь кое-где вдруг кто-то зашумит, послышатся шлепки… Почти все дети были очень грязны; некоторые щеголяли в целых башмаках, на других были только жалкие остатки обуви, двое или трое были вовсе разуты. Много детей играло возле сточной канавы. Их пронзительные крики и лихорадочные движения навели Хилери на мысль, что принадлежность к данной «касте» требует от них особой жизненной установки: «Сегодня мы живем; завтра, если ему суждено наступить, будет таким же, как сегодня».

Не отдавая себе в том отчета, он шел по самой середине улицы; Миранда, которой еще никогда

в жизни не приходилось опускаться столь низко, бежала вслед за ним и, поднимая на него глаза, казалось, говорила: «Одно условие я все же ставлю: я не вступаю здесь в разговоры ни с одной собакой».

По счастью, собак вокруг не было, зато попадалось множество кошек, и все очень тощие.

В верхних окнах домов Хилери видел бедно одетых женщин — каждая занималась каким-нибудь делом, время от времени бросая его, чтобы выглянуть в окно. Но вот Хилери дошел до конца улицы, путь ему преградила стена. Он повернул назад и, так же шагая посреди мостовой, прошел ее снова из конца в конец. Ребятишки равнодушно таращили глаза на его высокую фигуру, как видно, чувствуя, что он не принадлежит к тем, для которых, как и для них самих, не существует завтра.

Дом номер один по Хаунд-стрит был, бесспорно, украшением улицы, ибо примыкал к саду, относящемуся к дому рангом повыше. Входная дверь была, однако, не закрыта, и, потянув за обрывок веревки от звонка, Хилери вошел.

Первое, что он заметил, это запах — не то чтобы уж очень скверный, но не слишком приятный: смешанный запах стирки и крашеных стен, слег-

ка разбавленный ароматом копченой селедки. Второе, что заметил Хилери, был его собственный серебристый бульдог, который стоял на пороге, разглядывая рыжего котенка. Это крохотное, яростно выгибавшее спину существо пришлось прогнать, чтобы дать бульдогу войти. Третье, что заметил Хилери, была низенькая хромая женщина, стоявшая в дверях одной из комнат. Скуластое лицо ее с широко раскрытыми светло-серыми глазами и темными ресницами выражало терпение; она опиралась о ручку двери, давая отдых хромой ноге.

— Не знаю, есть ли там кто наверху, — сказала она. — Я бы пошла спросила, да вот нога у меня болит.

— Да-да, я понимаю, — ответил Хилери. — Очень вам сочувствую.

— Она у меня вот уж пять лет такая, — сказала женщина, вздохнув, и хотела было уйти обратно в комнату.

— И ничего нельзя сделать?

— Раньше я думала, что можно, но, говорят, задета кость; я с самого начала запустила болезнь.

— Но почему же?

— Некогда было этим заниматься, — сказала женщина, словно оправдываясь, и вошла к себе;

комната была так заполнена фарфоровыми чашечками, фотографиями, цветными открытками, восковыми фруктами и тому подобными украшениями, что для огромной кровати, казалось, не хватало места.

Простившись с женщиной, Хилери стал подниматься по лестнице. На следующем этаже он остановился. Здесь, в комнате с окном во двор, жила маленькая натурщица.

Он огляделся. Обои в коридоре были тускло-оранжевого цвета, ставень на окне оторвался, и тут тоже, все собой заполняя, царил запах краски, стирки и копченой селедки. Хилери почувствовал тошноту, какой-то внутренний протест. Жить здесь, подниматься по этим ступеням, проходить мимо засаленных, отвратительного цвета стен, ступать по этой грязной дорожке, дышать этим… И так каждый день — да нет, два… четыре… шесть — кто знает, сколько раз в день? И то чувство, которое первым привлекает или отвращает, первым, вместе с зарождением культуры тела, становится привередливым и последним изгоняется из храма чистого духа; то чувство, отшлифовке которого служит все воспитание и образование; то чувство, которое, всегда опережая человека хотя бы на один дюйм, способно тормозить раз-

витие наций и парализовать все социальные начинания, — Чувство Обоняния — пробудило в Хилери его многовековой аристократизм, подняло рой призраков всех Даллисонов, более трех столетий служивших церкви или государству. Оно воскресило души всех привычных ему запахов, и к ним еще примешалось овеянное свежим воздухом и продушенное лавандой эстетическое чувство. Оно вызвало простую, совсем не экстравагантную потребность безупречной чистоты. И хотя Хилери знал, что анализ подтвердит одинаковость состава его крови и крови жильцов этого дома, и понимал также, что сложный запах краски, стирки и копченой селедки, в сущности, вполне безвредный запах, он тем не менее хмуро глядел на дверь в комнату маленькой натурщицы; ему вспомнилось, как поморщился носик его племянницы, когда она описывала этот дом. Сопровождаемый своим серебристым бульдогом, Хилери стал подниматься дальше по лестнице.

Когда высокая тонкая фигура Хилери, его доброе озабоченное лицо, а затем и светлые агатовые глаза собачонки, выглядывающей из-за его ног, показались у открытой двери одной из комнат верхнего этажа, их встретил только младенец, сидевший посреди комнаты в деревянном ящи-

ке. Младенец этот, очень похожий на кусочек замазки, которому природа случайно приделала пару подвижных черных глаз, был обряжен в женскую вязаную кофту, — она целиком закрывала ему ножки и ручки, так что ничего, кроме его головы, не было видно. Кофта отделяла его от древесных стружек, на которых он сидел, а поскольку он еще не постиг искусства вставать на ноги, стенки ящика отделяли его от всего остального мира. Изолированный от своего царства, подобно царю всея Руси, он сидел в полном бездействии. Его владения вмещали жалкую кровать, два стула и хромоногий умывальник, под сломанную ножку которого была подставлена старая скамеечка. Платья и верхняя одежда висели на вбитых в стену гвоздях. У камина были расставлены кастрюли, на голом сосновом столе стояла швейная машина. Над кроватью висела олеография с изображением Рождества Христова, — очевидно, приложение к рождественскому номеру какого-нибудь журнала, — а над ней штык, и под штыком чья-то безграмотная рука начертала печатными буквами на клочке грубой бумаги следующие слова: «Штыком этим зако-

лол троих под Элендслаагте[6] С. Хьюз». Стены были украшены фотографиями, на подоконнике стояли два поникших папоротника. Все в целом свидетельствовало об отчаянных усилиях блюсти чистоту и опрятность. Громоздкий буфет с неплотно закрытыми дверцами был набит всем тем, чему не следовало быть на виду. Окно в этом царстве младенца было плотно закрыто; пахло здесь краской, стиркой и копченой селедкой — и кое-чем другим.

Хилери посмотрел на ребенка, ребенок посмотрел на него. Глаза крохотного серого человеческого существа, казалось, спрашивали: «Ты ведь не мама?»

Хилери нагнулся и дотронулся до его щечки. Ребенок мигнул черными глазами.

«Ну конечно, ты не мама», — как будто хотел он сказать.

У Хилери сдавило горло; он повернулся и стал спускаться вниз. Остановившись возле комнаты маленькой натурщицы, он постучал и, не получив ответа, повернул ручку двери. Небольшая квадратная комнатка была пуста. В ней было достаточно чисто и аккуратно, стены

---

[6] Примечания: 6
Поселок в Южной Африке, место одного из боев англо-бурской войны.

оклеены сравнительно новыми обоями в розовых цветочках. Через открытое окно виднелось грушевое дерево в полном цвету. Хилери осторожно прикрыл дверь, стыдясь того, что вообще открывал ее.

На лестничной площадке, глядя на него в упор черными глазами — такими же, как у того младенца наверху, — стоял человек среднего роста, крепкого сложения, с коротко подстриженными темными волосами; его широкое скуластое лицо с прямым носом и черными усиками так загорело, что казалось коричневым. Он был одет в форменную одежду метельщика улиц: просторная синяя куртка, брюки засунуты в сапоги, доходящие до середины икр. В руках он держал фуражку.

После нескольких минут обоюдного лицезрения Хилери спросил:

— Вы, очевидно, мистер Хьюз?

— Да.

— Я заходил повидать вашу жену.

— Вот как!

— Вы, вероятно, знаете, кто я.

— Да, я вас знаю.

— К сожалению, дома у вас я не застал никого, кроме вашего ребенка.

Хьюз указал фуражкой на комнату маленькой

натурщицы.

— А я думал, вы, может, ее повидать заходили, — сказал он. Его черные глаза злобно горели; в выражении лица было нечто большее, чем классовая ненависть.

Хилери слегка покраснел и, не отвечая, бросив на Хьюза испытующий взгляд, прошел мимо и стал спускаться по лестнице. Миранда не успела последовать за ним. Она стояла на верхней ступеньке, чуть приподняв лапку.

«Я не знаю этого человека, — казалось, говорила она, — но он мне не нравится».

Хьюз усмехнулся.

— Бессловесную тварь я никогда не обижу, — сказал он, — иди, иди, дворняжка!

Подстегнутая словом, которого она не предполагала когда-либо услышать в свой адрес, Миранда поспешно сбежала вниз.

«Он вел себя умышленно дерзко», — думал Хилери, шагая прочь от дома.

— «Вест-министерскую», сэр? Ах ты господи… — Костлявая дрожащая рука протягивала ему зеленоватую газету. — По такому времени года ветер прямо-таки немыслимо холодный.

Перед Хилери стоял очень старый человек в очках в железной оправе, с распухшим носом,

вытянутой верхней губой и длинным подбородком. Он нарочито долго возился, ища сдачу с шестипенсовика.

— Ваше лицо мне знакомо, — сказал Хилери.

— Ну еще бы. Вы же бываете в этом магазине в табачном отделе. Я частенько вижу, как вы туда заходите. А иной раз покупаете «Пэл-Мэл» у того вон парня. — Он сердито тряхнул головой, указывая влево, где стоял человек помоложе его с кипой газет цветом побелее, чем «Вестминстерская». В этом жесте старика отразились долгие годы зависти, ревности, обиды на несправедливость судьбы. «По праву это ведь газета моя, — казалось, хотел он сказать, — а ее продает такой вот парень из низов, загребает мои барыши».

— Я продаю «Вест-министерскую», — продолжал старик. — Я и сам читаю ее по воскресеньям. Газета для джентльменов, для людей высших классов, хоть, признаться, ее политические взгляды… Но посудите сами, сэр, если этот тип продает здесь «Пэл-Мэл»… — Он доверительно понизил голос. — Ведь у него столько господ покупает, а господ — я хочу сказать, настоящих господ — осталось не так-то много, чтоб мне уступать их другому.

Хилери, слушавший старика из деликатности,

вдруг вспомнил:

— Вы ведь живете на Хаунд-стрит?

Старик с готовностью ответил:

— Ах, господи, да, конечно же, сэр! В доме номер один, и зовут меня Крид. А вы тот самый господин, к которому девушка ходит переписывать книгу.

— Она не мою книгу переписывает.

— Ну да, она ходит к старому господину. Я знаю его. Он однажды заходил ко мне. Пришел как-то в воскресенье утром. «Вот вам фунт табаку, — говорит. — Вы прежде были лакеем? Через пятьдесят лет лакеев больше не будет». И ушел. Он, видать, не совсем… — Дрожащей рукой старик постучал себя по лбу.

— Семья по фамилии Хьюз живет, кажется, в одном с вами доме?

— У них-то я и снимаю комнату! Вчера тут одна дама все выспрашивала меня про них. Может статься, это ваша супруга, сэр?

А глаза старика в то же время как будто обращались с речью к мягкой фетровой шляпе Хилери: «Да-да, мы видели таких, как вы, и в самых лучших домах. Вас принимают там за вашу ученость, и вы умеете вести себя так, как оно и следует настоящему джентльмену».

— Это, очевидно, была моя свояченица.

— Ах, господи! Она уж сколько раз покупала у меня газету. Настоящая леди, не из тех, кто… — Он опять перешел на доверительный тон. — Вы понимаете, что я хочу сказать, сэр? Не из тех, кто покупает готовые вещи в таких вот огромных магазинах. Ее я хорошо знаю!

— Тот старый джентльмен, что заходил к вам, — ее отец.

— Да ну? Вот какое дело…

Старый лакей умолк, как видно, в замешательстве.

Брови Хилери начали проделывать сложные эволюции — верный признак того, что он собирается подвергнуть испытанию свою деликатность.

— Как… как относится Хьюз к девушке, которая живет в комнате, соседней с вашей?

Бывший лакей ответил угрюмо:

— Она слушает моего совета и ни в какие разговоры с ним не вступает. Уж и вид у этого Хьюза! Право, какой-то чужак. Не знаю, откуда только он такой взялся.

— Он, кажется, был солдатом?

— Говорит, что да. Он ведь работает в приходском управлении. А когда напьется, тут уж для него и впрямь ничего святого нет. И уж и на

аристократию-то нападает, и на церковь, и на всякие учреждения. Таких солдат мне еще не доводилось встречать. Право, что чужак. Говорят, он из Уэльса.

— Какого вы мнения о той улице, где живете?

— Я ни с кем не якшаюсь. Улица, прямо сказать, для простонародья, люди на ней все невысокого сорта — нет в них никакой почтенности.

— Вот как!

— Все эти домишки попадают в руки к очень уж маленьким людям. Им наплевать на все, только б получать плату с жильцов. Да что с них и требовать-то? Уж очень простецкая публика, выкручиваются, как могут. Говорят, таких домишек в Лондоне тысячи. Болтают, будто их собираются сносить, да это все ерунда. Ну, где возьмешь для этого столько денег? Те, что сдают домишки, сами нищета, им даже не по карману стены-то обоями оклеить. А настоящие-то хозяева — крупные домовладельцы, — ну, они уж, конечно, ничуть не интересуются тем, что творится у них за спиной. Есть такие неучи, вроде этого Хьюза, которые несут всякую чепуху об обязанностях домовладельцев. Да ведь нельзя же, чтобы аристократы — и вдруг занимались такими делами! У них свои заботы, у них поместья. Я живал у таких, все об

этом знаю.

Маленький бульдог, которому причиняли беспокойство прохожие, улучил момент и стал бить хвостом по ногам бывшего лакея.

— Ох, господи! Это еще что такое! А ты не кусаешься? Эй ты, барбос!

Миранда поспешила встретиться взглядом с хозяином. «Видишь, что может случиться с леди, если она слоняется по улицам», — казалось, говорила она.

— Должно быть, тяжело стоять здесь целый день, особенно после той жизни, которую вы вели прежде?

— Я жаловаться не смею. Эта работа спасла меня.

— Вам есть где укрыться от непогоды?

И снова бывший лакей почтил его своим доверием:

— В дождливые вечера мне иной раз разрешают стоять вон там, под аркой; они-то знают, что я человек почтенный. Тому вон, — он кивнул в сторону своего конкурента, — это, уж ясно, позволить нельзя либо вон тем мальчишкам, которые только мешают уличному движению.

— Я хотел спросить вас, мистер Крид, можно ли чем помочь миссис Хьюз?

Тощее тело старика даже тряслось от негодования, когда он отвечал:

— Если правда то, что она говорит, то я на ее месте давно бы потащил его в суд, честное слово. Я бы потребовал разрешения разъехаться с ним и ни за что не стал бы жить с ним под одной крышей. Вот что ей следовало бы сделать. А если б он и после этого не угомонился, я б его запрятал за решетку, пусть бы даже он сперва убил меня. Терпеть не могу таких типов. Еще только сегодня утром он оскорбил меня.

— Тюрьма — это страшная мера, — сказал Хилери тихо.

Старик ответил решительно:

— На таких молодчиков только так и найдешь управу. Под замок — и держать, пока не взвоют.

Хилери хотел было ответить, но вдруг заметил, что стоит один. На краю тротуара в нескольких шагах от него Крид, запрокинув лицо, крепко прижимал к груди пачку второго выпуска «Вестминстерской газеты», которую ему только что сбросили с тележки.

«Ну что ж, — подумал Хилери, отходя. — Он-то уж по крайней мере имеет обо всем вполне определенное мнение».

Рядом с Хилери, упрямо сжав челюсти, семе-

нил маленький бульдог. Он смотрел вверх и, казалось, говорил: «Давно пора было расстаться с этим человеком действия!»

Глава VII
Раскиданные мысли Сесилии

Миссис Стивн Даллисон сидела у себя в будуаре за старым дубовым бюро и старалась привести в порядок свои мысли. Они были раскиданы перед ней и на листках именной бумаги, начинаясь словами «Дорогая Сесилия» или «Миссис Талентс-Смолпис просит», и на кусочках картона, вверху которых стояло название театра, картинной галереи или концертного зала, и на клочках бумаги уже не столь высокого качества, где первые слова были «Дорогой друг», а последнее — название какого-нибудь широко известного места, например «Уэссекс», чтобы изложенная после обращения просьба не вызывала подозрений. Помимо всего этого, перед миссис Даллисон лежали листы ее собственной именной бумаги, озаглавленные «Кенсингтон, Олд-сквер, 76», и две записные книжечки. Одна из них была переплетена в мраморную бумагу, и на ней стояло: «Прошу беречь эту книжку», а на другой, переплетенной в кожу какого-то окончившего свой век зверька, было написано только одно слово:

«Визиты».

На Сесилии была шелковая сиренево-голубая блузка с длинными рукавами, которые вовсе скрывали бы тонкие кисти рук, если бы не застегивались у запястья на серебряные пуговки в форме розочек. Сесилия слегка хмурила лоб, будто недоумевая, о чем, собственно, ее «мысли». Она сидела здесь каждое утро, перебирая их и разнося по своим записным книжечкам. Только благодаря такой кропотливой работе и она сама, и ее муж, и дочь могли быть в курсе всех новых течений. А так как нужно было следить за тем, чтобы в курсе нового быть ровно настолько, насколько это считалось необходимым, у Сесилии почти ежедневно разыгрывалась мигрень. Ибо страх, как бы не упустить одну новинку или не уделить слишком много внимания другой, был для нее вполне реальным. Столько встречалось интересных людей, столько было и у нее, и у Стивна всяких знакомств, которые ей хотелось бы поддерживать, что было чрезвычайно важно не поддерживать одного за счет остальных. Да еще нужно было оставаться женственной, и это, при необходимости шагать в ногу с веком, не на шутку утомляло ее. Иногда она с завистью думала о той великолепной изоляции, какой добилась

Бианка, — что это было именно так, она знала не с чьих-либо слов, а скорее интуитивно. Но Сесилия думала так нечасто, потому что была преданным созданием, Стивн и заботы о его комфорте всегда стояли у нее на первом месте. И хотя порой ее раздражало, что «мысли» приходят и приходят с каждой почтой, она, в сущности, раздражалась не так уж сильно, едва ли более, чем персидская кошечка у нее на коленях, которая тоже сидела часами, стараясь поймать собственный хвост; и у нее тоже на лбу пролегла морщинка, а щеки были немного втянуты.

Решив наконец, какие именно из концертов она вынуждена пропустить, уплатив свой взнос в «Лигу борьбы с консервированным молоком» и приняв приглашение посмотреть, как из воздушного шара будет падать человек, Сесилия задумалась. Потом, обмакнув перо в чернила, написала:

«Хай-стрит, Кенсингтон
Господам Розу и Торну.
Миссис Стивн Даллисон просит доставить ей на дом голубое платье, купленное ею вчера, немедленно, без переделки».

Нажимая кнопку звонка, она подумала: «Вот и

работа для бедняжки миссис Хьюз. Надо полагать, она сделает все не хуже, чем у Роза и Торна».

— Пожалуйста, попросите ко мне миссис Хьюз, — сказала она. — Ах, это вы, миссис Хьюз! Входите же!

Швея прошла на середину комнаты и стояла, опустив натруженные руки; в ее больших карих глазах не было ничего, кроме покорного терпения. Она была загадочным существом. Ее присутствие всегда вызывало в Сесилии что-то вроде досады, как будто она видела перед собой женщину, какой могла бы быть и сама, если бы не ряд мелких случайностей. Сесилия так остро сознавала, что должна сочувствовать миссис Хьюз, так стремилась показать, что их не разделяют никакие барьеры, так хотела быть хорошей, что уже не говорила, а почти мурлыкала.

— Ну, как наши портьеры, миссис Хьюз?

— Хорошо, мэм, спасибо, мэм.

— На завтрашний день я приготовила вам еще другую работу, переделку платья. Завтра вы прийти сможете?

— Да, мэм, спасибо, мэм.

— А как ваш маленький? Здоров?

— Да, мэм, спасибо, мэм.

Наступило молчание.

«Нет смысла говорить с ней о ее домашних делах, — подумала Сесилия. — Не то чтоб мне это было безразлично...»

Но молчание действовало ей на нервы, и она быстро спросила:

— Как ваш муж? Лучше ведет себя теперь?

Ответа не последовало. Сесилия увидела, что по щеке женщины медленно скатывается слеза.

«О боже мой, вот бедняжка! — подумала Сесилия. — Теперь уж отступать нельзя».

— Он ведет себя очень дурно, мэм, — сказала вдруг швея почти шепотом. — Я хотела поговорить с вами. Все началось с тех пор, как эта девица... — Лицо ее приняло жесткое выражение. — С тех пор как она сняла у меня комнату. Он теперь только и делает... только и делает, что не обращает на меня внимания.

У Сесилии приятно екнуло сердце — естественная реакция, когда речь заходит о чьей-то любовной драме, как бы ни была она печальна.

— Вы имеете в виду маленькую натурщицу? — спросила она.

Швея ответила взволнованно:

— Я не хочу наговаривать на нее, но она приворожила его, приворожила — и все тут. Он только и говорит, что о ней, и все болтается возле ее ком-

наты. Вот потому-то я и была не в себе, когда мы в тот день с вами встретились… А со вчерашнего утра, после того как приходил мистер Хилери, он мне все грубит, и он толкнул меня, и… и…

Губы ее уже не могли более выговорить ни слова, но так как в присутствии людей вышестоящих плакать не полагалось, вместе с последними словами она проглотила и слезы; в ее тощей шее как будто двигался вверх и вниз какой-то комок.

При упоминании имени Хилери Сесилия вместо приятного волнения вдруг почувствовала нечто другое: любопытство, страх, обиду.

— Я вас не совсем понимаю, — сказала она.

Швея перебирала складки платья.

— Конечно, я тут ни при чем, что он так грубит. И я, конечно, не хочу повторять все те гадости, которые он говорил о мистере Хилери, мэм. Он прямо с ума сходит, как только заговорит об этой девчонке…

Последние слова она произнесла почти злобно.

Сесилия уже готова была сказать: «Достаточно, прошу вас. Я больше не хочу ничего слушать», но любопытство и непонятный, неясный страх заставили ее вместо этого повторить:

— Я не понимаю. Вы хотите сказать, что ваш муж позволил себе заявить, будто мистер Хилери

имеет какое-то отношение к этой девушке? Или я поняла вас неверно?

Про себя она подумала: «По крайней мере я сразу оборву это».

Лицо швеи было искажено, так она силилась овладеть своим голосом.

— Я ему толкую, мэм, что, с его стороны, очень дурно говорить такие вещи, я знаю, мистер Хилери очень добрый господин. Да и какое, говорю, тебе дело, у тебя есть своя жена и двое детей… Я видела его на улице, он ее выслеживал, все бродил возле дома миссис Хилери, как раз когда я работала там… поджидал эту девицу… Потом шел за ней… до самого дома…

И опять губы ее отказались произнести еще хотя бы слово, и опять она могла только проглотить слезы.

«Надо непременно сообщить Стивну, — подумала Сесилия. — Этот Хьюз опасный человек». Сердце ее, которому всегда было так тепло и уютно, сжалось, смутное беспокойство и страх поднялись в ней с еще большей силой: она как будто увидела вдруг, что темный лик чужой, грязной жизни глядит на семейство Даллисонов. Тут снова раздался голос швеи; она заговорила быстро, как будто боясь остановиться:

— Я ему сказала: «О чем ты думаешь? И это после того, как миссис Хилери была так добра ко мне?» Но он совсем как сумасшедший, когда напьется, и он говорит, что пойдет к миссис Хилери…

— К моей сестре? Зачем это? Вот негодяй!

Услышав, что чужая женщина называет ее мужа негодяем, миссис Хьюз покраснела, лицо ее задрожало, по нему промелькнула тень обиды. Разговор этот уже успел произвести перемену в отношениях между двумя женщинами. Теперь каждая из них как будто знала точно, в какой мере она может довериться другой и сколько можно получить от нее сочувствия, как если бы жизнь вдруг разогнала туман и они увидели, что находятся по разные стороны глубокого рва. В глазах миссис Хьюз было выражение, характерное для тех, кто уже знает, что не следует огрызаться, иначе можно утратить и те скромные позиции, которые отведены тебе жизнью. А глаза Сесилии смотрели холодно и настороженно. «Я сочувствую вам, — казалось, говорили они, — я сочувствую, но прошу понять, что вы не можете рассчитывать на сочувствие, если ваши семейные дела начнут компрометировать членов моей семьи». Главной ее мыслью теперь было избавиться от

этой женщины, которая невольно выдала, что лежит за ее тупым, упрямым терпением. Это не было черствостью со стороны Сесилии, но лишь естественным результатом того, что ее разволновали. Сердце ее билось, как испуганная птица в золоченой клетке, завидевшая вдали кошку. Однако она не утратила своей благоразумной практичности и спокойно сказала:

— Вы мне, кажется, говорили, что ваш муж был ранен в Южной Африке. Мне думается, он не совсем… Я полагаю, вам следует обратиться к врачу.

Ответ швеи, медленный и деловитый, пугал еще больше, чем бурный взрыв ее чувств:

— Нет, мэм, он не сумасшедший.

Подойдя к камину, сиренево-голубой кафель для которого ей пришлось так долго разыскивать, Сесилия стояла под репродукцией картины Боттичелли «Весна», смотрела на миссис Хьюз и не знала, что делать. Сонная кошечка, потревоженная на груди хозяйки, не отрываясь, глядела ей в лицо, будто хотела сказать: «Обрати на меня внимание, я стою этого: я такая же, как ты и все то, что тебя окружает. Мы обе с тобой элегантны и вполне изящны, обе любим тепло и котят, обе не любим, когда нас гладят против шерстки.

Тебе долго пришлось искать, чтобы найти такое совершенство, как я. Ты видишь эту женщину. Сегодня я сидела у нее на коленях, когда она подшивала твои портьеры. Она не имеет права быть здесь, она не то, чем кажется, она умеет кусаться и царапаться, я знаю. Колени у нее жесткие, а из глаз капает вода. Она промочила мне всю спинку. Смотри, будь осторожна, не то она и тебе спинку промочит!»

Все то, что было в Сесилии от персидской кошечки, — любовь к уюту и красивым вещам, привязанность к своему жилищу с его ценной обстановкой, любовь к своему самцу и к своему детенышу, Тайми, забота о собственном покое — пробудило в ней желание вытолкать из комнаты эту тощую женщину с кроткими глазами, таящими, однако, сварливую злобу, — женщину, которую всегда окружала атмосфера жалких горестей, убогих угроз и сплетен. Особенно ей хотелось этого потому, что по беспомощной позе швеи было ясно, что и той хотелось бы легкой жизни… Только начни думать о подобных вещах и сразу чувствуешь себя старше своих тридцати восьми лет.

Кармана в юбке Сесилии не было, провидение уже давно удалило карманы с женских юбок, но

на столе перед ней лежала сумочка, и из нее она извлекла два предмета, два самых существенных атрибута своего «благородного» положения. Слегка коснувшись носа первым из них (она боялась, что нос блестит), она стала рыться во втором. И снова бросила неуверенный взгляд на швею. Сердце ей говорило: «Дай бедной женщине полсоверена, это может ее утешить», но разум подсказывал: «Я должна ей за шитье четыре шиллинга и шесть пенсов; после того, что она только что говорила о своем муже, и этой девушке, и о Хилери, давать ей больше, пожалуй, небезопасно».

Она вытащила из кошелька две полкроны, и тут ее осенило:

— Я передам сестре то, о чем вы мне рассказывали. Так и скажите мужу.

Еще не успев договорить, она уже поняла по невеселой улыбочке, мелькнувшей на лице миссис Хьюз, что швея не поверила ей, из чего можно было заключить, что миссис Хьюз не сомневается в причастности Хилери ко всей этой истории. Сесилия поспешно сказала:

— Можете идти, миссис Хьюз.

И миссис Хьюз, не проронив ни звука, повернулась и вышла.

Сесилия снова обратилась к своим раскиданным мыслям. Они все еще лежали перед ней, и свет солнца, проникающий сквозь низкое окно, как будто стирал с них значительность. Ей вдруг показалось, что не так уж важно, пойдет ли она вместе со Стивном смотреть в интересах науки, как человек будет падать из воздушного шара, послушает ли, в интересах искусства, господина фон Краффе, исполнителя польских песен; она даже как будто почувствовала, что ее отношение к консервированному молоку готово измениться к лучшему. Задумчиво разорвав записку к Розу и Торну, она опустила крышку бюро и вышла из комнаты.

Поднимаясь по лестнице, дубовые перила которой не переставали радовать ее сердце, Сесилия решила, что глупо было бы нарушать обычный утренний распорядок из-за каких-то смутных, грязных и, в конце концов, непосредственно ее не касающихся сплетен. Войдя в туалетную комнату Стивна, она остановилась и стояла, глядя на его штиблеты.

Внутри каждого штиблета пребывала его деревянная душа; ни на одном из них не было ни морщинки, ни дырочки. Как только штиблеты снашивались, из них вынимали их деревянные

души, а тела отдавали бедным, и, в согласии с той теорией, послушать лекции о которой одна из раскиданных мыслей как раз сегодня приглашала Сесилию, деревянные души немедленно переселялись в новые кожаные тела.

Сесилия глядела на ряд до блеска начищенных штиблет, охваченная чувством одиночества и неудовлетворенности. Стивн служит закону, Тайми занимается искусством, оба делают что-то определенное. Только она одна должна сидеть дома и ждать; заказывать обед, отвечать на письма, ходить за покупками, ездить в гости, и за всей этой кучей дел она все равно не может отвлечься от того, что рассказала ей миссис Хьюз. Сесилия нечасто задумывалась над своей жизнью, так похожей на жизни сотен других обитательниц Лондона. Она жаловалась, что не в силах переносить ее, но переносила отлично. Когда требовалось решать китайскую головоломку раскиданных мыслей, она не без удовольствия направляла свой здравый смысл и несколько сомневающийся взгляд на каждую из них по очереди, за каждую принимаясь с каким-то настороженным рвением и увлекая за собою Стивна в той мере, в какой он допускал это. Теперь, когда Тайми стала взрослой, Сесилия почувствовала,

что одновременно и утратила цель жизни, и приобрела бóльшую свободу. Она и сама не знала, радоваться ей тому или огорчаться. Теперь у нее было больше времени для новых интересов, для новых людей, для Стивна, но в сердце как будто образовалась пустота, какая-то боль вокруг него. Что бы подумала Тайми, услышь она эту историю о своем дяде? Мысль эта повлекла за собой всю ту цепь сомнений, которые последнее время одолевали Сесилию. Станет ли ее дочурка такой же, как она сама? А если нет, то почему нет? Стивн подшучивал над короткими юбками дочери, над ее увлечением хоккеем, над дружбой с молодыми людьми. Он подшучивал над тем, что Тайми не позволяет ему подшучивать над ее занятиями живописью и над интересом к «низам». Его шуточки раздражали Сесилию, ибо она скорее женским инстинктом, чем разумом, ощущала вокруг себя тревожную перемену. Молодые люди как будто уже не влюблялись в девушек, как то бывало в дни ее юности. Теперь они относились к девушкам по-иному: спокойно и по-дружески деловито, с каким-то почти научным, не слишком серьезным интересом. И Сесилию несколько беспокоило, как далеко все это может зайти. Она чувствовала, что отстала от жизни. Если моло-

дежь действительно становится серьезной, если молодых людей мало волнует, какого цвета у Тайми глаза, платья, волосы, тогда что же еще может их интересовать в ней, — то есть, если не считать, конечно, определенных отношений? Не то чтобы Сесилии не терпелось выдать дочь замуж. Об этом еще будет время подумать, когда Тайми исполнится двадцать пять лет. Но в ее собственной жизни все было по-другому. В юности мысли ее немало были заняты молодыми людьми, и столько молодых людей бросали на нее взгляды украдкой!.. А теперь в юношах и девушках будто и не осталось ничего такого, что бы вызывало в них взаимный интерес и заставляло бросать друг на друга взгляды украдкой. Ум Сесилии был отнюдь не философского склада, и она не придавала значения шутке Стивна: «Если девицы начинают открывать лодыжки, то скоро у них не останется лодыжек, которые можно было бы открыть».

Сесилии казалось, что человечеству грозит вымирание; на самом деле исчезали только подобные ей представители человечества, но для нее это, естественно, было не меньшим бедствием. Не отрывая взгляда от штиблет Стивна, она думала: «Как бы сделать так, чтобы эта история не дошла до ушей Бианки? Можно себе представить,

как она ее примет! И как скрыть это от Тайми? Понятия не имею, какое впечатление это может произвести на девочку. Необходимо поговорить со Стивном. Он так любит Хилери».

Отвернувшись от штиблет Стивна, она продолжала раздумывать: «Конечно, все это вздор. Хилери слишком воспитан, слишком порядочен и щепетилен, он способен лишь принять участие в этой девушке, не больше того; но он такой мягкий человек, он легко может поставить себя в фальшивое положение… И… нет, это отвратительный вздор. Бианка, если ей вздумается, способна повести себя очень жестко. Ведь между ними и без того… такие отношения». И вдруг она вспомнила о мистере Пэрси — о мистере Пэрси, который, как утверждала миссис Таллентс-Смолпис, даже и не подозревает, что имеется такая проблема, как «неимущие классы». Мысль о нем в этот момент была почему-то приятной, успокаивающей, словно тебя от сквозняка закутали в одеяло.

Пройдя к себе в комнату, Сесилия открыла дверцу гардероба.

«Нет, право, какая досада!.. Надо же было этой женщине… Мне так хочется поскорее надеть это платье, но разве я могу теперь поручить переделку ей?»

Глава VIII
Односторонний ум мистера Стоуна

Разговор с миссис Хьюз взбудоражил Сесилию, она чувствовала, что ей надо что-то сделать, и наконец решила переодеться.

Обстановка их общей со Стивном нарядной спальни приобреталась не в спешке. Еще пятнадцать лет назад, когда они переехали в этот дом, им претило почтенное филистерство высших классов; с тех пор и она, и Стивн всегда помнили, что обязаны проявлять «тонкий вкус», и поэтому в течение двух лет ложем для них служили две белые кровати, очень удобные, но, само собой разумеется, временные. Они терпеливо дожидались подходящего случая, и однажды он пришел: продавалась кровать как раз того стиля, в каком была задумана спальня, и стоила она двенадцать фунтов. Случай этот они не упустили, и теперь с сознанием исполненного долга спали на стильной кровати, хотя и не такой удобной, но все же достаточно комфортабельной.

Сесилия обставляла свой дом целых пятнадцать лет, и дело подходило к концу. Теперь, если,

конечно, не считать Тайми и условий жизни неимущих классов, у нее оставались только две заботы: приобрести, во-первых, медный фонарь, который бы пропускал хоть немного света сквозь решетку, и, во-вторых, старинный дубовый умывальник времен не раньше Кромвеля. А тут вдруг пришла еще и третья забота!

Она являла собой картину почти трогательную, когда, сняв блузку, стояла перед зеркалом и от усилий на ее тонких белых руках показались ямочки, — она старалась застегнуть крючки сзади на юбке, — а зеленоватые глаза выражали беспокойство, желание сделать для каждого все как можно лучше и при этом избежать малейшего риска. Надев темно-красное платье, отделанное на груди серебряной шнуровкой, и шляпку без перьев (из покровительства птицам), которую она приколола к волосам булавками (купленными с целью поддержать новую школу прикладного искусства — «Художественные работы по металлу»), Сесилия подошла к окну посмотреть, какая погода.

Окно выходило на угрюмые улицы, где ветер гнал навстречу солнцу струи дыма. Даллисоны выбрали эту комнату для своей спальни не потому, конечно, что из нее можно было наблюдать

условия жизни неимущих классов, но потому, что небо на закате выглядело отсюда необыкновенно красиво. Сесилия, быть может, впервые осознала, что образчик той самой жизни, которой она так интересовалась, был выставлен для обозрения под самым ее носом. «Где-нибудь там живут и Хьюзы, — подумала она. — В конце концов, мне кажется, Бианка должна узнать об этом человеке. Она может поговорить с отцом, убедить его, что ему следует отказаться от услуг этой девицы — столько из-за нее хлопот и волнений!»

Подгоняемая этой мыслью, она наскоро позавтракала и направилась к дому Хилери. С каждым шагом сомнения одолевали ее все больше. Боязнь, что она, пожалуй, слишком уж вмешивается в чужие дела, а может, и наоборот, вмешивается в них недостаточно и что так или иначе, но ее могут счесть чересчур надоедливой; смущение оттого, что приходится касаться таких нежелательных тем; неуверенность в том, как поведет себя Бианка, характер которой был одновременно и похож и не похож на ее собственный; нетерпеливое желание поскорее все уладить и избежать неприятностей, — вот что волновало Сесилию. Сперва она шла быстро, потом стала нарочно растягивать время, а кончила тем, что

почти бежала, но, придя в дом, велела горничной не докладывать хозяйке. Она представила себе взгляд сестры, когда та будет слушать ее рассказ, и это показалось ей слишком большим испытанием. Она решила сперва заглянуть к отцу.

Мистер Стоун писал за конторкой. Он был в обычном своем рабочем костюме — коричневом халате из толстой шерстяной материи, открывавшем его тощую шею над воротом голубой рубашки и туго подпоясанном шнуром с кистями. Над суконными домашними туфлями виднелись края серых брюк. За тонкими длинными ушами торчали клочки седых волос. В распахнутое окно врывался холодный восточный ветер; огонь в камине не горел. Сесилия поежилась.

— Входи быстрее, — проговорил мистер Стоун.

Вновь повернувшись к высокой конторке из мореной сосны, занимавшей середину одной из стен, он начал методически придавливать трепыхавшие под ветром листы рукописи чернильницей, тяжелым разрезальным ножом, книгой и различной величины камнями.

Сесилия огляделась. Вот уже несколько месяцев, как она не заходила в комнату отца. Кроме конторки, здесь была только раскладная кровать в дальнем углу, застеленная одеялами, но без

простыней, раскладной умывальник и узенький книжный шкаф, все книги в котором Сесилия бессознательно перебрала в уме. Ни состав их, ни местоположение не менялись: на верхней полке — Библия и сочинения Плавта и Дидро, на следующей полке — пьесы Шекспира в синем переплете, на третьей снизу — «Дон Кихот» в четырех томах, обернутых коричневой бумагой, Мильтон в зеленом переплете, комедии Аристофана, какая-то переплетенная в кожу и наполовину обгоревшая книга, в которой сопоставлялась философия Эпикура с философией Спинозы, и, наконец, «Гекльберри Финн» Марка Твена в желтой обложке. На второй снизу полке помещалась более легкая литература: «Илиада», «Жизнь Франциска Ассизского», «Открытие истоков Нила» Спика, «Записки Пиквикского клуба», «Мичман Изи», стихи Феокрита в очень старом переводе, «Жизнь Христа» Ренана и «Записки Бенвенуто Челлини». Нижняя полка была заставлена книгами по естественным наукам.

Выбеленные стены, стоило к ним прислониться, пачкали, как то знала Сесилия, пол был без ковра и в пятнах. В комнате имелись еще небольшая газовая плита и на ней кое-какая кухонная посуда, да еще столик без скатерти и вместитель-

ный посудный шкаф. Ни портьер, ни картин, ни каких бы то ни было украшений, только у окна — старинное, обитое золоченой кожей кресло. Сесилия никогда в него не садилась: ей приятнее было смотреть на этот единственный оазис в пустыне.

— Ветер сегодня восточный, папа. Тебе, вероятно, ужасно холодно, ведь здесь не топлено.

Мистер Стоун отошел от конторки и встал так, чтобы свет падал на лист бумаги, который он держал в руке. Сесилия почувствовала всегда сопутствующий отцу запах золы и печеного картофеля. Мистер Стоун заговорил:

— Послушай, я тебе прочту: «В состоянии общества тех дней, облагороженном названием цивилизации, единственным источником надежды было неумирающее мужество. Среди тысячи разрушающих нервы обычаев — среди питейных заведений, патентованных лекарств, неосвоенного хаоса изобретений и открытий, — когда сотни говорунов вещали со своих кафедр о том, во что верила лишь ничтожная часть населения, а тысячи писак сегодня писали то, что через два дня уже никто не читал, когда люди запирали животных в клетки и заставляли медведя плясать жигу на забаву детям и каждый старался одолеть

другого, когда, короче говоря, люди, как комары над загнившей лужей в летний вечер, кружились, не имея ни малейшего понятия, зачем они это делают, — мужество продолжало жить… То был единственный просвет в долине мрака».

Он умолк, потому что дочитал последнее слово на листе, но ему явно хотелось продолжать. Он шагнул к конторке. Сесилия поспешно спросила:

— Можно закрыть окно, папа?

Мистер Стоун мотнул головой; Сесилия увидела, что в руке у него второй исписанный лист. Она встала, подошла к отцу и сказала:

— Папа, я хочу с тобой поговорить.

Она взялась рукой за шнур, которым был подпоясан его халат, и потянула за кисть.

— Осторожно, — сказал мистер Стоун. — На нем держатся брюки.

Сесилия отпустила шнур. «Отец просто невозможен», — подумала она.

А мистер Стоун, поднеся лист поближе к глазам, начал снова:

— «Однако найти тому причину было нетрудно…»

Сесилия сказала в отчаянии:

— Это насчет той девушки, которая приходит к тебе писать под диктовку.

Мистер Стоун опустил лист и стоял, весь немного согнувшись; уши у него двигались, будто он хотел отогнуть их назад, голубые глаза, в которых возле крохотных черных зрачков лежали белые пятнышки света, уставились на дочь.

«Вот теперь он слушает», — подумала Сесилия и заторопилась.

— Она в самом деле тебе необходима? Ты не мог бы обойтись без нее?

— Обойтись без кого?

— Без той девушки, которая приходит к тебе писать под диктовку.

— Но почему?

— По той простой причине…

Мистер Стоун опустил глаза, и Сесилия увидела, что он снова поднял лист и держит его уже почти на уровне груди.

— Разве она пишет лучше, чем могла бы писать любая другая девушка? — быстро проговорила Сесилия.

— Нет.

— В таком случае, папа, сделай мне одолжение: найми кого-нибудь другого. Я имею серьезные основания просить тебя, и я…

Сесилия умолкла: губы и глаза ее отца двигались, он, несомненно, читал про себя.

«С ним можно потерять терпение, — подумала она. — Он ни о чем не думает, кроме как о своей несчастной книге».

Заметив молчание дочери, мистер Стоун опустил лист и терпеливо ждал, что она скажет дальше.

— О чем ты меня просила, дорогая? — спросил он.

— Папа, умоляю тебя, послушай же, ну хоть одну минуту!

— Да, конечно.

— Я говорю о девушке, которая приходит к тебе писать под диктовку. У тебя есть основания желать, чтобы приходила именно она, а не какая-либо другая девушка?

— Да, — сказал мистер Стоун.

— Какие же именно?

— У нее нет друзей.

Сесилия не ожидала столь нелепого ответа; она опустила глаза, не зная, как отнестись к этому. Молчание длилось несколько секунд, и вот снова послышался голос мистера Стоуна, теперь уже более громкий.

— «Однако найти тому причину было нетрудно. Человек, выделившийся среди других обезьян своим стремлением познать, с самого начала

был вынужден закалить себя против опасных последствий познания. Как звери, подвергающиеся суровому воздействию арктического климата, все больше обрастали мехом по мере снижения температуры, так у человека становилась все толще его броня мужества, чтобы он мог выдерживать острые уколы собственной своей ненасытной любознательности. В те времена, о которых идет речь, когда непереваренные знания огромными полчищами ринулись на штурм, человек страдал ужаснейшей диспепсией, нервная система его была вконец измотана, а мозг крайне возбужден; и выжил он только в силу способности вырабатывать в себе новое и новое мужество. Как ни мало героичны (в ту пору всеобщего мелкого соперничества) кажутся его деяния, никогда еще, однако, человечество, взятое в массе, не проявляло себя более мужественным, ибо никогда еще оно так не нуждалось в мужестве. Показатели того, что это отчаянное положение осознавалось самим обществом, многочисленны. Небольшая секта…»

Мистер Стоун умолк; взгляд его снова уперся в край листа, и он поспешно двинулся к конторке. Но в тот момент, как он снял камень с третьего листа и взял лист в руки, Сесилия воскликнула:

— Папа!

Он остановился и повернулся к дочери. Сесилия увидела, что он сильно покраснел; вся ее досада исчезла.

— Папа, я относительно той девушки…

Мистер Стоун, казалось, размышлял.

— Да-да, говори, — сказал он.

— Мне кажется, Бианке неприятно ее присутствие в доме.

Мистер Стоун провел ладонью по лбу.

— Прости, дорогая, что я стал читать тебе вслух, — проговорил он, — иногда для меня это такое облегчение…

Сесилия подошла к нему и с трудом удержалась, чтобы снова не потянуть за шнур с кистями.

— Ну конечно, дорогой, — сказала она, — я отлично понимаю.

Мистер Стоун посмотрел ей прямо в лицо, и под этим взглядом, который, казалось, пронизывал ее насквозь и видел что-то находящееся за ней, Сесилия опустила глаза.

— Как странно, что ты моя дочь, — сказал мистер Стоун.

Сесилии и самой это часто казалось непостижимым.

— В атавизме много такого, о чем мы пока еще ничего не знаем, — сказал мистер Стоун.

— Папа, но, право же, послушай одну минуту! — воскликнула Сесилия с горячностью. — Дело действительно серьезно.

Она отвернулась к окну; еще немного, и она бы расплакалась.

— Я постараюсь, дорогая, — смиренно проговорил мистер Стоун.

Но Сесилия думала: «Надо проучить его. Слишком уж он поглощен собой» — и продолжала стоять не двигаясь, вздернув плечи и тем показывая, как сильно она раздражена.

В окно она видела нянек, везущих в колясках младенцев в Кенсингтонский сад, и видела также, что няньки смотрят не на младенцев, а либо высокомерно друг на друга, либо с тайным вожделением на проходящих мужчин. Они, конечно, тоже заняты только собой! Сесилия испытывала приятное удовлетворение оттого, что заставила стоящего за ее спиной худого, сгорбленного старика осознать свой эгоизм.

«В другой раз будет знать, — подумала она и вдруг услышала тонкий свистящий звук — это мистер Стоун шепотом читал третью страницу рукописи:

— «…движимая прекрасными чувствами, но чьи доктрины, разоблачаемые тем фактом, что

жизнь — это лишь переход одних форм в другие, были слишком узки в отношении тех пороков, которые им надлежало истребить. Члены этой маленькой секты, которым еще предстояло постичь смысл всемирной любви, прилагали ревностные усилия к тому, чтобы понять самих себя, и в этом отношении обогнали общество в целом. Идеи, выразителями которых они являлись, — реакция против достигшей своего апогея братоубийственной системы, преобладавшей в те времена, — были молоды и по-молодому честны…»

Сесилия молча повернулась и пошла к двери. Она увидела, что отец уронил лист и нагнулся за ним, что лицо старика в рамке седых волос покраснело; и опять к раздражению ее примешалось чувство раскаяния.

Когда она шла по коридору, где царил обычный для лондонских коридоров и передних полумрак, ее внимание привлек какой-то шорох. Вглядевшись пристальнее, Сесилия увидела, что это Миранда; маленький бульдог никак не мог решить, где ему больше хочется быть: в саду или в доме, и потому сидел за подставкой для шляп и слегка посапывал. Заметив Сесилию, собака вышла к ней.

— Что тебе надо, зверюшка?

Задрав глаза на Сесилию, Миранда как-то неуверенно подняла белую переднюю лапку. «Ну что спрашивать меня? — казалось, говорил маленький бульдог. — Откуда мне знать? Да и кто из нас знает?»

Нерешительность собаки явилась последней каплей. Сесилия окончательно вышла из себя. Она распахнула дверь в кабинет Хилери и сказала резко:

— Ступай, разыщи хозяина!

Миранда не двинулась с места, но из кабинета вышел сам Хилери. Он правил гранки, торопясь отослать их с первой же почтой, и у него был вид человека, целиком ушедшего в свои мысли и ничего вокруг себя не замечающего.

Сесилия, вторично избавленная от необходимости встретиться с сестрой — хозяйкой дома, столь неуловимой, вездесущей и невидимой и в то же время центральной фигурой в сложившейся ситуации, — сказала Хилери:

— Можешь ты уделить мне минуту? Я должна поговорить с тобой.

Они вошли в кабинет, а за ними пробралась туда и Миранда.

Сесилия всегда считала деверя человеком при-

ятным и в какой-то мере вызывающим жалость. Поглощенный своими литературными делами, он позволял людям злоупотреблять его добротой. Он выглядел таким хрупким рядом с бюстом Сократа, и это как-то странно взволновало Сесилию. Сократ был такой массивный, такой урод. Она решила сразу приступить к делу.

— Хилери, я узнала от миссис Хьюз довольно странные вещи о маленькой натурщице.

Улыбка в глазах Хилери погасла, она осталась только на губах.

— Вот как!

— Миссис Хьюз говорит, что именно из-за этой девушки муж ее ведет себя так безобразно, — продолжала Сесилия нервно. — Я не хочу наговаривать на девушку, но мне кажется… мне кажется, что она…

— Так что же она?

— …что она приворожила Хьюза, как выразилась эта женщина.

— Хьюза? — переспросил Хилери.

Сесилия заметила, что не сводит глаз с бюста Сократа, перевела взгляд и продолжала торопливо:

— Она говорит, что он следит за девушкой, что он приходит даже сюда и караулит ее. Все это чрезвычайно странно. Ты ходил к ним, да?

Хилери кивнул.

— Я пыталась поговорить с отцом, — продолжала Сесилия, — но он просто невозможен. Что ему ни говори — он будто не слышит.

Хилери, казалось, глубоко задумался.

— Я хотела, чтобы он подыскал себе кого-нибудь другого, кому диктовать.

— Почему?

Чувствуя, что продолжать разговор невозможно, если не объяснить цель своего прихода, Сесилия выпалила:

— Миссис Хьюз говорит, что ее муж грозил тебе…

Лицо Хилери приняло ироническое выражение.

— Да неужели? — проговорил он. — Очень любезно с его стороны. За что же?

Чудовищная неделикатность, которую ей предстояло проявить, обида, что ее вынудили к этому, — все это совсем обескуражило Сесилию.

— Видит бог, я не хочу вмешиваться. Я никогда не вмешиваюсь в чужие дела. Это просто ужасно…

Хилери взял ее за руку:

— Ну успокойся, дорогая. Только, я думаю, нам лучше поговорить начистоту.

Полная признательности за это дружеское пожатие, она судорожно стиснула его руку.

— Это так грязно, Хилери…

— Грязно? Гм… В таком случае давай поскорее покончим с этим.

Сесилия залилась краской:

— Ты хочешь, чтобы я рассказала все как есть?

— Разумеется.

— Ну хорошо. Понимаешь, Хьюз, очевидно, вообразил, что ты интересуешься этой девушкой. От прислуги и людей, которые работают в доме, ничего не скроешь, и они всегда готовы видеть самое худшее. Они, конечно, знают, что вы с Бианкой не очень… не совсем…

Хилери кивнул.

— Миссис Хьюз так прямо и сказала, что ее муж собирается пойти к Бианке.

Снова призрак сестры как будто проник в комнату, и Сесилия продолжала с отчаянием:

— Понимаешь, миссис Хьюз уверена, что ты действительно увлечен девушкой. Конечно, ей бы хотелось, чтобы это было правдой, тогда у такого человека, как ее муж, не было бы никаких шансов.

Пораженная своей циничной выдумкой, уже стыдясь своих слишком откровенных слов, она

осеклась. Хилери стоял, отвернувшись.

Сесилия тронула его за рукав:

— Хилери, дорогой, неужели нет надежды, что вы с Бианкой?..

Губы Хилери искривились.

— Я думаю, что нет.

Сесилия печально смотрела в пол. Она давно не была так встревожена, с тех пор, как болел плевритом Стивн. Выражение лица Хилери подтверждало ее подозрения. Конечно, он мог просто рассердиться на наглость этого человека, но, может быть… — Ей даже не хотелось оформлять свою мысль. — …тут замешаны более личные чувства.

— Ты не думаешь, что так или иначе, но ей лучше больше не приходить сюда?

Хилери зашагал по комнате:

— Это ее единственная постоянная и надежная работа, она дает ей независимость. И это для нее гораздо лучше, чем быть натурщицей. Я не могу содействовать тому, что может лишить ее работы.

Никогда еще Сесилия не видела его таким взволнованным. А что, если он не так уж неисправимо кроток, что, если в нем все же есть доля животной силы, которой Сесилия в общем-то

даже восхищалась? Эти вопросы без ответа чрезвычайно усугубляли трудность положения.

— Но послушай, Хилери, — начала она снова, — ты вполне уверен в этой девушке?.. Ты уверен, что она стоит того, чтобы ей помогать?

— Не понимаю.

— Я хочу сказать, что мы ведь ничего не знаем о ее прошлом, — пролепетала Сесилия и по тому, как он двинул бровями, поняла, что и у него есть сомнения на этот счет. Она продолжала уже с большей отвагой: — Где ее друзья, родственники? Я хочу сказать… Быть может, у нее были какие-нибудь истории…

Хилери замкнулся:

— Ты что же, хочешь, чтобы я ее об этом расспросил?

Сесилия уловила в его словах насмешку.

— Ну, знаешь, — сказала она с жесткими нотками в голосе. — Если такое получается, когда начинаешь помогать бедным, то я не вижу в том много проку.

Ответа на ее вспышку не последовало. Сесилия испугалась еще больше. Все так запутано, ненормально… Злобный, мрачный Хьюз и трагический образ Бианки… Отдает итальянской драмой. Ей никогда и в голову не приходило, что человек из

низов может быть одержим бурной любовной страстью. Она вспомнила улочки, на которые смотрела сегодня из окна спальни. Неужели на этих жалких задворках может родиться что-либо похожее на страсть? Живущие там люди — убогие, измученные существа, они еле сводят концы с концами. Они никогда не бывают уверены в завтрашнем дне. Они не живут, а прозябают. Но разве может человек, который не живет, а прозябает, найти время и силы для столь трагических переживаний? Нет, этому нельзя поверить.

До ее сознания дошло, что Хилери обращается к ней:

— А ведь этот человек, пожалуй, опасен.

Получив подтверждение своим страхам, Сесилия с некоторой жесткостью, таившейся в ней и помогавшей ей жить, несмотря на все ее колебания и добрые порывы, внезапно решила, что долг свой она выполнила и на этом надо остановиться.

— Больше я с этими людьми дела иметь не буду, — сказала она. — Я старалась сделать для миссис Хьюз все, что в моих силах. У меня есть на примете швея, которая с радостью ее заменит. И конечно, любая другая девушка сможет писать под диктовку. Послушай моего совета, Хилери, не

пытайся помочь им.

Усмешка на лице Хилери озадачила и раздосадовала ее. Она и не подозревала, что это именно та усмешка, которая, как стена, стояла между ним и ее сестрой.

— Быть может, ты права, — сказал он, пожав плечами.

— Прекрасно, — ответила Сесилия. — Я сделала все, что могла. Теперь мне нужно идти. До свидания, Хилери.

Подходя к двери, она оглянулась. Хилери стоял подле бюста Сократа. Сердце у нее сжалось: так больно было оставлять его одного в таком смятении… Но вновь образ Бианки, неуловимой в собственном доме, предстал перед ней, такой трагичный в своей насмешливой неподвижности, и Сесилия поспешила уйти.

За спиной ее раздался голос:

— Как поживаете, миссис Даллисон? Ваша сестра дома?

Сесилия обернулась и увидела мистера Пэрси: он слегка приподнимался и опускался вместе с вибрирующим, покачивающимся «Дэмайером-А-прим», готовясь спуститься с подножки.

С таким ощущением, будто она только что побывала в доме, который посетила болезнь или

горе, Сесилия сказала вполголоса:

— К сожалению, ее нет дома.

— Не повезло, — сказал мистер Пэрси. Лицо его вытянулось, насколько способна была вытянуться эта квадратная красная физиономия. — А я-то думал, вот прокачу и ее, и моего «Дэмайера-А-прим» — ему ведь тоже надо проветриться на свежем воздухе. — Мистер Пэрси положил руку на кузов дрожащей, как будто тяжело дышащей машины. — Вам приходилось ездить в «Дэмайере-А-прим»? Преотличные автомобильчики — лучшие, какие можно получить за эту цену. Я бы хотел, чтобы вы сами в том убедились.

«Дэмайер-А-прим», испуская аромат тончайшего бензина, подскочил и задрожал, будто понимая похвалу хозяина. Сесилия взглянула на автомобиль.

— Да, прелестная машина, — сказала она.

— Поедемте! — предложил мистер Пэрси. — Давайте я вас покатаю. Ну, хоть просто для того, чтоб доставить мне удовольствие, а? Мой «Дэмайер» вам понравится, я уверен.

Чуточку раскаяния, чуточку любопытства, внезапный внутренний протест против всех мучивших ее неприятностей и грязных подозрений заставил Сесилию благосклонно взглянуть на

коренастую фигуру мистера Пэрси. Затем, едва успев понять, как это произошло, она уже сидела в «Дэмайере». Автомобиль дрогнул, фыркнул дважды, распространил сильный запах бензина и скользнул вперед.

— Вот это вы молодчага! — сказал мистер Пэрси.

Почтальон, собака, тележка булочника — все, что на полной своей скорости двигалось вперед, казалось, стояло на месте. Ветер хлестал Сесилии в лицо. Она тихонько засмеялась:

— Отвезите меня домой, пожалуйста.

Мистер Пэрси тронул шофера за локоть.

— Поезжайте вокруг парка, — сказал он. — Покажите, на что способен мой «Дэмайер».

Машина взвизгнула. Сесилия откинулась на мягком сиденье и поглядела искоса на мистера Пэрси, который также сидел откинувшись в своем углу; на губах ее играла несколько удивленная, нечестивая улыбка.

«Что я делаю? — казалось, говорила она себе. — Как это он ловко заставил меня сесть в автомобиль, право... Но теперь, раз уж я села, буду наслаждаться, вот и все!»

Не было больше ни четы Хьюзов, ни маленькой натурщицы, вся эта грязная жизнь исчезла;

оставался только ветер, хлеставший в лицо, да подпрыгивающий «Дэмайер-А-прим».

Мистер Пэрси заговорил:

— Для меня такие вот прогулки — очень важная штука. Держат нервы в порядке.

— Вот как? — протянула Сесилия. — У вас тоже, оказывается, есть нервы?

Мистер Пэрси улыбнулся. Когда он улыбался, щеки его превращались в два твердых красных комка, подстриженные усики вставали торчком и вокруг светлых глаз разбегалось множество морщинок.

— Весь этими нервами опутан, — сказал он. — Всякий пустяк выводит меня из равновесия. Не могу видеть голодного ребенка и ничего в таком роде.

Сесилия невольно почувствовала восхищение этим человеком. Почему она, Тайми, Хилери, Стивн и все, с кем они знакомы и встречаются, не могут быть такими вот здоровыми, нормальными людьми, которых не терзает жажда нового, которые довольны своей жизнью и не ведают, что такое «общественная совесть»?

«Дэмайер-А-прим», словно приревновав к хозяину, внезапно остановился сам по себе.

— Подождите, подождите, миссис Даллисон, да

не выходите же, я вам говорю! Через минуту все будет в порядке, — сказал мистер Пэрси.

— Нет, спасибо, мне все равно нужно зайти сюда, вот в этот магазин. Тут мы с вами, я думаю, и распрощаемся. Большое вам спасибо. Я получила огромное удовольствие.

У входа в магазин Сесилия обернулась. Мистер Пэрси вылез из машины и, весь перегнувшись вперед, с глубокой сосредоточенностью смотрел на своего «Дэмайера-А-прим».

Глава IX
Хилери идет по следу

Этика такого человека, как Хилери, отличалась от этики миллионов чистокровных Пэрси, основанием для которой служило чувство собственности, как в этом, так и в ином мире. Она не вполне совпадала с верованиями и моралью аристократии; хотя эта последняя и отдавала дань эстетизму, но в массе своей она втихомолку держалась этики мистера Пэрси и, пользуясь своими крепкими позициями, еще добавляла к ней принцип «наплевать нам на все!» В глазах большинства Хилери был человеком безнравственным и безбожным, в действительности же он разделял моральные и религиозные убеждения той особой общественной группы людей культуры, «профессоров, художников-мазил, передовой публики и прочих чудаков», как выразился о них мистер Пэрси, — той группы, которая пополнялась из числа людей, избавленных от необходимости вести борьбу за существование и занимающихся спекуляцией идеями.

Если бы его попросили откровенно изложить

свое кредо, он, вероятно, сказал бы приблизительно следующее: «Я не верю в церковные догматы и не хожу в церковь; я понятия не имею о том, что ждет нас после смерти, и не хочу это знать; но сам я стараюсь насколько возможно слиться с окружающим, ибо чувствую, что смогу достичь счастья, только если по-настоящему приму мир, в котором живу. Я думаю, что глупо мне не доверять собственным разуму и сердцу; что же касается того, чего я не могу постичь чувствами и разумом, я принимаю это как есть, ибо если бы одному человеку дано было постичь причины всего, он сам бы стал вселенной. Я не считаю, что целомудрие само по себе добродетель: оно ценно только в том случае, если служит здоровью и счастью общества. Я не считаю, что брак дает права собственности, и ненавижу публичные обсуждения подобных тем; но по натуре своей я стараюсь не наносить обиду ближнему, если есть хоть малейшая возможность избежать этого. Что касается норм поведения, то я считаю, что повторять и распространять из чувства мести злые сплетни — преступление худшее, чем самые поступки, их вызвавшие. Если я мысленно осуждаю кого-либо, я чувствую, что грешу против порядочности. Я ненавижу самоутверждение,

стыжусь саморекламы и не терплю крикливости всякого рода. Вероятно, у меня вообще слишком большая склонность к отрицанию. Пустая болтовня наводит на меня смертельную тоску, но я готов полночи обсуждать какую-либо проблему этики или психологии. Извлекать выгоду из чьей-нибудь слабости мне противно. Я хочу быть порядочным человеком, но, право же, не могу принимать себя слишком всерьез».

Хотя в разговоре с Сесилией ему удалось сохранить вежливый тон, он был рассержен и с каждой минутой сердился все больше. Он злился на нее, на себя, на Хьюза и страдал от этого так, как могут страдать только люди, не привыкшие сталкиваться с жизненной неразберихой.

Такой замкнутый человек, как Хилери, редко имел возможность открыто проявлять свое рыцарство. Самый его образ жизни отдалил его от подходящих для того ситуаций. Рыцарство, проявляемое им, было лишь пассивного характера. И вот теперь, узнав, что Хьюз бьет жену и преследует беззащитную девушку, он принял это очень близко к сердцу.

Когда маленькая натурщица в свой обычный час шла по садовой дорожке к дому, Хилери показалось, что выражение лица у нее испуганное.

Успокоив зарычавшую было Миранду, которая с самого начала упорно отказывалась признать девушку, он уселся с книгой и стал дожидаться, когда мистер Стоун отпустит свою помощницу. Просидев так с час, а то и более, переворачивая страницу за страницей и при этом очень мало вникая в их смысл, Хилери увидел, что какой-то человек заглядывает через калитку в сад. Простояв с минуту, человек медленно перешел через дорогу и там укрылся за оградой.

«Вот оно как! — подумал Хилери. — Что же мне, пойти и прогнать его или лучше дождаться, когда она будет уходить, посмотреть, что произойдет?»

Он остановился на втором варианте. Вскоре девушка вышла из дому и зашагала своей особой походкой — юной, грациозной, но очень уж деловитой и вместе с тем слишком неспешной, чтоб ее можно было назвать походкой леди. Оглянувшись на окно кабинета, девушка вышла из сада.

Хилери взял шляпу и трость и стал ждать. Через минуту Хьюз выбрался из своего укрытия и пошел следом за девушкой. И тут Хилери тоже двинулся в путь.

В каждом человеке живет первобытная страсть к слежке. Деликатный Хилери в обычном своем состоянии с возмущением отверг бы самую мысль

выслеживать человека. А сейчас он испытывал грешную радость охотника. Он был убежден, что Хьюз действительно выслеживает девушку, теперь надо было только не выпускать его из поля зрения, а самому оставаться незамеченным. Это было нетрудно для человека, занимающегося альпинизмом — почти единственным видом спорта для того, кто считает безнравственным причинять боль кому бы то ни было, кроме себя.

Используя в качестве укрытия витрины, омнибусы, прохожих, Хилери продолжал свою слежку вверх по крутому подъему Кэмден-Хилла. Но тут у него чуть не получилось осечки: отведя на мгновение глаза от Хьюза, он увидел, что маленькая натурщица повернула и идет обратно. Всегда находчивый в трудных физических положениях, Хилери тут же вскочил в проходивший омнибус. Он увидел, что девушка остановилась возле магазина картин. Она, очевидно, не подозревала, что за ней следят. Раскрыв рот от восхищения, она любовалась репродукцией с популярной картины. Хилери часто спрашивал себя, кому может понравиться подобная вещь, — теперь он знал это. Не оставалось сомнений, что девушка от картины в восторге, что ее эстетическое чувство глубоко затронуто.

Едва успев это подумать, Хилери увидел, что из кабачка неподалеку выглядывает Хьюз. Смуглое лицо его казалось мрачным и унылым, видно было, что он страдает. Хилери даже стало его жалко.

Омнибус рывком тронулся с места, и Хилери чуть не сел на колени к какой-то даме. Дамой этой оказалась миссис Таллентс-Смолпис, она приветствовала его спокойной, дружеской улыбкой и подвинулась, чтобы дать ему место.

— Ко мне только что заходила ваша свояченица. Какая милая, так всем интересуется! Я пробовала уговорить ее пойти вместе со мной на наше собрание.

Приподняв шляпу, Хилери нахмурился. Деликатность его на этот раз ему изменила.

— Ах да, простите, пожалуйста, — сказал он и выскочил из омнибуса.

Миссис Таллентс-Смолпис посмотрела ему вслед, потом оглядела всех в омнибусе. Хилери вел себя, как человек, у которого назначено здесь свидание с дамой и который, войдя, увидел, что дама эта сидит рядом с его теткой. Миссис Таллентс-Смолпис не обнаружила никого, кто мог бы подойти под определение «дамы», и сидела, раздумывая о том, что Хилери — довольно ин-

тересный мужчина. Внезапно ее зоркие темные глазки остановились на маленькой натурщице, теперь снова шагавшей по улице.

«Ах вот оно что! — подумала миссис Таллентс-Смолпис. — Как любопытно!»

Чтобы не столкнуться с девушкой, Хилери свернул в переулок и стал там за первым углом. Он был озадачен. Если правда, что Хьюз преследует маленькую натурщицу своими ухаживаниями, почему же он остался на той стороне улицы и не подошел к ней, когда она стояла у витрины с картинами?

Девушка прошла мимо переулка, где стоял Хилери, все той же неспешной походкой, словно стараясь не упустить ни одного из развлечений, какие может предоставить улица. Но вот она скрылась из виду. Хилери напряженно высматривал, идет ли Хьюз за ней следом. Он прождал несколько минут, но Хьюз так и не появился. Слежка была закончена! И вдруг Хилери понял, что Хьюз только хотел проверить, не назначено ли у нее с кем свидания. Оба они вели одну и ту же игру! Хилери покраснел, стоя в тенистой улочке, где, кроме него, не было видно ни души. Сесилия права: грязная это история. Человек, более знакомый с прозой жизни, тотчас нашел

бы полочку, куда поместить подобный эпизод, но Хилери, по профессии своей будучи занят главным образом мыслями и идеями, не мог по-настоящему расценить положения. Он не умел серьезно сосредоточиться ни на чем, кроме как на литературной работе. А в данном деле ему было особенно трудно разобраться еще и потому, что здесь оказалась затронутой очень тонкая, сложная проблема — столкновение двух разных общественных классов.

Погруженный в раздумье, он шел по засаженной деревьями улочке, протянувшейся между высоких оград от Ноттинг-Хилла до Кенсингтона.

Она была так далека от шумного движения магистралей, что с обеих сторон ее на каждом дереве громко звенели весенние птичьи голоса; солнце понемногу опускалось, и в воздухе веяло легким запахом свежего древесного сока. А в вышине над городом, казалось, царил особый покой — там была большая близость к матери-природе, там напевал свои свободные песни ветер и слышались тихие вздохи облаков. Здесь, в этой глухой улочке, можно было отдохнуть от тревожных мыслей и хоть ненадолго поверить в осмысленность и добро Великого Замысла,

давшего человеку жизнь, в красоту каждого дня, с улыбкой или печально переходящего в ночь. От распускающейся сирени исходил запах лимона; на каменной садовой стене купалась в лучах заходящего солнца рыжая кошка.

Посреди улочки тянулся ряд вязов, их кривые, узловатые корни торчали наружу. И под вязами расположились странные человеческие существа — путаные пряди волос свисали на их усталые лица, тела их были прикрыты лохмотьями, и у каждого была палка, на конце которой болтался какой-то грязный узелок. Люди эти спали. На скамье под одним из деревьев сидели две беззубые старухи, молча поводя глазами из стороны в сторону, а рядом с ними храпела женщина с багровым лицом. Под следующим деревом сидела пара, юноша и девушка из простонародья, — бледные, с вялыми ртами, впалыми щеками, беспокойным взглядом. Они сидели обнявшись и молчали. Немного подальше сидели, уставившись взглядом перед собой, два молодых парня в рабочей одежде, и вид у них был безнадежно усталый. Они тоже молчали.

На самой последней скамье, совсем одна, в небрежной и равнодушной позе сидела маленькая натурщица.

Глава X
Приданое

Эта первая встреча вне дома смутила их обоих. Девушка вспыхнула и поспешно встала. Хилери приподнял шляпу, насупил брови и сел.

— Останьтесь, — сказал он, — я хочу поговорить с вами.

Маленькая натурщица послушно села на прежнее место. Последовало молчание. На ней была все та же поношенная коричневая юбка, вязаная кофточка и старый голубовато-зеленый берет с помпоном; а под глазами лежали синие тени.

Наконец Хилери заговорил:

— Как идут ваши дела?

Маленькая натурщица опустила глаза и уставилась на кончики своих ботинок:

— Благодарю вас, мистер Даллисон, неплохо.

— Я заходил к вам вчера.

Она скользнула по нему взглядом, который мог значить и очень многое, но мог и ничего не значить: так равнодушно робок был этот взгляд.

— Меня не было дома, — сказала она, — я позировала для мисс Бойл.

— Так у вас есть работа?

— Она уже кончилась.

— Значит, все, что вы зарабатываете, это те два шиллинга в день, которые дает вам мистер Стоун?

Она кивнула.

— Гм!

Неожиданная пылкость этого восклицания, казалось, оживила маленькую натурщицу.

— За комнату я плачу три шиллинга и шесть пенсов, да завтрак мне обходится почти в три пенса — только один хлеб с маслом. Вот уже получается пять шиллингов и два пенса. За стирку всякий раз приходится платить самое меньшее десять пенсов — вот уже шесть шиллингов. И еще всякие мелочи — на прошлой неделе на них ушел целый шиллинг, — и при этом я еще не езжу на омнибусе, — вот уже семь шиллингов. Так что на обеды мне остается пять шиллингов. Чаем меня всегда угощает мистер Стоун. Что меня заботит, так это одежда. — Она сунула ноги подальше под лавку.

Хилери удержался и не поглядел в ту сторону.

— Берет мой ужасный, и мне так нужно бы… — В первый раз за все время разговора она взглянула Хилери прямо в лицо. — Как бы мне хотелось

быть богатой!

— Вполне естественно.

Маленькая натурщица скрипнула зубами и, крутя в руках грязные перчатки, сказала:

— Знаете, мистер Даллисон, что бы я прежде всего купила, если б была богатой?

— Нет, не знаю.

— Я бы оделась во все новое, с головы до ног, и больше ни за что б не надела вот это старье.

Хилери встал:

— Пойдемте и купим для вас все новое, с головы до ног.

— Ой!

Хилери уже сообразил, что сделал неосторожное, даже опасное предложение. Что, если дать ей самой деньги?.. Но против этого запротестовало его чувство деликатности. И он сказал отрывисто:

— Пойдемте!

Маленькая натурщица послушно встала. Хилери заметил, что ботинки у нее прохудились, и это, как если бы в его присутствии ударили ребенка, вызвало в нем вдруг такое негодование, что он уже не сомневался в своей правоте и даже, напротив, ощутил приятный душевный жар, какой может испытывать самый благонравный

человек, когда махнет рукой на условности.

Хилери взглянул на свою спутницу: она шла, опустив глаза. Он не мог себе представить, о чем она думает.

— Так вот, относительно того, о чем я хотел поговорить с вами, — начал он. — Мне не нравится дом, в котором вы живете, мне кажется, вам следует выехать оттуда. Что вы на это скажете?

— Хорошо, мистер Даллисон.

— Мне думается, вам лучше переменить комнату, ведь подыскать другую будет нетрудно — как вы считаете?

Маленькая натурщица ответила опять теми же словами:

— Хорошо, мистер Даллисон.

— Боюсь, что Хьюз… довольно опасный субъект.

— Он забавный.

— Он вам не докучает?

Хилери не мог понять, что выражает ее лицо. Казалось, она мысленно смакует что-то приятное. Она как-то лукаво взглянула на него.

— Я на него и внимания не обращаю, пусть его, он меня не обидит. Мистер Даллисон, по-вашему, какое лучше, голубое или зеленое?

— Зелено-голубое, — ответил Хилери коротко.

Она вдруг судорожно сжала руки, чуть подпрыгнула, сбилась немного с шага, но тут же снова пошла ровно.

— Послушайте меня, — опять начал Хилери, — миссис Хьюз говорила с вами по поводу своего мужа?

Маленькая натурщица снова улыбнулась:

— Еще бы не говорила!

Хилери прикусил губу.

— Мистер Даллисон, скажите, а шляпку?

— Что шляпку?

— Какую мне, по-вашему, купить, большую или маленькую?

— Боже мой, конечно, маленькую. И никаких перьев.

— Ой!

— Вы можете одну минуту послушать внимательно? Не говорила ли миссис Хьюз — или ее муж — что-нибудь относительно того, что вы ходите в наш дом… и относительно меня?

Выражение лица маленькой натурщицы оставалось непроницаемым, но по движению ее пальцев Хилери видел, что теперь она его слушает.

— Мне все равно, пусть их говорят, что им вздумается.

Хилери отвернулся; краска гнева медленно залила его щеки.

Неожиданно резко маленькая натурщица сказала:

— Конечно, будь я леди, я, может, и обиделась бы.

— Не говорите так. Каждая женщина — леди.

Бесстрастное лицо девушки, таившее в себе больше скепсиса, чем любая усмешка, дало ему понять, как дешево звучит эта сентенция.

— Будь я леди, — сказала она просто, — я бы не жила там, где сейчас живу, верно ведь?

— Да, — ответил Хилери, — и вам, так или иначе, не надо там жить.

Маленькая натурщица ничего не ответила, и Хилери не очень знал, о чем говорить дальше. Ему уже становилось ясно, что она рассматривает сложившуюся ситуацию совсем с иной точки зрения, чем он, и что он эту ее точку зрения не понимает.

Он почувствовал полную растерянность, сознавая лишь, что жизнь этой девушки содержит множество неведомых ему фактов, что у нее есть множество представлений, которых он не разделяет.

Оба они привлекали к себе внимание на этой

людной улице. Хилери, высокий, стройный, в мягкой фетровой шляпе, с худощавым лицом и бородкой, имел, что называется, «благородный» вид, а у маленькой натурщицы, хотя вид у нее в старой коричневой юбке и беретике был далеко не благородный, было такое лицо, которое заставляло оборачиваться на нее не только мужчин, но и женщин. Для мужчин она представляла собой что-то не совсем обычное, странно манящее, для женщин — молодую «особу», на которую оборачиваются мужчины. Время от времени кто-нибудь из прохожих испытывал к ней чувство и менее личного характера — как будто Бог Жалости вдруг тряхнет крылами над ее головой и уронит крохотное перышко.

Так, вызывая к себе смутный интерес, они продолжали идти, пока не дошли до первой из многочисленных дверей магазина Роза и Торна.

Именно в эту дверь Хилери и решил войти, ибо чем дольше длилось приключение, тем яснее сознавал он все его опасности. Все-таки было безумием привести эту девочку в тот самый магазин, куда постоянно заходила и жена, и многие знакомые. Но та самая причина, по которой они бывали здесь, заставила и Хилери выбрать именно этот магазин: другого поблизости не

было. Он затеял это сгоряча; он знал, что если даст себе время остынуть, то вообще ничего не сделает. Нужно было действовать смело, и вот потому-то он решил войти в первую же дверь от угла. Слегка отступя в сторону, чтобы пропустить девушку вперед, он заметил, как горят у нее глаза и щеки; еще никогда не выглядела она такой хорошенькой. Он поспешно осмотрелся — отдел, куда они попали, был им не нужен, здесь продавались лишь пижамы. Хилери почувствовал, что его трогают за рукав. Он обернулся — маленькая натурщица, вся раскрасневшаяся, смотрела ему в лицо.

— Мистер Даллисон, мне можно взять только одну… только одну пару белья?

— Три, три пары, — пробормотал он и тут вдруг заметил, что они находятся как раз у входа в святилище — отдел дамского белья. — Выберите то, что вам надо, и принесите чек мне.

Хилери ждал, а подле него стоял розоволицый мужчина с усиками и почти безупречной фигурой — он стоял неподвижно, одетый с головы до ног в синее с белой полоской. Он казался тем идеалом, к которому должен стремиться каждый мужчина; лицо его застыло в вечной бездумной улыбке. «Долго-долго длилась борьба челове-

чества, и вот наконец цивилизация произвела меня. Дальше ей идти некуда. Ничто не заставит меня продолжать мой род. Во мне воплощено завершение. Посмотрите мне на спину: «Любитель». Безупречно, элегантно, 8 шиллингов 11 пенсов. Цена значительно снижена».

Мужчина в синем упорно молчал, и Хилери был вынужден разглядывать приказчиков. До закрытия магазина оставалось всего полчаса; молодые приказчики, пользуясь отсутствием покупателей, негромко пререкались между собой и двигались не спеша, лениво, словно мухи на оконном стекле, которые никак не могут вырваться наружу, на солнце. Двое из них подошли к Хилери, спросили, чем могут служить ему. Они были так изысканно любезны, что он уже готов был купить что попало. Появление маленькой натурщицы выручило его.

— Вот — тридцать шиллингов. Самое дешевое стоит пять шиллингов одиннадцать пенсов, да еще чулки, и еще я купила кор…

Хилери торопливо вынул деньги.

— Уж очень здесь все дорого, — сказала она.

Она оплатила чек, Хилери взял у нее из рук большой сверток, и они вместе пошли дальше. Хилери как будто надел на лицо защитную маску

— на нем застыло выражение насмешливого удивления, словно все это приключение он наблюдал со стороны.

В отделе обуви на обитой бархатом скамье посреди помещения сидела, вытянув вперед стройную ножку в шелковом чулке, дама в шляпе с эгреткой — в ожидании, когда ей принесут для примерки ботинок. Она с небрежным любопытством взглянула на простенькую девушку и ее интересного кавалера. Выражение ее лица произвело, по-видимому, соответствующее впечатление на приказчиц, — ни одна из них не тронулась с места, чтобы подойти к маленькой натурщице. Хилери увидел, что они уставились на ее ботинки, и вдруг, забыв свою роль стороннего наблюдателя, вскипел от гнева. Он вынул из кармана часы и подошел к самой старшей из приказчиц.

— Если через минуту эту молодую даму не обслужат, я подам жалобу лично мистеру Торну.

Минутная стрелка не успела обежать круга, как одна из приказчиц уже стояла возле маленькой натурщицы; заметив, что девушка начинает стаскивать с ноги ботинок, Хилери быстро загородил ее собой от дамы. При этом он настолько забыл про всякую деликатность, что уставился на ногу

маленькой натурщицы. Сперва он почувствовал неловкость, потом сердце у него защемило от жалости. Грязный коричневый чулок был так весь перештопан, что от него почти ничего не осталось — везде одна штопка, и на ней светились дырки, одна на большом пальце, две другие — повыше: здесь проносившиеся нитки уже отказывались держаться вместе.

Маленькая натурщица смущенно пошевелила пальцем, — она, видно, надеялась, что палец не будет торчать из дырки, — и прикрыла его подолом. Хилери быстро отошел и, обернувшись, взглянул не на маленькую натурщицу, а на даму.

Теперь лицо дамы выражало уже не насмешку и пренебрежение, но оскорбленное достоинство. «Нет, это переходит всякие границы! Привести такую особу в такой магазин! Больше я никогда не переступлю этого порога!» — казалось, говорил ее взгляд, и он как бы явился внешним выражением той самой неловкости, какую почувствовал Хилери, когда увидел чулок маленькой натурщицы. Это, естественно, не способствовало умалению его гнева, в особенности еще и потому, что оскорбленно-негодующее выражение дамы, как по сигналу, отразилось и на лицах

приказчиц.

Хилери вернулся к маленькой натурщице и сел подле нее.

— Ну как, впору? Вы встаньте и походите в них.

Девушка встала и немного прошлась.

— Жмут, — сказала она.

— Примерьте другую пару.

Дама поднялась, секунду стояла, высоко вскинув брови и слегка раздувая ноздри, затем вышла, оставив позади себя тончайший запах фиалок.

Следующая пара ботинок не жала, и на этом маленькая натурщица закончила свои покупки. Теперь все ее приданое было готово, не хватало только платья: оно было и выбрано, и оплачено, но померить его, как она объяснила Хилери, она решила прийти завтра, когда… когда… Конечно, она имела в виду «когда на ней будет новое белье». Она несла один большой и два маленьких свертка, и в глазах ее было благоговение.

Когда они вышли из магазина, девушка посмотрела в лицо Хилери долгим взглядом.

— Ну как, довольны вы теперь? — спросил он.

В оправе коротких черных ресниц сияли очень яркие, влажные глаза, полураскрытые губы начали дрожать.

— До свидания, — проговорил он отрывисто и ушел.

Но, обернувшись, он увидел, что она все еще не двигается с места и, почти вся скрытая свертками, стоит и смотрит ему вслед. Он приподнял шляпу и повернул на Хай-стрит, к дому…

Старик, известный среди «типов из низов», с которыми связала его судьба, под кличкой «Вест-министр», пыхнул раза два своей старой глиняной трубкой, стараясь не думать о больных ногах. Он увидел подходившего Хилери и нерешительно протянул ему номер газеты последнего выпуска.

— Добрый вечер, сэр. Отличная погода для мая месяца. Кому «Вест-министерскую»?

Он проводил взглядом уходящего Хилери.

— Бог ты мой, да ведь он дал мне целых полкроны! А он неплохо выглядит — молодо. Я рад, что он так молодо выглядит. Ах, боже мой…

Солнце, этот дымный, яркий шар, который за свое время видел столько последних выпусков «Вестминстерской газеты», катилось за горизонт, чтобы провести ночь в Шепердс-Буше. Это оно заставило бывшего лакея замигать, когда он рассматривал монету, проверяя, действительно ли ему дали полкроны или это ему померещилось.

И шпили, и крыши домов, и просторы под ними и над ними — все сверкало и плыло, и маленькие людские и конские фигурки выглядели так, как будто их припудрили золотой пылью.

Глава XI
Груша в цвету

Нагруженная тремя свертками, маленькая натурщица дошла до Хаунд-стрит. У дверей дома номер один стоял, переминаясь с ноги на ногу и куря папиросу, сын хромой женщины — высокий, тонкий, как плеть, юнец с землистым лицом. Прищурив глаза, он сказал, обращаясь к девушке:

— Эй, мисс, может, помочь донести покупочки?

Маленькая натурщица посмотрела на него. «Не суйся, куда не просят», — говорил этот взгляд, но ресницы ее при этом взметнулись, сводя на нет пренебрежительность взгляда.

Войдя к себе в комнату, она бросила свертки на кровать и развязала их проворными розовыми пальцами. Потом вынула покупки из бумаги, разложила их и, опустившись на колени, принялась разглядывать и ощупывать; раза два она даже зарылась носом в свежее полотно, чтобы почувствовать, как оно пахнет. Белье было отделано оборочками, им она уделила особое внимание

— взбила их края ладонями, — и в глазах ее снова появилось благоговейное выражение. Затем, поднявшись с колен, она заперла дверь, опустила штору на окне, разделась донага и надела новое белье. Распустив волосы, она медленно поворачивалась перед крохотным зеркальцем. В каждом жесте девушки сквозило предельное удовлетворение, как если бы изголодавшийся дух ее получил наконец пищи вдоволь. В этом любовании собой полностью проявились и детское тщеславие, и надежды, и то чудесное качество, которое встречается только среди людей малоодухотворенных, — способность наслаждаться минутой. Иногда девушка вдруг замирала и, неподвижная, с распущенными по плечам волосами, становилась похожа на весеннюю зарю, которая успела утратить свою тревожность и радуется уже одному тому, что она есть.

Вскоре, однако, будто вспомнив, что счастье ее еще не полно, девушка подошла к комоду, вытащила оттуда пакетик с грушевыми леденцами и сунула один леденец в рот.

Заходящее солнце отыскало себе лазейку через дырочку в шторе и коснулось шеи девушки. Она повернулась, словно ощутила поцелуй, и, приподняв край шторы, выглянула в окно. Грушевое

дерево, которое, к досаде его владельца, росло в столь близком соседстве с двором этого малопочтенного дома, что могло даже показаться, будто оно ему и принадлежит, купалось в косых солнечных лучах. Ни одно дерево на свете не могло быть прекраснее, чем эта груша в одеянии из позолоченных солнцем цветов. Прижав руку к обнаженной шее и посасывая леденец, маленькая натурщица не сводила глаз с цветущего дерева. Но выражение лица ее не изменилось, восхищение в нем отсутствовало. Она перевела взгляд на окна дома напротив, к которому, собственно, и относилось грушевое дерево: она проверяла, не видит ли ее кто-нибудь, а может быть, даже надеялась, что кто-нибудь увидит ее, такую хорошенькую, во всем новом. Затем она опустила штору, вернулась к зеркалу и стала закалывать волосы. Покончив с этим, она еще целую минуту смотрела на старую коричневую юбку с блузкой, не решаясь осквернить свою только что обретенную чистоту. Но вот она надела их и снова подняла штору. Солнечный свет уже ушел с груши, теперь цветы ее были совершенно белыми и неподвижными, казалось, то лежит на ветках снег. Маленькая натурщица положила в рот второй леденец и, вытащив из кармана потертый

кожаный кошелек, пересчитала в нем деньги. Убедившись, как видно, что их не больше, чем она предполагала, она вздохнула и, порывшись в верхнем ящике комода, извлекла оттуда старый иллюстрированный журнал.

Она уселась на край постели и, быстро найдя нужную страницу, разложила журнал на коленях. Взгляд ее был прикован к снимку в левом углу страницы — одному из тех портретов писателей, которые время от времени встречаются в печати. Под портретом стояла подпись: «Мистер Хилери Даллисон». И девушка снова вздохнула.

В комнате темнело; поднявшийся с заходом солнца ветер прибил к оконному стеклу несколько лепестков, опавших с цветов груши.

Глава XII
Корабли в море

В соответствии с тем впечатлением, какое он произвел на старого лакея, Хилери и в самом деле чувствовал себя так молодо, что не пошел домой, а сел в омнибус и поехал в свой клуб «Перо и чернила», названный так только потому, что основателю его в тот момент не пришло в голову ничего другого. Сей литератор вскоре после основания клуба покинул его, почему-то вдруг невзлюбив свое детище. И правду сказать, клуб славился скверной кухней, и все члены его горько жаловались, что, когда туда ни зайдешь, непременно столкнешься с кем-нибудь из знакомых. Находился он на Довер-стрит. В отличие от других клубов сюда приходили главным образом для того, чтобы поговорить, и здесь тщательно следили за сохранностью зонтов и тех книг, что еще не успели исчезнуть из библиотеки. Исчезали они, разумеется, не в силу склонности некоторых членов клуба к хищению, но потому, что, обменявшись идеями, они обычно уходили затем длинной вереницей, каждый цепляясь за

что-нибудь более осязаемое. Темно-коричневые портьеры здесь никогда не бывали спущены, ибо в пылу споров их то и дело поднимали. В общем, члены клуба не слишком жаловали друг друга — каждый из них про себя недоумевал, на каких, собственно, основаниях другие пишут книги, а если основания эти подробно излагались в печати, читал о том с раздражением. Если же обстоятельства вынуждали членов клуба высказать мнение о литературных качествах того или иного из собратьев, они говорили обычно, что такой-то, конечно, превосходный писатель, но только им никогда не приходилось его читать. С давних пор в основу здешних правил был положен принцип: не читать чужих произведений, пока нет абсолютной уверенности в том, что автор их умер, чтобы не оказаться вынужденным сказать ему в лицо, что вы отнюдь не в восторге от его книг; ибо члены клуба очень пеклись о чистоте своей литературной совести. Исключение делалось для тех, кто зарабатывал себе на хлеб критикой, публикуемой в печати, — их статьи читали все, и чтение это сопровождалось разного рода улыбками и некоторым раздражением серого мозгового вещества. Время от времени, однако, какой-нибудь член клуба, грубо нарушая все нормы приличия,

вдруг проникался восторгом к произведениям какого-либо другого члена клуба. Свой восторг он выражал вслух, к смущению всех остальных, и те, ощущая противное сосание под ложечкой, недоумевали, почему он хвалит не их книги.

Почти каждый год и, как правило, в марте, в клуб просачивались кое-какие стремления и пожелания. Члены клуба принимались спрашивать друг друга, почему до сих пор не создана Британская литературная академия, почему не ведется согласованная борьба за ограничение издания книг других авторов, почему не было дано премии за лучшее произведение в году. Уже даже могло показаться, что их индивидуализм в опасности, но в одно прекрасное утро, когда окна оказывались распахнуты шире обыкновенного, все эти пожелания улетучивались, и втайне каждый ощущал то, что ощущает человек, проглотив донимавшего его всю ночь комара: и облегчение, и неловкость одновременно. Это были, в сущности, неплохие люди, и в отношении друг друга они держались вполне миролюбиво. У каждого из них была своя маленькая машина славы, и ежедневно утром, в те часы, когда приходили газеты и письма, всех их можно было видеть за этими машинами: они сидели и проверяли,

растет ли их слава.

Хилери пробыл в клубе до половины десятого, а затем, уклонившись от только что начавшегося спора, взял зонт (свой собственный) и направил шаги к дому.

На Пикадилли то был момент затишья: толпа уже прилила к театрам, а отлив еще не начался. Умиротворенные деревья раскинули свои по-весеннему прозрачные ветви на дальнем берегу этой широкой реки, отдыхая от трагикомедий, которые разыгрывались на ее поверхности людьми, их младшими братьями. Легкие вздохи в молодой листве казались тихим шепотом мудрецов. Почти сразу за стволами деревьев был сплошной черный бархат, в котором терялись, погружаясь в него, отдельные фигуры, как исчезают птицы в небесных просторах или души людей, ушедших в лоно матери-земли.

Погруженный в свои мысли, Хилери шел и не слышал шепота мудрецов, не замечал бархатной тьмы. Уже одного того факта, что ему удалось доставить кому-то радость, было достаточно, чтобы вызвать приятные чувства в человеке, от природы столь добром. Но как это бывает со всеми робкими, неуверенными в себе людьми, чувства эти жили в нем недолго и сменились ощущением

пустоты и разочарования, будто он поставил самому себе незаслуженно хорошую отметку.

Он шел, служа мишенью для взглядов многих встречных женщин, проходивших мимо него быстро, как проходят в море один мимо другого встречные корабли. Своеобразное выражение брезгливой застенчивости на его лице привлекало к себе этих женщин, привыкших к лицам иного рода. И хотя он как будто и не смотрел на них, они тоже вызывали в нем любопытство, болезненное и сострадательное, какое люди, живущие тяжкой, беспросветной жизнью, могут вызывать в тех, кто привык к спокойным размышлениям. Одна из женщин, выйдя из переулка, подошла прямо к Хилери. Она показалась ему копией маленькой натурщицы: хотя она была выше ростом, полнее, с более ярким лицом, завитыми волосами и в шляпе с перьями, но он заметил тот же овал, те же широкие скулы, и полуоткрытый рот, и те же глаза цвета незабудок, и короткие черные ресницы. Только все это было грубее и более подчеркнуто, как искусство подчеркивает и огрубляет живую природу. Дерзко заглянув в лицо изумленному Хилери, женщина засмеялась. Хилери нахмурился и быстро зашагал дальше.

Домой он пришел в половине одиннадцатого. В комнате мистера Стоуна горела лампа и, как обычно, окно было открыто. Необычно было то, что свет горел и в спальне самого Хилери.

Он тихонько поднялся наверх. Сквозь приотворенную дверь он, к своему изумлению, увидел фигуру жены. Она сидела, откинувшись в кресле, положив локти на его ручки, сомкнув кончики пальцев. Ее волосы, лицо с резкими чертами и ярким румянцем — все было словно тронуто тенью. Она повернула голову, точно слушала кого-то, кто стоял рядом; шея ее сияла белизной. Неподвижная, почти неразличимая, эта женщина казалась призраком — она как будто смотрела на собственную свою жизнь, наблюдая ее и не принимая в ней никакого участия. Хилери колебался, войти ему в комнату или скрыться от этой странной гостьи.

— А, это ты, — сказала она.

Хилери подошел к ней. Эта женщина, его жена, как ни пренебрежительно относилась она к собственной красоте, была все же необычайно хороша собой. После девятнадцати лет, в которые можно было изучить каждую черточку ее лица и тела, каждую мельчайшую особенность ее натуры, Бианка все еще была для него неуловима,

и эта неуловимость, так пленившая его когда-то, стала вызывать в нем раздражение и постепенно погасила пламя, которое вначале зажгла. Он столько раз пытался постичь и так и не постиг ее душу. Почему эта женщина создана такой? Почему постоянно насмехается над собой, над ним, над всем на свете? Почему так сурово относится к собственной жизни, почему она такой злой враг своему счастью? Леонардо да Винчи мог бы писать ее: она была менее чувственной и жестокой, чем женщины его портретов, и более мятежной и дисгармоничной, но, как и они, физически и духовно очаровательная, она, отказываясь подчиниться зову духа и чувств, разрушала собственное свое очарование.

— Я не знаю, зачем я пришла, — проговорила она.

— Извини, что я не обедал дома, — только и нашел что сказать Хилери.

— У меня в комнате холодно. Ветер, кажется, переменился?

— Да, на северо-восточный. Оставайся здесь.

Ее рука сжала его руку, и это беспокойное, горячее прикосновение взволновало его.

— Спасибо, что ты меня приглашаешь, но, я думаю, не следует начинать того, что мы не сможем

продолжить.

— Останься здесь, — повторил Хилери и стал перед ней на колени.

И вдруг он начал целовать ее лицо и шею. Он почувствовал ответные поцелуи, и на мгновение они сжали друг друга в бурном объятии. Потом, как будто по взаимному согласию, разжали руки, и взгляд их стал бегающим, как у детей, которые подстрекали друг друга к воровству. На губах у них появилась тончайшая, еле заметная усмешка, как будто губы их говорили: «Да, но ведь мы с тобой не только животные…»

Хилери встал и присел на кровать. Бианка осталась в кресле — она глядела прямо перед собой, откинув голову назад, совершенно недвижимая; ее белая шея светилась, на губах и в глазах мелькала усмешка. Больше они не обменялись ни словом, ни взглядом.

Бесшумно встав и пройдя за его спиной, она вышла из комнаты.

У Хилери был во рту такой привкус, будто он жевал золу. И не выходили из ума слова — слова без склада и смысла, какие застревают порой в сознании человека: «Дом, где царит гармония…»

Немного погодя он пошел к двери в комнату Бианки и там остановился и прислушался. Он не

услышал ничего. Если б она плакала, если б она смеялась — все было бы лучше, чем это молчание. Зажав руками уши, он сбежал вниз по лестнице.

Глава XIII
Зов в ночи

Миновав свой кабинет, Хилери подошел к двери в комнату мистера Стоуна; мысль о том, что этот старик так упорен, так умеет уходить в свое, отрешаясь от внешнего мира, подействовала на него бодряще.

Мистер Стоун, по-прежнему одетый в коричневый шерстяной халат, сидел, устремив глаза на что-то в углу, откуда струился легкий душистый пар.

— Закройте дверь, — сказал мистер Стоун, — я варю какао. Хотите чашку какао?

— Я вам не помешал? — спросил Хилери.

Прежде чем ответить, мистер Стоун некоторое время пристально смотрел на него.

— Я заметил, что если я работаю после того, как выпью какао, это отражается на моей печени, — сказал он.

— В таком случае, сэр, если позволите, я посижу у вас немного.

— Кипит, — сказал мистер Стоун. Он снял кастрюльку с огня и, наполнив воздухом свои

слабые щеки, подул на нее. Струйки пара смешались с нитями его белой бородки. Он вынул из посудного шкафа две чашки, наполнил одну из них и взглянул на Хилери.

— Мне хотелось бы прочитать вам последние, только что законченные страницы, — сказал мистер Стоун. — Быть может, вы подадите мне какой-нибудь полезный совет.

Он поставил кастрюльку обратно на плиту и взял чашку с какао.

— Я выпью и потом почитаю вам.

Он подошел к конторке и там стоял, продолжая дуть на какао.

Хилери поднял воротник пиджака, защищаясь от гулявшего в комнате ночного ветра, и взглянул на пустую чашку: он почувствовал, что проголодался. Послышался странный звук — это мистер Стоун дул себе на язык. Торопясь поскорее начать чтение, он сделал слишком большой глоток.

— Я обжег себе рот, — сказал он.

Хилери поспешно подошел к старику:

— Сильно? Надо выпить холодного молока, сэр.

Мистер Стоун поднял чашку.

— Молока нет, — сказал он и снова отхлебнул из нее.

«Чего бы я только не дал, — подумал Хилери, — чтобы уметь вот так всегда видеть перед собой одну-единственную цель».

Резко стукнула поставленная на стол чашка, зашуршала бумага, и монотонный голос начал:

— «Пролетарии, преисполненные цинизма, естественного среди тех, кто действительно знаком с нуждой, и даже среди их вождей, у которых он вуалируется лишь тогда, когда им удается занять видное положение в глазах общества, — желали для себя богатства и досуга своих более обеспеченных ближних, но в беспросветном мраке долгой борьбы за существование им хватало энергии лишь на то, чтобы определить каждодневные насущные свои потребности. Они представляли собой бушующее, вздымающееся море, — медленно, никем не направляемые, людские волны вздымались в длительных приливах, стремясь хоть немного раздвинуть берега и заново создать формы социального устройства. И по сизо-зеленой поверхности этого моря…» — Мистер Стоун прервал чтение. — Она неправильно написала, — сказал он, — не то слово. Должно быть «по сине-зеленой»… — «И по сине-зеленой поверхности этого моря неслась флотилия серебряных суденышек, — их несло по волнам

дыхание тех, кто сам не ведал, что такое ветер нужды. Движение этих серебряных скорлупок, которые все шли наперерез друг другу, и являлось в сущности передовым движением того времени. На корме каждой скорлупки сидел какой-нибудь из побочных продуктов социальной системы — они дули на паруса. Эти побочные продукты мы сейчас и рассмотрим…»

Мистер Стоун сделал паузу и заглянул в чашку. На дне оставалась гуща. Он допил ее и продолжал:

— «Братоубийственная теория выживания сильнейшего, которая в те дни являлась основой кодекса морали Англии, превратила всю страну в огромную лавку мясника. Среди трупов бесчисленных жертв тучнели и багровели полчища мясников, физически окрепшие от запаха крови и опилок. Они зачали много детей. Согласно законам природы, не допускающим переизбытка, у некоторой части детей оказалось врожденное чувство отвращения к крови и опилкам; многие из них, вынужденные в целях заработка продолжать ремесло отцов, делали это неохотно; некоторые, благодаря успешной деятельности отцов-мясников, оказались в положении, позволявшем им самим уже этим не заниматься. Но,

продолжая ли дело отцов или проводя жизнь в праздности, они все обладали одной общей отличительной чертой: отвращением к запаху крови и опилок. У этих детей развились качества, доселе мало известные и обычно, — причем, как мы увидим далее, не без основания, — презираемые: нерешительность, восприимчивость к красоте, нелюбовь к бессмысленному разрушению, отвращение к несправедливости. Вместе с желанием, естественным для человека во все века, совершить что-либо, эти качества или некоторые из них и оказывались теми стимулирующими факторами, которые давали этим людям возможность действовать. Те, кто был вынужден жить своим трудом, склонялись, понуждаемые всей тогдашней системой общественной жизни, к более гуманным и менее утомительным видам мясничьего ремесла: искусству, просвещению, отправлению церковных обрядов, медицине, а также оплачиваемому представительству своих сограждан. Те же, для кого труд был необязателен, занимались наблюдением существующего положения дел и выражением негодования по поводу него. Каждый год их серебряных скорлупок выходило из порта все больше, и щеки тех, кто надувал паруса, раздувались все сильнее.

Оглядываясь назад, мы видим теперь причину, по которой красивые сверкающие суденышки не могли плыть, а были обречены вздыматься на сине-зеленых волнах моря, вечно рваться наперерез друг другу и всегда оставаться на одном и том же месте. Причина эта, если выразить ее в нескольких словах, следующая: «Тот, кто дул на паруса, должен был бы находиться в море, а не на суденышке…»

Монотонный голос умолк. Хилери увидел, что мистер Стоун пристально смотрит на лист бумаги, как если бы глубокий смысл этого последнего предложения был для него самого неожиданным. Но вот голос опять затянул:

— «И в социальных движениях так же, как в физических процессах природы, всегда была одна-единственная плодотворная действующая сила — таинственное и чудесное влечение, именуемое любовью. Ей, этому слиянию двух существ воедино, человечество обязано растущим разнообразием форм, известным под названием «жизнь». Вот этого фактора, этого таинственного, бессознательного чувства любви и недоставало тем, кто дул на паруса флотилии. У них было все: разум, совесть, ненависть, нетерпение; они возмущались, они презирали, но у них не было

любви к ближним. Они не могли броситься в море. Сердца их пылали, но ветер, заставлявший их пылать, не был соленым морским зефиром, то был ветер палящий, ветер пустыни. Как цветения алоэ, такого долгожданного, такого чудесного и такого стремительного, когда оно уже началось, человек должен был еще ждать, когда придет время для его высокого стремления к Всемирному Братству и забвению самого себя».

Мистер Стоун окончил чтение и стоял, пристально глядя на своего гостя, но, несомненно, видя вместо него что-то другое и далекое. Хилери не мог выдержать этого взгляда и опустил глаза на пустую чашку из-под какао.

Обычно те, кто слушал, как мистер Стоун читает свою рукопись, не смотрели ему в лицо. Старик так долго молчал, поглощенный своими мыслями, что Хилери наконец встал и заглянул в кастрюльку. Какао в ней не было. Мистер Стоун сварил ровно на одну чашку. Он хотел уступить ее гостю, но забвение себя помешало ему вспомнить об этом.

— Вы знаете, сэр, что происходит с алоэ, после того как оно расцветает? — спросил Хилери не без ехидства.

Мистер Стоун шевельнулся, но не ответил.

— Оно умирает, — сказал Хилери.

— Нет, — возразил мистер Стоун, — оно обретает покой.

— Разве индивидуальность может обрести покой? Индивидуальное, уж конечно, так же бессмертно, как и всеобщее. Это извечная комедия жизни.

— Что извечная комедия? — спросил мистер Стоун.

— Борьба между тем и другим.

Одно мгновение мистер Стоун задумчиво смотрел на зятя, потом положил лист рукописи на конторку.

— Мне пора заняться гимнастикой, — проговорил он и развязал шнур с кистями, служивший ему поясом.

Хилери поспешил к двери. С порога он оглянулся.

Уже без халата, лицом к окну, мистер Стоун поднялся на цыпочки, вытянул руки вперед, сложив ладони вместе, как в молитве; брюки его медленно сползали вниз.

— Раз, два, три, четыре, пять… — считал он. Затем послышался сильный выдох.

Наверху, в коридоре, залитом лунным светом из окна в конце его, Хилери опять остановил-

ся и прислушался. До него донеслось только легкое посапыванье Миранды, спавшей в его ванной, — собака не желала спать близко к человеку. Хилери прошел к себе в спальню и долго сидел, погруженный в свои мысли. Затем он открыл окно и высунулся наружу. На деревья в соседнем саду и на покатые крыши конюшен и других надворных строений лунный свет опускался, как стая молочно-белых голубей: распростерши крылья, как будто еще в полете, они, легко порхая, покрыли собой все. Ничто не шевелилось. Где-то часы пробили два. За молочно-белыми голубиными стаями высились темные, неведомые стены. И вдруг среди этой тишины Хилери как будто различил глухой и очень слабый звук — не то дыхание какого-то чудовища, не то далекий приглушенный бой барабанов. Он шел, казалось, со всех сторон бледного города, спящего в холодном свете луны, — он усиливался, затихал и снова усиливался, таинственный и жуткий, похожий на стон голодных и отчаявшихся. По Хай-стрит прогремели колеса кеба; Хилери настороженно прислушался к замирающему вдали звону колокольчика и цоканью копыт. И опять воцарилась тишина. И опять Хилери услышал приближающийся гулкий барабанный стук огромного

сердца. Звук этот рос и рос. Теперь у самого Хилери заколотилось сердце. И вдруг он услышал, как от этого зловещего, немого стона отделился какой-то один скрипучий звук, и понял, что это не бормочущее, невнятное эхо человеческих страданий, а всего лишь стук и скрип фургонов, тянущихся к рынку Ковент-Гарден.

Глава XIV
Поход в чужие края

Несмотря на свою занятую жизнь, Тайми Даллисон находила время записывать свои воспоминания и мысли на странички школьных тетрадей. Она не задавалась при этом никакой определенной целью, не было у нее и желания погружаться в приятное созерцание субъективных ощущений — она бы презрела это как нечто старомодное и глупое. Она вела свои записи лишь от избытка юношеской энергии и от потребности «выразить себя», которая как будто носилась в воздухе; потребность эта чувствовалась повсюду: и среди тех, с кем Тайми училась, и среди ее приятелей, и в гостиной матери, и в студии тетки. Как чувствительность и супружество были обязательны для викторианской мисс, так для Тайми казалось обязательным это «самовыражение», точно так же, как и необходимость прожить молодые годы возможно веселее. Она никогда не перечитывала написанного и не запирала тетрадок, зная, что ее свобода, занятия и развлечения — священны, и никому и в голову не придет по-

сягнуть на них. Она держала тетрадки вместе с огрызком химического карандаша в ящике комода, среди носовых платков, галстучков и блузок.

В дневник этот, наивный и неряшливый, она заносила без разбора все, что почему-либо произвело на нее впечатление.

В то раннее утро четвертого мая она сидела в ночной рубашке в ногах своей белой кровати — глаза у нее горели, щеки со сна были розовые, пушистые каштановые волосы растрепались — и исписывала страницу за страницей, в экстазе «самовыражения», потирая одной голой ногой о другую. Время от времени она вдруг, не дописав фразу, выглядывала в окно или блаженно потягивалась, как если б жизнь была слишком прекрасна для того, чтобы стоило что-либо заканчивать.

«Вчера я заходила в комнату к дедушке и была там, пока он диктовал маленькой натурщице. Я считаю, что дедушка просто великолепен. Мартин говорит, что энтузиаст хуже чем бесполезен. Он говорит, что люди не должны позволять себе дилетантскую игру в высокие идеи и мечты. А дедушкину идею он называет палеолитической. Терпеть не могу, когда над дедушкой смеются. Мартин так отвратительно самоуверен. Не

думаю, что он найдет много таких, которые в свои восемьдесят лет круглый год купаются в Серпентайне, сами убирают свою комнату, сами готовят себе еду и живут на какие-нибудь девяносто фунтов в год, получая пенсию в триста фунтов, а остальное раздают. Мартин считает, что все это «нездорово» и что «Книга о всемирном братстве» — «чушь». Ну и пусть — все равно это чудесно, что он может целыми днями писать свою книгу. С этим даже Мартин соглашается. Вот это-то и есть в Мартине самое худшее: он до того хладнокровен, его невозможно переспорить. И вечно как будто критикует тебя. Меня это бесит… А маленькая натурщица — безнадежная тупица. Я бы могла записывать под дедушкину диктовку вдвое быстрее. Она то и дело останавливалась и смотрела вверх, как всегда, с полуоткрытым ртом. Будто впереди у нее времени хоть отбавляй. Дедушка так поглощен работой, что ничего не замечает, он любит перечитывать снова и снова то, что написал, — слушает, как звучат слова. Эта девушка, наверное, ни на что не способна, разве только «позировать». Тетя Бианка говорила, что позирует она хорошо. В лице у нее есть что-то особенное, она немножко напоминает мне мадонну Боттичелли, которая висит в Национальной га-

лерее, — ту, которая в фас. И не столько чертами лица, сколько выражением — оно почти глупое и в то же время какое-то такое, будто она ждет: вот-вот произойдет что-то. Руки у нее красивые, а ноги меньше моих. Она на два года старше меня. Я спросила ее, почему она решила стать натурщицей, ведь это же препротивная работа. Она ответила, что рада была любой работе. Я спросила, а почему она не пошла работать куда-нибудь приказчицей или в прислуги. Она ответила не сразу, а потом сказала, что у нее не было никаких рекомендаций, она не знала, куда обратиться. И вдруг сразу надулась, сказала, что не хочет…»

Тайми бросила писать и принялась набрасывать карандашом профиль маленькой натурщицы.

«На ней было премиленькое платье, очень простое, хорошо сшитое — стоит, наверное, не менее трех или четырех фунтов. Значит, ей не так уж плохо живется, или, может, это платье ей кто-нибудь подарил…»

Тайми снова остановилась.

«Я подумала, насколько она в нем красивее, чем в той старой коричневой юбке… Вчера к обеду приходил дядя Хилери. Мы с ним обсуждали социальные проблемы, мы с ним всегда обсуж-

даем что-нибудь, когда он к нам приходит. Дядю Хилери нельзя не любить, у него такие добрые глаза, и он такой мягкий. Рассердиться на него невозможно. Мартин говорит, что он человек слабый и ни к чему не пригодный, потому что не знает жизни. А по-моему, ему просто невмоготу принудить других к действию. Он всегда видит обе стороны вопроса и, конечно, довольно нерешителен. Он, наверное, похож на Гамлета, только, кажется, никто теперь толком не знает, каким на самом деле был Гамлет. Я высказала дяде Хилери, что я думаю о неимущих классах. С ним можно говорить. Я не выношу папины неостроумные шуточки — как будто на свете нет ничего серьезного. Я сказала, что толку мало, если заниматься дилетантством, что надо доходить до самой сути всего. Я сказала, что деньги и классовые перегородки — это два пугала, которые нам надо свалить. Мартин говорит, что, когда дело доходит до настоящего практического разрешения социальных проблем, все те, кого мы знаем, оказываются дилетантами. Он говорит, что мы должны стряхнуть с себя старые сентиментальные представления и просто начать работать, чтобы все оздоровить. Отец прозвал Мартина оздоровителем, а дядя Хилери говорит,

если людей мыть «именем закона», насильно, то завтра они снова будут такими же грязными…»

Тайми снова перестала писать. В сквере напротив выводил свои долгие, низкие, похохатывающие трели дрозд. Она подбежала к окну и выглянула наружу. Дрозд сидел на платане и, подняв головку, выпускал из своего желтого клюва этот прелестный образчик «самовыражения». Всему, казалось, воздавал он хвалу — небу, солнцу, деревьям, росистой траве, самому себе!

«Ах ты, милочка!» — подумала Тайми.

Сладко поеживаясь, она сунула тетрадку обратно в ящик, сдернула с себя ночную рубашку и помчалась в ванную.

В то же утро, в десять часов, она тихонько выскользнула из дома. По субботам занятий у нее не было, но тут ее личные интересы, как правило, сталкивались с интересами родителей. Мать хотела, чтобы дочь провела это время с ней, отец рассчитывал, что она поедет с ним в Ричмонд поиграть в гольф: в субботу Стивн обычно покидал здание суда раньше трех часов. Если ему удавалось уговорить жену или дочь сопровождать его, он любил потренироваться к воскресенью, когда играл весь день, отправляясь из дому в половине одиннадцатого. Если же нет, он ехал к себе в клуб

и там, читая журналы, знакомился со всеми имеющимися в наличии социальными течениями.

Тайми шла, подняв голову и наморщив лоб, как будто погруженная в серьезные размышления. Если на нее кидали восхищенные взгляды, она, казалось, не замечала их. Неподалеку от дома Хилери она повернула на Брод-Уок и дошла до другого конца Кенсингтонского сада.

На невысокой ограде, вытянув вперед длинные ноги и разглядывая прохожих, сидел ее двоюродный брат Мартин Стоун. Когда Тайми подошла, он слез.

— Опять опоздала, — сказал он. — Ну, пошли.

— Куда мы пойдем сначала? — спросила Тайми.

— В Ноттинг-Хилл, и больше сегодня мы никуда не поспеем, ведь мы должны еще раз зайти к миссис Хьюз. Во второй половине дня мне надо быть в больнице.

Тайми насупилась:

— Я так завидую тебе, Мартин, — ты живешь один. Ужасно глупо, что приходится жить в семье.

Мартин не ответил, но одна ноздря его длинного носа как будто дрогнула; Тайми ничего на это не сказала. Несколько минут они шагали

между двумя рядами высоких домов, спокойно поглядывая вокруг.

Мартин заметил:

— Всюду одни господа Пэрси.

Тайми кивнула. И снова молчание, но в эти паузы они не испытывали смущения, они, по-видимому, даже не сознавали того, что молчат, и их глаза — молодые, нетерпеливые, жадные — не упускали ничего.

— Пограничная линия. Сейчас попадем в приятное местечко, — сказал Мартин.

— Черным-черно? — спросила Тайми.

— Нет, черным-сине, — совсем черное будет дальше.

Они шли по длинной кривой серой улице, где узкие дома, вконец слинявшие, являли все признаки безысходной нужды. Весенний ветер шевелил солому и клочки бумаги в сточных канавах; под ярким солнцем, казалось, шла холодная ожесточенная борьба.

Тайми сказала:

— Эта улица нагоняет на меня тоску.

Мартин кивнул:

— Еще страшнее, чем полная нищета. Такие домишки тянутся на полмили. Здесь еще идет свирепая борьба. Дальше люди уже сдались.

Они шли и шли по кривой улице, с ее жалкими лавчонками и нескончаемым убожеством.

На углу одного из переулков Мартин сказал:

— Теперь мы свернем сюда.

Тайми наморщила нос и не двигалась с места. Мартин смерил ее взглядом:

— Ну же, не трусь!

— Я не трушу, Мартин, просто я не могу перенести эти запахи.

— Тебе придется к ним привыкнуть.

— Да, я знаю. Но… я смочила эвкалиптовым маслом платок и забыла его дома.

Молодой человек вынул из кармана еще не развернутый чистый носовой платок:

— На, возьми мой.

— Здесь чувствуешь себя такой… А как же ты? — И она взяла платок.

— Ничего, это не важно, — сказал он. — Пошли.

Казалось, на этой узкой улице — и внутри домов, и возле них — всюду женщины; у многих на руках были младенцы. Женщины или работали, или выглядывали из окон, или судачили на порогах. И все умолкали, бросая дела, и во все глаза смотрели на проходящую молодую пару. Тайми бросила украдкой взгляд на своего спутника. Он

все так же ровно отмерял длинные шаги, и бледное лицо его хранило все то же внимательное и саркастическое выражение. Сжимая в руке носовой платок и стараясь подражать равнодушному виду Мартина, она взглянула на небольшую группу женщин на ближайшем пороге. Три из них сидели, две стояли. Одна из стоявших — молодая женщина с открытым круглым лицом — явно готовилась скоро стать матерью, другая — широколицая, смуглая, с растрепанными седыми волосами — курила глиняную трубку. У одной из тех, что сидели, совсем еще юной, лицо было сероватое, цвета грязной простыни, и синяк под глазом; вторая, в драном и неряшливом платье, кормила грудью ребенка; третья, судя по лицу — горькая пьяница, сидела в центре на самой верхней ступеньке, уперев красные руки в бока, и добродушно выкрикивала непристойности соседке, свесившейся из окна дома напротив. В сердце Тайми поднималось страстное возмущение. «Как отвратительно! О, как отвратительно!..» Но она не смела его высказать и, закусив губы, отвернулась: девичье чувство стыда было оскорблено тем, что представительницы ее пола так позорят его. Женщины уставились на Тайми: по-разному, в соответствии с темпераментом каждой, на

лицах их отразилось сперва то смутное холодное любопытство, с каким и Тайми вначале взглянула на них, а затем враждебность и осуждение, будто им со своей стороны тоже казалось, что незапятнанной скромностью, вспыхнувшими щеками и чистой одеждой девушка их позорит. Презрительным движением губ и жестами они выразили свое непоколебимое убеждение в добродетельности и реальности собственного существования и в порочности и нереальности ее непрошеного присутствия здесь.

— Дай-ка эту куколку Биллу, он с ней живо справится, с этой…

Последнее слово потонуло в общем взрыве хохота.

Мартин скривил губы.

— Здесь и не такое еще услышишь, — сказал он.

Щеки Тайми пылали.

В конце переулка он остановился перед бакалейной лавкой.

— Пошли. Посмотришь, где они покупают себе свой хлеб насущный.

В дверях лавки стояли тощий коричневый спаниель, маленькая белокурая женщина с высоким голым лбом, над которым торчали туго закручен-

ные в папильотки волосы, и девчушка с какой-то сыпью на лице.

Кивнув мимоходом, Мартин жестом попросил их посторониться. Лавчонка была крошечная, футов десять в длину. На прилавках, идущих вдоль двух ее стен, теснились тарелки с кусками пирога, колбасы, кости от окороков, мятные конфеты и стиральное мыло; продавался здесь также хлеб, маргарин, жир, наложенный в миски, сахар, селедки — селедок было особенно много, — сухари и прочая снедь. На стене висели две кроличьи тушки. Все это ничем не было прикрыто, и на всем сидели и коллективно угощались мухи. За прилавком девушка лет семнадцати отпускала худощавой женщине кусок сыра. Сыр она крепко придерживала грязной рукой и пилила ножом. На прилавке рядом с сыром сидела с невозмутимым видом кошка.

Все оглянулись на вошедшую молодую пару. Мартин и Тайми ждали.

— Когда кончите резать сыр, — сказал Мартин, — дайте мне на три пенса драже.

Девушка последним отчаянным усилием допилила сыр. Худощавая женщина взяла его и ушла, кашляя прямо над ним. Девушка — она не могла оторвать глаз от Тайми — отпустила им на три

пенса драже, которые она вытащила из банки прямо пальцами, потому что конфеты слиплись. Положив их в свернутый из газеты кулечек, она подала его Мартину. Молодой человек, небрежно за всем наблюдавший, коснулся локтя Тайми. Не поднимая глаз, она повернулась, и они вышли. В дверях Мартин передал кулечек девочке с сыпью на лице.

Улица теперь перешла в широкую дорогу, обстроенную низкими домишками.

— Черным-черно начинается здесь, — сказал Мартин. — Сплошь безработные, преступники, лодыри, пьяницы, чахоточные. Взгляни, какие физиономии!

Тайми послушно подняла глаза. На этой, центральной в здешних местах, улице было не так, как там, откуда они только что пришли. Прохожие или бросали на девушку тупые и хмурые взгляды, или не замечали ее вовсе. В некоторых домах на подоконниках стояли растрепанные растения; в одном окне пела канарейка. За первым поворотом Мартин и Тайми очутились в еще более темном омуте человеческой реки. Тут стояли какие-то сараи, дома с выбитыми окнами, дома с окнами, заколоченными досками, лавчонки, где торговали жареной рыбой, низкоразрядные ка-

баки, дома без дверей. Мужчин тут было больше, чем женщин; одни катили тачки, наполненные тряпьем и бутылками, а порой даже и не наполненные тряпьем и бутылками; другие по двое и по трое стояли возле кабаков, балагуря или ссорясь; некоторые медленно брели по канавам или вдоль домов, будто сами не знали, живы они еще или уже умерли. Какой-то молодой парень с выражением исступленного отчаяния на лице пробежал мимо, толкая свою тачку. И время от времени из лавчонки с жареной рыбой или из скобяной лавки выходил человек в грязном фартуке погреться на солнышке и посмотреть на улицу, по-видимому, не замечая ничего, что могло бы угнетающе подействовать на его состояние духа. В неиссякающем, но все время меняющемся потоке прохожих попадались и женщины; они несли еду, завернутую в газетную бумагу, или какие-то узелки под шалью. Лица их были большей частью или очень красные и грубые, или какие-то прозрачно-белые — лица женщин, которые принимают свое существование таким, каким уготовало его для них провидение. На них нельзя было прочесть ни удивления, ни протеста, ни тоски, ни стыда — одна лишь тупая, животная покорность или грубая, нерадостная удаль. Они

ходили по этой улице вот так каждое утро, круглый год. Им нельзя было не принять это. Не имея надежд стать когда-либо чем-то другим, не умея вообразить себе другую жизнь, они и не тратили попусту сил на пустые надежды и фантазии. Иногда проходили, еле передвигая ноги, старики и старухи; они ползли, как зимние пчелы, на беду себе забывшие умереть в солнечный полдень своей трудовой жизни и слишком старые, чтобы приносить пользу, изгнанные из улья на медленное умирание в холодный и голодный вечер их жизни.

Посреди мостовой плелась подвода пивовара. Ее тянули три лошади: хвосты у них были заплетены в косы, гривы украшены лентами, медная сбруя блестела на солнце. Высоко на козлах, как некий бог, восседал возчик, неподвижно устремив на лошадиные холки свои глазки-щелочки над огромными багровыми щеками. За его спиной лениво поскрипывала подвода, вся уложенная пивными бочками, на которых спал, растянувшись, помощник возчика. Как воплощение непреклонной, суровой силы, подвода проехала, гордая тем, что ее тяжеленный груз содержит единственную радость, доступную для этих бредущих по улице теней.

Молодые люди вышли на шоссе, идущее с востока на запад.

— Перейдем тут, — сказал Мартин, — и пойдем в Кенсингтон сокращенной дорогой. Больше не будет ничего примечательного, пока не попадем на Хаунд-стрит. А тут повсюду одни только Пэрси.

Тайми встряхнулась:

— Мартин, прошу тебя, пойдем по такой дороге, где можно дышать. У меня такое чувство, будто я вся грязная.

Она приложила руку к груди.

— Вон там получше будет, — сказал Мартин.

Они свернули влево и пошли по улице, обсаженной деревьями. Теперь, когда Тайми могла свободно дышать и смотреть, она снова высоко подняла голову и снова начала раскачивать руками.

— Мартин, ведь надо же что-то делать!

Молодой доктор не отвечал; все так же было бледно его лицо, все так же выражало оно внимательность и насмешку. Он слегка сжал руку Тайми у локтя и при этом полупрезрительно улыбнулся.

Глава XV
Второе паломничество на Хаунд-стрит

Прибыв на Хаунд-стрит, Мартин Стоун и его спутница поднялись прямо наверх к миссис Хьюз. Они застали ее за стиркой, она развешивала перед слабым огнем часть того немногого, что загрязнилось за неделю и уже было отстирано. Руки у нее были обнажены до локтя, лицо и глаза покраснели; на них застыл пар от мыльной пены.

Привязанный к подушке полотенцем, под отцовским штыком и олеографией, изображающей Рождество Христово, сидел младенец. В воздухе держался запах и от него, и от крашеных стен, и от стирки, и от копченой селедки. Молодые люди уселись на подоконник.

— Можно открыть окно, миссис Хьюз? — сказала Тайми. — Или, может быть, это вредно ребенку?

— Нет, мисс.

— Что это у вас с руками? — спросил Мартин.

Швея прикрыла руки бельем, которое опускала в мыльную воду, и не ответила.

— Не прячьте, дайте мне взглянуть.

Миссис Хьюз протянула руки; запястья опухли и посинели.

— Какой зверь! — воскликнула Тайми.

Молодой доктор сказал вполголоса:

— Это от вчерашнего вечера. Арника в доме есть?

— Нет, сэр.

— Ну ясно. — Он положил на подоконник шестипенсовую монету. — Купите арники и втирайте. Только осторожно, не сдерите кожу.

Тайми вдруг не выдержала:

— Почему вы не уходите от него, миссис Хьюз? Почему живете с таким зверем?

Мартин нахмурился:

— Очень бурная была ссора или не более обычного?

Миссис Хьюз отвернулась к еле горящему огню. Плечи ее судорожно вздрагивали.

Так прошло минуты три, потом она снова принялась тереть намыленное белье.

— Я закурю, если не возражаете, — сказал Мартин. — Как зовут ребенка? Билл? Эй, Билл! — Он сунул мизинец в ручку ребенка. — Кормите грудью?

— Да, сэр.

— Который он у вас по счету?

— Я потеряла троих, сэр; теперь остались только он да его братишка Стэнли.

— Рожали каждый год?

— Нет, сэр. Два года подряд во время войны я, конечно, не рожала.

— Хьюз был ранен во время войны?

— Да, сэр, в голову.

— Так. И болел лихорадкой?

— Да, сэр.

Мартин постучал себя по лбу трубкой:

— И каждая капля спиртного бросается ему в голову, да?

Миссис Хьюз замерла, сжав в руках мокрое полотенце; ее заплаканное лицо выражало обиду, как будто в том, что сказал Мартин, она уловила какое-то оправдание своему мужу.

— Он не имеет права так со мной обращаться, — сказала она.

Все трое стояли теперь вокруг кровати, на которой сидел ребенок, серьезно тараща на них глазки.

Тайми сказала:

— Нет, миссис Хьюз, я бы его не боялась. На вашем месте я с ним не осталась бы и дня. Уйдите от него, это ваш долг женщины.

Услышав, что заговорили о долге женщины,

миссис Хьюз повернулась; на ее худом лице проступило какое-то мстительное выражение.

— Вы так думаете, мисс? — сказала она. — А я вот не знаю, что мне делать.

— Забрать детей и уйти. Какой смысл ждать? Мы вам дадим денег, если у вас не хватает.

Но миссис Хьюз молчала.

— Ну, так как же? — спросил Мартин, выпуская изо рта облако табачного дыма.

Тайми снова не выдержала:

— Уходите немедленно, как только придет из школы ваш мальчик. Муж никогда вас не разыщет! И поделом ему. Никакая женщина не должна мириться с такой жизнью. Это — малодушие, миссис Хьюз.

Последние слова, как видно, задели миссис Хьюз за живое, лицо ее стало вдруг цвета помидора. Она заговорила с жаром:

— Да, уйти, оставить его этой девчонке, чтоб он тут развратничал! И это после того, как я восемь лет была его женой и родила ему пятерых? После всего, что я для него сделала? Мне и не нужно бы лучшего мужа, чем каким он был, пока она не появилась тут — сама бледная, и все прихорашивается, и рот такой, что сразу видно, какого она сорта. Пусть ее занимается своим делом — сидит

голая, — только на это она и годится. Нечего ей лезть к приличным людям... — Протянув к оробевшей Тайми свои изувеченные руки, она выкрикнула: — Раньше он меня никогда и пальцем не трогал. А все это я получила из-за ее новых нарядов...

Испуганный громкими, страстными криками матери, младенец залился плачем. Миссис Хьюз умолкла и взяла его на руки. Крепко прижав ребенка к тощей груди, она смотрела поверх его плешивой головки на молодую пару.

— Руки у меня такие оттого, что вчера я боролась с ним, хотела удержать его. Он божился, что уйдет, бросит меня, а я удерживала его, да! И не думайте, что я когда-нибудь отпущу его к этой девчонке — пусть хоть убьет меня!

После этого взрыва горячность ее как будто остыла, она сделалась прежней — кроткой и бессловесной.

Во время этого бурного проявления чувств Тайми, вся съежившись, опустив глаза, стояла возле двери. Она взглянула на Мартина, явно умоляя его уйти. А Мартин все смотрел на миссис Хьюз и молча покуривал. Затем вынул трубку изо рта и указал ею на ребенка:

— Этот юный джентльмен недолго выдержит,

если так пойдет и дальше.

Все трое молча посмотрели на младенца. Из всех своих слабых сил он прижимал кулачки, нос, лоб, даже крохотные голые морщинистые ножки к материнской груди, как будто хотел спрятаться куда-нибудь подальше от жизни. В этом стремлении уйти туда, откуда он появился, было какое-то немое отчаяние. Головка ребенка, покрытая редким тусклым пушком, дрожала от усилий. Он прожил еще так мало, но и этого было для него достаточно. Мартин снова взял в рот трубку.

— Так нельзя, вы сами понимаете, — сказал он. — Малыш не вытянет. И вот еще что: если вы бросите кормить его грудью, я не поручусь за него до завтрашнего дня. Уж вам-то должно быть понятно, что, если все это будет продолжаться, шансов на то, чтобы сохранить молоко, у вас не очень много.

Сделав знак Тайми, он вместе с ней спустился по лестнице.

Глава XVI
Под вязами

Весна была и в сердцах людей, и в деревьях, их высоких товарищах. Тревоги, усилия выбиться к свету за счет других — все будто утратило значение. Весна взяла в плен все и вся. Это она заставляла стариков оборачиваться на молоденьких женщин и смотреть им вслед, это она заставляла молодых мужчин и женщин, идущих рядом, касаться друг друга, а каждую птицу на ветке — наигрывать свою мелодию. Солнечный свет, изливаясь с небес, расцвечивал светлыми пятнышками трепещущие листья, зажигал щеки мальчиков-калек, гулявших, прихрамывая, по Кенсингтонскому саду, и их бледные лица — лица юных горожан — пылали необычным румянцем.

На Брод-Уок под вязами, этими неподатливыми деревьями, сидели бок о бок и грелись на солнышке генералы и няньки, священники и безработные. А над головой у них, раскачиваясь под весенним ветерком, шелестели и чуть поскрипывали ветви, вели свои нескончаемые беседы — мудрые бессловесные разговоры деревьев о

людских делах. Приятно было внимать шелесту бесчисленных листьев и смотреть на них: все они были разной формы, и трепыхание на ветру каждого отдельного листка было неповторимо и в то же время покорно единой душе дерева.

Тайми с Мартином тоже сидели здесь — на скамье под самым большим вязом. От непринужденности и достоинства, отличавших их два часа назад, когда они отправлялись с противоположного конца Брод-Уок в свою экспедицию, не осталось и следа. Мартин говорил:

— Увидела первую каплю крови и скисла. Ты такая же, как и остальные.

— Неправда! Это просто мерзко с твоей стороны — говорить так!

— А вот и правда. Эстетизма, прекрасных намерений у тебя и твоей родни хоть отбавляй, но ни у кого ни на йоту способности делать настоящее дело.

— Не смей оскорблять моих родственников, они подобрее тебя!

— О, они весьма добросердечны и отлично видят, в чем зло. Не это тормозит их активность. Но твой папочка — типичный чиновник. Он так твердо знает, чего ему не следует делать, что вообще ничего не делает. В точности, как Хилери. Тот

уж очень совестлив и глубоко сознает, что именно он должен делать, и поэтому тоже ничего не делает. Сегодня ты отправилась к этой женщине, чтобы помочь ей, заранее решив, как все будет, но стоило тебе увидеть, что дело обстоит иначе, чем ты воображала, и ты уже на попятный.

— Нельзя верить ни одному их слову — вот что мне противно! Я думала, Хьюз бьет ее спьяну, я ведь не знала, что все это потому, что она его ревнует.

— Конечно, не знала и не могла знать… И с чего ты взяла, что они готовы выложить нам все сразу? Они говорят, только если их принудить к этому. Они не такие простофили, как ты думаешь.

— Мне отвратительна вся эта история. Такая грязь!

— О, боже мой!..

— Да, грязь! Мне не хочется помогать женщине, которая думает и говорит такие ужасные вещи! И той девушке тоже, и вообще никому из них.

— Какое имеет значение, что они говорят и что думают? Дело не в этом. Надо на все смотреть с точки зрения здравого смысла. Твои родственники поселили девушку в эту комнату, и пусть теперь они ее забирают, да поживее. Тут вопрос только в том, что полезно для здоровья, пони-

маешь?

— Я понимаю только, что для моего здоровья отнюдь не полезно иметь с ними дело, и я не буду. Я не верю, что можно помочь людям, которые отталкивают твою помощь.

Мартин свистнул.

— Ты — грубое животное, Мартин, вот что я тебе скажу, — проговорила Тайми.

— Просто «животное», а не «грубое животное». Это разница.

— Тем хуже!

— Не думаю. Послушай, Тайми…

Тайми молчала.

— Посмотри мне в лицо.

Тайми медленно подняла на него глаза.

— Ну, что тебе?

— Ты с нами или нет?

— Конечно, с вами.

— Нет, ты не с нами.

— Нет, с вами!

— Ну хорошо, не будем из-за этого ссориться. Дай руку.

Он накрыл ее руку ладонью. Лицо Тайми густо порозовело. Вдруг она высвободила руку:

— Смотри, вон идет дядя Хилери!

Это и в самом деле был Хилери, и впереди него

семенила Миранда. Он шел, заложив руки за спину, опустив голову. Молодые люди молча смотрели на него.

— Погружен в самосозерцание, — пробормотал Мартин. — Вот так он всегда расхаживает. Сейчас я ему доложу обо всем.

Лицо Тайми из розового стало пунцовым.

— Не надо!

— Почему?

— Ну, потому, что… из-за этих…

Она не могла произнести слово «нарядов»: это выдало бы ее тайные мысли.

Хилери направлялся, по-видимому, прямо к их скамье, но Миранда, завидев Мартина, остановилась. «Вот человек действия, — казалось, говорила она, — тот, что треплет меня за уши». И, стараясь увести хозяина, будто без всякого умысла повернула в сторону. Но Хилери уже заметил племянницу. Он подошел к ней и сел рядом.

— Вас-то нам и нужно, — сказал Мартин, медленно оглядывая его, как оглядывает молодой пес более старую и другой породы собаку. — Мы с Тайми ходили к Хьюзам на Хаунд-стрит. Там заваривается настоящая каша. Вы или кто-то там из вас поселили туда девушку, так вот теперь забирайте ее оттуда, и как можно скорее.

Хилери сразу же будто ушел в себя.

— Расскажите все как есть, — сказал он.

— Жена Хьюза ревнует его к девушке — в этом вся беда.

— Вот как! И в этом вся беда?

Тайми вмешалась:

— Абсолютно не понимаю, при чем тут дядя Хилери. Если им угодно вести себя так отвратительно… Я не знала, какие они, эти бедные, я не думала, что они способны на такое! Я убеждена, что девушка не стоит того, чтобы о ней заботиться, да и женщина эта тоже.

— Я не говорил, что они этого стоят, — проворчал Мартин. — Дело не в этом. Важно, что полезно для здоровья.

Хилери переводил взгляд с одного на другую.

— Понимаю, — сказал он. — А мне казалось, что тут дело, быть может, более деликатного свойства.

Губы Мартина искривились.

— Вечно вы с вашей хваленой деликатностью! Что от нее толку? Был ли когда от нее прок? Право, какое-то проклятие лежит на всех вас. Почему вы никогда не действуете? Думать можно потом.

Впалые щеки Хилери покрылись краской.

— А ты, Мартин, никогда не думаешь прежде,

чем начать действовать?

Мартин поднялся и стоял, глядя на Хилери сверху вниз.

— Послушайте, — начал он, — я не желаю вникать во все ваши тонкости. Я полагаюсь на свои глаза и нос. Я вижу, что женщина, если такое истеричное состояние у нее не пройдет, не сможет кормить ребенка грудью. Речь идет о здоровье их обоих.

— Для тебя все сводится только к здоровью?

— Да. Возьмите любую проблему. Ну, хотя бы ту же бедноту. Что им требуется? Здоровье. Ничего, кроме здоровья. Открытия и изобретения прошлого столетия выбили основу из-под старого порядка вещей, и наш долг — создать новую основу, основу здоровья, и мы это сделаем. Простой народ еще сам не понимает, что ему нужно, но он *ищет*, и когда мы покажем ему истину, он ухватится за нее немедленно.

— А кто это «мы»? — тихо спросил Хилери.

— Кто мы? Я вам вот что скажу. Пока почтенные реформаторы пререкаются между собой, мы спокойно подойдем и проглотим их всех оптом. Мы осознали тот факт, что не теория является основанием для реформ. Мы действуем на основании того, что подсказывают нам наши глаза и

носы. Если мы видим и обоняем нечто скверное, мы это скверное исправляем практическими и научными мерами.

— И эти же меры вы применяете к человеческой природе?

— Человеческой природе как раз и свойственно стремиться к здоровью.

— Не знаю, не знаю… Я пока этого не вижу.

— Возьмите хотя бы случай с этой женщиной.

— Да, возьмем хотя бы ее случай. На этом примере, Мартин, твои доказательства мне не очень ясны.

— Она никуда не годится: жалкое существо. И муж ее тоже. Если человек был ранен в голову и к тому же пьет, дело его дрянь. И девушка тоже никуда не годится: заурядная девица, падкая на развлечения.

Тайми вспыхнула, и Хилери, заметив это, прикусил губу.

— Единственно, кто стоит внимания, — это дети. Тут этот младенец… Ну так вот, самое главное, как я сказал, это чтобы мать могла нормально его выходить. Уразумейте этот факт, а все остальное пошлите к черту!

— Ты меня прости, но мне как-то трудно отделить вопрос о здоровье ребенка от всех других

обстоятельств этой истории.

Мартин ухмыльнулся:

— И вы, конечно, используете это как предлог, чтобы ничего не сделать.

Тайми быстро вложила свою руку в руку Хилери.

— Нет, ты действительно грубое животное, Мартин, — шепнула она.

Молодой человек бросил на нее взгляд, говоривший: «Можешь сколько угодно называть меня грубым животным, я этим горжусь. Да и, кроме того, ты сама знаешь, что тебе это вовсе не так уж противно!»

— Лучше быть животным, чем дилетантом, — сказал он.

Тайми, прижавшись к Хилери, словно тому требовалась ее защита, воскликнула:

— Мартин, ты просто варвар!

Хилери продолжал улыбаться, но лицо у него передергивалось.

— Нет, нисколько, — сказал он. — Мартин отлично ставит диагнозы, это делает ему честь.

И, приподняв шляпу, ушел.

Молодые люди, стоя рядом, смотрели ему вслед. Лицо Мартина выражало странную смесь презрения и раскаяния. Тайми, пораженная,

взволнованная, чуть не плакала.

— Ничего, это не повредит, — пробормотал молодой человек. — Хорошая встряска ему полезна.

Тайми метнула на него негодующий взгляд.

— Иногда я тебя просто ненавижу, — сказала она. — Ты так толстокож, — у тебя не кожа, а шкура.

Мартин взял ее за руку.

— А у тебя кожа из папиросной бумаги, — ответил он. — Все вы такие — вы, дилетанты.

— По-моему, лучше быть дилетантом, чем… чем хамом.

У Мартина странно дернулась челюсть, но он тут же улыбнулся. Улыбка эта, казалось, взбесила Тайми. Она вырвала от него руку и бросилась следом за Хилери.

Мартин хладнокровно смотрел ей вслед. Вытащив трубку, он стал набивать ее, мизинцем медленно вдавливая в чашечку золотые нити табака.

Глава XVII
Братья

Уже было сказано, что Стивн Даллисон в те субботы, когда ему не удавалось поиграть в гольф, отправлялся в клуб и там читал журналы. Эти две формы развлечения, по сути дела, сходны между собой: играя в гольф, ходишь по определенному кругу, и то же самое случается, когда читаешь журналы, ибо через какое-то время непременно натолкнешься на статьи, сводящие на нет статьи, ранее прочитанные. И тот и другой вид спорта помогает удерживать равновесие, которое сохраняет человеку здоровье и молодость.

А сохранять здоровье и молодость было для Стивна каждодневной потребностью. Неизменно сдержанный и подтянутый, он представлял собой типичный продукт Кембриджского университета, и у него всегда был вид человека, берущего понюшку великолепного, какого-то необычайно высокого сорта табака. Но за этим чисто внешним обликом скрывался толковый работник, хороший муж и хороший отец, и его, собственно, не в чем было упрекнуть — разве только в известном

педантизме и в том, что он ни разу не усомнился в своей правоте. Там, где он служил, да и в других местах встречалось много людей, подобных ему. В одном отношении он походил на них, пожалуй, даже слишком: он не любил отрываться от земли, если не знал в точности, где снова опустится.

С самого начала они с Сесилией прекрасно ладили. Оба хотели иметь только одного ребенка — не больше, оба хотели быть в меру «передовыми» — не больше, и теперь оба считали, что Хилери поставил себя в неловкое положение — не больше. Когда Сесилия, проснувшись в своей стильной, начала семнадцатого века кровати и дав мужу сперва выспаться, рассказала ему про все, что выяснилось из ее разговора с миссис Хьюз, они, лежа на спине и приняв очень серьезный тон, тщательно это обсудили. Стивн высказал мнение, что «старина Хилери» все-таки должен вести себя осторожнее. Дальше этого он не пошел: ему даже с собственной женой не хотелось говорить о неприятных возможностях, которые, на его взгляд, здесь таились.

Сесилия повторила те самые слова, которые сказала тогда Хилери:

— Это так грязно…

Стивн взглянул на нее, и оба почти в один голос

воскликнули:

— Но это же просто вздор!

Единодушие мнений заставило их более здраво посмотреть на положение дел. Если история эта не вымысел, то что же она, как не один из тех эпизодов, о которых читаешь в газетах? Что это, как не точная копия кусочка из романа или спектакля, определяемого в тех же газетах именно этим словом «грязно»? Сесилия употребила это слово инстинктивно, оно сразу же пришло ей в голову. История с Хьюзами и маленькой натурщицей шла вразрез со всеми ее идеалами морали и хорошего вкуса — со всей той особой духовной атмосферой, таинственно и неизбежно создаваемой вокруг души условиями определенного воспитания и определенной формы жизни. Таким образом, выходило, что если данная история — правда, то история эта «грязная», а раз она «грязная», то противно даже думать о том, что в ней могут быть замешаны члены их семьи. Однако их родные действительно в ней замешаны, а значит, это не что иное, как «просто вздор»!

На том и успокоились до тех пор, пока Тайми, ходившая навестить дедушку, не рассказала, вернувшись, о нарядном новом платье маленькой натурщицы. Свои новости Тайми излагала за

обедом, на придумывание которого Сесилия тратила немало усилий, вызывавших у нее обычно небольшую мигрень: блюдам полагалось быть и не слишком традиционными, чтобы не перекормить Стивна, но и не слишком уж эстетичными, чтобы не оставить его вовсе голодным. Пока лакей находился в столовой, Сесилия и Стивн не поднимали глаз, но как только он вышел, чтобы принести дичь, каждый поймал на себе взгляд другого. Как на грех, слово «грязно» снова пришло им на ум. Кто подарил девушке новое платье? Полагая, однако, что развивать эту мысль «грязно», они отвернулись друг от друга и, торопливо доедая обед, тут же принялись развивать эту самую мысль. Только Сесилия, будучи женщиной, шла по одному следу, а Стивн, будучи мужчиной, по другому.

Мысли Стивна бежали в таком направлении: «Если Хилери дает ей деньги и платья и тому подобное, он или больший простак, чем я думал, или тут что-то кроется. Бианка сама виновата, но это не поможет заткнуть рот Хьюзу. Он, надо полагать, хочет вытянуть денег. А, черт…»

Мысли Сесилии бежали в другую сторону:

«Девушка, безусловно, не могла купить себе обновы на свой заработок. Она, вероятно, и в самом

деле дурного поведения. Неприятно это думать, но, по-видимому, так. Не может быть, чтобы Хилери, после того, что я ему рассказала, повел себя настолько глупо. Если она действительно такая, это очень упрощает дело. Но кто-кто, а Хилери ни за что этому не поверит. Ах, боже мой...»

Сказать по правде, Стивну и его жене, как и любому человеку их класса и круга, при самых добрых намерениях было чрезвычайно трудно осознать реальность своих «теней». Они знали, что «тени» эти существуют, потому что встречали их на улицах, они, конечно, верили в их существование, но по-настоящему его не ощущали: так тщательно была сплетена паутина социальной жизни. Они не понимали и не знали, да и не были способны узнать и понять жизнь «теней», точно так, как «тени» в своих глухих переулках были далеки от знания и понимания того, что «господа» реально существуют, — они знали только, что оттуда идут им деньги.

«Тени» для Стивна, Сесилии и тысячи им подобных — это значило «простой народ», трущобы, определенные кварталы или фабрики и заводы с их тяжелым трудом, рабочие различных профессий, люди, выполняющие для них те или иные работы; они не знали и не могли знать, что

это человеческие существа, наделенные теми же свойствами, волнуемые теми же страстями, что и они сами. Причина тому — давняя, уходящая в века причина — была столь проста, столь незамысловата, что о ней никогда и не упоминалось. Но в глубине души, где уже не было места лицемерию, они знали, что дело тут всего лишь в одном небольшом обстоятельстве. Им было отлично известно: что бы они там ни говорили, какие бы деньги ни давали, сколько бы времени ни уделяли — сердца их никогда не откроются, разве... разве только, если при этом можно будет закрыть уши, глаза и нос. Это небольшое обстоятельство, более могущественное, чем все философские учения, все парламентские законы и все проповеди, когда-либо произнесенные, властно и безраздельно царило над всем. Оно отделило один класс от другого, отделило человека от его «тени» так, как великий изначальный закон отделил свет от тьмы.

И на этом небольшом обстоятельстве, слишком грубом, чтобы говорить о нем вслух, они и подобные им втайне строили и строили — не будет преувеличением сказать, что оно стало если не теоретической, то, во всяком случае, фактической основой законов, верований, экономики и

искусств. Ибо не следует думать, что зрение у них было слабое и нюх притуплен. Нет, нет, глаза их видели прекрасно, а носы обладали способностью представлять себе бесчисленные незнакомые запахи, которые должны были находиться в жизненной среде, им, носам, несколько чуждой; они могли воссоздавать эти запахи, как собака воссоздает образ хозяина по запаху старой туфли.

Итак, Стивн с женой сидели за обедом, и лакей принес им дичь. Это была отличная птица, откормленная в Сэрри, но лакей, разрезая ее на порции, чувствовал, как внутри у него все переворачивается — не потому, что ему самому хотелось ее, или что он был вегетарианцем, и не в силу какого-либо принципа, но потому, что по природным своим данным он был инженер, и ему до смерти надоело разрезать на порции и подавать другим жареную птицу и смотреть, как они ее едят. Храня на лице полнейшую бесстрастность, он раскладывал по тарелкам нарезанные порции людям, которые, платя ему за это, не умели читать его мысли.

В тот самый вечер Стивн, потрудившись над докладом о существующих законах о банкротстве, который он в то время готовил, чрезвычайно осторожно, заранее раздевшись, вошел в спаль-

ню и, подойдя к кровати, тихонько скользнул в нее. Он лежал и поздравлял себя с тем, что ему удалось не разбудить жену, и Сесилия, которая и не думала спать, по необычайной осторожности мужа поняла, что он пришел к какому-то выводу, но не хочет сообщать ей об этом. Снедаемая беспокойством, она все еще не спала, когда часы пробили два.

Вывод, к которому пришел Стивн, был следующий.

Дважды пересмотрев все имеющиеся данные: раздельное жительство супругов, Хилери и Бианки (о чем он узнал от Сесилии) — причина непознаваемая; интерес Хилери к маленькой натурщице — причина неизвестная; ряд выясненных обстоятельств: бедность девушки, ее работа у мистера Стоуна, то, что она снимает комнату у миссис Хьюз, бурный взрыв чувств этой последней в присутствии Сесилии, угрозы Хьюза и, наконец, дорогие обновы девушки — Стивн все это подытожил и определил как самую обыкновенную «ловушку», в которую его брат из-за своего, возможно, невинного, но, во всяком случае, неосторожного поведения ухитрился попасть. Это было чисто мужское дело. Стивн упорно пытался рассматривать его как

нечто не стоящее внимания, уговаривал себя, что ничего, конечно, не произойдет. Но попытки эти потерпели крах, и тому имелись три причины: во-первых, присущая ему любовь к порядку, во-вторых, глубоко укоренившееся недоверие и антипатия к Бианке и, в-третьих, убеждение (в котором он даже себе не признавался, поскольку ему очень хотелось сочувствовать низшим классам), что люди эти всегда норовят что-нибудь из тебя вытянуть. Вопрос был только в том, как велика сумма и вообще благоразумно ли давать сколько бы то ни было. Стивн решил, что неблагоразумно. Что же тогда? Ответа не было. Это его беспокоило. У него был врожденный страх перед всякого рода скандалами, и, кроме того, он очень любил Хилери. Если б только знать, какую позицию займет Бианка. На этот счет он даже не мог строить никаких догадок.

Вот почему в тот субботний день, четвертого мая, Стивну, против обыкновения, решительно не захотелось читать журналы, — такое отвращение к всегдашним своим занятиям испытывают люди, когда нервы у них расстроены. Он дольше обычного пробыл в суде, потом сел в омнибус, заняв место наверху, и поехал прямо домой.

Прилив житейского моря затоплял город. Люд-

ские волны одна за другой заливали улицы, всасывались в тысячи пересекающих их потоков. Один поток мужчин и женщин выливался из дома, где заседал какой-то религиозный конгресс, другой вливался в здание, где обсуждались какие-то общественные вопросы. Как сверкающая вода, заключенная между двумя рядами скал и расцвеченная мириадами многоцветных блесток, людская река двигалась по Роттен-Роу, а подле витрин закрытых магазинов вплеталась в путаную сеть маленьких живых ручейков. И повсюду в этом море мужчин и женщин мелькали их «тени», извиваясь, как комочки серой слизи, все время поднимаемой со дна на поверхность чьей-то огромной неутомимой рукой. Тысячеголосый гул этого людского моря уходил ввысь за деревья и крыши домов и там, в безграничных просторах, медленно достигал слияния звука и тишины — той точки, где жизнь, оставив позади мелкие формы и преграды, попадает в объятия смерти и, вырвавшись из этих объятий, является уже в новых формах, разделенных новыми преградами.

Стивн ехал, возвышаясь над толпой своих ближних, и тот же весенний ветерок, который заставил говорить вязы, пытался шепотом

рассказать ему о бесчисленных цветах, оплодотворенных им, о бесчисленных развернутых им листках, о бесчисленных барашках, поднятых им на море, о бесчисленных крылатых тенях, брошенных им на меловые холмы, и о том, как своим благоуханием он пробудил в сердцах людей бесчисленные желания и сладкую тоску.

Но рассказать обо всем этом ветру удалось лишь отчасти, ибо Стивн, как то присуще людям культурным и во всем умеренным, общался с природой только тогда, когда выходил из дому специально с этой целью, и дикого нрава ее втайне побаивался.

На пороге своего дома он встретил Хилери — тот собирался уходить.

— Я встретил в Кенсингтонском саду Тайми и Мартина, — сказал Хилери. — Тайми затащила меня к вам позавтракать, и с тех пор я сидел у вас.

— А юного оздоровителя она тоже притащила с собой? — спросил Стивн настороженно.

— Нет.

— Отлично. Этот молодой человек действует мне на нервы. — Взяв старшего брата под руку, он добавил: — Послушай, старина, может, вернемся в дом? Или ты предпочитаешь пройтись?

— Предпочитаю пройтись, — ответил Хилери.

Будучи людьми столь различными, а быть может, именно в силу этого несходства, братья искренне любили друг друга; такая любовь зиждется на чем-то более глубоком и более примитивном, чем родство душ, и она постоянна, потому что не зависит от влияния разума. Корнями своими любовь братьев уходила в те далекие годы, когда они, еще совсем малыши, целовались и дрались, спали в кроватках, стоящих рядом, «не ябедничали» друг на друга, и порой один даже принимал на себя грешки другого. Теперь их могло раздражать или утомлять длительное пребывание вместе, но они ни при каких обстоятельствах не могли бы подвести друг друга благодаря именно той прочной лояльности, начало которой было положено еще в детской.

Впереди братьев бежала Миранда, они шли за ней по усаженной цветами дорожке к Гайд-парку, говорили на посторонние темы, и каждый знал, чем заняты мысли другого.

Стивн вдруг решил действовать напрямик:

— Сесси мне рассказала, что этот тип, Хьюз, что-то там затевает.

Хилери кивнул.

Стивн с некоторым беспокойством взглянул на

лицо брата: его поразило, что оно какое-то новое, не столь кроткое и спокойное, как всегда.

— Он что, просто-напросто негодяй, да?

— Не могу сказать тебе определенно, — ответил Хилери. — Вероятно, нет.

— Но ведь это же ясно, старина, — пробормотал Стивн и, любовно стиснув руку брата, добавил: — Послушай, дружище, я тебе ничем не могу помочь?

— В чем? — спросил Хилери.

Стивн быстро прикинул в уме, какова, собственно, занимаемая им позиция: ведь он чуть не проговорился, что подозревает старшего брата. На тщательно выбритом лице Стивна проступила краска. Слегка нахмурясь, он сказал:

— Ну конечно, в том нет и слова правды.

— В чем? — снова спросил Хилери.

— В том, что утверждает этот негодяй.

— Да, в том, что он говорит, правды нет, но вот верят ли мне, что в том нет правды, — это вопрос другой.

Стивн задумался над этим обидным ответом. Брат разгадал его тайные мысли — Стивн, не сомневающийся в своих дипломатических способностях, был уязвлен.

— Главное, не терять головы, дружище, — ска-

зал он наконец.

Они проходили по мосту через Серпентайн. По блестевшей внизу воде молодые клерки катали на лодках своих возлюбленных; от весел поднималась зыбь и сверкала на солнце; вдоль берегов лениво плавали утки. Хилери перегнулся через парапет.

— Вот что, Стивн. Судьба этой девушки мне не безразлична. Это такое беспомощное создание… И она, по-видимому, избрала меня себе в защитники. Я не могу оттолкнуть ее, но это и все, понимаешь?

Слова эти подняли в душе Стивна бурю, как если бы брат прямо обвинил его в узости взглядов. Чувствуя, что он должен как-то оправдаться перед ним, Стивн начал:

— Разумеется, старина, я прекрасно понимаю. И пожалуйста, не думай, что я — лично я — стал бы осуждать тебя, если бы даже ты пожелал зайти как угодно далеко. Зная, с чем тебе приходится мириться дома… Что меня несколько беспокоит, так это вся ситуация в целом.

Изложив свою точку зрения столь исчерпывающе ясно, Стивн почувствовал, что снова перевел разговор в более общий план и реабилитировал себя как человека широких взглядов. Он тоже

перегнулся через парапет и стал глядеть на уток. Оба молчали. Затем Хилери сказал:

— Если Бианка откажется устроить девушку на новую квартиру, я сделаю это сам.

Стивн взглянул на брата в изумлении, почти в испуге: Хилери говорил с необычной для него категоричностью.

— Дорогой мой друг, — сказал Стивн. — На твоем месте я бы не стал обращаться к Бианке. Женщины — такой странный народ.

Хилери улыбнулся. Стивн заключил из этого, что к брату вернулось обычное его спокойствие.

— Хочешь знать мое мнение? Тебе, по-моему, следует совершенно от всего отстраниться. Пускай этим займется Сесси.

В глазах Хилери вспыхнула злая ирония.

— Покорно благодарю, — сказал он, — но дело касается только нас одних.

Стивн поспешил ответить:

— Именно это и мешает тебе ясно видеть положение. Хьюз способен причинить весьма крупные неприятности. Нельзя давать ему ни малейшего повода. То есть я хочу сказать… Дарить этой девице платья и тому подобное…

— Вот оно что, — сказал Хилери.

— Ты пойми, дружище, — заторопился Стивн, —

я сомневаюсь, что тебе удастся заставить Бианку посмотреть на вещи твоими глазами. Если бы вы… если бы вы были в более близких отношениях, тогда, конечно, дело другое. То есть я хочу сказать, что девушка по-своему очень привлекательна.

Хилери оторвался от созерцания уток, и оба зашагали по направлению к Пороховому складу. Стивн избегал смотреть в лицо брату. Наперекор его воле в нем заговорило уважение к Хилери, основанное, быть может, на разнице в годах, а может, и на ощущении, что Хилери знает его лучше, чем он Хилери. К тому же он чувствовал, что с каждым словом почва под ним не только не становится тверже, но все больше превращается в трясину.

Хилери заговорил:

— Ты не доверяешь моей способности действовать?

— Напротив, — ответил Стивн. — Я не хочу, чтобы ты предпринимал какие-либо действия.

Хилери рассмеялся. От этого горького смеха у Стивна защемило сердце.

— Ну-ну, дружище, — сказал он. — Я думаю, друг другу-то мы можем доверять.

Хилери стиснул руку брата.

Тронутый этим жестом, Стивн продолжал:

— Чертовски неприятно, что тебе приходится волноваться из-за такой гнусной истории.

К ним быстро приближался шум автомобиля, вот он перешел в громкий рев, и чей-то голос крикнул:

— Здравствуйте!

Из машины высунулась рука и приветливо помахала им. То промчался «Демайер-А-прим» и в нем мистер Пэрси, возвращавшийся в Уимблдон. Впереди автомобиля мчалась небольшая тень, позади него вились клубы гари, затемнявшие дорогу.

— Вот тебе символ, — пробормотал Хилери.

— Что ты хочешь сказать? — спросил Стивн сухо. Слово «символ» ему претило.

— Посередине — машина, мчащаяся к своей цели, впереди нее прыгают тени, вроде нас с тобой, а позади — гарь. Вот тебе все общество в целом: его основная масса, его передовая часть, его отходы.

Стивн ответил не сразу.

— Довольно натянутое сравнение, — заметил он. — Ты хочешь сказать, что Хьюзы и прочие — это экскременты общества?

— Вот именно, — последовал сардонический

ответ. — Между ними и нами мистер Пэрси и его машина, и это непреодолимая преграда, Стивн.

— А кому, черт возьми, охота ее преодолевать? Если ты имеешь в виду пресловутое «братство» нашего старика, то я к нему не стремлюсь. — И внезапно добавил: — Знаешь, я считаю, что вся эта история подстроена, это ловушка.

— Ты видишь Пороховой склад? — сказал Хилери. — Так вот то, что ты называешь ловушкой, скорее напоминает мне именно это. Я не хочу тебя пугать, но, мне кажется, ты, как и наш юный друг Мартин, склонен недооценивать эмоциональные возможности человеческой натуры.

Беспокойство исказило обычную маску на лице Стивна.

— Я не понимаю, — сказал он, запинаясь.

— Люди не машины, даже такие дилетанты, как я, даже такие пропащие, как Хьюз. Мне думается, во всей этой истории можно обнаружить борьбу чувств, если не страстей. Скажу тебе откровенно, то, что я живу холостяком, не прошло для меня безнаказанно. В сущности, я ни за что не ручаюсь. Тебе лучше не вмешиваться, Стивн, вот и все.

Стивн заметил, что тонкие руки брата дрожат, и это встревожило его больше всего остального.

Они пошли дальше по берегу. Опустив глаза,

Стивн тихо сказал:

— Как я могу не вмешиваться, если тебе грозят неприятности? Это невозможно.

Он увидел, что его чувство, действительно искреннее, дошло до сердца Хилери. Ему захотелось закрепить это впечатление.

— Ты ведь знаешь, как ты нам всем дорог, — сказал он. — Для Сесси и Тайми будет ужасно, если вы с Бианкой…

Хилери, чуть улыбнувшись, посмотрел ему в лицо, и под этим пытливым взглядом Стивн почувствовал, насколько он ниже, мельче Хилери. Старший брат поймал его на том, что он хотел извлечь выгоду из того впечатления, какое произвела его маленькая вспышка братской любви. Такая проницательность раздосадовала Стивна.

— Быть может, я не имею права давать советы, — сказал он, — но мое мнение таково: тебе следует решительно бросить все это. Девушка не стоит твоих забот. Передай ее попечению общества — ну, как его, того, где миссис Таллентс-Смолпис, — не помню, как оно называется.

Странные звуки, похожие на веселый смех, заставили Стивна поднять голову — неужели Хилери смеется?

— Мартин, — сказал Хилери, — тоже хочет,

чтобы дело это рассматривали исключительно с гигиенической точки зрения.

Задетый за живое, Стивн ответил:

— Сделай одолжение, не смешивай меня с этим юным оздоровителем. Я просто думаю, что имеется много такого, чего ты не знаешь об этой девушке и что надо бы разузнать.

— Ну, а затем?

— А затем... затем и действовать соответственно.

При этих словах Хилери так явно замкнулся, что Стивн поспешил сказать:

— Ты, конечно, назовешь это бездушием, но ты же сам знаешь, дружище, ты чрезмерно чувствителен.

Хилери резко остановился.

— Извини, Стивн, здесь мы с тобой распрощаемся, — сказал он. — Я хочу все обдумать.

И, повернув обратно, он сел на скамью, лицом прямо к солнцу.

Глава XVIII
Идеальная собака

Хилери долго сидел на солнце, глядя на светлую, прозрачную воду и на множество породистых уток, которые бродили в кустах, высматривая червяков круглыми яркими глазами. Между его скамьей и железной оградой, увенчанной остриями, непрерывно шли люди — самые разнообразные мужчины, женщины, дети. Время от времени одна из уток вдруг останавливалась и бросала критический взгляд на эти создания, будто сравнивая их формы и оперение со своими собственными. «Если бы разведением вашей породы занималась я, — казалось, говорила утка, — я бы сумела добиться более интересных результатов. Худшего сборища, чем эти, в общем, на редкость безобразные утки, я не видела и видеть не желаю». И, сделав плечами быстрое, хотя и тяжеловесное движение, она отворачивалась и возвращалась к своим товаркам.

Но утки не могли надолго отвлечь мысли Хилери. Для него, человека, больше знакомого с идеями, чем с фактами, лучше умеющего

управлять словами, нежели ходом событий, сложившееся положение становилось нешуточной дилеммой. Он раздумывал над ним с каким-то непонятным ему самому смущением, почти насмешливо. Стивн раздосадовал его до крайности. Как он всегда все мельчит! Хотя, правду сказать, стороннему наблюдателю вся эта история должна казаться в достаточной степени смехотворной. Что бы подумал о ней человек столь здравомыслящий, как мистер Пэрси? Быть может, и в самом деле принять совет Стивна, бросить все это? Но тут Хилери ступал на зыбкую почву чувств.

Отказать в поддержке беззащитной девушке, испугавшись первых же признаков опасности для самого себя, — Хилери это претило. Но уж так ли девушка будет одинока? Разве не имеется, как выразился Стивн, много такого, чего он, Хилери, о ней не знает? Что, если у нее есть другие источники «помощи»? Что, если у нее и в самом деле есть «прошлое»? Но и тут его останавливала собственная щепетильность — нельзя совать нос в чужую личную жизнь.

Ко всему прочему дело еще безнадежно осложнялось семейными неприятностями Хьюзов. Ни один совестливый человек — а какими бы недостатками ни обладал Хилери, упрекнуть

его в отсутствии совести было нельзя — не мог игнорировать эту сторону проблемы.

Среди всех этих размышлений бродили и мысли о Бианке. Все-таки она его жена: что бы он ни чувствовал теперь к ней, каковы бы ни были отношения между ними, он не должен ставить ее в фальшивое положение. Мало сказать, что он не хотел ее обидеть, он хотел оберечь ее и всех остальных от неприятностей и забот. Он сказал Стивну, что принимает в девушке чисто дружеское участие. Но с той ночи, когда он, глядя на залитый лунным светом город, услышал стук фургонов, тянущихся к рынку Ковент-Гарден, им владело странное чувство: будто он лежит в легком жару и прислушивается к отдаленному звучанию музыки — ощущение чувственное, не лишенное приятности.

Прохожие, видевшие, как он сидит так тихо, опершись лицом о ладонь, воображали, несомненно, что он бьется над решением какой-нибудь трудной абстрактной задачи, вынашивает великую идею, чтобы подарить ее затем человечеству: в Хилери было что-то такое, что заставляло сразу угадывать его причастность к литературе или искусству.

Солнце собралось покинуть вытянувшиеся

длинной полосой бледные воды.

На скамью рядом с Хилери села нянька с двумя детьми. И вот тут-то Миранда обнаружила под скамьей то, что искала всю свою жизнь. Оно не пахло, не шевелилось и было таким же светло-серым, как она сама. Шерсти на нем тоже не было заметно. И хвост был такой же, как у нее. Оно не было развязно, оно молчало, оно не проявляло никаких страстей, ни к чему ее не понуждало. Стоя в нескольких дюймах от его головы — ближе, чем она когда-либо по доброй воле подходила к другим собакам, — Миранда вдыхала это отсутствие запаха, удовлетворенно посапывая, наморщив кожу на лбу; в ее поднятых кверху глазах светилась ее маленькая серебристая душа. «Как ты не похожа на всех известных мне собак! Я бы хотела жить вместе с тобой. Разве найти мне еще когда-нибудь собаку, подобную тебе?» «Последняя модель. Стерилизованная ткань. Смотрите белый ярлычок внизу — четыре шиллинга и три пенса». Внезапно Миранда высунула свой изящный серовато-розовый язык и лизнула это существо в нос. Оно качнулось было и снова остановилось. Миранда увидела, что оно на колесиках. Она легла рядом: она знала, что нашла наконец идеальную собаку.

Хилери наблюдал, как его серебристая четвероногая леди лежит под скамьей, любовно охраняя эту идеальную собаку, которая не могла ее обидеть. Она даже дышала чаще обычного, высунув наружу кончик языка.

Но тут позади скамьи Хилери вдруг увидел другую идиллию. К скамье бежала тощая белая собака, спаниель. Она распласталась в траве, и три другие собаки, бежавшие за ней, уселись тут же и не сводили с нее глаз. Это была жалкая, грязная собачонка, как видно, давно бездомная. Язык у нее болтался, она дышала учащенно, ошейника на ней не было. Время от времени она поднимала глаза, и, хотя в них были усталость и отчаяние, они блестели. «Пусть голод, пусть жажда, пусть усталость, и все-таки — это жизнь!» — казалось, говорили они. Три ее спутника, так же тяжело дыша, ждали, когда она соизволит подняться и побежит дальше. Их влажные, полные любви глаза вторили ей: «Это жизнь!»

Идиллическая сценка за скамьей заставляла людей быстро проходить мимо.

Тощая белая собачонка вдруг поднялась и, как маленький загнанный дух, скользнула среди деревьев; и три пса побежали за ней следом.

Глава XIX
Бианка

В середине того дня Бианка стояла в своей студии перед картиной, изображающей маленькую натурщицу — девушку с полураскрытыми светло-красными губами, тревожащими светло-голубыми глазами, смотрящими из тени в круг света от уличного фонаря.

Бианка хмурилась, словно в обиде на свое творение, которое оказалось способным убить все остальные ее картины. Что побудило ее написать эту вещь именно так? Что чувствовала она, когда девушка стояла перед ней неподвижно, как бледный цветок в чаше с водой? Не любовь — в изображение этой сумеречной фигуры не было вложено любви. Не ненависть — в стремлении запечатлеть ее смутную мольбу не было ненависти. И однако, в портрете девушки-тени, застывшей где-то между мраком и мерцанием, угадывался дух, принудивший художницу создать нечто способное тревожить воображение.

Бианка отвернулась и подошла к портрету мужа, написанному десять лет назад. Она смотрела

то на одну, то на другую картину взглядом холодным и колючим, как острие кинжала.

В особо сложных человеческих отношениях есть предел, за которым люди не до конца правдиво анализируют свои чувства, — настолько эти чувства сильны. Такова уж была судьба Бианки, что природа с избытком одарила ее качеством, более всех других затемняющим истинные причины людских разногласий. Гордость отдаляла Бианку от мужа до тех пор, пока она не увидела сама, что личная жизнь ее не удалась. Гордость, возмущенная этой неудачей, довела их до полного отчуждения. Гордость заставила ее принять позу человека, заявляющего: «Живи своей жизнью. Я бы сочла себя опозоренной, если бы позволила тебе увидеть, как мне больно оттого, что происходит между нами». Ее гордость скрыла от нее тот факт, что за маской насмешливой снисходительности прячется подлинная женщина, которая цепко держится за то, что считает своим, жаждет любви и уважения. Ее гордость не давала никому вокруг узнать об их семейных неладах. Ее гордость не дала даже Хилери по-настоящему понять, что именно погубило их супружескую жизнь: неукротимое желание быть любимой, управляемое неукротимой гордостью. Сотни

раз он безуспешно пытался преодолеть стены, окружающие эту дисгармоничную натуру. С каждой неудачной попыткой чувство его все более увядало, и постепенно и самые корни его любви засохли. Бианка истощила терпение человека, терпеливого сверх меры, насколько можно было судить по его виду и поступкам. За внешним проявлением взаимной предупредительности и внимания — что бы там ни было, но хороший вкус им никогда не изменял — скрывалась год за годом трагедия женщины, которая хочет быть любимой и сама медленно убивает в человеке любовь к себе. Для Хилери, правда, их отношения перестали быть трагедией, любовь к жене давно в нем угасла, от прежнего жара не осталось и следа. Для Бианки же трагедия длилась: в душе этой женщины не угасало ревнивое желание владеть его любовью. Инстинкт иронически подсказывал ей, что, будь Хилери не таким деликатным, будь он грубее, более способным управлять и повелевать ею, он сломал бы стену, которой она себя окружила. Это рождало в ней тайную обиду на него, чувство, что вина лежит не на ней.

Гордость была уделом Бианки, ее ароматом, ее очарованием! Как тенистый склон холма, окутанный прелестной дымкой заходящего солнца,

Бианка, непостижимая и для самой себя, была окутана гордостью. Гордость сопровождала даже ее великодушные порывы и добрые поступки. Бианка предпочитала совершать их втайне и высмеивала свои порывы и свою доброту. Она постоянно высмеивала себя даже за то, что носила платья тех оттенков, которые любил Хилери. Она ни за что не призналась бы, что жаждет нравиться ему.

Стоя между двумя своими произведениями, прижимая к груди мастихин, она немного напоминала итальянского святого, вонзающего себе в сердце кинжал мученичества.

А тот, кто однажды навел мысли ее сестры на Италию, вот уже восемь часов как шагал по улицам, собирая в телегу отбросы Жизни. Меньше всего Хьюз походил сейчас на человека, терзаемого любовью и ненавистью. Сперва он в течение двух часов вел под уздцы лошадь; смуглое лицо его ничего не выражало, на его складной фигуре солдата была одежда, заставившая продавца «Вестминстерской» назвать его «чужаком». Время от времени Хьюз обращался к лошади, произносил несколько малозначащих слов, остальное время молчал. В течение двух последующих часов, идя за повозкой, он подгребал лопатой мусор,

и его широкое, квадратное лицо с черными усиками и еще более черными глазами все еще не выдавало бури, кипевшей в его груди. Так провел он весь день. Надо заметить, что мужчины вообще не склонны раскрывать свои душевные переживания на людях, а Хьюза, который с двадцати лет служил родине сперва в качестве солдата, а теперь в более мирной должности приходского мусорщика, жизненные обстоятельства сделали особенно замкнутым. Жизнь одела его в броню безразличия — всегдашнее защитное средство людей, чей хлеб насущный зависит от умения не слишком дорожить чем бы то ни было. Если бы Хьюз вздумал вести себя согласно своим склонностям, попытался как-то проявить себя, он едва ли смог бы быть рядовым солдатом; и еще менее вероятно, чтобы ему, когда он вернулся из армии с почетной раной, отдали предпочтение перед множеством других кандидатов на место приходского мусорщика. Для такого рода работы, как очистка улиц от ежедневных отбросов Жизни, — должность весьма завидная и, в сущности, одна из немногих, предоставляемых человеку, послужившему родине, — индивидуальность, приятные манеры, пленительный дар «самовыражения» были бы, пожалуй, неуместны.

Его никогда не учили облекать мысли в слова, а с тех пор, как его ранило, он временами ощущал удручающую пустоту в голове. Неудивительно, что о нем судили неправильно, особенно те, кто не имел с ним ничего общего, если не считать одного мало принимаемого в расчет обстоятельства — общей принадлежности к человеческому роду. Даллисоны составили о нем суждение столь же неверное, какое выразил о них самих Хьюз, когда «поносил аристократов», о чем Хилери узнал от «Вест-министра». Хьюза можно было бы сравнить с разодранным экраном или разбитым сосудом, в дырки которого проникает свет. Одна кружка пива, с парами которого его раненая голова уже не справлялась, — и он становился «чужаком». К несчастью, он имел обыкновение после работы заглядывать в «Зеленый Рай». А в тот вечер вместо одной кружки Хьюз выпил три и, выбравшись из трактира, испытывал смутное ощущение, что его долг — пойти туда, где девушка, вызвавшая в нем такую необыкновенную страсть, «занималась шашнями». Сознание долга боролось в нем с традиционным солдатским отвращением к доносу. С этим смешанным чувством он и позвонил у двери дома Хилери и спросил миссис Даллисон. Когда он стоял перед ней, вытянувшись во фронт,

опустив черные глаза, сжимая в руке фуражку, лицо его, как всегда, не выражало ничего.

Бианка с любопытством отметила шрам на левой стороне его коротко остриженной черной головы.

То, что собирался сказать Хьюз, выговорить было нелегко.

— Я пришел, чтобы рассказать, чтобы вы знали, — проговорил он наконец упрямо. — Так-то я бы сроду не пришел, мне тут никто не нужен.

Бианка видела, что губы и веки у него дрожат, это не вязалось с его бесстрастностью.

— Моя жена, небось, наговорила на меня, жаловалась, что я ее поколачиваю. Мне наплевать, что она там говорит вам или другим, у кого она работает. Я только одно скажу: я сроду не трогал ее первым, она всегда сама начинает. Вот поглядите-ка — ее работа! — Засучив рукав, он показал царапину на жилистой татуированной руке. — Только я пришел сюда не для того, чтобы говорить о моей жене, эти наши дела никого не касаются.

Бианка повернулась к своим картинам.

— Ну так что же? — спросила она. — Ради чего вы пришли? Вы видите, я занята.

Лицо Хьюза стало неузнаваемым. Вся его бес-

страстность исчезла, глаза ожили, загорелись, заметали темное пламя. Бианке еще никогда не приходилось встречать человека, в котором бы так бурлила жизнь. Будь это не мужчина, а женщина, Бианка сочла бы подобное проявление чувств неприличным и наглым — такое ощущение было у Сесилии, когда она разговаривала с миссис Хьюз. Но проявление сильного темперамента в этом мужчине пленило Бианку, затронуло в ней женское начало. Так весной, когда все только что казалось таким серым, прибитым к земле, свет алых облаков вдруг зажигает кусты и деревья — ветви их будто охватывает пламя. Но в следующее мгновение это ослепительное пламя исчезает, облака утрачивают свою алость, огненный свет не дрожит, не мечется в кустах. Так же мгновенно исчезла страсть с лица Хьюза. Бианка испытала разочарование, ей хотелось, чтобы в ее жизни было побольше таких безудержных чувств. Хьюз украдкой глянул на нее своими черными глазами — когда он их щурил, они становились бархатистыми, словно шмели. Большим пальцем он указал на портрет девушки.

— Это я насчет нее пришел поговорить, — сказал он.

Бианка холодно посмотрела ему в лицо:

— У меня нет ни малейшего желания слушать.

Хьюз огляделся, словно ища чего-нибудь, что помогло бы ему говорить дальше; на глаза ему попался портрет Хилери.

— Я бы на вашем месте поставил их рядом, — сказал он.

Бианка прошла мимо него к двери:

— Или вы, или я — кто-нибудь из нас выйдет отсюда.

В лице у Хьюза не было теперь ни злобы, ни страсти, оно было только несчастным.

— Послушайте, миссис, — начал он, — вы не злитесь, что я пришел. Я это не для того, чтобы досадить вам. У меня есть своя жена, — видит бог, она меня достаточно изводит из-за этой девушки. Честное слово, скоро мне только и останется, что утопиться. Это потому, что он подарил ей новые платья, вот почему я пришел сюда.

Бианка открыла дверь.

— Уходите, прошу вас, — сказала она.

— Я уйду без шума, не беспокойтесь, — пробормотал он и вышел, повесив голову.

Выпустив его через боковую дверь, Бианка снова подошла к картинам. В горле у нее был комок, привычная маска на лице исчезла. Так

она стояла долго не шевелясь, потом отнесла картины на прежние места и крытым ходом направилась к дому. Возле отцовской комнаты она прислушалась, затем тихо повернула ручку двери и вошла.

Мистер Стоун, держа перед собой несколько исписанных листов, диктовал маленькой натурщице, а та, пригнув голову к руке, усердно записывала. Она перестала писать, когда вошла Бианка. Мистер Стоун не прервал работы, он поднял руку и сказал:

— Я перечту последние три страницы. Следите!

Бианка села возле окна.

Голос ее отца, такой тонкий и медлительный, что каждый слог звучал отдельно, был воплощением монотонности.

— «Можно об-на-ру-жить некоторые следы того, что в те дни на-ме-ча-лись первые попытки стереть границы между классами…»

Голос звучал ровно, не повышаясь и не понижаясь, словно обладатель его знал, что впереди еще долгий путь, — как гонец, который несет важные вести через равнины, горы и реки.

Мистер Стоун сделал паузу.

— У вас там стоит дальше слово «безумные»? —

спросил он.

Маленькая натурщица подняла голову:

— Да, мистер Стоун.

— Вычеркните его.

Он смотрел на деревья за окном; дыхание его было отчетливо слышно. Маленькая натурщица пошевелила онемевшими пальцами. Испытующий, улыбающийся взгляд Бианки не отрывался от девушки, словно она хотела неизгладимо запечатлеть у себя в памяти ее образ. Было что-то пугающее в этом пристальном взгляде, что-то жестокое и в отношении себя, и в отношении этой девушки.

— Никак не могу найти нужное слово, — проговорил мистер Стоун. — Пока оставьте пустое место. Продолжаем. «…Ни нежный братский интерес человека к человеку, ни любознательность в отношении явления как такового…»

Голос его тянулся все той же узкой тропой в просторы, замороженные спокойным, извечным присутствием его излюбленной идеи, которая, как золотая луна, далекая и холодная, дивно сияла над тонкой струйкой слов, а девушка все водила по страницам кончиком пера, сверяя текст.

Мистер Стоун опять прервал чтение, поглядел на дочь и, словно удивившись тому, что она

здесь, спросил:

— Ты хочешь сказать мне что-нибудь, дорогая?

Бианка помотала головой.

— Продолжаем! — сказал мистер Стоун.

Но глаза маленькой натурщицы уже поймали прикованный к ней взгляд.

На лице ее мелькнуло такое выражение, будто она спрашивала: «Что я вам сделала, что вы так на меня смотрите?»

Словно зачарованная, она посматривала украдкой на Бианку, а рука ее машинально отмечала абзацы. Этот молчаливый поединок взглядов все продолжался: улыбающийся взгляд женщины был твердым и жестоким, взгляд девушки — неуверенным и обиженным. Ни та ни другая не слышали ни слова из того, что читал мистер Стоун. Они отнеслись к этому так, как жизнь всегда относится к философии и как будет относиться к ней до скончания века.

Мистер Стоун опять остановился, он словно взвешивал последние предложения.

— Да, мне кажется, это правильная мысль, — сказал он вполголоса. И вдруг обратился к дочери: — Ты согласна со мной, дорогая?

Он с беспокойством ждал ответа; на его тощей шее, чуть пониже бородки, были ясно видны

жидкие седые волоски.

— Да, папа, согласна.

— Я рад, что ты одного со мной мнения. Меня это беспокоило. Продолжаем!

Бианка встала. На щеках ее горели яркие пятна. Она пошла к двери, и маленькая натурщица проводила ее долгим взглядом, раболепным, протестующим и печальным.

Глава XX
Муж и жена

Только в седьмом часу Хилери подошел наконец к своему дому; немного впереди него бежала Миранда, она даже почти проголодалась. Кусты сирени, еще не расцветшие, источали пряный аромат. Заходящее солнце покрывало их золотистой шелковой сеткой, и дрозд, сидя на низком суку акации, песней призывал вечер. По дорожке шел мистер Стоун, а с ним — маленькая натурщица в своем новом платье. Они, очевидно, отправились на прогулку: на мистере Стоуне была старая черная шляпа с сильным зеленоватым оттенком, и он нес бумажный пакет, из которого на каждом шагу сыпались хлебные крошки.

Девушка густо покраснела. Она опустила голову, она еще не знала, как Хилери отнесется к ее новому наряду. У калитки она вскинула глаза. Его взгляд ответил ей: «Да, ты выглядишь очень мило». И в глазах ее появилось выражение, какое бывает у собак, когда они с обожанием смотрят в лицо хозяину. Хилери, смутившись, повернулся к мистеру Стоуну. Тот стоял очень тихо, видно, ему

пришла в голову новая мысль.

— Кажется, я не уделил достаточно внимания вопросу о насилии. Я не знаю, является оно абсолютным злом или только относительным, — проговорил мистер Стоун. — Если в моем присутствии человек мучает кошку, вправе ли я ударить его?

Привыкший к этим неожиданным скачкам мысли, Хилери ответил:

— Не знаю, сэр, вправе ли вы его ударить, но, так или иначе, вы это сделаете.

— Я в том не уверен, — сказал мистер Стоун. — Мы идем кормить птиц.

Маленькая натурщица взяла из его рук бумажный пакет.

— Из него все сыплется, — сказала она.

Уже перейдя дорогу, она обернулась. «Может, и вы с нами пойдете?» — говорил ее взгляд.

Но Хилери поспешно вошел в сад и закрыл за собой калитку. Целый час просидел он у себя в кабинете, в обществе Миранды; он бездействовал, погруженный в странное, почти приятное оцепенение. В эти часы он обычно работал над своей книгой, и уж одно то, что праздность не казалась ему тягостной, могло бы его встревожить. Немало мыслей прошло у него в сознании,

немало отзвуков того, что он считал навсегда оставленным, — чувств и желаний, которые для человека средних лет обычно всего лишь мумии в музее памяти. Эти порывы, запрятанные в сердце каждого, воскресли при первом же взмахе крыльев все еще не умершей в нем юности. Как разгорается пламя почти угасшего костра, так в душе Хилери взметнулось и засверкало стремление раскрыть новые тайны, желание еще раз ощутить радость жизни, пока жизнь еще не пошла под уклон.

Его звал не какой-нибудь заурядный маленький дух — его манил розовым пальчиком дух с невидимым ликом, что является к людям, юность которых миновала.

Миранда, обеспокоенная тем, что хозяин сидит так тихо, встала. Обычно в этот час он всегда скреб по бумаге. Сама она редко скребла что-либо, потому что считала это дурным тоном; но сейчас она смутно чувствовала, что ему следовало заниматься именно этим. Она подняла тонкую лапку и коснулась его колена. Не встретив возражения, она осторожно прыгнула к нему на колени и, забыв на этот раз свою скромность, положила лапки на грудь хозяина и облизала ему все лицо.

В тот самый момент, когда Миранда награж-

дала его своими поцелуями, Хилери увидел, что мистер Стоун и маленькая натурщица возвращаются с прогулки. Старик шел очень быстро, держа в руке обломок палки. Лицо у него сильно раскраснелось.

Хилери вышел им навстречу.

— Что случилось, сэр? — спросил он.

— Я ударил его прямо по ногам, — ответил мистер Стоун, — и я не сожалею об этом.

С этими словами он прошел к себе в комнату.

Хилери повернулся к маленькой натурщице.

— Это все из-за собачонки. Один там бил ее, и мистер Стоун его ударил. Даже палку сломал. Подошли люди, они нам грозили. — Она взглянула на Хилери. — Я… я так испугалась. Ах, мистер Даллисон, все-таки он немножко чудной, правда?

— Все герои чудаки, — сказал Хилери негромко.

— Он хотел еще раз ударить, даже когда палка у него сломалась. Тут пришел полисмен, и они все разбежались.

— Так оно и должно было быть. Ну а вы что в это время делали?

Заметив, что она пока еще не произвела большого впечатления, маленькая натурщица опустила глаза:

— Я б не испугалась, если бы со мной были вы.

— Боже мой… мистер Стоун гораздо отважнее меня.

— И вовсе нет, — ответила она упрямо и снова взглянула на него.

— Ну, до свиданья, — сказал Хилери поспешно. — Вам пора бежать домой…

В тот же вечер, когда он с женой возвращался в экипаже с длинного скучного обеда, Хилери сказал:

— Мне нужно поговорить с тобой.

Из другого угла кеба последовал иронический ответ:

— Да?

— Возникли кое-какие неприятности, касающиеся маленькой натурщицы.

— В самом деле?

— Этот человек, Хьюз, увлекся ею. Он, кажется, даже грозился прийти тебе рассказать.

— О чем?

— Обо мне.

— И что же он собирается рассказать о тебе?

— Не знаю, какие-нибудь вульгарные сплетни.

Последовало молчание, и в темноте кеба Хилери облизал сухие губы.

Бианка заговорила:

— Могу я спросить, откуда ты узнал об этом?

— Мне сказала Сесилия.

Странный звук, вроде приглушенного смеха, достиг ушей Хилери.

— Мне, право, жаль, что так получилось, — сказал он вполголоса.

— Очень мило с твоей стороны, что ты счел нужным сообщить мне об этом, хотя мы и живем… каждый своей жизнью. Что заставило тебя?

— Я решил, что так будет правильно.

— И конечно, еще потому, что этот человек и в самом деле мог прийти ко мне!

— Тебе не следовало бы говорить это.

— Не всегда говоришь то, что следует.

— Я этой девочке подарил кое-что из одежды, в которой она сильно нуждалась. И, насколько мне известно, это все, что я сделал.

— Ну, разумеется!

Это великолепное «ну, разумеется!» подействовало на него, как удар хлыста. Он сказал сухо:

— Что ты хочешь, чтобы я теперь делал?

— Я?

Даже порыв резкого восточного ветра, от которого сворачиваются и дрожат молодые листки, а язычки горящего газа вспыхивают и гаснут в рожках, не мог бы так мгновенно задуть огонек

дружеского чувства. Хилери тут же вспомнил почти умоляющие слова Стивна: «На твоем месте я бы не стал обращаться к Бианке. Женщины — такой странный народ!»

Хилери повернулся и взглянул на жену. Ее темную голову окутывал синий газовый шарф. Она сидела в углу, как только можно дальше от мужа, и усмехалась. На мгновение у Хилери возникло ощущение, что он задыхается, всегда будет задыхаться в бесконечных складках этой синей газовой ткани, что он обречен всю жизнь быть спутником женщины, убившей его любовь к ней.

— Поступай, как тебе угодно, разумеется.

Хилери овладело желание рассмеяться.

«Что ты хочешь, чтобы я теперь делал?» «Поступай, как тебе угодно, разумеется». Это ли не предел корректности и терпимости?

— Послушай, Бианка, — проговорил он с усилием. — Жена его ревнует. Мы поместили девушку к ним в дом, нам же следует и забрать ее оттуда.

Бианка ответила не сразу.

— Девушка с самого начала была твоей собственностью, делай с ней что хочешь. Я не вмешиваюсь.

— Я не привык рассматривать людей как свою

собственность.

— Можно не сообщать мне об этом, я знаю тебя двадцать лет.

Иногда даже самые кроткие и выдержанные люди мысленно хлопают дверью.

— Ну что ж, отлично. Я сказал тебе все; можешь принимать Хьюза, когда он явится, или не принимать, как тебе угодно.

— Я уже принимала его.

Хилери усмехнулся:

— Ну и что же, он рассказал тебе много ужасного?

— Он ничего мне не рассказывал.

— То есть?

Бианка наклонилась вперед и откинула на плечи синий шарф, как будто и она тоже задыхалась. Глаза ее на раскрасневшемся лице горели, как звезды, губы дрожали.

— Разве это на меня похоже, чтобы я стала выслушивать его? Прошу тебя, прекратим разговор, с меня достаточно этих людей!

Хилери поклонился. Быстро катившийся кеб сделал последний поворот, сокращая путь к дому. Узкая улочка была полна народу; все толпились вокруг ручных тележек и освещенных киосков. В воздухе густо плавали грубая речь и смех вперe-

мешку с запахами керосина и жареной рыбы. В каждой проходящей паре Хилери видел еще одну супружескую чету — Хьюзов, возвращающихся домой к семейному счастью в комнате над головой у маленькой натурщицы.

«С меня достаточно этих людей!»

В ту же ночь, уже после часу, Хилери проснулся, услышав, как кто-то открывает засовы парадной двери. Он встал, торопливо подошел к окну и выглянул. Сперва он не мог ничего различить. Безлунная ночь спустилась в сад, как черная птица в свое гнездо. Слышались только легкие вздохи кустов сирени. Затем, как раз под своим окном, на ступенях у парадной двери, он смутно различил человеческую фигуру.

— Кто там? — позвал он.

Человек не шелохнулся.

— Кто это? — снова спросил Хилери.

Человек поднял лицо, и по белевшей в темноте бородке Хилери узнал мистера Стоуна.

— Что случилось, сэр? Могу я чем-нибудь помочь?

— Нет, — ответил мистер Стоун. — Я слушаю ветер. Сегодня он посетил всех.

И, подняв руку, он указал в темноту.

Глава XXI
День отдыха

В доме Сесилии на Олд-сквер всюду, от чердака до подвала, чувствовалась та атмосфера, какую приносит воскресный день в дома, чьи обитатели не нуждаются ни в религии, ни в отдыхе.

Сесилия и Стивн не бывали в церкви с того времени, когда крестили Тайми, и не предполагали снова попасть туда до дня ее свадьбы; посещение церкви даже в столь редких случаях они считали нарушением собственных принципов. Но, щадя чувства других, они однажды принесли эту жертву и готовы были, когда придет время, принести ее еще раз. В их семье прилагались все усилия к тому, чтобы воскресенье ничем не отличалось от будней, однако это удавалось им лишь отчасти. Дело в том, что, при всей решимости Сесилии ничем не отмечать праздник, за воскресным завтраком неизменно появлялся йоркширский пудинг и ростбиф, невзирая на то, что мистер Стоун, приходивший к ним по воскресеньям, если вспоминал, что это воскресенье, не потреблял мяса высших млекопитающих. Каждый раз

при этом Сесилия, которая по издавна заведенному порядку в воскресные дни сама раздавала порции, смотрела на мясо хмурясь. Нет, со следующей недели она это прекратит. Но приходила следующая неделя, и вот он снова на столе, этот кусок говядины, цветом своим почему-то неприятно напоминающий кучерские физиономии. И она, сама себе удивляясь, с аппетитом принималась за ростбиф. Что-то очень древнее и глубоко в ней заложенное, какой-то зверский, вульгарный аппетит, унаследованный, несомненно, от судьи Карфэкса, каждую неделю и именно в этот час брал над ней верх. Предложив Тайми вторую порцию, от чего та никогда не отказывалась, Сесилия, ненавидевшая разрезать мясо, глядела поверх этого ужасного оковалка на стеклянную вазу, купленную ею в Венеции, и на нарциссы, стоящие в вазе прямо, будто без всякой опоры. Если бы не этот кусок говядины, запах которой стоял в доме с самого утра, а тяжесть чувствовалась в желудке до самого вечера, она бы и не вспомнила, что сегодня воскресенье. И тут она отрезала себе еще ломтик.

Если бы кто-нибудь сказал Сесилии, что в ее жилах все еще течет пуританская кровь, она бы смутилась и стала решительно возражать,

однако соблюдение праздничных традиций, безусловно, подтверждало этот любопытный факт. По воскресеньям она трудилась больше обычного. Утром она непременно «разделывалась» со своей корреспонденцией; за завтраком разрезала мясо, после завтрака «разделывалась» с начатым романом или книгой по социальному вопросу; затем ехала на концерт, по пути оттуда «разделывалась» с каким-нибудь необходимым визитом, и в первое воскресенье каждого месяца оставалась дома — невыносимая скучища! — чтобы «разделаться» со знакомыми, приходившими в гости. Вечером она шла смотреть одну из тех пьес, которые различные общества ставят для лиц, вынужденных, подобно Сесилии, отмечать воскресенье против своей воли.

В это «первое воскресенье», обойдя гостиную, протянувшуюся во всю глубину дома, и выглянув в широкие низкие окна в свинцовых переплетах — и в те, что выходили на улицу, и в те, что выходили во двор, — Сесилия взялась за новое произведение мистера Бэлидайса. Она сидела, прижимая разрезальный нож к чуть впалой раскрасневшейся щеке; тонкое кружево и дорогая старинная брошь плотно прилегали к ее шее. Сесилия листала книгу мистера Бэлидайса, а

Тайми в ярко-голубом платье сидела напротив и листала книгу Дарвина о земляных червях.

Сесилия поглядывала на свою «дочурку», Тайми внешне была намного солиднее ее самой, и на лице Сесилии было очень нежное, чуть удивленное выражение.

«Мой детеныш стал красивым созданием, — говорило оно. — Странно, что это крупное существо — мое дитя».

В сквере на площади было все сразу: солнце, ливень, деревья в цвету. Наступало то время года, когда все живое производило на свет себе подобных. Повсюду детеныши — мягкие, милые, неуклюжие. Сесилия ощущала все это сердцем. И ощущение это придавало глубину ее живым, ясным глазам. Какое тайное удовлетворение испытывала она оттого, что однажды позволила себе зайти так далеко, что родила ребенка! Какое странное, смутное волнение охватывало ее весной — чуть ли не желание родить второго! Вот такую же размягченность можно заметить в глазах степенной кобылы, когда она следит за первыми самостоятельными действиями своего жеребенка. «Мне надо привыкнуть к этому, — как будто говорит она. — Конечно, мне недостает того маленького существа, хотя я, бывало, и грозила

лягнуть его копытом, чтобы показать, что я не стерплю никаких дерзостей от подобного малыша. И вот малыш уже уходит! Ну что ж!»

Вспомнив, однако, что она сидит здесь затем, чтобы «разделаться» с мистером Бэлидайсом, потому что было совершенно необходимо следить за всем, что он пишет, Сесилия опустила глаза на страницу, и мгновенно перед ней вместо тучных пастбищ мистера Бэлидайса, где женской душе можно пастись сколько угодно, предстало, увы, нечто иное — образ маленькой натурщицы. Сесилия не вспоминала о ней по меньшей мере целый час: с того момента, когда Стивн передал ей свой разговор с Хилери, она только и делала, что думала, — правда, не столько о самой девушке, сколько обо всем том, что было с нею связано; она устала от этих мыслей. В том, что сказал Хилери, стыдливая и робкая душа Сесилии почуяла что-то зловещее, совсем на него не похожее. Неужели между ним и Бианкой действительно произойдет полный разрыв или, еще хуже того, безобразный скандал? Сесилия, знавшая сестру, быть может, лучше, чем кто бы то ни было, со школьных дней помнила, как бушевала Бианка, когда считала, что ее обидели, помнила и наступавшие затем длительные полосы мрачной задумчивости. Как

ни старалась Сесилия убедить себя в том, что злосчастной истории с маленькой натурщицей придают слишком много значения, сейчас все это казалось ей более грозным, чем когда-либо. Это уже не зажженный фитиль, это горящая спичка возле поезда, груженного порохом. Маленькая натурщица, дитя народа, явившаяся неизвестно откуда… Господь ведает, какую роль предназначено сыграть этому юному, не такому уж красивому и даже неумному созданию, весь шарм которого заключен в странной, трогательной наивности! Быть может, то перст судьбы? Сесилия сидела неподвижно, вглядываясь в образ, так внезапно возникший перед нею: у этого жеребенка нет мудрой, степенной матери, некому приглядывать за ним, смотреть на него с тайным обожанием. Никто не оборачивается на его тоненький голосок, никто не следит озабоченно, как это крохотное существо качается на тонких дрожащих ножках, засыпая под жарким солнцем; никто не настораживает уши, не бьет копытом, когда к малышу приближается посторонний. Все эти мысли мелькнули у Сесилии и исчезли, слишком далекие и смутные, чтобы удержаться. Перевернув страницу, которую она так и не прочла, она испустила вздох. Тайми тоже вздохнула.

— Эти червяки безумно интересные, — сказала Тайми. — У нас сегодня будет кто-нибудь?

— Миссис Таллентс-Смолпис собиралась привести одного молодого человека, некоего синьора Поцци — Эгреджио Поцци, или что-то в этом роде. Она утверждает, что это пианист с большим будущим.

Лицо Сесилии приняло чуть насмешливое выражение. Что-то было у нее в крови — унаследованное, разумеется, от Карфэксов, что всегда тянуло ее засмеяться, когда при ней называли такие имена и упоминали о таких наклонностях.

Тайми подхватила свою книгу.

— Отлично, я отправляюсь к себе наверх, — заявила она. — Если будет что-нибудь интересное, можешь послать за мной.

Сладко потянувшись, она не торопясь повернулась в луче солнца, будто хотела в нем выкупаться. Затем с медленным, неслышным зевком вскинула подбородок так, что солнце залило ей все лицо. Ресницы ее легли на уже чуть загорелые щеки, губы полураскрылись, по всему телу пробежала дрожь. Каштановые волосы заблестели от поцелуев солнца.

«Будь та девушка вроде нее, я бы еще могла понять», — подумала Сесилия.

— О боже мой! — сказала вдруг Тайми. — Вот они уже идут.

Она помчалась к двери.

— Тайми, дорогая, — сказала ей Сесилия вполголоса, — уж если ты непременно хочешь уйти, передай, пожалуйста, папе, чтобы он зашел сюда.

Через минуту в комнате появилась миссис Таллентс-Смолпис, а за ней молодой человек с интересным бледным лицом и темными, коротко остриженными волосами.

Уделим минуту внимания не такому уж редкому случаю, когда юноше выпадает на долю мать-итальянка и отец по фамилии Поттс, пожелавший дать сыну имя Уильям. Будь юноша из «низших классов», он мог бы безнаказанно вертеть шарманку и при этом зваться «Биллом»; но, поскольку он происходил из класса буржуазии и с четырех лет играл Шопена, перед друзьями его встала немаловажная проблема. Небеса вмешались, дабы разрешить ее, когда он был еще на пороге своей карьеры и только-только занес ногу, чтобы выйти на арену гладиаторов музыкального Лондона, где все уже приготовились опустить большой палец, вынося приговор отечественному Поттсу. Юноша получил письмо из тех краев,

где родилась его мать. Письмо было адресовано «Эгреджио Синьору Поцци»[7]. Он был спасен. Потребовалось лишь поменять местами первые два слова, заменить два «т» двумя «ц» и сменить «с» на «и». Теперь весь Лондон знал, что он новое светило.

Это был скромный, воспитанный молодой человек и в тот момент совершенная находка для миссис Таллентс-Смолпис, которая только тогда и была вполне счастлива, когда вела на веревочке какого-нибудь гения.

Сесилия занимала сразу обоих гостей с присущей ей полусочувствующей-полунасмешливой манерой, будто сомневаясь, действительно ли они рады видеть ее, а она их, как вдруг услышала пугающее имя:

— Мистер Пэрси!

«О боже!» — воскликнула она мысленно.

Мистер Пэрси — за окном урчал его «Демайер-А-прим» — подошел к хозяйке с обычной для него простотой и непринужденностью.

— Я решил дать немного пробежаться моему «Демайеру», — сказал он. — Как поживает ваша сестра? — Заметив миссис Таллентс-Смолпис, он

---

[7] Примечания: 7

Эгреджио синьор (*um.* egregio signore) — высокоуважаемый синьор.

добавил: — Здравствуйте! Мы с вами уже встречались.

— Да-да, — ответила миссис Таллентс-Смолпис, у которой засверкали глазки. — Мы с вами беседовали о неимущих классах, помните?

Мистер Пэрси, человек чувствительный, если удавалось пробить его кожу, бросил на миссис Таллентс-Смолпис подозрительный взгляд, говоривший: «Не по душе мне эта дама. Что-то не очень нравятся мне ее улыбочки».

— Как же, как же, — сказал он. — Вы еще мне о них рассказывали.

— О, мистер Пэрси, вы слышали о них и до меня! Помните, вы тогда так и сказали.

Лицо мистера Пэрси передернулось, отчего стало казаться, будто оно состоит из одних челюстей. Этим движением был невольно продемонстрирован довольно устрашающий характер. Так иногда бульдоги, эти милые добродушные животные, неожиданно обнаруживают свою бульдожью хватку.

— Тема, признаться, унылая, — сказал он резко.

При этих словах Сесилия встрепенулась. Их произнес здоровый человек, который смотрит на коробочку с пилюлями и не собирается от-

крывать ее. Почему она и Стивн не могут так же оставить коробочку закрытой?

В этот момент, к величайшему ее удивлению, вошел Стивн. Она посылала за ним, это правда, но никак не рассчитывала, что он придет.

Приход его и в самом деле нуждается в объяснении.

Чувствуя себя немного «не в форме», как он выразился, Стивн не поехал в Ричмонд играть в гольф. Вместо этого он провел день в обществе своей трубки и коллекции древних монет — лучшей коллекции не было ни у кого, с кем ему приходилось встречаться. Мысли его чаще, чем ему того хотелось, уходили в сторону от древних монет — к Хилери и той девушке. С самого начала Стивн считал, что эта задача по плечу скорее ему, чем бедняге Хилери. Поэтому, когда Тайми просунула голову в дверь его кабинета и сказала: «Папа, миссис Таллентс-Смолпис!», он сперва было подумал: «Ох, надоедная особа…», но тут же решил: «А впрочем, пойду. Посмотрим, нельзя ли извлечь из нее что-нибудь полезное».

Чтобы понять отношение Стивна к женщине, принимающей столь деятельное участие в различных общественных начинаниях, следует вспомнить одно обстоятельство: принадлежа к

многочисленному разряду людей, слишком, к несчастью, культурных, чтобы, подобно мистеру Пэрси, просто отмахнуться от всех «унылых» тем или отрицать необходимость начинаний, ставящих своей целью сделать эти темы не столь унылыми, он все же не участвовал ни в каком из этих начинаний из страха, что это может показаться неуместным. Кроме того, он органически не доверял ничему слишком женственному, а миссис Таллентс-Смолпис была, несомненно, весьма женственна. Ее достоинство заключалось, по его мнению, в приверженности к Обществам. Пока человечество действовало через посредство Обществ, Стивн, знавший силу правил и протоколов, не опасался, что дело пойдет слишком быстро.

Он подсел к миссис Таллентс-Смолпис и навел разговор на ее любимое детище — «Огонек надежды для девушек в затруднительном положении».

Испытующе глядя ему в лицо своими черными глазками, так похожими на пчелок, собирающих мед со всех цветов без разбора, миссис Таллентс-Смолпис сказала:

— Почему бы вашей жене тоже не включиться в нашу работу?

Вопрос этот был, естественно, и неожиданным,

и неприятным для Стивна: меньше всего ему хотелось, чтобы его жена увлеклась какими-то там социальными начинаниями. Но он не растерялся:

— Ну, знаете, не у всех есть талант к таким делам.

Через всю комнату послышался голос мистера Пэрси:

— Скажите мне ради бога, как это вам удается раскапывать всякие их секреты?

Миссис Таллентс-Смолпис, всегда готовая посмеяться, так и залилась смехом:

— О, какое прелестное выражение, мистер Пэрси! Право, нам надо использовать его в нашем отчете. Благодарю вас!

Мистер Пэрси поклонился:

— Не стоит благодарности.

Миссис Таллентс-Смолпис снова повернулась к Стивну:

— У нас есть специально обученные люди, которым поручается вести опрос. Вот преимущество обществ, подобных нашему, — нет неприятной необходимости в личном общении. Бывают такие истории, что можно просто… Работа у нас очень тонкая.

— А не бывает так, — спросил мистер Пэрси, —

что вы принимаете какую-нибудь дрянь за что-то порядочное или, вернее сказать, какая-нибудь дрянь принимает вас за дураков? Ха-ха-ха!

Глазки миссис Таллентс-Смолпис с удовольствием обежали фигуру мистера Пэрси.

— Это случается нечасто, — ответила она и подчеркнуто повернулась опять к Стивну. — А что, у вас есть на примете какая-нибудь девушка, мистер Даллисон, судьба которой вас интересует?

Стивн посоветовался с Сесилией с помощью одного из тех быстрых мужских взглядов, что могут быть почти незаметны; миссис Таллентс-Смолпис перехватила этот взгляд, не подняв глаз. Перехватить ответный взгляд Сесилии было не так просто, но миссис Таллентс-Смолпис поймала и его, и даже прежде, чем он попал по адресу. Чуть приподняв левую бровь и слегка сдвинув вправо нижнюю губу, Сесилия сказала этим: «Может, лучше подождать еще немного?» Миссис Таллентс-Смолпис каким-то чутьем поняла, что оба имеют в виду маленькую натурщицу. И вспомнила про любопытный эпизод в омнибусе, когда Хилери, этот интересный мужчина, вдруг так поспешно вышел.

Что миссис Таллентс-Смолпис может вознегодовать, этой опасности не было. Люди, среди

которых она вращалась, не занимались теперь сплетнями и, более того, относились с симпатией к подобного рода делам. К тому же она была слишком добродушна, слишком любила жизнь, чтобы мешать чьей бы то ни было любви к жизни. Но все-таки это было забавно…

— Да, я хотела вас спросить, — сказала она. — Как насчет той маленькой натурщицы?

— Это вы о той девице, которую я тогда видел? — вмешался мистер Пэрси, проявляя обычную свою догадливость.

Стивн одарил его тем взглядом, каким он обычно замораживал кровь в жилах свидетелей на суде.

«Этот тип просто невозможен», — подумал он.

Черные пчелки вылетели из-под пряди темных волос, причесанных в стиле раннего итальянского Возрождения, и спокойно собирали мед с лица Стивна.

— Мне она показалась очень подозрительной, — проговорила миссис Таллентс-Смолпис.

— Да, да, — пробормотал Стивн, — быть может, есть опасность…

И он сердито посмотрел на Сесилию.

Не прерывая беседы с мистером Пэрси и синьором Эгреджио, Сесилия чуть подняла левую

бровь. Миссис Таллентс-Смолпис решила, что это значит: «Говори откровенно, но осторожно», Стивн же истолковал этот сигнал по-другому: «Ну, что ты на меня, черт возьми, так смотришь?» Он справедливо счел себя задетым и потому сказал резко:

— Как бы вы отнеслись к подобному случаю?

Лицо миссис Таллентс-Смолпис озарилось совершенно очаровательной улыбкой, и она спросила тихо:

— К какому случаю?

Глазки ее полетели к Тайми, которая, незаметно войдя в комнату, что-то шептала матери.

Сесилия встала.

— Вы ведь знакомы с моей дочерью? — сказала она гостям. — Ради бога, извините, я должна на одну минуту покинуть вас.

Она скользнула к двери и на ходу оглянулась. Это была одна из тех сцен, при которых отраднее всего не присутствовать.

Миссис Таллентс-Смолпис продолжала улыбаться. Стивн хмуро уставился на носки своих штиблет. Мистер Пэрси не сводил восхищенного взгляда с Тайми, а Тайми, сидя очень прямо, спокойно разглядывала несчастного Эгреджио Поцци, который никак не мог решиться начать

разговор.

Сесилия, выйдя из гостиной, секунду стояла тихо, чтобы успокоить нервы. Тайми сказала ей, что пришел Хилери, что он ждет в столовой и хочет поговорить именно с нею.

Как у большинства женщин ее круга и воспитания, такие качества, как сдержанность, деликатность и такт, проявлялись у Сесилии особенно ярко именно в подобных ситуациях. Не в пример Стивну, который сразу показал, что у него есть что-то на уме, она, здороваясь с Хилери, выказала ему радушие, дружелюбие и сердечность ровно в той дозе, какую сама давно установила как подобающую в отношении к деверю. Ее любовь к Хилери, если не вполне сестринская, была очень близка к тому. Словами она могла бы выразить ее так: «Между нами существует понимание — в той мере, какую допускают приличия и условности. Мы даже сочувствуем один другому, зная, с какими трудностями каждый из нас сталкивается, ты — женившись на моей сестре, а я — выйдя замуж за твоего брата. Самое худшее мы уже знаем. И мы охотно встречаемся, потому что между нами стоят преграды, и это почти пикантно».

Подав ему свою мягкую ручку, она тут же начала болтать о вещах, меньше всего занимавших ее

мысли. Она видела, что ей удалось ввести Хилери в заблуждение, и радовалась этому новому доказательству своего дипломатического таланта. Но у нее сразу дрогнули нервы, когда он сказал:

— Я хотел бы поговорить с тобой, Сесси. Ты, наверное, знаешь, что вчера у меня со Стивном был разговор.

Сесилия кивнула.

— Я поговорил с Бианкой.

— Да? — уронила Сесилия. Ей ужасно хотелось узнать, что же сказала Бианка, но она не осмеливалась спросить, потому что на Хилери была его броня — отчужденное, насмешливое выражение, которое всегда появлялось на его лице, если начинали говорить о том, что его больно задевало.

Сесилия ждала.

— Все это мне отвратительно, — сказал он, — но я должен что-то сделать для этой девочки. Не могу же я так вот оставить ее в беде.

Сесилию вдруг осенило.

— Послушай, Хилери, — начала она мягко, — у меня в гостиной сидит миссис Таллентс-Смолпис. Они со Стивном как раз только что разговаривали об этой девушке. Быть может, ты зайдешь, и вы спокойно все с ней уладите?

Несколько секунд Хилери молча смотрел на

свояченицу, затем сказал:

— Нет, спасибо. Всему есть мера. Я сам обо всем позабочусь.

С дрожью в голосе Сесилия спросила:

— Но, Хилери… что ты хочешь сказать?

— Я положу этому конец.

Сесилии потребовалась вся ее выдержка, чтобы не дать ему заметить, в каком она ужасе. Положить конец чему? Что он имеет в виду — что они с Бианкой собираются разойтись?

— Я не позволю распускать пошлые сплетни об этой несчастной девушке. Я сам сниму для нее комнату.

Сесилия вздохнула с облегчением:

— Может быть, и мне пойти с тобой?

— Очень мило с твоей стороны, — ответил Хилери сухо. — Как видно, мои действия вызывают подозрение.

Сесилия вспыхнула:

— Ну что ты, это же глупо! Но если я буду с тобой, тогда уж никто ничего не подумает. Скажи, Хилери, тебе не кажется, что если она будет продолжать ходить к отцу…

— Я скажу ей, чтобы она больше не ходила.

Сердце Сесилии дрогнуло дважды: один раз от удовольствия, другой раз от жалости.

— Тебе это будет так трудно! — сказала она. — Я ведь знаю, как ты ненавидишь такие вещи.

Хилери кивнул.

— Но боюсь, что это единственный выход, — продолжала Сесилия поспешно. — И конечно, отцу говорить об этом незачем, пусть считает, что ей просто надоело у него работать.

Хилери снова кивнул.

— Его это очень удивит, — проговорила Сесилия задумчиво. — Да… А тебе не кажется, что если ты ее заберешь оттуда, все эти люди только еще больше дадут волю языкам?

Хилери пожал плечами.

— Тот человек может прийти в ярость, — добавила Сесилия.

— Безусловно.

— Но с другой стороны, если ты после этого не будешь с ней видеться, у них не останется… не останется никаких оснований для сплетен.

— Я не буду больше с ней видеться, если сумею избежать этого.

Сесилия взглянула на него:

— Это очень мило с твоей стороны, Хилери.

— Что мило с моей стороны? — каменным голосом спросил Хилери.

— Ну то, что ты берешь на себя все хлопоты.

Ты уверен, что тебе вообще следует вмешиваться? — Взглянув ему в лицо, она торопливо добавила: — Да, да, конечно, так будет лучше всего. Пойдем сейчас же. Ах да, там ведь в гостиной сидят… Будь добр, подожди меня десять минут.

Бегом поднимаясь к себе в комнату, чтобы надеть шляпу, Сесилия думала, почему это у нее всегда возникает желание утешить Хилери. Стивн никогда не вызывал в ней такого чувства.

Плохо представляя себе, куда им, собственно, идти, они пошли по направлению к Бейсуотер. Самое главное, что требовалось, — это поселить маленькую натурщицу подальше от Хаунд-стрит, по ту сторону Гайд-парка. Дойдя до конца Брод-Уок, они инстинктивно стали удаляться от всяких признаков зелени. На длинной, унылой, мрачно-респектабельной улице они нашли то, что искали, — меблированную комнату, совмещающую в себе гостиную и спальню; объявление о ней было наклеено на стекле окна. Дверь им открыла хозяйка, высокая, узкоплечая женщина с западным акцентом и скрытой сердечностью, едва пробивающейся сквозь жесткую оболочку. Они вели с ней переговоры в передней, вдыхая запах линолеума с пестрым узором, которым был застлан пол. Отсюда была видна лестница,

она круто поднималась вверх мимо стен, оклеенных глянцевитыми желтыми обоями в мелкую красную клеточку. На стене висел календарь с цветочным орнаментом до того аляповатого вида, что никто бы не соблазнился его выкрасть. Под ним стояла подставка для зонтов, но зонтов в ней не было. Слабо освещенный коридорчик вел мимо двух плотно закрытых дверей, выкрашенных в ржавый цвет, к двум другим, полуоткрытым дверям с мутными стеклами в панелях. На улице, откуда они поднялись сюда по каменным ступеням, начался ливень со снегом. Хилери закрыл дверь, но холодное дыхание ливня уже вошло в угрюмый тесный дом.

— Вот помещение, мэм, — сказала хозяйка, открывая первую из дверей цвета ржавчины. Комната, оклеенная обоями с узором из голубых роз на желтом фоне, была отделена от соседней двойной дверью. — Иногда я сдаю обе комнаты сразу, но сейчас вторая комната занята, там живет один молодой человек, служащий в Сити. Вот почему я могу сдать вам эту комнату так дешево.

Сесилия взглянула на Хилери.

— Право, мне кажется, едва ли…

Хозяйка быстро повернула ручки двойной двери, показывая, что дверь не открывается.

— Ключ у меня, — сказала она. — И с обеих сторон есть еще болты.

Сесилия, успокоившись, обошла комнату — насколько это было возможно, потому что она была вся заставлена мебелью, — и наморщила нос точно так, как это сделала Тайми, когда рассказывала о Хаунд-стрит. Случайно взгляд ее упал на Хилери. Он стоял, прислонившись к двери. На лице его было странное, горькое выражение, какое должно быть у человека, глядящего на лик самой Уродливости и чувствующего, что она не только вне его, но и в нем самом, как некий вездесущий дух; это было выражение лица человека, который полагал, что поступает по-рыцарски, а оказалось, что это вовсе не так; или полководца, отдающего приказ, которого сам он не выполнил бы.

Сесилия сказала торопливо:

— Все очень мило и чисто. Я думаю, вполне подойдет. Вы ведь сказали, что плата — семь шиллингов в неделю, да? Мы берем комнату — пока не меньше чем на две недели.

На лице хозяйки — угрюмом, с голодными глазами, немного смягченными терпением, — появился первый проблеск улыбки.

— Когда девушка переедет? — спросила она.

— Как ты думаешь, Хилери, когда?

— Не знаю, — пробормотал он. — Чем скорее, тем лучше, раз уж это необходимо. Завтра или послезавтра.

И, глянув на кровать, застеленную дешевым желто-красным вязаным покрывалом с бахромой, он вышел на улицу. Ливень прекратился, но дом выходил фасадом на север, и солнце его не освещало.

Глава XXII
Хилери действует

Как мухи, застрявшие в неосязаемых, дымчатых нитях паутины, люди барахтаются в паутине собственных характеров — то дернутся в сторону, то сделают жалкую попытку рвануться вперед, — долго не сдаются, но затем все же стихают. Опутанные паутиной, они родятся, опутанные паутиной, умирают, до конца ведя борьбу в меру своих сил. Бороться в надежде получить свободу — их радость, умереть, не зная, что они побеждены, — их награда. И самое замечательное при этом, что жизнь для каждого придумывает особые трудности, наиболее соответствующие его натуре. То, что фанатику или грубому, решительному человеку кажется простейшей задачкой, то для человека тонкого и мыслящего — неразрешимая проблема.

Вот так было и с Хилери. С рассвета и до заката и позже, при свете луны, дух его бился, задыхаясь в особой, специально для него сотканной паутине. Личные склонности и жизненные обстоятельства, не вынуждавшие Хилери близко

сталкиваться с людьми, избавили его от необходимости давать или выполнять приказания. Он почти утратил эту способность. Жизнь представлялась ему картиной с расплывчатыми контурами, где все сливалось в одно, без резкой светотени. Уже многие годы на его пути не встречалось ничего такого, что требовало бы от него решительного «да» или «нет». Кроме того, он был глубоко убежден, что всегда надо ставить себя на место другого, — он считал это и долгом, и радостью. Говоря отвлеченно, теперь мало оставалось «мест», где бы он не чувствовал себя как дома.

Правда, поставив себя на место маленькой натурщицы, он не ощутил особой радости. С должной скидкой на тот элемент чувства, который мужчины, естественно, привносят в свою оценку жизни женщин, можно сказать, что его представление о «месте» маленькой натурщицы было не так уж далеко от истины.

Она ведь совсем девочка, ей всего двадцать лет; выросла в деревне — не светская девушка, но и не фабричная работница… Без дома, без родных, если верить ее словам, во всяком случае, без таких родных, которые хотели бы ей помочь, и, по-видимому, без всяких друзей. Беспомощная по натуре, да еще с профессией, требующей особой

настороженности… И эту девушку он собирается снова бросить на произвол судьбы, перерезав ту единственную ниточку, которая привязывает ее к чему-то. Ведь это все равно что выкопать едва пустивший корни кустик роз, посаженный своими руками хотя и не в очень защищенном, но все же надежном месте, и снова пересадить туда, где его будут трепать все ветры на свете. Такой грубый и, на взгляд Хилери, бесчеловечный поступок был чужд его натуре. И ко всему еще примешивалась легкая лихорадка — отдаленная музыка, которую он, не переставая, слышал с той ночи, когда фургоны тянулись к Ковент-Гардену…

Вот почему в понедельник он ждал прихода девушки чуть не с отчаянием, расхаживая взад и вперед по кабинету, где стены были белые, а мебель — цвета табачного листа и такого же цвета книги в заказанных им самим переплетах из оленьей кожи; где не было цветов и в окна не попадало солнечного света, но зато повсюду лежало множество листов бумаги, — в комнате, на веки вечные покинутой юностью, комнате пожилого человека.

Он попросил девушку зайти к нему, решив выложить ей все сразу и с наименьшей затратой слов. Но он не принял в расчет ни особенностей

своего характера, ни женского инстинкта маленькой натурщицы. Несмотря на всю свою ученость, а может быть, именно в силу этого неспособный предусмотреть результат простейших поступков, он не учел и того, что, подарив девушке новое платье, сам же утвердил в ее сознании право собственности на нее.

Как собака, чей хозяин задумал от нее отделаться, стоит и смотрит на него трагически-вопрошающе, чуя, что с ней хотят поступить жестоко, как собака, которую собираются бросить, стояла перед Хилери маленькая натурщица.

Всем своим видом — и позой, и пристальным взглядом ясных глаз, вот-вот готовых наполниться слезами, и дрожью тела — она говорила: «Я знаю, зачем ты послал за мной».

Хилери почувствовал то, что должен почувствовать человек, получивший приказ отстегать плетьми своего ближнего. Чтобы выиграть время, он спросил, как она проводит дни. Маленькая натурщица, по-видимому, старалась убедить себя, что предчувствия ее обманули.

Теперь, когда по утрам так хорошо, сказала она, немного оживившись, она встает гораздо раньше и первым делом принимается за шитье; потом прибирает комнату. В полу оказались

мышиные норки, и она купила мышеловку. Прошлой ночью попалась мышь. Ей было жалко убивать мышку, она посадила ее в жестянку, вынесла на улицу и там выпустила. Мгновенно заметив, что Хилери слушает с интересом, как и следовало ожидать, она сообщила ему, что не может равнодушно видеть голодных кошек и бездомных собак, особенно бездомных собак, и даже описала одну такую собаку, которую как-то довелось ей увидеть. К полисмену ей обращаться не захотелось, они всегда так таращат на тебя глаза… Последние слова прозвучали для Хилери странно многозначительно, и он отвернулся. Маленькая натурщица, заметив произведенное впечатление, постаралась его усилить. Она слышала, что полисмены могут такое сделать… Сразу поняв по лицу Хилери, что от этих слов ничего не выиграла, она резко оборвала фразу и принялась болтать: что ела за завтраком, и как ей теперь хорошо, когда одежда у нее новая, и до чего ей нравится ее комната, и какой забавный этот мистер Крид: притворяется, что не замечает ее, когда они встречаются по утрам. Потом она подробно рассказала, как пыталась найти работу, и как ей кое-что обещали, и о том, что мистер Леннард по-прежнему просит, чтобы она ему позировала.

Тут она вскинула на Хилери глаза и сейчас же снова опустила. Если она решится на то, чтобы… вот так вот позировать, она получит работы сколько угодно. Но она отказывается, потому что мистер Хилери не велел ей, да она и сама, конечно, не хочет: ей очень нравится работать у мистера Стоуна. И она хорошо теперь живет, и ей нравится Лондон, и магазины тоже. Хьюзов она даже не помянула. Во всей этой бессвязной болтовне, явно преследующей определенную цель, странным образом переплетались тупость и хитрая смекалка, позволяющая девушке мгновенно оценить производимый ею эффект; но, когда она смотрела на Хилери, в глазах ее так и светилась собачья преданность.

Взгляд этот проник в самые уязвимые места в той слабой броне, которой наделила его природа. Он глубоко тронул этого отнюдь не самоуверенного и очень доброжелательного человека. Хилери воспринимал как великую честь, что столь юное существо смотрит на него таким взглядом. Он всегда избегал думать о том, что, возможно, помогло бы ему понять ее чувство к нему, старался забыть слова художника, мастера натюрмортов: «У нее в прошлом, кажется, какая-то история…» Но сейчас они вспомнились Хилери, и он будто

прозрел: если ее история — простейшая из всех историй, грубоватая любовная связь деревенской девушки с парнем, — разве не естественно предположить, что девушку, по натуре своей склонную к подчинению, тянуло теперь на что-то противоположное той навлекшей на нее неприятные последствия молодой, животной любви?

Но какова бы ни была причина ее обожания, ответить на него неблагодарностью казалось Хилери грубейшим нарушением джентльменства. А между тем получилось так, словно он пригласил ее в кабинет, чтобы сказать: «Ты для меня обуза, если не хуже». До сих пор она как будто и забавляла его и вызывала что-то вроде нежности — такие ощущения испытываешь, глядя на жеребенка или теленка, любуясь его милой неуклюжестью. Теперь, когда надо было расстаться с ней, Хилери спрашивал себя, не примешивалось ли к этому и другое чувство.

Миранда встала между хозяином и его гостьей и сердито зарычала.

Поглаживая фарфоровую пепельницу рукой в чернильных пятнах, маленькая натурщица проговорила с улыбкой, и жалкой, и трезвой:

— Собачка меня не любит, знает, что я здесь чужая. Она злится, когда я прихожу, она ревнует.

Хилери сказал отрывисто:

— Скажите, подружились вы с кем-нибудь с тех пор, как приехали в Лондон?

Девушка метнула в него взгляд, будто спрашивая: «Неужели я вызвала в тебе ревность?» — но тут же, словно коря себя за дерзкую мысль, опустила голову и ответила:

— Нет.

— Ни с кем?

Она повторила, почти страстно:

— Нет! И никого мне не нужно, я только хочу, чтобы меня оставили в покое.

Хилери заговорил быстро:

— Но вот Хьюзы не захотели же оставить вас в покое? Я повторяю: вам нужно выехать из того дома. Я снял для вас другую комнату, достаточно далеко от Хаунд-стрит. Оставьте всю мебель и плату за неделю вперед, тихонько забирайте ваш сундук, наймите кеб и уезжайте завтра же, и никому ни слова. Вот вам адрес и вот деньги на расходы. Эти люди для вас опасны.

Маленькая натурщица прошептала с отчаянием:

— Но мне все равно, пусть их…

Хилери продолжал:

— И вот еще что — вам не надо больше прихо-

дить сюда, Хьюз может вас выследить. Пока вы не подыщете себе другой работы, мы позаботимся, чтобы вы ни в чем не нуждались.

Маленькая натурщица молча глядела на него. Теперь, когда хрупкое звено, связавшее ее с какими-то домашними богами, разорвалось, все терпение, вся покорность, привитые в ней деревней, и всеми трудностями ее личной жизни, и этими последними месяцами в Лондоне, пришли ей на выручку. Она не стала ни возражать, ни просить. Хилери увидел, что по щеке у нее скатилась слеза.

Он отвернулся и сказал:

— Не плачьте, дитя мое…

Маленькая натурщица послушно проглотила слезы. Вдруг ее поразила какая-то мысль, и она спросила:

— Но с вами я буду видеться, мистер Даллисон, хоть иногда?

Поняв по выражению его лица, что это не входит в программу, она снова умолкла и стояла, не спуская с него глаз.

Хилери нелегко было бы признаться: «Мы не можем видеться, потому что жена меня ревнует» — и было бы жестоко сказать девушке: «Я не хочу больше тебя видеть», к тому же он знал, что

это неправда.

— Вы скоро найдете себе друзей, — проговорил он наконец. — И вы можете писать мне. — Как-то странно улыбнувшись, он добавил: — Вы только начинаете жить, такие вещи не надо принимать близко к сердцу. Вы встретите еще многих, кто сможет лучше посоветовать и лучше помочь вам, чем я.

В ответ на это маленькая натурщица обеими руками схватила его руку, но тут же снова выпустила, почувствовав, что это слишком большая дерзость, и стояла, опустив голову. Хилери, глядя сверху на ее шляпку, согласно его желанию не украшенную перьями, почувствовал комок в горле.

— Забавно, что я даже не знаю, как вас зовут, — сказал он.

— Айви.

— Айви? Ну вот, я буду писать вам. Но обещайте, что вы сделаете все так, как я вам сказал.

Девушка подняла голову — сейчас лицо ее было просто некрасиво, как у ребенка, который едва сдерживается, чтобы не заплакать навзрыд.

— Обещайте, — повторил Хилери.

С горькой обидой, выпятив нижнюю губку, она кивнула и вдруг прижала руку к сердцу. Жест

этот, совершенно непроизвольный и какой-то наивный, чуть не поколебал решимости Хилери.

— Теперь вам надо уходить, — сказал он.

Она всхлипнула, залилась краской, потом вся побелела:

— И мне даже нельзя пойти попрощаться с мистером Стоуном?

Хилери помотал головой.

— Он будет скучать без меня, — сказала она с отчаянием. — Да, я знаю, он будет скучать.

— И я тоже. Тут уж ничего не поделаешь.

Она выпрямилась во весь рост; грудь ее тяжело вздымалась под платьем — тем самым, которое сделало ее собственностью Хилери. Сейчас она была очень похожа на девушку с картины «Тень», и Хилери казалось, как бы он ни поступил, что бы ни предпринял, она неизменно будет здесь — этот маленький дух из мира слабых и обездоленных, вечно преследующий людей своим немым призывом.

— Дайте мне руку, — сказал Хилери.

Она протянула свою не слишком белую маленькую ручку. Рука была мягкая, но горячая, как огонь, и цепкая.

— Прощайте, дорогая, желаю вам счастья.

Маленькая натурщица бросила ему взгляд,

полный неизъяснимого упрека, затем, верная своей привычке к послушанию, молча вышла.

Хилери не глядел ей вслед. Он стоял у высокой каминной полки, склонясь над холодным пеплом, опустив лицо на ладонь. Ничто, даже жужжание какой-нибудь случайно залетевшей мухи, не нарушало тишины. Он слышал только одно — нет, не отдаленную музыку, но биение собственной крови в ушах и висках.

Глава XXIII
Книга о всемирном братстве

Здесь следует сказать несколько слов об авторе «Книги о всемирном братстве».

Сильванус Стоун, блестяще окончив Лондонский университет, еще совсем молодым был назначен лектором в ряд высших учебных заведений. Вскоре он получил профессорскую мантию, как то и подобало человеку столь глубокой эрудиции в естественных науках, и с этого времени до семидесятилетнего возраста жизнь его была непрерывной цепью лекций, речей, докладов и диспутов по вопросам его специальности. В семьдесят лет, когда он, после смерти жены и брака всех троих детей, уже долгое время прожил один, серьезная болезнь — результат непозволительного отношения одностороннего ума к железному здоровью — надолго уложила его в постель.

Во время затянувшегося выздоровления все его мыслительные способности, прежде отдаваемые естественным наукам, сосредоточились на жизни в целом. Но ум, для которого естественные науки являлись идеей, страстью, не мог доволь-

ствоваться туманными раздумьями о жизни. Медленно, исподволь, с непреодолимой центробежной силой, быть может, и не развившейся бы, не будь этой болезни, все случайные и путаные мысли о загадке человеческого бытия поглотила одна страсть, одна идея — всемирное братство. Односторонний ум этого старого человека, болезнью оторванного от прежнего образа жизни, награжденного пенсией и сданного в архив, стал поклоняться новой звезде, с каждой неделей, с каждым месяцем, с каждым годом разгоравшейся все ярче, так что наконец все остальные звезды померкли, а затем и вовсе угасли.

В семьдесят четыре года он начал писать книгу. Весь во власти своей темы и преклонного возраста, он постепенно совсем перестал уделять внимание явлениям случайным и преходящим. Странности его вызывали много толков. Как-то, навещая отца в его одинокой квартирке на верхнем этаже, Бианка застала его на крыше, куда он забрался, чтобы лучше созерцать свою возлюбленную вселенную; Бианка заманила его к себе домой и отвела ему там комнату. Через день или два он уже как будто не замечал никакой перемены.

Образ жизни его на новом месте очень скоро

определился и, однажды определившись, никогда больше не менялся, ибо Сильванус Стоун не допускал в свою жизнь ничего, что отрывало бы его от работы над книгой.

В тот день, когда Хилери распрощался с маленькой натурщицей, мистер Стоун целый час тщетно ждал ее, читая и перечитывая исписанные листы. Потом он проделал свои гимнастические упражнения. В обычное для чаепития время он сел и, попеременно поднося ко рту чашку чая и кусок черного хлеба с маслом, долго и пристально смотрел на то место, где обычно сидела девушка. Поев, он вышел из комнаты и принялся бродить по дому. Он не нашел никого, кроме Миранды; она расположилась в проходе, ведущем из дома в студию, и поглядывала то в одну сторону, то в другую, поджидая прихода хозяина или хозяйки. Она присоединилась к мистеру Стоуну и, соблюдая почтительное расстояние, бежала сзади, пока он шел вперед, и впереди него, когда он возвращался. Так никого и не встретив, мистер Стоун направился к садовой калитке. Здесь вскоре и увидела его Бианка: он стоял неподвижно, без шляпы, на самом солнце, вытянув свою седую голову туда, откуда, как он знал, всегда приходила маленькая натурщица.

Бианка только что побывала на выставке Королевской академии, куда она все еще ходила раз в год — так собаки из какой-то непонятной потребности ходят и обнюхивают своих собратьев, с давних пор вызывающих у них чувство неприязни. С ее шляпки, цветом и формой напоминающей гриб, свободно спадала вуаль. Глаза у нее после прогулки оживленно блестели.

Мистер Стоун вскоре, по-видимому, сообразил, кто перед ним, и с минуту стоял молча, глядя на дочь. Его отношение к обеим дочерям было отношением селезня к двум лебедям, которых он неведомо как породил: здесь был и вопрос, и неодобрение, и любование, и легкая растерянность.

— Почему она не пришла? — спросил он.

Лицо Бианки, скрытое вуалью, исказилось от боли.

— Ты не спрашивал у Хилери?

— Я не мог его найти, — ответил мистер Стоун. В его терпеливо склоненной фигуре и седой голове, на которую падали солнечные лучи, было что-то такое, что заставило Бианку взять его под руку.

— Пойдем домой, папа. Я буду писать под твою диктовку.

Мистер Стоун внимательно посмотрел на нее и

покачал головой:

— Это не согласуется с моими принципами. Я не могу принять бесплатную услугу. Но если ты зайдешь ко мне, дорогая, я охотно прочту тебе несколько страниц. Это меня очень стимулирует.

Глаза Бианки затуманились. Прижав к груди отцовскую руку в шершавом рукаве, она повела старика к дому.

— Мне думается, я написал нечто, что может тебя заинтересовать, — сказал мистер Стоун.

— Наверно заинтересует, — тихо поддакнула Бианка.

— Тема эта затрагивает каждого, — сказал мистер Стоун. — Это тема рождения. Садись за стол. Я начну, как обычно, с того места, где остановился вчера.

Бианка заняла место, предназначенное для маленькой натурщицы, оперла подбородок о ладонь и сидела неподвижно, как те статуи, на которые она только что ходила смотреть.

Можно было подумать, что мистер Стоун нервничает: он дважды перекладывал листы рукописи, откашливался. Но вот он взял лист, отошел на три шага, повернулся спиной к дочери и начал читать:

— «В этом медленном, непрерывном переходе одних форм в другие, называемом жизнью, люди, у которых от постоянной деятельности развилась известная судорожность, выделили один определенный момент, по существу своему ничем особенно не отличающийся от любого другого, и назвали его Рождением. Это обыкновение выделять в мировом процессе один-единственный миг, отдавая ему предпочтение перед всеми остальными, быть может, больше, чем что-либо другое, способствовало затемнению кристальной ясности вечного потока вселенной. С тем же успехом можно было бы, наблюдая процесс развития земли, выходящей из мглистых объятий зимы, изолировать один-единственный день и назвать его Весной. В ходе ритмических подъемов и спадов, управляющих переходом одной формы в другую...» — Начавшись с тонкого, хриплого полушепота, голос мистера Стоуна постепенно креп, становился все громче, как будто автор обращался к большой аудитории: «...золотая дымка вселенной, где люди парили бы вокруг солнца, подобно ярким крыльям, уступила место эгоистическому нимбу, который создавал себе каждый человек, прославляя свое рождение. Этой первичной ошибкой объясняется, возможно, и

необыкновенный субъективизм человеческой философии. Медленно, но неуклонно в сердце человека умирало желание назвать своего ближнего братом».

Вдруг мистер Стоун перестал читать и сказал:

— Вон он идет.

В следующую минуту дверь отворилась, и вошел Хилери.

— Она не пришла, — сообщил ему мистер Стоун, и Бианка добавила вполголоса:

— И мы без нее скучаем.

— Ее глаза смотрят как-то особенно, — сказал мистер Стоун. — Они помогают мне заглядывать в будущее. Такой взгляд я замечал у собак женского пола.

Тихонько рассмеявшись, Бианка проговорила как бы про себя:

— Неплохо сказано.

— У собак есть одна добродетель, — сказал Хилери, — которая у людей отсутствует: собаки не способны издеваться.

Но губы Бианки, чуть раскрытые в усмешке, казалось, говорили: «Ты требуешь слишком многого. Ведь я больше уже не привлекаю тебя. Неужели ты ждешь, что я буду сочувствовать твоему увлечению этим примитивным созданием?»

Взгляд мистера Стоуна был прикован к стене.

— Собака многое утратила из своих первоначальных качеств, — проговорил он.

И, подойдя к конторке, взял гусиное перо.

Хилери и Бианка не произнесли ни звука, не взглянули друг на друга, и в тишине, более значимой, чем любые слова, раздался скрип пера по бумаге. Наконец мистер Стоун отложил его и, увидев, что в комнате у него присутствуют двое, стал читать:

— «Оглядываясь на те дни, когда доктрина эволюции достигла своего апогея, можно увидеть, как человеческий ум своей привычкой к непрерывной кристаллизации разрушил все значение этого процесса. Взгляните, например, на такое бесплодное явление, как кастовая пагода! Подобно этому китайскому храму, было сформировано тогда все общество. Люди жили слоями, настолько отделенные друг от друга, класс от класса…»

Он снова взял перо и начал писать.

— Надеюсь, ты поняла, что ей не велено больше приходить сюда? — сказал Хилери негромко.

Бианка пожала плечами.

С необычайным для него гневом он добавил:

— Скажи, у тебя хватает великодушия признать, что я стараюсь идти навстречу твоим

желаниям?

Бианка ответила смехом, таким странным, жестким и горьким, что Хилери невольно повернулся, словно ему хотелось поймать этот смех раньше, чем он достигнет ушей старика.

Мистер Стоун положил перо.

— Сегодня я больше писать не буду, — сказал он. — Я потерял нить, сегодня я не такой, как всегда.

Голос его звучал как-то необычно.

Он выглядел очень старым и немощным, он был похож на клячу, чье солнце уже закатилось и которая стоит понуря голову, а под спутанной гривой ее видны на шее глубокие впадины. Внезапно, как видно совсем забыв, что он не один, мистер Стоун воскликнул:

— О Великая Вселенная! Я стар, и дух мой слаб, и нет у меня единой цели, ведущей меня вперед. Помоги мне закончить мой труд, помоги мне создать книгу, какой человечество еще не знало!

За этой странной молитвой последовало полное молчание. У Бианки по лицу катились слезы; она встала и выбежала из комнаты.

Мистер Стоун очнулся. Его немое, бледное лицо вдруг покраснело и приняло испуганное выражение. Он посмотрел на Хилери.

— Простите, я, кажется, забылся. Я сказал что-нибудь неподобающее?

Боясь, как бы голос не выдал его, Хилери только помотал головой и тоже пошел к двери.

Глава XXIV
Страна теней

«У каждого из нас есть своя тень в тех местах — на тех улицах…»

Эти слова мистера Стоуна, пущенные, подобно многим его изречениям, на ветер, даже в «те дни» показались бы не совсем лишенными значения тому, кто заглянул бы в комнату мистера Джошуа Крида на Хаунд-стрит.

Престарелый лакей лежал в постели, дожидаясь неизбежного звона маленького будильника, помещенного в самом центре каминной полки. По обеим сторонам этого неподкупного и неумолимого судьи, изо дня в день заставлявшего его подниматься на ноги, которым уже давно пора бы на покой, красовались портреты тех, с кем связаны были минувшие триумфы мистера Крида. Слева в рамке из папье-маше, кое-где покрытой пятнами, стоял портрет достопочтенного Бэйтсона в мундире королевской гвардии. На лице прежнего хозяина Крида запечатлелось то бесшабашное выражение, с каким он, бывало, говорил ему: «Черт побери, Крид, одолжите-ка мне фунт

стерлингов, у меня ни гроша не осталось!» Справа в зеленой рамке, когда-то плюшевой, под стеклом с трещиной в левом углу находился портрет прежней хозяйки Крида, вдовствующей графини Гленгауэр, увековеченной местным фотографом в тот момент, когда она закладывала камень в фундамент местной богадельни. В период гибели карьеры, который последовал за длительной болезнью старого лакея и предшествовал спасению, каким явилась для него «Вестминстерская газета», оба эти божка домашнего очага лежали на дне видавшего виды железного сундука во власти содержателя меблированных комнат и дожидались, когда их выкупят. Достопочтенный Бэйтсон теперь уже сошел в могилу, так и не вернув одолженных ему фунтов. Леди Гленгауэр также была взята на небо и, очевидно, вспоминала там, что забыла помянуть в завещании всех своих слуг. А тот, кто служил им обоим, был все еще жив, и первой его мыслью, едва он утвердился в должности продавца «Вестминстерской», было скопить нужную сумму, дабы извлечь портреты из унизительного для них заточения. Для этого ему понадобилось шесть месяцев. Он обнаружил, что портреты на месте, там же, где и три пары шерстяных кальсон, старый, но вполне

респектабельный черный фрак, клетчатый галстук, Библия, две пары носков, одна с целыми передками, другая с целыми пятками, моток штопки с иглой, пара штиблет с эластичными вставками по бокам, гребень и веточка белого вереска, завернутые в клочок газеты «Глобус» вместе с кусочком мыла для бритья и двумя прочищалками для трубки, а также два воротничка, острые концы которых, разделяемые расстоянием почти в два дюйма, доходили до самых щек их владельца, и, наконец, маленький будильник, упомянутый выше, и булавка для галстука, изображающая королеву Викторию в день ее первого юбилея[8]. Сколько раз Крид мысленно перебирал эти сокровища в то время, когда вынужден был находиться в разлуке с ними! Сколько раз, когда все это уже вернулось к нему, раздумывал он с глухим, но неутихающим негодованием о пропаже некой сорочки, находившейся, он готов был в том поклясться, вместе с остальными вещами!

Сейчас он лежал в постели, дожидаясь, когда зазвонит будильник, прикрыв одеялом щетинистый подбородок и выставив наружу обезображенный нос. Он думал думы, всегда одолевавшие

---

[8] Примечания: 8
Пятидесятилетний юбилей царствования Виктории (1887 г.).

его в этот час: думал о том, что миссис Хьюз не следовало бы за завтраком соскребать с его хлеба масло, как она имеет обыкновение делать, что надо бы ей сбавить шесть пенсов с платы за комнату; что человеку, привозящему в тележке последние выпуски газеты, надо бы приезжать пораньше, не давать «тому типу» возможность первым получать «Пэл-Мэл» и отнимать у него, у Крида, единственный шанс за весь день; что незачем платить сапожнику девять пенсов, которые тот запросил с него за новые подметки, а лучше подождать до лета, тогда этот «тип из низов» рад будет поставить подметки и за шесть пенсов!

Благородный, тонкой души критик, считающий эти рассуждения низменными, переменил бы, возможно, мнение, если бы на этих старых ногах, которые сейчас сводило судорогой, ему самому пришлось простоять накануне до одиннадцати часов вечера, потому что требовалось распродать оставшиеся двенадцать экземпляров последнего выпуска, а покупателей не было. Никто лучше самого Джошуа Крида не знал, что, если он позволит себе более широкую и возвышенную точку зрения на жизнь, он неизбежно попадет в то самое учреждение, куда он молил Бога никогда не дать ему попасть. По счастью, еще в то время,

когда он был мальчишкой, природа наделила его не только длинным лицом и квадратной челюстью, но и односторонним взглядом на жизнь. В самом деле, непостижимая, неослабевающая цепкость души, рожденной в Ньюмаркете, ничего бы не стоила, если бы Крид, в отличие от мистера Стоуна, был способен видеть больше одной вещи зараз. То единственное, что вот уже в течение пяти лет он неизменно видел перед собой, стоя возле магазина Роза и Торна, был работный дом, и, так как он твердо решил, пока жив, не попасть туда, он тщательно экономил, для чего и вел эти свои мелкие, низменные подсчеты.

Размышляя таким образом, он вдруг услышал крик. Будучи человеком не трусливого десятка, но осторожным, он выждал, пока крик раздался вторично, и только тогда встал с кровати. Вооружившись кочергой и надев очки, он поспешил к двери. Не раз в добрые старые времена вставал он вот так на защиту серебра достопочтенного Бэйтсона или вдовствующей графини Гленгауэр от воображаемых воров. С минуту он стоял, поеживаясь, в своей старой ночной рубашке, болтающейся вокруг его еще более старых ног, затем открыл дверь и выглянул. На ступеньках лестницы, чуть повыше его двери, стояла миссис

Хьюз, одной рукой прижимая к себе младенца, другую руку она вытянула вперед, обороняясь от мужа. Крид услышал его слова:

— Ты сама довела меня до этого! Я еще из-за тебя буду мотаться на веревке!..

Тонкая фигура миссис Хьюз скользнула мимо Крида к нему в комнату; запястье у нее было в крови. Крид увидел в руке у Хьюза штык. Старый лакей закричал во всю силу своих легких:

— Постыдился бы, ты! — И поднял кочергу, готовый к отпору.

Замечательно то, что в минуту опасности — наибольшей, с какой ему приходилось когда-либо сталкиваться, — Крид инстинктивно пустил в ход самые обыденные слова, как если бы противное душе англичанина буйство пробудило в нем типичную английскую умеренность. Вид обнаженной стали вызвал у старого лакея глубокое отвращение, и он разразился длинной тирадой. О чем это Хьюз думает — поднять шум чуть свет, позорить дом! Где это он воспитывался? Еще называется солдат — нападать на стариков и женщин! Просто стыд и позор!

Пока слова эти выскакивали в провалы между желтыми остатками зубов в обрюзгшем рту старика, Хьюз стоял молча, прикрыв глаза локтем.

Раздались голоса и громкий топот. Угадав в этой тяжелой поступи приближающиеся шаги Закона, Крид сказал:

— Только попробуй тронь меня!

Хьюз опустил руку. На его смуглом квадратном лице было написано отчаяние, у него был вид затравленной крысы, глаза его бегали по сторонам.

— Ладно, папаша, тебя я не трону, — сказал он. — Из-за нее у меня в голове опять все перевернулось. На-ка, забери это от меня, я за себя не ручаюсь. — И он протянул штык.

«Вест-министр» дрожащей рукой осторожно взял его.

— Подумать только — кидаться на человека с такой штукой! А еще считаешь себя англичанином! Я тут с вами простужусь до смерти…

Хьюз ничего не ответил. Он стоял, прислонившись к стене. Старый лакей смотрел на него сурово. Но он рассматривал его не с широких философских позиций, как измученное человеческое существо, терзанием страсти в темной крови доведенное до предела, — человеческое существо, чей духовный облик стал подобен чахлому, кривому дереву, загубленному жизнью, — жалкое существо, пропадающее от пьянства и старой ра-

ны. Мысли бывшего лакея шли по более узкому и проторенному пути. «Надо его схватить, — думал он, — с этими подонками только так и следует поступать: схватить и держать, пока не взвоет».

Кивнув седой головой, он сказал:

— Вон идет полиция. Я тебя выгораживать не стану. Получай сполна все, что заслужил.

Позже, когда он, одетый в старое длинное пальто в обтяжку, пожертвованное ему кем-то из его клиентов, шагал вместе с миссис Хьюз по направлению к полицейскому участку, он был еще молчаливее обычного и всем своим видом выражал неодобрение, как то и подобало человеку, случайно замешанному в вульгарную историю «этих типов из низов». Швея, осунувшаяся, с перепуганным лицом, семенила рядом, время от времени заглядывая ему в глаза; раненую руку она держала на перевязи из мужнина шерстяного шарфа, на другой несла младенца, которого растревожило утреннее происшествие.

Только один раз Крид заговорил, и то про себя:

— Не знаю, что там мне скажут в конторе — не явился на работу! Ах ты господи, вот беда! И что это взбрело в голову учинить такое!..

Хотя мистер Крид отнюдь не имел в виду вызвать этим миссис Хьюз на разговор, из уст ее

полились водопады слов. Ведь она только сказала мужу, что девушка выехала и оставила плату за комнату за неделю вперед и записку, что больше сюда не вернется. Ведь она тут ни при чем, что девушка уехала! Ей и вовсе-то не следовало приезжать, такой… Вздумала встать между женой и мужем! Ну почем она знает, куда отправилась эта девица, где она теперь?

Слезы бежали одна за другой по исхудавшим щекам женщины. Сейчас лицо ее было не таким, как тогда, когда она стояла перед мужем и рассказывала об исчезновении маленькой натурщицы. Ни торжества, рвавшегося наружу из ее истерзанного сердца, ни злорадства, которое она, стремясь отомстить за униженное чувство собственности, выражала, умышленно или нет, своим скрипучим голосом, ни близкого к героизму чувства материнского самопожертвования, с каким она бросилась к ребенку и выхватила его из-под штыка, когда взбешенный ее злорадным торжеством Хьюз кинулся к оружию, — ничего этого не осталось. Был только жалкий страх перед предстоящей мукой, жалобное, немое отчаяние от того, что человек, два часа тому назад внушавший ей такую злобу и чуть не убивший ее, попал теперь в беду.

Ее волнение было так явственно, что проникло сквозь стекла очков и коснулось сердца старого лакея.

— Не убивайтесь, чего уж! — сказал он. — Я на вашей стороне, я вас поддержу. Это ему так даром не пройдет.

Для его несложной души история эта была из тех, где должен действовать принцип «око за око». Миссис Хьюз снова умолкла. Ее измученное сердце жаждало другого, ей хотелось отвести наказание, которое могло пасть на всех них, избавить мужа от их общего врага — Закона. Но странная гордость, растерянность и понимание, что требовать «око за око» — это как раз то, чего ждут от всех уважающих себя граждан, заставляли ее молчать.

Так они добрались до великого утешителя, до серого мудреца, что улаживает все людские неурядицы, до пристанища для людей и ангелов — до полицейского участка. Помещался он в узком тупике. Как в момент, когда нет ни прилива, ни отлива, из грязной жижи вытекают ручейки, стремясь к какому-либо устью, так двигались здесь взад и вперед узкими ручейками человеческие существа. На лицах этих бредущих «теней» как будто были надеты маски из жесткого, но из-

носившегося материала — всегдашний облик тех, кого Жизнь загнала в это последнее прибежище. Во дворе разлилось гнилое болото просителей, поперек которого тек грязный ручеек то туда, то обратно. Старик полисмен, как серый маяк, отмечал вход в эту гавань. К этому-то серому маяку и стал пробираться бывший лакей. Любовь к порядку, к раз и навсегда узаконенному положению вещей, присущая ему с детства и взлелеянная жизнью, проведенной в услужении у достопочтенного Бэйтсона и других «господ», заставила Крида инстинктивно устремиться к единственному человеку в этой толпе, который, безусловно, был на стороне закона и порядка. В продолговатом лице Джошуа Крида, в жидких волосах с пробором точно посередине, в высоком воротничке, подпиравшем худые щеки, было что-то не то чтобы раболепное, но свидетельствующее о неприязни ко всем «подонкам общества», и это побудило полисмена спросить его:

— Эй, папаша, что там у вас, какое дело?

— Да я вот насчет этой несчастной женщины, — ответил старый лакей. — Я пришел как свидетель в том, что ей нанесли побои.

Полисмен окинул женщину отнюдь не враждебным взглядом.

— Постойте здесь, — сказал он, — сейчас я вас впущу.

И вскоре его стараниями их пропустили в спасительную гавань.

Они сели рядом на край длинной жесткой деревянной скамьи. Крид впился вдруг словно потемневшими глазами в мирового судью — так в древние времена солнцепоклонники, благоговейно мигая, взирали на солнце. А миссис Хьюз уставилась на свои колени, и мучительные слезы струились по ее лицу. На ее здоровой руке спал ребенок. Впереди них, не привлекая к себе ничьего интереса, проходили одна за другою «тени», накануне выпившие слишком много воды забвения. Теперь им предстояло пить воду воспоминаний, преподносимую им достаточно твердой рукой. А откуда-то, очень издалека, сама Справедливость, с иронической улыбкой на устах, может быть, наблюдала, как люди судят своих «теней». За этим занятием она наблюдала их уже давно. Но она-то исходила из того положения, что зайцы и черепахи не должны начинать бег с одного и того же старта, и потому почти потеряла надежду на то, что ее позовут и попросят помочь — земные судьи давно уже обходились без нее. Быть может, также она уже знала, что люди более не

наказывают своих заблудших братьев, но лишь исправляют их, и оттого на сердце у нее было так же легко, как у тех, кто сидел в тюрьмах, в которых больше не наказывали.

Бывший лакей не думал, однако, о Справедливости, его мысли шли по менее замысловатому пути. Ему вспомнилось, что когда-то он служил лакеем у племянника покойного судьи лорда Хоторна, и воспоминание это на фоне столь низменных дел придало ему бодрости. Про себя он повторял и заучивал: «Я встал между ка… кафликтующими сторонами и говорю: «Стыдись! Называешь себя англичанином, а сам, говорю, бросаешься на стариков и женщин с холодным оружием». И вдруг на скамье подсудимых он увидел Хьюза.

Плотно прижав руки к бокам, Хьюз стоял будто на смотру по стойке «смирно». Бледный профиль, перебиваемый черной линией усов, — вот все, что было видно «Вест-министру» от этого окаменевшего лица, на котором лишь глаза, устремленные на судью, выдавали, как бушует пламя в груди этого человека. Неудержимая дрожь, охватившая миссис Хьюз, вызвала досаду в Джошуа Криде, и, увидев, что младенец открыл черные глазки, он слегка подтолкнул ее и шепнул:

— Ребенка разбудили.

При этих словах, быть может, единственных, способных тронуть ее сейчас, миссис Хьюз стала качать маленького немого зрителя драмы. И снова старый лакей подтолкнул ее:

— Вас вызывают.

Миссис Хьюз встала и пошла к месту для свидетелей.

Тот, кто желал бы читать в сердцах мужа и жены, которых поставили под прямым углом друг к другу, дабы залечить их раны с помощью Закона, должен был бы наблюдать многие и многие тысячи часов их совместной жизни, знать множество мыслей и слышать множество слов, прошедших через тусклые пространства их мирка, познать множество причин, по которым оба они чувствовали, что не могли бы поступить иначе, чем поступили. Вооруженный таким знанием, он, читая их сердца, не удивился бы, что, приведенные в это место исцелений, они немедленно заключили союз. Они обменялись взглядом. Он не был дружеским, в нем не было призыва, но его было достаточно. В нем отразилось знание, приобретенное очень древним опытом с незапамятных времен: Закон, перед которым мы стоим, сотворен не нами. Как собаки, заслышав вдалеке

свист бича, съеживаются и всем своим видом выражают спокойную настороженность, так Хьюз и его жена, оказавшись перед лицом Закона, насторожились и давали только те ответы, которые вытягивали из них силой. Миссис Хьюз почти шепотом рассказала, как было дело. Они поссорились. Из-за чего? Она не помнит. Он что, напал на нее? У него в руке был штык. И что же потом? Она поскользнулась и нечаянно поранила руку об острый конец штыка. При этом заявлении Хьюз повернулся и посмотрел на жену, будто хотел сказать: «Ты сама довела меня до этого. Мне все равно расплачиваться, как ты теперь ни старайся вытащить меня из беды. Ты получила от меня, ну и ладно, обойдусь без твоей поддержки. Но я рад, что ты со мной заодно против этого треклятого Закона». Он стоял неподвижно, опустив глаза, все то время, пока она, задыхаясь, объясняла: он ее муж, она родила ему пятерых, он был ранен на войне. Она не хотела, чтобы его приводили сюда.

И ни слова о маленькой натурщице…

Старый лакей раздумывал над этим последним обстоятельством два часа спустя, когда, по обыкновению ища опоры у «господ», отправился к Хилери.

Хилери завтракал, окруженный книгами и

листами бумаги: с тех пор как он уволил девушку, он работал очень интенсивно; завтрак ему принесли на подносе прямо в кабинет.

— Там вас спрашивает какой-то старый господин, сэр. Говорит, что вы его знаете. Фамилия — Крид.

— Пусть войдет.

Джошуа Крид, тут же появившийся в дверях за спиною горничной, вошел осторожно, мелкой, семенящей походкой; он огляделся, увидел свободный стул и поставил под него шляпу, затем шагнул вперед к Хилери, задрав кверху нос и очки. Заметив поднос с едой, он остановился, подавив в себе явное желание излить душу.

— Ах, боже мой, прошу прощения, сэр, я помешал вам завтракать! Я могу подождать, посидеть в передней.

Но Хилери пожал ему руку, исхудавшую так, что оставались лишь кожа да кости, и жестом пригласил сесть.

Крид уселся на самый краешек стула и снова сказал:

— Я помешал вам, сэр.

— Ничуть. Чем я могу быть вам полезен?

Крид снял очки, протер их, чтобы лучше видеть то, что собирался сказать, и снова надел.

— Это все насчет той семейной ссоры, — начал он. — Я пришел рассказать, вы ведь как будто интересуетесь этой семьей.

— Ну, и что же там произошло?

— Все из-за того, что девушка съехала от них, как вы, должно быть, знаете.

— А!..

— Это и довело дело до ка… кафликта, — пояснил Крид.

— Вот как! Что же, собственно, случилось?

Старый лакей изложил историю нападения.

— Я отобрал у него штык, — заключил он свой рассказ. — Меня-то этот тип не испугал.

— Он что, помешался?

— Про это я не знаю. Жена его повела себя с ним, по-моему, не так, как оно следовало бы, но на то она и женщина. Она взбесила его, ну просто доняла — и все из-за этой молодой особы. Хоть и то сказать, девица тоже хороша. Профессия-то у нее какая, а? И ведь деревенская девушка! Должно быть, она и правда дурного поведения. Но Хьюз не такой человек, чтоб с ним так обращаться. Да и что с него взять-то — человек из низов… Ему дали только месяц тюрьмы: приняли во внимание, что он был ранен на войне. Если б проведали, что он обхаживает эту девицу, так, небось, засадили

бы надольше. Ведь женатый человек!.. Как вы полагаете, сэр?

На лице Хилери появилось обычное его выражение отчужденности. «Я не могу обсуждать это с тобой», — казалось, говорило оно.

Тотчас заметив перемену, Крид встал.

— Я мешаю вам обедать, сэр, то есть я хочу сказать, завтракать. Миссис Хьюз уж очень его из себя выводит, ну, да оно понятно, жена ведь… Вот какая беда! А скоро он вернется домой, и что тогда будет? Разве это его исправит, что он посидит в какой-то там тюрьме для подонков? — Крид поднял на Хилери свою старую физиономию. — Да, такие дела!.. Все равно что ходишь темной ночью, так, что и своей руки перед собой не видишь.

Хилери не нашелся, что на это ответить.

Рассказ лакея произвел на него двойственное впечатление. Более брезгливая часть его «я» почувствовала облегчение оттого, что он больше не имеет отношения к этому эпизоду, сулящему сомнительные, грязные последствия. Но та сторона его натуры, — а Хилери был человеком сложным, — что сострадала слабым, иными словами, его скрытое рыцарство, тоже была задета. Упоминание старого лакея о девушке ясно показывало, как все вокруг, и мужчины и женщины, настрое-

ны против нее. Она была парией — юная девушка без друзей, без средств к существованию, духовно неустойчивая, физически соблазнительная.

Он нашел в себе мужество лишь на то, чтобы возместить «Вест-министру» потерянный день работы и сделать туманное заявление насчет того, что ночи не так уж черны, как кажутся. В дверях Крид замялся:

— Бог ты мой, совсем было забыл передать вам, что сказала мне женщина. Муж ее, когда буйствовал, грозился: «Пусть, говорит, тот, кто подстроил, что девушка уехала, знает, говорит, что я с ним еще разделаюсь!» Тут какой-то злодейский заговор, вот что я думаю.

Улыбкой выразив свое отношение к такому истолкованию слов Хьюза, Хилери пожал сморщенную руку старика и закрыл за ним дверь. Снова сев за письменный стол, он чуть ли не с яростью накинулся на прерванную работу. Но странное, приятное лихорадочное состояние, не покидавшее его с того вечера, когда он шел по Пиккадилли и встретил точную копию маленькой натурщицы, не очень помогало строгому ходу его мыслей.

Глава XXV
Мистер Стоун в ожидании

В этот самый день мистер Стоун писал за своей конторкой и вдруг услышал:

— Оставь на минуту работу, папа, поговори со мной.

Выражение его глаз сказало, что он узнал голос. Это говорила его младшая дочь.

— Ты нездорова, дорогая?

Сжав горячей рукой хрупкую, холодную, всю в венах руку отца, Бианка ответила:

— Мне одиноко.

Мистер Стоун смотрел прямо перед собой.

— Чувство одиночества — главный недостаток человека, — проговорил он и, увидев на конторке свое перо, потянулся было к нему, но Бианка его удержала. Горячее прикосновение ее руки тронуло что-то в душе мистера Стоуна. Щеки его порозовели.

— Поцелуй меня, папа.

Мистер Стоун секунду колебался, затем решительно коснулся губами ее глаза.

— Он мокрый, — проговорил старик. Одно

мгновение казалось, что он старается постичь, какую связь имеет влага с человеческим глазом. Но вот лицо его снова прояснилось. — Сердце — темный колодец, — сказал он, — и глубина его неведома. Я прожил восемьдесят лет. И я все еще черпаю из него.

— Черпни и для меня, папа.

На этот раз мистер Стоун с беспокойством посмотрел на дочь и проговорил быстро, словно опасаясь, что если не скажет сразу, то забудет, что хотел сказать:

— Ты несчастлива!

Бианка прижалась лицом к его шершавому рукаву.

— Как хорошо пахнет твой пиджак, папа, — прошептала она.

— Ты несчастлива, — повторил мистер Стоун.

Бианка выпустила руку отца и отошла. Мистер Стоун шагнул за ней следом.

— Почему? — спросил он. И стиснув лоб рукой, добавил: — Если это может помочь тебе, дорогая, я готов прочитать вслух одну-две страницы.

Бианка покачала головой:

— Нет, лучше поговори со мной.

Мистер Стоун ответил просто:

— Я разучился.

— Ты ведь разговариваешь с этой девочкой.

Мистер Стоун, казалось, погрузился в глубокое раздумье.

— Если так, — сказал он, следуя своим мыслям, — то объясняется это, очевидно, инстинктом пола, еще не вполне угасшим. Установлено, что тетерев танцует перед своей курочкой до глубокой старости, хотя сам я этого никогда не видел.

— Если ты танцуешь перед ней, — сказала Бианка, отвернув лицо, — то неужели со мной ты не можешь хотя бы поговорить!

— Я не танцую, дорогая. Я попытаюсь поговорить с тобой.

Они молчали. Старик принялся ходить по комнате; Бианка стояла у холодного камина, смотрела, как за открытым окном хлещет проливной дождь.

— Сейчас то время года, когда ягнята прыгают, вскидывая в воздух все четыре ноги сразу, — сказал мистер Стоун. Он помолчал, будто дожидаясь ответа, и затем в тишине снова раздался его голос, теперь он звучал как-то иначе: — Ничто во всей природе не указывает столь ясно, что именно этот принцип должен лежать в основе всей жизни: живи будущим, ни о чем не сожалей — и прыгай! Ягненок, всеми четырьмя ногами оторвавшийся

от земли, — это символ настоящей жизни. То, что ему придется вновь опуститься на землю, — всего лишь неизбежная случайность. В те дни люди жили прошлым. Они прыгали только одной, самое большее двумя ногами сразу — они никогда не отрывались от земли, а если отрывались, то хотели выяснить, почему они это делают. Именно этот паралич… — Оказавшись вблизи конторки, мистер Стоун, не переставая говорить, взял с нее перо. — …именно этот паралич прыгательного нерва затормозил их прогресс. Вместо миллиона прыгающих ягнят, не ведающих, почему они прыгают, люди представляли собой стадо овец, поднимающих одну ногу и спрашивающих себя, стоит или не стоит поднять вторую.

Последовало молчание, нарушаемое лишь скрипом гусиного пера, которым писал мистер Стоун.

Закончив писать, он снова зашагал по комнате и вдруг, увидев перед собой дочь, застыл на месте. Робко коснувшись ее плеча, он сказал:

— Кажется, я разговаривал с тобой, дорогая. Где мы остановились?

Бианка потерлась щекой о его руку:

— По-моему, в воздухе.

— Да-да, я вспомнил. Ты не давай мне удаляться

от темы.

— Хорошо, дорогой.

— Ягнята напоминают мне иногда молодую девушку, которая приходит ко мне писать под диктовку. Я заставляю ее прыгать перед чаем, чтобы наладить правильное кровообращение. А сам я делаю вот это упражнение. — Он стал в двенадцати дюймах от стены и, прислонившись к ней спиною, медленно поднялся на носках. — Ты знаешь это упражнение? Превосходно укрепляет икры и поясницу.

С этими словами мистер Стоун отделился от стены, и вместе с ним от стены отделилась известка — она осталась в виде большой квадратной заплаты на спине его косматого пиджака. Мистер Стоун снова начал мерить шагами комнату.

— Я видел, как овцы весной подражают своим ягнятам, — они тоже поднимают все четыре ноги сразу, когда прыгают. — Он остановился и замолчал: очевидно, его осенила какая-то мысль. — Если жизнь перестает быть вечной весной, она теряет всякую ценность, — лучше умереть и начать сызнова. Жизнь — это дерево, надевающее новые зеленые одежды, это молодой месяц, восходящий на небе… Нет, это неверно, мы не видим восходящего молодого месяца; жизнь —

это луна, спускающаяся по небосводу, самая юная как раз тогда, когда близится наша смерть…

Бианка резко воскликнула:

— Перестань, отец, это все неверно! Для меня жизнь — это осень.

Глаза мистера Стоуна стали совсем голубыми.

— Это мерзкая ересь, — сказал он, запинаясь. — Я не желаю этого слышать. Жизнь — это песня кукушки, это склоны холмов, где раскрываются лист за листом, это ветер — все это я чувствую в себе каждый день!

Он дрожал, как те листы на ветру, о которых говорил, и Бианка поспешно подошла к нему, протянув вперед руки. Но вот губы его зашевелились, и она услышала шепот:

— Я ослабел. Я вскипячу себе молока. Я должен быть бодр, когда она придет.

При этих словах Бианке почудилось, что сердце ее превратилось в кусочек льда.

Всегда и всюду эта девушка! Больше уже не пытаясь завладеть вниманием отца, Бианка ушла. Проходя через сад, она увидела, что отец стоит у окна и держит в руке чашку с молоком, от которой поднимается пар.

Глава XXVI
Третье паломничество на Хаунд-стрит

Подобно воде, человеческий характер находит свой уровень: природа, имеющая обыкновение приспосабливать людей к их окружению, сделала из молодого Мартина Стоуна «оздоровителя», как назвал его Стивн. Ничего другого ей, собственно, и не оставалось с ним делать.

Этот молодой человек появился на общественной арене в тот момент, когда концепция существования как земной жизни с поправкой на жизнь загробную грозила рухнуть, а концепция мира как заповедника высших классов терпела серьезный урон.

Потеряв отца и мать еще в раннем детстве, он до четырнадцати лет воспитывался в доме мистера Стоуна и рано привык мыслить самостоятельно. Это не располагало к нему людей и еще больше укрепило в нем переданную ему дедом способность видеть перед собой одну цель и к ней одной стремиться. Отвращение к зрелищу и запахам страданий — он еще ребенком не мог видеть, как убивают муху, и не мог видеть кроли-

ка в западне — вошло в некие рамки за те годы, когда он готовился стать врачом. Физический ужас перед болью и уродством был теперь дисциплинирован, духовное неприятие их переросло в определенное мировоззрение. Тот хаос, что окружает всех молодых людей, живущих в больших городах и хоть сколько-нибудь мыслящих, заставил Мартина постепенно отказаться от всяких абстрактных рассуждений, но особый душевный пыл, унаследованный, надо полагать, от мистера Стоуна, понуждал его отдаться чему-либо целиком. Поэтому-то он и посвятил себя врачеванию людей. Проживая на Юстон-Род, чтобы теснее соприкасаться с жизнью, он сам весьма нуждался в том здоровье, которому отдавал все силы.

К концу того дня, когда Хьюз совершил свое нападение, у Мартина оказались три свободных от больницы часа. Он окунул лицо и голову в холодную воду, крепко растер их мохнатым полотенцем, надел котелок, взял трость и, сев в поезд подземки, отправился в Кенсингтон.

Храня обычный для него невозмутимый и властный вид, он вошел в дом к тетке и спросил, дома ли Тайми. Верный своей определенной, хотя, может быть, и несколько примитивной теории, что Стивн, Сесилия и все им подобные

— лишь дилетанты, он никогда не искал их общества, хотя нередко, дожидаясь Тайми, заходил в гостиную Сесилии и окидывал собранные ею изящные вещицы саркастическим взглядом или разваливался в каком-нибудь из ее роскошных кресел, закидывал одну на другую свои длинные ноги и сидел, уставившись в потолок.

Вскоре появилась Тайми. На ней была голубая блузка из материи, которую Сесилия купила на благотворительном базаре в пользу населения Балканских стран, и юбка из лилового твида, вытканного обедневшими ирландками дворянского происхождения; в руке она держала незапечатанный конверт, на котором рукою Сесилии был написан адрес миссис Таллентс-Смолпис.

— Здравствуй! — сказала Тайми.

Мартин ответил ей взглядом, охватившим ее всю разом, с головы до ног.

— Надевай шляпу. Времени у меня немного. Это вот голубое на тебе — что-то новое…

— Чистый лен. Мама купила.

— Ничего, неплохо. Ну, поторопись.

Тайми вскинула подбородок и этим ленивым движением открыла во всей ее прелести круглую, цвета слоновой кости шею.

— Я сегодня какая-то вялая, — сказала Тайми. —

И кроме того, к обеду я должна быть дома.

— К обеду!

Тайми быстро повернулась и пошла к двери.

— Ну хорошо, хорошо, иду. — И она побежала наверх.

Когда они оплатили почтовый перевод на десять шиллингов, сунули квитанцию в конверт, адресованный миссис Таллентс-Смолпис, и уже миновали бесчисленные двери магазина Роза и Торна, Мартин сказал:

— Я хочу проверить, что предпринял наш дражайший дилетант в отношении ребенка. Если он еще не забрал оттуда девицу, там у них, наверно, черт знает что делается.

Лицо у Тайми сразу изменилось.

— Ты только помни, Мартин, — я ни в коем случае не хочу к ним заходить. К чему это, когда нас ждет масса всяких других дел.

— Всегда какие угодно «другие дела», только бы не то, которое нужно делать сейчас.

— Этот случай не имеет ко мне никакого отношения. Ты ужасно несправедлив ко мне, Мартин, мне эти люди неприятны.

— Эх ты, дилетантка!

Тайми вспыхнула.

— Слушай, Мартин, — проговорила она с досто-

инством. — Мне безразлично, как ты называешь *меня,* но я не позволю, чтобы называли дилетантом дядю Хилери.

— А кто же он, по-твоему?

— Я его люблю.

— Вполне убедительный аргумент.

— Да!

Мартин не ответил. Он поглядывал сбоку на Тайми, улыбаясь своей странной, покровительственной улыбкой. Они шли по улице, имеющей больше, чем Хаунд-стрит, оснований именоваться трущобами.

— Ты пойми, — заговорил вдруг Мартин, — интерес к этим делам у такого человека, как Хилери, — всего лишь повышенная чувствительность. Просто это действует ему на нервы. Для него филантропия то же, что сульфонал — средство от бессонницы.

Тайми взглянула на него ехидно:

— Ну и что же? Тебе это тоже действует на нервы. Но ты смотришь с точки зрения здоровья, а он — с точки зрения чувства, только и всего.

— Да? Ты так думаешь?

— Ты относишься ко всем этим людям так, словно это твои пациенты в больнице.

Ноздри молодого человека дрогнули.

— Ну хорошо, а как же надо к ним относиться?

— Тебе понравилось бы, если бы тебя стали рассматривать как медицинский «случай»?

Мартин медленно обвел рукой полукруг.

— Эти люди, эти дома мешают, — сказал он. — Мешают тебе, мне, каждому.

Тайми, как зачарованная, следила за этим медленным, будто все сметающим жестом.

— Да, конечно, я знаю, — прошептала она. — Необходимо что-то сделать.

И она вскинула голову и поглядела по сторонам, словно показывая ему, что и она может сметать ненужное. В эту минуту она, в своей юной красоте, казалась необычайно твердой и решительной.

В молчании, поглощенные высокими мыслями, молодые «оздоровители» дошли до Хаунд-стрит.

На пороге дома номер один стоял сын хромой миссис Баджен — худощавый, бледный юнец, такого же роста, как Мартин, но у́же в плечах — и курил сомнительного вида папиросу. Он обратил на посетителей свои нагловатые мутные глаза.

— Вам кого? — спросил он. — Если девушку, так она выехала. И адреса не оставила.

— Мне нужна миссис Хьюз, — сказал Мартин.

Молодой человек закашлялся:

— Ну, ее-то вы застанете, а вот если вам нужен он, так обращайтесь по адресу Уормвуд-Скрабс.

— Хьюз в тюрьме? За что?

— За то, что проколол ей руку штыком, — ответил юнец и выпустил через ноздри роскошный длинный завиток табачного дыма.

— Какой ужас! — воскликнула Тайми.

Мартин смотрел на молодого человека все так же невозмутимо.

— Ты куришь страшную дрянь, — сказал он. — Попробуй моих. Я тебе покажу, как надо скручивать. Сэкономишь шиллинг и три пенса на фунте табаку и не будешь отравлять себе легкие.

Достав кисет, он скрутил папироску. Бледнолицый паренек вяло подмигнул Тайми, которая, наморщив нос, делала вид, что находится где-то далеко.

Поднимаясь по узкой лестнице, где пахло краской, стиркой и копченой селедкой, Тайми сказала:

— Вот видишь, все это не так просто, как ты воображал. Я не хочу идти дальше, я не хочу ее видеть. Я подожду тебя здесь.

Она остановилась возле открытой двери в опустевшую комнату маленькой натурщицы. Мартин поднялся на следующий этаж.

В комнате с окнами на фасад стояла возле кровати миссис Хьюз, держа на руках ребенка. Вид у нее был испуганный и растерянный. Осмотрев раненую руку и заявив, что это всего лишь царапина, Мартин долго не спускал глаз с младенца. Крохотные ножки его как будто вдавились в тело матери, глаза были закрыты, ручонки плотно прижаты к материнской груди. Пока миссис Хьюз излагала Мартину свою историю, тот стоял, все не отрывая глаз от младенца. По выражению лица молодого человека нельзя было определить, о чем он думает, но время от времени он двигал челюстями, словно мучаясь зубной болью. И правда, если судить по виду миссис Хьюз и ее ребенка, предписания молодого врача действия не оказали. Он наконец отвернулся от дрожащей, измученной женщины и подошел к окну. На подоконнике стояли два бледных гиацинта, их аромат проникал сквозь все запахи комнаты. Очень странно выглядели здесь эти два близнеца, заморенные дети света и воздуха.

— Их прежде не было, — сказал Мартин.

— Я принесла их снизу, — ответила миссис Хьюз едва слышно. — Мне стало жалко бедные цветочки, бросили их на погибель.

По ее горькому тону Мартин понял, что цветы

стояли в комнате маленькой натурщицы.

— Выставьте их наружу, здесь они жить не будут, — сказал он. — Кроме того, их надо полить. Где у вас блюдца?

Миссис Хьюз посадила ребенка на кровать и, подойдя к посудному шкафу, где хранились все боги домашнего очага, достала два старых грязных блюдца. Мартин приподнял горшки с цветами, и вдруг из одного туго свернутого желтого цветка вылезла маленькая гусеница. Она вытянула кверху свое прозрачное зеленое тельце, отыскивая новое убежище. Крохотное извивающееся созданье, как чудо и тайна жизни, как будто насмехалось над молодым врачом, который смотрел на него, подняв брови: руки его были заняты, он не мог снять гусеницу с растения.

– *Она* явилась сюда из деревни. Там для нее нашлось бы сколько угодно мужчин, — сказала швея.

Мартин поставил цветы на окно и обернулся к ней:

— Послушайте, что толку плакать над пролитым молоком? Вам надо приняться за дело, подыскать себе работу.

— Да, сэр.

— И не говорите таким унылым тоном. Вы

должны держаться бодро, понимаете?

— Да, сэр.

— Вам надо что-нибудь тонизирующее. Вот, возьмите полкроны, купите дюжину портера и выпивайте по бутылке в день.

И опять миссис Хьюз ответила:

— Да, сэр.

— А теперь относительно малыша.

Ребенок сидел с закрытыми глазками совершенно неподвижно там, где его посадили, в ногах кровати. Серое личико уткнулось в груду тряпок, в которые он был завернут.

— Неразговорчивый джентльмен, — пробормотал Мартин.

— Он никогда не плачет.

— Ну, хоть это хорошо. Когда вы его в последний раз кормили?

Миссис Хьюз ответила не сразу.

— Вчера вечером, около половины седьмого.

— Что?

— Он спал всю ночь. Ну а сегодня я, конечно, была сама не своя, и молоко пропало. Я давала ему молока в бутылочке, но он не берет.

Мартин наклонился к ребенку и дотронулся пальцем до его подбородка. Потом, нагнувшись еще ниже, отвернул веко маленького глаза.

— Ребенок умер, — сказал он.

Услышав слово «умер», миссис Хьюз схватила ребенка и прижала к груди. Держа его сникшую головку у самого своего лица, она молча качала его. Эта безнадежная немая борьба с вечным молчанием длилась целых пять минут — женщина ощупывала младенца, пыталась согреть его своим дыханием. Потом села на кровать, низко склонившись над мертвым ребенком, и застонала… То был единственный звук, который вырвался у нее, а потом в комнате стало совершенно тихо. Тишину нарушили шаги на скрипучей лестнице. Мартин, все это время стоявший сгорбившись у кровати, разогнул спину и пошел к двери.

На пороге стоял его дед и позади него Тайми.

— Она выехала из своей комнаты, — сказал мистер Стоун. — Куда она уехала?

Поняв, что старик говорит о маленькой натурщице, Мартин приложил палец к губам и, указывая на миссис Хьюз, шепнул:

— У этой женщины только что умер ребенок.

На лице мистера Стоуна как-то странно вдруг пропали все краски — он собирал свои далекие мысли. Он прошел мимо Мартина к миссис Хьюз.

Он долго стоял, пристально глядя на младенца и на темноволосую голову в отчаянии склонившейся над ним матери. Наконец он произнес:

— Бедная женщина. Но он успокоился.

Миссис Хьюз подняла голову, увидела перед собой старое лицо с запавшими щеками, увидела жидкие седые волосы и сказала:

— Он умер, сэр.

Мистер Стоун протянул слабую, испещренную венами руку и дотронулся до ножек ребенка.

— Он летит, он повсюду, он почти у самого солнца, о маленький брат!

И, повернувшись, вышел из комнаты.

Тайми шла за ним следом, когда он на цыпочках спускался с лестницы, которая при этом скрипела, казалось, еще громче. По щекам ее катились слезы.

Мартин сидел рядом с матерью и ее ребенком в тесной комнате, где царила тишина и где, как заблудившийся призрак, носился слабый запах гиацинтов.

Глава XXVII
Личная жизнь Стивна

Выходя на улицу, мистер Стоун и Тайми опять прошли мимо высокого бледнолицего паренька. Он уже выбросил самодельную папиросу, решив, что в ней недостаточно селитры и она плохо тянет, и снова курил такую, какая больше годилась для его легких. Он кинул на проходивших все тот же нагловатый мутный взгляд.

Мистер Стоун, не сознавая, по-видимому, куда идет, шагал, вперив взор в пространство. Время от времени голова у него дергалась, словно то качался на ветру засохший цветок.

Тайми, испугавшись, взяла старика под руку. Прикосновение мягкой девичьей руки вернуло мистеру Стоуну дар речи.

— В тех местах… — начал он, — на тех улицах… Я не увижу, как цветет алоэ, я не увижу живого умиротворения… «Как собаки, рычащие каждая над своей костью, жили тогда люди…»

И он снова умолк.

Тайми искоса поглядывала на деда и еще теснее прижималась к нему, будто стараясь теплом

своего тела вернуть старика к будням жизни.

«Боже мой, хоть бы говорил он так, чтобы его можно было понять, — думала она, волнуясь. — И хоть бы не смотрел таким страшным, невидящим взглядом».

В ответ на мысли внучки мистер Стоун проговорил:

— Мне было видение — я узрел Братство Человечества. Голый, залитый солнцем склон холма, и на нем каменный человек, беседующий с ветром. Я слышал, как днем кричала сова, как ночью куковала кукушка…

— Дедушка, дедушка!..

На эту мольбу мистер Стоун откликнулся:

— Да, что такое?

Но Тайми не знала, что ответить, слова эти вырвались у нее от страха.

— Если бы бедный ребеночек не умер, он бы вырос, и… — сказала она, запинаясь. — Ведь это к лучшему, правда?

— Все к лучшему, — ответил мистер Стоун. — «В те дни люди, поглощенные каждый своей индивидуальной жизнью, стенали перед смертью, игнорируя ту великую истину, что вселенная — одна бесконечная песнь».

Тайми подумала: «Еще никогда не видела я его

в таком ужасном состоянии».

Она увлекала его за собой, заставляя идти быстрее. К величайшему своему облегчению она увидела, что на Олд-сквер сворачивает ее отец, держа наготове ключ от входной двери.

Стивн шел своим пружинистым шагом, хотя только что всю дорогу от Темпля проделал пешком. Он приветствовал их, помахав цилиндром. Цилиндр был черный и очень блестящий, не совсем овальный и не то чтобы круглый, с маленькими загибающимися полями. В этом цилиндре и в черном сюртуке, сильно открытом спереди и длинном сзади, Стивн выглядел особенно импозантно. Такой наряд подходил к его узкому лицу, на котором пролегли по две короткие параллельные борозды вниз от глаз и ноздрей; подходил к его подобранной худощавой фигуре, к плотно сжатым губам. Его нынешнее место в мире Закона вытеснило из его жизни (вместе с неуверенностью в размерах дохода) необходимость надевать парик и сбривать усы, но он по-прежнему их не отращивал.

— Откуда вы взялись? — спросил он в дверях, пропуская вперед дочь и тестя.

Мистер Стоун ничего ему не ответил, он прошел в гостиную, сел на край первого попавшегося

стула, весь перегнулся вперед и свесил руки между колен.

Стивн, сухо глянув на него, вполголоса обратился к дочери:

— Дитя мое, что тебе вздумалось привести деда? Если сегодня к обеду мясо какого-нибудь высшего млекопитающего, твоя мать упадет в обморок.

Тайми ответила:

— Перестань шутить, папа.

Стивн, очень любивший дочь, понял, что дело неладно. Он посмотрел на нее с необычной серьезностью. Тайми отвернулась. Он услышал всхлипывание и встревожился не на шутку.

— Дорогая моя, — сказал он.

Негодуя на себя за отсутствие силы воли, Тайми сделала отчаянное усилие.

— Я видела мертвого ребенка! — выкрикнула она резко и, не прибавив больше ни слова, побежала вверх по лестнице.

Стивн испытывал подлинное, почти болезненное отвращение ко всякому проявлению чувств. Трудно даже сказать, когда он сам в последний раз грешил этим, — быть может, когда родилась Тайми, да и то наедине с самим собой: предварительно заперев дверь изнутри, он ходил из угла в угол, так стиснув в зубах свою любимую трубку,

что чуть не откусил ее кончик. Он не привык также видеть проявление этой слабости в других. Сам того не сознавая, всем видом своим, манерой говорить он пресекал всякие попытки подобного рода, так что если Сесилия и была когда-либо к этому склонна, она давно уже должна была излечиться. К счастью, чувств своих, не слишком им доверяя, она и прежде никогда не выказывала до конца. А Тайми — этот здоровый плод их брака — одновременно и моложе и старше своего возраста, чем были когда-то они сами, неспособная на глупые капризы, приверженная свежему воздуху и фактам, молодое, набирающее силы растение, гибкое, жизнеспособное, — ни разу не дала им ни малейшего повода для беспокойства.

Стоя подле вешалки для шляп, Стивн чувствовал, как ноет у него сердце. Он терпел и мог и дальше терпеть удары, которые судьба наносила и будет наносить ему, только бы при этом и он сам, и другие умели ничем не выдать того, что это действительно удары.

Поспешно сняв и повесив шляпу, он побежал к Сесилии. Он все еще придерживался обыкновения стучать, прежде чем войти к ней, хотя она ему ни разу не ответила «не входите», потому что знала его стук. Обычай этот, в сущности,

служил меркой его идеализма. Чего, собственно, Стивн боялся или полагал, что боится, — хотя за все девятнадцать лет всегда беспрепятственно входил в комнату жены, — определить было бы трудно; но он свято хранил в душе эту любовь к формальности, точности, сдержанности.

На этот раз он впервые вошел не постучав и застал Сесилию в тот момент, когда она, переодеваясь к обеду, застегивала крючки на платье и выглядела очень мило. Она взглянула на мужа с легким удивлением.

— Что это за история с каким-то мертвым ребенком, Сесси? Тайми в ужасном состоянии. А в гостиной сидит твой отец.

Тонкий инстинкт, вплетавшийся во все ощущения Сесилии, мгновенно — она бы и сама не могла объяснить почему — обратил ее мысли сперва к маленькой натурщице, затем к миссис Хьюз.

— Ребенок умер? — сказала она. — Ах, несчастная женщина!..

— Какая женщина?

— Я думаю, это миссис Хьюз.

У Стивна мелькнула мысль: «Опять эти люди! Что там еще у них стряслось?» — но он не был настолько груб или настолько лишен вкуса, чтобы высказать это вслух.

После минутного молчания Сесилия вдруг спохватилась:

— Ты говоришь, папа в гостиной? Боже мой, Стивн, у нас на обед говяжье филе!

Стивн отвернулся.

— Пойди к Тайми, посмотри, как она там, — сказал он.

Постояв возле комнаты дочери и ничего не услышав, Сесилия тихонько постучала. Ответа не последовало, и она проскользнула в дверь. На кровати в этой белой комнатке, уткнувшись лицом в подушку, лежала ее дочурка. Сесилия замерла на месте, потрясенная. Тело Тайми вздрагивало от сдерживаемых рыданий.

— Детка, дорогая, что с тобой?

Тайми ответила что-то невнятное.

Сесилия присела рядом на кровать и ждала, перебирая пальцами рассыпавшиеся волосы девушки. Ее охватило странное, мучительное ощущение: так бывает, когда на твоих глазах страдает тот, кто близок и дорог, и ты не знаешь причины его горя.

«Это просто ужасно, — думала она, — что мне делать?»

Всегда нелегко видеть, как плачет твое дитя, но если это дитя уже давно презирает слезы как

нечто неженственное и противное ее представлению о чести и нормах поведения, тогда это тяжело вдвойне.

Тайми приподнялась на локте, старательно отворачивая лицо.

— Я не знаю, что со мной, — сказала она срывающимся голосом. — Это… это чисто физическое.

— Разумеется, дорогая, разумеется… Я понимаю, — ответила Сесилия вполголоса.

— Мамочка… — сказала вдруг Тайми, — он лежал такой крохотный…

— Успокойся, успокойся, родная.

Тайми резко повернулась к матери; ее потемневшие, заплаканные глаза, все ее мокрое пылающее лицо выражали яростное негодование.

— Ну почему, почему надо было, чтоб он умер? Это так… это так жестоко…

Сесилия обняла дочь.

— Мне так горько, дорогая, что тебе пришлось это увидеть, — шепнула она.

— А дедушка был такой…

Бурное рыдание не дало ей договорить.

— Ну, конечно, конечно, успокойся, — сказала Сесилия.

Стиснув на коленях руки, Тайми пробормо-

тала:

— Он назвал его маленьким братом.

По щеке Сесилии скатилась слеза и упала на руку дочери. Почувствовав, что слеза эта не ее, Тайми сразу выпрямилась.

— Малодушие и нелепость, — сказала она. — Больше я себе этого не позволю. Прошу тебя, мама, уйди! Я только и тебя заставляю волноваться. Лучше пойди к дедушке.

Поняв, что Тайми плакать больше не будет, — а ее больше всего растревожил именно вид этих слез, — Сесилия неуверенно погладила ее и вышла. Уже за дверью она подумала: «Как все получилось неудачно… и трогательно… Да еще папа там, в гостиной…»

И она поспешила вниз.

Мистер Стоун сидел на том же месте и так же неподвижно. Ее поразило, какой он бледный, слабый. В приглушенном свете гостиной он в своем костюме из серого твида казался призраком — весь с головы до ног серебристо-серый. Она почувствовала укол совести. Про очень старых людей написано, что к концу своего долгого пути они будут все удаляться от страны понимания их молодыми, пока естественные привязанности не закроет наползающий туман — такой же,

какой стелется по болотам, когда садится солнце. Сесилии стало больно и стыдно за все те случаи, когда она думала: «Если бы только отец не был таким...»; за все те случаи, когда она не приглашала его в гости, потому что он стал такой; за все те случаи, когда они со Стивном встречали молчанием его слова; за все ее улыбочки... Ее тянуло подойти и поцеловать отца в лоб, чтобы он почувствовал, как ей больно. Но она не посмела: он был так погружен в свое. Нет, это получится некстати.

Подойдя к камину и с шумом поставив стройную ногу на решетку, чтобы привлечь внимание отца, Сесилия повернула к нему встревоженное лицо и сказала:

— Папа!

Мистер Стоун поднял глаза, увидел перед собой старшую дочь и ответил:

— Да, дорогая?

— Ты уверен, что вполне здоров? Тайми говорит, что ты очень разволновался из-за бедного ребенка.

Мистер Стоун ощупал себя.

— У меня ничего не болит, — сказал он.

— Тогда ты можешь остаться к обеду, дорогой, не правда ли?

Мистер Стоун наморщил лоб, будто старался вспомнить что-то.

— Я сегодня не пил чай, — сказал он. И добавил, обеспокоенно взглянув на дочь: — Девушка сегодня не пришла. Мне недостает ее. Где она?

Боль в сердце Сесилии стала острее.

— Ее нет вот уже два дня, — продолжал мистер Стоун. — И она выехала из своей комнаты в том доме, на той улице.

Сесилия, решительно не зная, как ей быть, ответила:

— Тебе правда так сильно недостает ее, папа?

— Да, — ответил мистер Стоун. — Она похожа… — Глаза его блуждали по комнате, будто отыскивая что-то, что помогло бы ему выразить свою мысль. Вот они остановились на дальней стене. Проследив за его взглядом, Сесилия увидела, что там скользит и танцует солнечное пятнышко: оно преодолело преграды из домов и деревьев, проникло через какую-то щелочку и ворвалось в комнату. — Она похожа на это, — сказал мистер Стоун, указывая пальцем на кусочек солнечного света. — Вот его уже нет!

Он опустил палец и глубоко вздохнул.

«Как все это мучительно! — подумала Сесилия. — Никак не ожидала, что для него это

окажется таким болезненным. Но что я могу поделать?»

Она поспешно спросила:

— А что, если ты будешь диктовать Тайми? Она охотно согласится, я уверена.

— Она моя внучка, — ответил мистер Стоун просто. — Это совсем другое.

Не найдя, что ответить, Сесилия предложила:

— Не хочешь ли помыть руки, дорогой?

— Да.

— Тогда пройди в туалетную Стивна, там есть горячая вода. Или, может быть, ты предпочитаешь умыться в ванной?

— В ванной, — ответил мистер Стоун. — Там я буду чувствовать себя свободнее.

Он ушел, и Сесилия подумала: «Боже мой, как только я выдержу сегодняшний вечер! Бедный папа — какой у него односторонний ум!»

При звуках гонга все собрались за обеденным столом: спустилась сверху Тайми с покрасневшими глазами и щеками, пришел Стивн, тая в глазах вопрос, пришел, умывшись в ванной, мистер Стоун; всех их заслонял друг от друга, хотя и недостаточно, букет белой сирени. Окинув их взглядом, Сесилия испытывала чувство человека, который видит, что усыпанной росинками

паутине — самому непрочному, что только есть в мире, — угрожает язык коровы.

Уже были съедены и суп, и рыба, а за столом все еще никто не произнес ни слова. Молчание нарушил Стивн. Отхлебнув глоток сухого хереса, он сказал:

— Как подвигается ваша книга, сэр?

Вопрос этот почти испугал Сесилию. Он был поставлен слишком бесцеремонно. Пусть отец действительно сверх всякой меры увлечен своей книгой, но ведь для него она дороже всего на свете. К своему облегчению она увидела, что отец ест шпинат и ничего не слышит.

— Я полагаю, она уже близится к завершению? — продолжал Стивн.

Сесилия поспешно сказала:

— Эта белая сирень прелестна, правда, папа?

Мистер Стоун поднял глаза.

— Она не белая, она розовая. Это нетрудно проверить.

Он замолчал, устремив взгляд на сирень.

«Ах, если бы только удержать его на такой теме, он всегда так интересно рассказывал о природе», — думала Сесилия.

— Все цветы — один-единый цветок, — сказал мистер Стоун. Голос его теперь звучал по-иному.

«О боже, опять…»

— У них у всех одна душа. В те дни люди разделяли и подразделяли их, забыв, что единый бледный дух лежит в основе этих внешне как будто различных форм.

Сесилия бросила взгляд сперва на лакея, затем на Стивна.

Она увидела, что муж заметно приподнял одну бровь. Стивн терпеть не мог путаницы в понятиях.

— Помилуйте, сэр, — услышала Сесилия его голос. — Уж не хотите ли вы уверить нас, что у роз и одуванчиков — в основе один и тот же бледный дух?

Мистер Стоун поглядел на него с грустью:

— Я так сказал? Я не хотел быть догматичным.

— Нет, сэр, что вы, разумеется, нет, — пробормотал Стивн.

Тайми, нагнувшись к матери, шепнула:

— Мама, ради бога, не давай дедушке развивать свои фантазии, сегодня я просто не в силах это вынести.

Сесилия, растерявшись, поспешно спросила:

— Скажи, папа, как по-твоему: какой тип лица у молоденькой девушки, которая приходит к тебе писать?

Мистер Стоун перестал пить воду: Сесилии, очевидно, удалось завладеть его вниманием. Но он все же ничего не ответил. Тут она увидела, что лакей из какого-то чувства противоречия — этим, казалось ей, отличалась вся ее прислуга — уже собирается подать ему говяжье филе. Она отчаянно зашептала одними губами:

— Нет, Чарлз, нет, не надо, не надо!..

Лакей, поджав губы, прошел мимо. Мистер Стоун заговорил:

— Я не задумывался над этим. У нее тип скорее кельтский, чем англосаксонский. Скулы сильно выдаются, подбородок небольшой, череп широкий — если не забуду, я его смеряю, — глаза особенного голубого цвета, напоминают цветы цикория; рот…

Мистер Стоун умолк.

«Как я удачно выбрала тему, — подумала Сесилия. — Может быть, так он будет говорить и дальше».

— Вот не знаю, добродетельна ли она, — сказал мистер Стоун каким-то отчужденным голосом.

Сесилия слышала, как Стивн отхлебнул хересу, и Тайми тоже что-то пила; сама она не пила ничего, но, вся порозовев и все же спокойно — она была хорошо воспитана, — сказала:

— Ты не попробовал молодого картофеля, папа. Чарлз, подайте мистеру Стоуну молодого картофеля.

Но Сесилия заметила почти мстительное выражение на лице мужа: из-за ее неудачи с выбором темы ему приходилось снова брать инициативу в свои руки.

— Если уж говорить о братстве, сэр, — сказал он сухо, — стали бы вы утверждать, что молодой картофель — брат бобов?

Мистер Стоун, перед которым лежали на тарелке оба эти овоща, казалось, смутился чрезвычайно.

— Я не замечаю разницы между ними, — проговорил он, запинаясь.

— Верно, — сказал Стивн, — из них обоих добывают один и тот же бледный дух, именуемый алкоголем.

Мистер Стоун посмотрел на зятя.

— Вы смеетесь надо мной. Тут я ничего не могу поделать. Но вы не должны смеяться над жизнью, это богохульство.

Печальный, проникающий в душу взгляд старика устыдил Стивна. Сесилия видела, что он закусил нижнюю губу.

— Мы слишком много болтаем, — сказал он, —

мы мешаем есть твоему отцу.

И до конца обеда никто не проронил ни слова.

Когда мистер Стоун, отказавшись от провожатых, отбыл домой, а Тайми ушла к себе спать, Стивн уединился в своем кабинете. Здесь все было не так, как в остальных комнатах: это было святилище, здесь проходила личная жизнь Стивна. Здесь в особых, сделанных по специальному заказу хранилищах он держал свои палки для гольфа, трубки и бумаги. Никто в доме, кроме него самого, не смел ни к чему прикасаться, лишь дважды в неделю всегда одна и та же горничная делала уборку. Здесь не было бюста Сократа, не было книг в переплетах из оленьей кожи, зато стоял шкаф, полный книг по юриспруденции, парламентских отчетов, журналов и романов сэра Вальтера Скотта, а у другой стены — два шкафчика темного дуба, состоящих из небольших выдвижных ящиков. Когда ящики выдвигались, слышался запах мази для чистки металла. Стоило приподнять куски зеленого сукна, закрывающие каждый ящик, — и обнаруживались монеты, тщательно рассортированные и снабженные ярлычками, — так к посаженным в ряд растениям прикрепляют дощечки с их наименованиями. К этим аккуратным рядам блестящих металли-

ческих кружков Стивн обращался в те моменты жизни, когда дух его слабел. Прибавить к ним новый экземпляр, коснуться их, прочитать наименования — все это давало ему тайную радость, будто он мысленно потирал руки от удовольствия. Как пьяница, Стивн тянул маленькими глотками то наслаждение, какое давали ему эти монеты. Они были творческой стороной его жизни, его историей мира. Им он отдавал ту часть души, которая отказывалась довольствоваться составлением резюме по вопросам законодательства, игрой в гольф и чтением журналов, — ту часть души, которая, неведомо почему, жаждет что-то создать, прежде чем человек умрет. Монеты от Рамсеса до Георга IV лежали в этих ящиках — звенья длинной неразрывной цепи власти.

Переодевшись в старый черный бархатный пиджак, лежавший наготове на стуле, и раскурив трубку, за которую никогда не брался, не сняв предварительно смокинга, Стивн подошел к правому шкафчику, открыл его и с улыбкой стал вынимать монеты одну за другой. В этом ящике хранились особенно редкие монеты знаменитой Византийской династии. Стивн не слышал, что в комнату тихонько вошла Сесилия и стояла, глядя на него. Глаза ее в эту минуту, казалось,

выражали сомнение в том, действительно ли она любит этого человека, так увлеченного этой своей возлюбленной, которой он уделял столько внимания, с которой проводил столько вечеров. Кусок зеленого сукна упал на пол. Сесилия сказала:

— Стивн, мне кажется, я должна сообщить отцу, куда переехала девушка.

Стивн обернулся.

— Дорогая моя, — начал он тем особым тоном, сухость которого, как в шампанском, приобреталась искусственным путем. — Неужели ты хочешь начать все сначала?

— Но я вижу, как папу это потрясло: он очень побледнел и исхудал.

— Ему надо прекратить купание в Серпентайне. В его возрасте это просто чудовищно. А девицу эту, надо полагать, с успехом заменит любая другая.

— Как видно, для него очень важно диктовать именно ей.

Стивн пожал плечами. Однажды ему довелось присутствовать при том, как мистер Стоун с пафосом прочел несколько страниц своей рукописи. Стивн не мог забыть неприятного смущения, какое тогда испытал. «Этот бред», как он выра-

зился потом в разговоре с Сесилией, застрял у него в мозгу — тяжелый и сырой, как холодная припарка из льняного семени. Отец его жены явно чудаковат, может быть, даже больше того — чуточку «тронутый». Она тут, конечно, не виновата, бедняжка, но при всяком упоминании об «этом бреде» Стивна просто передергивало. Не забыл он и случая за обедом.

— Отец, по-видимому, успел привязаться к ней, — сказала Сесилия тихо.

— Но это нелепо — в его возрасте!

— Может быть, именно его возрастом это и объясняется. В старости люди тоскуют о многом.

Стивн задвинул ящик. В этом жесте чувствовалась холодная решимость.

— Послушай, Сесилия, — начал он. — Обратимся к здравому смыслу, уже достаточно им пренебрегали в угоду сантиментам в связи с этой неприятной историей. Доброта, конечно, прекрасная вещь, но где-то надо все же положить ей предел.

— Да, но где именно?

— Это было ошибкой с самого начала. До определенного момента все идет хорошо, потом нарушаются и порядок, и удобства. Нельзя вступать в непосредственные отношения с этими

людьми. Для такого рода дел имеются другие каналы.

Сесилия стояла, опустив глаза, словно не хотела, чтобы он прочел ее мысли.

— Все получилось ужасно неприятно, — сказала она. — Отец ведь не такой, как другие люди.

— Вот именно, — сказал Стивн сухо. — Сегодня мы имели случай в этом убедиться. Но Хилери и твоя сестра — такие, как все. Кроме того, мне весьма не нравится, что Тайми посещает трущобы. Видишь, с чем ей сегодня пришлось столкнуться? Ребенок погиб из-за того, что Хьюз скверно обращался с женой, — несомненно, потому, что девушка съехала от них, — все это просто отвратительно!

Сесилия ахнула:

— Мне это не приходило в голову. Значит, за все несем ответственность мы. Ведь это мы посоветовали Хилери поместить ее на другую квартиру.

Стивн уставился на жену; он искренне сожалел, что юридический склад ума заставил его так четко обрисовать ситуацию.

— Просто не понимаю, что это с вами со всеми? — сказал он резко. — Мы ответственны! Это потому, что мы дали Хилери здравый совет? Больше ничего не скажешь?

Сесилия отвернулась к пустому камину.

— Тайми рассказала мне о бедном малютке… Все-таки это ужасно, и я не могу отделаться от ощущения, что мы… что все мы тут замешаны.

— В чем замешаны?

— Не знаю. Просто у меня такое чувство… меня будто преследует…

Стивн бережно взял ее за руку.

— Дорогая моя, я понятия не имел, что у тебя нервы в таком состоянии. Завтра четверг, я уже в три часа могу уйти домой. Мы проедемся в Ричмонд и сыграем несколько партий в гольф.

Сесилия задрожала; одно мгновение казалось, что она вот-вот разрыдается. Стивн, не переставая, гладил ее плечо. Сесилии, очевидно, передался его страх перед проявлением чувств, она честно силилась побороть волнение.

— Это будет очень мило, — сказала она наконец.

Стивн с облегчением вздохнул:

— И не беспокойся за отца, дорогая, через день-два он обо всем забудет, он так поглощен своей книгой. Иди-ка ты спать. Я тоже сейчас приду.

Прежде чем выйти, Сесилия оглянулась на мужа. Удивительный это был взгляд, которого Стивн, быть может, умышленно не видел!

Насмешливый, почти ненавидящий, и в то же время в нем была благодарность за то, что ей не позволили отдаться порыву, хоть раз уступить силе чувств; этот взгляд говорил, как ясно понимала она его мужское нежелание поддаваться чувству и как почти восхищалась в нем этой чертой, — все это и еще многое другое выражал этот взгляд. Затем она вышла.

Стивн быстро глянул на дверь и, поджав губы, нахмурился. Он распахнул окно и глубоко вдохнул ночной воздух.

«Если я не послежу, она даст впутать себя в эту историю, — думал он. — Я вел себя как осел — зачем мне понадобилось говорить с Хилери? Надо было все это просто игнорировать. Вот урок: нельзя вступать в какие бы то ни было отношения с этими людьми. Надеюсь, завтра она уже придет в себя».

А на улице, под мягкой темной листвой сквера, под тонким серпом луны, две кошки гонялись одна за другой в поисках счастья; их дикие страстные крики звенели в напоенном благоуханием воздухе, как крик темного человечества в джунглях тусклых улиц. С дрожью отвращения — ибо нервы у него были напряжены — Стивн захлопнул окно.

Глава XXVIII
Хилери слышит кукование кукушки

Не одна только Сесилия заметила, как бледен был мистер Стоун все последние дни.

Та буйная сила, которая каждый год посещает наш мир, гонит, могучая и ласковая, белоснежные облака и с ними их темные тени, ломает все покровы и оболочки и охватывает землю мощным объятием; та буйная сила, которая обращает одни формы к другим и своими бесчисленными прыжками, быстрыми, как полет ласточки, как стрелы дождевых струй, торопит все к нежному единению; та великая буйная сила всяческой жизни, которую называют Весной, вошла в мистера Стоуна, как входит в старые мехи новое вино. И, глядя, как старик каждое утро с мохнатым полотенцем на плече отправляется в парк, Хилери, к которому тоже пришла весна, опасался, как бы на этот раз его тесть не оставил свой дух в студеных водах Серпентайна: так и казалось, что дух этот вот-вот пробьется сквозь хрупкую скорлупу.

Прошло четыре дня после того разговора с

маленькой натурщицей, когда Хилери дал ей отставку, и жизнь в доме — в этой тихой заводи, заглушенной лилиями, — как будто вновь обрела спокойствие, царившее здесь до вторжения грубой прозы жизни. Ничто бы не указывало на то, что здесь произошли какие-то волнующие события, если бы не белое как бумага лицо мистера Стоуна да еще некоторые чувства, относительно которых хранилось гробовое молчание.

На утро пятого дня, увидев, что мистер Стоун споткнулся на гладких плитах садовой дорожки, Хилери поспешил завершить свой туалет и отправился следом. Он догнал тестя, когда тот еле брел под свечками цветущего каштана; серый пиджак на поднятых плечах мистера Стоуна побелел от хлеставшего по нему града. Не поздоровавшись — мистер Стоун относился равнодушно к соблюдению формальностей, — Хилери зашагал с ним в ногу и сказал:

— Надеюсь, сэр, вы не станете купаться, когда идет такой град? Сделайте на этот раз исключение. У вас не вполне здоровый вид.

Мистер Стоун помотал головой, затем, продолжая, очевидно, мысль, прерванную Хилери, заметил:

— То, что люди называют честью, — чувство

довольно сомнительной ценности. Мне пока не удалось соотнести честь с идеей о всемирном братстве.

— Как это, сэр?

— Основа чести — верность принципу, и можно было бы предположить, что она достойна этого союза. Трудность возникает, когда мы начинаем анализировать природу самого принципа… В саду есть семья молодых дроздов. Если один из них найдет червя, я замечаю, что верность принципу самосохранения, преобладающему во всех низших формах жизни, запрещает дрозду делиться добычей с остальными юными дроздами. — Мистер Стоун устремил взгляд в пространство. — Вот так же, боюсь, и в отношении чести. «В те дни мужчины смотрели на женщин, как дрозды на червей…»

Он умолк, очевидно, в поисках подходящего слова, и Хилери, чуть улыбнувшись, спросил:

— А как смотрели женщины на мужчин, сэр?

Мистер Стоун взглянул на него с удивлением.

— Я не подумал, что это вы, — сказал он. — Мне надо избегать умственной деятельности перед купанием.

Они пересекли дорогу, отделяющую Кенсингтонский сад от Гайд-парка, и Хилери, поняв, что

мистер Стоун завидел воду, в которой собирался купаться, и ничего другого уже не видит, остановился возле одинокой березки. Эта гостья сада, стройная обитательница лесов, так долго купавшаяся в зимней стуже, теперь окутывала свою наготу зеленым шарфом. Хилери прислонился к ее прохладному, жемчужно-белому телу. Внизу плескались студеные воды, то серые, то нежно-голубые, и в них светлыми пятнами мелькали десятка два купающихся. Пока Хилери стоял так, дрожа на ледяном ветру, солнце, прорвавшись сквозь градовые тучи, обожгло ему руки и щеки. И вдруг он услыхал ясно, хотя очень издалека, звук, особенно трогающий человеческое сердце: ку-ку, ку-ку…

Четыре раза подряд прозвучал неожиданный зов. Откуда залетела эта неосторожная, нескромная серая птица в пристанище людей и «теней»? Зачем примчалась она сюда своим стремительным полетом, зачем пронзает насмешливым криком сердце и заставляет его томиться? Ведь за пределами города столько деревьев, столько ложбин, прикрытых облаками, и зарослей расцветающего дрока, где она могла бы встречать приход весны! Какой мрачный каприз природы послал ее сюда куковать тому, кто уже покончил

с весной?

Болезненная спазма сжала сердце Хилери, и он, прогнав мысль о далекой птице, спустился к самой воде. Мистер Стоун плыл — так медленно, как не плавал еще ни один человек. Видны были только его белые волосы и тощие руки, слабо раздвигающие воду. И вдруг он исчез. Только что он был ярдах в десяти от берега, и Хилери, испугавшись, что он не всплывает, вбежал в воду. Здесь было неглубоко. Мистер Стоун, сидя на дне, изо всех сил старался подняться. Хилери схватил его за купальный костюм, вытянул на поверхность и, поддерживая, повел на сушу. К тому времени, как они выбрались из воды, старик едва держался на ногах. С помощью полисмена Хилери кое-как надел на него костюм и усадил в кеб. Мистер Стоун немного ожил, но, по-видимому, не понял, что произошло.

— Я сегодня пробыл в воде меньше обычного, — размышлял он вслух, когда они выехали на дорогу.

— Нет, что вы, сэр!

Мистер Стоун казался озабоченным.

— Странно, я не помню, как я выходил из воды, — сказал он.

Он молчал всю дорогу и заговорил лишь тогда,

когда с помощью Хилери вылез из кеба.

— Я хочу заплатить кучеру. У меня дома есть полкроны.

— Я принесу их, сэр, — сказал Хилери.

Едва мистер Стоун оказался на ногах, как его охватила неудержимая дрожь. Он поднял лицо к кебмену.

— Нет ничего благороднее лошади, — сказал он. — Заботьтесь о ней.

Кебмен снял перед ним шляпу:

— Слушаюсь, сэр.

Мистер Стоун шел самостоятельно, но Хилери не спускал с него глаз, пока он не добрался до своей комнаты. Старик двигался ощупью, словно недостаточно хорошо различал предметы сквозь кристальную ясность вселенной.

— Позвольте дать вам совет, сэр, — сказал Хилери. — На вашем месте я бы лег на несколько минут в постель. Мне кажется, вы немного простыли.

Мистер Стоун, и в самом деле дрожавший так, что еле стоял, позволил Хилери уложить себя в постель и укутать одеялами.

— В десять часов я должен приступить к работе, — сказал он.

Хилери, которого тоже сильно трясло, поспе-

шил к Бианке. Она спускалась по лестнице из своей комнаты и ахнула, увидев, что он насквозь мокрый. Он рассказал, что произошло, и она коснулась его плеча.

— А как ты? Ты весь вымок.

— Приму горячую ванну, выпью спиртного, и все будет в порядке. Лучше пойди к нему.

И он пошел в ванную комнату, где стояла Миранда, подняв переднюю белую лапку. Сжав губы, Бианка бегом пустилась по лестнице. Потрясенная рассказом мужа, она готова была сжать его в объятиях, вот так, как он был, в мокром костюме, но между ними стояли бесчисленные призраки прошлого. Прошел и этот момент и тоже стал призраком.

К величайшему своему негодованию, мистер Стоун в десять часов не смог приступить к работе над книгой. Он просто-напросто не в силах был подняться и объявил, что намерен подождать до половины четвертого — тогда он встанет, ему надо подготовиться к приходу девушки. Поскольку он отказался от доктора и не пожелал смерить температуру, определить, сильный ли у него жар, было трудно. На щеках его, еле видных из-под одеяла, румянец был сильнее, чем следовало бы, а глаза, устремленные в потолок, подозрительно

блестели. Усугубляя тревогу Бианки — она села как можно дальше, чтобы отец ее не увидел и не счел, что она оказывает ему услугу, — он вслух продолжал свои мысли:

— Слова… слова… они унесли с собой братство!

Бианка вздрогнула, услышав этот замогильный голос.

— «В те дни владычества слов они называли это смертью — бледной смертью, mors pallida. Слово это они видели как огромную гранитную глыбу, которая висела над ними и медленно опускалась. Некоторые, повернувшись к ней лицом, трепетали, ожидая гибели. Другие, не умевшие живыми понять мысль о небытии, раздувшись от некоего духовного ветра и каждый помышляя лишь о своей индивидуальной форме, непрерывно возвещали, что души их должны пережить и переживут это Слово, — что каким-то образом, каким именно, никто не мог понять, — всякая самоосознавшая себя единица после своего распада снова воссоединится. Опьяненные этой идеей, и они тоже исчезали. Некоторые ждали Слова мрачно, с сухими глазами, и говорили, что это — молекулярный процесс, и эти тоже встречали свою так называемую смерть».

Голос умолк, послышался другой звук: старик

смачивал языком сухое нёбо. Перегнувшись через спинку кровати, Бианка поднесла к губам отца стакан с ячменной водой. Он пил воду медленно, громко причмокивая, потом, увидев, что стакан держит чья-то рука, сказал:

— Это вы? Вы приготовились? Пишите. В те дни никто не сделал прыжка вверх к Бледному Всаднику, никто не прочел в его лице, что он и есть воплощение братства, никто с сердцем, легким, как осенняя паутинка, не поцеловал его ног и, улыбаясь, не растворился во вселенной… — Голос его вдруг затих, а когда послышался снова, это был быстрый, хриплый шепот: — Я должен… я должен… — Мистер Стоун помолчал, затем добавил: — Дайте мне мои брюки.

Бианка положила брюки ему на постель. Вид их как будто успокоил его. Он снова умолк.

Больше часа он лежал так неподвижно, что Бианка то и дело вставала взглянуть на него. И каждый раз глаза его были широко раскрыты и устремлены на темное пятно на потолке; лицо старика выражало непреклонную решимость, как будто дух его медленно, упорно вновь забирал власть над лихорадящим телом. Неожиданно мистер Стоун спросил:

— Кто здесь?

— Бианка.

— Помоги мне встать.

Краски схлынули с его лица, блеск в глазах потух — он казался призраком. Испытывая чуть ли не ужас, Бианка помогла ему подняться. Было что-то жуткое в этом зловещем, немом проявлении воли.

Когда он был уже одет в свой шерстяной халат и усажен в кресло возле горящего камина, Бианка принесла ему чашку крепкого мясного бульона с коньяком. Он проглотил его с большой жадностью.

— Я бы выпил этого еще, — сказал он и заснул.

Пока он спал, пришла Сесилия, и сестры вдвоем охраняли сон отца, чувствуя, что уже много лет не были так близки друг другу.

Собравшись уходить, Сесилия шепнула:

— Послушай, Бианка, если папа будет спрашивать про девушку, ты не думаешь, что надо послать за ней, пока он в таком состоянии?

— Я не знаю, где она живет.

— Я знаю.

— Ах да, разумеется, — сказала Бианка и отвернулась.

Сесилия молчала, смущенная ее саркастическим тоном. Потом, призвав все свое мужество,

проговорила:

— Вот ее адрес, он у меня записан. — И, морщась от мучительной тревоги, вышла из комнаты.

Бианка, сидя в старом, золоченой кожи кресле, глядела на спящего — на глубокие впадины чуть пониже его висков, на седые щетинки вокруг рта, которые слабо шевелились от его дыхания. Уши у нее горели огнем. Глядя, как этот дряхлый старик, который, оказывается, так ей дорог, ведет великую битву за свою идею, Бианка чувствовала, что теряет обычную выдержку, что душа ее смягчается и трепещет. Ее вдруг охватило страстное желание стушеваться. Какое имеет значение, первое или второе место она занимает в сердце Хилери? Дух ее так явно покажет, что он способен к самопожертвованию, что Хилери за одно благородство отдаст ей пальму первенства. В этот момент она, кажется, была готова заключить в объятия эту простенькую девушку, поцеловать ее. Тогда бы конец всем тревогам! Один краткий миг златокрылая птица, посланец Гармонии, реяла перед ней. От этого состояния экзальтации нервы Бианки вибрировали, как скрипичные струны.

В половине четвертого мистер Стоун проснулся, и Бианка тотчас протянула ему вторую чашку

крепкого бульона.

Он выпил все и спросил:

— Что это?

— Мясной бульон.

Мистер Стоун посмотрел на пустую чашку.

— Я не должен был это пить. Корова и овца находятся на той же ступени, что и человек.

— Ну как ты себя чувствуешь, дорогой?

— Я способен диктовать ранее написанное, не больше, — ответил мистер Стоун. — Она пришла?

— Еще нет. Но я пойду и приведу ее, если хочешь.

Мистер Стоун грустно поглядел на дочь.

— Это значило бы, что я отнимаю у тебя время, — сказал он.

Бианка ответила:

— Мое время ничего не стоит.

Мистер Стоун протянул руки к огню.

— Я не соглашусь быть кому бы то ни было в тягость, — сказал он, очевидно, про себя. — Если дошло до этого, я должен уйти!

Бианка, встав перед ним на колени, прижалась горячей щекой к его виску.

— Но до этого же не дошло, папа!

— Надеюсь, что нет. Я хочу прежде окончить

свою книгу.

Осмысленность этих двух последних замечаний ужаснула Бианку больше, чем все его лихорадочное бормотание.

— Ты посиди смирно, — сказала она, — пока я пойду и разыщу ее.

Она вышла из комнаты с таким ощущением, как будто чьи-то руки сжали ей сердце и рвут его на части.

Полчаса спустя вошел тихонько Хилери и встал у двери. Мистер Стоун, сидя на самом краю кресла, положив руки на подлокотники, медленно поднимался на ноги и снова медленно заваливался назад: он проделал это уже много раз, силясь встать. Увидев Хилери, он сказал:

— Два раза мне удалось.

— Я очень рад, сэр. Быть может, теперь вы отдохнете?

— Это все мои колени, — сказал мистер Стоун. — Она пошла разыскивать ее.

Сбитый с толку этим известием, Хилери сел и стал ждать.

— Я вообразил, что, уходя из жизни, мы становимся ветром, — проговорил мистер Стоун печально и посмотрел на Хилери. — Вы тоже так полагаете?

— Для меня это новая мысль.

— Она несостоятельна, но она успокаивает. Ветер нигде и повсюду, и ничто от него не скрыто. Когда я почувствовал, что мне недостает этой юной девушки, я пытался, в определенном смысле, стать ветром, но я понял, что это трудно. — Он отвел взгляд от лица Хилери, не заметив его невеселой улыбки, и снова уставился на яркий огонь. — В те дни, — сказал он, — отношение людей к вечным дуновениям воздуха было отношением миллиарда маленьких отдельных сквознячков, направленных против юго-западного ветра. Они не хотели смешиваться с этим мягким вздохом, который испустила луна, но дули в ее лик через трещины и щели и замочные скважины, и их уносило в прозрачное странствие, и они свистели, протестуя. — Он снова попробовал встать, видимо, желая подойти к конторке и записать эту мысль, но не смог и горестно посмотрел на Хилери. Как видно, он хотел было попросить его о чем-то, но удержался. — Если я буду усердно упражняться, — бормотал он, — я это преодолею.

Хилери встал и принес ему бумагу и карандаш. Наклоняясь к старику, он увидел, что глаза его подернуты влагой. Зрелище это так разволновало

Хилери, что он поспешил отвернуться, пошел и принес книгу, чтобы подложить ее под бумагу.

Кончив писать, мистер Стоун закрыл глаза и откинулся в кресле. Тяжелое молчание нависло над этими двумя людьми разных поколений и столь несходных характеров. Хилери нарушил это молчание.

— Сегодня я слышал кукушку, — сказал он почти шепотом на случай, что старик, быть может, уснул.

— У кукушки нет ни в малейшей степени чувства братства.

— Я прощаю ее — за ее кукование, — пробормотал Хилери.

— Ее кукование маняще, — сказал мистер Стоун, — оно возбуждает половой инстинкт. — И добавил про себя: — А она еще не пришла!

В тот момент, как он произносил эти слова, Хилери услышал легкий стук в дверь. Он встал и открыл ее. На пороге стояла маленькая натурщица.

Глава XXIX
Возвращение маленькой натурщицы

В этот самый день на Хай-стрит, в Кенсингтоне, «вест-министр» в шляпе, закапанной дождем, подняв воротник в защиту от жестокого ветра, тянул свою глиняную трубку и сквозь очки в железной оправе глядел на прохожих. У него купили еще удручающе мало его зеленоватого цвета газет, и «тип из низов», продававший вечерние выпуски другой газеты, просто выводил его из себя. Мистер Крид со своим односторонним умом, всегда разрываемый между лояльностью к работодателям и политической платформой, которой не разделяла его газета, дважды, пока стоял на своем посту, дал выход раздражению. В первый раз он сказал продавцу «Пэл-Мэл»:

— Я ведь условился с тобой, чтобы ты не заходил дальше этого фонаря! И не смей больше никогда со мной разговаривать! Вздумал выживать меня с моего места!

Во второй раз он крикнул мальчуганам, продававшим дешевые газетки:

— Эй, вы, там, смотрите, я заставлю вас пожа-

леть об этом! Вырываете у меня покупателей из-под носа! Подождите, и вы состаритесь…

На что мальчишки ему ответили:

— Ладно, папаша, не бесись. Ты и без того скоро ноги протянешь, чего уж там.

Теперь наступил час, когда мистер Крид обычно пил чай, но продавец «Пэл-Мэл» отлучился с той же целью, и мистер Крид все не уходил в слабой надежде перехватить хотя бы одного или двух покупателей этого «типа». Так он стоял в полнейшем одиночестве, когда вдруг услышал сбоку от себя робкий голос:

— Мистер Крид…

Старый лакей обернулся и увидел маленькую натурщицу.

— Ах, это вы, — сказал он сухо.

Он знал, что девушка зарабатывает себе на жизнь, прислуживая в этом беспорядочном учреждении — Храме Искусства, — и, верный своей страсти к рангам, сразу поставил ее на общественной лестнице где-то пониже горничной. Последние события давали ему достаточно оснований, чтобы составить о ней нелестное мнение. Ее обновы, которых он не удостоился видеть прежде, навели его мысли на праздник и в то же время усугубили сомнения относительно

ее нравственности.

— Где же вы теперь живете? — спросил он тоном, изобличающим его чувства.

— Я не должна говорить.

— Ну что ж, пожалуйста. Можете держать свои секреты про себя.

Нижняя губка маленькой натурщицы уныло отвисла. Под глазами у нее была синева, лицо осунулось и выглядело жалким.

— Что же вы не расскажете, что нового? — спросила она своим деловитым тоном.

Старый лакей издал неясное ворчание.

— Гм… Младенец умер, завтра хоронят.

— Умер… — повторила за ним маленькая натурщица.

— Я тоже пойду на похороны — на Бромптонское кладбище. В половине десятого выхожу из дому. Только это я с конца начал. Хьюз в тюрьме, а жена его стала как тень.

Маленькая натурщица потерла руки о юбку.

— За что он сел в тюрьму?

— За то, что бросился на жену с оружием. Я был на суде свидетелем.

— Почему он на нее бросился?

Крид глянул на девушку и, покачав головой, ответил:

— Это лучше знать тому, кто в том повинен.

Лицо маленькой натурщицы стало цвета красной гвоздики.

— Я не отвечаю за его поведение, — сказала она. — На что он мне, такой человек? Уж его-то мне во всяком случае не надо.

Искреннее презрение, прозвучавшее в этой гневной вспышке, удивило старого лакея.

— Я ничего и не говорю, — сказал он. — Мне все едино. Я в чужие дела сроду не вмешивался. Но это нарушает порядки. Уж сколько времени я не получаю приличного завтрака. Бедная женщина совсем голову потеряла. Как только младенца похоронят, я от них съеду, подыщу себе другую комнату, пока Хьюз не вернулся.

— Надеюсь, что его там подержат, — пробормотала маленькая натурщица.

— Ему дали месяц.

— Всего месяц?

Старый лакей посмотрел на девушку. «Да, в тебе, пожалуй, больше прыти, чем я думал», — казалось, говорил его взгляд.

— Приняли во внимание, что он служил отечеству, — заметил он вслух.

— Жалко, что ребеночек умер, — сказала маленькая натурщица обычным своим бесстраст-

ным тоном.

«Вест-министр» покачал головой:

— Я всегда знал, что он не жилец на этом свете.

Покусывая кончик пальца белой нитяной перчатки, девушка смотрела на уличное движение. Как бледный луч света, в темную теперь пещеру ума этого старого человека проникла мысль, что он не вполне понимает девушку. Ему в жизни приходилось определять ранг не одной молодой особы, и сознание того, что он не совсем уверен, к какому разряду ее отнести, было похоже на то чувство, которое, вероятно, испытывает летучая мышь, застигнутая врасплох дневным светом.

Не попрощавшись, девушка вдруг отошла от него.

«Ну что ж, — подумал он, — манеры у тебя не стали лучше от того, что ты живешь где-то там в другом доме, да и вид тоже, хоть ты и разрядилась в новое платье».

И он еще некоторое время раздумывал над странной пристальностью ее взгляда и неожиданным резким уходом.

Сквозь кристальную ясность потока вселенной можно было бы видеть, как в этот самый момент Бианка выходит из парадной двери своего дома.

Ее состояние экзальтации, трепетная тоска по гармонии — все это прошло. Странно переплетаясь между собой, ум ее занимали две мысли: «Если бы только она была леди!» и «Я рада, что она не леди!»

Из всех темных и путаных лабиринтов человеческое сердце — самый темный и путаный, а из всех человеческих сердец наименее ясны и наиболее сложны сердца людей того круга, к которому принадлежала Бианка. Гордость — простое качество, пока она сочетается с простым взглядом на жизнь, основанным на примитивной философии собственности; гордость перестает быть простым качеством, когда ее со всех сторон окружают сотни стремлений общественной совести и парализующих раздумий. Бианка твердо решила вернуть девушке прежнее ее место в доме, но гордость ее боролась сама с собой, а чувство собственности в отношении человека, который был ее мужем, боролось с благоприобретенными понятиями свободы, широты взглядов, равенства и хорошего вкуса. Душа ее была в смятении, разум восставал против самого себя, и Бианка, в сущности, действовала лишь из простого чувства сострадания.

Выйдя из комнаты отца, она, забежав к себе

наверх, тотчас вышла из дому, и теперь быстро шагала по улицам, чтобы это чувство — быть может, из всех самое физическое, пробуждаемое тем, что мы видим и слышим, и требующее постоянной пищи, — не успело ослабнуть.

Она направилась на ту улицу в Бейсуотере, где, как ей сообщила Сесилия, жила теперь девушка.

Дверь ей отворила худая, высокая хозяйка квартиры.

— У вас снимает комнату мисс Бартон? — спросила Бианка.

— Да, но сейчас она, кажется, вышла.

Хозяйка заглянула в комнату маленькой натурщицы.

— Да, ее нет. Но если хотите, можете оставить записку. Если вам нужна натурщица, она не откажется, она, по-моему, ищет работу.

Присущая современному человеку потребность давить себе именно на больной нерв, была, по-видимому, не чужда Бианке. Войти в комнату девушки, безусловно, значило нарочно причинять себе боль.

Она осмотрелась. Какое полное отсутствие признаков духовной жизни! Ничего, что заставило бы предположить, что здесь работает хоть какая-то мысль — ничего, кроме потрепанного номера

«Новостей». И тем не менее, — а может быть, именно поэтому — комната выглядела опрятно.

— Да, она держит комнату в порядке, — сказала хозяйка. — Конечно, она ведь девушка деревенская — почти что моя землячка. — Ее мрачное, но совсем не злое лицо как будто искривилось в улыбке. — Кабы не это, я бы девушку, которая занимается таким делом, и не пустила к себе.

В ее голодном взгляде, устремленном на посетительницу, чувствовалась суровая душа сектантки.

Бианка написала карандашом на своей визитной карточке: «Если можете, зайдите, пожалуйста, к моему отцу сегодня или завтра».

— Будьте любезны, передайте это ей. Она поймет.

— Передам, — сказала хозяйка. — Я так думаю, она очень обрадуется. Я вижу, как она все сидит и сидит дома. Когда у таких вот девушек нет работы… Смотрите-ка, она валялась на кровати…

В самом деле, на красном с желтым, отделанном бахромой покрывале была вмятина от лежавшего на нем тела.

Бианка взглянула на кровать.

— Благодарю вас, — сказала она. — До свидания.

Она медленно шла домой, и задетый больной нерв не давал ей покоя.

У садовой калитки стояла сама маленькая натурщица и не спускала глаз с дома, — казалось, она стоит здесь уже давно. Бианка переходила через дорогу, и ей отлично видно было юную фигурку, теперь очень аккуратную и подобранную. И однако что-то в этой девушке показывало, что она не «леди», — быть может, она была более изящна, но менее изысканна. В ней не хватало какой-то светской вышколенности, веры в правила, выработанные волей. Ее школила только жизнь с ее суровыми фактами. Это обнаруживалось в мелочах, которые могла уловить лишь женщина, и особенно во взгляде, каким она смотрела на дом, куда явно жаждала войти. Взгляд этот говорил не «Войти или нет?», но «Смею ли я войти?».

И вдруг она увидела Бианку. Встреча этих двух женщин очень походила на обычную встречу госпожи и служанки. Лицо Бианки, не выражавшее ничего, кроме легкого любопытства, казалось, говорило: «Ты для меня книга за семью печатями. И всегда была. Что ты думаешь и делаешь — этого я никогда не постигну».

У маленькой натурщицы лицо было растерянное, будто ее поймали с поличным, и, как всегда,

бесстрастное.

— Войдите, пожалуйста, — сказала Бианка. — Мой отец будет рад вас видеть.

Она открыла калитку, пропуская девушку вперед. Ей стало чуточку смешно оттого, что она прогулялась зря. Даже этот маленький великодушный поступок ей не было дано совершить.

— Как идут ваши дела?

При этом неожиданном вопросе маленькая натурщица сперва было растерялась, но тут же взяла себя в руки и ответила:

— Очень хорошо, спасибо. То есть не очень…

— Вы увидите, что мистер Стоун сегодня несколько утомлен: он простудился. Не давайте ему, пожалуйста, много работать.

Маленькая натурщица пыталась набраться храбрости и хоть что-то сказать, но, так ничего и не придумав, вошла в дом.

Бианка не последовала за ней, она пробралась в самый дальний конец сада, где солнце все еще лило лучи на грядку желтофиоли. Бианка нагнулась над цветами так низко, что ее вуаль коснулась их. Здесь трудились две пчелы, их дымчатые крылышки издавали жужжание; крохотными черными ножками они цеплялись за оранжевые лепестки, погружали крохотные черные хоботки

глубоко в медовую сердцевину цветов. Цветы вздрагивали под тяжестью маленьких темных телец. Лицо Бианки тоже вздрагивало — оно склонилось совсем близко к пчелам, но те не прерывали своей работы.

Хилери, как было показано, жил скорее мыслями о событиях, чем самими событиями, и для него поступки и слова сами по себе имели мало значения, они интересовали его лишь в философском плане. Появление девушки на пороге комнаты мистера Стоуна испугало его. Но маленькая натурщица, которая всегда жила настоящим и знала только одну философию — философию нужды, — повела себя иначе. Все последние пять дней она, как спаниель, которого не пускают на его законное место, хотела одного: быть именно там, где сейчас стояла. Она до крови искусала губы и пальцы, сидя в своей комнате с ее ржаво-красными дверями; как только что пойманная птица, она билась крыльями о стены с голубыми розами на желтом фоне; тоскуя, она лежала на желто-красном покрывале, крутила в руках его бахрому и смотрела в пустоту полузакрытыми глазами.

Было что-то новое в том взгляде, который она бросила на Хилери. В нем уже не было прежнего

детского обожания, он стал смелее, как будто за эти несколько дней она многое пережила и перечувствовала, и не одно перо упало с ее крыльев.

— Миссис Даллисон велела мне зайти, — проговорила она, — ну, я и решила, что, значит, можно. Мистер Крид сказал мне, что *тот* в тюрьме.

Хилери пропустил ее в комнату и, войдя за ней следом, закрыл дверь.

— Беглянка вернулась, — сказал он.

Услышав, что ее называют таким не заслуженным ею именем, маленькая натурщица густо покраснела и хотела что-то возразить, но промолчала, увидев улыбку на лице Хилери: раздираемая противоречивыми чувствами, она взглянула сперва на него, потом на мистера Стоуна, и снова на Хилери.

Мистер Стоун встал и медленно двинулся к конторке. Чтобы удержаться на ногах, он обеими руками оперся о рукопись и, немного собравшись с силами, начал разбирать исписанные листы.

Через открытое окно долетели отдаленные звуки шарманки. В мелодии тихого и слишком медленного вальса, который она наигрывала, было что-то манящее, зовущее. Маленькая натурщица повернулась, прислушиваясь, и Хилери в упор посмотрел на нее. Девушка и эти звуки

вместе — да, это и была та музыка, которую он слышал в течение многих дней, как человек в легком бреду.

— Вы приготовились? — спросил мистер Стоун.

Маленькая натурщица окунула перо в чернила. Глаза ее украдкой скользнули в сторону двери, где стоял Хилери все с тем же выражением на лице. Избегая ее взгляда, он подошел к мистеру Стоуну.

— Вы непременно хотите сегодня работать, сэр?

Мистер Стоун поглядел на него сердито:

— Почему бы нет?

— У вас едва ли достаточно для этого сил.

Мистер Стоун взял с конторки рукопись.

— Мы уже пропустили три дня, — сказал он и начал очень медленно диктовать: — «Варварские обычаи тех дней, как, например, обычай, на-зывае-мый Войной…»

Голос его замер; было очевидно, что мистер Стоун не падает только потому, что оперся локтями о конторку.

Хилери пододвинул стул и, придерживая старика под мышки, усадил его.

Заметив, что сидит, мистер Стоун поднял к

глазам рукопись и стал читать дальше:

— «…продолжали существовать, попирая братство. Это было все равно как если бы в стаде рогатого скота, гонимого через зеленые пастбища к тем Вратам, где его ждало небытие, все коровы решили преждевременно переболеть и распотрошить друг друга из страстной приверженности тем индивидуальным формам, которые им предстояло так скоро утратить. Так люди — племя против племени, страна против страны — смотрели друг на друга через долины налитыми кровью глазами; они не видели осиянных луною крыл, не чувствовали благоуханного дуновения братства…»

Он произносил слова все медленнее и медленнее, и, когда замерло последнее слово, задремал — слышно было, как выходит его дыхание сквозь крохотную щелку под усами. Хилери, ждавший этого момента, тихонько положил рукопись на конторку и сделал знак девушке. Он не стал приглашать ее к себе в кабинет, а заговорил с ней в коридоре.

— Сейчас, когда мистер Стоун в таком состоянии, он в вас нуждается. Пожалуйста, приходите к нему по-прежнему, пока Хьюз в тюрьме. Как вам нравится ваша новая комната?

Маленькая натурщица ответила просто:

— Не очень.

— Почему же?

— Как-то там одиноко. Но теперь мне это все равно, раз я буду опять приходить сюда.

— Это только временно. — Больше Хилери не нашел что сказать.

Маленькая натурщица опустила глаза.

— Завтра хоронят ребеночка миссис Хьюз, — сказала она вдруг.

— Где?

— На Бромптонском кладбище. Мистер Крид пойдет.

— В котором часу похороны?

Она украдкой бросила на него взгляд:

— Мистер Крид сказал, что выйдет из дому в половине десятого.

— Я тоже хотел бы пойти.

На лице ее мелькнула радость и тут же снова скрылась за обычной маской бесстрастия. Хилери направился к двери, и нижняя губка у девушки стала опускаться.

— До свидания, — проговорил он.

Маленькая натурщица покраснела и задрожала. «Ты даже не смотришь на меня, — как будто говорила она, — ты не сказал мне ни одного лас-

кового слова». И вдруг бросила жестко:

— Теперь я больше не пойду к мистеру Леннарду.

— Так, значит, вы были у него?

Торжество, потому что ей удалось привлечь его внимание, страх, оттого что она призналась, мольба, стыд, смешанный с обидой, — все это отразилось на ее лице.

— Да, — ответила она.

Хилери молчал.

— Когда вы не велели мне больше приходить, мне было уж все равно.

Хилери по-прежнему молчал.

— Я ничего плохого не сделала.

В голосе ее слышались слезы.

— Нет, конечно, нет, — сказал Хилери.

Маленькая натурщица всхлипнула:

— Ведь это ж моя профессия!

— Да-да, — ответил Хилери, — разумеется.

— Мне-то что, пусть думает обо мне, что хочет; я к нему больше не пойду, пока мне можно ходить сюда.

Хилери коснулся ее плеча.

— Ну-ну, — сказал он и открыл парадную дверь.

Маленькая натурщица вышла с сияющими

глазами, вся трепеща, как цветок, получивший после дождя поцелуй солнца.

Хилери вернулся к мистеру Стоуну и долго сидел, глядя на задремавшего старика, оперев о ладонь тонкое лицо с напряженной улыбкой, с морщинкой между бровями. «Мыслитель, раздумывающий о действиях» — так могла бы быть названа подобная статуя.

Глава XXX
Похороны младенца

В соответствии с инстинктом, таящимся глубоко в натуре человека, — не скупиться на внимание и затраты по отношению к тем умершим, к которым при жизни мы проявляли небрежность и скупость, — от дома номер один по Хаунд-стрит двинулась похоронная процессия из трех карет.

В первой стоял маленький гробик, и на нем лежал огромный белый венок — дар Сесилии и Тайми. Во второй ехали миссис Хьюз, ее сын Стэнли и Джошуа Крид, в третьей — Мартин Стоун.

В первой карете царило вместе с запахом лилий молчание, окутывая собою того, кто за свою коротенькую жизнь произвел не очень много шума, — маленькую серую тень, которая так незаметно вошла в жизнь и, улучив минутку, когда про нее забыли, так же незаметно из нее ушла. Никогда еще этому существу, отмытому до неестественной белизны, обернутому в единственную новую материнскую простыню, не было так покойно, так удобно, как сейчас в этом простом гробике. Далекий от людских

стремлений и борьбы, он направлялся к вечному успокоению. Его кустик алоэ зацвел, и ветер — как знать, быть может, то был сам маленький путник в вечность — шевелил листы папоротника и цветы похоронного венка, лежавшего между двумя открытыми окнами кареты, — единственной, в которой довелось ездить младшему сыну Хьюзов. Так он уходил из мира, где все люди были его братьями.

Из второй кареты всякий ветер был решительно изгнан, но там тоже царило молчание, нарушаемое лишь тяжелым дыханием престарелого лакея. Облаченный в свое узкое, длинное пальто, он не без удовольствия вспоминал прошлые свои поездки в каретах: те случаи, когда, сидя рядом с сундуком, перевязанным веревкой и запечатанным сургучными печатями, он вез хозяйское столовое серебро, чтобы сдать его в сейф; те случаи, когда под крышей, на которой были навалены ружья и ящики, сидел, держа на сворке собаку «достопочтенного Бэйтсона»; те случаи, когда рядом с какой-нибудь юной особой ехал в хвосте крестильного, свадебного или похоронного кортежа. Эти воспоминания о прошлом величии были необыкновенно острыми, и в уме у него почему-то все время вертелись слова: «На

бедность и богатство, на радость и горе, на болезни и здоровье, пока смерть не разлучит нас...»[9] Но как ни волнующи были эти воспоминания, его старое, с частыми перебоями сердце под старой красной фланелевой жилеткой — спутником его в изгнании — заставляло мистера Крида поглядывать на женщину, сидевшую рядом. Ему очень хотелось, чтобы и она хоть в какой-то мере ощутила удовлетворение от того, что похороны получились отнюдь не по «низшему разряду», как это могло бы быть. Он сомневался, способна ли она, с ее женским умом, сполна получить все то утешение, которое можно извлечь из трех карет и венка из лилий. Худое лицо швеи, измученное и апатичное, и в самом деле было еще худее и апатичнее, чем всегда. Мистер Крид не мог бы сказать, где сейчас ее мысли. А думать ей было о чем. И она тоже, несомненно, знала свои минуты величия, даже если это было восемь лет назад, всего лишь во время одинокого возвращения из церкви, где они с Хьюзом слушали слова, которые сейчас не выходили из головы у мистера Крида. Быть может, она думала об этом, о своей утраченной молодости и миловидно-

[9] Примечания: 9
Слова из свадебного богослужения.

сти, об угасшей любви мужа; о долгом спуске в страну теней; о других схороненных ею детях; о муже, сидевшем в тюрьме; о девушке, которая его «приворожила»? Или только о тех последних драгоценных минутах, когда крохотное существо, находившееся сейчас в первой карете, тянулось губками к ее груди? Или же, более трезво подходя к жизни, размышляла о том, что если бы не добрые люди, она бы сейчас шла пешком за гробом, купленным на средства прихода?

Старый лакей не мог знать ее мыслей, но, поскольку сам он наряду с надеждой умереть не в стенах работного дома лелеял еще одну заветную мечту — накопить достаточно денег, чтобы хоронили его за его собственный счет, без вмешательства посторонних, — он был склонен думать, что она размышляет о более приятных вещах, и, решив подбодрить ее, сказал:

— Теперь-то кареты насколько удобнее! Бог ты мой, я помню времена, когда они и в сравнение не шли с теперешними!

Швея ответила своим тихим голосом:

— Да, очень удобно. Сиди спокойно, Стэнли!

Ее маленький сын, у которого ноги не доставали до пола, колотил пятками по низу сиденья. Он послушался матери и взглянул на нее; но тут

старый лакей обратился к нему:

— Вот вырастешь, будешь вспоминать это событие.

И черноглазый мальчуган перевел взгляд с матери на мистера Крида.

— Такой прекрасный венок, — продолжал Крид. — Запах от него был по всей лестнице. Да, расходов не пожалели. В нем даже есть белая сирень — подумать, такие шикарные цветы!

Течение его мыслей приняло иной оборот, и он забыл про всякую осторожность.

— Вчера я видел эту девицу, — сказал он. — Подошла ко мне на улице, все выспрашивала.

На лице миссис Хьюз, до сих пор совершенно непроницаемом, появилось выражение, какое можно видеть у совы: жесткое, настороженное, злое — оно казалось особенно злым и жестким для ее мягких карих глаз.

— Ей бы лучше держать язык за зубами, — сказала она. — Сиди спокойно, Стэнли!

Мальчуган опять перестал колотить пятками и перевел глаза обратно на мать. Карета, остановившаяся было в нерешительности, будто наткнувшись на что-то посреди дороги, тут же возобновила свой ровный ход. Крид посмотрел в плотно закрытое окно. Перед ним тянулось зда-

ние, бесконечно длинное, словно в кошмарном сне, — то был дом, где он не собирался заканчивать свои дни. Он снова повернулся лицом к лошади. Нос у него покраснел. Он проговорил:

— Если бы мне газеты присылали пораньше, а не тогда, когда этот тип уже успеет переманить всех моих покупателей, я бы зарабатывал на два шиллинга в неделю больше, и это все я бы мог откладывать. — На эти слова, полные скрытого смысла, не последовало иного ответа, кроме стука пяток мальчугана по сиденью. Возвращаясь к теме, от которой он временно отвлекся, Крид пробормотал:

— Она была во всем новом.

Его испугал свирепый голос, который он едва узнал:

— Я не желаю ничего о ней слышать. Приличным людям незачем о ней разговаривать.

Старый лакей осторожно глянул на миссис Хьюз. Она вся дрожала. Ярость женщины в такой момент шокировала его. «Из земли взят, и в землю отыдеши», — подумал он.

— Вы об этом не беспокойтесь, — сказал он наконец, призвав на помощь все свое знание жизни. — Рано ли, поздно ли, она будет на том месте, какого заслуживает. — И, увидев, что по

пылающей щеке женщины медленно сползла слезинка, добавил поспешно: — Думайте о вашем ребенке, а я вас не оставлю. Сиди смирно, мальчик, сиди смирно. Ты мешаешь матери.

И опять мальчуган перестал колотить пятками и посмотрел на говорившего. Карета продолжала катиться с негромким, медленным дребезжанием.

В третьей карете, где, как и в первой, окна были раскрыты, Мартин Стоун, засунув руки глубоко в карманы пальто и закинув одну на другую длинные ноги, сидел, уставясь куда-то вверх, и на его бледном лице была гримаса презрения.

Сразу за воротами, через которые в свое время прошло уже столько мертвых и живых теней, стоял Хилери. Он едва ли смог бы объяснить, почему он пришел посмотреть, как будут предавать земле эту крохотную тень, — быть может, в память тех двух минут, когда глазки младенца как будто вели разговор с его собственными глазами, или просто желая отдать дань немого почтения той, которую жизнь последнее время так терзала. Какова бы ни была причина, но он был здесь и тихо стоял в стороне. Он не замечал, что за ним тоже наблюдают: спрятавшись за высокий надгробный камень, на него смотрела маленькая

натурщица.

Двое мужчин в черных, порыжелых костюмах подняли гробик; за ним стал священник в белом одеянии, затем миссис Хьюз с сынишкой, сразу же за ними, вытянув вперед шею и вертя ею из стороны в сторону, — старый Крид и, наконец, позади него — Мартин Стоун. Хилери присоединился к нему. В таком порядке они и двинулись вперед.

Перед небольшой темной ямой в углу кладбища они остановились. На частый лес не засаженных цветами могил падал солнечный свет; восточный ветер, неся с собой легкое зловоние, коснулся прилизанных волос бывшего лакея и вызвал влагу в уголках его глаз, прикованных к священнику. Какие-то слова и обрывки мыслей вертелись в голове старика: «Его хоронят по-христиански… Кто отдает эту женщину в жены? Я… Прах праху… Я всегда знал, что он не жилец…»

Слова заупокойной службы, несколько сокращенной ради проводов в вечность этой крохотной тени, ласкали его слух, глаза его подернулись пленкой. Он слушал, точно старый попугай на жердочке, склонив голову набок.

«Кто умирает в младенчестве, тот идет прямо на небо, — думал он. — Все мы, смертные, веруем

в Господа… крестные отцы его и матери в святом крещении… Да, так-то вот. Что ж, я-то смерти не боюсь…»

Увидев, что гробик уже опускается в темную яму, Крид еще больше вытянул шею вперед. Гробик опустился; послышалось приглушенное рыдание. Старый лакей трясущимися пальцами дотронулся до рукава стоявшей перед ним миссис Хьюз.

— Не надо, — шепнул он, — он теперь с ангелами, во славе Божьей.

Но, услышав, как стучат о крышку гроба комья земли, он и сам вытащил из кармана платок и прижал его к носу.

«Вот и нет его больше, не стало еще одного младенчика, — думал он. — Старики и девушки, молодые парни и детишки — все время кто-нибудь умирает. Там, где он теперь, никто уже не женится, не выдает замуж… пока смерть не разлучит нас…»

Ветер, пролетая над засыпанной теперь могилой, уносил хриплое дыхание старика, приглушенные рыдания швеи куда-то за могилы других теней — к тем местам, к тем улицам…

Хилери и Мартин возвращались с похорон вместе, и далеко позади них, по другой стороне

улицы, шла маленькая натурщица. Некоторое время оба они молчали. Затем Хилери, протянув руку в сторону жалкой улочки, сказал:

— Они преследуют нас, они тащат нас вниз. Долгий, темный проход. Есть ли в конце его свет, Мартин?

— Да, — отрезал Мартин.

— Я его не вижу.

Мартин посмотрел на него:

— Гамлет!

Хилери не ответил.

Молодой человек искоса наблюдал за ним.

— Такая вот улыбка — это болезнь.

Хилери перестал улыбаться.

— Так вылечи меня, — сказал он вдруг, рассердившись, — ты, врачеватель!

Впалые щеки «оздоровителя» вспыхнули.

— Атрофия нерва активности, — пробормотал он. — От этого лекарства нет.

— А! — протянул Хилери. — Все мы хотим общественного прогресса, но каждый по-своему. Ты, твой дед, мой брат, я сам — вот тебе четыре разных типа. Можешь ты с уверенностью утверждать, кто именно из нас способен взять на себя эту задачу? Для меня, например, действовать — противно моей природе.

— Любое действие лучше, чем отсутствие действия.

— А твоей природе, Мартин, свойственна близорукость. Твой рецепт в данном случае не очень помог, не так ли?

— Я ничего не могу поделать, если люди хотят вести себя, как идиоты.

— Вот именно. Но ответь мне на такой вопрос: не есть ли общественная совесть, беря широко, всего лишь результат комфорта и обеспеченности?

Мартин пожал плечами.

— И далее: не губит ли комфорт способность действовать?

Мартин снова пожал плечами.

— В таком случае, если те, у кого есть общественная совесть и кто видит, в чем зло, утратили способность действовать, как ты можешь утверждать, что в конце темного прохода есть свет?

Мартин вынул из кармана трубку, набил ее и большим пальцем плотнее прижал табак в чашечке.

— Свет есть, — сказал он наконец. — Несмотря на всех бесхребетных. Прощайте. Я достаточно времени растратил впустую.

И он зашагал прочь.

«И даже несмотря на близорукость?» — сказал про себя Хилери.

Несколько минут спустя, выходя из магазина Роза и Торна, куда он зашел купить табаку, Хилери неожиданно увидел маленькую натурщицу, очевидно, поджидавшую его.

— Я была на похоронах, — сказала она, и выражение лица ее явно договорило: «Я шла за тобой». Не дожидаясь приглашения, она пошла рядом с Хилери.

«Это уже не та девочка, которую я отослал пять дней назад, — подумал он. — Она что-то утратила и что-то приобрела. Я ее не знаю».

И в лице ее и во всей повадке чувствовалось твердое намерение. Вот так у собаки бывает взгляд, который говорит: «Хозяин, ты хотел меня запереть, уйти от меня; я теперь знаю, что это такое. Делай что хочешь. Но что бы ты ни сделал, больше уж я никогда тебя не оставлю».

Откровенный смысл этого взгляда испугал того, кому чужда была примитивность. Желая избавиться от своей спутницы, но не зная, как это сделать, Хилери сел на первую попавшуюся скамью в Кенсингтонском саду. Маленькая натурщица села рядом. Ему стало жутко от этой тихой осады — как будто кто-то связывал его

тончайшими нитями, на его глазах медленно превращавшимися в веревки. Сперва к страху Хилери примешивалось раздражение. Были задеты его брезгливость и боязнь смешного. Чего хочет добиться от него это создание, с которым у него нет ни общих мыслей, ни общих интересов, чья душа никогда не сможет встретиться с его душой? Уж не пытается ли она «приворожить» и его своим немым, упрямым обожанием? Изменить его готовность покровительствовать ей — эту его слабость — в слабость другого рода? Он поглядел на нее — она тотчас опустила глаза и сидела неподвижно, словно каменная.

Как дух, так и тело ее были теперь другими: движения стали свободнее, руки — более округлыми; и дышала она как будто глубже; она раскрывалась у него на глазах, как цветок в начале июня. Это и радовало его, и пугало. Странное и в то же время такое естественное молчание — ибо о чем он мог говорить с этой девушкой? — ясно, как никогда, показало ему, какие барьеры стоят между классами. Главной его заботой сейчас было не оказаться в смешном положении. Очень тонко и бессознательно она приглашала его обращаться с ней как с женщиной, будто духовно она обвила свои молодые руки вокруг его шеи и шептала

полураскрытыми губами вечный зов одного пола другому. И он, немолодой человек, человек высокой культуры и все это сознающий, молчал, боясь пробить скорлупу своей деликатности. Он едва дышал, до самых глубин взволнованный сидящим рядом с ним юным существом и страшась выдать свое волнение.

Возле садового цветка вырастает дикий мак; вокруг гладкого ствола дерева обвивается жимолость; за ровную стену цепляется плющ.

В этом новом своем облике девушка приобрела какую-то особую, тихую власть: ей уже было не важно, говорит ли он, смотрит ли на нее или нет; ее инстинкт, прорываясь сквозь его скорлупу, чуял учащенное биение его пульса, знал, что сладкий яд проник в его кровь.

Ощущение этой тихой власти больше, чем что-либо другое, испугало Хилери. Ему можно не говорить — для нее это не важно. Ему даже не надо смотреть на нее — ей только надо сидеть тут молча, неподвижно, и сквозь ее раскрытые губы идет молодое дыхание, а в полузакрытых глазах сияет свет ее юности.

Хилери резко встал и пошел прочь.

Глава XXXI
Лебединая песня

Новое вино, если не разорвет старые мехи, то, сильно вначале вспенившись, будет затем спокойно шипеть и пузыриться.

Вот так было и с мистером Стоуном в течение целого месяца, — час за часом, день за днем. Щеки его порозовели, цвет их стал более здоровым, а голубые глаза, устремленные в пространство, приобрели бóльшую живость. Колени у него снова окрепли, и он возобновил свое купание. Видя перед собой лишь воду, которую рассекал своими невообразимо медленными взмахами, он не подозревал, что Хилери и Мартин, одну неделю один, другую неделю другой, держась поодаль, чтобы старик не заметил, что ему оказывают услугу, присутствуют при этой процедуре на случай, если мистер Стоун вдруг снова засидится на дне Серпентайна. Каждое утро слышно было, как он, выпив чашку какао и съев тарелку каши, с необычайной бодростью подметает пол, а когда время приближалось к десяти часам, стоящий за дверью расслышал бы шум вырывающегося из

легких дыхания: это мистер Стоун поднимался на цыпочки и опускался, готовясь к дневному труду. Разумеется, ни письма, ни газеты не нарушали величайшей, абсолютной самодостаточности этой жизни, посвященной идее братства. Писем не приходило потому, что никто толком не знал адреса мистера Стоуна, а отчасти и потому, что он уже много лет не отвечал на них. Что касается газет, то раз в месяц он отправлялся в какую-нибудь публичную библиотеку и там, разложив перед собой по четыре последних номера двух еженедельных журналов, знакомился с «обычаями тех дней» и шевелил губами, словно творя молитву. В десять часов тот, кто проходил по коридору мимо его комнаты, вздрагивал от звона будильника. Потом наступала полная тишина, потом раздавалось шарканье ног, насвистывание, шорохи, и все это время от времени прерывалось резким бормотанием. Вскоре от этого мутного потока звуков отделялся один тонко журчащий ручеек — голос старика, — и он журчал, прерываемый лишь скрипом гусиного пера, до того момента, когда снова звонил будильник. Тут стоящий за дверью догадался бы по запаху, что мистер Стоун собирается поесть во второй раз, и если бы, привлеченный этим запахом, он вошел в комнату,

то мог бы увидеть автора «Книги о всемирном братстве» с печеной картофелиной в одной руке и чашкой горячего молока — в другой; на столе он заметил бы остатки яиц, помидоров, апельсинов, бананов, инжира, чернослива, сыра, меда в сотах — уже «сменивших одну форму на другую» — и среди прочего ковригу хлеба из непросеянной муки. Мистер Стоун вскоре после этого показывался в дверях в своем костюме домотканого твида и в старой шляпе зелено-черного фетра, а если шел дождь — в длинном пальто из желтоватого габардина и зюйдвестке того же материала; в руках он неизменно держал небольшую корзинку из ивовых прутьев. Снаряженный таким образом, он отправлялся в магазин Роза и Торна, подходил к первому же приказчику и вручал ему корзинку, несколько монет и маленькую тетрадку в семь листов, озаглавленных: «Провизия: Понедельник, Вторник, Среда» и т. д. После этого мистер Стоун стоял, глядя через какую-нибудь банку с маринадом на то, что за ней находилось, протянув руку немного вверх, и дожидался, когда ему вернут его ивовую корзиночку. Почувствовав, что она снова у него в руке, он поворачивался и шел обратно. А у приказчиков, глядевших ему вслед, всякий раз появлялась одна и та же покровительствен-

ная улыбка. Долгая привычка отшлифовала ее. Все давно чувствовали, что этот престарелый покупатель, так резко от всех них отличавшийся, как-то все же от них зависит. Ни за какие сокровища в мире они не надули бы его ни на один грош, ни на ломтик сыра, и если какому-нибудь новичку приходило в голову посмеяться над этим старым клиентом, ему немедленно предлагали «заткнуться».

Хрупкая фигура мистера Стоуна, чуть гнущаяся на сторону от потяжелевшей корзинки, двигалась теперь по направлению к дому. Возвращался он минут за десять до того, как будильник звонил в три часа, и вскоре, пройдя через мутный поток звуков, уже опять журчал один тонкий ручеек вперебивку со скрипом и царапаньем гусиного пера.

Но часам к четырем появлялись признаки мозгового возбуждения: губы мистера Стоуна переставали произносить звуки, перо умолкало. В открытом окне появлялось его раскрасневшееся лицо. Едва завидев маленькую натурщицу — ее глаза были устремлены не сюда, а на окно кабинета Хилери, — мистер Стоун поворачивался лицом к двери, очевидно, поджидая, когда девушка войдет к нему в комнату. Первыми его

словами всегда были следующие: «У меня сделано несколько страниц. Я вам уже поставил стул. Вы готовы? Приступайте!»

Если не считать какого-то особенного спокойствия в голосе и исчезновения красноты на лбу, не имелось никаких признаков того, что с ее приходом он молодел, испытывал прилив свежих сил, как странник, что вечером отдыхает под липой после долгого пути; никаких признаков того, что при виде ее невеселого молодого лица и молодых мягких рук в его вены просачивается какой-то таинственный покой. Так даже на краю могилы люди извлекают энергию из какого-нибудь тонизирующего средства и тянутся к чему-то впереди, пока это «что-то» вдруг не исчезнет во тьме.

За четверть часа, посвященных чаепитию и беседе, он ни разу не заметил, что она, все время прислушиваясь, ждет, не раздадутся ли за дверью шаги; с него было достаточно того, что в ее присутствии он особенно остро чувствовал свою устремленность к единой цели.

Когда девушка уходила, замедляя шаги, с унылым видом кидая взгляды во все стороны в надежде увидеть Хилери, мистер Стоун обычно сразу усаживался в кресло и засыпал, чтобы во сне, быть может, увидеть Юность — Юность с ее

ароматом древесного сока, ее зовами, надеждами и страхами, Юность, так долго еще парящую над нами после своей смерти! Дух его улыбался, скрытый под телесной оболочкой, — лицом словно из тонкого фарфора. И как собака, которой снится охота, судорожно перебирает лапами, так он шевелил пальцами рук, сложенных на коленях.

В семь часов будильник будил его: пора было готовиться к вечерней трапезе. Поев, мистер Стоун вновь принимался шагать по комнате, изливать в тишину потоки слов и водить по бумаге своим скрипучим пером.

Так писалась книга, подобной которой человечество еще не знало!

Но девушка, принося ему бодрость, сама приходила всегда с унылым лицом и с таким же унылым лицом уходила, за все эти дни даже мельком не увидев того, кого хотела видеть.

С того утра, когда Хилери так порывисто встал и ушел от нее, он поставил себе за правило уходить из дому во второй половине дня и не возвращаться до шести часов вечера. Таким образом он исключал возможность встреч и с ней, и с самим собой, ибо он уже не мог не видеть, что встреча с самим собой для него неизбежна. В те немногие минуты молчания, когда девушка сидела с ним

рядом на садовой скамье, излучая загадочную притягательную силу, он понял, что мужчина в нем отнюдь не умер. Это уже не было лишь неясным волнением чувств, это было четкое, горячее желание. Чем больше он думал о ней, тем менее платоническим становилось его чувство к этой дочери народа.

В эти дни все, кто хорошо его знал, заметили, что он сильно изменился. Исчезла деликатная, сдержанная, окрашенная легким юмором учтивость, к которой он приучил тех, с кем общался; исчезла сухая любезность, которая, казалось, сразу же закрывала путь всяким излияниям и в то же время говорила: «Если ты хочешь признаться мне в грехах, я не стану тебя осуждать, что бы ты там ни сделал»; исчезла несколько отсутствующая, чуть-чуть насмешливая манера: теперь вид у него был мрачный, углубленный в свое. Он как будто чурался своих друзей. Его поведение в клубе «Перо и чернила» разочаровывало любителей побеседовать. Было известно, что он пишет новую книгу, и подозревали, что он с ней «завяз». (Это викторианское выражение, вычитанное мистером Бэлидайсом в какой-то хронике посттеккерианских нравов и возрожденное им — он употреблял его в своей особой несравненной

манере, будто говоря: «Какие восхитительные словечки были у этих добрых буржуа!» — переживало теперь свое второе детство.)

На самом деле затруднения Хилери с его новой книгой заключались лишь в том, что он вообще не в состоянии был над ней работать. Даже горничная, убиравшая его кабинет, заметила, что день за днем ее встречает на столе все та же глава XXIV, несмотря на то что хозяин, как и прежде, проводил в кабинете каждое утро.

Перемена в его поведении, а также и в лице, напряженном и измученном, не прошла мимо Бианки, хотя она скорее умерла бы, чем призналась себе в том, что заметила в нем перемену. Это был один из тех периодов в жизни семей, которые напоминают час в конце лета — хмурый, наэлектризованный и пока еще тихий, но заряженный током приближающейся грозы.

Только дважды за те недели, пока Хьюз сидел в тюрьме, Хилери видел девушку. Один раз он встретил ее, когда подъезжал к дому: она вся вспыхнула, и глаза у нее зажглись. А однажды утром он прошел мимо нее — она сидела на той самой скамье, на которой они были тогда вместе. Она смотрела прямо перед собой, и уголки ее рта были уныло опущены. Она не заметила

Хи– лери.

Для такого человека, как Хилери, который меньше всего был способен бегать за женщинами и, в сущности, сторонился их, воображая, что и они отвечают ему тем же, было что-то необычайно заманчивое и пугающее в том, что молодая девушка по-настоящему преследует его. Это было и слишком лестно, и слишком стеснительно, и слишком неправдоподобно. Его чувство к ней, вспыхнувшее так внезапно, было мучительным чувством человека, который видит близко висящий спелый персик. Он постоянно мечтал о том, как протягивает к нему руку, и потому не смел или думал, что не смеет, проходить близко от него. Все это не способствовало серьезному, деловому образу жизни и к тому же порождало ощущение нереальности, которое и заставляло его избегать лучших своих друзей.

Отчасти это и послужило причиной тому, что Стивн зашел к нему как-то в воскресенье; второй же причиной было то, что, по его подсчетам, в ближайшую среду Хьюза выпускали из тюрьмы.

«Девушка продолжает ходить к ним в дом, — думал Стивн, — и Хилери предоставит события их течению до тех пор, пока ничего нельзя уже будет остановить, и заварится настоящая каша».

Тот факт, что Хьюз оказался в тюрьме, придавал какой-то зловещий оттенок всему делу, которое до этого упорядоченному и осторожному уму Стивна казалось лишь пошлым.

Проходя по саду, он услышал голос мистера Стоуна, доносившийся из открытого окна.

«Неужели старый чудачина не унимается даже в воскресенье?» — подумал он.

Он застал брата в его кабинете, — Хилери читал книгу о цивилизации Маккавеев[10], присланную ему на отзыв. Он приветствовал Стивна не слишком радушно.

Стивн стал осторожно нащупывать почву.

— Мы тебя не видели целую вечность. А наш старый приятель, я слышу, трудится вовсю. Он что, работает в две смены, чтобы закончить свой magnum opus[11]? Я полагал, он соблюдает день отдыха.

— Обычно он так и делает, — ответил Хилери.

— А сейчас у него эта девушка, он ей диктует.

Хилери нахмурился. Стивн продолжал более осмотрительно:

---

[10] Примечания: 10

Маккавеи — иудейский жреческий род; в 142–40 гг. до нашей эры — правящая династия в Иудее.

[11] Примечания: 11

Главное произведение, шедевр *(лат.)*.

— Нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы он к среде закончил свою писанину? Ведь ему, надо полагать, осталось совсем немного?

Мысль о том, что мистер Стоун может закончить свою книгу к среде, вызвала на лице Хилери бледную улыбку.

— А ты мог бы заставить ваше судопроизводство к среде уладить все дела человеческие раз и навсегда? — сказал он.

— Черт возьми! Неужели дело обстоит так скверно? Я все же думал, что он намерен дописать ее когда-нибудь.

— Когда все люди станут братьями, тогда книга будет закончена.

Стивн свистнул.

— Послушай, дружище, — сказал он, — в среду выходит на свободу тот негодяй. Вся история начнется сначала.

Хилери встал и зашагал по кабинету.

— Я отказываюсь считать Хьюза негодяем, — проговорил он. — Что мы знаем о нем и вообще о них всех?

— Вот именно. Что мы знаем о девушке?

— Я не намерен обсуждать эту тему, — ответил Хилери отрывисто.

На один миг на лицах братьев появилось

жесткое, враждебное выражение, как если бы глубокая разница между ними победила наконец их взаимную преданность. Казалось, они оба заметили это, потому что тут же отвернулись друг от друга.

— Я только хотел напомнить тебе, — сказал Стивн. — Ты, конечно, сам знаешь, как поступать.

Хилери кивнул, а Стивн подумал: «Именно этого ты и не знаешь».

Вскоре он ушел, чувствуя непривычную неловкость в обществе брата. Хилери проводил его до калитки и сел на скамью в углу сада.

Посещение Стивна только пробудило в нем запретные желания.

Яркий солнечный свет падал на этот лондонский садик, обычно такой тенистый, оставляя всюду светлые полоски и пятна — такие, какие жизнь оставляет на лицах тех, кто слишком много живет головой. Сидя под еще не распустившейся акацией, Хилери заметил раннюю бабочку, летавшую над цветами герани, которой были обсажены старые солнечные часы. Дрозды распевали свою вечернюю песнь; в воздух, чуть туманный от дыма, прокрался запах доцветающей сирени. Ярко, но не радостно было в этом

садике; были запахи цветов, но не было волн аромата над золотыми озерами лютиков, над морем всходящего клевера, над колеблемой ветром серебряной недозрелой пшеницей; была музыка, но не было мощного хора, не было жужжания насекомых. Как лицо и вся фигура хозяина, так и садик, в котором солнце редко достигало циферблата солнечных часов, был изысканным и робким — истинное детище города. Однако сейчас Хилери выглядел не совсем обычно: лицо у него раскраснелось, глаза смотрели сердито — он казался почти человеком действия.

Временами все еще слышался голос мистера Стоуна, он долетал порывами, дрожал в воздухе, а иногда и сам старик, с рукописью в руках, появлялся в окне; профиль его четко выделялся на фоне темной комнаты. Одна фраза донеслась через весь сад:

— «Среди бурных открытий тех дней, которые, как моря, изобилующие пе-ре-се-кающимися течениями и бесчисленными волнами, обрушивались на берег, размывая скалы…»

Остальное потонуло в шуме пронесшегося мимо автомобиля, а когда голос снова стал слышен, мистер Стоун, очевидно, диктовал уже следующий абзац:

— «В тех местах, на тех улицах толпились тени, шурша и гудя, как рой умирающих пчел, которые, доев свой мед, снуют холодными зимними днями в поисках цветов, уже убитых морозом».

Большая пчела, кружившая подле куста сирени, принялась теперь летать вокруг головы мистера Стоуна. Хилери увидел, что старик поднял обе руки.

— «Огромными скопищами, в тесноте, лишенные света и воздуха, они собрались вместе, эти бескровные отпечатки более высоких форм. Они лежали, как отражение листьев, которые, свободно трепыхаясь на нежном ветерке, бросают на землю слабые свои подобия. Невесомые, темные призраки, скитальцы, прикованные цепью к земле, они не надеялись попасть в Чудесный Город и не знали, откуда они пришли. Люди бросали их на тротуар и шли дальше, наступая на них. Не проникшись чувством всемирного братства, они не прижимали своих теней к груди, чтобы те спали в их сердцах. Ибо солнце еще не достигло зенита, не настал еще полдень, когда у человека не бывает тени».

Когда слова этой лебединой песни замерли вдали, старик качнулся, задрожал и вдруг исчез из глаз, вероятно, сел. Его место у окна заня-

ла маленькая натурщица. Увидев Хилери, она вздрогнула; потом стояла как вкопанная и глядела на него. Из глубины темной комнаты глаза ее с разлившимися зрачками казались двумя черными пятнами, попавшими из окружавшей тьмы на ее лицо, бледное, как цветок. В таком же оцепенении Хилери смотрел на нее.

Позади него послышался голос:

— Здравствуйте! Я, видите ли, решил немного погонять свой «Дэмайер». — Это вошел в калитку мистер Пэрси, и взгляд его был устремлен на окно, в котором стояла девушка. — Как поживает ваша супруга?

Этот резкий переход к низменной прозе вызвал в Хилери острую ярость. Он смерил взглядом мистера Пэрси от его цилиндра до штиблет с парусиновым верхом и проговорил:

— Быть может, зайдем в дом и разыщем ее?

По пути к дому мистер Пэрси сказал:

— Это та самая молоденькая… гм… натурщица, та самая, которую я встретил тогда в студии вашей жены, да? Недурна девица.

Хилери сжал губы.

— Интересно, как живут такие вот девушки, — не унимался мистер Пэрси. — Я думаю, у них есть и другие источники доходов, как вы пола-

гаете, а?

— Наверно, живут так, как положил им жить Господь Бог. Как и все другие люди.

Мистер Пэрси глянул на него испытующе. Было похоже на то, что мистер Даллисон решил осадить его.

— Ну, само собой. Сдается мне, эта девица трудностей не встретит.

И тут он увидел, что с «этим писакой», как с тех пор он стал называть Хилери, произошла странная перемена. Мягкий, симпатичный добряк сделался злой как черт.

— Моей жены, по-видимому, нет дома, — сказал Хилери. — И я тоже вынужден скоро уйти.

Изумленный и рассерженный, мистер Пэрси сказал с величайшей простотой:

— Прошу прощения, если я de trop[12].

И вскоре стало слышно, как «Дэмайер» с несколько излишним шумом уносит его прочь.

---

[12] Примечания: 12
Лишний (фр.).

Глава XXXII
За вуалью Бианки

Но Бианка была дома. Она перехватила долгий взгляд, каким Хилери смотрел на маленькую натурщицу, потому что в это время, выйдя из студии, шла по застекленному проходу в дом. Ей, конечно, не было видно, на что Хилери так пристально смотрит, но она знала это твердо, как если бы девушка стояла прямо перед ней в темном провале раскрытого окна. Преисполненная ненависти к самой себе за то, что увидела это, Бианка вошла в свою комнату и долго лежала на кровати, прижав руки к глазам. Она привыкла к одиночеству — неизбежному уделу таких натур. Но горькое одиночество этого часа даже ее одинокую натуру повергло в отчаяние.

Наконец она встала и привела в порядок лицо и волосы, чтобы никто не заметил ее страданий. Затем, убедившись, что Хилери в саду нет, незаметно выскользнула из дому.

Она направилась к Гайд-парку. Шла неделя после Троицына дня — ужасное время для культурного лондонца. Город, казалось, стал

воплощением скучного веселья, по улицам кружились, подхваченные пыльным ветром, бумажные пакеты. Повсюду толпами двигались люди в праздничной одежде, которая не шла им. Этим смертельно усталым людям не дано было отдохнуть за несколько часов досуга, вырванных из вечности труда: изголодавшийся инстинкт гнал их на поиски удовольствий, к которым они стремились слишком сильно, чтобы суметь насладиться ими.

Бианка прошла мимо старого бродяги, спавшего под деревом. Его одежда облекала его так долго и так любовно, что теперь еле держалась на нем; но на лице его было спокойствие, как маска из тончайшего воска. Забыты были все горести и страдания — он пребывал в блаженном царстве сна.

Бианка поспешила прочь от этого зрелища безмятежного покоя. Она забрела в рощицу, почти ускользнувшую от внимания гуляющих. Тут росли липы, еще хранящие в себе свой медовый дух. Их ветви со светлыми широкими листьями, формой напоминающими сердце, раздвинулись во все стороны, как пышная юбка. Самая высокая среди них, прекрасная, веселая липка, вся нежно трепетала, как красавица, поджидающая замеш-

кавшегося любовника. Какие радости сулила она каждым своим трепетным, покрытым прожилками листком, какие тонкие наслаждения! И вдруг солнце подхватило ее, подняло к себе, осыпало поцелуями; она испустила вздох безмерного счастья, как будто душа ее рвалась к сердцу возлюбленного.

Между деревьями, осторожно оглядываясь, шла женщина в сиреневом платье. Она села на скамью неподалеку от Бианки и бросала из-под зонтика быстрые взгляды по сторонам.

Вскоре Бианка увидела, кого ждала женщина. Молодой человек в лощеном цилиндре и черном сюртуке подошел к женщине и коснулся ее плеча. Теперь они сидели рядом, почти скрытые листвой, наклонившись вперед, тихонько водя по земле она зонтиком, он — тростью; были еле слышны их приглушенные голоса, почти шепот, нежный, интимный. Вот молодой человек мягко коснулся ее руки, потом локтя. Эти двое не принадлежали к праздничной толпе, они, очевидно, воспользовались вульгарным гуляньем для тайного свидания.

Бианка торопливо двинулась прочь. Она вышла из Гайд-парка. По улицам разгуливали, держась под руку, пары, не столь тщательно

скрывающие свои близкие отношения. Их вид не кольнул Бианку так больно, как вид тех влюбленных в парке, — эти, на улице, были не ее круга. Но вот она увидела на пороге большого дома двоих детишек, мальчика и девочку, — они спали в обнимку, крепко прижавшись друг к другу щеками. И опять она заспешила дальше. Во время этих долгих скитаний по улицам она прошла мимо дома, которого так страшился «Вест-министр». В воротах стояли старик и старуха — они прощались на ночь, собираясь разойтись: он — на мужскую половину, она — на женскую. Их беззубые рты сблизились.

— Ну, мать, спокойной ночи.

— Спокойной ночи, отец, спокойной ночи! Береги себя!

И снова Бианка бежала прочь.

Уже в десятом часу она пришла на Олд-сквер и, остановившись у дома сестры, позвонила. Сейчас ею владело лишь одно желание — отдохнуть, и притом где-нибудь не у себя дома.

В конце длинной, с низкими потолками гостиной Стивн, в смокинге, читал вслух какую-то статью. Сесилия с сомнением поглядывала на один из его носков, на котором белело крохотное пятнышко: это, возможно, просвечивала нога. У

окна в противоположном конце комнаты Тайми и Мартин поочередно произносили друг перед другом речи. Молодые люди не двинулись с места, когда вошла Бианка, всем своим видом говоря: «Мы не признаем этих дурацких рукопожатий».

Получив от Сесилии легкий, теплый и неуверенный поцелуй, а от Стивна — вежливое, сухое рукопожатие, Бианка сделала знак, чтобы он не прерывал чтения. Он продолжал читать. Сесилия снова принялась разглядывать его носок.

«Ах, боже мой, — думала она, — Бианка, конечно, пришла потому, что несчастлива. Вот бедняжка… И бедный Хилери… Наверное, это все опять из-за той отвратительной истории…»

Давно изучив каждую интонацию в голосе мужа, Сесилия знала, что приход Бианки вызвал и у него то же течение мыслей; в словах, которые он читал, ей слышалось: «Я не одобряю, нет, не одобряю. Она сестра Сесси, но не будь все это ради Хилери, я бы не потерпел, чтобы в моем доме обсуждались подобные темы».

Бианка, всегда тонко подмечавшая в других каждый оттенок чувств, видела, что она здесь не очень желанная гостья. Приподняв вуаль, она откинулась на спинку стула и как будто слушала, о чем читал Стивн, на самом же деле внутри у нее

все дрожало при виде этих двух пар.

Пары, пары — только ей это не суждено! За что? Какое преступление она совершила? Какой изъян в ее чаше, из которой никто не хочет пить? Почему она сотворена такой, что ее никто не любит? Эта мысль, самая горькая, самая трагическая из всех, не давала ей покоя.

Статья, которую читал Стивн (в ней необыкновенно точно разъяснялось, что делать с людьми, чтобы они из людей одного сорта становились людьми другого сорта, и доказывалось, что в случае, если после этого превращения обнаружатся признаки рецидива, необходимо выяснить причину этого), не доходила до ушей Бианки, которая все задавала себе мучительный вопрос: «Почему это так со мной? Это несправедливо»; все слушала, как гордость нашептывает ей: «Ты здесь лишняя; ты везде лишняя. Не лучше ли вовсе уйти из жизни?»

Тайми и Мартин не обращали на нее внимания. Для них она была пожилой родственницей, «дилетанткой», чей насмешливый взгляд иной раз проникал сквозь броню их молодости. Кроме того, они были слишком поглощены своим разговором, чтобы заметить, в каком она состоянии. Словесная их перестрелка длилась уже несколько

дней, с тех пор как умер ребенок Хьюзов.

— Ну хорошо, — говорил Мартин, — а что ты все-таки собираешься делать? Толку мало связывать все это со смертью младенца. Ты должна обо всем иметь твердое мнение. Нельзя браться за работу на основании одних сентиментов.

— Ты ведь сам ходил на похороны, Мартин. И нечего прикидываться, будто тебя это совершенно не тронуло.

Ответить на такую инсинуацию Мартин счел ниже своего достоинства.

— Нельзя опираться на сентименты, — сказал он. — Это устарело, так же как и правосудие, которое находится в руках высшего класса: на одном глазу повязка, а другим косит. Если ты увидишь в поле умирающего осла, ты ведь не станешь посылать его в какое-нибудь «общество», как это сделал бы твой папочка. И тебе не понадобится трактат Хилери, преисполненный сочувствия ко всем и озаглавленный: «Странствия по полям. — Размышления о смерти ослов». Все, что тебе надо сделать, — это пустить в осла пулю.

— Ты всегда нападаешь на дядю Хилери, — сказала Тайми.

— Против самого Хилери я ничего не имею, я возражаю против людей такого типа.

— Ну а он возражает против людей такого типа, как ты.

— Не скажи, — проговорил Мартин медленно. — У него для этого нет достаточной силы характера.

Тайми вскинула подбородок и, глядя на Мартина прищуренными глазами, сказала:

— Знаешь, мне кажется, что из всех самоуверенных людей, каких мне только приходилось встречать, ты самый худший!

Ноздри у Мартина дрогнули.

— Готова ты всадить пулю в осла или нет — отвечай!

— Я вижу перед собой только одного осла, и он пока не собирается умирать.

Мартин схватил ее за руку пониже локтя и, крепко держа, сказал:

— Не увиливай!

Тайми силилась высвободить руку.

— Пусти!

Мартин смотрел ей прямо в глаза. Щеки его залились краской.

У Тайми лицо тоже стало цвета темной розы, как портьера, висевшая рядом.

— Пусти!

— Не пущу! Я заставлю тебя приобрести нако-

нец твердые взгляды. Как ты намерена жить? Берешься ты за это в припадке сентиментальности или же серьезно решила делать дело?

Девушка, будто загипнотизированная, перестала сопротивляться. На лице ее появилось удивительнейшее выражение — в нем были и покорность, и вызов, и боль, и радость. Так они сидели с полминуты, глядя в глаза друг другу. Услышав какой-то шорох, они обернулись и увидели, что Бианка направляется к двери. Сесилия тоже встала.

— Бианка, в чем дело?

Бианка открыла дверь и вышла. Сесилия быстро последовала за ней, но она не успела увидеть лица сестры, скрытого вуалью.

В комнате мистера Стоуна неярко горела зеленая лампа, а сам он, в коричневом шерстяном халате и в комнатных туфлях, сидел на краю своей раскладной кровати.

И вдруг ему показалось, что он не один в комнате.

— На сегодня я работу закончил, — проговорил он. — Я жду, когда взойдет луна. Сейчас она почти полная. Отсюда мне будет виден ее лик.

Кто-то сел на кровать рядом с ним и тихо сказал:

— Лик женщины.

Мистер Стоун узнал свою младшую дочь:

— На тебе шляпа? Ты собираешься выходить, дорогая?

— Нет, я только что вернулась и увидела, что у тебя горит свет.

— Луна — бесплодная пустыня, — сказал мистер Стоун. — Там не знают, что такое любовь.

— Как же ты тогда можешь смотреть на нее? — прошептала Бианка.

Мистер Стоун поднял вверх палец:

— Она взошла.

Бледная луна скользнула на темное небо. Свет ее проник в сад и через открытое окно на кровать, где они сидели.

— Если нет любви, нет и жизни, — сказала Бианка. — Разве не так, папа?

Глаза мистера Стоуна, казалось, пили лунный свет.

— Да, это великая истина. Что это — кровать дрожит!

Крепко прижав руки к груди, Бианка силилась побороть беззвучные рыдания. Эта отчаянная борьба причиняла ей невыносимые муки, и мистер Стоун сидел молча, сам весь дрожа. Он не знал, что ему делать. За долгие годы, посвящен-

ные всемирному братству, его застывшее сердце позабыло, как помочь родной дочери. Он только мог коснуться ее своими худыми, дрожащими пальцами.

Бианка, чье теплое тело он почувствовал под своей рукой, затихла, словно его беспомощность заставила ее почувствовать, что и он тоже одинок. Она крепче прижалась к отцу. Лунный свет, поборов мигающий огонек лампы, наполнил собой всю комнату.

Мистер Стоун сказал:

— Я бы хотел, чтобы была жива ее мать.

Бианка опять разрыдалась.

Бессознательно проделав старое, забытое движение, рука мистера Стоуна обняла дрожащее тело дочери.

— Я не знаю, что сказать ей, — бормотал он и вдруг начал медленно раскачиваться. — Движение успокаивает.

Луна покинула комнату. Бианка сидела так тихо, что мистер Стоун перестал раскачиваться. Его дочь больше уже не рыдает. Вдруг ее поцелуй обжег ему лоб.

Весь дрожа от этой горестной ласки, он поднес пальцы к тому месту на лбу, куда она его поцеловала, и огляделся по сторонам.

Но Бианки в комнате уже не было.

Глава XXXIII
Хилери решает проблему

Чтобы понять до конца поведение Хилери и Бианки в этом «кафликте», как выразился бы «Вест-министр», необходимо принять в расчет не только их чувства, свойственные всем человеческим существам, но и ту философию брака, которой оба придерживались. По своему воспитанию и окружению они принадлежали к общественной группе, которая «в те дни» отвергла старомодные взгляды на брак. Выступая против собственнических принципов и даже своих законных прав, люди, составлявшие эту группу, оказывались тем самым поборниками неограниченной, пожалуй, слишком шумно заявляющей о себе свободы. Как все оппозиционеры, они были вынуждены, исключительно ради принципа, не соглашаться с власть имущими и с презрением и обидой смотрели на большинство, которое, в силу своего численного превосходства, объявляло свои убеждения законом, гласившим: «Это моя собственность и останется таковой навсегда». Поскольку закон

все же обязывал их смотреть на мужей и жен как на собственность, они были вынуждены, даже в самых счастливых супружеских союзах, всячески остерегаться, чтобы не проникнуться отвращением к своему положению супругов. Самая законность их брака побуждала их к тому, чтобы говорить о нем с ужасом. Они были как дети, которых отправили в школу в брючках, едва доходящих до колен, и которые сознают, что не в силах ни укоротить свой рост, подогнав его к длине брючек, ни заставить расти сами брючки. Они являли собой пример той извечной «смены одних форм другими», которую мистер Стоун назвал Жизнью. В далеком прошлом мыслители, мечтатели и «художники-мазилы», отвергая установленные формы, тем самым намечали новые формы для закона о браке, и на основе картин, мыслей и мечтаний, не получивших признания при их жизни, он потом и сложился, — тогда, когда сами они уже обратились в ветер. А теперь закон этот, в свою очередь, стал высохшей кожурой, лишенной зерен разума, и опять мыслители, мечтатели и «художники-мазилы» отрицали его и опять оставались непризнанными.

Вот эта непризнанная вера, этот воровской кодекс и был душой той короткой беседы, которая

произошла между Хилери и Бианкой во вторник, на следующий день после того, как мистер Стоун сидел у себя на кровати и ждал, когда взойдет луна.

Бианка сказала спокойно:

— Я думаю на некоторое время уехать.

— Быть может, ты предпочитаешь, чтобы уехал я?

— Ты здесь нужен, а я — нет.

Эти холодные и ясные, как лед, слова заключили в себе основу основ всего, и Хилери спросил:

— Ты ведь не сейчас собираешься ехать?

— Вероятно, в конце недели.

Заметив, что Хилери пристально смотрит на нее, она добавила:

— Да, мы оба с тобой выглядим не слишком хорошо.

— Мне очень жаль.

— Я знаю.

И все. Но этого было достаточно, чтобы Хилери снова пришлось решать проблему.

Основные элементы этой проблемы оставались прежними, но относительные ценности изменились. Искушения святого Антония с каждым часом становились все мучительнее. У Хилери не было принципов, которые он мог бы им про-

тивопоставить, — было только органическое отвращение к тому, чтобы причинять боль другому, и смутная догадка, что уступи он своим желаниям, и он окажется перед проблемой еще куда более сложной. Он не мог рассматривать создавшееся положение так, как это сделал бы мистер Пэрси, если бы это *его* жена от него отдалилась, а на пути его встала молодая девушка. Мистера Пэрси не тревожили бы ни беззащитность девушки, ни сомнения относительно их совместного будущего. Этот славный малый с его прямолинейностью думал бы только о настоящем и уж, конечно, и в мыслях не имел бы связать свою жизнь с молодой особой из низов. Заботы о жене, которая сама пожелала от него отдалиться, также, разумеется, не принимались бы им в расчет. То, что Хилери все эти вопросы волновали, свидетельствовало о его «декадентстве». А пока факты требовали практического решения.

Он не разговаривал с маленькой натурщицей со дня похорон ребенка, но своим взглядом тогда в саду он, в сущности, сказал ей: «Ты манишь меня к единственным возможным между нами отношениям». И она своим взглядом, в сущности, ответила ему: «Делай со мной, что хочешь».

Были и другие обстоятельства, с которыми

приходилось считаться. Завтра Хьюза выпускают из тюрьмы; маленькая натурщица не перестанет ходить к мистеру Стоуну, если только не запретить ей это; мистер Стоун, по-видимому, в ней нуждается; Бианка, по сути дела, объявила, что ее выгоняют из собственного дома. Такова была ситуация, над которой ломал голову Хилери, сидя под бюстом Сократа. Долгие и тягостные раздумья все время возвращали его к мысли, что не Бианка, а он сам должен уехать из дому. Он с горечью и презрением обвинял себя за то, что не догадался сделать это давным-давно. Он обзывал себя всеми кличками, которые дал ему Мартин: «Гамлет», «дилетант», «бесхребетный». Но это, к несчастью, не очень его утешало.

К концу дня ему был нанесен визит: держа в руке корзинку из ивовых прутьев, в кабинет вошел мистер Стоун. Он не присел, а сразу же заговорил:

— Счастлива ли моя дочь?

При этом неожиданном вопросе Хилери молча отошел к камину.

— Нет, — ответил он наконец. — Боюсь, что нет.

— Почему?

Хилери молчал. Затем, взглянув старику в ли-

цо, ответил:

— Я полагаю, что по некоторым причинам она будет рада, если я на время уеду.

— Когда?

— В самом ближайшем времени.

Глаза мистера Стоуна, светившиеся печалью, казалось, старались разглядеть что-то за стеной тумана.

— Мне думается, она приходила ко мне, — сказал он. — Я даже как будто помню, что она плакала. Добры ли вы к ней?

— Я старался.

Лицо мистера Стоуна вдруг покраснело.

— У вас нет детей, — проговорил он с болезненным усилием. — Вы живете как супруги?

Хилери отрицательно покачал головой.

— Вы чужие друг другу?

Хилери наклонил голову. Последовало долгое молчание. Мистер Стоун перевел взгляд на окно.

— Без любви не может быть жизни, — проговорил он наконец и опять посмотрел на Хилери.

— Она любит другого?

И снова Хилери покачал головой.

Когда мистер Стоун заговорил, было ясно, что он говорит про себя:

— Не знаю почему, но я рад этому. Вы любите

другую?

При этом вопросе брови Хилери сдвинулись.

— Что вы называете любовью?

Мистер Стоун не ответил. Он, очевидно, был погружен в глубокие размышления. Губы его начали шевелиться:

— Любовью я называю забвение самого себя. Часто бывают союзы, в которых только проявляются инстинкты пола или сосредоточенность на самом себе…

— Это верно, — прошептал Хилери.

Мистер Стоун поднял голову — лицо у него было напряженное, растерянное.

— Мы обсуждаем что-то?

— Я говорил о том, что для вашей дочери будет лучше, если я временно уеду.

— Да, вы чужие друг другу, — сказал мистер Стоун.

— У меня есть на совести одно дело, о котором я должен рассказать вам до того, как уехать. А потом решайте сами, сэр. Та молодая девушка, которая приходит к вам работать, больше уже не живет там, где жила прежде.

— На той улице… — начал было мистер Стоун.

Хилери быстро продолжал:

— Она была вынуждена переехать, потому

что муж той женщины, у которой она снимала комнату, увлекся ею. Он сидел в тюрьме и завтра выходит на свободу. Если девушка будет продолжать ходить сюда, он, конечно, сможет ее разыскать. Боюсь, что он опять начнет ее преследовать. Вы меня поняли, сэр?

— Нет, — ответил мистер Стоун.

— Этот человек, — терпеливо разъяснил Хилери, — жалкое, грубое существо, он был ранен в голову и не вполне отвечает за свои поступки. Он может обидеть девушку.

— Как обидеть?

— Он уже поранил штыком свою жену.

— Я поговорю с ним.

Хилери улыбнулся.

— Боюсь, что слова тут едва ли помогут. Она должна скрыться.

Воцарилось молчание.

— Моя книга! — проговорил мистер Стоун.

Хилери словно что ударило, когда он увидел, как вдруг побелело лицо старика. «Надо, чтобы он проявил силу воли, — подумал он. — Когда я уеду, она все равно сюда больше не придет».

Но он просто не мог видеть трагические глаза мистера Стоуна и, коснувшись его рукава, сказал:

— Быть может, сэр, она согласится на риск, если вы попросите.

Мистер Стоун не ответил, и Хилери, не зная, что еще сказать, отошел к окну. В негустой тени, где не было ни слишком тепло, ни слишком холодно, дремала Миранда, положив мордочку на лапы и слегка оскалив белые зубы.

Снова раздался голос мистера Стоуна.

— Вы правы: я не могу просить ее, чтобы она так рисковала!

— Вот она идет по саду, — сказал Хилери хрипло. — Позвать ее?

— Да.

Хилери знаком предложил девушке зайти.

Она вошла, неся в руке крохотный букетик ландышей. При виде мистера Стоуна лицо у нее погасло; она стояла молча, подняв букетик к груди. Поразителен был этот переход от трепещущей надежды к мрачному унынию. На щеках у нее вспыхнули красные пятна. Она перевела взгляд с мистера Стоуна на Хилери и снова на мистера Стоуна. Оба они смотрели на нее не отрываясь. Все трое молчали. Грудь маленькой натурщицы начала тяжело вздыматься, словно после быстрого бега.

— Смотрите, мистер Стоун, что я вам принес-

ла, — сказала она чуть слышно и протянула ему букетик ландышей. Но мистер Стоун не шевельнулся. — Они вам разве не нравятся?

Глаза мистера Стоуна по-прежнему были прикованы к ее лицу.

Хилери не вынес этого напряжения:

— Ну как, сэр, вы сами ей скажете или мне сказать?

Мистер Стоун заговорил:

— Я постараюсь дописать книгу без вашей помощи. Вы не должны подвергаться риску. Я не могу допустить этого.

Маленькая натурщица водила глазами из стороны в сторону.

— Но мне нравится писать, когда вы диктуете, — сказала она.

— Этот человек может вас обидеть, — сказал мистер Стоун.

Маленькая натурщица взглянула на Хилери:

— А мне все равно, я его не боюсь, я могу сама за себя постоять, мне это не в первый раз.

— Я уезжаю, — проговорил Хилери тихо.

Кинув на него отчаянный взгляд, будто спрашивая: «А я — я тоже еду?» — маленькая натурщица застыла на месте.

Чтобы прекратить мучительную сцену, Хилери

подошел к мистеру Стоуну.

— Вы будете диктовать ей сегодня, сэр?

— Нет.

— А завтра?

— Нет.

— Вы не хотели бы немного прогуляться со мной?

Мистер Стоун наклонил голову.

Хилери обернулся к маленькой натурщице.

— Итак, прощайте, — сказал он.

Она не приняла его протянутой руки. Глаза ее, глядевшие в сторону, сверкали; она закусила нижнюю губу. Потом уронила букетик, взглянула на Хилери, с усилием глотнула воздух и медленно вышла. Уходя, она наступила на упавшие ландыши.

Хилери подобрал то, что осталось от цветов, и бросил за решетку камина. В воздухе остался запах раздавленных ландышей.

— Теперь, сэр, мы можем отправиться на нашу прогулку, — сказал Хилери.

Мистер Стоун с трудом двинулся к двери, и вскоре оба они молча шагали к Кенсингтонскому саду.

Глава XXXIV
Приключение Тайми

В этот самый день Тайми вышла из дому, ведя одной рукой велосипед, а в другой держа легкий чемодан, и быстро свернула с Олд-сквер в проулок. Там она остановилась, поставила чемоданчик и дала свисток, подзывая кеб. Он подъехал к тротуару, и тут же какой-то оборванец, будто выскочивший прямо из-под земли, завладел ее чемоданом. В тощем небритом лице оборванца было страдание загнанного волка.

— Проваливай-ка, эй ты! — крикнул ему кебмен.

— Ничего, пусть, — пробормотала Тайми.

Оборванец поднял чемодан, поставил его в кеб и стоял неподвижно, дожидаясь, когда ему заплатят.

Тайми дала ему две мелкие монеты. Он молча глянул на них и ушел.

«Несчастный, — подумала она. — Вот одно из тех явлений, с которыми мы должны покончить в первую очередь».

Кеб двинулся в направлении Гайд-парка, и Тай-

ми последовала за ним на велосипеде, стараясь держаться невозмутимо.

«Вот и конец прежней жизни, — думала она. — Я не должна предаваться романтическим бредням и воображать, будто совершаю что-то необыкновенное; все это надо воспринимать как само собой разумеющееся». — Она вдруг вспомнила красную физиономию «этого типа», мистера Пэрси. Если бы он видел ее сейчас, когда она навеки расстается с комфортом! «Как только приеду, сейчас же дам знать маме. Может приехать хоть завтра, пусть сама все увидит. Я не желаю, чтобы по поводу моего исчезновения устраивали истерики. Они все должны привыкнуть к мысли, что я намерена быть в самой гуще жизни, и кто бы и что бы там ни думал, меня это не остановит».

Завидев приближающийся автомобиль, Тайми удивленно нахмурилась. Неужели это «тот тип»? Оказалось, что это вовсе не мистер Пэрси в своем «Дэмайере-А-прим», но сидевший в машине был так на него похож, что, в общем, это не составляло разницы. Тайми коротко рассмеялась.

На деревьях и на воде в Гайд-парке плясал и искрился холодноватый свет, и, казалось, таким же танцующим холодноватым светом искрятся глаза девушки.

Кебмен украдкой бросил на нее восхищенный взгляд, ясно говоривший: «Ну и лакомый кусочек!»

«Вот здесь купается дедушка, — подумала Тайми. — Бедный, милый дедушка. Мне жалко всех старых людей».

Проехав под тенью деревьев, кеб покатился по открытой дороге.

«Интересно, сколько «я» заключено в одном человеке, — размышляла Тайми. — Иной раз мне кажется, что во мне два «я». Дядя Хилери понял бы, что я имею в виду. Асфальт на тротуаре уже начинает отвратительно пахнуть, а ведь завтра еще только первое июня. Как-то там мама, очень ли огорчит ее мой отъезд? Вот было бы чудесно, если бы на свете не было огорчений!»

Кеб свернул в узкую улицу, справа и слева тянулись лавчонки.

«Как должно быть ужасно торговать в такой вот лавчонке! А какая все-таки масса людей на свете! Можно ли действительно сделать для них что-либо полезное? Мартин говорит, что главное — это каждому человеку делать свое дело. Но какое у человека самое главное дело?»

Кеб выехал на широкую нешумную площадь.

«Не буду ни о чем думать, — думала Тайми, —

это опасно. А что, если папа перестанет давать мне карманные деньги? Тогда мне придется зарабатывать себе на жизнь. Стану машинисткой или еще чем-нибудь в этом роде. Да нет, он не откажет, когда увидит, что мое решение твердо. И мама ему не позволит».

Кеб выехал на Юстон-Род, и опять широкая физиономия кебмена вопросительно глянула на Тайми.

«Какая мерзкая улица, — думала Тайми, — какие у лондонцев унылые, некрасивые, вульгарные лица. И у всех такой вид, будто им на все наплевать, только бы как-нибудь протянуть день. За всю дорогу попалось только два привлекательных лица».

Кеб остановился перед табачной лавочкой на южной стороне дороги.

«И это здесь мне придется жить?» — подумала Тайми.

За открытой дверью шел узкий коридор, потом узкая лестница, покрытая линолеумом. Тайми вкатила велосипед в переднюю. Из лавочки вышел какой-то юноша еврейского вида и заговорил с ней.

— Ваш друг, молодой джентльмен, сказал, чтобы вы подождали его у себя в квартире.

Ласковые рыжевато-карие глаза юноши любовались ею.

— Снести ваш чемодан наверх, мисс?

— Спасибо, я сама справлюсь.

— Второй этаж, — сказал юноша.

Комнатки были тесные, чистые и опрятные. Тайми отнесла чемодан в спальню, выходившую на пустой двор, вернулась в маленькую гостиную и раскрыла окно. Внизу на улице хозяин табачной лавочки и кебмен вступили в разговор. Тайми заметила, что оба они ухмыляются.

«Как ужасны и отвратительны мужчины!» — думала она, невесело поглядывая на улицу. Все казалось таким мрачным, запутанным — пыль, жара, суматоха, — как будто это забавлялся какой-то дьявол, вороша муравьиную кучу. Ноздрей Тайми коснулась вонь керосина и навоза. «Как все непостижимо, как безобразно!.. Я никогда ничего не сделаю, никогда, никогда! — думала Тайми. — Но почему же не идет Мартин?»

Она опять пошла в спальню и открыла чемодан. Оттуда пахнуло лавандой, и перед Тайми вдруг встала ее белая спаленка в родительском доме, и деревья зеленого сада, и дрозды в траве.

Шаги на лестнице заставили ее вернуться в гостиную. В дверях стоял Мартин.

Тайми побежала было к нему, но круто остановилась.

— Ну вот видишь, я пришла. Что это тебе вздумалось снять комнаты в таком месте?

— Я здесь живу, через две двери от тебя. И здесь живет одна девушка, тоже из наших. Она тебя введет во все дела.

— Она леди?

Мартин передернул плечами:

— Да, она то, что принято называть леди. Но важно не это, важно то, что она настоящий человек. Ее ничто не остановит.

Тайми выслушала это определение высшей добродетели с таким выражением, точно говорила: «В меня ты не веришь, а вот в ту девушку — веришь. Ты нарочно поселил меня здесь, чтобы она приглядывала за мной...»

Вслух она сказала:

— Я хочу послать вот эту телеграмму.

Мартин прочел текст:

— Напрасно ты струсила и хочешь рассказать матери о своих планах.

Тайми густо покраснела:

— Я не такая хладнокровная, как ты.

— Наше дело серьезное. Я тебя предупреждал, что незачем тебе и начинать, если ты в себе не

уверена.

— Если ты хочешь, чтобы я осталась, старайся говорить со мной повежливее.

— Можешь не оставаться, это твое личное дело.

Тайми стояла у окна, кусая губы, чтобы не расплакаться. Позади нее раздался очень приятный голос:

— Нет, но какой же вы молодец, что пришли!

Тайми обернулась и увидела девушку — худенькую, хрупкую, не очень красивую: нос у нее был чуть-чуть с кривинкой, губы слегка улыбались, зеленоватые глаза были огромные, сияющие. На девушке было серое платье.

— Меня зовут Мэри Донт. Я живу над вами. Вы уже пили чай?

В этом мягком вопросе, который задала ей девушка с сияющими глазами и ласковой улыбкой, Тайми усмотрела насмешку.

— Да, пила, спасибо. Вы мне, пожалуйста, объясните, в чем будет состоять моя работа. Если можно, то лучше сейчас же.

Девушка в сером взглянула на Мартина:

— А может быть, отложим до завтра? Я уверена, что вы устали. Мистер Стоун, скажите же, что ей надо отдохнуть!

Взгляд Мартина говорил: «Да бросьте вы, ради бога, ваши телячьи нежности!»

— Если ты действительно хочешь серьезной работы, ты будешь делать то же самое, что и мисс Донт, — сказал Мартин. — Специальности у тебя нет никакой. Все, что ты можешь, — это ходить в дома, проверять их благоустройство и условия, в которых живут дети.

Девушка в сером мягко сказала:

— Видите ли, мы ограничиваемся проблемой санитарных условий и детьми. Конечно, очень обидно и жестоко исключать взрослых и стариков, но денег у нас наверняка будет намного меньше, чем требуется… Эту часть дел приходится отложить на будущее.

Воцарилось молчание. Девушка с сияющими глазами добавила тихо:

— До 1950 года.

— Да, до 1950 года, — повторил за ней Мартин. Очевидно, то было какой-то заповедью их веры.

— Мне надо отослать телеграмму, — пробормотала Тайми.

Мартин взял у нее телеграмму и вышел.

Оставшись одни, девушки сперва молчали. Девушка в сером платье робко поглядывала на Тайми, словно не зная, как ей расценить это юное

создание, такое очаровательное, но бросавшее на нее хмурые, недоверчивые взгляды.

— По-моему, с вашей стороны просто чудесно, что вы пришли, — проговорила она наконец. — Я знаю, как привольно живется вам дома, ваш кузен часто мне о вас рассказывал. Правда, он изумительный человек?

На этот вопрос Тайми ничего не ответила.

— Как это все-таки ужасно, — сказала она, — рыскать по чужим домам…

Девушка в сером улыбнулась:

— Да, порой бывает трудно. Я занимаюсь этим уже полгода. Знаете, привыкаешь. Мне кажется, все самое худшее по своему адресу я уже выслушала.

Тайми передернуло.

— Видите ли, у вас скоро появится такое чувство, что вы просто должны пройти через это, — пояснила девушка в сером, и губы ее чуть тронула улыбка. — Мы все, конечно, понимаем, что дело наше необходимое, но среди нас больше всех на высоте ваш кузен, его, кажется, ничто не может обескуражить. У него какая-то особая жалость к людям, может, чуточку презрительная. Ни с кем так хорошо не работается, как с ним.

Через плечо своей новой подруги она глядела

в тот внешний мир, где небо состояло сплошь из телеграфных проводов и горячей желтой пыли. Она не заметила, что Тайми мерит ее с головы до ног враждебным, ревнивым и в то же время каким-то жалким взглядом, словно вынужденная признать, что эта девушка стоит выше ее.

— Нет, я не могу здесь работать, — сказала вдруг Тайми.

Девушка в сером улыбнулась.

— Я сначала тоже так думала, — сказала она и добавила, любуясь Тайми: — Но может быть, вам и в самом деле это не подходит, — вы такая хорошенькая. Возможно, вам поручат вести регистрацию, хотя, правду сказать, это очень скучно. Мы спросим вашего кузена.

— Нет, я или буду делать все, или ничего.

— Ну что же, — проговорила девушка в сером. — У меня на сегодня остался еще один дом, который надо обследовать. Хотите пойти?

Она вытащила из кармана юбки небольшую записную книжку.

— Совершенно не могу обходиться без кармана. Его хотя бы не потеряешь. Я за пять недель успела потерять четыре сумочки и две дюжины носовых платков, пока не поняла, что мне нужен карман. Боюсь, что дом, куда нам нужно идти, в общем,

ужасное место.

— За меня не бойтесь, — сказала Тайми коротко.

На пороге табачной лавочки юный хозяин дышал вечерним воздухом. Он приветствовал девушек вежливой, но не очень чистой улыбкой.

— Добрый вечер, прелестные мисс, — проговорил он, — какой приятный вечер!

— Довольно противный человечек, — заметила девушка в сером, когда они с Тайми дошли до перекрестка. — Но у него острое чувство юмора.

— А! — только и сказала Тайми.

Они свернули в переулок и остановились перед домом, несомненно, видавшим лучшие дни. Стекла были в трещинах, двери давно не крашены, а через подвальное окно можно было видеть кучу тряпья, какого-то зловещего вида мужчину подле нее и полыхающий огонь. У Тайми перехватило дыхание, ноздри ей заполнила мерзкая вонь горящих тряпок. Тайми взглянула на свою спутницу. Чуть заметно улыбаясь, та сверяла что-то по своей записной книжке. В душе Тайми поднялось недоброе чувство, почти ненависть к этой девушке, которая могла оставаться невозмутимой, деловитой, невзирая на такие сцены и запахи.

Дверь им открыла молодая женщина с красным

лицом, судя по всему, только что поднявшаяся с постели.

Девушка в сером сощурила свои сияющие глаза.

— Извините, пожалуйста, — сказала она. — Можно, мы на минуточку войдем? Мы собираем материал для отчета.

— Здесь собирать нечего, — ответила молодая женщина.

Но девушка в сером уже скользнула мимо нее, легко и быстро, как воплощенный дух приключений.

— Ну конечно, я понимаю, но, знаете, так, просто чтоб соблюсти формальность.

— Когда умер муж, мне пришлось со многими вещами расстаться, — сказала молодая женщина, как будто оправдываясь. — Жизнь не легкая.

— Да-да, разумеется, но, наверное, не хуже моей: каково это мне вечно бродить по чужим домам!

Молодая женщина оторопела.

— Ваш хозяин плохо следит за ремонтом, — сказала девушка в сером. — Соседний дом тоже принадлежит ему?

Молодая женщина кивнула:

— Плохой у нас хозяин. Да и все они здесь такие, на нашей улице. Ничего от них не добьешься.

Девушка в сером подошла к грязной плетеной колыбели, в которой лежал, раскинув ручки и ножки, полуголый ребенок. Некрасивая маленькая девочка с толстыми красными щеками сидела тут же на табурете, рядом с открытым шкафчиком для провизии, в котором были навалены сухие мясные кости.

— Ваши детишки? — спросила девушка в сером. — Какие милочки!

На лице молодой женщины расцвела улыбка.

— Ребятки у меня здоровые.

— Вероятно, это не обо всех детях в этом доме можно сказать?

Молодая женщина ответила подчеркнуто резко, словно давая выход давнишней злобе:

— Трое ребятишек, что живут на втором этаже, еще ничего, но вот те, на самом верху!.. Я моим не разрешаю с ними водиться.

Тайми увидела, что рука ее новой приятельницы, как светлый голубок, порхнула над головкой ребенка в колыбели. В ответ на этот жест молодая мать кивнула и сказала:

— Вот-вот. Приходится потом отмывать их, как только они побывают с теми, верхними.

Девушка в сером взглянула на Тайми, словно хотела сказать: «Вот туда-то нам, очевидно, и

надо идти».

— Уж такие-то грязнули, — пробормотала молодая женщина.

— Вам это, конечно, очень неприятно.

— Еще бы. Я ведь целый день занята стиркой, когда удается получить работу. Я не могу уследить за ребятишками, они бегают повсюду.

— Да, очень неприятно, — тихо повторила девушка в сером. — Я это все у себя запишу.

Вытаскивая записную книжку, в которую она принялась что-то энергично записывать, Мэри Донт выронила носовой платок, и вид его на грязном полу доставил Тайми какое-то странное удовольствие — так бывает, когда видишь, что у человека, выше тебя стоящего, отсутствует добродетель, которой сам ты обладаешь.

— Ну, не будем вас задерживать, миссис… миссис?..

— Клири.

— Миссис Клири. Сколько вашей дочке? Четыре? А маленькому? Два? Милочки! До свиданья!

В коридоре девушка в сером шепнула Тайми:

— Меня просто умиляет, когда мы гордимся тем, что мы лучше прочих. Это так бодрит и радует, не правда ли? Так как же, поднимемся, посмотрим на эту преисподнюю наверху?

Глава XXXV
Думы юной девушки

Думы юной девушки подобны весеннему лесу: сейчас это поднимающаяся от земли дымка из колокольчиков и солнечных бликов, а через минуту — мир притихших, нежных и грустных молодых деревцев, неведомо почему роняющих слезы. Сквозь путаные ветви, едва одетые зеленью, душа леса рвется на крыльях к звездам, но в следующее мгновение крылья сникли и уныло лежат подле сырых кустов. Весенний лес вечно тянется к грядущему и трепещет перед ним. В укромных его уголках скрываются бесчисленные намеки того, чему еще только суждено быть; они украдкой держат совет, как стать им явью и не утратить покрова тайны. Они шелестят, шепчут, вскрикивают внезапно и так же внезапно погружаются в сладостное молчание. Каждый куст орешника и каждый куст боярышника — это бесчисленные места встреч для всего того, что юно и торжественно-строго, что жаждет устремиться вперед, навстречу поцелуям ветра и солнца, и прячет лицо и отступает, оробев. Душа весеннего

леса лежит, прильнув ухом к земле, раковиной сложив за ухом руку, светлую, как бледный лепесток: душа леса слушает шепот собственной своей жизни. Так она лежит, белая, нежная, с задумчивыми, росистыми глазами, вздыхает: «Что я? Я — все. Есть ли что в целом свете чудеснее меня? О, я — ничто! Как тяжелы мои крылья! Я слабею, я умираю…»

Когда Тайми в сопровождении девушки в сером выбралась из «преисподней наверху», щеки у нее горели, руки были сжаты в кулаки. Она не произнесла ни слова. Девушка в сером тоже молчала и глядела так, как дух, расставшийся со своим телом оттого, что слишком долго купался в море действительности, глядел бы на того, кто только что подошел к воде и собирается в нее погрузиться. Тайми перехватила этот взгляд, и румянец на ее щеках запылал еще ярче. Она заметила также, как посмотрел еврейский юноша, когда на пороге их встретил Мартин. «Ого, уже не одна, а целых две, — говорил его взгляд. — Ничего себе, малый не промах!»

Ужин был собран в комнате Мэри Донт. На столе стояли мясные консервы, картофельный салат, компот из чернослива, бутылка лимонада. Разговор за ужином вели Мартин и девушка в се-

ром. Тайми ела молча, но, хотя казалось, что она не отрывает глаз от тарелки, она не пропустила ни одного взгляда, которыми обменялись те двое, слышала каждое сказанное ими слово. Во взглядах их не было ничего особенного, да и говорили они о вещах не очень важных — важен был тон, каким они обращались друг к другу. «Со мной он так никогда не говорит», — подумала Тайми.

После ужина все трое вышли пройтись, но у входной двери девушка в сером сжала локоть Тайми, чмокнула ее в щеку и побежала обратно вверх по лестнице.

— А вы разве не пойдете? — крикнул ей вслед Мартин.

Сверху донесся ее голос:

— Нет, сегодня нет.

Тыльной стороной руки Тайми стерла с лица поцелуй. Молодые люди вышли на оживленную улицу.

Вечер был теплый и душный — ни малейшего ветерка, который разогнал бы тяжкое дыхание города. Почти молча они брели по бесконечным темнеющим улицам, и возвращение к свету и движению Юстон-Род показалось Тайми возвращением в рай. Наконец, когда они опять подходили к ее новому жилищу, Тайми сказала:

— Чего ради хлопотать? Жизнь — ужасная огромная машина, она старается раздавить нас. Люди — крохотные козявки, которых придавливают ногтем и размазывают на странице книги. Я ненавижу все это, мне это отвратительно!

— Пока козявки живут, пусть они будут хотя бы здоровыми козявками, — ответил Мартин.

Тайми повернулась и посмотрела ему в лицо:

— Вытащи мне велосипед, Мартин, я сегодня все равно не усну.

Мартин испытующе поглядел на нее при свете уличного фонаря.

— Ладно, — сказал он, — я тоже поеду.

Моралисты говорят, что есть дороги, ведущие в ад, но дорога, по которой около одиннадцати часов вечера отправилась юная пара, вела в Хамстед. Разница в характере этих двух пунктов назначения вскоре стала очевидной, ибо если ад — создание всего человечества в целом, то Хамстед был, несомненно, сотворен высшим классом. Здесь имелись и деревья, и сады, а над головой вместо темных каналов, затянутых желтой пеной лондонских огней и окаймленных, как берегами, крышами домов, раскинулось небо, словно широкое, колышущееся озеро. По обе стороны Спаньярд-Род, этого крепостного вала старого

города, тянулась равнина. Запах боярышника пробирался вверх на дорогу; всходящая луна льнула к ветвям высокой ели. Над сельским краем властвовали далекие звезды, и темные крылья сна распростерлись над полями — безмолвное, почти не дышащее, лежало тело Земли. Но там, к югу, где был город — эта не знающая спокойствия голова, — казалось, что звезды упали и засеяли собой тысячи рытвин огромного серого болота; из темных испарений улиц неслись шорохи, шепот, далекий зов бессмертной танцовщицы, манящей взглянуть, как кружится и взлетает ее черное, усыпанное блестками покрывало, как мерцают ее гибкие руки и ноги. Будто песня моря в раковине, рокотал голос этой чаровницы, хватающей людские души, чтобы унести их вниз к той душе, которую никто никогда не видел в покое.

Над головами юных велосипедистов, мчавшихся по дороге между деревней и городом, медленно плыли на запад три тонких белых облачка, словно измученные полетом чайки, оставившие сушу далеко за собой и изнемогающие от усталости над морем, таким бездонным, что синева его кажется черной.

Целый час молодые люди, не обменявшись ни словом, удалялись от города.

— Ну как, достаточно далеко мы заехали? — спросил наконец Мартин.

Тайми помотала головой. Длинный крутой подъем, начинавшийся за маленькой спящей деревней, заставил их остановиться. На темных полях блистала в лунном свете бледная полоса воды. Тайми свернула с дороги.

— Мне жарко, — сказала она, — я пойду умоюсь. Оставайся здесь, не ходи за мной.

Она слезла с велосипеда и, пройдя сквозь какую-то калитку, исчезла среди деревьев.

Мартин стоял, опершись о калитку. Часы в деревне пробили час. Сквозь торжественную тишину этой последней майской ночи откуда-то издалека донесся крик вылетевшей на охоту совы: «Кью-виик, кью-виик...» Луна, поднявшись до самого верха своей орбиты, мирно плыла на синеве неба, словно сомкнувшая свои лепестки большая водяная лилия. Сквозь деревья Мартин различил на берегу пруда темные заросли камышей, похожих на турецкие сабли. А вокруг светились белые цветы боярышника. Это была такая ночь, когда мечта становится явью и явь становится мечтой.

«Все это чепуха, луна и прочее», — подумал молодой человек, ибо ночь растревожила его

сердце.

Тайми все не возвращалась. Мартин окликнул ее, и в наступившей затем мертвой тишине слышал удары собственного сердца. Он прошел в калитку. Тайми нигде не было видно. Зачем она сыграла с ним эту шутку?

Он повернул прочь от пруда и вошел в гущу деревьев, где в воздухе плавал густой фимиам боярышника.

«Никогда ничего не ищи», — подумал он и вдруг прислушался. Воздух был так тих, что листья невысокого куста, касавшиеся щеки Мартина, не шевелились. Он расслышал какие-то слабые звуки и пошел на них. Он чуть не споткнулся о Тайми — она лежала под буком, уткнувшись лицом в землю. Сердце юного медика больно сжалось. Он быстро опустился на колени возле девушки. Все ее тело, прильнувшее к ковру из сухих листьев, сотрясалось от рыданий. Она сбросила с себя шляпу, и запах ее волос смешался с благоуханием ночи. В сердце Мартина что-то переворачивалось, как когда-то, когда он еще мальчиком увидел кролика, попавшего в силки. Он коснулся девушки. Она вскочила и, порывисто прикрыв глаза рукой, крикнула:

— Уходи! Уходи же!

Он обнял ее за плечи и ждал. Прошло минут пять. Воздух слабо мерцал — луна пробралась сквозь темную листву и лила потоки света на черные буковые орешки, казавшиеся теперь белыми. Какая-то пичужка, потревоженная необычными пришельцами, принялась порхать и чирикать, но вскоре смолкла. Мартина, так неожиданно оказавшегося ночью вдвоем с юной девушкой, охватило смятение.

«Бедная девочка, — говорил он себе, — ну пожалей же ее!» У нее, видно, совсем не осталось сил, а ночь такая чудесная… И тут молодой человек ясно понял — а это с ним случалось нечасто, ибо, не в пример Хилери, он не был философствующего склада, — что девушка рядом с ним — такой же живой человек, как и он сам, что она тоже и страдает, и надеется, но не так, как он, а по-своему. Пальцы Мартина все сжимали ее плечо сквозь тонкую блузку. И прикосновение этих пальцев значило больше, чем любые слова, как эта ночь, эта залитая лунным светом мечта значила больше, чем тысяча трезвых, реальных ночей.

Наконец Тайми высвободила плечи.

— Я не могу, не могу, — рыдала она, — я не такая, какой ты меня считаешь! Я не создана для этого!

Презрительная улыбочка скривила его губы. Так вот в чем дело! Но улыбка тут же исчезла. Лежачего не бьют.

Голос Тайми разрывал тишину:

— Я думала, я смогу, но нет, нет, я не могу жить без красоты! А там жизнь такая серая, страшная… Я не похожа на *ту* девушку. Я… я дилетантка!..

«Если я ее сейчас поцелую…» — подумал Мартин.

Тайми снова припала к сухим листьям, зарылась в них лицом. Лунный свет ушел дальше. Голос Тайми звучал теперь слабо и приглушенно, словно шел из могилы, где была схоронена вера.

— Я ни на что не гожусь! И никогда ни на что не буду годиться! Я такая же, как мама!

Но Мартин не слышал ничего, кроме запаха ее волос.

— Да, я только и гожусь, что для этого несчастного искусства, — невнятно бормотал голос Тайми. — Ни для чего я не гожусь!

Они были совсем рядом, тела их касались, и Мартина охватило желание стиснуть девушку в объятиях.

— Я гадкая эгоистка! — жаловался приглушенный голос. — Я равнодушна к этим людям, мне нет до них дела — я только вижу, что они без-

образны!

Мартин протянул руку и коснулся ее волос. Если бы она отпрянула, он бы обнял ее, но она инстинктивно не оттолкнула его руки. Она внезапно затихла, лежала теперь такая непонятная, трогательная, и вспыхнувшая было в Мартине страсть погасла. Он обхватил девушку рукой, приподнял, как ребенка, и долго сидел, криво усмехаясь, слушая ее сетования об утраченных иллюзиях.

Рассвет застал их на том же месте, под буком. Губы ее были полураскрыты, слезы высохли на спящем лице, прильнувшем к его плечу, а Мартин все смотрел на нее, забыв стереть с лица кривую усмешку.

А за серой полоской воды луна, как усталая блудница в оранжевом капюшоне, кралась между деревьями, уходя на покой.

Глава XXXVI
Стивн подписывает чеки

Когда пришло загадочное извещение, в котором стояло: «Здорова адрес Юстон-Род 598 через три двери от Мартина подробности письмом Тайми», — Сесилия еще даже не успела сообразить, что ее дочурки нет дома. Она тотчас поднялась в комнату Тайми, открыла там один за другим все ящики и шкафы и убедилась, что вещей в них много; на первых порах это ее несколько успокоило.

«Она взяла с собой только один маленький чемодан, — подумала Сесилия, — и оставила все вечерние платья».

Этот акт независимости встревожил ее, но не особенно удивил: последний месяц домашняя атмосфера была очень напряженной. С того вечера, когда она застала Тайми в слезах из-за смерти ребенка Хьюзов, ее материнские глаза не преминули заметить, что в облике дочери появилось что-то новое: частая смена настроений, чуть ли не заговорщицкий вид, значительно усилившаяся юношеская саркастичность. Страшась заглянуть

поглубже, она не пробовала вызвать дочь на откровенность и не стала делиться сомнениями с мужем.

На глаза ей попался лежавший среди блузок разлинованный лист голубой бумаги, очевидно, вырванный из тетрадки. На нем было нацарапано карандашом: «Несчастный мертвый младенчик был такой серый, худенький, и я вдруг сразу поняла, как ужасно живут эти люди. Я должна, я должна что-то сделать — я непременно сделаю что-то!..»

Сесилия уронила листок; рука ее дрожала. Теперь уже было ясно, почему ушла дочь, и Сесилии вспомнилось, что говорил Стивн: «До поры до времени все это очень хорошо, и никто не преисполнен к ним большего сочувствия, чем я; но стоит перейти границу — и конец покою, а прока от того нет никому».

Тогда ее немного покоробило от этих благоразумных слов; теперь они показались ей лишь еще более здравыми. Неужели ее дочурка, юная, хорошенькая, серьезно решила посвятить себя альтруистической деятельности в мрачных трущобах, отрешиться от тонких, нежных звуков, запахов и оттенков, изъять из своей жизни музыку, искусство, танцы, цветы — все, что делает

жизнь прекрасной? Глубоко скрытая брезгливость, врожденный страх перед фанатизмом и полное незнание той, чужой жизни — все это поднялось в Сесилии разом и так стремительно, что ей стало почти дурно. Уж лучше бы жизнь отняла все это у нее, чем ее родная дочь лишится вдруг воздуха, света, всего того, что должно служить ее юности и красоте. «Она должна вернуться, она должна выслушать меня! Мы начнем что-нибудь вместе, например, сами устроим ясли, или же миссис Таллентс-Смолпис подыщет для нас постоянную работу в одном из своих комитетов».

Внезапно ей пришла в голову мысль, от которой у нее застыла кровь в жилах. Что, если это сказывается наследственность? Что, если Тайми унаследовала от деда его односторонность, одержимость одной идеей? Ведь и Мартин тоже… Такие черты передаются обычно через поколение. Нет, нет, этого не может быть! С нетерпением и в то же время со страхом Сесилия ждала прихода Стивна, прислушивалась, не щелкнет ли в двери его американский ключ. Он щелкнул в обычное свое время.

Даже сейчас, несмотря на волнение, Сесилия не изменила привычке щадить Стивна. Она поцеловала его, затем сказала как бы мимоходом:

— У Тайми новая фантазия.

— Что за фантазия?

— В общем, этого следовало ожидать, — продолжала Сесилия, запинаясь. — Она столько бывала в обществе Мартина…

На лице Стивна не замедлило появиться выражение сухой насмешки. Дядя и племянник недолюбливали друг друга.

— Оздоровителя? Ну, так что же?

— Она уехала, решила заняться работой где-то на Юстон-Род. Я получила от нее телеграмму. Да, и еще я нашла вот это.

Она нерешительно протянула ему два листка бумаги, розовато-коричневой и голубой. Стивн заметил, что она дрожит. Он взял оба листка, прочитал то, что в них было написано, и снова посмотрел на жену. Он искренне любил ее, и в нем прочно сидело привитое ему умение считаться с чувствами других. Поэтому в этот тревожный момент он прежде всего положил руку на плечо жены и слегка сжал его, чтобы придать ей бодрости. Но было в Стивне и некое примитивно мужественное начало, правда, несколько замаринованное в Кембридже и высушенное в храме правосудия, однако все еще властное и агрессивное. И поэтому он тут же воскликнул: «Ну нет,

черт меня возьми!»

В этой короткой фразе заключалась подоплека его отношения к сложившейся ситуации и основная разница между общественными классами. Мистер Пэрси на его месте, безусловно, сказал бы: «Ах, черт меня возьми!» Стивн же, сказав: «*Нет,* черт меня возьми!» — невольно выдал то обстоятельство, что прежде, нежели его возьмет черт, он успел с чем-то побороться, и Сесилия, которая тоже всегда боролась, знала: это «что-то» — общественная совесть, странный призрак, бродящий в домах тех, кто в силу своей культуры или просто досуга когда-то задал себе вопрос: «Неужели действительно имеется класс людей, помимо моего собственного, или мне это только кажется?» Счастливы те, будь они богатые или бедные, кто еще не осужден на посещения этого печального призрака, кто не слышит его хриплого бормотания, — счастливы они в своих домах, под покровительством менее беспокойного духа. Все это смутно поняла сейчас Сесилия.

Даже и теперь она все еще не измерила до глубины душу Стивна: она видела, что он борется с призраком, и восхищалась его победой, но не почувствовала и, может быть, не могла почувствовать, что же все-таки так оскорбило

его в поступке Тайми. Будучи женщиной, она рассматривала случившееся лишь со стороны практической. Она не поняла и никогда не понимала, какое стройное архитектурное целое представляют собой взгляды ее мужа, какую боль причиняет ему то, что не подходит под его мерки.

Он сказал:

— Почему, хотел бы я знать, если уж ее тянет к этому, не могла она заняться делом так, как это принято? Могла бы вступить в любое благотворительное общество, против этого я бы ничего не имел. Все, конечно, влияние нашего оздоровителя. Экий болван!

— Но мне кажется, Мартин как раз представляет какое-то общество, — возразила Сесилия нерешительно. — Он проповедует что-то вроде медицинского социализма. Он глубоко верит в свои идеи.

Стивн скривил губы.

— Может верить во что ему угодно, — сказал он сдержанно (сдержанность была одним из его лучших качеств). — Я только не хочу, чтобы он своими идеями заражал мою дочь.

Сесилия неожиданно воскликнула:

— Боже мой, Стивн, но что же нам теперь де-

лать? Может быть, мне сегодня же съездить к ней?

Как по ниве пробегает иной раз тень облаков, так пробежала тень по лицу Стивна, как будто до сих пор он еще не до конца сознавал полное значение случившегося. С минуту он молчал.

— Лучше подождем ее письма, — сказал он наконец. — Как-никак, он ее двоюродный брат, и миссис Грэнди[13] давно скончалась, во всяком случае, на Юстон-Род.

Так, щадя друг друга, тщательно избегая в присутствии слуг каких бы то ни было намеков на случившееся, они пообедали и легли спать.

Стивн проснулся в тот час между ночью и утром, когда жизненные силы человека особенно слабы и сомнения, как зловещие птицы, носятся и носятся вокруг него, задевая его по лицу длинными перьями.

Было совсем тихо. Чуть виднелась полоска жемчужно-серого рассвета за прозрачными шторами, которые шевелились слабо и равномерно, как губы спящего. Ветер, сотканный, как то воображал мистер Стоун, из человеческих душ, почти прекратился. Он еле-еле овевал дома и лачуги, где

---

[13] Примечания: 13

Миссис Грэнди — персонаж пьесы английского писателя Мортона (1798 г.), олицетворение общественного мнения в вопросах приличия.

миллионы спящих не ощущали его дуновения. Так ослабел пульс жизни, что люди и «тени» на краткий миг слились воедино в этом сне огромного города. Над тысячами различных кровель, над миллионами многообразных форм людей и предметов ветер подал неслышный знак — и все стихло, погрузилось в то небытие, когда жизнь становится смертью, смерть — новой жизнью, а наше «я» бессильно.

Внутреннее «я» Стивна, чувствуя, что магнетические потоки отлива убаюкивают его, уводят в шепчущую дрему, куда-то за песчаные барьеры индивидуального и классового, вскинуло свои ручки и стало звать на помощь. Лиловое море самозабвения под тусклым равнодушным небом казалось ему таким холодным и страшным! Оно не имело видимых границ, не подчинялось никаким законам, кроме тех, что висели где-то бесконечно далеко, написанные иероглифами бледнеющих звезд. Стивн не мог постичь этих законов, управляющих всплесками бледных вод у его ног. Куда унесут его эти воды? В какие глубины зеленого, неподвижного молчания? Неужели его собственной дочурке суждено уйти на дно этого моря, которое не знает ничего, кроме самозабвения, которое не считается ни с лично-

стью, ни с классом, — этого моря, на поверхности которого все время движутся неясные полоски — единственное доказательство пресловутой разницы между людьми? Сохрани Господь от этого!

Он приподнялся на локте и взглянул на ту, что подарила ему дочь. В спящем лице жены — самого близкого и дорогого ему человека — он изо всех сил старался не увидеть сходства с мистером Стоуном. Он опять опустил голову на подушку, несколько утешившись такой мыслью: «У старика одна идея — его Всемирное Братство. Он целиком поглощен только этим. В лице Сесси нет ничего похожего. Как раз наоборот!»

И вдруг в сознании его вспыхнула отчетливая, трезвая мысль — почти прозрение. Старик так поглощен собой и своей злосчастной книгой, что не замечает ничего вокруг. Можно ли быть братом всем людям, если не замечаешь их существования? Но причуда Тайми — ведь это, в сущности, попытка стать сестрой всем людям! А для такой цели, полагал Стивн, требовалось полностью забыть самого себя. Боже мой, да это еще более серьезный случай, чем с мистером Стоуном! И при этой мысли Стивн не на шутку испугался.

Где-то возле открытого окна слабо чирикнула первая утренняя птаха. Неизвестно почему,

Стивну вспомнилось утро, когда он после окончания первого школьного триместра проснулся от щебета птиц, вскочил и извлек из-под подушки рогатку и коробку с дробью — все это он привез из школы и, ложась спать, взял с собой в постель. Сейчас он снова видел эти свинцовые дробинки, отливающие синевой, почти ощущал, как они, такие круглые, гладкие и тяжелые, перекатываются у него на ладони. Ему казалось, что он слышит удивленный голос Хилери: «Эй, Стиви! Уже проснулся?»

На свете не могло быть лучшего брата, чем старина Хилери. Единственным его недостатком всегда была его чрезмерная доброта. Доброта и погубила его, из-за нее не удалась его семейная жизнь. Он не смог утвердить себя перед этой женщиной, своей женой. Стивн повернулся на другой бок. «Все эти проклятые истории, — думал он, — происходят от излишнего сочувствия. Именно это получилось с Тайми». В комнате светало, и он долго еще лежал, прислушиваясь к легкому дыханию Сесилии, глубоко растревоженный своими мыслями.

С первой почтой письмо от Тайми не пришло, и когда вскоре после этого лакей доложил, что к завтраку пришел мистер Хилери, и Стивн, и Сесилия

обрадовались, как радуются озабоченные люди тому, что сулит им возможность отвлечься.

Стивн поспешно сошел вниз. Хилери стоял в столовой — вид у него был мрачный, измученный. Но он первый, взглянув на брата, спросил:

— Что случилось, Стиви?

Стивн взял со стола «Стандарт»; несмотря на все свое самообладание, он не мог удержать дрожи в руке.

— Смехотворная история, — сказал он. — Наш юный оздоровитель так вбил свои дурацкие идеи в голову Тайми, что она, видите ли, уехала на Юстон-Род проводить их в жизнь.

Стивн заметил, что сообщение это и озаботило, и позабавило Хилери, и его быстрые, узкие глаза холодно сверкнули.

— Не тебе бы смеяться, Хилери, — сказал он. — Это все ваше сентиментальничание с Хьюзами и той девицей. Я предвидел, что это плохо кончится.

На эту вспышку несправедливого и неожиданного раздражения Хилери ответил только взглядом, и Стивн, с неприятным чувством своей незначительности, которое часто испытывал в присутствии брата, опустил глаза.

— Друг мой, — сказал Хилери, — если Тайми

унаследовала что-нибудь от моего характера, искренне о том сожалею.

Стивн крепко сжал его руку. Тут вошла Сесилия, и все трое сели за стол.

Сесилия мгновенно заметила то, чего в своей озабоченности не заметил Стивн: Хилери пришел к ним что-то сообщить. Но ей не хотелось его расспрашивать, хотя она была уверена, что Хилери, зная об их заботах, из деликатности не станет навязывать им еще и свои. Не хотелось ей говорить и об их беде, раз он сам был чем-то расстроен. Поэтому они болтали о посторонних вещах — о недавнем концерте, о последней пьесе. К еде они почти не притронулись и пили чай. Стивн рассуждал об опере и, случайно подняв глаза, вдруг увидел, что в дверях стоит Мартин. Юный оздоровитель был бледен, растрепан и весь в пыли. Он подошел к Сесилии и сказал своим обычным хладнокровным и решительным тоном:

— Я привел ее обратно, тетя Сесси.

Сесилия почувствовала такое облегчение, такую светлую радость, такое желание сказать тысячу вещей сразу, что смогла только еле внятно прошептать:

— О, Мартин!..

Стивн вскочил из-за стола.

— Где она?

— Пошла к себе в комнату.

— В таком случае ты, быть может, объяснишь, что значит эта безумная выходка? — сказал Стивн, сразу обретший свое самообладание.

— Пока мы в ней не нуждаемся.

— В самом деле?

— Да, абсолютно.

— В таком случае будь любезен понять, что в дальнейшем мы не нуждаемся в тебе и в тебе подобных.

Мартин по очереди оглядел всех сидящих за столом.

— Вы правы, — сказал он. — Прощайте.

Хилери и Сесилия тоже поднялись со своих мест. Наступило молчание. Стивн пошел к двери.

— На мой взгляд, — произнес он вдруг своим самым что ни на есть сухим тоном, — ты со своими современными манерами и теориями зловредный юноша.

Сесилия протянула руки к Мартину, и что-то вдруг звякнуло, как цепи.

— Ты должен понять, дорогой, — сказала она, — как мы все беспокоились. Твой дядя сказал это несерьезно, он не хотел тебя обидеть.

На лице Мартина мелькнула та презрительная нежность, с какой он обычно смотрел на Тайми.

— Ладно, тетя Сесси. Но если Стивн сказал это несерьезно, то напрасно. Серьезное отношение к вещам — это самое главное. — Он нагнулся и поцеловал Сесилию в лоб. — Передайте это Тайми. Некоторое время мы не будем видеться.

— Вы никогда больше не увидитесь с ней, сэр, я позабочусь об этом, — сказал Стивн сухо. — Вино вашего оздоровительства слишком пенится.

Мартин широко улыбнулся.

— Только для старых мехов, — сказал он и, еще раз медленно обведя всех взглядом, вышел.

Рот Стивна искривился.

— Нахальный щенок, — проговорил он. — Если таковы все современные молодые люди, защити нас Бог!

В прохладной столовой, где царил легкий аромат лососины, дыни и ветчины, стало тихо. Сесилия выскользнула из комнаты. Едва она оказалась за дверью, как тотчас послышались ее легкие, торопливые шаги на лестнице — Сесилия поднималась к Тайми.

Хилери тоже направился к двери. Несмотря на свою озабоченность, Стивн не мог не заметить, какой у него измученный вид.

— Слушай, старина, ты неважно выглядишь, — сказал он. — Не хочешь ли коньяку?

Хилери помотал головой.

— Теперь, когда Тайми к вам вернулась, — сказал он, — я, пожалуй, могу сообщить вам мои новости. Завтра я еду за границу. Не знаю, вернусь ли я к Бианке.

Стивн легонько свистнул, затем, сжав руку Хилери, сказал:

— Решай, как знаешь, дружище, я тебя всегда поддержу, но…

— Я еду один.

Стивн испытал чувство такого облегчения, что даже изменил своей сдержанности.

— Слава богу! Я уж боялся, что ты начинаешь терять голову из-за этой девицы.

— Я не так глуп, — сказал Хилери, — чтобы воображать, будто подобная связь в конечном счете может принести что бы то ни было, кроме несчастья. Если бы я взял с собой эту девочку, я бы должен был остаться с ней навсегда. Но я не очень горжусь собой, Стивн, оттого что бросаю ее на произвол судьбы.

Голос его звучал так горько, что Стивн схватил брата за руку.

— Послушай, дорогой мой, ты слишком уж

добр, в этом все дело. Ведь она не имеет на тебя никаких прав — ни малейших.

— Кроме того права, которое ей дает ее преданность мне. Господь ведает, чем я ее вызвал. И еще ее бедность…

— Ты позволяешь, чтобы эти люди преследовали тебя, как призраки. Это ошибка, уверяю тебя.

— Я забыл тебе сказать, что я сделан не изо льда, — пробормотал Хилери.

Стивн смотрел ему в лицо, не говоря ни слова, затем сказал чрезвычайно серьезно:

— Как бы она ни влекла тебя, немыслимо, чтобы такой человек, как ты, связал себя с женщиной другого класса.

— Класса? Да, конечно, — сказал Хилери тихо. — Прощай!

Братья обменялись крепким рукопожатием, и Хилери ушел.

Стивн вернулся к окну. Сколько внимания уделялось тому, какой вид открывается из окон, и все-таки слева вдали глаз мозолили дворы какого-то переулка! Резко, будто овод вонзил в него свое маленькое жало, Стивн отшатнулся.

«Черт побери!.. — подумал он. — Неужели мы так никогда и не избавимся от этой публики?»

Взгляд его упал на дыню. На зеленовато-голу-

бом блюде лежал один-единственный ломтик. Нагнувшись над тарелкой, Стивн с необычайным для него ожесточением откусил большой кусок, еще и еще… Потом отшвырнул его от себя и окунул пальцы в мисочку с водой.

«Слава богу, что все это кончено, — подумал он. — Как гора с плеч!»

Имел ли он в виду Хилери или Тайми — он и сам не знал, но его вдруг охватило желание броситься наверх к своей дочурке, обнять ее. Он подавил в себе этот порыв и сел за бюро. Им овладело ощущение, какое возникало у него, когда выдавался счастливый день или после благополучно миновавшей физической опасности, — чувство особо большой удачи, за которую ему хотелось выразить благодарность, только он не знал кому и как. Рука его потянулась к внутреннему карману черного пиджака и скрылась в нем. Вот она появилась снова — она держала чековую книжку. Он мысленно перебирал названия благотворительных обществ, которые поддерживал или имел намерение поддержать, если у него явятся к тому возможности. Он протянул руку и взял перо. Еле слышный скрип пера по бумаге слился с жужжанием залетевшей в комнату мухи.

Вот это и услышала Сесилия, когда в открытую

дверь увидела узкий, безупречно подстриженный затылок Стивна, склоненный над бюро. Она тихонько подошла к мужу и прильнула к его руке.

Стивн перестал водить пером и поднял голову. Глаза их встретились, и Сесилия, наклонившись к мужу, прижалась щекой к его щеке.

Глава XXXVII
Цветение алоэ

В тот самый день, проделав необходимые приготовления к отъезду и возвращаясь домой через Кенсингтонский сад, Хилери неожиданно встретился с Бианкой, стоявшей на берегу Круглого Пруда.

Для постоянных посетителей этих Елисейских полей, где люди и тени ежедневно крадут отдохновение, для всех пьющих в этих зеленых садах свой подслащенный медом глоток душевного мира эти двое были всего лишь элегантной парой, в полной гармонии наслаждающейся приятным досугом. Ибо еще не пришло для человечества время стать одним целым, чтобы каждый инстинктом угадывал, что происходит в сердцах его ближних.

Правду сказать, во всем Лондоне нашлось бы не слишком много людей в подобной ситуации, которые были бы столь цивилизованны, вели бы себя столь корректно!

Став чужими, готовые расстаться, они до конца держались ровно и любезно. Не в их принципах

были супружеские ссоры, напыщенные обвинения и упреки, утверждение собственнических прав. Не в их принципах было стремиться во что бы то ни стало отравить жизнь другому — им даже и в голову не приходило, что они имеют это право. Нет, для их изболевшихся сердец облегчения не было. Они шли рядом, они с уважением относились к чувствам друг друга, как если бы не было позади этих восемнадцати лет, когда они сперва любили, а затем разошлись в силу какой-то таинственной дисгармонии; как если бы теперь между ними не стояло вопроса об этой девушке.

Вскоре Хилери сказал:

— Я был в городе, все подготовил к отъезду. Завтра я уезжаю в горы. Тебе не придется оставлять отца.

— Ты берешь ее с собой?

Произнесено это было великолепно — ни малейшего оттенка чувств, ни тени любопытства — просто, естественно, не холодно, но и без интереса. И невозможно было определить, чем продиктован этот вопрос — великодушием или злобой. Хилери решил в пользу первого.

— Благодарю тебя, — сказал он. — Эта комедия окончена.

Вдоль самого берега Круглого Пруда гордым лебедем направлялся в открытое море пароходик; следом за этим великолепным судном двигалась крохотная, выдолбленная из деревяшки лодочка с тремя перьями вместо мачт — ее и подкидывало и бросало из стороны в сторону; два оборванных мальчугана, владельцы миниатюрной галеры, тянули к ней прутики через прозрачную воду. Невидящими глазами Бианка смотрела на эту иллюстрацию того, как человек гордится своей собственностью. На шее у нее висела тонкая золотая цепочка. Резким движением Бианка сунула ее за вырез платья; цепочка под ее рукой разорвалась надвое.

Они дошли до дома, так и не произнеся больше ни слова.

У двери кабинета Хилери поджидала Миранда. Он погладил ее, и от этой ласки по гладкой коже собаки прошла дрожь, но затем она снова свернулась клубочком на прежнем месте, уже нагретом ее телом.

— Ты разве не хочешь войти со мной? — сказал Хилери.

Миранда не шевельнулась.

Хилери тотчас понял, почему собака не пожелала войти в кабинет: там, возле длинного

книжного шкафа, за бюстом Сократа, стояла маленькая натурщица — очень тихо, словно боясь звуком или движением выдать свое присутствие. На ней было зеленовато-голубое платье, на голове — шляпка из коричневой соломки, без полей, отделанная двумя тесно посаженными темно-красными розами на ленте из еще более темного красного бархата. Рядом с розами было воткнуто павлинье перышко — маленький нечестивец, который стоял чуть откинувшись назад, стараясь и привлечь к себе внимание, и остаться незамеченным. Затиснутая между мрачным белым бюстом и почти черным шкафом, девушка казалась незаконно проскользнувшим сюда духом, который теперь дрожал и страшился, готовый к тому, что его выставят за дверь.

Хилери отступил было за порог, постоял в нерешительности, затем вошел.

— Вам не следовало приходить сюда после того, что мы вам вчера сказали, — проговорил он вполголоса.

Маленькая натурщица, торопясь, сказала:

— Но я видела Хьюза, мистер Даллисон! Он разузнал, где я живу. Ох, какой у него был ужасный вид, как он меня напугал! Я теперь больше не могу там оставаться.

Она немного вышла вперед из своего укрытия и стояла, опустив голову, нервно крутя пальцы.

«Она лжет», — подумал Хилери.

Маленькая натурщица глянула на него украдкой.

— Я его видела, это правда, — сказала она. — Мне надо переезжать, сразу же. А то мне там опасно, верно?

И она снова бросила на него быстрый взгляд.

Хилери подумал: «Она обращает против меня мое же оружие. Возможно, что она действительно видела Хьюза, но он не испугал ее. Поделом мне».

Сухо рассмеявшись, он повернулся к ней спиной.

Послышался шорох. Маленькая натурщица отошла от шкафа и теперь стояла между Хилери и дверью. Этот ее маневр вызвал у Хилери трепет — такой же, как тогда в парке, после похорон. А в саду за окном голубь посылал миру свою тягучую любовную песню. Хилери ее не слышал, он сознавал только одно: за его спиной стоит юное существо, девушка, заполонившая все его чувства.

— Так чего же вы хотите? — спросил он.

Маленькая натурщица ответила вопросом:

— Это правда, что вы уезжаете, мистер Даллисон?

— Да.

Она подняла руки к груди и как будто хотела их стиснуть, но они тут же снова опустились. На руках были очень старые замшевые перчатки, и в эту минуту мучительной неловкости глаза Хилери вдруг остановились на изящных ручках девушки, опускающихся вниз по складкам юбки.

Маленькая натурщица быстро спрятала руки за спину. И вдруг сказала своим деловитым тоном:

— Я только хотела спросить — а нельзя и мне поехать с вами?

Святая простота этого вопроса могла бы и у ангела вызвать улыбку, и Хилери почувствовал, что весь он будто размяк. Ощущение это было странным, чудесным — словно ему предложили именно то, что ему было мило в девушке, без всего того, что он не принимал в ней. Он смотрел на нее и молчал. Шея и щеки у нее покраснели, и даже веки приняли красноватый оттенок, поэтому глаза ее, голубые, как цветы цикория, казались глубже, темнее. Она заговорила — будто отвечала затверженный урок:

— Я мешать вам не буду. Вам не придется много на меня тратиться. Я все смогу делать — все, что

вам надо. Я могу научиться печатать на машинке. Я могу жить не так близко от вас, если вы этого боитесь — ну, что люди станут болтать. Я привыкла жить одна. Ах, мистер Даллисон, я все-все буду для вас делать! Я на все согласна, я не такая, как другие девушки, — уж вы на меня можете положиться, я знаю, что говорю.

— Вы так думаете?

Маленькая натурщица закрыла лицо руками:

— А вы попробуйте, проверьте меня.

Чувственные ощущения его почти исчезли; горло ему сдавил комок.

— Дитя мое, — проговорил он, — вы слишком великодушны…

Маленькая натурщица инстинктом поняла, что, тронув его душу, она проиграла. Отняв руки от лица, вся побледнев, она сказала, с трудом переводя дыхание:

— Нет, нет, я хочу этого, я хочу, чтобы вы позволили мне поехать с вами. Я не хочу оставаться здесь! Я знаю, я пропаду одна, пропаду, если вы меня с собой не возьмете, — да, я знаю!

— Предположим, я разрешил бы вам поехать со мной — и что же дальше? Какие у нас с вами могут быть отношения? Вы и сами все отлично понимаете. Да, только это и ничего другого… Не

следует обманывать себя, дитя мое, будто у нас могут быть общие интересы.

Маленькая натурщица подошла ближе:

— Я знаю, чего я стою, и другой не хочу быть. Но я могу делать то, что вы мне прикажете, и никогда не стану жаловаться. Большего я не стою.

— Вы заслуживаете больше того, что я могу дать вам, — сказал Хилери очень тихо, — а я заслуживаю больше того, что можете дать вы мне.

Маленькая натурщица пыталась ответить что-то, но слова застряли у нее в горле; она откинула голову, стараясь выдавить из себя эти слова, и слегка пошатывалась. Видя ее перед собою, белую, как полотно, с закрытыми глазами, с полуоткрытым ртом, как будто готовую лишиться чувств, Хилери схватил ее за плечи. От прикосновения к этим мягким плечам кровь бросилась ему в лицо, губы задрожали. Девушка чуть приоткрыла глаза и взглянула на него. Поняв, что она вовсе не собирается падать в обморок, что это всего лишь маленькая хитрость этой юной Далилы, продиктованная отчаянием, Хилери разжал руки. В то же мгновение она опустилась на пол, обняла его колени, прижала их к своей груди так, что он не мог шевельнуться. Все крепче и крепче прижимала она его к себе, казалось, что она

причиняет себе этим боль. Она бурно дышала, из груди ее вырывались рыдания, глаза оставались закрытыми, запрокинутый рот дрожал. В этом цепком объятии сказалась женская способность отдавать себя всю. И именно это было сейчас для Хилери особенно тяжело и мешало ему обнять девушку — именно это полное ее самозабвение, как будто она уже не помнила, что делает. Это было бы слишком грубо, все равно что воспользоваться слабостью ребенка.

Из тишины рождается ветер, из глади озера — водяная рябь, из небытия возникает жизнь — одно незаметно переходит в другое, и человеку не дано знать этой тайны. Момент самозабвения прошел, и в заплаканных глазах девушки снова светилась ее несложная, привыкшая лукавить душа, как будто говорившая ему: «Не пущу тебя, не дам тебе уйти, не дам!»

Хилери вырвался из ее рук, и девушка упала ничком.

— Встаньте, дитя мое, ради бога, встаньте! — сказал он. — Поднимитесь с пола!

Она послушно встала, подавила рыдания, вытерла лицо маленьким грязным носовым платком. Вдруг она шагнула вперед, сжала кулаки, рывком опустила их вниз.

— Я пропаду, если вы не возьмете меня с собой, пропаду — и пусть!

Грудь у нее высоко вздымалась, волосы рассыпались — она смотрела ему прямо в лицо, и глаза ее были в красных ободках. Хилери отвернулся, взял с письменного стола книгу и открыл ее. Лицо у него снова налилось кровью, руки и губы дрожали, взгляд как-то странно застыл.

— Не сейчас, не сейчас, — бормотал он. — Сейчас уходите. Я приду к вам завтра.

Маленькая натурщица посмотрела на него так, как смотрит собака, когда хочет спросить, не обманываете ли вы ее. Подняв руку к груди, она сделала жест, похожий на крестное знамение, потом еще раз провела по глазам грязным платком, повернулась и вышла.

Хилери остался стоять на том же месте, читая книгу и не понимая ее смысла.

Послышались унылые звуки, будто кто-то с трудом дышал, запыхавшись. На пороге открытой двери стоял мистер Стоун.

— Она была здесь, — сказал он, — я видел, как она выходила из дома.

Хилери выронил книгу — нервы у него совсем разгулялись. Указав на стул, он предложил старику:

— Не хотите ли сесть, сэр?

Мистер Стоун подошел ближе:

— У нее неприятности?

— Да.

— Она слишком юна, чтобы иметь неприятности. Вы сказали ей это?

Хилери помотал головой.

— Тот человек обидел ее?

Хилери снова помотал головой.

— Тогда какие же у нее неприятности? — спросил мистер Стоун.

Хилери не мог выдержать этого прямого допроса, этого внимательного, пристального взгляда и отвернулся:

— Вы спрашиваете меня то, на что я не могу ответить.

— Почему?

— Это дело личного свойства.

В висках его все еще стучала кровь, дрожь в губах не унималась, еще живо было то ощущение, когда девушка сжимала его колени. Он почти ненавидел этого старика с его нелепыми вопросами.

И вдруг он заметил, что в выражении глаз мистера Стоуна произошла разительная перемена — такие глаза бывают у человека, который при-

шел в себя после долгих дней бессознательного состояния. Все лицо его осветилось пониманием — и в нем была ревность. То тепло, которое маленькая натурщица давала его старой душе, разогнало туман его Идеи, и он начал видеть происходящее перед его глазами.

Под этим новым взглядом Хилери, ища опоры, прислонился к стене.

По лицу мистера Стоуна медленно разлился румянец. Он говорил с неприсущим ему колебанием — он чувствовал себя потерянным, возвращаясь в этот мир реальности.

— Я больше не буду задавать вам вопросы. Я не буду касаться личных дел. Это было бы не…

Голос его стал еле слышен; мистер Стоун опустил глаза.

Хилери наклонил голову. Его тронуло возвращение к жизни этого старого человека, давно не сталкивавшегося с реальными фактами, тронуло выражение тактичности на этом старом лице.

— Я больше не буду выспрашивать вас о каких бы то ни было ваших неприятностях, — продолжал мистер Стоун. — Мне очень жаль, что и вы тоже несчастливы.

Очень медленно и больше не взглянув на зятя, он ушел.

Хилери все стоял на том же месте, прислонившись к стене.

Глава XXXVIII
Хьюз снова дома

Хилери, очевидно, не ошибся: маленькая натурщица лгала, утверждая, что видела Хьюза, ибо только на следующий день рано утром трое людей шли по длинной извилистой улице от Уормвуд-Скрабс к Кенсингтону. Они молчали — не потому, что на душе у них не было ничего, что можно было бы передать словами, но именно потому, что там было слишком всего много. Шли они «лесенкой», как обычно ходят люди из простонародья: впереди Хьюз, слева, в двух шагах позади него, — его жена, а в десяти шагах за ней, еще левее, — их сын Стэнли. Казалось, они не замечали никого вокруг, и никто вокруг, казалось, не замечал их. Но мысленно эти трое столь различных между собой людей спрягали, каждый при этом чувствуя свое, один и тот же глагол:

«Я был в тюрьме».

«Ты был в тюрьме».

«Он был в тюрьме».

У Хьюза, с его внешней покорностью человека, с колыбели привыкшего к подчинению, эти че-

тыре слова вызывали такой водоворот бурлящих чувств, такую яростную горечь, злобу, негодование, что никакое словесное выражение этих чувств не принесло бы ему облегчения. Эти же самые четыре слова в душе миссис Хьюз породили странную смесь страха, сочувствия, преданности, стыда и острого любопытства к тому новому, что вошло теперь в жизнь их маленькой семьи, идущей «лесенкой» домой в Кенсингтон, и выразить все это для нее было равносильно тому, чтобы зимой окунуться в реку. Для их маленького сына эти четыре слова звучали романтической легендой: они не вызывали определенного образа, они лишь делали ярче сияние чуда.

— Не отставай, Стэнли. Иди рядом с отцом.

Мальчуган сделал три шага побыстрее и снова отстал. Его черные глаза как будто ответили матери: «Ты ведь сказала это только потому, что не знаешь, что говорить». И, не меняя порядка «лесенки», не раскрывая рта, все трое продолжали путь.

Неуверенность и опасения в сердце швеи постепенно перерастали в страх. Каким-то будет первое слово на губах мужа? О чем он спросит? И как ей отвечать? Заговорит ли он мирно или начнет буянить? Забыл ли он девушку или за то

время, пока находился в доме горести и молчания, жил своими греховными желаниями, лелеял их? Спросит ли он, где их младший сын? Скажет ли ей хоть одно ласковое слово? Но наряду с тревогой в ней держалась непреклонная решимость ни за что не уступить его этой девице — ни за что!

— Не отставай, Стэнли!

На этот раз Хьюз заговорил:

— Оставь ты его в покое! Ты скоро и младенца начнешь донимать своей воркотней!

Эти первые произнесенные им слова прозвучали хрипло и глухо, будто из подземелья.

Глаза швеи наполнились слезами.

— Мне уж этого не доведется, — сказала она, запинаясь. — Его больше нет с нами.

Хьюз оскалил зубы, словно затравленный пес:

— Кто посмел его забрать? Говори, кто?

По щекам швеи катились слезы; она не в состоянии была ответить. Тут раздался тонкий голосок ее сына:

— Мой братик умер. Мы зарыли его в землю. Я сам видел. Мистер Крид ехал вместе с нами в карете.

В уголках рта Хьюза появилась белая пена. Тыльной стороной руки он обтер рот, и маленькая семья «лесенкой» двинулась дальше.

«Вест-министр» в потертом летнем пиджаке — день выдался теплый — уже давно стоял у порога комнаты миссис Баджен на нижнем этаже дома на Хаунд-стрит. Зная, что Хьюза должны выпустить из тюрьмы рано утром, он со свойственной ему дальновидностью рассудил так: «Мне и сна не будет, и никакого спокойствия, пока не узнаю, как этот тип станет держаться со мной. И нечего откладывать. Не дожидаться ведь, когда он явится ко мне, нападет на старого человека! Выйду в коридор. Хромая позволит мне там постоять, я ей не помешаю. В случае чего, если он вздумает броситься на меня, она встанет между нами. Я его не боюсь!»

Но минуты шли, и мистер Крид, словно пес, ожидающий наказания, все чаще облизывал обесцвеченные, искривленные губы. «Вот что получается, когда якшаешься с солдатней, — размышлял он, — да еще с таким грубияном и невежей. Надо было мне в свое время перебраться на другую квартиру. Небось, начнет у меня выспрашивать, куда уехала девица. Все потерял — и место, и уважение людей — все. А из-за чего? Из-за женщин».

Он смотрел, как миссис Баджен, широколицая женщина, в серых глазах которой, по счастью,

никогда не гас боевой дух, с усилием прибирает комнату; немного погодя она оперлась о комод, где фарфоровые чашечки и собачки стояли кучками, как поганки у края канавы.

— Я велела моему Чарли держаться от Хьюза подальше, — проговорила она. — Из тюрьмы они выходят колючие, что твои ежи. Едва глянут на тебя — и уж готовы затеять ссору.

«Ничего себе утешает, боже ты мой!» — мысленно воскликнул Крид, но, храня достоинство, ответил:

— Я его поджидаю: хочу выяснить, как обстоит дело. Вы как думаете, — ведь не накинется же он на меня со злостным умыслом с утра пораньше?

Женщина пожала плечами:

— Уж он, конечно, прежде чем домой прийти, обязательно куда-нибудь заглянет, выпьет. Тамто им, беднягам, капли в рот не перепадает.

Сердце бедного старого лакея ушло в пятки. Он поднес дрожащую руку к губам, стараясь собраться с мыслями.

«Да, надо было мне сменить комнату — забрать вещи и уехать. Но взять вот так и уехать, когда у бедной женщины и без того горя… Как-то оно нехорошо. Да и не хочется уезжать. Кто еще станет обо мне заботиться? А она ведь всегда все мое

белье вычинит. Правду сказать, времени своего она на это не жалеет».

Хромая, отдохнув, отошла от комода и принялась застилать постель, хмуря лицо, как всегда, когда ей приходилось напрягать мышцы больной ноги.

— Не поможешь соседу, и сосед не поможет тебе, — сказала она наставительно.

Крид молча и пристально смотрел на нее сквозь очки в железной оправе. Вероятно, он раздумывал над тем, как можно с этой точки зрения рассматривать его соседские отношения с Хьюзом.

— Я ездил на похороны их младенца, — проговорил он. — Ох, господи, вон он, идет!..

В самом деле, у порога показалось семейство Хьюзов. Весь духовный процесс, через который прошел «вест-министр» на протяжении своей жизни, полностью дал о себе знать в последующие несколько секунд. «Мне главное — это быть живым, — говорил взгляд старика. — Я знаю, какого сорта ты человек, но теперь, раз уж ты здесь, пугаться тебя толку мало. Хочешь не хочешь, приходится иметь с тобой дело. Так-то вот. Занимайся ты своим, а я своим, и не вздумай дурить, я этого не потерплю, имей в виду!»

На лбу у него на пятнистой коже выступили бусинки пота. Сжав губы, вытаращив глаза, он ждал, что скажет выпущенный на свободу узник.

Хьюз, у которого лицо за время пребывания в тюрьме приобрело нездоровый, землистый оттенок, а черные глаза совсем провалились, не спеша мерил старика взглядом. Но вот он снял фуражку, открыв свои коротко остриженные волосы.

— Это ты мне удружил, папаша, — проговорил он, — но я на тебя не в обиде. Пойдем-ка, выпей с нами чашку чая.

Повернувшись, он стал подниматься по лестнице; за ним двинулись жена и сын. Тяжело отдуваясь, старый лакей последовал за ними.

В комнате на верхнем этаже, где теперь уже не было младенца, на столе стояла треска с претензией на свежесть; вокруг нее были расставлены тарелки с ломтями хлеба, кусок масла в посуде для паштета, чайник, желтый сахарный песок в сахарнице и поставленные рядом небольшой молочник с холодным синеватым молоком и наполовину пустая бутылка красного уксуса. Возле одной из тарелок на грязной скатерти лежал пучок левкоев, словно оброненный и забытый здесь богом Любви. Их слабый запах примешивался

к остальным запахам в комнате. Старый лакей уставился на цветы.

«Бедная женщина, ведь это она купила ему: хочет, чтобы он вспомнил прежние денечки, — подумал он. — Небось, на свадьбе-то у нее цветы были!» Эта его лирическая нотка удивила его самого, и он повернулся к мальчугану и сказал: «Вот будешь вспоминать, когда станешь старше».

Не произнеся ни слова, все сели за стол.

Ели молча, и старый лакей думал: «Треска-то не очень… но чай — лучше желать не надо. Хьюз ничего не ест. А он гораздо разумнее, чем я полагал. Да, смотреть на него теперь не очень большое удовольствие».

Взгляд мистера Крида скользнул туда, где прежде висел штык, и остановился на картинке, изображающей Рождество. «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им…»[14] — вспомнилось ему. — Бедняга будет рад, когда узнает, что его сына провожали две кареты».

Мистер Крид долго прочищал горло, собираясь заговорить, но гробовое молчание в комнате смущало его, звуки застревали у него в горле. Допив чай, он неуверенно поднялся. В уме у него

---

[14] Примечания: 14

«Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им; ибо таковых есть Царствие Божие» (Евангелие от Марка).

мелькали слова, которые он мог бы им сказать: «Очень рад, что повидался с вами. Надеюсь, вы в добром здоровье. Ну, больше не буду вам мешать… Все мы помрем, раньше или позже…», но они остались непроизнесенными. Сделав жест рукой, он направился к двери — на слабых ногах, но проворно. Уже дойдя до середины комнаты, он собрался с духом и сказал:

— Я ничего говорить не буду: это все лишнее… Но… До свиданья!

Он постоял за дверью, прислушался, потом взялся рукой за лестничные перила.

«Хоть и смирный, но тюрьма ему на пользу не пошла. Глаза-то, глаза-то какие! — думал он, медленно спускаясь, преисполненный глубокого удивления. — Я неверно о нем думал. Он совсем безобидный, вот он какой. У всех у нас свои пре… предрассудки. Да, разбили они ему сердце, эти две, уж это ясно».

После его ухода в комнате царило все то же молчание. Но когда мальчуган ушел в школу, Хьюз встал из-за стола и лег на кровать. Так он лежал там неподвижно, повернувшись лицом к стене, обхватив голову руками, чтобы было ей легче. Швея тихонько ходила по комнате, занимаясь домашними делами, и время от времени

останавливалась и украдкой поглядывала на мужа. Если бы он кричал на нее, буйствовал, — все было бы легче, чем это полное молчание, которого она не могла понять, — молчание человека, выброшенного морем на камни, распростертого безжизненного тела. Теперь, когда ребенок ее умер, вся ее невыраженная тоска, жажда иметь в этой серой, беспросветной жизни близкого человека, отгородиться с ним вместе непреодолимым барьером от всего мира — все это поднялось в ней, ринулось к этой стене молчания и отхлынуло назад.

Раза три она окликала мужа по имени или бросала пустяковое замечание. Он не отвечал, будто и в самом деле стал всего лишь тенью того, прежнего человека. Несправедливость этого молчания терзала ее. Разве она ему не жена? Разве не родила она ему пятерых детей, разве не боролась за то, чтобы не пустить его к той девушке? Разве ее вина, что своей ревностью она сделала его жизнь адом, как он сказал ей в то утро, когда ранил ее и когда его забрали? Он ее муж. Это ее право — нет, долг!

А он все лежал и не раскрывал рта. С узкой улочки, где не было езды, в окна вместе с тяжелым воздухом врывались крики торговца овощами и

отдаленные свистки. Под карнизом без умолку чирикали воробьи. Рыжий котенок вошел, крадучись, в комнату, остановился у двери и сидел, весь сжавшись, не спуская глаз с тарелки, на которой лежали остатки рыбы. Швея наклонила лицо над цветами на столе — она была больше не в силах переносить это непостижимое молчание, она плакала. Но темная фигура на кровати лишь еще крепче сжимала руками голову, как если бы в этом человеке жила сама смерть, от которой немеют уста.

Рыжий котенок прополз на животе по полу, прыгнул, вцепился в рыбий хребет и потащил его под кровать.

Глава XXXIX
Поединок

После того раза, когда они вместе вернулись с Круглого Пруда, Бианка больше с мужем не виделась. В тот день она обедала в гостях, а на следующее утро избегала всякого общения с ним. Когда багаж Хилери снесли вниз и подъехал кеб, Бианка заперлась у себя в комнате. Некоторое время спустя в коридоре послышались шаги; они замерли возле ее двери. Хилери постучал, Бианка не отозвалась на стук.

Прощание было бы просто насмешкой! Пусть он уедет так, без всяких слов. Казалось, эта ее мысль проникла сквозь закрытую дверь, потому что шаги стали удаляться. Вскоре она увидела, как Хилери, опустив голову, вышел из дому и подошел к кебу, видела, как он наклонился и погладил Миранду. Горячие слезы обожгли глаза Бианки. Затем послышался стук колес удаляющегося кеба.

Человеческое сердце подобно лицу женщины Востока: под многими слоями ткани оно пылает огнем. Каждое прикосновение перстов жизни

обнажает еще какой-нибудь новый уголок, еще какой-нибудь доселе скрытый изгиб или поворот, который был неведом даже самому владельцу.

Когда кеб скрылся из виду, в сердце Бианки родилось ощущение чего-то непоправимого, и это ощущение таинственным образом переплелось с бесплодной болью — чувством какой-то горькой жалости. Что будет с несчастной девушкой теперь, когда Хилери уехал? Пойдет ли она по пути зла и порока, пока не станет жалким существом, вроде той девушки, изображенной в «Тени», — одной из тех, что стоят на улицах возле фонарных столбов? Из этих размышлений, горьких, как алоэ, в Бианке возникла тяга к чему-то мягкому, нежному, к выражению сочувствия, которое таится в груди каждого человека, какой бы дисгармоничной ни была его натура. Но к этому примешивалась еще и потребность оправдать себя, доказать, что она может быть выше ревности.

Бианка отправилась туда, где жила маленькая натурщица.

Дверь ей открыла девочка-подросток и впустила ее в мрачный коридор, служивший прихожей.

Странная путаница чувств в груди Бианки нисколько не отражалась на ее лице, пока она

стояла возле комнаты девушки, — оно носило свое всегдашнее чуть насмешливое выражение.

Голос маленькой натурщицы ответил едва слышно:

— Войдите!

Комната была в беспорядке, как будто ее собирались в скором времени покинуть. Посередине ее на полу стоял запертый, перевязанный веревками сундук; на незастеленной кровати лежал во всей своей неприглядности только линялый тиковый матрац. Таз и мыльница на умывальнике были перевернуты кверху дном. А возле умывальника маленькая натурщица в шляпке — той самой с яркими розами и павлиньим перышком — стояла вся съежившись, словно человек кинулся вперед в ожидании поцелуя, а вместо этого получил пощечину.

— Так, значит, вы уезжаете отсюда? — спросила Бианка спокойно.

— Да, — прошептала девушка.

— Что же, вам не нравится здешний район? Слишком далеко от места вашей работы?

И снова маленькая натурщица прошептала:

— Да.

Бианка медленно обвела глазами и стены в голубых цветочках, и ржаво-красные двери;

в тесной, пыльной, разоренной комнате держался тошнотворный запах мускуса и фиалок, как будто все вокруг было щедро полито дешевыми духами. На жалкого вида подзеркальнике стоял небольшой флакон из-под духов.

— Вы подыскали себе новую квартиру?

Маленькая натурщица придвинулась ближе к окну. На ее испуганном, ошеломленном лице появилась настороженность.

Она помотала головой:

— Я не знаю, куда я уезжаю.

Повинуясь возникшему в ней желанию видеть все яснее, Бианка приподняла вуаль.

— Я пришла сказать вам, — проговорила она, — что всегда готова оказать вам помощь.

Девушка не ответила, но из-под черных ресниц метнула взгляд на свою посетительницу. Он как будто говорил: «Вы? Разве вы в состоянии помочь мне? Нет, едва ли!»

И словно ужаленная этим взглядом, Бианка проговорила убийственно медленно:

— Разумеется, это моя обязанность теперь, когда мистер Даллисон уехал за границу.

При этих словах маленькая натурщица вздрогнула. Казалось, они, как стрела, пронзили ее белую шею. На мгновение Бианка подумала, что

девушка сейчас упадет, но та, вцепившись рукой в подоконник, снова выпрямилась. Ее взгляд, как у раненого животного, заметался во все стороны, потом застыл на груди гостьи. Этот неподвижный, словно ничего не видящий взгляд, за которым, однако, скрывались какие-то первостепенной важности расчеты, производил жуткое впечатление. Но вот к губам, глазам и щекам девушки вернулись прежние краски, — очевидно, расчеты ее были произведены успешно, и она снова воспрянула.

И вдруг Бианке все стало ясно. Так вот что означает упакованный сундук, разоренная комната!.. В конце концов он все же решил взять с собой эту девушку!

В сумятице чувств, порожденной этим открытием, Бианка могла произнести лишь одно слово:

— Понимаю.

Этого было достаточно. Лицо девушки сразу утратило выражение напряженной мысли, вспыхнуло, стало виноватым, а затем мрачным.

Враждебные чувства между этими двумя женщинами, таившиеся все эти прошедшие долгие месяцы, теперь заявили о себе — гордость Бианки не могла больше скрывать, покорность девушки не могла больше приглушать их. И вот они

стояли, как дуэлянтки, по обе стороны сундука — простого, покрытого коричневым лаком железного сундука, перевязанного веревками. Бианка взглянула на него.

— Вы и мой муж? Ха-ха-ха!

Против этого жестокого смеха, действующего гораздо сильнее, чем десятки проповедей на тему о классовом различии, чем сотни презрительных слов, маленькая натурщица выстоять не могла; она опустилась на низкий стул, на котором, по-видимому, сидела, глядя на улицу, до прихода Бианки. Но подобно тому, как запах крови приводит в ярость охотничьего пса, звук собственного смеха, казалось, лишил Бианку самообладания.

— Как вы думаете, почему он берет вас с собой? Только из жалости! Одного этого чувства мало для жизни на чужбине. Но этого вам не понять.

Маленькая натурщица поднялась на ноги. Лицо ее залил мучительный румянец.

— Я ему нужна, — сказала она.

— Нужна ему? Да, так, как ему нужен обед. А когда он съест его, тогда что? О, он, безусловно, никогда не бросит вас: у него слишком чувствительная совесть. Но вы же будете висеть у него на шее — вот так!

Бианка вскинула руки кверху, потом сцепила

пальцы и начала медленно опускать руки, словно изображая, как русалки тянут на дно тонущего моряка.

Маленькая натурщица проговорила, запинаясь:

— Я буду делать все, что он прикажет… все, что он прикажет…

Бианка молча глядела на девушку: вздымающаяся грудь, павлинье перышко, нервно сжатые пухлые ручки, дешевые духи — все казалось Бианке оскорбительным.

— И вы полагаете, он скажет вам, что именно ему нужно? Вы воображаете, что у него — это у него-то! — хватит необходимой жестокости, чтобы отделаться от вас? Он будет считать себя обязанным содержать вас до тех пор, пока вы сами его не бросите, что вы, не сомневаюсь, в один прекрасный день и проделаете.

Девушка уронила руки.

— Я никогда не оставлю его, никогда! — произнесла она страстно.

— В таком случае да поможет ему небо.

Глаза маленькой натурщицы будто вовсе лишились зрачков; они стали как цветы цикория, у которых нет темных сердцевинок. Через глаза и стремилось найти себе выход все то, что она

в эту минуту чувствовала: слишком сложные для слов, эти чувства не могли сойти с ее губ, непривычных для выражения эмоций. Она лишь повторяла, заикаясь:

— Я не… я не… я буду…

И вновь и вновь прижимала руки к груди.

Бианка скривила губы.

— Вот оно что! Вы считаете себя способной на самопожертвование! Ну что ж, вам предоставляется удобный случай. Воспользуйтесь им. — Она указала на перевязанный веревками сундук. — Вам надо всего-навсего исчезнуть.

Маленькая натурщица прислонилась спиной к подоконнику.

— Я нужна ему, — прошептала она, — я знаю, что нужна ему!

Бианка до крови прикусила губу.

— Ваша идея самопожертвования великолепна, — сказала она. — Уезжайте сейчас же — и через месяц он перестанет вспоминать о вас.

Девушка всхлипнула. В движениях ее рук было что-то столь жалкое, что Бианка отвернулась. Несколько мгновений она простояла, устремив взгляд на дверь, затем, снова повернувшись, проговорила:

— Ну так как же?

Но лица девушки нельзя было узнать. Оно все было залито слезами, но на нем уже была всегдашняя неподвижная маска бесстрастности.

Бианка кинулась к сундуку:

— Нет-нет, вы уйдете отсюда! Забирайте это и уходите!

Маленькая натурщица не сдвинулась с места.

— Так, значит, вы не желаете?

Девушку всю трясло. Она облизала губы, сделала безуспешную попытку сказать что-то, снова облизала губы, и на этот раз ей удалось выговорить:

— Я уеду... только... только если это он велит мне...

— Так вы все еще воображаете, что он вам что-нибудь «велит»!

Но маленькая натурщица все повторяла:

— Я ничего, ничего не стану делать без его приказания...

Бианка захохотала.

— Совсем как собака, — сказала она.

Девушка резко повернулась к окну. Губы ее раскрылись. Она вся съежилась, задрожала; она и в самом деле вдруг стала похожа на спаниеля, завидевшего своего хозяина. Бианка без слов догадалась, что там, на улице, стоит Хилери. Она

вышла в коридор и открыла входную дверь.

Он поднимался по ступеням, лицо у него было измученное, как у больного лихорадкой. При виде жены он замер и так стоял, глядя ей в лицо.

Не дрогнув, не выдав хотя бы малейшим намеком какие бы то ни было чувства, ничем не показав, что она его видит, Бианка скользнула мимо Хилери и медленно пошла прочь.

Глава XL
Конец комедии

Всякий, кто увидел бы Хилери, когда тот в кебе направлялся к дому маленькой натурщицы, заключил бы по красным пятнам на его щеках, по слишком плотно сжатым, дрожащим губам о присутствии в нем животной силы, которая лежит в основе даже самых культурных людей.

Проведя восемнадцать часов в чистилище сомнений, он не столько пришел к решению нанести обещанный визит, от которого зависело будущее двух жизней, сколько уступил своему влечению к девушке.

После того как он в дверях столкнулся с Биан-кой, в передней ему уже не встретилось никого, кто мог бы его видеть, но когда он вошел в комнату маленькой натурщицы, лицо его хранило мрачное, настороженное выражение, как у человека, чей эгоизм получил чувствительный щелчок.

Вид этого столь мрачного лица сразу после того, что ей только что пришлось выдержать, был выше ее сил. Самообладание покинуло девушку.

Вместо того чтобы подойти к Хилери, она села на перевязанный веревкой сундук и зарыдала. Это плакал ребенок, которому не позволили участвовать в школьном пикнике, девушка, чье бальное платье не поспело к балу. Ее слезы только рассердили Хилери: он был вконец измотан. Его трясло, эти пошлые рыдания били ему по нервам. Всем своим существом он вбирал в себя каждую черточку этой пыльной, надушенной комнаты — коричневый железный сундук, голую кровать, дверь цвета ржавчины.

И он понял, что она сожгла свои корабли, чтобы человек, обладающий чувствительной душой, был бы уже не в состоянии разбить ее надежды!

Маленькая натурщица подняла лицо и поглядела на Хилери. То, что она увидела теперь, очевидно, еще менее успокоило ее, потому что она перестала рыдать. Она встала и повернулась к окну, стараясь с помощью носового платка и пуховки устранить следы слез; покончив с этим, она продолжала стоять все так же, спиной к Хилери. От учащенного дыхания дрожало все ее юное тело — от талии до павлиньего перышка на шляпке. И каждым таким движением она как будто предлагала себя Хилери.

За окном на улице шарманка заиграла тот са-

мый вальс, который она играла в день болезни мистера Стоуна. Но эти двое сейчас не слышали мелодии: они были слишком поглощены своими чувствами, и все же она незаметно добавляла что-то к облику девушки, как солнце наделяет ароматом цветок. Губы Хилери снова плотно сомкнулись, уши и щеки вспыхнули — так порыв сквозного ветра вновь раздувает угасшее было пламя. Не отдавая себе в том отчета, медленно, беззвучно, он двигался к ней, и она, будто сознавая это, хотя ничего не слышала, продолжала стоять неподвижно; до него доносилось только ее глубокое дыхание. В этом медленном приближении заключалась вся история жизни, вся тайна пола. Шаг за шагом он подходил к ней, и девушка покачнулась, как бы внушая ему, что он должен обвить ее руками, чтобы она не упала, внушая, чтобы он забыл обо всем, не помнил ничего, кроме этого, — ничего в целом свете, кроме ее стремящегося к нему юного тела!

Шарманка перестала играть — очарование исчезло. Маленькая натурщица обернулась. Как ветер покрывает темными серыми морщинками неподвижные, зачарованные зеленые воды, в которые гляделся какой-нибудь смертный, так вдруг разум Хилери охватил все это, сорвал

покров с происходящего, показал подлинную сущность всего. Мгновенно подмечая каждую мелькнувшую на лице Хилери тень, девушка, казалось, готова была опять разразиться слезами, но, рассудив, очевидно, что слезы помогли ей мало, прижала руку к глазам.

Хилери смотрел на ее круглую, не очень чистую руку. Он заметил, что девушка глядит на него сквозь раздвинутые пальцы. Ему стало неприятно, почти жутко — будто перед ним была кошка, подкарауливающая птицу. Он стоял, потрясенный внезапно открывшейся ему неприглядностью его положения, он представил себе будущее с этой девушкой — с таким воспитанием, привычками, тысячью вещей, которых он не знал о ней и с которыми ему придется столкнуться, начни он с ней совместную жизнь. Прошла минута, показавшаяся вечностью, ибо в нее вместилась вся сила длительного преследования девушки, ее инстинктивное цепляние за то, что сулило надежную опору, возвышение в жизни, возможность обвиться вокруг сильного.

Сознавая все, сдерживаемый этим видением своего будущего, но влекомый к девушке силой желания, Хилери качался, как пьяный. И вдруг она кинулась к нему, охватила руками его шею,

прижалась ртом к его губам. Прикосновение ее губ было горячим и влажным. От нее исходил, согретый теплом ее тела, тяжкий запах фиалковой пудры; запах этот проник в сердце Хилери, и он отпрянул в чисто физическом отвращении.

Получив такой отпор, девушка окаменела: грудь ее вздымалась, зрачки расширились, губы были еще раскрыты после поцелуя. Выхватив из кармана пачку банкнот, Хилери кинул их на кровать.

— Я не могу взять вас с собой! — почти простонал он. — Это безумие! Это невозможно!..

И он вышел в коридор, сбежал вниз по ступеням и сел в поджидавший его кеб. Казалось, прошло бесконечно много времени, прежде чем кеб наконец тронулся. Хилери сидел в углу, стиснув руки, не шелохнувшись, словно мертвый.

Квартирная хозяйка, возвращаясь после утреннего обхода лавок, увидела и узнала его. «У джентльмена такой вид, — подумала она, — будто он получил дурные вести». Она, естественно, связала его появление здесь со своей жиличкой. Постучав в дверь ее комнаты и не получив ответа, она вошла.

Маленькая натурщица лежала на голой кровати, прижавшись лицом к валику, обтянутому

белым в голубую полоску тиком. Плечи ее сотрясались, слышались приглушенные рыдания. Хозяйка стояла и молча на нее смотрела.

Происходя из Корнуэлла, из сектантской семьи, она всегда недолюбливала эту девушку: инстинкт подсказывал ей, что та успела уже слишком многое повидать в жизни. А те, кто уже много чего повидал в жизни, — это всегда «любители удовольствий». Она знала, что такое деревня, и потому легко могла представить себе «историю» в жизни маленькой натурщицы — очень простую, очень распространенную. Иногда, правда, неприятности подобного рода быстро проходят и забываются, но иногда, если парень не загладил своей вины и родня девушки отнеслась к этому сурово, — ну, тогда... Таковы были мысли этой почтенной женщины. Происходя из того же слоя общества, она с самого начала смотрела на свою жиличку весьма трезво.

Но, видя ее сейчас в таком безысходном отчаянии — а где-то за гранитным лицом и холодными глазами у этой женщины были и теплота, и мягкость, — она дотронулась до спины девушки.

— Ну, ну, чего уж так убиваться, — сказала она. — Что случилось-то?

Маленькая натурщица стряхнула ее руку, как

раскричавшийся ребенок, который отталкивает от себя утешение.

— Оставьте меня в покое! — пробормотала она.

Квартирная хозяйка отошла.

— Обидел кто-нибудь? — спросила она.

Маленькая натурщица помотала головой.

Растерявшись при виде этого немого горя, женщина молчала, не зная, что сказать, затем с флегматичностью, присущей всем тем, кто давно уже борется с судьбой, сказала вполголоса:

— Не очень приятно смотреть, когда вот так вот плачут.

И, видя, что девушка по-прежнему упорно отказывается принять выражение сочувствия, направилась к двери.

— Ну, ладно, — проговорила она с ироническим состраданием. — Коли что понадобится, я буду в кухне.

Маленькая натурщица осталась лежать на кровати. Время от времени она всхлипывала, словно ребенок, который лежит на траве в стороне от товарищей, стараясь побороть свой гнев, зарыть в землю этот миг своего детского горя. Всхлипывания постепенно становились реже, слабее и наконец совсем утихли. Она поднялась, села и смахнула на пол пачку банкнот, на которых

лежала.

Увидев их, она снова разразилась рыданиями, снова бросилась на кровать, прижалась к мокрому валику щекой; немного погодя рыдания стихли, но она все не поднималась. Наконец поднялась, побрела к зеркалу, стала разглядывать свое заплаканное лицо, пятна на щеках, распухшие веки, тени под глазами; машинально привела себя в порядок. Сев на коричневый железный сундук, она подняла с пола пачку банкнот. Они издали в ее руках легкий хрустящий звук. Пятнадцать десятифунтовых ассигнаций — все деньги Хилери, приготовленные им для поездки. Глаза ее раскрывались все шире и шире, по мере того как она пересчитывала деньги. И внезапно на эти тонкие листки бумаги покатились слезы.

Затем она медленно расстегнула платье и начала засовывать за ворот банкноты, пока не осталось ничего, кроме сорочки, между ними и трепещущей, теплой кожей, скрывающей ее сердце.

Глава XLI
Дом, где царит гармония

В тот же вечер в половине одиннадцатого Стивн шел по выложенной каменными плитами дорожке к дому брата.

— Могу я видеть миссис Хилери?

— Мистер Хилери сегодня утром уехал за границу, сэр, а миссис Хилери еще не приходила домой.

— Пожалуйста, передайте ей вот это письмо. Впрочем, нет, я буду ждать. Что, если я подожду в саду?

— Пожалуйста, сэр!

— Отлично.

— Я оставлю дверь открытой, сэр, на случай, если вы пожелаете зайти в дом.

Стивн подошел к садовой скамье и сел на нее. Мрачно уставившись на свои лакированные штиблеты, он время от времени похлопывал конвертом по брюкам своего вечернего костюма. Через весь темный сад, где ветви деревьев висели тихо, не тревожимые ветром, из открытого окна мистера Стоуна лилась река бледного света, и

в ней кружились, стремясь к ее истоку, мотыльки, вновь появившиеся вместе с жарой.

Стивн раздраженно смотрел на фигуру мистера Стоуна; тот стоял, нагнувшись над конторкой, совершенно неподвижно: вот так можно увидеть в глазок тюремной камеры заключенного, который стоит, уставившись на свою работу, — не шевелясь, онемев от одиночества.

«Старик начинает сдавать, — подумал Стивн. — Вот бедняга, его убивают его идеи. Они противны человеческой природе и всегда будут такими. — Он хлопнул конвертом по брюкам, словно заключавшийся в конверте документ подчеркивал этот факт. — Нельзя не пожалеть старого глупца с его возвышенными идеями».

Он встал, чтобы получше разглядеть тестя, не подозревавшего, что за ним наблюдают. Фигура старика казалась такой безжизненной, застывшей, будто душа мистера Стоуна последовала за одной из его идей куда-то в недра земли, а тело осталось ждать ее возвращения. Зрелище это подействовало на Стивна угнетающе.

«Можно поджечь дом, а старик и не заметит пожара», — подумал он.

Мистер Стоун пошевелился. Через затихший сад до Стивна долетел протяжный вздох. Стивн

отвернулся, почувствовав, что как-то нехорошо подглядывать за старым человеком, и, встав, пошел в дом. В кабинете брата он постоял, повертел в руках стоявшие на письменном столе безделушки.

«Я ведь предупреждал Хилери, что он обожжется на этом», — думал он.

Услышав, что в парадной двери щелкнул американский ключ, Стивн вернулся в переднюю.

Он с самого начала втайне не одобрял Бианку; она всегда казалась ему колючей, всегда его раздражала, но сейчас он был поражен тем, какое измученное и несчастное у нее лицо. Стивну как будто впервые открылось, что не ее вина, если она не может быть иной. Это как-то сбивало его с толку, потому что подобный способ расценивать что бы то ни было казался ему неразумным.

— У тебя усталый вид, Бианка, — сказал он ей. — Мне очень жаль, но я все же счел нужным передать тебе это письмо сегодня же.

Бианка глянула на конверт.

— Оно адресовано тебе, — ответила она. — Спасибо, но я не имею желания читать его.

Стивн сжал губы:

— Но я хочу, чтобы ты прослушала это письмо. Позволь, я прочту тебе вслух.

«Вокзал Чаринг-Кросс

Дорогой Стиви!

Вчера я сказал тебе, что еду за границу один. Позже я передумал: я решил взять ее с собой. Я пошел к ней. Но я слишком долго жил в мире чувств, чтобы принять такую порцию действительности. Мое классовое чувство спасло меня, класс восторжествовал над моими самыми примитивными инстинктами.

Я еду один — возвращаюсь в мир чувств. Бианка не скомпрометирована, но наш брак стал для меня насмешкой. Я больше не вернусь к ней. Ты сможешь разыскать меня по прилагаемому адресу, и я вскоре попрошу тебя прислать мне моих домашних богов.

Пожалуйста, передай Бианке содержание этого письма.

Любящий тебя брат Хилери Даллисон».

Хмурясь, Стивн сложил письмо и сунул его во внутренний карман.

«Оно еще горше, чем мне показалось, — подумал Стивн, — но иного выхода у него не было».

Бианка стояла, положив локоть на каминную полку, повернувшись лицом к стене. Ее молчание раздражало Стивна, который жаждал проявить лояльность в отношении брата.

— Письмо это, разумеется, очень меня успокоило, — сказал он. — Если бы Хилери… Это было бы роковым.

Она не шевелилась, и Стивн ясно сознавал, что затронутая тема чрезвычайно деликатного свойства.

— Конечно, все это так, — начал он снова, — но, право, Бианка, ты, в общем… я хочу сказать… — И он снова умолк, потому что ответом ему было все то же молчание, абсолютная неподвижность. Чувствуя, что он не может уйти, так и не выразив лояльности к брату, он попытался еще раз. — Хилери — добрейшая душа. Не его вина, если у него не было достаточного контакта с реальной жизнью, что он… не умеет справляться с фактами. Он *пассивен.*

И, охарактеризовав брата, к собственному своему удивлению, всего одним этим словом, он протянул Бианке руку.

Ее рука, протянутая в ответ, была лихорадочно горячей. Стивн почувствовал раскаяние.

— Мне очень, очень жаль, что все так случилось, — сказал он, запинаясь. — Очень сочувствую тебе, Бианка.

Бианка отдернула руку.

Пожав плечами, Стивн отвернулся.

«Что поделаешь с такими женщинами?» — подумал он, но вслух сказал холодно:

— Спокойной ночи, Бианка.

И ушел.

Некоторое время Бианка сидела в кресле Хилери. Потом стала бродить по комнате при слабом свете, проникавшем из коридора через приотворенную дверь, касалась рукой стен, книг, гравюр — всех тех знакомых предметов, среди которых он жил столько лет.

Она брела в этом полумраке, как дух Дисгармонии, парящий в воздухе над тем местом, где лежит ее тело.

За спиной Бианки скрипнула дверь. Чей-то голос резко произнес:

— Что вы делаете в этом доме?

Подле бюста Сократа стоял мистер Стоун. Бианка подошла к отцу.

— Папа!

Мистер Стоун смотрел удивленно.

— Ты? Я решил, что забрался вор. Где Хилери?

— Уехал.

— Один?

Бианка наклонила голову.

— Уже очень поздно, папа, — прошептала она.

Мистер Стоун сделал движение рукой, будто

хотел погладить дочь.

— Сердце человека — могила многих чувств, — пробормотал он.

Бианка обняла его за плечи.

— Тебе пора спать, папочка, — сказала она, стараясь направить его к двери, потому что в сердце у нее начало что-то таять.

Мистер Стоун споткнулся, дверь захлопнулась. Комната погрузилась во тьму. Рука, холодная как лед, коснулась щеки Бианки. Собрав всю свою волю, Бианка удержала крик ужаса.

— Это я, — сказал мистер Стоун.

Рука его от лица Бианки спустилась к ее плечу, и Бианка схватила ее своей горячей рукой. Так, держась за руки, они выбрались из кабинета в коридор и пошли к комнате мистера Стоуна.

— Спокойной ночи, дорогой, — шепнула Бианка.

Через открытую дверь его комнаты шел свет, и мистер Стоун старался разглядеть лицо дочери, но она не хотела, чтобы лицо ее видели. Тихонько прикрыв дверь, она крадучись прошла наверх.

Она сидела в своей спальне у открытого окна, и ей казалось, что комната полна народу, — так расшатаны были у нее нервы. Этой ночью стены не могли защитить ее от людей. Она сидела,

откинувшись в кресле, закрыв глаза, и призраки окружали ее застывшую фигуру — они то двигались, то были недвижимы, то были ясно видны, то скрывались будто за плотной вуалью. Эти дисгармоничные тени, носящиеся в комнате, издавали шорохи, как шелест сухой соломы или жужжание пчел над стеблями клевера. Она выпрямилась, и тени исчезли, и звуки снова стали далеким шумом возвращающихся домой экипажей. Но стоило ей закрыть глаза, и тени опять прокрадывались в комнату, окружали Бианку, издавая странные, сухие, таинственные шорохи.

Вскоре она уснула и вдруг проснулась, как от толчка. В мерцании бледного света стояла маленькая натурщица так, как на том роковом портрете, который писала с нее Бианка. Лицо девушки было мертвенно бело, и под глазами лежали тени. Из раскрытых губ, лишь чуть тронутых цветом, казалось, шло дыхание. На шляпке ее было крохотное павлинье перышко и рядом с ним две темно-красные розы. От девушки шел аромат — слабый, каким всегда бывает запах цветка цикория. Сколько времени она уже стоит здесь? Бианка вскочила на ноги, и видение исчезло.

Бианка подошла к тому месту, где оно только

что стояло. Ничего не было в этом углу, кроме лунного света, запах же шел от деревьев за окном.

Но видение было таким живым, что Бианка стояла у окна задыхаясь, проводя рукой по глазам.

Луна над темными садами висела круглая и почти золотая. Ее бледный свет лился на каждый сучок и лист, на каждый спящий цветок. Это мягкое мерцающее сияние, казалось, сплело все в одно единое целое, успокоило дисгармонию, и отдельная форма сама по себе уже ничего не значила.

Бианка долго смотрела на дождь лунного света, падающего на ковер земли ливнем рассыпанных цветов, из которых пчелы высосали мед. И вдруг внизу под окном в пронизанном светом пространстве она различила какую-то тень, мелькнувшую на траве, и со страхом услышала голос — ясный, дрожащий, который как будто искал свободы по ту сторону преграды из темных деревьев:

— Мой мозг окутан тьмой! О Великая Вселенная! Я больше не могу писать мою книгу! Я не могу раскрыть моим братьям истину, что они одно целое. Я не достоин оставаться здесь. Дай мне слиться с тобой, дай мне умереть!

Бианка увидела, как из рукавов белой рубашки высунулись простертые в ночь слабые руки отца,

будто он ждал, что его немедленно подхватит струей воздуха и унесет к Всемирному Братству.

Наступило мгновение, когда, как по волшебству, все мельчайшие диссонансы города слились в одну гармонию молчания, как если бы все личное на земле умерло.

И тут, нарушая оцепенение, снова послышался голос мистера Стоуна; голос дрожал и был слаб, будто шел через тростинку:

— Братья!..

За кустами сирени у калитки Бианка увидела темный шлем полисмена. Полисмен стоял и, не отрываясь, смотрел туда, откуда шел голос. Подняв фонарь, он направил его поочередно во все уголки сада, думая найти тех, к кому обращался этот призыв. Убедившись, как видно, что сад пуст, он двинул фонарь вправо, влево, затем опустил его до уровня груди и медленно проследовал дальше.

1908

Патриций

Посвящается Гилберту Мари
Нрав человека – его рок.

Часть первая
Глава I

Первый луч зари, проникший в большую залу, такую высокую, что лепной потолок ее казался недоступным взору, с задумчивым, холодным любопытством оглядел эту причудливую кладовую Времени. Свободный от предубежденности, свойственной человеческому взгляду, он отмечал одну за другой странные несообразности, словно освещая бесстрастный ход самой истории.

В этой столовой — одной из красивейших в Англии — род Карадоков, поколение за поколением, веками копили свои реликвии и трофеи. Они строили, и разрушали, и вновь отстраивали все вокруг стен этой залы, пока усадьба Монкленд не обрела некоего единства и цельности. Лишь этот покой, возведенный древними строителями, остался нетронутым и сохранил в своей почти монастырской строгости отпечаток их суровых душ. И в свете заглянувшей сюда зари все явственнее проступали трогательные свидетельства столь присущей человеку жажды утвердить себя в веках — все, что некогда было его жизнью, фетиши,

причудливые атрибуты верований, — но видны становились также и следы безжалостной руки Времени.

Летописец нашел бы здесь все нужные ему доказательства; психолог безошибочно распознал бы черты высокого происхождения; философ проследил бы путь развития аристократии — от первобытной грубой силы или ловкости через века могущества к живописному упадку. Даже художник мог бы уловить здесь едва угадываемый, не выразимый словами дух дома, точно в древнем соборе, где, кажется, так и слышишь, как бьется его старое сердце.

От легендарного меча, принадлежавшего тому валлийскому вождю, который с помощью искусного, щедро вознагражденного вероломства вошел в доверие к Вильгельму Завоевателю и, женившись на вдове некоего норманна, взял за ней обширные земли в Девоншире, и до кубка, в складчину преподнесенного Джефри Карадоку, нынешнему графу Вэллису, его девонширскими арендаторами по случаю его женитьбы на леди Гертруде Симмеринг, — все было здесь, кроме портретов предков, висевших теперь в лондонском особняке Вэллисов. Здесь хранилась даже древняя копия выцветшей, полуистлевшей гра-

моты, которою король жаловал земли и титул Джону, самому блестящему из Карадоков, ибо по забавной оплошности, какой избежал редкий из древних родов, сей Джон, к несчастью, не озаботился родиться от законного брака. Да, она была здесь, без всякого стеснения вывешенная на стене, так как случай этот, несомненно волновавший умы в пятнадцатом веке, ныне служил лишь темой для анекдота, тем более потешного, что среди фермеров соседнего прихода можно было наверняка встретить потомков «единокровного» брата Джона — Эдмунда.

Продолжая свой путь, луч зари соскользнул с развешанного на стене оружия на тигровые шкуры, вывезенные всего лишь год назад из Индии младшим сыном Карадоков, Берти, как бы напоминая, что те, кому некогда принадлежало первенство по простому закону природы, венчающей своими благами дерзновенных и сильных, ныне, оттесняемые от основного потока жизни нации, вынуждены искать повода для дерзаний, чтобы не разувериться в своей силе.

Беспощадный луч раннего летнего утра отметил немало других перемен, скользя со строгих гобеленов на бархатистые ковры, свидетельствующие о здравом смысле нынешней знати,

отказавшейся от аскетизма предков. Но тут, словно наскучив собственным критическим бесстрастием, заря пожелала одеть все вокруг в колдовской убор: взошло солнце, и в окна, обращенные к востоку, хлынул ровный и несказанно радостный свет. А вместе с ним влетел шмель и устремился прямо к цветам на столе, стоявшем поперек комнаты, за который садились, лишь если гостей бывало немного.

Безмолвно текли часы, и солнце поднялось уже довольно высоко, когда в зале появились наконец три горничные, румяные и говорливые, с половыми щетками в руках. Их сменили два ливрейных лакея, предвестники завтрака; минуту они постояли в молчаливом созерцании, как и положено респектабельным слугам, затем принялись степенно накрывать на стол. Потом заглянула — нет ли тут чего интересного — девчурка лет шести, Энн Шроптон, чадо сэра Уильяма Шроптона и леди Агаты, старшей дочери хозяина дома, пока единственной из четверых молодых Карадоков вступившей в брак. Энн вошла на цыпочках, в надежде захватить врасплох какое-нибудь чудо. На ее круглом личике с вздернутым дерзким носиком сияли ясные, широко распахнутые карие глаза. Полотняное платье, лишь слегка схвачен-

ное поясом ниже талии, словно подчеркивало ее полную свободу, и, должно быть, все в жизни казалось ей веселым и забавным. Скоро она и вправду заметила нечто интересное.

— А вон шмель!.. Как по-вашему, Уильям, он приручится, если посадить его в стеклянную коробочку?

— Не думаю, мисс Энн. И берегитесь, как бы он вас не ужалил.

— Меня не ужалит.

— Почему же?

— Потому что.

— Ну, конечно… раз вы так полагаете…

— А когда дедушка велел подать автомобиль?

— В девять часов.

— Я поеду с ним до самых ворот.

— А если он не позволит?

— Ну… тогда я все равно поеду.

— Вот как?

— Я могу с ним ехать до самого Лондона. А тетя Бэбс едет?

— Нет, кажется, его светлость едет один.

— Вот если бы она поехала, и я бы с ней. Уильям!

— Слушаю.

— Дядю Юстаса непременно выберут?

— А как же иначе?

— Как по-вашему, он будет хороший член парламента?

— Лорд Милтоун очень умный, мисс Энн.

— Правда?

— А, по-вашему, разве нет?

— А Чарльз как думает?

— Спросите его сами.

— Уильям!

— Слушаю.

— Мне не нравится в Лондоне. Мне нравится здесь, и в Кэттоне, и дома очень нравится, и я люблю Пендридни… и… и мне нравится Рэйвеншем.

— Я слышал, его светлость собирается по дороге заехать в Рэйвеншем.

— Ой! Он увидит прабабушку. Уильям…

— А вот и мисс Уоллес.

В дверях стояла невзрачная женщина с тусклым, исполненным терпения лицом.

— Пойдем, Энн, — сказала она.

— Иду… Здравствуйте, Симмонс!

— Здравствуйте, мисс Энн! — ответил, входя, дворецкий.

— Мне надо идти.

— Мы все очень сожалеем.

— Ну, конечно.

Дверь легонько стукнула, и просторная зала снова погрузилась в деловитую тишину последних приготовлений к трапезе. Но вот четверо хлопотавших у стола слуг разом отступили. Вошел лорд Вэллис.

Он шел медленно, не отрывая спокойных серых глаз от газеты, и меж его бровей залегла непривычная складка. У него были жесткие волосы и усы, в которых уже проступала седина, лицо загорелое и все же румяное, мужественное лицо человека, который знает, чего хочет, и довольствуется этим, и вся его фигура, ладная, подтянутая, с отличной выправкой, и посадка головы — все подтверждало, что это человек не то чтобы самодовольный, но вполне довольный своим образом жизни и мыслей. Его манера держаться с очевидностью выдавала ту особенную непринужденность, которой обладают люди, постоянно находящиеся на виду, привыкшие не отказывать себе в жизненных благах и удобствах и свободные от необходимости заботиться о мнении окружающих. Он сел на свое место и, все еще не отрываясь от газеты, принялся за еду; он не сразу заметил, что вошла и села рядом с ним его старшая дочь.

— Досадно уезжать из дому в такую погоду, —

сказал он наконец.

— Заседание кабинета министров?

— Да. Все та же канитель с аэростатами.

Но темные на нежном узком лице глаза Агаты в эту минуту озабоченно оглядывали стоявший на буфете особый поднос, на котором кушанья не остывали. «Пожалуй, — думала она, — такой поднос куда лучше наших. Лишь бы только Уильяму эти большие подносы пришлись по душе». Все-таки она спросила своим мягким голосом — ибо и говорила, и двигалась она очень мягко, почти робко, пока дело не касалось благополучия ее мужа или детей:

— Как ты думаешь, папа, эти страхи, что будет война, помогут Юстасу пройти в парламент?

Но отец не ответил: он здоровался с только что вошедшим высоким молодым человеком, красивым, темноволосым, с усиками, чем-то напоминавшим его самого, хотя ни в каком родстве они не состояли. Правда, в наружности Клода Фресни, виконта Харбинджера, без сомнения, было еще и нечто норманнское — правильные черты лица, орлиный нос. Кроме того, то, что казалось естественным в манерах старшего, у младшего выглядело одновременно и как чрезмерная самоуверенность, и как излишняя

связанность, словно он все время был настороже. Следом вошла высокая, полная, видная женщина с темными еще волосами — сама леди Вэллис. Хотя ее старшему сыну уже минуло тридцать, ей самой было лишь немногим больше пятидесяти. Ее голос, осанка, весь облик свидетельствовали о том, что когда-то она была признанной красавицей; но это жизнерадостное лицо с большими серо-голубыми глазами уже утратило свежесть красок, и теперь не оставалось сомнений, что молодость ее позади. В каждой ее черточке, в каждой нотке голоса чувствовалась живая, общительная и притом подлинно светская женщина. Видно было, что это широкая натура, одаренная кипучей энергией, не лишенная чувства юмора, привыкшая к здоровой жизни на свежем воздухе. Она-то и ответила Агате:

— Конечно, дорогая. Ничего не может быть лучше.

— Кстати, Брэбрук собирается разразиться об этом речью, — вмешался лорд Харбинджер. — Вы его когда-нибудь слышали, леди Агата? «Мистер спикер, сэр, я встаю, и вместе со мной встают во весь рост демократические принципы».

Агата улыбнулась, но ее мысли были заняты другим: «Если сегодня я позволю Энн доехать до

ворот, завтра ей этого будет уже мало». Чуждая каких-либо общественных интересов, она все унаследованное от предков стремление властвовать обратила на мелочную опеку над чадами и домочадцами. Это стало ее религией, ее страстью — она ощущала себя как бы хранительницей британского домашнего очага, главою некоего патриотического движения.

Покончив с завтраком, лорд Вэллис поднялся:

— Что-нибудь передать твоей матушке, Гертруда?

— Нет, я только вчера ей писала.

— Скажи Милтоуну, чтобы не упускал из виду этого мистера Куртье. Я однажды его слушал… Весьма недурной оратор.

Леди Вэллис, еще не садившаяся за стол, проводила мужа до дверей.

— Кстати, Джеф, я рассказала матушке о той женщине.

— Это было необходимо?

— Думаю, что да. Мне как-то тревожно… А матушка имеет кое-какое влияние на Милтоуна.

Лорд Вэллис пожал плечами, легонько стиснул локоть жены и вышел.

Он и сам смутно тревожился, но он был не из тех, кто спешит навстречу неприятностям. Как

и многие люди его круга, особенно привыкшие иметь дело с лошадьми, он, казалось, вовсе не знал, что такое нервы. По самому складу характера он полагал, что поистине довлеет дневи злоба его. Притом отношение старшего сына к женщинам было для него загадкой, над которой он давно перестал ломать голову.

Он вышел в холл и задержался на мгновение, вспомнив, что еще не видел сегодня свою любимицу — младшую дочь.

— Леди Барбара еще не сошла вниз?

Узнав, что дочь не выходила, он надел дорожное пальто, поданное Симмонсом, и вышел на белое широкое крыльцо, над которым красовались высеченные из камня ястребы — герб Карадоков.

Сквозь приглушенный шум мотора до него донесся звонкий голосок Энн:

— Скорей, дедушка!

Губы лорда Вэллиса скривились под жесткими усами: странно слышать слово «дедушка», когда тебе всего-навсего пятьдесят шесть, а чувствуешь себя еще моложе, и, махнув рукой в перчатке в сторону Энн, он сказал Симмонсу:

— Пошлите кого-нибудь к воротам за этой особой.

— Нет, я вернусь одна, — решительно объявила Энн.

Мотор взревел, положив конец спору.

Лорд Вэллис в автомобиле был выразительной иллюстрацией пагубного вторжения науки в старинный уклад жизни. Любитель скачек, которого — после политики — больше всего на свете занимали лошади, недавно получивший звание почетного охотника, он, однако, обладал достаточной долей здравого смысла, чтобы не только терпеть, но и принимать, даже поддерживать то, что содействовало вытеснению лошадей. Инстинкт самосохранения потихоньку подталкивал его к гибели, нашептывая, что науку, одерживающую одну победу за другой над грубой природой, можно как-то обратить на служение тому престижу, который покоится на неизменном, вполне устойчивом основании. Это постоянное стремление идти в ногу с веком, увлечение плодами научных открытий, все убыстряющийся темп жизни, когда все время скользишь по поверхности, не пускаешь корней, и возрастающее легкомыслие, космополитизм и даже меркантильный дух, чем он, человек, отлично знающий жизнь, пожалуй, немного гордился, — все это незаметно для него самого

разрушало ту стену, которой люди его круга отгораживаются от простых смертных. Упрямый, не отличающийся особенной тонкостью, хотя отнюдь не тупица в делах практических, он решительно плыл по течению, крепко держа в руках руль, не замечая, что попал в водоворот. Надо сказать, здравый смысл постоянно уводил его от крайнего ретроградства, столь свойственного его сыну Милтоуну, к консерватизму, несколько смягченному, который, живя на тот же духовный капитал, отлично умеет пользоваться всеми благами врага своего — прогресса.

Он сам вел автомобиль, сосредоточенно, но без всякого напряжения, надвинув фуражку на самые брови, из-под которых смотрели спокойные глаза; и хотя это неожиданное заседание кабинета во время перерыва на Троицу не только портило отдых, но и не могло не беспокоить, он был вполне способен радоваться быстрому, плавному движению и летнему ветерку, шелестевшему в вековых деревьях длинной аллеи и ласково овевавшему лицо. Рядом молча сидела Энн. Катание в автомобиле было совсем новым развлечением, ибо дома это запрещалось, и в ее широко распахнутых глазах над дерзко вздернутым носиком светился задумчивый восторг. Она

нарушила молчание, лишь когда, притормозив у ворот, они медленно проезжали мимо маленькой дочки привратника.

— Здравствуй, Сьюзи!

Ответа не последовало, но даже не слишком наблюдательный лорд Вэллис с удовлетворением заметил, как смиренно и восторженно смотрела на Энн бледная, худенькая Сьюзи. «Да, — как будто без всякой связи подумал он, — в сердце своем Англия осталась неиспорченной!»

Глава II

Рэйвеншем-хаус расположен на краю Ричмонд-парка; с тех самых пор, как вошло в моду селиться не слишком далеко от Вестминстера, он стал постоянной резиденцией семейства Кастерли; здесь, в просторной оранжерее, примыкающей к холлу, стояла перед японскими лилиями леди Кастерли. Она была невысока, худощава, с лицом цвета слоновой кости, тонким носом и проницательными глазами, глядящими из-под полуопущенных, старчески морщинистых век. Неподвижная, седая, вся в сером, она была точно потускневшая от времени фигурка из стали. В сухой, тонкой, но еще крепкой руке она держала

письмо, написанное крупным, размашистым почерком:

«Монкленд, Девоншир.

Дорогая матушка,

Джефри завтра едет в Лондон. По дороге он постарается заехать к Вам. Вновь вспыхнувшая угроза войны потребовала его присутствия в городе. Сама я туда не собираюсь, пока не будет избран Милтоун. По правде говоря, я боюсь оставлять его здесь одного. Он каждый день видится со своей Незнакомкой. Этот мистер Куртье, написавший книгу против войны, — большая дерзость со стороны человека, который сам был наемным солдатом, не правда ли? — остановился в гостинице и ратует за радикального кандидата. Он тоже с ней знаком, и, думая о благе Милтоуна, надеюсь, весьма коротко: он довольно привлекателен, с рыжими усами, мил в обращении и изрядный сумасброд. Только что явился Берти. Я постараюсь, чтобы он поговорил с Милтоуном, может быть, ему удастся выяснить, как обстоит дело. На Берти можно положиться, его не проведешь. Должна признать, что она очень недурна собой; но мы не знаем о ней решительно ничего, кроме того, что она разведенная. Как это людям удается разузнавать друг о друге? А чрезмерная

щепетильность Милтоуна еще больше осложняет положение. Просто удивительно, до чего ответственно относятся к жизни нынешние молодые люди. Право, не помню, чтобы в молодости мне была присуща такая серьезность…».

Леди Кастерли опустила листок, украшенный графской короной. Тень усмешки скользнула по ее лицу: она-то не забыла, какой была в юности ее дочь. Потом снова принялась за письмо.

«…Мы с Джефри чувствуем себя куда более молодыми, чем Милтоун и Агата, хоть они наши дети. К счастью, Берти и Бэбс не таковы. Разговоры о войне очень способствуют успешному ходу предвыборной кампании. Клод Харбинджер тоже сейчас у нас и усердно помогает Милтоуну; но, по-моему, его больше всего интересует Бэбс. Даже грустно думать, ведь ей нет и двадцати… впрочем, что ж тут удивительного при ее наружности; а Клод и в самом деле очень мил. О нем сейчас много говорят; он один из самых выдающихся молодых тори».

Леди Кастерли снова опустила письмо и прислушалась. В оранжерею ворвался какой-то приглушенный шум, словно приветственные или возмущенные клики далекой толпы, — и сразу резко запахло лилиями, словно он разбудил

дремавший в их матовых лепестках аромат. Она вышла в холл; там стоял бледный старик с длинными седыми бакенбардами.

— Что это за шум, Клифтон?

— Социалисты, миледи. Они идут в Патни, на манифестацию. А люди улюлюкают. Задержали их у самых ворот и не дают пройти.

— Они произносят речи?

— Да, что-то там разглагольствуют, миледи.

— Пойду послушаю. Подайте мне черную трость.

Над бархатно-темными, разлапистыми кедрами, которые, точно эбеновые пагоды, выстроились по обе стороны подъездной аллеи, нависла огромная сизая туча, казавшаяся еще более зловещей оттого, что в нее вонзался единственный белый луч. Под этим балдахином сбились в кучку на дороге усталые, запыленные люди, заслоняя и ободряя возгласами оратора в черном. А вокруг, то и дело что-то выкликая, теснились мужчины и мальчишки.

Леди Кастерли и ее «мажордом» остановились в шести шагах от узорных чугунных ворот, наблюдая за происходящим. Хрупкая серо-стальная фигурка с серо-стальными волосами впечатляла своей неподвижностью куда больше, нежели

крикливая и беспокойная толпа. Правой рукой она крепко стиснула набалдашник трости, и лишь глаза жили за полуопущенными веками. Оратор возмущался «эксплуатацией народа», иронизировал над христианской моралью, страстно требовал сбросить груз «бессмысленного военного налога», угрожал, что народ возьмет все в свои руки.

— Все это вздор, Клифтон, — сказала леди Кастерли через плечо. — Сейчас хлынет дождь. Я иду в дом.

Под каменным портиком она остановилась. Сизая туча раскололась; дождь в слепой ярости обрушился на толпу, и все бросились врассыпную. Слабая улыбка тронула губы леди Кастерли.

— Дождь охладит их пыл, это им на пользу. Скорей, Клифтон, вы промокнете. Я жду к обеду лорда Вэллиса. Приготовьте комнату, чтобы он мог переодеться. Он едет на автомобиле из Монкленда.

Глава III

В очень высокой полупустой комнате, обшитой белыми панелями, лорд Вэллис почтительно здоровался с тещей.

— Доехал за девять часов, сударыня… неплохая скорость.

— Рада вас видеть. Когда у Милтоуна выборы?

— Двадцать девятого.

— Только? Жаль! Ему бы следовало уехать из Монкленда, пока там живет эта… эта Незнакомка.

— А-а. Ну да, вы о ней уже слышали!

— Вы слишком беспечны, Джефри, — резко сказала леди Кастерли.

Лорд Вэллис улыбнулся:

— Эти разговоры о войне уже начинают надоедать. Мне не очень ясно, как к этому относятся в стране.

Леди Кастерли поднялась:

— Никак. Начнется война — и отношение будет самое правильное. Так всегда бывает. Пройдемте в столовую. Вы голодны?

О войне лорд Вэллис говорил как человек, который постоянно жил среди тех, кто вершит судьбы государства. Подобно тепличному растению, он просто не мог чувствовать, как обыкновенный садовый цветок. Но хотя он впитал в себя все предрассудки и привычки своего класса, он тем не менее жил жизнью, вовсе не обособленной от простых смертных. И, как человек практический

и здравомыслящий, в достаточной мере представлял себе, что думает средний англичанин. Вполне искренне он утверждал, что знает, чего хочет народ, лучше тех, кто много об этом болтает; так оно и было, ибо по складу характера он был ближе к простым людям, чем их вожди, хотя услышать это от кого-нибудь ему было бы, пожалуй, неприятно. Он был силен тем, что природа наделила его трезвой практичностью и начисто лишила воображения, а жизнь дала ему еще и проницательность светского человека и политического деятеля. Положение обязывало его быть энергичным, но в меру и не стремиться доводить всякую идею до логического конца; не быть чересчур строгим в вопросах нравственности — до тех пор, пока сохранена видимость благопристойности; быть великодушным землевладельцем, пока это не затронет всерьез его интересов; покровительствовать искусствам, пока они не выйдут за рамки его понимания; положение обязывало его обладать тактом, зорким глазом, железными нервами и прекрасными манерами, чуждыми всякой манерности. По натуре же он был покладистый супруг, снисходительный отец, осторожный и честный политик, любил пожить в свое удовольствие, потрудиться и провести досуг

на свежем воздухе. Он ценил свою жену, нежно любил ее и ни разу не пожалел о своем выборе. Пожалуй, он никогда ни о чем не жалел, разве только о том, что до сих пор не выиграл дерби и не сумел вывести чистую, без примеси породу аспидных пойнтеров. Тещу свою он уважал, как можно уважать некий отвлеченный принцип.

В этой маленькой старой леди, несомненно, таился огромный запас решимости, унаследованной от предков, уверенности в себе, свойственной лишь тем, чей авторитет никто и никогда не подвергал сомнению; а поскольку привычка к власти в известной мере лишала ее воображения, она не допускала и мысли, что этот авторитет может подвергнуться сомнению в будущем. Она всегда знала, чего хочет, — не потому, что много об этом думала, нет, это было заложено в ее характере, деятельном и властном. В совершенстве зная внешнюю сторону общественной жизни — что необходимо людям ее класса, — вооруженная традициями культуры — чего требовало ее положение, — движимая идеями — всегда, впрочем, одними и теми же, — не ведая над собой иного господина, кроме собственной жажды властвовать, она обладала умом грозным, как обоюдоострые мечи, которыми ее предки Фитц-Харолды разили

врага под Азенкуром или Пуатье, — она инстинктивно не желала заглядывать ни в свою, ни в чужую душу и всячески противилась неразумным попыткам самоанализа, созерцания и душевного взаимопроникновения — попыткам, столь пагубным для власть имущих. Если лорд Вэллис был остовом аристократической машины, то леди Кастерли была ее стальной пружиной. Всю жизнь она одевалась с подчеркнутой простотой, была умеренна и скромна в своих привычках; рано вставала, с утра до ночи была чем-нибудь занята и в семьдесят восемь лет оставалась крепче многих пятидесятилетних; у нее была лишь одна слабость, и в ней-то заключалась ее сила: она изрядно переоценивала роль, предназначенную ей в этом мире. Она была олицетворением своей касты, всего, чем эта каста сильна.

Она поразительно гармонировала со столовой, серые стены которой окаймлял широкий фриз в стиле Фрагонара, расписанный уже потускневшими нимфами и розами, и с мебелью, которая явно пережила свое время. Цветов на столах не было, если не считать пяти лилий в старинной серебряной чаше; на стене, над массивным буфетом, висел портрет покойного лорда Кастерли.

— Надеюсь, у Милтоуна есть какая-то своя

линия? — спросила леди Кастерли сидевшего против нее зятя.

— В том-то и беда. Он страдает от своих распухших принципов… только бы помалкивал о них в своих речах.

— Пусть его. И как только пройдут выборы, увезите его подальше от этой женщины. Как там ее зовут?

— Что-то вроде миссис Ли Ноуэл.

— Давно она в ваших краях?

— С год как будто.

— И вы ничего о ней не знаете?

Лорд Вэллис пожал плечами.

— Ну, конечно! — сказала леди Кастерли. — Вы сидите у моря и ждете погоды. Я займусь этим сама. Полагаю, у Гертруды найдется для меня место в доме? А что общего с этой милой особой у вашего мистера Куртье?

Лорд Вэллис улыбнулся. В этой улыбке выразилась вся его светски учтивая и беспечная философия. «Я не вмешиваюсь не в свои дела», — казалось, говорила эта улыбка, и при виде ее леди Кастерли поджала губы.

— Он крамольник, — сказала она. — Я читала эту его книгу против войны… Весьма зажигательно. Целит в Гранта… и главным образом в

Розенстерна. Я только что видела один из плодов его влияния у самых своих ворот. Толпу крикунов, которые против войны.

Лорд Вэллис подавил зевок:

— Вот как? А я и не подозревал, что Куртье может на кого-нибудь повлиять.

— Он опасный человек. Почти все эти идеалисты — ничтожества, но его книга умна.

— Хоть бы уж этим военным страхам пришел конец, из-за них обе страны выглядят преглупо, — сказал лорд Вэллис.

Леди Кастерли подняла бокал, до краев полный кроваво-красным вином.

— В войне наше спасение, — сказала она.

— Война не шутка.

— Она улучшила бы общее положение.

— Вы так думаете?

— Мы снова стали бы первой нацией в мире, а демократию отбросили бы назад на пятьдесят лет.

Лорд Вэллис машинально насыпал перед собою три кучки соли и так же машинально их пересчитал; потом пробормотал, иронически приподняв брови, словно ставя под сомнение собственную мысль:

— Я бы сказал, что по нынешним временам мы

все демократы… Вы что, Клифтон?

— Шофер спрашивает, когда подать автомобиль.

— Сразу же после обеда.

Двадцать минут спустя он выезжал из чугунных, фигурного литья ворот на лондонскую дорогу. Смеркалось; все новые облака разбредались по трепетному небу, казалось, сами не ведая куда. Видно, они обречены были скитаться без цели. Они столкнулись в небесах, точно стая гигантских птиц, и беспорядочно кружили, сходясь и вновь расходясь. Пахло сырой землей. Пыль прибило, и автомобиль быстро двигался сквозь сумрак, ощупывая фарами дорогу. На Патнийском мосту его задержала вереница фургонов. Лорд Вэллис огляделся по сторонам. Вода отражала тысячи огней: окна домов, громоздившихся по берегам, фонари набережных и стоявших на якоре барж. Змеящееся бледное тело реки, огромной, живой, от века спешащей к морю, не вызывало в его душе никаких образов. Много лет назад, когда он занимал высокий пост в министерстве торговли, он часто сталкивался с нею и хорошо ее изучил — бесстыдно грязную и всегда возмутительно худосочную как раз там, где ей нужно бы раздаться вширь. И все-таки, когда он заку-

ривал сигару, странное чувство шевельнулось в нем — словно перед ним была нежно любимая женщина.

«Дай бог, — подумал лорд Вэллис, — чтобы все эти страхи кончились ничем».

Потом автомобиль снова заскользил по забитой всевозможными экипажами дороге к фешенебельному центру Лондона.

Но заголовки вечерних газет, вывешенных на щитах перед лавками, отнюдь не обнадеживали.

КАША ЗАВАРИВАЕТСЯ ВСЕ КРУЧЕ
НОВЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ СТАНОВИТСЯ УГРОЖАЮЩИМ

И перед каждым щитом возникал маленький водоворот: прохожие, спеша узнать последние новости, взглядывали на заголовки, потом проталкивались назад и продолжали свой путь.

Оказывается, и ему, графу Вэллису, интересно, что они думают обо всем этом. Что же скрывается за этими бледными масками, обращенными к щитам? Думают ли они вообще, все эти простые смертные? Как относятся они к грозящей катастрофе? Одно лицо, другое, третье — тупые, безразличные, не выражающие ни желаний, ни тени воодушевления, ни даже страха. Бед-

няги! В конце концов, что они могут поделать — не больше, чем муравьи, когда какой-нибудь мальчишка мимоходом разрушает их муравейник. Да что и говорить, голос народа никогда, в сущности, не решал, быть войне или не быть. И лорду Вэллису вспоминались слова из статьи в радикальном еженедельнике, который он, как человек беспристрастный, заставлял себя читать: «Не знающий фактов, загипнотизированный словами «Отечество» и «Патриотизм»; в тисках стадного инстинкта и врожденного предубеждения против иностранцев; беспомощный по милости своего терпения, стоицизма, преданности и привычки полагаться на вышестоящих; беспомощный по милости слепой веры в знать и недоверия к себе подобным, беспечности и отсутствия гражданственности, — как бессилен и жалок перед лицом войны простой смертный!» Впрочем, эта газета, бесспорно, неглупая, всегда казалась ему невыносимо напыщенной.

Едва ли ему удастся попасть в этом году на скачки в Аскот… На мгновение мысли его перенеслись к Козетте, его подающей надежды двухлетке; но, словно устыдившись, он снова вернулся к мыслям о войне: хорошо бы знать, готовы ли в адмиралтействе к любым неожиданностям? Сам

он занимал в правительстве довольно спокойную должность, одну из тех, которые предоставляются опытным, нужным в кабинете людям, если для них нет в данный момент более ответственного поста. От адмиралтейства мысль его перескочила к теще. Поразительная старуха! Вот из кого получился бы отменный государственный деятель! Но и ретроградка же! Как сразу всполошилась из-за этой миссис Ли Ноуэл! И с удовольствием знатока он припомнил лицо и фигуру этой женщины, которую видел сегодня утром, проезжая мимо ее коттеджа. Какие бы тайны ее ни окружали, а привлекательности у нее не отнимешь! Изящная головка, темные волнистые волосы, разделенные пробором, прелестная фигура — ничего лишнего. Да, хороша. Без сомнения, у нее есть прошлое, но это его не касается. Жалко, в сущности, таких женщин.

Колонна пехотинцев, возвращавшаяся с учений, задержала его автомобиль. Лорд Вэллис подался вперед, разглядывая их сосредоточенным, пристальным, оценивающим взглядом, каким он смотрел бы на свору гончих. Смутных дум и размышлений как не бывало. Отличный подбор — эти лицом в грязь не ударят. Все они раскраснелись после дня на свежем воздухе и

смотрели кто равнодушно, кто с веселой напускной самоуверенностью; их-то уж, во всяком случае, не терзают ни отвлеченные сомнения, ни призраки ужасов войны.

Кто-то закричал: «Ура!» — в воздухе заколыхались поднятые шляпы, послышался сначала слабый и неуверенный, а затем нарастающий громкий гул приветствий — и разом оборвался. «Довольно энергично! — подумал лорд Вэллис. — Им много не надо! Воинственности нам не занимать». И при этой мысли он снова ощутил живейшее удовольствие.

Солдаты прошли, и автомобиль медленно двинулся следом, прокладывая путь сквозь толпу, хлынувшую за ними. Тут были мужчины — молодые, и старые, и совсем мальчишки, были и женщины, и молоденькие девушки; все они лишь мельком взглядывали на него, словно этот благополучный господин был слишком далек от их жизни, чтобы пробудить в них хотя бы минутное любопытство.

Глава IV

В этот самый час в Монкленде, в небольшой гостиной крытого соломой выбеленного домика,

беседовали, сидя по обе стороны камина, двое мужчин; между ними, откинувшись на спинку низкого кресла, сидела темноглазая женщина и молча слушала, то складывая кончики пальцев, то разнимая, так что они розовели, просвечивая над огнем. Время от времени в камине падало полено, показывая рдеющий бок; казалось, белые стены комнаты впитали в себя свет лампы и огонь камина и теперь сами источали тепло. Залетевшие из темного сада серебристые мотыльки, подрагивая, как запущенные волчком серебряные монетки, вились над светло-зеленой вазой с алыми розами; здесь, как всегда, уютно пахло дымком из камина, травой, цветущим шиповником.

Человеку, что сидел слева от камина, было лет сорок; выше среднего роста, крепкий, энергичный, он держался очень прямо; его подвижное лицо поминутно вспыхивало, голубые глаза блестели. Волосы у него были красно-рыжие, и в огненных, длиннейших, как у Дон Кихота, усах было что-то воинственное.

Человеку, сидевшему справа, было около тридцати. Высокий, гибкий и очень худой, он сидел, согнувшись в низком кресле, обхватив руками колено; в его смуглом, гладко выбритом лице

с глубоко сидящими живыми глазами была своеобразная красота, губы трогала слабая принужденная улыбка.

На редкость несхожие, они поглядывали друг на друга, словно соседские псы, которые, давно убедившись, что лучше держаться друг от друга подальше, неожиданно встретились в таком месте, где никак нельзя затеять драку. А женщина наблюдала за ними, и хотя только один пес мог считаться своим, она, любя собак, готова была погладить и другого.

— Итак, мистер Куртье, — сказал тот, что помоложе; его сухой иронический тон, как и улыбка, казалось, служил защитой пылкой душе, что проглядывала в его взоре. — Все, что вы говорите, сводится просто к оправданию так называемого либерального духа; но, да простится мне моя прямота, дух этот, низведенный с высот философии и искусства в сферу практической деятельности, тотчас оказывается бессильным.

Рыжеусый рассмеялся; странно звучал этот смех — такой веселый и вместе с тем такой язвительный.

— Отлично сказано! Я и не собираюсь с вами спорить. Но так как вся соль политики — в компромиссе, первосвященники кастовости и

власти, подобные вам, лорд Милтоун, столь же далеки от реальной политики, как любой либерал.

— Не согласен.

— Согласны вы или нет, но ваше отношение к жизни общества весьма похоже на отношение церкви к браку и разводу; церковь столь же далека от действительности, как и проповедники свободной любви, и столь же мало способна в ней разобраться. Ваша точка зрения обречена по самой своей сути — она слишком нежизненная, слишком отвлеченная, чтобы вы могли понять истинное положение вещей. А не понимая, невозможно управлять. Уж лучше сидеть сложа руки, чем с вашими взглядами заниматься политикой!

— Боюсь, мы с вами не найдем общего языка.

— Что ж, пожалуй, я требую от вас слишком многого. В конце концов, вы ведь патриций.

— Вы говорите загадками, мистер Куртье.

Темноглазая женщина шевельнулась; руки ее слабо затрепетали, словно прося собеседников не враждовать.

Старший из них тотчас поднялся и почтительно сказал:

— Мы утомили миссис Ноуэл. Покойной ночи, Одри. Мне пора идти.

Дойдя до стеклянной двери, открытой в темный

сад, он обернулся и сделал прощальный выпад:

— Я хотел сказать, лорд Милтоун, что вашему классу более чем кому-либо в Англии свойственна холодная расчетливость. Удивительно, что вы еще сохраняете способность мечтать. Покойной ночи!

Он вышел из комнаты и исчез в темноте.

Молодой человек не шелохнулся; пламя камина освещало его одухотворенное лицо, губы, рождало отблеск в глазах.

— Вы этому верите, миссис Ноуэл? — спросил он.

Вместо ответа Одри Ноуэл улыбнулась, встала и подошла к двери.

— А вот и мой милый лягушонок! Он навещает меня каждый вечер.

На каменном полу веранды, в потоке струившегося из комнаты света, сидел крохотный золотой лягушонок. Когда подошел Милтоун, он запрыгал в сторону и исчез.

— Как мирно у вас в саду! — сказал молодой человек; потом взял ее руку, нежно поднес к губам и так же, как и его противник, скрылся во тьме.

В саду и в самом деле царил глубокий покой. Ночь, казалось, вся обратилась в слух — все огни погашены, все сердца отдыхают. Глазами ясных

звезд она заботливо глядела на каждое дерево, на каждую крышу, на сморенный усталостью цветок, точно мать, которая, склонясь над спящим младенцем, считает каждый его волосок и прислушивается к его дыханию.

Перед улыбкой этой ночи недавний спор казался бессмысленным, как детский лепет. И что-то от теплоты, от сладости этой ночи было в лице женщины, одиноко стоявшей у стеклянной двери. Чуткое, исполненное гармонии, оно не было холодным, как иные гармонически правильные лица, напротив — трепетало, сияя глубоким внутренним светом, точно его осенил некий дух, нашедший наконец пристанище.

В бархатистой тьме сада с черными тенями тисов бодрствовали, казалось, только белые цветы, устремившие на Одри задумчивый взгляд. Деревья стояли темные, тихие. Ночные птицы — и те умолкли. Лишь ручеек в глубине сада подавал голос, обычно заглушаемый дневными шумами.

Одри Ноуэл всегда всем своим существом отзывалась на то, что ее окружало, она не умела быть равнодушной. Но в этот вечер она словно не замечала царившего вокруг покоя. Руки ее дрожали, щеки горели, грудь вздымалась, и вздохи слетали с полураскрытых губ.

Глава V

С тех пор как Юстас Карадок, виконт Милтоун, начал постигать всю сложность бытия, он жил очень одиноко. В детстве единственным его другом был Клифтон, бабушкин дворецкий. Няни, гувернантки, наставники, по их собственному признанию, не понимали его, считая, что он чересчур серьезен и требователен к себе; доходило до того, что он не плакал и не жаловался, когда ему было больно, и это их даже слегка пугало. Почти все детство он провел в Рэйвеншеме, потому что леди Кастерли любила его больше всех своих внуков. Она угадывала в нем способность к самоограничению, которой не хватало ее дочери. Но одному только Клифтону, степенному пятидесятилетнему человеку с длинными черными бакенбардами, Юстас открывал душу.

— Я это вам рассказываю, Клифтон, потому, что вы мой друг, — говорил он обычно, сидя на буфете или на ручке большого кресла в комнате Клифтона или бродя с ним по малиннику.

И Клифтон, склонив голову набок, понимающе и с интересом слушал признания своего «друга», которые порой могли привести в замешатель-

ство, и время от времени вставлял: «Да, конечно, милорд», но чаще: «Да, конечно, милый».

Была в этой дружбе какая-то особая утонченная уважительность, ни один из «друзей» не позволял себе ни малейшей вольности; оба страстно любили голубей и могли часами с увлечением наблюдать за ними.

В должный срок, следуя семейной традиции, Юстас поступил в Харроускую школу. Там он провел пять лет и все время оставался одним из тех малоинтересных подростков, у которых кисти и ступни словно на шарнирах, что плетутся в одиночку к своему логову, приподняв одно плечо от привычки постоянно таскать что-нибудь под мышкой. Он не блистал в науках, нимало не считался с тем, что о нем подумают, притом у него был титул да еще злой язык, которого все боялись, — все это спасло его от репутации «книжного червяка»; он оставался просто гадким утенком, не желавшим слишком послушно плавать по тинистым прудам школьных традиций. В спортивных играх он был так неловок, что товарищи из чувства самосохранения предоставляли ему заниматься спортом в одиночестве. Только для «пятерки» делали исключение: в этой игре он преуспевал, так как на редкость ловко махал

руками. Он увлекался также рискованными химическими опытами и вечно колдовал над какими-то колбами, поначалу тайком, а потом с разрешения надзирателя, полагавшего, что уж если в какой-нибудь из комнат пансиона нельзя обойтись без зловония, пусть его разводят в открытую. Юстас мало с кем дружил, но дружба его была надолго. Его латинские стихи были из рук вон плохи, а греческие и того хуже, так что все изумились, когда в последний год учения оказалось, что он прекрасно пишет и говорит на родном языке. С колледжем он расстался без всякого сожаления. Но когда поезд тронулся и древний Холм со знакомым шпилем на вершине стал исчезать вдали, он ощутил в горле ком, который никак не удавалось проглотить, и пришлось ему забиться в дальний угол купе и притвориться спящим.

В Оксфорде ему жилось не так тоскливо, хотя все-таки довольно одиноко; вначале, пока это было можно, он жил вне стен колледжа, а потом поселился в самом колледже, в уединенных, обшитых панелями комнатах под самой крышей, откуда видны были сады и кусок городской стены. Здесь, в Оксфорде, впервые зародилась столь характерная для него требовательность к себе. Он

пристрастился к гребле, вошел в студенческую команду и, хотя, по всему своему складу, мало для этого подходил, неизменно участвовал во всех гонках. К концу состязаний он до того выбивался из сил, что даже не мог без посторонней помощи выйти из лодки, так как последнюю четверть пути держался одним только напряжением воли. Та же страсть к воспитанию воли руководила им при выборе факультета; он решил стать бакалавром искусств — весьма нелегкая задача при том, как плохо он владел греческим и латынью. С неимоверным трудом он все же получил эту степень, да еще с отличием. Сверх того он не раз удостаивался высших университетских наград за английские сочинения. В обычных студенческих развлечениях он не участвовал. За все годы учения его ни разу не видели под хмельком. Он не ездил на охоту, никогда не вел разговоров о женщинах, и при нем никто не решался на это. Но порою его словно подхватывало вихрем, как бывает лишь с натурами аскетическими, и вся жизнь внезапно обращалась в пламя; оно пожирало его день и ночь, а потом, будто сжалившись, стихало бог весть отчего, точно кто-то задул свечу. Хоть он и не был человеком общительным в обычном смысле этого слова, но в оксфорд-

ские годы его всегда окружали люди. У него был довольно широкий круг знакомств среди преподавателей и студентов старших курсов. Тех, кто способен отправиться в дальнюю прогулку ради удовольствия поболтать с приятелем, Юстас доводил до изнеможения своим стремительным шагом и решительным нежеланием придерживаться какого-то определенного маршрута. Вся округа, от Абингдона до Бэблок-Хайт, хорошо его знала, хотя он не знал никого. Имя его произносили с уважением и в студенческом клубе, где он еще первокурсником отличился на диспуте о цензуре, необходимость которой отстаивал мрачно, упрямо и даже с каким-то юношеским пылом — и одержал бы победу, не встань тут некий ирландец и не заяви, что такая цензура ставит под угрозу даже Ветхий Завет. На это Юстас возразил: «Лучше поставить барьер перед Ветхим Заветом, чем совсем не будет никаких барьеров». Это принесло ему славу.

Он провел в Оксфорде четыре года и покинул его в растерянности, с ощущением утраты. Окончательное суждение Оксфорда о своем детище гласило: «Юстас Милтоун? Чудак! Но он еще себя покажет!»

Примерно в ту же пору у него произошел раз-

говор с отцом, после которого каждый из них утвердился в своем мнении о другом. Разговор этот происходил в библиотеке усадьбы Монкленд в один из ноябрьских вечеров.

В библиотеке горели восемь свечей в тонких серебряных подсвечниках, по четыре с каждой стороны резного камина. Их мягкого сияния хватало лишь на небольшую часть погруженной во тьму просторной комнаты с панелями и паркетом черного дуба, уставленной книгами; здесь держался острый запах кожи и сухих розовых лепестков — щемящий аромат старины. Над огромным камином висел написанный неизвестным художником портрет того кардинала Карадока, который в шестнадцатом веке пострадал за веру; освещена была лишь половина его бритого лица. Изможденный аскет с запавшими глазами и едва уловимой усмешкой на губах, он, казалось, повелевал синеватыми языками пламени в камине.

И отцу и сыну нелегко было начать разговор.

У каждого было такое чувство, словно перед ним не родной отец или сын, а чей-то близкий родственник. В сущности, они встречались очень редко и не виделись уже довольно давно.

Первым заговорил лорд Вэллис:

— Итак, мой милый, чем ты теперь намерен заняться? Я полагаю, мы сумеем провести тебя в парламент по нашему округу, если ты этого пожелаешь.

— Благодарю вас, — ответил Милтоун. — Об этом я пока не думаю.

Сквозь дымок сигары лорд Вэллис присматривался к длинной фигуре, утонувшей в кресле напротив.

— Почему же? — спросил он. — Чем раньше начать, тем лучше. Разве только ты хочешь отправиться вокруг света?

— Прежде чем утвердиться в свете?

Лорд Вэллис смущенно улыбнулся.

— Политика не требует специальной подготовки, всю эту премудрость можно превзойти мимоходом, — сказал он. — Сколько тебе лет?

— Двадцать четыре.

— Ты выглядишь старше. — Слабая морщинка прорезалась у него меж бровей: мерещится ему или в самом деле на губах Милтоуна змеится усмешка?

— Может быть, это и глупо, — произнесли эти губы, — но я считаю, что сперва следует изучить положение вещей. Чему я и намерен посвятить по меньшей мере пять лет.

Лорд Вэллис высоко поднял брови.

— Пустая трата времени, — сказал он. — Если ты войдешь в парламент сейчас же, ты через пять лет будешь все знать куда лучше. Ты слишком серьезно к этому относишься.

— Без сомнения.

Долгую минуту лорд Вэллис не находил ответа; он был несколько задет. Дождавшись, пока обида утихнет, он сказал:

— Что ж, мой милый, как тебе угодно.

Милтоун обучался профессии политика в трущобах; в имениях отца; изучая право; путешествуя по Германии, Америке и британским колониям; участвуя в предвыборных кампаниях и в двух безуспешных попытках найти избирателей, которые не отступались бы от своих убеждений. Он много читал — медленно, но добросовестно и упорно: поэзию, историю, труды по философии, религии, социальным проблемам. К беллетристике, особенно иностранной, он был равнодушен. Больше всего он желал избежать узости и предвзятости и, однако, впитывал лишь то, что отвечало потребностям его натуры, бессознательно отвергая все, что могло как-то охладить жар его верований. Все, что он читал, лишь подкрепляло самые заветные его убежде-

ния — плод его натуры. Презрение к мишурному блеску и пошлым забавам, которыми тешат себя богатство и знатность, соединялось у него со смиренной, но все растущей уверенностью в своей способности первенствовать, в своем духовном превосходстве над теми, чьему благу он желал служить. Бесспорно, у Милтоуна не было ничего общего с заурядными фарисеями, он был прост и прям; но его взгляд, жесты, весь его облик говорили о том, что есть в этом человеке некий тайный источник уверенности, колодец, глубин которого не потревожат никакие вспышки. Он был не лишен чувства юмора, но начисто лишен способности обратить это чувство на себя и подметить что-либо смешное в себе самом. Мир со всем, что в нем есть, представлялся Милтоуну в виде стрел, даже когда в действительности это были круги. Он, казалось, не понимал, что вселенная в равной мере состоит из обоих этих символов и никто еще пока не знает, как их примирить.

Таков он был к тому времени, когда член палаты общин от его родного округа был произведен в пэры.

Милтоун дожил до тридцати лет, но ни разу еще не был влюблен и жил в каком-то ожесточенном целомудрии, которому изменил лишь однажды.

Женщины его боялись. И он, видимо, тоже их побаивался. В теории женщина была слишком прекрасной и манящей — словно молодой месяц в летнем небе; а в действительности оказывалась слишком слащавой или слишком грубой. Он был привязан к Барбаре, своей младшей сестренке, но мать, бабушка и старшая сестра Агата никогда не были ему близки. Забавно было видеть леди Вэллис рядом с ее первенцем. Ее осанистая фигура, цветущее лицо, серо-голубые глаза, в которых вдруг вспыхивали искорки озорного смеха, — все это в присутствии Милтоуна начинало казаться нелепым и неестественным. Наделенная отменным здоровьем и величайшей непосредственностью, она привыкла говорить все, что придет в голову, и не чужда была мыслей и выражений почти рискованных. Никогда, даже в раннем детстве, Милтоун не баловал ее своим доверием. Она не сердилась на него за это: такие душевно и физически крупные, щедро одаренные природой люди редко огорчаются и редко чувствуют себя униженными в чьих бы то ни было глазах, даже в своих собственных, с людьми же из касты леди Вэллис этого не бывает никогда. Милтоун — странный мальчик и всегда был странный, только и всего! Но, вероятно, ничто

так не смущало леди Вэллис, как его неумение держать себя с женщинами. Оно казалось ей противоестественным, так же как иные, должным образом замаскированные поступки мужа и младшего сына были, на ее взгляд, вполне естественны. Именно это чувство помогло ей, вечно погруженной в водоворот политики и светской жизни, с неожиданной ясностью понять, чем грозит Юстасу дружба с женщиной, осторожно упомянутой в письме под именем Незнакомки.

Дружба эта завязалась совершенно случайно. В декабре один из арендаторов упал с лошади и разбился насмерть; зайдя вечером на его ферму, Милтоун застал вдову, потерявшую голову от горя, еле прикрытого сдержанностью человека, который почти утратил способность выразить то, что чувствует, особенно в присутствии «господ». Милтоун уверил несчастную, что никто ее на улицу но выгонит, и, выходя, столкнулся на каменном крыльце с женщиной в меховом жакете и меховой шапочке; она держала на руках плачущего малыша с рассеченным до крови лбом. Милтоун взял у нее мальчика, отнес в комнату — и тут, подняв глаза, увидел прелестное лицо, полное печали и нежности. Он спросил ее, надо ли сказать матери.

Она покачала головой:

— Не будем тревожить бедняжку, сначала займемся ребенком.

Они вместе промыли и перевязали рану. Потом она поглядела на Милтоуна, словно говоря: «А теперь скажите ей, у вас это выйдет лучше».

Он сказал матери о случившемся, и незнакомка вознаградила его мимолетной улыбкой.

Он запомнил ее имя — Одри Ли Ноуэл, и прекрасное лицо под беличьей шапочкой все стояло у него перед глазами. Через несколько дней, проходя деревенским выгоном, он увидел, как она открывает калитку сада. Воспользовавшись случаем, он спросил, не нужно ли перекрыть крышу ее домика; последовал осмотр крыши и завязался разговор, который он не спешил окончить. Для Милтоуна, привыкшего лишь к женщинам своего круга, где даже лучших, при всем их такте и непринужденности, лишенной всякого жеманства, великосветская жизнь приучила к чрезмерной самоуверенности, в кроткой темноглазой миссис Ноуэл, живущей, видимо, вдали от света, в ее робкой прелести таилось невыразимое очарование. Так из зернышка случайной встречи быстро расцвела та редкая между замкнутыми людьми дружба, которая почти сразу заполняет

их жизнь.

Однажды она спросила:

— Вероятно, вы обо мне знаете?

Милтоун кивнул. В самом деле, ему рассказывал о ней приходский священник:

— Да, я слышал, невеселая у нее судьба… развод.

— Вы хотите сказать, муж потребовал развода? Или…

Священник как будто замялся, но лишь на мгновение:

— Нет, нет! Я убежден, что виновна не она. Мне кажется, она прекрасная женщина; хотя, к сожалению, не часто посещает церковь.

Милтоуну, в котором уже пробудился рыцарский дух, этого было достаточно. И когда она спросила, известна ли ему ее судьба, мог ли он бередить ее рану? Что бы ни было там, в прошлом, уж конечно, она ни в чем не виновата… В душе он уже творил ее облик, преображая живую женщину в воплощение своей мечты…

На третий вечер после столкновения с Куртье Милтоун снова сидел в маленьком белом домике, притаившемся за высокой садовой оградой. Крытый побуревшей соломой, нависшей над старинными рамами, он, казалось, прятался от всего

мира в кустах роз. Позади застыли, словно на страже, две сосны, распластав темные ветви над пристройками, и, едва поднимался юго-западный ветер, принимались угрюмо жаловаться друг другу на непогоду. Сад окаймляли высокие кусты сирени, а на соседнем поле вздыхала и шелестела листвой старая липа; в безветренные дни там слышалось дремотное жужжание несчетного множества золотистых пчел, облюбовавших эту зеленую гостиницу.

Он застал Одри за переделкой платья; она склонилась над шитьем на свой особый, милый лад, словно чувствуя, что все вокруг — платье, цветы, книги, ноты — равно ждет ее внимания.

Милтоун пришел усталый после долгого дня предвыборных хлопот, расстроенный неудачей: на двух собраниях ему даже не дали договорить. Один вид Одри, ее мягкий, полный сочувствия голос удивительно успокаивали его; потом она села за фортепьяно, а он расположился в удобном кресле и слушал.

Над холмом, в небе цвета серых ирисов, медленно всходила полная луна, подобная печальному лицу Пьеро. И Милтоун, точно околдованный, не мог отвести глаз от этого погасшего светила, плывущего по серебрящемуся небосводу.

Над вересковой пустошью колыхался легкий туман; деревья, будто стадо на водопое, ушли по колено в его белую пелену, а над ними разливалось смутное сияние, словно в это море тумана дождем низвергалась лунная пыль. Потом луна скользнула за липу и в иссиня-черном узоре ее ветвей повисла на небе огромным китайским фонарем.

И вдруг в окно, смяв мелодию, ворвались улюлюканье и крики. Они нарастали, потом затихли было и вновь усилились.

Милтоун поднялся.

— Чары разрушены, — промолвил он. — Я хотел бы кое-что сказать вам, миссис Ноуэл.

Она не шевелилась, руки ее спокойно лежали на клавишах, и он не договорил, охваченный восхищением.

— Сударыня! Милорд! — послышался в дверях испуганный голос. — Там, на выгоне, насмешничают над джентльменом!

Глава VI

Когда бессмертный Дон Кихот пустился потешать людей, за ним увязался еще только один шут. А Чарльза Куртье всегда сопровождали тол-

пы, которые никак не могли понять этого чуждого корысти человека. Но хоть он и озадачивал своих современников, они не решались поднять его на смех, ибо им было доподлинно известно, что он и в самом деле умеет любить женщин и убивать мужчин. Перед таким человеком, весь облик которого к тому же дышал силой и отвагой, они не могли устоять. Сын оксфордширского священника, рыцарь безнадежных битв, он с восемнадцати лет странствовал по свету, не зная отдыха. Секрет его выносливости, вероятно, в том и заключался, что он вовсе не мнил себя странствующим рыцарем. В седле он чувствовал себя так же естественно, как прочие смертные за конторкой. На своих приключениях он не нажил капитала, ибо нрав у него был под стать его огненным волосам, которые людям казались пламенем, сжигающим все на своем пути. Пороки его были очевидны: неизлечимый оптимизм; восхищение красотой столь сильное, что иной раз он забывал, в какую женщину больше всех влюблен; слишком тонкая кожа; слишком горячее сердце; ненависть к притворству и закоренелое бескорыстие. У него не было жены, но было много друзей и много врагов; тело его всегда было как клинок, готовый к бою, а душа раскалена добела.

Человек, участвовавший в пяти войнах, а теперь оказавшийся на стороне поборников мира, он был совсем не так непоследователен, как может показаться, ибо всегда сражался на стороне тех, кому грозит поражение, а сейчас, на его взгляд, никому так не грозило поражение, как поборникам мира. Он не был ни выдающимся политиком, ни красноречивым оратором, не умел говорить бойко, но спокойная язвительность его речи и горящие жарким пламенем глаза неизменно действовали на слушателей.

Однако во всей Англии не сыскать, пожалуй, другого такого уголка, где у проповеди мира было бы так мало надежды на успех, как в округе Баклендбери. Сказать, что Куртье восстановил против себя трезвых, независимых, флегматичных и в то же время вспыльчивых местных жителей, было бы неточно. Он оскорбил их лучшие чувства, возбудил в них глубочайшие подозрения. Они, хоть убей, не могли взять в толк, чего ему надо. В Лондоне из-за его приключений и книги «Мир — дело безнадежное» он был хорошо известен, но здесь о нем, разумеется, никто не слыхал, и его вторжение в эти края казалось просто смехотворным: не угодно ли, возвышенная идея вмешивается в простые и ясные факты!

Идея, что государства должны и могут жить в мире, конечно, весьма возвышенная, но ведь на самом деле никакого мира никогда не бывало — это так просто и ясно!

В Монклендском избирательном округе, который целиком входил в поместье Карадоков, естественно, почти никто не поддерживал противника Милтоуна, мистера Хэмфри Чилкокса; и любопытство, с которым поначалу встретили поборника мира, вскоре перешло в насмешки, а там и в угрозы, пока наконец поведение Куртье не стало столь вызывающим, а речи столь язвительными, что от расправы его спасало лишь вмешательство приходского священника.

А ведь когда он вначале выступал перед ними с речами, он чувствовал к ним величайшую симпатию. Какой отличный, независимый народ! Они сразу пришлись ему по душе. И хотя Куртье и знал, что непопулярные идеи большинство всегда встречает в штыки, о каждом человеке в отдельности он был лучшего мнения и не ждал, что тот непременно присоединится к этой зловещей части человечества.

Конечно же, такой славный независимый народ не может попасться на удочку ура-патриотов! Но ему пришлось испытать еще одно разочаро-

вание. Он не пожелал сдавать позиции без боя, и аудитория тоже не пожелала. Они разошлись, ничего не простив друг другу, и встретились снова, ничего не забыв.

В деревенском трактире, небольшом белом строении, узкие окошки которого оплела повилика, была одна-единственная спальня наверху да маленькая комната, где Куртье обедал. Все остальное помещение занимала распивочная с каменным полом и длинной деревянной скамьей вдоль задней стены, где по вечерам текла неторопливая беседа; порою кто-нибудь поднимался и выходил, не очень твердо держась на ногах, провожаемый дружными пожеланиями «спокойной ночи», приостанавливался под ясенями, раскуривая трубку, потом неспешно отправлялся восвояси.

Но в этот вечер, когда деревья, точно стадо, стояли по колено в лунной пыли, те, кто выходил из трактира, не разбредались по домам; они медлили в тени, к ним присоединялись другие, которые крадучись пробирались позади трактира через освещенное луной пространство. Люди подходили из узких улочек, из-за кладбища, и вскоре под ясенями столпилось уже человек тридцать, а то и больше; говорили вполголоса,

и в этом бормотании чувствовался редкостный привкус недозволенной радости. В глубокой тени деревьев, перед темным трактиром, где светилось одно лишь окно, а за ним что-то читал нараспев мужской голос, казалось, потихоньку закипало какое-то бесовское веселье. Слышался приглушенный смех, негромкий говор:

— Небось речи учит.

— Выкурим старую лису из норы!

— Красный перец — самое подходящее!

— Вот уж начихается!

— Дверь-то мы приперли!

Потом в освещенном окне показался человек, и тут тишину нарушил взрыв грубого хохота.

Видно было, что стоящий у окна отчаянно пытается выломать перекладину. Смех перешел в улюлюканье. Наконец узнику это удалось, он прыгнул вниз, поднялся, шатаясь, и упал.

— Что здесь такое? — раздался властный окрик.

По толпе пронесся шепот: «Его светлость!» — и все, толкаясь, кинулись врассыпную.

В тени под ясенями сразу стало пусто, виднелась лишь высокая темная фигура мужчины и светлый женский силуэт.

— Это вы, мистер Куртье? Вы ранены?

Лежавший на земле засмеялся.

— Только вывихнуто колено. Болваны! Но они меня чуть было не удушили.

Глава VII

В тот же вечер Берти Карадок, направляясь из курительной комнаты в спальню, завернул в георгианский коридор, где висел его любимый барометр. Все свободное время Берти зимой отдавал охоте, а летом — скачкам, и у него вошло в привычку перед сном взглянуть на стрелку.

В высокородном Хьюберте Карадоке, только еще начинающем дипломатическую карьеру, полнее, чем в любом из ныне здравствующих Карадоков, воплотились все самые характерные и слабые, и сильные стороны его рода. Он был хорошего роста, сухощавый, но крепкий. Волосы темные, гладкие; загорелое лицо с правильными, немного мелкими чертами исполнено живой решимости, скрытой под маской бесстрастия. Пытливые светло-карие глаза прикрыты по-монашески полуопущенными веками. Сдержанность была у него в крови, и велико должно было быть его волнение, чтобы глаза эти раскрылись во всю ширь. Нос был тонкий, точеный. Губы под

темными усиками едва приоткрывались, когда он говорил, а говорил он странно глухим голосом и при этом неожиданной скороговоркой. То был человек практический, волевой, осторожный, находчивый, наделенный огромным самообладанием, жизнь для такого — точно верховая лошадь, которой даешь повод ровно настолько, чтобы она не вышла из повиновения. Он ни в грош не ставил идеи, если их нельзя было тут же претворить в действие; был необыкновенно аккуратен; желал получить от жизни все, что возможно, но, если надо, мог быть и стоиком; при всей своей учтивости он всегда был готов постоять за себя; умел прощать лишь те слабости и сочувствовать лишь тем несчастьям, которые знал по собственному опыту. Таков был в двадцать шесть лет младший брат Милтоуна.

Убедившись, что барометр не обещает перемен, он уже хотел подняться к себе, но тут в дальнем конце холла появились, держась под руки, три неясные фигуры. В Хьюберте, как всегда, заговорили любопытство и осторожность, и он подождал, пока они выйдут на свет; оказалось, что это Милтоун и один из лакеев ведут какого-то прихрамывающего человека, и Берти поспешил к ним.

— Вывихнули колено, сэр? Потерпите минуту! Чарльз, подайте стул.

Усадив незнакомца, Берти засучил на нем штанину и стал ощупывать колено. В руках его была доброта и ласка — сразу чувствовалось, что через них прошли суставы и сухожилия бесчисленных лошадей.

— Хм! Если я разок дерну, вытерпите? — спросил он. — Придержи его сзади, Юстас. Чарльз, сядьте на пол и держите ножки стула. А ну-ка!

Он взялся за вывихнутую ногу и дернул. Что-то щелкнуло, пациент скрипнул зубами.

— Молодцом, — сказал ему Берти. — На сей раз обойдемся без костоправа.

Братья проводили своего прихрамывающего гостя в комнату, выходящую в георгианский коридор и наскоро превращенную в спальню, и оставили его на попечение лакея.

— Что ж, — сказал Берти, прежде чем они разошлись по своим комнатам. — С ним кончено, в этот раз он больше уже не станет тебе поперек дороги. А надо сказать, он не неженка!

О том, что под их кровом нашел пристанище Куртье, еще до завтрака сообщил Карадокам самый осведомленный член семейства, вменивший себе в обязанность знать все, что происходит

в доме, и со всеми делиться своими познаниями. Как всегда, зайдя утром в комнату матери, Энн подняла голову, ухватилась обеими руками за свой поясок и сразу же начала докладывать:

— Дядя Юстас ночью привел какого-то человека, у него раненая нога, и дядя Берти ее поправил. Уильям говорит, что Чарльз сказал, что он сделал вот так — и все (она легонько ляскнула зубами). Он живет в трактире, Уильям говорит, очень узкая лестница, никак его было не втащить. И если у него было вывихнуто колено, он будет долго ходить с палочкой. Можно мне идти к папе?

Агата, которой горничная расчесывала волосы, подумала: «Пожалуй, так низко носить пояс нездорово» — и сказала:

— Постой минутку.

Но Энн уже и след простыл; ее голосок доносился из соседней комнаты, где она что-то докладывала сэру Уильяму, который, судя по его кратким, приглушенным ответам, брился. Агата, как всегда, обрадовалась предлогу побыть лишнюю минуту с мужем, но когда она заглянула к нему, он был уже один; он сидел, задумавшись, высокий, плотный, со степенным, малоподвижным лицом и недоверчивым взглядом, — человек скучноватый и ничем не примечательный для

всех, кроме своей жены.

— Этот Куртье повредил ногу, — сказал он. — Не знаю, приятно ли будет твоей матушке приютить нашего врага.

— Но ведь он как будто свободомыслящий человек и довольно…

— Для Милтоуна совсем неплохо, что он очутился у нас, — не слушая ее, продолжал сэр Уильям.

— Что же, — вздохнула Агата. — Надо принять его как следует. Пойду скажу маме.

Сэр Уильям улыбнулся.

— Об этом позаботится Энн, — сказал он.

Энн уже заботилась об этом.

Сидя в оконной нише позади зеркала, перед которым леди Вэллис заканчивала свой туалет, она говорила:

— Он упал из окна, потому что там был красный перец. Мисс Уоллес говорит, он заложник… А что такое заложник, бабушка?

Когда шесть лет назад леди Вэллис впервые услышала это обращение, она подумала: «О господи! Неужели я бабушка?» Это был удар; казалось, многому в жизни пришел конец; но трезвый женский героизм (ведь женщины куда быстрее мужчин мирятся с неизбежным) скоро пришел ей на помощь, и, не в пример мужу, теперь она

уже нисколько этим не огорчалась. Однако она ничего не ответила внучке, отчасти потому, что, поддерживая беседу с Энн, совсем необязательно было ей отвечать, а отчасти потому, что глубоко задумалась.

Человека покалечили! Разумеется, долг гостеприимства… тем более что всему виной их же арендаторы! И все же принять с распростертыми объятиями человека, который явился сюда, чтобы восстановить всю округу против ее собственного сына, — это, пожалуй, уж слишком. Конечно, могло быть и хуже. Вдруг бы он оказался каким-нибудь радикалом из нонконформистов, они ведь просто невозможны! А этот мистер Куртье сам по себе довольно известен, занятная фигура. Надо позаботиться, чтоб он чувствовал себя как дома, покойно и удобно. Если взяться за это умело, у него можно выведать кое-что про ту женщину. Больше того, если она хоть что-нибудь понимает в людях его сорта, в которых всегда есть нечто от восточного благородства, их хлеб-соль обезоружит его как политического противника. Своим быстрым практическим умом леди Вэллис тотчас оценила все выгоды создавшегося положения, и, хоть это был несчастный случай, она, при своей склонности во всем, что не шло уж очень

вразрез с ее интересами и взглядами, находить «изюминку», повод для улыбки, и тут подметила забавную сторону. В ее размышления ворвался голосок Энн:

— Теперь я пойду к тете Бэбс.

— Хорошо. Только сперва поцелуй меня.

Энн ткнулась своим дерзким носиком в мягкие улыбающиеся губы леди Вэллис.

Когда в тот день Куртье, опираясь на палку, вышел на площадку перед домом, он увидел, что навстречу ему по залитой солнцем лужайке к статуе Дианы важно шествуют три павлина. Птицы двигались с необычайным достоинством, словно их никогда в жизни ниоткуда не гоняли. Казалось, они твердо знают, что от них больше ничего и не требуется — только разгуливать здесь взад и вперед. За ними, сквозь высокие деревья, за поросшими вереском холмами, за манящими розоватыми полями, пастбищами и фруктовыми садами, виднелось далекое море. Дневной жар все одел опаловой дымкой, волшебным покрывалом, преобразившим все вокруг, так что прямоугольные стены и высокие трубы гончарни, расположенной в нескольких милях отсюда, напомнили Куртье какой-то старинный итальянский город-крепость. Оказавшись прикованным

к этой галерее, он чувствовал себя престранно, ибо к Милтоуну, которого он дважды встречал у миссис Ноуэл, он не испытывал, несмотря на все разногласия, никакой неприязни, а к его родным пока еще вообще ничего не испытывал. Окончив Вестминстерскую школу, он кочевал по разным странам, везде жил впроголодь и, в сущности, уже не ощущал связи с каким-либо классом или сословием. Ненавидеть аристократов потому лишь, что они аристократы, казалось ему так же дико, как по этой же причине их почитать. Его отношение к людям обычно определяли два главных свойства его натуры — любовь к приключениям и ненависть к тирании. Крестьянин, который бьет жену, хозяин потогонной мастерской, который выматывает все силы из рабочих, священник, который грозит пастве адом, пэр, который грубо самоуправствует в своих владениях, — все они были ему равно мерзки. В каждом человеке он видел прежде всего отдельную, не похожую на других личность, и лишь случайно тогда, уходя от миссис Ноуэл, бросил в лицо Милтоуну слова, причисляющие его к определенной касте. Сангвиник, привыкший к самому разнообразному обществу, живущий сегодняшним днем, он не знал приступов робости и злобы, свойственных

нервным натурам. Веселая учтивость изменяла ему, лишь когда он сталкивался с тем, что считал проявлением низости или малодушия. В этих случаях, не столь уж редких, начинало казаться, что в груди у этого человека бушует самое настоящее пламя, а так как жар этот все же не мог до конца расплавить его панцирь стоика, на лице его появлялось совсем особенное выражение — какая-то спокойная, безнадежная и язвительная усмешка.

Оказавшись жертвой насилия, а затем пленником в стане врага, он глядел на все вокруг с неким веселым любопытством. Об этих Карадоках по всей округе отзывались неплохо. Между ними и их арендаторами отношения были самые добрые: говорили, что на их землях никто особенно не бедствует. Если они и не способствовали обогащению своих арендаторов, то, во всяком случае, поддерживали их благосостояние на известном уровне, довольно щедро помогали нуждающимся. Когда кому-нибудь надо было перекрыть крышу, ее перекрывали; когда человек становился стар и не мог больше работать, его не упрятывали в работный дом. В плохие годы — когда скот падал или давал мало шерсти или не родился хлеб — с фермеров брали меньше за аренду. Гончарня управлялась весьма либерально. И хотя лорд

Вэллис был известен как приверженец политики «назад, на землю», он отнюдь не поощрял людей селиться именно на его земле, потому, разумеется, что, по его мнению, подобные поселенцы будут холить ее куда меньше, чем он, нынешний владелец. Он, видимо, был твердо в этом убежден, ибо нередко можно было видеть, как его агент понемножку прикупает землю.

Но ведь каждый замечает в жизни лишь то, что его интересует, — и рыцарь мира слушал болтовню о владельце Монкленда, наполовину лестную, наполовину осуждающую, вполуха, ибо, как уже говорилось, он был плохой политик и шел чаще всего своим собственным путем.

Он стоял на площадке, любуясь открывшимся ему видом, и вдруг услышал тоненький голосок: перед ним стояла девчурка в широкополой шляпе, решительно сдвинутой на затылок и потому ничуть не защищавшей темноволосую головку от солнца, и протягивала ему руку.

— Здравствуй, — ответил он, пожимая маленькую руку, и тут заметил, что широко распахнутые глаза уставились на его больное колено.

— Больно?

— Пустяки.

— Мой пони стер ногу. Сейчас бабушка его

посмотрит.

— Вот как.

— Мне пора идти. Надеюсь, вы скоро поправитесь. До свиданья!

Потом появилась рослая краснощекая женщина, которая разглядывала его с видом благожелательно-лукавым. Светло-коричневое платье из жестковатой материи, казалось, слишком плотно облегало ее крупные бедра. Она была без шляпы, без перчаток, без всяких украшений, кроме колец и часиков в оправе из драгоценных камней, но на простом кожаном ремешке. Во всем ее облике чувствовалось нарочитое желание избегать всякой пышности.

Она подала ему красивую, но отнюдь не маленькую руку и сказала:

— Приношу вам свои глубочайшие извинения, мистер Куртье.

— Ну что вы!

— Надеюсь, вам здесь удобно. У вас есть все, что вам нужно?

— Больше, чем нужно.

— Такой безобразный случай! Но зато мы имеем удовольствие с вами познакомиться. Вашу книгу я, разумеется, читала.

И выражение ее лица словно договорило: да,

неглупая книжка, занятная и читается с интересом. Но что за идеи! Вы сами прекрасно знаете, что они ни к чему не приведут… не должны привести.

— Вы очень любезны.

— Но я, конечно, отнюдь не разделяю ваших взглядов, — прибавила леди Вэллис резковато, словно почуяв за его словами затаенную усмешку. — По нынешним временам следует проповедовать воинские добродетели… тем более воину.

— Поверьте мне, леди Вэллис, воинские добродетели лучше предоставить людям с менее развитым воображением.

— Впрочем, политика вас ни капли не занимает, в этом я уж, во всяком случае, уверена, — ответила она, бросив на него быстрый взгляд. — Вы, кажется, знакомы с миссис Ноуэл? Какая прелестная женщина!

Но тут на площадке появилась молодая девушка. Она, видимо, возвращалась с прогулки верхом: на ней были сапожки и короткая широкая юбка. Глаза у нее были синие, волосы цвета тронутых осенью и пронизанных солнцем листьев бука собраны в тугой узел под фетровой шляпой. Высокая, длинноногая, она двигалась легко и быстро.

Весь ее облик — лицо, фигура — излучал радость жизни, безмятежность, неосознанную силу.

— А, Бэбс! Моя дочь Барбара — мистер Куртье, — представила их леди Вэллис.

Он пожал протянутую ему с улыбкой руку в перчатке.

— Милтоун уехал в город, мама, — сказала Барбара. — Он дал мне поручение в Баклендбери, я поеду туда и могу привезти со станции бабушку.

— Возьми с собой Энн, а то она никому не даст покоя. И, может быть, мистер Куртье хочет проветриться. Как ваше колено, позволяет такую прогулку?

— Да, конечно, — ответил Куртье, любуясь девушкой.

С тех пор как ему исполнилось семь лет, он не мог смотреть на женскую красоту без нежности и легкого волнения; и, увидев девушку, красивее которой он, вероятно, не встречал, он готов был следовать за ней куда угодно. И что-то было в ее улыбке такое, словно она об этом догадывалась.

— Ну что ж, — сказала она. — Тогда поищем Энн.

После недолгих, но энергичных поисков Энн была найдена в автомобиле: чутье подсказало ей, что он скоро куда-то отправится и ее долг

— отправиться вместе с ним. Вскоре автомобиль двинулся, Энн сидела между ними в полном молчании, что случалось с ней лишь в минуты, когда жить было особенно интересно.

Оставив позади цветники, газоны и рощи поместья Монкленд, они точно перенеслись в иной мир, ибо сразу за воротами в конце западной подъездной аллеи перед ними открылся самый языческий пейзаж во всей Англии. В этом диком краю собирались на совет скалы, солнце, облака и ветры. Среди каменных глыб, что залегли, точно львы, на вершинах холмов, над которыми парили белые облака да их собратья — ястребы, витали души людей, живших тут в незапамятные времена. Здесь сами камни, казалось, не знали покоя в бесконечной смене форм, обличий, цвета, они точно поклонялись всякой неожиданности, не признавая никаких законов. Ветры, веющие над этим краем, и те сворачивали с пути, врывались в любую щель и трещину, чтобы люди, укрывшиеся под своим жалким кровом, не забывали о могуществе грозных богов.

Энн не замечала всех этих чудес, да и Куртье, пожалуй, тоже, — усиленно пытаясь примирить учтивость с желанием не отрывать глаз от хорошенького личика. «О чем думает эта два-

дцатилетняя девушка, самообладанию которой позавидовала бы любая сорокалетняя матрона?» — спрашивал он себя. Молчание нарушила Энн.

— Тетя Бэбс, это был не очень прочный домик, да?

Куртье взглянул в ту сторону, куда указывал ее пальчик. Подле каменного истукана, который, должно быть, владел этим холмом еще до того, как здесь появились люди из плоти и крови, виднелись развалины жалкого домишка. Лишь на одном углу еще держался клочок кровли, остальное стояло открытое всем непогодам.

— Глупо было строить тут дом, правда, Энн? Вот его и прозвали «Причуда Эшмена».

— А Эшмен живой?

— Не совсем… Видишь ли, это было сто лет назад.

— А почему он построил дом так далеко?

— Он ненавидел женщин, и… на него обвалилась крыша.

— Почему ненавидел женщин?

— Он был чудак.

— А что такое чудак?

— Спроси у мистера Куртье.

Под спокойным, испытующим взглядом девуш-

ки Куртье старался найти достойный ответ.

— Чудак, — сказал он, помедлив, — это человек вроде меня.

Послышался смешок, и он ощутил на себе бесстрастный, оценивающий взгляд Энн.

— А дядя Юстас чудак?

— Теперь вы знаете, мистер Куртье, какого о вас мнения Энн. Ты ведь очень уважаешь дядю Юстаса, правда, Энн?

— Да, — ответила Энн, глядя прямо перед собой. Но взгляд Куртье устремлен был в сторону, поверх ее непокрытой головки.

С каждой минутой ему становилось все веселее. Эта девушка напоминала ему кобылку-двухлетку, которую он однажды видел в Аскоте, — ее шелковистая шерсть так и блестела на солнце, голова была высоко вскинута, глаза горели; то были ее первые скачки, и она вся дышала уверенностью в победе. Неужели девушка, сидящая рядом, — сестра Милтоуна? Неужели все четверо молодых Карадоков — дети одних и тех же родителей? Серьезный, аскетический Милтоун, живущий напряженной внутренней жизнью; кроткая, домовитая Агата — образец добродетели; замкнутый, проницательный и непреклонный Берти и эта прямодушная, счастливая, победительная

Барбара — какие они все разные!

Автомобиль тем временем уже спускался по крутому холму мимо выстроившихся на окраине Баклендбери скромных вилл и серых домиков, где жили рабочие.

— Нам с Энн надо заехать в штаб-квартиру Милтоуна. Может быть, забросить вас во вражеский стан, мистер Куртье? Пожалуйста, остановитесь, Фрис.

Куртье еще не успел дать согласие, а автомобиль уже затормозил у дома, на котором энергичная надпись гласила: «От Баклендбери — Чилкокс!»

Куртье, прихрамывая, вошел в комнату, где помещалась штаб-квартира мистера Хэмфри Чилкокса и сильно пахло краской, а в душе его еще жили ароматы юности, амбры и тонкого сукна.

За столом сидели трое: старший, с серыми глазами-щелочками и щетинистой бородкой, в котором по каким-то неуловимым признакам безошибочно угадывался бывший мэр, тотчас встал и пошел ему навстречу.

— Мистер Куртье, я полагаю, — сказал он. — Рад вас видеть, сэр. Весьма сожалею, что вы стали жертвой насилия. Хотя в некотором роде это нам

на пользу. Да, да. Это уж, знаете, против всяких правил. Не удивлюсь, если это подбавит нам две-три сотни голосов. Я вижу, вам порядком досталось.

Худощавый человек с тонкими чертами лица и вьющимися волосами тоже подошел к Куртье; в руках у него была газета.

— Но тут получилась одна неловкость, — сказал он. — Прочтите.

ОСКОРБЛЕНИЕ ПОЧТЕННОГО ГОСТЯ

ВЕЧЕРНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЛОРДА МИЛТОУНА

Куртье углубился в заметку.

Наступила зловещая тишина; ее нарушил человек с глазами-щелками.

— Кто-то из наших, должно быть, видел все собственными глазами, вскочил на велосипед и успел сообщить в редакцию, прежде чем номер сдали в печать. Они ничем не порочат эту леди… просто излагают факты. Но этого вполне достаточно, — прибавил он холодно. — По-моему, его песенка спета.

— Мы не виноваты, мистер Куртье, — смущенно сказал человек с тонким лицом. — Право, не знаю, что мы можем тут поделать. Мне это очень не по душе.

— Ваш кандидат читал это? — спросил Куртье.

— Нет еще, — вмешался третий. — Мы сами увидели газету всего час назад.

— Я бы ни за что не позволил этого, — сказал человек с тонким лицом. — Я крайне возмущен редактором.

— Но послушайте, — сказал человек с глазами-щелочками, — это же обыкновенная газетная заметка. Если она и наделает шуму, мы тут ни при чем. Газета никого ни в чем не обвиняет. Она сообщает факты. Вся суть в семейном положении этой особы. Мы ничем не можем помочь, а что до меня, сэр, я бы и не хотел помогать. У нас тут, слава богу, распущенность не в чести! — Это было сказано с чувством. Потом, заметив, какое у Куртье стало лицо, он спросил: — Вы знакомы с этой леди?

— Знал ее еще девочкой. И всякий, кто отзовется о ней дурно, будет иметь дело со мной.

— Уверяю вас, мистер Куртье, я всецело на вашей стороне, — сказал худощавый. — Мы не имеем никакого отношения к этой заметке. Это один из тех случаев, когда выигрываешь, сам того не желая. Очень неудачно, что она вышла на выгон вместе с лордом Милтоуном: вы же знаете, каковы люди.

— Все дело в заголовке, — сказал третий. — Они

уж постарались, чтоб он бросался в глаза.

— Не знаю, не знаю, — упрямо пробормотал человек с глазами-щелками. — Если лорд Милтоун желает проводить вечера в обществе одиноких особ, пусть пеняет на себя.

Куртье обвел взглядом всех троих.

— Больше я вам в этих выборах не помощник, — сказал он. — Где эта редакция? — И, не дожидаясь ответа, схватил газету и вышел из комнаты. За дверью он остановился на минуту, нашел адрес и заковылял по улице.

Глава VIII

Барбара сидела в автомобиле рядом с Энн, удобно откинувшись на подушки. Хоть она уже вращалась в свете, а стало быть, успела кое-что повидать, в ее лице еще светился тот жадный интерес ко всему окружающему, которым так милы детские лица. Но на жителей Баклендбери она почти не обращала внимания, уже знакомая с тем странным, несколько забавным выражением, которое появлялось на их лицах в ее присутствии, — ибо они всячески старались показать, что им нет до нее дела, и все-таки исподтишка на нее поглядывали. Да, она уже ясно различала этот

загадочный взгляд, свойственный ее соотечественникам, которым чужды цинизм, пессимизм и иные французские или русские затеи. Это и есть источник всех национальных добродетелей и пороков, идеализма и тупоумия, независимости и раболепства; двигатель всех поступков, убийца мысли; они всегда смотрят либо снизу вверх, либо сверху вниз, но только не прямо; это самая возвышенная, самая глубокомысленная, самая странная нация на свете, и она вечно одержима жаждой первенства.

Окруженная этими взглядами, Барбара ожидала Куртье и, сама истая дочь Британии, мысленно мерила своего нового знакомца тем же особенным взглядом. Ей тоже хотелось найти кого-то, на кого она могла бы смотреть снизу вверх, только этого от нее никто не дождется! И в нашем странствующем рыцаре, казалось ей, она нашла то, что искала.

Он — существо из другого мира. Она встречала много мужчин, но он ни на кого не похож. Приятно быть в обществе умного человека, который к тому же много бродил по свету и сам участвовал в стольких рискованных предприятиях. Обыкновенные писатели или даже представители богемы, с которыми ей случалось сталкиваться,

были в конце концов всего лишь «придворными мудрецами», которые нужны затем, чтобы аристократы знали, куда идут литература и искусство. А этот Куртье — человек действия; на него нельзя смотреть с тем снисходительным восхищением, которое вызывают люди, примечательные лишь своими идеями и умением воплотить их в слове или красках. Он уже не раз обнажал меч и умел обнажить его даже в защиту мира. Он умел любить и не раз любил, во всяком случае, так говорят.

Будь Барбара девушкой другого круга, она в свои двадцать лет об этом, вероятно, не услышала бы, а если б и услышала, ужаснулась бы или возмутилась. Но она слышала и не возмущалась, ибо успела узнать, что уж таковы мужчины, а подчас и женщины.

Она увидела, как он ковыляет к автомобилю, и у нее дрогнуло сердце; дождавшись, пока он усядется, она бросила шоферу: «На станцию, Фрис. Побыстрей, пожалуйста!» — и сказала:

— На вас совершенно нельзя положиться. Куда вы запропастились?

Но Куртье не ответил, только хмуро улыбнулся ей через голову Энн.

Едва ли не впервые в жизни встретив прямой

отпор, Барбара вспыхнула, как от удара хлыстом. Губы ее плотно сжались, в глазах заплясали недобрые огоньки. «Хорошо же, мой милый», — подумала она. Но через минуту, взглянув на него, увидела на его лице такое странное выражение, что тут же забыла о своей обиде.

— Что-нибудь случилось, мистер Куртье?

— Да, леди Барбара, случилось… а все эта мерзкая, подлая штука — язык человеческий.

Безошибочное чутье всегда подсказывало Барбаре, как себя вести в трудные минуты; это было особое хладнокровие, почерпнутое из выражения лиц, которых она наблюдала, из разговоров, которые слышала с самого детства. Она верила своему чутью и, обменявшись с Куртье взглядом поверх головки девочки, сказала:

— Это имеет отношение к миссис Эн.?.. — И, прочитав в его глазах «да», быстро прибавила: — И к Эм.?

Куртье кивнул.

— Так я и знала, что пойдут сплетни. Ну и пусть! Что за важность!

— Верно! — бросил он, и в его взгляде она уловила одобрение.

Но тут автомобиль подъехал к вокзалу.

По лицу маленькой женщины в сером, выходя-

щей из дверей, почти незаметно было, что позади у нее долгий путь. Она остановилась и внимательно оглядела всех сидевших в автомобиле, от шофера до Куртье.

— Как дела, Фрис?.. Мистер Куртье, не так ли? Я знакома с вашей книгой и не одобряю вас, вы опасный человек… Здравствуйте. Мне нужны вот эти два чемодана. Остальные довезут потом… Вы сядьте впереди, Рэндл, да смотрите не пропылитесь. Энн!

Но Энн уже сидела рядом с шофером, она давно метила на это место.

— Хм! У вас болит нога, сэр? Сидите, сидите. Мы поместимся втроем… Ну вот, дорогая, теперь я могу тебя поцеловать. Ты еще выросла!

Поцелуй леди Кастерли был не из тех, которые забываются; поцелуй Барбары, пожалуй, тоже. И, однако, они были ничуть не похожи. Живые, зоркие старческие глаза облюбовали местечко; лицо с упрямым подбородком устремилось вперед; на мгновение сухие, жесткие губы застыли, словно желая убедиться, что не ошиблись направлением, потом с силой впились в самую серединку розовой щеки, дрогнули, словно вспомнив, что надо быть мягкими, и отскочили, точно резинка рогатки. А у Барбары блеснули глаза, потом голо-

ва чуть запрокинулась, губы слегка выпятились, все тело чуть дрогнуло, словно вырастая, волна волос всколыхнулась, раздался тихий, нежный звук, и все было кончено.

Поцеловав бабушку, Барбара опустилась на свое место и взглянула на Куртье. Они расположились втроем на заднем сиденье, Куртье касался ее плечом, — и, кажется, это его ничуть не огорчало.

Поднялся ветер, он дул с запада и словно весь был пронизан солнцем. Автомобиль мчался по дороге, а вокруг — словно бы чуть отрывистей всегдашнего — куковали кукушки и ветер доносил сквозь листья молодого папоротника пряный аромат корней вереска.

Тонкие ноздри леди Кастерли раздувались, вдыхая этот аромат, и вся она была похожа на маленькую, изящную перепелку.

— У вас тут недурной воздух, — сказала она. — Да, мистер Куртье, пока я не забыла… кто такая эта миссис Ноуэл, о которой я наслышана?

При этих словах Барбара не могла не покоситься на своего соседа. Как-то он устоит перед натиском бабушки? Сейчас будет видно, из какого он теста. Бабушка — страшный человек!

— Она очаровательная женщина, леди Кастер-

ли.

— Без сомнения. Я только это и слышу. Что у нее там за история?

— А у нее есть история?

— Ха! — фыркнула леди Кастерли.

Барбара еле ощутимо коснулась локтя Куртье. До чего же приятно, что бабушку осадили!

— Значит, у нее все-таки есть прошлое?

— Я этого не говорил, леди Кастерли.

И снова Барбара незаметно, с одобрением коснулась его локтя.

— Что-то уж очень все таинственно. Придется мне самой разузнать. Ты с ней знакома, моя милая. Вот и поведешь меня к ней.

— Бабушка, дорогая! Не будь у людей прошлого, у них бы не было и будущего.

Маленькой рукой, похожей на птичью лапу, леди Кастерли легонько похлопала внучку по колену.

— Не болтай вздор. И не вытягивайся больше, ты и так чересчур высокая.

К обеду все были уже осведомлены о случившемся. Сэр Уильям услыхал новость от агента из Ставертона, где речь лорда Харбинджера не раз прерывали ехидными выкриками. Достопочтенный Джефри Уинлоу, отправив жену вперед,

прилетел на своем биплане из Уинкли и захватил с собою газету. Из всех присутствовавших на семейном обеде только лорд Деннис Фитц-Харолд, брат леди Кастерли, еще ничего не знал.

Говорили об этом, разумеется, немного. Но едва женщины удалились, Харбинджер со свойственными ему прямотой и непосредственностью, столь неожиданными при его типично английской наружности, а быть может, даже чуть нарочитыми, заявил, что если они не придушат этот слух, Милтоун кампанию проиграл. Дело очень серьезное! Те подлецы не так глупы и теперь выжмут из этого случая все, что только можно. А Милтоун, как назло, зачем-то укатил в Лондон. Черт знает, что за каша заварилась!

Харбинджеру всегда была присуща особая интонация, словно он боялся, как бы его не заподозрили в излишней серьезности, — эта интонация и манера держаться могут противостоять всему, кроме насмешки, а перед насмешкой совершенно бессильны. И когда в комнате прозвучало ироническое: «Какая именно, мой юный друг?», он тотчас умолк.

Если кто-либо пожелал бы найти достойное дополнение к леди Кастерли, он, вероятно, выбрал бы ее брата. Неизменная насмешливая учтивость

лорда Денниса была прямой противоположностью ее крутому нраву. Его голос, взгляд, повадка были под стать его бархатной куртке, кое-где серебристо поблескивающей, точно обрызганной лунным светом. И волосы его тоже поблескивали серебром. Тонкое, изящное лицо обрамляли белая бородка и усы, подстриженные по моде елизаветинских времен. Карие глаза, все еще ясные, глядели на мир прямо и открыто, со сдержанной добротой. Лицо его, хоть и не обветренное, не изборожденное следами бурь, с кожей удивительно нежной и тонкой, странно напоминало лица старых матросов и рыбаков, что весь свой век жили простой трудовой жизнью, по раз и навсегда заведенному порядку. То было лицо человека с неизменными убеждениями, склонного относиться иронически ко всяким новшествам, которые он уже полвека назад изведал и решительно отверг. В нем угадывался разум, не лишенный тонкости и не чуждый понимания красоты, но давно уже отказавшийся от попыток подчинить себе чувства; угадывалось, что на смену проницательности в вопросах отвлеченных пришла проницательность в делах практических, основанная на трезвом жизненном опыте. Он не умел выставлять себя напоказ, — черта, вполне

естественная в человеке, который настолько преисполнен чувства собственного достоинства, что вовсе о нем не заботится, — а кроме того, долгие годы был предан некоей даме сердца, и только ее смерть оборвала эту преданность: вот почему он всю жизнь, так сказать, оставался в тени. И, однако, он был известен своим необыкновенно трезвым умом, благодаря чему пользовался своеобразным влиянием в обществе. Впрочем, его мнения спрашивали лишь в самых крайних случаях. «Совсем дела плохи? Что ж, есть еще старик Фитц-Харолд! Сходите к нему! Советов от него не ждите, но что-нибудь он да скажет».

И непочтительному молодому лорду Харбинджеру стало как-то не по себе. Не слишком ли вольно он выражался? Не хватил ли через край? Он совсем забыл про старика! Подтолкнув ногой Берти, он пробормотал:

— Я совсем упустил из виду, сэр, что вы еще не знаете. Берти вам объяснит.

Призванный, таким образом, высказаться, Берти устремил на двоюродного деда взгляд из-под полуопущенных век и, еле шевеля губами, начал объяснять:

— Тут в коттедже живет одна леди… очень милая женщина… Мистер Куртье с ней давно

знаком… Милтоун бывает у нее… В тот вечер он немного засиделся… Ну, этот народец и раздувает пустячный случай… намекает… Если не принять меры, Милтоун потерпит поражение. Вздор, разумеется.

Берти считал, что Милтоуну никакие искушения не страшны, а все же он свалял дурака, позволив этой женщине выйти с ним на выгон, когда кинулся выручать Куртье, — теперь всем ясно, где он проводил вечер. Этого делать нельзя, когда имеешь дело с женщиной, о положении которой никто ничего толком не знает.

Все молчали. Наконец Уинлоу сказал:

— Как же быть? Вызвать Милтоуна телеграммой? Такие слухи распространяются, как лесной пожар!

Сэр Уильям, всегда готовый к худшему, выразил опасение, что неприятностей не миновать. Харбинджер сказал, что редактору газеты надо бы задать хорошую трепку. А не знает ли кто, как принял новость Куртье? Где он, кстати? Обедает у себя в комнате? Берти заметил, что, если Милтоун сейчас в лондонском особняке, ему еще, может быть, не поздно послать телеграмму. Скандал надо задушить в зародыше! И во всех этих разговорах проскальзывало вполне естественное

для родовитых молодых людей нетерпеливое желание отнестись к случившемуся просто как к возмутительной дерзости и, образно говоря, дать негодяям по рукам.

Опять наступило молчание, и на сей раз его нарушил лорд Деннис:

— Мне жаль бедную женщину.

Харбинджер резко повернулся в сторону этого бесстрастного, учтивого голоса, к нему сразу же вернулось самообладание, которое так редко ему изменяло, и он поддакнул:

— Вот именно, сэр, вы совершенно правы.

Глава IX

В маленькой гостиной, куда обычно уходили дамы, когда приглашенных было немного, миссис Уинлоу подсела к фортепьяно и стала тихонько перебирать клавиши, так как леди Кастерли и леди Вэллис с обеими дочерьми сбились в кучку, словно объединившись перед лицом надвигающейся беды — сплетни.

Любопытное обстоятельство, характеризующее Милтоуна: ни здесь, в гостиной, ни в столовой никто не усомнился в чистоте его отношений с миссис Ноуэл. Но там все случившееся казалось

важным лишь с точки зрения выборов, здесь же успели понять, что выборы далеко не самое главное. Безошибочное чутье, которым женщины мгновенно постигают все, что касается их мужей, сыновей и братьев, уже подсказало им, что такого человека, как Милтоун, подобная сплетня накрепко свяжет с его Незнакомкой.

Но они ступали по такой тоненькой корочке фактов, а под ней лежала столь глубокая трясина догадок и предположений, что говорить об этом было мучительно трудно. Вероятно, никогда еще ни бабушка, ни мать, ни сестры так ясно не понимали, какое большое место занимает в их жизни этот странный, непонятный Милтоун. Все они старались подавить тревогу, но она все же прорывалась у каждой на свой лад. Леди Кастерли сидела в кресле очень прямо, и только еще более решительная, чем обычно, речь, беспокойное движение руки да непривычная складочка меж бровей выдавали ее волнение. У леди Вэллис вид был озадаченный, точно она сама удивлялась своей серьезности. Лицо Агаты выражало откровенную озабоченность. Женщина тихая, но с характером, она наделена была тем прирожденным благочестием, что без всяких сомнений приемлет общепризнанную мораль и

догматы церкви. Весь мир для нее ограничивался домом и семьей, а все, в чем ей чудилась угроза этому средоточию ее попечений, внушало ей неподдельный, хоть и сдерживаемый ужас. Ее считали заурядной, скучноватой и недалекой — точь-в-точь наседка, которая вечно квохчет над своими цыплятами. Но была в ней и героическая жилка, только это не бросалось в глаза. Однако она была искренне огорчена положением, в котором очутился брат, и ничто не могло ее отвлечь или утешить. Ему грозила опасность как будущему мужу и отцу, а в жизни мужчин только эта сторона и была ей понятна. Именно эта угроза пугала ее больше всего, хотя она и понимала, что гибель грозит и его душе, ибо разделяла взгляды церкви на нерасторжимость брака.

Барбара стояла у камина, прислонясь белыми плечами к резному мрамору, заложив руки за спину и опустив глаза. Время от времени ровные брови ее подергивались, губы вздрагивали, с них слетал легкий вздох, а потом на мгновение вспыхивала тотчас подавляемая улыбка. Она одна не принимала участия в разговоре — юность познавала жизнь; и о мыслях ее можно было судить по тому, как ровно дышала ее юная грудь, досадливо хмурились брови, по опущенным долу синим

глазам, излучавшим тихое неугасимое сияние.

— Будь он такой, как все! — со вздохом сказала леди Вэллис. — А то ведь он способен жениться на ней просто из духа противоречия.

— Что?! — вырвалось у леди Кастерли.

— Вы ее не видели, дорогая. Она, к несчастью, очень привлекательна… такое прелестное лицо.

— По-моему, мама, если развода потребовал муж, Юстас на ней не женится, — тихо сказала Агата.

— Вот это верно, — пробормотала леди Вэллис. — Будем надеяться на лучшее!

— Неужели вы даже не знаете, кто требовал развода? — спросила леди Кастерли.

— Видите ли, священник говорит, что развода требовала она. Но он слишком добрая душа; быть может, Агата не зря надеется!

— Ненавижу неопределенность. Почему никто не спросит ее самое?

— Вот вы пойдете со мной, бабушка, и спросите ее; лучше вас никто этого не сделает.

Леди Кастерли подняла глаза.

— Там видно будет, — сказала она.

Когда она смотрела на Барбару, ее строгий, оценивающий взгляд смягчался. Как и все прочие, она не могла не баловать Барбару. Она верила,

что ее сословие избрано самим Богом, и любила Барбару как воплощение совершенства. И хоть ей несвойственно было кем-либо восхищаться, она даже восхищалась жаркой радостью жизни, которой дышала Барбара, точно прекрасная нимфа, что рассекает волны обнаженными руками, не страшась пенных бурунов. Леди Кастерли чувствовала, что в этой ее внучке, а не в добродетельной Агате живет дух древних патрициев. Агате нельзя отказать в добродетели, в твердости нравственных устоев, но есть в ней какая-то ограниченность, что-то чуточку ханжеское. Это коробило практическую и искушенную леди Кастерли. Ведь это знак слабости, а слабость она презирала. Вот Барбара не будет слишком щепетильна в вопросах морали, если речь идет не о чем-то существенном для аристократии. Скорее уж она ударится в противоположную крайность — просто из озорства. Сказала же дерзкая девчонка: «Если бы у людей не было прошлого, у них не было бы будущего». Леди Кастерли не выносила людей без будущего. Она была честолюбива, но это было не жалкое честолюбие выскочки, а благородная страсть человека, который стоит на вершине и намерен остаться там.

— А ты где встречалась с этой… м-м… Незна-

комкой? — спросила она.

Барбара отошла от камина и склонилась над креслом леди Кастерли.

— Не бойтесь, бабушка. Она меня не совратила с пути истинного.

Лицо леди Кастерли выражало и неодобрение, и удовольствие.

— Знаю я тебя, плутовка! — сказала она. — Ну, рассказывай.

— Мы встречаемся то тут, тот там. На нее приятно смотреть. Мы болтаем,

— Дорогая Бэбс, тебе, право, не следовало так торопиться, — вставила своим тихим голосом Агата.

— Но почему, ангел мой? Да будь у нее хоть четыре мужа, мне-то что?

Агата закусила губу, а леди Вэллис проговорила сквозь смех:

— Ты просто невозможна, Бэбс.

Но тут фортепьяно смолкло: в комнату вошли мужчины. И лица четырех женщин сразу застыли, словно они надели маски: хоть здесь были, в сущности, только свои (чета Уинлоу тоже состояла в родстве с Карадоками), все же леди Кастерли, ее дочь и внучки, каждая по-своему, чувствовали, что общий разговор об этом невозможен.

Теперь беседа перекинулась с войны, — причем Уинлоу уверял, что через неделю всем страхам будет положен конец, — на речь, которую в это самое время произносил в палате Брэбрук, и Харбинджер тут же его изобразил. Потом заговорили о полете Уинлоу, о статьях Эндрю Гранта в «Парфеноне», о карикатуре на Харбинджера в «Насмешнике», подпись под которой гласила: «Новый тори. Л-рд Х-рб-ндж-р предлагает социальную реформу, не заслуживающую внимания его друзей»; на карикатуре он представлял почтенным старым леди в пэрских коронах голого младенца. Потом помянули некую балерину, билль о всеобщем страховании. Снова заговорили о войне; о последней книге известного французского писателя; и опять о полете Уинлоу. Говорили очень прямо, откровенно, словно бы именно то, что каждому приходило в голову. Но при этом странным образом умалчивали о внутреннем содержании обсуждаемых явлений; или, быть может, его просто не замечали?

В дальнем конце комнаты лорд Деннис разглядывал папку с гравюрами; неожиданно его поцеловали в щеку, повеяло знакомым ароматом, и он сказал, не поворачивая головы:

— Прелестные гравюры, Бэбс.

Не получив ответа, он поднял глаза.

Конечно, рядом стояла Бэбс.

— Терпеть не могу, когда вот так смеются над человеком, за глаза.

Они стали друзьями еще в ту пору, когда маленькая золотоволосая Барбара на своем сером пони неизменно сопровождала его в утренних прогулках верхом. Дни верховой езды отошли в прошлое; из всех занятий под открытым небом лорду Деннису осталась лишь рыбная ловля, и он предавался ей с ироническим упорством человека замкнутого и мужественного, который не желает признавать, что над ним уже занесена таинственная рука Времени. И хотя Барбара больше не была его утренней спутницей, он по старой привычке ждал, чтобы она поверяла ему свои секреты, — но она отошла к окну, и он с тревожным удивлением посмотрел ей вслед.

Был один из тех темных и все же пронизанных загадочным мерцанием вечеров, когда, кажется, во всем мире разлито зло, когда звезды проглядывают меж черных туч, словно глаза, что гневно мечут молнии на весь род людской. Даже в тяжком дыхании могучих дерев прорывалась злоба, и только одно не поддалось ей — темный островерхий кипарис; его посадили триста пятьдесят

лет назад, и теперь он стоял непоколебимый, молчаливый — живое воплощение вековых традиций. Слишком замкнутый, стойкий и упорный, чтобы отзываться на властное дыхание природы, он лишь сдержанно шелестел ветвями. Он жил здесь века, но все казался чужаком, и теперь, разбуженный огненными взорами ночи, стоял суровый и заостренный, как копье, почти пугающий, словно в душе его что-то перегорело и умерло. Барбара отошла от окна.

— Мне кажется, нам ничего не дано совершить в жизни, мы только и можем делать вид, будто рискуем!

— Я как будто не уловил твою мысль, девочка, — сухо отозвался лорд Деннис.

— Вот хотя бы мистер Куртье, — негромко сказала Барбара. — Он постоянно рискует, как никто из наших мужчин. А ведь они над ним смеются.

— Давай посмотрим, что же он совершил?

— Ну, наверно, не так уж много, но он всегда все ставит на карту. А чем рискует тот же Харбинджер? Если из его социальной реформы ничего не выйдет, он останется все тем же Харбинджером и у него будут те же пятьдесят тысяч годового дохода.

Лорд Деннис взглянул на Барбару чуть подо-

зрительно.

— Вот как! Ты что же, не принимаешь этого молодого человека всерьез?

Барбара пожала плечами; бретелька соскользнула, еще больше обнажив белое плечо.

— У него все игра, и он сам это знает… Его выдает голос; чувствуется, что ему все безразлично. Конечно, он тут ничего не может поделать, и тоже сам это знает.

— Я слышал, он тобою очень увлечен. Это правда?

— Но меня он пока что никак не увлекает.

— А может быть, еще увлечет?

В ответ Барбара опять пожала плечами, — при всей их величавой красоте в этом движении было что-то от девочки в фартучке.

— А этот мистер Куртье… он тебя не увлекает? — спросил лорд Деннис.

— Я увлекаюсь всем на свете. Разве вы этого не знаете, дорогой?

— В пределах разумного, девочка.

— В пределах разумного, конечно… как бедный Юсти!

Она замолчала. Рядом с ней возник Харбинджер, и никогда еще на его лице не бывало выражения столь близкого к почтительности,

как в эту минуту. По правде говоря, он смотрел на нее чуть ли не с робостью.

— Не споете ли вы тот романс, который я так люблю, леди Бэбс?

Они отошли вместе; и, глядя вслед этой великолепной молодой паре, лорд Деннис в задумчивости погладил бородку.

Глава X

Неожиданный отъезд Милтоуна в Лондон был вызван решением, которое медленно зрело в нем с того часа, как он на каменном крыльце фермы Барракомбов впервые встретил миссис Ноуэл. Если она согласится, — а со вчерашнего вечера он верил, что она согласится, — они поженятся.

Как уже говорилось, не считая одного-единственного грехопадения, Милтоун жил аскетом, но это вовсе не значит, что он не способен был на страсть. Совсем напротив. Глубоко затаенный огонь не мог разгореться, ему не хватало воздуха. Едва душа Одри коснулась его души — вспыхнуло пламя. Она была воплощением всего, о чем он мечтал. Ее волосы, глаза, фигура; ямочка в уголке рта, как раз там, куда младенец сует палец; ее движения, походка, — она плавно, грациозно

покачивалась, словно самый воздух нес ее; звук ее голоса, не то чтобы радостного, но словно выражавшего стремление нести радость другим; природный ум, может быть, и не выдающийся, но ясный, каким отличаются люди чуткие и отзывчивые, редкий у женщин честолюбивых или восторженных, — все это покорило Милтоуна. Он не только мечтал о ней и желал ее, он в нее верил. Он думал о ней непрестанно: вот женщина, которая никогда не поступит дурно, которая, став женой, останется любовницей, а став любовницей, всегда будет духовно близка.

Как уже говорилось, при Милтоуне не судачили и не сплетничали о женщинах, и слух о ее разводе достиг его ушей в таком виде, что он не усомнился: обиженной и оскорбленной стороной была она. После разговора со священником он лишь однажды коснулся этой истории, и то в ответ на слова одной гостьи:

— О да! Я прекрасно помню этот случай. Это та несчастная женщина, которая…

— Которая ничего дурного не сделала, я уверен, леди Бонингтон.

Это было сказано таким тоном, что послышался чей-то смущенный смешок, и все тотчас заговорили о другом.

Милтоун был убежденный противник развода, но смутно понимал, что в иных случаях это единственный выход. Он был не из тех, кому открывают сердце, да и не ждал ни от кого откровенности. Он и сам никогда ни с кем не делился своими сомнениями и внутренней борьбой, а всякая иная борьба его мало интересовала. Он был готов в любую минуту жизнью своей поручиться за непогрешимость своего божества, так же просто и естественно, как заслонил бы ее своим телом от любой опасности.

Тот же фанатизм, что заставлял его смотреть на свою страсть как на цветок, живущий сам по себе, независимо от того, место ли ему в садах общества, гнал его теперь в Лондон — объявить о своем намерении отцу до того, как он скажет об этом миссис Ноуэл. Все должно быть сделано просто и по всем правилам, ибо он обладал нравственным мужеством, которое свойственно людям замкнутым, поглощенным своей внутренней жизнью. А может быть, тут проявилось не столько нравственное мужество, как безразличие к тому, что думают и делают другие, нежелание считаться с чьими бы то ни было чувствами.

При мысли о том, как примет новость отец, на губах его играла та же улыбка, что у кардинала

времен Тюдоров, — в ней чувствовалась неколебимая уверенность в своих силах и насмешка; но вскоре он перестал думать о предстоящем разговоре и погрузился в работу, которую захватил с собой, ибо — что очень важно для общественного деятеля — он отлично умел полностью переключать внимание с одного предмета на другой.

Приехав на Паддингтонский вокзал, он тотчас направился в особняк Вэллисов.

Большой дом, украшенный портиком с колоннами, всем своим видом, казалось, выражал удивление, что он почти пустует в самый разгар сезона. Трое слуг приняли скромный багаж Милтоуна, и, умывшись и узнав, что отец будет обедать дома, он пошел пройтись, а заодно навестить свою квартирку в Темпле. Высокий, несколько небрежно одетый, он всем своим обликом, как всегда, обращал на себя внимание и, как всегда, не подозревал об этом. Шагая по улице, он размышлял о Лондоне, об Англии, не похожих на эту напыщенную суету, на это скопище, на эту разноголосицу резких и унылых звуков. Ему представлялся Лондон и вся Англия, подтянутая, исполненная чувства собственного достоинства, очищенная, избавленная от трущоб, плутократов, рекламы и доходных домов, построенных на

скорую руку, от сенсаций, пошлости, порока и безработицы. В этой Англии каждый будет знать свое место и верой и правдой служить своему сословию. И каждый, от дворянина до хлебопашца, будет аристократом по духу и джентльменом по своим поступкам. Эта деятельная, идеально устроенная Англия одним своим видом установит мир на земле. У этой Англии будет стоическая и прекрасная душа, ибо ее будут питать стоицизм и красота, заложенные в душах миллионов людей, ее населяющих; у ее городов будет свое кредо, а у селений свое, и воцарится всеобщее благоденствие, и не слышно будет никаких жалоб.

Он шел по Стрэнду, а под ногами у него вертелся маленький оборвыш и пронзительно выкликал:

— Кровавое преступление в банке!.. Неслыханная сенсация!..

Милтоун не слушал газетчика; но на него пахнуло ветром живой жизни, — беспечный, удивительный, своевольный ветер этот развеял его очищенное от земной скверны видение. То был могучий ветер — его порождали мириады людских желаний, несчастные мольбы, возносимые к всесильной сенсации — богине случая и перемен. То был поток, струящийся от сердца к сердцу, из уст в уста, точно дыхание весны, что

блуждает по лесу и делится с каждым деревом, с каждым кустиком тайнами возрождающейся жизни, страстной решимостью расти и стать — все равно чем, но стать. Извечный вздох, точно немолчный ропот моря; его не приглушишь, и он всегда чреват бурей!

Сотни людей сновали по улице, но Милтоун едва ли замечал их; глазами веры он видел то, что желал увидеть. У собора Св. Павла он остановился перед лавчонкой букиниста. Ее хозяину, маленькому, щуплому Уильяму Раймеллу, было хорошо знакомо это бледное, серьезное, не лишенное своеобразной красоты лицо, и он тотчас выложил на прилавок свое последнее приобретение — «Утопию» Томаса Мора. Это издание, уверял он, — величайшая редкость; за всю свою жизнь он продал еще только один такой экземпляр, да и тот буквально рассыпался в руках. Этот сохранился куда лучше. Но и он проживет лет двадцать, не больше — подлинный экземпляр, выгодная покупка. Томас Мор теперь редко попадает на прилавок, не то что еще несколько лет назад.

Милтоун раскрыл книгу, и мирно спавшая крошечная книжная вошь медленно поползла внутрь, к корешку.

— Да, я вижу, что книга подлинная, — сказал

Милтоун.

— Для чтения она не годится, милорд, — предостерег букинист. — Листы, того и гляди, рассыплются в прах. Я уж вам говорил, у меня не было ничего лучше за весь год. Можете мне поверить!

— Умный был мечтатель, — пробормотал Милтоун. — Социалисты по сей день только перепевают его.

Маленький книгопродавец смущенно заморгал, словно извиняясь за Томаса Мора.

— Так ведь он и сам был социалист. Я что-то не припомню, сведущи ли вы в политике, ваша светлость?

Милтоун улыбнулся:

— Я хочу видеть Англию примерно такой, Раймелл, о какой мечтал Томас Мор. Но я хочу действовать иным способом. Начну с верха.

Книгопродавец кивнул:

— Вот именно, вот именно. Думаю, мы к этому придем.

— Должны прийти, Раймелл, — сказал Милтоун и перевернул страницу.

На лице Раймелла выразилось страдание.

— Боюсь, что при вашем пристрастии к чтению эта книга для вас слишком ветхая, милорд. Есть у меня еще одна диковинка — о китайских

храмах. Тоже редкость, но не слишком древняя. Вы можете читать ее сколько душе угодно. Она из тех, которые никогда не надоедают, как раз на ваш вкус. Забавный у них был способ кладки — пластами, — прибавил он, указывая на одну из гравюр. — Мы в Англии так не строим.

Милтоун кинул на него острый взгляд, но лицо маленького человечка оставалось непроницаемым.

— К сожалению, нет, Раймелл. А следовало бы, и мы непременно будем так строить. Я возьму эту книгу.

И, коснувшись пальцем изображения пагоды на переплете, прибавил:

— Прекрасная эмблема.

Глаза маленького книгопродавца скользнули ниже, отыскивая под изображением храма условный значок — цену.

— Совершенно верно, милорд. Я так и думал, что эта книга вам придется по душе. Вам я отдам ее за двадцать семь шиллингов шесть пенсов.

Милтоун положил покупку в карман и распростился. Он прошел к себе в Темпл, оставил книгу на квартире и зашагал по берегу Темзы. В этот час солнце страстно ее ласкало, и под его поцелуями она вся рдела, дышала светом и теплом. И все

дома вдоль берегов, до самых башен Вестминстера, словно улыбались. О многом говорило это зрелище глазам влюбленного. И перед Милтоуном возникло еще одно видение — женщина с кротким взором и тихим голосом, склонившаяся над цветами. Отныне без нее ничто не даст ему удовлетворения, не порадуют плоды труда, не увлекут никакие замыслы.

Лорд Вэллис встретил сына дружески, но не без удивления.

— Решил денек отдохнуть, мой друг? Или захотелось послушать, как нас громит Брэбрук? На сей раз он опоздал: мы уже покончили с этими аэростатами, в конце концов все обошлось.

Его ясные серые глаза изучали Милтоуна со спокойным любопытством. «Ну-ка, что ты за птица? — казалось, говорили они. — Во всяком случае, совсем не то, чего можно было ждать, судя по твоему воспитанию!»

Ответ Милтоуна: «Я приехал кое-что сообщить вам, сэр» — заставил лорда Вэллиса задержать на нем взгляд чуть дольше, чем это принято.

Было бы неправдой сказать, что лорд Вэллис боялся сына. Страх вообще был ему несвойствен, но он, несомненно, относился к Милтоуну с каким-то уважительным интересом и чувствовал

себя с ним несвободно. По складу своему и политическим убеждениям Милтоун был деспот, и это чуть ли не коробило человека, которого и характер, и жизненный опыт приучили выжидать, не вырываться вперед. Этому он нередко учил своих жокеев, зная, что так лошадь вернее возьмет приз. Именно это он хотел бы посоветовать и сыну. Сам он вот уже полвека выжидал и знал, что только так можно избежать опасности когда-нибудь поневоле изменить этому принципу, ибо в глубине души боялся, что в критическую минуту способен не пощадить себя и надорваться, лишь бы другие его не обошли. Вот молодого Харбинджера он понимал: этот — верхогляд, в нем «много прыти», как мысленно в минуты откровенности с самим собой определял лорд Вэллис. Он отведал молодого вина социальных реформ, и хмель ударил ему в голову. Ему надо дать немного воли, но с ним не будет никаких хлопот; эта легкая на ходу, послушная лошадка, которую надо лишь слегка придерживать на поворотах, никогда не понесет. Пусть послушает самого себя; надо дать ему почувствовать, что и он делает что-то полезное. Все очень естественно и понятно. А вот с Милтоуном не то, и дело тут не в отцовском пристрастии. Он любит непременно

все доводить до конца, а это опасно и напоминает лорду Вэллису его тещу. В делах государственных Милтоун, конечно, еще сущее дитя; но стоит ему начать, и сила его убеждений, его положение в обществе и истинный ораторский дар — не просто бойкий язык, как у Харбинджера, но сдержанная и острая речь — все это при нынешнем соотношении сил, безусловно, выдвинет его единым махом в первый ряд. А каковы, в сущности, его убеждения? Лорд Вэллис не раз пытался в них разобраться, но по сей день так ничего и не понял. И неудивительно, ибо — он и сам не раз это говорил — политические воззрения определяются отнюдь не разумом, как кажется на первый взгляд, но темпераментом. Сам он относился к политике спокойно и, руководствуясь простым здравым смыслом, в каждом отдельном случае применялся к обстоятельствам; всякое иное отношение к политике ему было чуждо и непонятно. Однако назвать его беспринципным было бы несправедливо, ибо в самой глубине его души, несомненно, жила упрямая, непоколебимая верность традициям его сословия, для которого превыше всего твердость духа. И все-таки он чувствовал, что Милтоун слишком ревностный аристократ, ничуть не лучше социалистов, — он

ко всему подходит с готовыми мерками; а его идея навязать людям реформы любой ценой, хотя бы против их воли, — это ли не деспотизм! Да еще и действует согласно своим убеждениям! Недурно! Так и говорит: следую своим убеждениям! Одна мысль об этом коробила лорда Вэллиса. Это же просто неприлично; хуже — смешно! К несчастью, у мальчика чересчур глубокий ум, политику такой не требуется… это опасно… даже очень! Разве что жизнь чему-то его научит. И граф Вэллис напрягал память, стараясь вспомнить, встречался ли на его жизненном пути хоть один политический деятель, который остался бы верен своим первоначальным идеалам. Нет, ни одного такого припомнить не удалось. Но это его не утешило. И пока они ели позднюю спаржу, он пытался поймать взгляд сына. Что такое он приехал сообщить?

В словах сына было что-то зловещее, ведь он никогда ничего ему не говорил. Хотя лорд Вэллис был добрым и снисходительным отцом, он, как многие люди, поглощенные делами государственными, держался со своим отпрыском так, словно все время себя спрашивал: «Да полно, мой ли это?» Из всех четверых одну лишь Барбару он безо всяких сомнений признавал за

свою. Он восхищался ею; а как человек, умеющий наслаждаться жизнью, он любил лишь то, чем восхищался. Но, не способный принуждать кого бы то ни было или выпытывать признания, он ждал, ничем не выдавая своего беспокойства, чтобы сын заговорил сам.

Милтоун, видимо, не спешил. Он стал рассказывать о ночном приключении Куртье и немало позабавил лорда Вэллиса.

— Испытание красным перцем! Вот уже не думал, что они на это способны! Итак, он теперь в Монкленде. И Харбинджер тоже еще там?

— Да. Не думаю, чтобы он обладал большой стойкостью.

— В политике?

Милтоун кивнул:

— Мне не нравится, что он на нашей стороне… Это нам вовсе не на пользу. Я полагаю, вы видели карикатуру; довольно ядовитая. Впрочем, вас среди этих старух, кажется, нет, сэр.

Лорд Вэллис равнодушно улыбнулся:

— Карикатура неглупая. Кстати, я надеюсь на приз в Гудвуде.

Так они беседовали, перескакивая с предмета на предмет, пока последний слуга не вышел из столовой.

И тогда Милтоун посмотрел прямо в глаза отцу и сказал без обиняков:

— Я хочу жениться на миссис Ноуэл, сэр.

Лорд Вэллис принял этот удар с тем самым выражением, которое не раз у него бывало, когда его лошадь оставалась за флагом. Потом он поднес к губам бокал вина и, не пригубив, поставил его на стол. Только этим он и обнаружил свою заинтересованность или замешательство.

— Не слишком ли ты торопишься?

— Я хочу этого с той минуты, как увидел ее впервые.

Лорд Вэллис разбирался в людях и в житейских делах почти так же хорошо, как в лошадях и охотничьих собаках; он откинулся на спинку кресла и сказал чуть насмешливо:

— Очень мило с твоей стороны, мой друг, что ты поставил меня в известность. Хотя, если уж говорить начистоту, я предпочел бы этого не слышать.

Темный румянец медленно залил щеки Милтоуна. Как видно, он недооценивал отца: оказывается, в трудную минуту у него хватает и хладнокровия, и мужества.

— Какие у вас возражения, сэр?

И тут он заметил, что вафля в руке лорда Вэл-

лиса дрожит. Но глаза его не смягчились ни раскаянием, ни сожалением; он метнул в отца такой испепеляющий взгляд, каким мог наградить противника, обнаружившего слабость, старый кардинал. Лорд Вэллис тоже заметил, что вафля дрожит, и поспешил ее съесть.

— Мы светские люди, — сказал он.

— Я — нет, — возразил Милтоун.

И тут впервые лорду Вэллису изменило самообладание.

— Это твое дело! — выкрикнул он. — Я говорю о себе!

— И что же?

— Юстас!

Милтоун неторопливо поглаживал колено; в лице его не дрогнул ни один мускул. Он в упор смотрел на отца. Лорд Вэллис ощутил удар в сердце. Каким же сильным должно быть чувство, чтобы вот так ощетиниться при первом намеке на противодействие!

Он достал ящик с сигарами, рассеянно протянул его сыну и тут же отдернул:

— Я забыл: ты же не куришь.

Он закурил сигару, задумчиво затянулся, глядя прямо перед собой, и меж его бровей прорезалась глубокая складка. Наконец он заговорил:

— У нее вид настоящей леди. Больше я о ней ничего не знаю.

На губах Милтоуна явственней проступила улыбка.

— А зачем вам знать?

Лорд Вэллис пожал плечами. На этот счет он придерживался вполне определенных взглядов.

— Насколько мне известно, — холодно сказал он, — мы имеем дело с разводом. Я полагал, что в этом вопросе ты не расходишься с церковью.

— Она ни в чем не виновата.

— Значит, тебе известно, что у нее в прошлом?

— Нет.

Лорд Вэллис поднял брови — иронически и, может быть, даже с восхищением.

— Благоразумие под маской рыцарства?

— Вы, видимо, не понимаете моего чувства к миссис Ноуэл. Оно не укладывается в ваше представление о жизни. Но брак без этого чувства для меня немыслим — и вряд ли я когда-нибудь смогу испытать его к другой женщине.

И опять лорд Вэллис ощутил, что почва уходит у него из-под ног. Неужели это правда? И вдруг он понял: да, правда. Этот одержимый скорее сгорит на собственном огне, но не изменит себе. Он вдруг осознал всю серьезность создавшегося

положения и растерялся.

— Больше я сейчас ничего не могу тебе сказать, — пробормотал он и поднялся из-за стола.

Глава XI

У леди Кастерли было одно неудобное свойство: она вставала чуть свет. Во всей Англии ни одна женщина не была таким знатоком утренних рос. Природа расстилала перед ней тысячи росных ковров — их ткали звезды минувшей ночи, что падают перед рассветом на темную землю и ждут только утра, чтобы в солнечных лучах вновь воспарить на небо. В Рэйвеншеме она ежедневно гуляла в парке от половины восьмого до восьми и, если гостила у кого-нибудь, заставляла хозяев применяться к этой ее привычке.

Поэтому когда ее горничная Рэндл в семь часов утра пришла к горничной Барбары, которая в эту минуту зашнуровывала корсет, и сказала: «Старая леди велела разбудить мисс Бэбс», — та ничуть не удивилась.

— Хорошо. Да только леди Бэбс не очень-то обрадуется!

Десять минут спустя она вошла в белую комнату, всю пропитанную ароматом гвоздики, — в

царство сладкого сна, куда сквозь пестрые ситцевые занавески просачивался свет летнего утра.

Барбара спала, подложив под щеку ладонь; ее золотисто-каштановые волосы, откинутые со лба, рассыпались по подушке, губы приоткрылись. «Вот бы мне такие волосы и губы!» — подумала горничная и невольно улыбнулась: леди Бэбс такая хорошенькая, во сне еще лучше, чем днем! И при взгляде на это очаровательное существо, спящее с улыбкой на устах, рассеялись тяжелые пары, дурманившие голову служанки, постоянно жившей в тепличной обстановке, где не могла естественно развиваться ее натура. Красота обладает таинственной силой: она расковывает души, очищает их от себялюбивых мыслей; глаза горничной смягчились, она стояла, затаив дыхание, — спящая Барбара была для нее воплощением золотого века, с мечтой о котором она ни за что не хотела расстаться. Барбара открыла глаза и, увидев горничную, спросила:

— Разве уже восемь, Стейси?

— Нет, но леди Кастерли желает, чтобы вы с ней погуляли.

— О господи! А мне снился такой чудесный сон!

— То-то вы улыбались.

— Мне снилось, что я могу летать.

— Вы подумайте!

— Я летела над землей и видела все так ясно, как вас теперь. Я парила, как ястреб. И чувствовала, что могу опуститься, где захочу. Это было восхитительно, Стейси, для меня не было ничего невозможного.

И, вновь положив голову на подушку, она закрыла глаза. Солнечный свет, пробиваясь меж полураздвинутых занавесок, озарял ее лицо.

Горничной вдруг захотелось протянуть руку и погладить эту полную белую шею.

— Летательные аппараты — глупость, — пробормотала Барбара. — Наслаждение — когда летишь сама, на крыльях!

— Леди Кастерли уже в саду.

Барбара вскочила. У статуи Дианы, глядя на цветы, стояла маленькая фигурка в сером. Барбара вздохнула. Во сне рядом с ней парил другой ястреб, и сейчас, принимая ванну, а потом одеваясь, она с удивлением об этом вспоминала, а по всему ее телу пробегала какая-то странная и приятная дрожь.

В спешке она забыла шляпу и, на ходу застегивая полотняное платье, торопливо спустилась по лестнице и георгианским коридором побежала

в сад. У самого выхода она чуть не оказалась в объятиях Куртье.

В то утро он проснулся рано и прежде всего подумал об Одри Ноуэл, которой грозил скандал; потом о своей вчерашней спутнице, такой юной и лучезарной, чей образ завладел его мыслями. Он весь ушел в эти воспоминания. Да, она — сама юность. Поистине совершенство: совсем еще юная — и никакой ребячливости!

— Крылатая победа! — воскликнул он, когда Барбара чуть не сбила его с ног.

Ответ Барбары был в том же духе:

— Ястреб! Знаете, мистер Куртье, мне снилось, что мы с вами летаем.

— Если бы боги послали этот сон мне… — серьезно ответил Куртье.

На пороге Барбара обернулась, с улыбкой взглянула на него и вышла.

Леди Кастерли в обществе Энн, которая рассудила, что гулять по саду в такую рань ново и заманчиво, критически разглядывала какие-то незнакомые ей цветы. Увидев внучку, она тотчас спросила:

— Это что такое?

— Немезия.

— В первый раз слышу.

— На них теперь мода, бабушка.

— Немезия? — переспросила леди Кастерли. — Какое отношение к цветам имеет Немезида? Терпеть не могу садовников и все эти дурацкие названия. Где твоя шляпа? Мне нравится цвет твоего платья. Смотри, пуговица расстегнута.

И, подняв сухонькую ручку, поразительно крепкую для ее лет, она застегнула предпоследнюю сверху пуговку на корсаже Барбары.

— Ты просто цветешь, милочка. Эта женщина далеко живет? Мы идем к ней.

— Наверно, она еще не встала.

Глаза леди Кастерли зло сверкнули.

— Ты ведь так ее хвалишь. Здоровая, да к тому же порядочная женщина не станет нежиться в постели после половины восьмого. Какой дорогой ближе всего? Нет, Энн, мы не можем взять тебя с собой.

Энн пристально посмотрела на прабабушку и, помедлив, ответила:

— Знаете, я все равно не могу пойти с вами, у меня дела.

— Вот и хорошо, — сказала леди Кастерли. — Тогда беги.

Поджав губы, Энн отошла к другой клумбе с немезией и озабоченно склонилась над цветами,

всем своим видом давая понять, что она нашла что-то такое, чего еще никто не видел.

— Ха! — сказала леди Кастерли и быстро засеменила к выходу из сада.

Все время, пока они шли по аллее, она придирчиво разглядывала деревья и рассуждала о том, как следует содержать парки. Экий жалкий век! — говорила она. Искусство выращивать леса, как и зодчество и многие другие занятия, требующие веры и терпеливого усердия, начисто утрачено. Когда-то она заставила дедушку Барбары изучить лесоводство — и в Кэттоне (ее имении) и даже в Рэйвеншеме на деревья любо глядеть. А в Монкленде они мерзостно запущены. Ведь тут растет, например, самый лучший в Англии итальянский кипарис, а как за ним ухаживают? Просто стыд и срам!

Барбара слушала и лениво улыбалась. Бабушка очень забавна, когда она вот так воинственно настроена и кипятится и сыплет нарочито грубоватыми выражениями, словно она, которая как никто владеет искусством утонченно-сдержанной беседы и изысканной французской речью, вдруг вздумала дать себе волю. Девушку, которой все еще мерещилось, что она может летать, опьяненную свежим дыханием летнего утра, эти

чудачества слегка потешали. Но в какую-то минуту, когда бабушка замолчала, взгляд Барбары застиг ее врасплох: лицо ее омрачали решимость и тревога, казалось, она сомневается в своих силах; и в мгновенном прозрении, какое нередко озаряет женщин — даже таких юных, — перед Барбарой вдруг мелькнула зловещая тень смерти, подобная бледному призраку, и она пожалела леди Кастерли. «Бедная бабушка, — подумала она, — как горько быть старой!»

Но тут они вступили на тропинку, которая, пересекая одну за другой три поляны, тянувшиеся по косогору, вела к домику миссис Ноуэл. Здесь, среди несчетного множества крохотных желтых чашечек, полных холодной сверкающей росы, все источало такой нежно-золотистый свет, липы и ясени стояли в таком сияющем ореоле, так чудесно пахло запоздалым дроком и боярышником и на каждом дереве так зазывно распевали серые птички, что огорчаться было просто невозможно.

В дальнем краю первой поляны стояла гнедая кобылка и, наставив уши, прислушивалась к какому-то отдаленному, ей одной внятному звуку. Увидав нежданных гостей, она прижала уши и покосилась на них злым блестящим глазом. Они

прошли мимо и вступили на вторую поляну. А когда дошли до ее середины, Барбара сказала негромко:

— Бабушка, там бык.

В стороне, шагах в двухстах, за кустами и в самом деле стоял огромный бык. Теперь он медленно двинулся на них; это был великан красно-бурой масти, с могучим загривком и грудью, из-за которых именно это, а не какое-нибудь животное стало символом грубой силы.

Леди Кастерли строго его оглядела.

— Не люблю быков, — сказала она. — Кажется, мне придется пятиться.

— Не выйдет, бабушка, подъем слишком крутой.

— Но я не намерена поворачивать обратно. С какой стати тут бык? Кто его сюда пустил? Я об этом еще поговорю. Стой смирно и смотри прямо на него. Не дадим ему подойти ближе.

Они стояли смирно и смотрели на быка, а он все-таки шел на них.

— Он все равно идет, — сказала леди Кастерли. — Не будем обращать на него внимания. Я обопрусь на твою руку, дорогая; у меня что-то с ногами.

Барбара обняла ее за плечи. Они пошли даль-

ше.

— В последнее время я совсем отвыкла от быков, — сказала леди Кастерли.

Бык приближался.

— Бабушка, вы идите потихоньку к приступке у изгороди. А после вас и я перелезу.

— Ничего подобного! Мы пойдем вместе. Не обращай на него внимания — это самое главное.

— Бабушка, милая, послушайтесь меня, я вас прошу. Я знаю этого быка, это наш.

Почуяв недоброе в словах внучки, леди Кастерли кинула на нее острый взгляд.

— Одна я не пойду, — сказала она. — Теперь я уже крепко стою на ногах. Если надо будет, мы можем и побежать.

— Бык тоже.

— Я не оставлю тебя одну, — проворчала леди Кастерли. — Если он разъярится, я с ним поговорю. Меня-то он не тронет. А ты быстрее меня бегаешь. Нечего спорить.

— Не выдумывайте, бабушка. Я не боюсь быков.

В глазах леди Кастерли блеснули веселые искорки.

— Да, я чувствую, — сказала она. — Дрожишь не хуже меня.

От быка их отделяли теперь каких-нибудь восемьдесят шагов, а до изгороди оставалось добрых сто.

— Скорей, бабушка, идите и перелезайте, не то я брошу вас и пойду ему навстречу. Не упрямьтесь!

В ответ леди Кастерли обхватила внучку за талию; нервная сила ее худых рук была поразительна.

— Не фокусничай, пожалуйста, — сказала она. — Я знать не хочу этого быка. И смотреть на него не стану.

Бык затрусил неторопливой рысцой — он двигался прямо на них.

— Не обращай внимания, — сказала леди Кастерли, прибавляя шагу; никогда еще она не ходила так быстро.

— Тут подъема нет, — сказала Барбара. — Вы можете бежать?

— Попробую, — выдохнула леди Кастерли. И вдруг почувствовала, что ноги ее оторвались от земли и она как будто летит к изгороди. Сзади послышался шум, потом голос Барбары:

— Стойте! Вот он! Спрячьтесь за меня!

Ее схватили и сжали две руки, как-то странно вывернутые. К ней прислонилось что-то мягкое,

и она поняла, что они с внучкой стоят спина к спине.

— Пусти! — выдохнула она. — Пусти!

Тут она почувствовала, что ее подталкивают к изгороди.

— Брысь! — крикнула она. — Брысь!

— Бабушка, не надо! — послышался спокойный, хоть и задыхающийся голос Барбары. — Вы только дразните его. До перелаза далеко?

— Шагов десять, — тяжело дыша, ответила леди Кастерли.

— Тогда осторожнее!

Что-то теплое стремительно подхватило ее — рывок, подъем, карабканье — и она уже за изгородью. А бык и Барбара остались по ту сторону, в двух шагах друг от друга. Леди Кастерли выхватила носовой платок и замахала им. Бык поднял голову; Барбара вихрем метнулась к изгороди, миг — и она уже рядом.

Не теряя ни секунды, леди Кастерли подалась вперед и заговорила.

— Ты скотина! — сказала она быку. — Я велю тебя хорошенько высечь!

Бык копытом рыл землю и сопел.

— Ты цела, детка?

— Ни царапины, — с безмятежным спокойстви-

ем, но еще не отдышавшись, ответила Барбара.

Леди Кастерли сжала в ладонях лицо девушки.

— Ну и длинные у тебя ноги! — сказала она. — Поцелуй меня!

Горячие вздрагивающие губы поцеловали ее, и, тяжелее прежнего опираясь на руку Барбары, она двинулась в путь.

— Уж этот бык! — бормотала она. — Скотина… нападать на женщин!

Барбара поглядела на нее сверху вниз.

— Бабушка, а вы не слишком переволновались?

Леди Кастерли изо всех сил сжала трясущиеся губы.

— Н-ничуть.

— Может быть, вернемся домой? Только другой дорогой?

— Ничего подобного! Надеюсь, до дома этой женщины больше не будет быков?

— А вы в силах с нею разговаривать?

Леди Кастерли провела платком по губам, пытаясь унять их дрожь.

— Вполне.

— Тогда постойте минутку, дорогая. Я вас отряхну.

Приведя в порядок запылившееся платье, они

отправились к миссис Ноуэл.

Увидев ее домик, леди Кастерли сказала:

— Я этого не допущу. Для человека с будущим, какое ждет Милтоуна, это невозможно. Я твердо надеюсь видеть его премьер-министром.

Барбара что-то пробормотала.

— Что ты говоришь?

— Я говорю: что нам толку от того, кто мы, если нельзя любить тех, кто нам нравится?

— Любить! Я имею в виду брак.

— Рада слышать, что и по-вашему это не одно и то же, дорогая бабушка.

— Насмешничай, пожалуйста, сколько хочешь, — сказала леди Кастерли. — Но слушай, что я тебе скажу. Преглупо думать, будто люди нашего круга вольны делать все, что им взбредет на ум. Чем скорее ты это поймешь, Бэбс, тем лучше. Я серьезно тебе говорю. Мы сохранимся как сословие, только если будем соблюдать известные приличия. Подумай-ка, что сталось бы с королевской семьей, будь им позволено жениться как попало? Все эти браки с певичками, с американскими денежными мешками, с людьми с прошлым, писателями и прочее в высшей степени пагубны. Их развелось слишком много. Надо это прекратить. Когда так женятся

какие-нибудь чудаки, или просто молокососы, или разные современные девицы — это еще туда-сюда, но для Юстаса, — леди Кастерли замолчала и стиснула локоть Барбары, — или для тебя такой брак невозможен. Что до Юстаса, я потолкую с этой милой особой и позабочусь, чтобы он не запутался окончательно.

Поглощенная своей задачей, она не замечала загадочной полуулыбки на губах Барбары.

— Вы бы поговорили еще с самой природой, бабушка!

Леди Кастерли круто остановилась и, закинув голову, посмотрела внучке в лицо:

— Что это у тебя на уме? Ну-ка!

Но, увидев, что Барбара крепко сжала губы, она опять стиснула ее локоть, быть может, сильней, чем хотела, и пошла дальше.

Глава XII

Диагноз, который леди Кастерли поставила Одри Ноуэл без особой уверенности, оказался правильным. Когда они с Барбарой входили в калитку, Одри была уже на ногах; она стояла под липой в дальнем конце сада и не слышала последних слов, которыми они наскоро обменялись.

— Вы ее не обидите, бабушка?

— Там видно будет.

— Вы обещали.

— Хм!

Леди Кастерли не могла бы выбрать себе проводника удачнее: миссис Ноуэл всегда смотрела на Барбару с истинным удовольствием, как смотрит на женщину, полную радости жизни, та, кому судьба дала лишь доброе сердце, а в радости отказала.

Она пошла им навстречу, чуть склонив голову набок (в этой ее милой привычке не было ни капли жеманства), и остановилась в ожидании.

— У нас только что вышла стычка с быком, — непринужденно начала Барбара. — Это моя бабушка, леди Кастерли.

Увидев такую прелестную женщину, леди Кастерли несколько изменила своей обычной властности и резкости. Она с первого взгляда поняла, что перед ней отнюдь не обыкновенная искательница приключений. Леди Кастерли достаточно хорошо знала свет, чтобы понимать, что происхождение нынче значит куда меньше, чем в дни ее молодости, женитьба на деньгах и та уже давно не новость, зато приятная наружность, умение себя держать, осведомленность в

литературе, искусстве, музыке (а эта женщина, кажется, как раз из таких) нередко ценятся в обществе гораздо выше. Вот почему она была и настороженна и любезна.

— Доброе утро, — сказала она. — Я о вас наслышана. Вы позволите немного отдохнуть у вас в саду? Ужасный негодник этот бык!

Так она говорила, но чувствовала себя неловко: без сомнения, эта женщина прекрасно понимает, зачем она пришла! Похоже, что эти ясные глаза видят ее насквозь; и хоть она что-то сочувственно бормочет в ответ, но, кажется, не верит ни в какого быка. Леди Кастерли стало совсем уж не по себе. И зачем Барбара упомянула этого мерзкого быка! Что ж, надо взять его за рога.

— Пойди в трактир и найми для меня коляску, — обратилась она к Барбаре. — Я скверно себя чувствую и не хочу возвращаться пешком.

Миссис Ноуэл предложила послать горничную, но леди Кастерли возразила:

— Нет-нет, моя внучка сама сходит.

Барбара удалилась с усмешкой на устах, а леди Кастерли, похлопав ладонью по деревянной скамье, сказала:

— Сядьте-ка, я хочу с вами поговорить.

Миссис Ноуэл повиновалась. И в ту же мину-

ту леди Кастерли поняла, что ей предстоит на редкость трудная задача. Она-то думала, что встретит женщину, с которой можно будет не церемониться. А эта, с ясными темными глазами и мягкой, изящной повадкой, кажется такой доброжелательной — ей как будто можно бы сказать все, но нет, не выходит! До чего неловкое положение! И вдруг она заметила, что миссис Ноуэл сидит очень прямо, так же прямо, как она сама… даже прямее. Дурной знак… чрезвычайно дурной знак! Леди Кастерли поднесла к губам платок:

— Вы, должно быть, не верите, что на нас напал бык.

— Ну что вы. Конечно, верю.

— Вот как! Но мне надо поговорить с вами о другом.

Лицо миссис Ноуэл дрогнуло, как может дрогнуть цветок, который вот-вот сорвут, и леди Кастерли снова поднесла платок к губам. И крепко-накрепко вытерла их, словно черпая в этом силы.

— Я старуха, — сказала она. — Поэтому не обижайтесь, что бы я ни сказала.

Миссис Ноуэл молча, в упор смотрела на гостью; и леди Кастерли вдруг показалось, что перед нею уже не та женщина. Что было в этом обращенном

к ней лице? Эти большие глаза, мягкие волосы… губы внезапно сжались так плотно, стали совсем тонкие, в ниточку… Странно, непонятно, но ей почудилось, что перед нею ребенок, которого больно обидели.

— Я совсем не хочу вас обижать, моя дорогая, — вырвалось у леди Кастерли. — Вы, конечно, понимаете, речь идет о моем внуке.

Но миссис Ноуэл словно бы и не слышала; и на помощь леди Кастерли пришла досада, которая тотчас овладевает стариками, когда они сталкиваются с чем-то неожиданным.

— Его имя, — сказала она, — постоянно связывают с вашим, и это ему очень вредит. А ведь вы, конечно же, не хотите ему зла.

Миссис Ноуэл покачала головой, и леди Кастерли продолжала:

— С того вечера, когда ваш друг мистер Куртье вывихнул ногу, чего только не говорят. Милтоун поступил крайне опрометчиво. Вам это тогда, должно быть, и в голову не пришло.

— Я не знала, что кому-нибудь есть до меня дело, — с нескрываемой горечью ответила миссис Ноуэл.

Леди Кастерли, не сдержавшись, досадливо отмахнулась.

— О господи! Всем на свете всегда дело до женщины без определенного положения. Живете вы одна, не вдова, — конечно же, вы всем мозолите глаза, да еще в деревне.

Миссис Ноуэл искоса посмотрела на нее долгим, ясным, холодным взглядом, который, казалось, говорил: «Даже вам».

— Я не вправе рассчитывать на вашу откровенность, — продолжала леди Кастерли, — но если вы окружаете себя тайной, надо быть готовой к тому, что люди истолкуют это наихудшим образом. Мой внук — человек самых строгих правил. У него свой, особенный взгляд на вещи, а потому вам следовало быть вдвойне осторожной, чтобы не скомпрометировать его, да еще в такое важное для него время.

Миссис Ноуэл улыбнулась. В этой улыбке ничего нельзя было прочитать, и леди Кастерли испугалась: ей почудились в душе этой женщины скрытая сила и даже коварство. Неужели она так и не раскроет свои карты? И леди Кастерли сказала резко:

— Ни о чем серьезном тут не может быть речи.

— Вы совершенно правы.

Именно это леди Кастерли и хотела услышать, но прозвучало это так, что смысл был отнюдь

не ясен. Сама порою прибегая к иронии, леди Кастерли в других терпеть ее не могла. Женщинам этот род оружия должен быть запрещен! Но в нынешние времена женщины стали какие-то помешанные, даже добиваются права голоса, и никогда не знаешь, что у них на уме. Впрочем, эта как будто не из таких. Она очень женственна… очень… из тех женщин, которые только портят мужчин, без меры их балуя. И хотя леди Кастерли пришла сюда с твердым намерением все, решительно все разузнать и положить этому конец, она испытала немалое облегчение, увидев у калитки возвратившуюся Барбару.

— Я уже могу идти, — сказала она. И, поднявшись со скамьи, с насмешливым полупоклоном бросила миссис Ноуэл: — Благодарю за приют. Дай мне руку, детка.

Барбара подала ей руку и через плечо улыбнулась миссис Ноуэл, но та не ответила на улыбку; не двигаясь, она смотрела им вслед расширенными, потемневшими глазами.

Они шли по тропинке, и леди Кастерли молча разбиралась в своих чувствах.

— А как насчет коляски, бабушка?

— Какой коляски?

— Которую вы мне велели заказать.

— Надеюсь, ты не приняла это всерьез?

— Нет.

— Ха!

Они прошли еще немного, потом леди Кастерли вдруг сказала:

— Она не так-то проста.

— И даже загадочна. Боюсь, вы не были к ней добры.

Леди Кастерли подняла глаза на внучку.

— Терпеть не могу эту вашу новомодную привычку ничего не принимать всерьез. Даже быков, — прибавила она с хмурой усмешкой.

— И коляски, — откинув голову, со вздохом сказала Барбара.

Она закрыла глаза, а губы ее приоткрылись. «Очень хороша, — подумала, глядя на нее, леди Кастерли. — Я не представляла себе, что она так хороша… вот только великовата». И прикрикнула на Барбару:

— Закрой рот! Муха влетит!

Больше они не обменялись ни словом, пока не вошли в подъездную аллею. И тут леди Кастерли спросила резко:

— Кто это там идет?

— По-видимому, мистер Куртье.

— Что это ему вздумалось, с больной-то ногой?

— Хочет поговорить с вами, бабушка.

Леди Кастерли круто остановилась.

— Ты хитрюга, — сказала она. — Прехитрая хитрюга. Смотри, Бэбс, я этого не потерплю!

— Не придется терпеть, бабушка, — шепнула Бэбс. — Я вас от него избавлю.

— И куда только смотрит твоя мать! — рассердилась леди Кастерли. — Много воли тебе дает. Ты ничуть не лучше, чем была она в твои годы!

— Хуже! Сегодня ночью мне снилось, что я могу летать.

— Только попробуй, — сурово сказала леди Кастерли, — увидишь, чем это кончится! Доброе утро, сэр! Напрасно вы не в постели.

Куртье приподнял шляпу.

— Смею ли я нежиться в постели, когда вы уже на ногах! — И мрачно прибавил: — С угрозой войны покончено!

— А-а, значит, вам здесь больше нечего делать, — сказала леди Кастерли. — Теперь вы, надо полагать, вернетесь в Лондон.

Тут она взглянула на Барбару: странно, глаза у нее полуприкрыты, а губы улыбаются… Кажется, она даже покачала головой — или, может быть, это только почудилось?

Глава XIII

По милости леди Вэллис, покровительницы птиц, в Монкленде сов не стреляли, и на благо всем, кроме мышей-полевок, эти бесшумно летающие духи сумерек кричали и охотились без помехи. Невидимые, они рассекали ночную тьму, окутывавшую фермы, коттеджи и поля. Они долетали даже до каменного истукана, — быть может, эти мудрые птицы даже знали, когда и откуда он тут взялся. От домика Одри Ноуэл их было не отогнать: они облюбовали себе уютное местечко в сплошной стене старого остролиста, и казалось, они охраняют хозяйку этого крытого соломой замка: так часто слышалось хлопанье их крыльев, так негромко и протяжно они перекликались, точно часовые на посту. Теперь, когда установились теплые дни и полевки радовались жизни и были в самом соку, совы находили их на редкость лакомым блюдом, и каждая пара вскармливала ими своих ненаглядных птенчиков — очень важных, головастых и глазастых и пока еще не знавших, что делать со своими крыльями. Начиная с полудня и до ночи, когда все засыпает и никто их не слышит, они кричали

неутомимо, приветствуя большую, молчаливую бескрылую птицу, которая днем бесшумно скользила над мышиными норками, а утром и вечером, примостившись в большой квадратной дыре наверху стены, чистила свои перья — то белые, то голубые, то серые. И они никак не могли понять, почему эта благородная сова никогда не охотится и не издает протяжных криков.

Вечером того дня, когда Одри Ноуэл посетили столь ранние гостьи, едва стемнело, она завернулась в длинную легкую накидку, набросила на темные волосы черное кружево и выпорхнула на дорожку, будто желая присоединиться к важным крылатым охотникам непроглядной ночи. Далекие немолчные шумы деревенской жизни, стихающие лишь после захода солнца, в этот час уже не тревожили воздух, благоухающий маем, точно женское платье тончайшими духами. Лишь лай собак, гудение майских жуков, лепет ручья да клики сов говорили о том, что во тьме бьется нежное сердце ночи. И ни проблеска, чтоб разглядеть ее лицо; неведомое, оно таилось от всех взоров, и, когда из чьего-нибудь окошка пробивался луч света, казалось, будто бродячий художник создал картину из камня и листвы на фоне черной пустоты, оправил ее в пурпур и

так и оставил висеть. Но кто сумел бы взглянуть поближе, тот понял бы, что ночь взволнована, как эта женщина, что бродит во тьме, пугливо сторонясь прохожих, и, порой наклоняясь над папоротниками, пытается охладить росой пылающее лицо, и снова идет торопливыми шагами в надежде утолить жар сердца. Ничто не могло бы вернее этой мятущейся тени выразить дух безликой ночи, ее сокровенные желания, неуловимый трепет ее темных крыльев, ее тайный и страстный бунт против своей безликости…

В Монкленде в то утро ни у кого, кроме Энн, не было охоты разговаривать: все чувствовали, что надо действовать, но никто не знал как. За завтраком единственным намеком на то, что волновало всех, был вопрос Харбинджера:

— Когда возвращается Милтоун?

Ему ответили, что была телеграмма, видимо, он приедет сегодня вечером.

— Чем скорей, тем лучше, — негромко сказал Уильям. — У нас есть еще две недели.

Но по тону этого опытного политика все почувствовали, что он считает положение весьма серьезным.

Если к «утке» о миссис Ноуэл прибавить провал военной угрозы, было о чем беспокоиться.

С дневной почтой пришло письмо от лорда Вэллиса с пометкой «Срочное».

Леди Вэллис встревожилась, взяв его в руки, и по мере того как она читала, тревога все усиливалась. Ее красивое, цветущее лицо стало печальным, что бывало нечасто. Но, надо сказать, неприятную новость она приняла с истинным достоинством.

«Юстас объявил о своем намерении жениться на этой миссис Ноуэл, — гласило письмо. — К несчастью, я совершенно не знаю, как этому помешать. Если ты сумеешь вызвать его на разговор, непременно постарайся его разубедить… Дорогая моя, хуже просто быть не может».

Поистине, хуже ничего быть не могло! Если Милтоун решил жениться на ней, еще не зная об оскорбительной сплетне, какова же будет его решимость теперь? И тут леди Вэллис пришла в негодование. Нет, этого брака не будет! Против него восставало все существо этой женщины, практической не только по характеру, но и по образу жизни и по воспитанию. Ее горячую, полнокровную натуру влекло к радостям любви, и не будь она столь практична, эта сторона ее характера была бы серьезной помехой уверенному ходу ее жизни, протекавшей на виду у

общества. Сама не чуждая этой опасности, она особенно остро чувствовала, чем грозит любому политическому деятелю предосудительная связь, а тем более женитьба. К тому же были задеты ее материнские чувства. Никогда она не любила Юстаса так нежно, как Берти, но все же ведь он ее первенец! И, узнав эту новость, означавшую, что она окончательно его теряет, ибо это, разумеется, будет «единение двух душ» (или как там говорится), она ощутила острую ревность к женщине, завоевавшей любовь ее сына — любовь, которую ей, матери, завоевать не удалось. И эта ревнивая боль придала ее лицу выражение одухотворенности, но оно тут же сменилось досадой. С какой стати Юстасу жениться на этой особе? Все можно уладить. Люди уже говорят о незаконной связи: что ж, пусть эта выдумка станет правдой. На худой конец здешний избирательный округ — еще не вся Англия. А такая связь долго не продержится. Все что угодно, только не этот брак, который всю жизнь будет Милтоуну помехой. Но такая ли уж это помеха? В конце концов красота ценится высоко! Только бы ее прошлое не было слишком скандальным! Но что же все-таки у нее в прошлом? Какая нелепость до сих пор ничего не знать! Вот беда с людьми, которые не принад-

лежат к свету, — о них так трудно что-нибудь разузнать! И в леди Вэллис поднялась злость, чуть ли не ярость, столь легко вспыхивающая в людях, которым едва ли не с пеленок внушают, что они — соль земли. С такими чувствами леди Вэллис передала письмо дочерям. Они прочли и, в свою очередь, передали его Берти; он, прочитав его, молча вернул листок матери.

Но вечером в бильярдной, устроив так, чтобы оказаться вдвоем с Куртье, Барбара сказала ему:

— Ответите ли вы на мой вопрос, мистер Куртье?

— Если только смогу.

На ней было темно-зеленое, очень открытое платье с огненной искрой под стать ее волосам, и вся она — в великолепии темного, молочно-белого и золотого — была ослепительна; она застыла, прислонясь к бильярду и с такой силой сжимая его край, что ее нежные сильные пальцы побелели.

— Мы только что узнали, что Милтоун хочет просить руки миссис Ноуэл. Люди никогда не окружают себя тайной, если у них нет на то веских причин, не правда ли? Скажите мне, кто она такая?

— Я что-то не понимаю, — пробормотал Кур-

тье. — Вы сказали, он хочет на ней жениться?

Барбара протянула руку, словно умоляя сказать правду.

— Но как же ваш брат может на ней жениться… она замужем!

— Как?!

— Мне и в голову не приходило, что вы даже этого не знаете.

— Мы думали, что она разведенная.

На лице Куртье появилось выражение, о котором уже приходилось упоминать, — злая, отчаянная насмешка.

— Сами себе вырыли яму. Обычная история. Стоит хорошенькой женщине поселиться одной — и злые языки сделают остальное.

— Не совсем так, — сухо сказала Барбара. — Говорили, что виновная сторона не она, а муж.

Пойманный на том, что, по обыкновению, забежал вперед, Куртье закусил губу.

— Лучше уж я расскажу вам ее историю. Отец ее был сельский священник, друг моего отца, так что я знал ее еще девочкой. Стивен Ли Ноуэл был там викарием. Это была скоропалительная свадьба — Одри едва минуло двадцать, и у нее, в сущности, просто не было знакомых мужчин. Ее отец заболел и хотел перед смертью видеть ее

пристроенной. Ну и, как очень многие, она почти сразу поняла, что совершила роковую ошибку.

Барбара чуть подалась к нему:

— Что это был за человек?

— Неплохой в своем роде, но один из тех ограниченных, добросовестных тупиц, из которых выходят самые невыносимые мужья — безмерные себялюбцы. Если таким оказывается священник, это безнадежно. Все, что ему положено делать и говорить, лишь усугубляет дурные стороны его характера. У такого человека жена — все равно что рабыня. В конце концов ей стало невтерпеж, хотя она из тех, кто тянет лямку, пока не свалится. Ему понадобилось четыре года, чтобы это понять. И тогда встал вопрос: как быть дальше? Он очень ортодоксален, не признает расторжения брака. По счастью, задето было его самолюбие. Словом, два года назад они разъехались, и вот она на мели. Говорят, сама виновата. Надо было знать, что делаешь, — в двадцать-то лет! Надо было тянуть лямку дальше, молчать, и терпеть, и не показывать виду. Будь они неладны, толстокожие благодетели, где им понять страдания впечатлительной женщины! Простите меня, леди Барбара… Не могу я говорить об этом спокойно. — Он умолк. Потом, видя, что она не

сводит с него глаз, продолжал: — Ее мать умерла при ее рождении, отец — вскоре после ее свадьбы. К счастью, у нее достаточно своих средств, чтобы жить хоть не в роскоши, но безбедно. Муж ее перевелся в другой приход, где-то в Мидленде. Его, беднягу, тоже, конечно, жалко. Они не видятся и, насколько я знаю, не переписываются. Вот вам, леди Барбара, и вся история.

— Благодарю вас, — сказала Барбара и пошла из комнаты. — Какой ужас! — негромко вырвалось у нее уже в дверях.

Но он не знал, чем вызвано это восклицание: судьбой ли миссис Ноуэл, ее мужа или мыслью о Милтоуне.

Она озадачивала его своим почти суровым хладнокровием — как она умеет не выдать свои чувства! Но какой женщиной стала бы она, если не дать тлетворной великосветской жизни обезличить ее, иссушить ей душу! Как оплодотворил бы эту душу восторг, сумей он туда проникнуть! Барбара напоминала ему большую золотистую лилию. И, точно лилия, освобожденная от корней и от теснившей ее тщательно обработанной почвы, на которой ее взрастили, она представлялась ему вольно парящей в чистом, незамутненном воздухе. Каким пылким, благородным созданием

стала бы она! Какое сияние и аромат исходили бы от нее! Душа лилии! Сестра всем благородным и лучезарным цветам, чьим благоуханием напоен мир!

Куртье стоял в оконной нише и глядел в безликую ночь. Он слышал крики сов и чувствовал, как где-то во тьме бьется сердце ночи, но не находил ответа на свои вопросы. Смогла бы она, эта девушка, эта большая золотистая лилия, не внешне только, а всем существом забыть о своем высоком круге и стать просто женщиной, которая дышит, страдает, любит, радуется заодно с поэтической душой всего человечества? Отважилась бы она разделить жизнь маленькой кучки больших сердец — тех, кто отверг всякие привилегии и преимущества? Вот уже двадцать лет Куртье не бывал в церкви, ибо, по его мнению, переступать порог мечети в его отечестве нельзя, не сняв обувь свободы, но Библию он читал, видя в ней великое поэтическое творение. И сейчас слова древней книги не шли у него из головы: «И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царство Божие». Глядя в ночь, во тьме которой, казалось, хранились ключи ко всем тайнам, он пытался разгадать будущее этой девушки, словно от этого

зависело решение другой, великой загадки: насколько в этом мире дух способен высвободиться из пут материи.

Ночь вдруг встрепенулась — и из самых глубин, словно со дна морского, всплыла луна, сбрасывая с себя бледную мантию тумана, пока наконец не засияла, обнаженная, на занавесе неба. Теперь ночь уже не была безликой. Перед глазами Куртье в полутьме сада медленно возникла статуя Дианы, а за нею, словно ее храм, поднялся ввысь острый шпиль кипариса.

Глава XIV

Номер газеты, где описывалось вечернее приключение Милтоуна, попал ему в руки, только когда он уже собирался в обратный путь. Заметка была отчеркнута синим карандашом, и к ней приложена записка:

«Дорогой Юстас!

Эта дерзость, как бы она ни была безосновательна, требует внимания. Но мы ничего не станем предпринимать до твоего возвращения.

Твой Уильям Шроптон».

Быть может, Милтоун отнесся бы к этому иначе, если бы не его решение просить руки Одри

Ноуэл; впрочем, вероятно, при любых обстоятельствах он только улыбнулся бы и разорвал газету. Подобные вещи так мало его волновали и огорчали, что он просто не понимал, насколько они могут взволновать и огорчить других. Если есть люди, которых это задевает, тем хуже для них. Милтоун искренне, хоть и молчаливо, презирал обывателей, к какому бы слою общества они ни принадлежали; он и не подумал бы ни на шаг свернуть с избранного пути в угоду их блажи. Точно так же ему и в голову не приходило, что миссис Ноуэл, которую он окружил столь романтическим ореолом, способна страдать из-за каких-то пошлых сплетен. В сущности, из этих двух бумажек его больше раздосадовала записка Шроптона. Как это похоже на зятя — делать из мухи слона!

Он почти не сомкнул глаз, пока автомобиль мчался мимо спящих полей и деревень; и, добравшись до своей комнаты в Монкленде, он тоже не лег. Чудесное, окрыляющее волнение владело им — волнение человека, который вот-вот достигнет цели. И мысль, и чувства обострились — ибо такова была эта женщина; при ней все его существо должно было жить полной жизнью, и он был счастлив, что она так много от него требует.

Выпив чаю, он вышел из дому и зашагал знакомой тропинкой. Не было еще и восьми часов, когда он поднялся на ближний холм. Он стоял на вершине, и вересковая пустошь внизу, и каменистые холмы вокруг, и небо над головой — все было под стать владевшему им восторгу. Словно звучала прекрасная симфония, или возвышенный разум открылся ему в необъятном величии, словно сам Бог предстал перед ним во всей своей многоликости. В бескрайней синеве небес был разлит покой; на востоке три огромных облака, точно мысли о судьбах тех, что пребывают внизу, медленно плыли к морю, тенями своими покрывая долины. А все вокруг сияло в солнечных лучах и переливалось всеми красками, словно осиянное улыбкой божества. Ветер с севера, где птичьей стайкой белели мелкие облачка, проносился в вышине, вольный, бесшумный, не зная преград. Перед Милтоуном пестрела равнина, подернутые дымкой зеленые, розовые, бурые поля, белые и серые крапинки домов и церквей постепенно терялись в туманной синей дали, замкнутой грядою дальних гор. А позади зыбилась одна лишь волнистая, поросшая вереском лилово-коричневая пустошь. В этом буйном море плещущего на ветру кустарника не видно было

ни одного корабля, созданного руками человека, лишь далеко на горизонте темнела мрачная громада Дартмурской тюрьмы. Ни звука, ни запаха не долетало до Милтоуна, и ему казалось, что дух его, покинув телесную оболочку, сливается с величием божества. Так он стоял, обнажив голову, и, однако, странная улыбка, которая всегда появлялась на его губах в минуту глубокого волнения, говорила о том, что он не покорился Божьему величию, что дух его от этого слияния только крепнет — и это и есть подлинный, тайный источник владеющего им экстаза.

Милтоун лег среди камней. Лучи солнца проникали и сюда, но ветер не задувал, и молодые побеги вереска пахли терпко и сладко. И это тепло и аромат пронизывали щит его духа и прокрадывались в кровь; пламенные видения вставали перед ним, ему мерещилось нескончаемое объятие. Такое объятие и породило жизнь, из которой возник весь этот мир с несчетными формами бытия, столь бесконечно разными, что ни для одной не сыщешь двойника. И они двое тоже дадут жизнь новым людям, которые со временем займут их место в этом великом и сложном многообразии! Это казалось таким удивительным и справедливым — ибо лишь те

достойны существовать, кто передаст из поколения в поколение традиции, представляющиеся ему великими и необходимыми. А потом его захлестнула волна страстного желания, с каким ему так часто приходилось бороться и которое он так часто с огромным трудом преодолевал. Он вскочил и побежал под гору, прыгая через камни и кустики вереска.

Одри Ноуэл тоже поднялась спозаранку, хотя накануне легла поздно. Она одевалась лениво, но тщательно, ибо принадлежала к числу тех женщин, которые надевают броню в поединке с судьбой, потому что они горды и не хотят видом своих страданий доставлять страдания другим, и еще потому, что собственное тело для них подобно священному сокровищу, доверенному им на некий срок для того, чтобы радовать глаз. Кончив, она посмотрела на себя в зеркало несколько более недоверчивым взглядом, чем обычно. Она чувствовала, что женщин, подобных ей, теперь не слишком ценят, и, чуткая и восприимчивая, была неизменно недовольна и внешностью своей, и поведением. И, однако, она ни в чем не менялась, по-прежнему хотела выглядеть как можно очаровательней; и даже если некому было ею любоваться, ей все равно

хотелось быть очаровательной. Как тонко подметила леди Кастерли, Одри Ноуэл была из тех женщин, которые своей излишней мягкостью только портят мужчин, и отнюдь не из тех, кто умеет постоять за себя: мужчин, которые ценят в женщине самостоятельность, она не привлекала; и, однако, чувствовался в ней какой-то совершенно неожиданный кроткий стоицизм. Она редко сама принимала решение и обычно покорялась обстоятельствам или чужой воле, но то, что было решено за нее, доводила до конца с твердостью, которая посрамила бы самого решительного человека; она не способна была кого-либо о чем-либо просить, но все ее существо жаждало любви, как растение жаждет воды; она могла отдавать себя без остатка и при этом ничего не требовала взамен; короче говоря, она была неисправима, и тем, кто ее понимал, это в ней нравилось. И, однако, она была не совсем то, что принято называть «душечка», — выражение, которое сама она не переносила, — была в ней еще и жилка своеобразного, мягкого цинизма. Она обладала поразительной зоркостью, как будто родилась в Италии и душу ее все еще окутывал прозрачный воздух, в котором все видится так ясно и отчетливо. Она любила свет, тепло, яркие

краски; если ей и свойствен был мистицизм, то мистицизм языческий; и она мало к чему стремилась, довольствуясь миром таким, каким он представал перед нею.

В это утро, надушившись геранью и покончив с другими невинными ухищрениями, без которых даже лучшая из женщин чувствует себя неуверенно, она спустилась в свою маленькую столовую, зажгла спиртовку и, просматривая газету, стала ждать, когда можно будет заварить чай.

Этот ранний час был ей всего милее. Пусть в ее собственной жизни не осталось ни капли утренней росы, но росной свежестью сверкал по утрам лик самой природы и лепестки цветов в саду; и у Одри оставалась эта радость — видеть, как просыпаются крохотные зеленые создания, сколько новых родилось с рассветом, кому из них плохо, кто требует внимания. И каждое утро ей, как всем одиноким людям, начинало казаться, что она не одинока, — чувство, которое рассеивается лишь постепенно, по мере того как приближается вечер и вновь убеждаешься в этой печальной истине. Не то чтобы время ее проходило в праздности: через Куртье она получила работу в одной газете для женщин — писала музыкальные обзоры. Она была просто создана

для этого. Это занятие, уход за цветами, игра на фортепьяно и помощь некоторым соседям-фермерам заполняли чуть ли не все время Одри. А она только того и хотела, чтобы занята была каждая минута, ибо ей, как всем, чей ум несколько ленив, свойственна была эта страсть к работе, не требующей выдумки и новых решений.

Вдруг она отбросила газету, подошла к столику, на котором был накрыт завтрак, вынула из вазы с цветами две веточки лаванды и, брезгливо держа их подальше от себя, вышла в сад и выкинула за ограду.

Уничтожить две жалкие веточки, едва увидевшие свет и с самыми лучшими намерениями поставленные в вазу заботливой горничной, — очень странный и неожиданный поступок со стороны женщины, глаза которой сияют радостью при виде каждого цветка и которая старается никогда никого не обидеть. Но лавандой всегда пахли носовые платки и одежда ее мужа, с этим запахом было связано слишком многое, и Одри его не выносила. Ничто другое не напоминало ей так ясно человека, жизнь с которым постепенно превратилась в пытку. Словно раскованный этим запахом, на нее нахлынул поток воспоминаний. Воспоминания тех трех

лет, когда она сделала открытие, что обречена на пожизненную каторгу, стиснула зубы и решила все терпеливо сносить; и воспоминание о том, как все это внезапно оборвалось и она бежала, чтобы в одиночестве хоть немного прийти в себя. И о том, как в первый год освобождения, которое отнюдь не было настоящей свободой, ей дважды пришлось искать себе новое убежище, чтобы уйти от сплетен, — не потому, что она стыдилась своего прошлого, но потому, что оно напоминало ей о том, как она несчастна. И как наконец она перебралась в Монкленд, где мирное уединение помогло ей понемногу оправиться от пережитого. А потом встреча с Милтоуном; нежданный подарок судьбы — его дружба; откровенная радость первых четырех месяцев. Она вспоминала, как, еще не думая о любви, даже не подозревая о ней, втайне безмолвно ликовала оттого, что она не одна на свете, что в ее жизнь вошел близкий человек. И вот однажды, ровно три недели назад, когда Милтоун помогал ей подвязывать розы в саду, нечаянное прикосновение открыло ей глаза. Но даже тогда — и до того памятного вечера, до происшествия с Куртье — она не смела себе в этом признаться. Больше озабоченная теперь его судьбою, чем своей, она

тысячи раз спрашивала себя: не дурно ли она поступила? Она ему позволила себя полюбить — она, женщина, лишенная всех прав, она, чья жизнь кончена. Это тяжкий грех! Но ведь все зависит от того, что она готова ему отдать! А она рада отдать все, ничего не прося взамен. Он знает, как сложилась ее судьба, он сам сказал, что ему все известно. Она счастлива этой любовью, и будет счастлива, и готова страдать ради нее, и ни о чем не пожалеет. Милтоун не ошибался, веря, что газетные сплетни не могут задеть Одри, хотя причины ее неуязвимости были совсем иные, чем он предполагал. Не в том дело, что она, как и он, считала подобное вмешательство в чужую личную жизнь чем-то низменным, пошлым и не стоящим внимания, — столь возвышенные и отвлеченные соображения пока не приходили ей в голову; она не огорчилась просто потому, что душой уже всецело принадлежала Милтоуну, и почти обрадовалась, когда его собственностью объявили и все остальное. Но ее охватила тревога за Милтоуна. Она поняла, что роняет его в глазах людей и, быть может (ибо, как это ни странно, она была практична и очень трезво смотрела на вещи), надолго испортит его карьеру.

Она села пить чай. Не слезливая от природы,

она страдала молча. Без сомнения, Милтоун скоро придет. Что ему сказать? Конечно же, она значит для него не так много, как он для нее! Он мужчина, а мужчины забывают быстро. Но нет, он не такой, как другие. По глазам его сразу видно, что он способен глубоко страдать! О своем добром имени она ни минуты не думала. И сама жизнь, и присущий Одри трезвый взгляд на вещи убедили ее, что пресловутое доброе имя женщины вовсе не так уж важно, — его выдумали мужчины для своего удобства; в романах, в пьесах, в зале суда они из самых корыстных побуждений курят фимиам этому молью траченному божку. Чутье подсказывало ей, что мужчинам необходимо верить, будто для женщины страшно важно слыть добродетельной и неприступной: ведь только так они могут спокойно, ничего не опасаясь, владеть своими женщинами. А во что они хотят верить, в то и верят. Но она знала правду. Женщины выдающегося ума, которых ей случалось встречать и о которых она читала, как видно, мало значения придавали физической верности или неверности, женская честь была для них прежде всего понятием духовным. А по себе Одри знала, что для обыкновенной женщины сохранить доброе имя значит не уронить себя в глазах того или

той, кого любишь больше всех на свете. Что до женщин, искушенных в жизни, — а таких очень много и кроме светских львиц, и все они очень разные, — она часто замечала, что им важна их репутация не сама по себе, но как некая коммерческая величина: не как венец добродетели, но как ценность, которую можно продать. Одри ничуть не опасалась того, что могут сказать о ее дружбе с Милтоуном, и вовсе не думала, что брачные узы, которые она бессильна расторгнуть, запрещают ей его любить. В глубине души она чувствовала себя свободной с той самой минуты, как поняла, что никогда по-настоящему не любила мужа; она безропотно тянула лямку, пока они не разъехались, по прирожденной пассивности и потому, что причинить кому-нибудь боль было противно ее натуре. Человек, который и поныне считался ее мужем, был для нее попросту мертв, как будто он никогда и не существовал. Она знала, что не может второй раз выйти замуж. Но она может любить и любит. И если этой любви суждено зачахнуть и умереть, то уж никак не из-за высоконравственных соображений.

Она лениво развернула газету и под заголовком «Предвыборные новости» увидела следующую заметку:

«В связи с нападением на мистера Куртье нас просят сообщить, что спутницей лорда Милтоуна, пришедшего на помощь пострадавшему, была миссис Ли Ноуэл, супруга преподобного Стивена Ли Ноуэла, приходского священника в Клесемптоне, графство Уорикшир».

Эта сомнительная попытка обелить ее лишь вызвала у Одри невеселую улыбку. Не допив чай, она вышла в сад. Милтоун открывал калитку. Сердце ее заколотилось. Но она спокойно пошла ему навстречу и поздоровалась, опустив глаза, с таким видом, словно ничего не случилось.

Глава XV

Восторженное настроение все еще не оставляло Милтоуна. Его всегда бледное лицо раскраснелось, глаза блестели, он был почти красив; и Одри Ноуэл, которая, как немногие женщины, умела по лицу прочесть то, что творится в душе, смотрела в эти глаза с упоением мотылька, летящего на огонь. Но в голосе ее не слышалось ни малейшего волнения, когда она сказала:

— Итак, вы со мной позавтракаете. Как мило с вашей стороны!

Милтоун был не из тех, кто, бросаясь в бой, забо-

тится о формальностях. Если бы ему предстояла дуэль, он тоже обошелся бы без долгих предисловий; довольно было бы взгляда, поклона — и скрестились шпаги! Так же случилось и в этом его первом поединке с душою женщины.

Он не сел сам и не дал ей сесть; глядя на нее в упор, он сказал:

— Я вас люблю.

Вот оно — и так внезапно, врасплох; но Одри не смутилась, она была странно спокойна. Теперь она твердо знает, что любима, и это такое счастье, что, словно по мановению волшебной палочки, рассеялись все страхи, осталась тихая радость. Ничто не отнимет у нее этого знания — и отныне она уже никогда не будет до конца несчастна. Притом, не рассуждая, всем существом она принимала в жизни одну лишь силу — любовь и теперь втайне ощущала небывалую уверенность, торжество. Он ее любит! И она любит его! И тут ей стало страшно: вдруг он отречется от своих слов? Она положила руку ему на грудь и сказала:

— И я вас люблю.

Так сладостно было оказаться в его объятиях, ощутить всю страстную полноту этой минуты, что Одри, не в силах ни о чем думать, только смотрела на него; губы ее приоткрылись, глаза

потемнели; Милтоун и не подозревал, что взгляд может сказать так много. А сам он, обезумев от любви, не мог вымолвить ни слова. И так они стояли, обнявшись, поглощенные друг другом, забыв обо всем на свете. В комнате царила тишина; розы и гвоздики в хрустальной вазе, словно зная, что их хозяйка наверху блаженства, источали благоухание, напоившее до отказа недвижный воздух, и залетная пчела вновь и вновь описывала круги вокруг влюбленных, словно чуяла мед в их сердцах.

Как уже говорилось, Милтоун не был некрасив; для Одри Ноуэл в эти минуты, когда глаза его совсем близко смотрели в ее глаза и губы касались ее губ, он преобразился и стал воплощением красоты. А она — она, чье сердце торопливо стучало так близко, чьи глаза полузакрылись от счастья, волосы благоухали, словно желая, чтобы ими восхищались, щеки побледнели от волнения и руки, отяжелев от блаженной слабости, не в силах были его обнять, — казалась Милтоуну олицетворенной мечтой.

И мгновение миновало.

Его оборвала пчела: в досаде на цветы, которые скрывают свой мед так глубоко, она запуталась в волосах Одри. И тогда Одри увидела, что слова — а

что может быть опаснее слов — вот-вот сорвутся с его губ, и попыталась остановить их поцелуем. И все же он сказал:

— Когда вы станете моей женой?

Мир словно пошатнулся. И Одри сразу поняла, какая над ними стряслась беда. Со сверхъестественной ясностью увидела она, как все запуталось. В памяти вспыхнуло то, что он сказал однажды, когда они говорили об отношении церкви к браку и разводу. Так, значит, он ничего не знал! Голова у нее закружилась, и только одно спасло ее от обморока — чувство юмора, ее своеобразный цинизм. Итак, сплетники сделали свое дело — объявили ее разведенной женой, а Милтоун поверил молве! И всего смехотворнее, что он хочет жениться, тогда как она в мыслях уже принадлежит ему, и это для нее свято, и она рада исполнять все его желания без каких-либо обрядов и церемоний. Гневная досада на человека, который стоял между нею и Милтоуном, всколыхнулась в ней, и она едва не разрыдалась. Тот человек завладел ею прежде, чем она успела узнать свою душу, и вот она связана с ним до тех пор, пока он, волею благодатного случая, не расстанется с жизнью, — но тогда ее волосы уже побелеют, и в глазах угаснет пламя любви, и щеки

уже не будут бледнеть под поцелуями; сгустятся сумерки, и цветам и пчелам не будет до нее дела.

Эта внезапная вспышка отчаяния и гнева пожизненно осужденной придала ей силы: она взяла со стола газету и протянула ее Милтоуну.

Он прочел короткую заметку. Прошла целая вечность — минута, быть может, две. Наконец он сказал:

— Очевидно, это правда? — и, не дождавшись ответа, прибавил: — Простите.

Это прозвучало так странно, так коротко и сухо — страшнее самого яростного возгласа, — что у Одри перехватило дыхание и она только молча смотрела ему в лицо.

На губах Милтоуна, точно жгучее обвинение, заиграла усмешка старого кардинала. Непостижимо, что за окном по-прежнему жужжали пчелы, и шелестела листвою липа, и весь мир жил и дышал, нимало не заботясь о ней, о ее горе. Потом к Одри вернулась доля мужества и с ним — безмолвная женская власть. Прекрасное неподвижное лицо, сжатые губы, потемневшие глаза, горящие чуть ли не мятежным огнем под изогнутыми бровями, неудержимо притягивали Милтоуна.

Наконец он прервал молчание:

— Как видно, я преглупым образом ошибся. Я полагал, что вы свободны.

— Я думала, вы знаете. Я и не подозревала, что вы захотите на мне жениться, — едва шевеля губами, ответила она.

Ей казалось вполне естественным, что он думает только о себе; но, движимая инстинктом самозащиты, она напомнила и о своей трагедии:

— Должно быть, я слишком привыкла к мысли, что моя жизнь кончена.

— И нет никакого выхода?

— Нет. Ни я, ни он ни в чем не провинились; и он считает, что брак вечен и нерасторжим.

— О боже!

Она все-таки стерла с его губ усмешку, жестокую усмешку, хоть он этого и не сознавал; и с улыбкой, в которой тоже была жестокость, Одри сказала:

— А я думала, что в этих случаях и вы не видите выхода.

Потом лицо ее дрогнуло, словно, ранив Милтоуна, она ранила и себя.

Теперь, глядя на нее, он понял наконец, что она страдает. Одри почувствовала, что ему огромного труда стоит не заключить ее снова в объятия. И холодные губы ее вновь порозовели, и опять

засветились глаза, но она упорно не желала встречаться с ним взглядом. И хотя она застыла в гордой неподвижности, какая-то скорбная сила исходила от нее, притягивая Милтоуна точно магнитом; и его лицо и руки задрожали. Казалось, никогда не кончится этот немой, горестный поединок в белой комнатке, где было полутемно, оттого что свет заслоняла веранда, и сладко пахло гвоздикой и дровами, разгоравшимися, должно быть, на кухне. Внезапно, не сказав ни слова, Милтоун повернулся и вышел. Она услышала стук — это хлопнула калитка. Ушел.

Глава XVI

Лорд Деннис удил на муху; день был слишком солнечный, чтобы надеяться, что некрупная форель, какая водилась в этом мелком, говорливом ручье, жадно набросится на столь малозаметную приманку. И, однако, рыболов забрасывал тихонько свистящую леску во все новые закоулки, надеясь перехватить подводных путников. Он пробирался по берегу среди орешника и терновника, в костюме из грубой шерсти и в старой, мятой шляпе, и чувствовал себя совершенно счастливым. Точно старый спаниель, который

когда-то гордо приносил хозяину подстреленных зайцев, кроликов и прочую дичь, а теперь рад, если ему бросят хотя бы палку, и этот некогда прославленный рыбак, совершавший набеги на воды Шотландии и Норвегии, Флориды и Исландии, теперь не брезговал форелью размером с сардинку. Тысячи волшебных воспоминаний озаряли эти часы, которые он проводил у темного ручья. Он удил неторопливо, благоговейно, точно добрый католик, снова и снова перебирающий четки, удил так истово, словно вполне серьезно, без единой жалобы готовился выудить сам себя в лучший мир. И каждая пойманная рыбка доставляла ему глубочайшее удовлетворение.

Как было бы хорошо, если бы в это утро рядом с ним была Барбара! Но он только раз после завтрака украдкой взглянул на нее, когда она не могла этого заметить, и, криво усмехнувшись, ушел один. Внизу, у ручья, все пестрело пятнами света, проходящего сквозь листву, было безветренно, тепло и вместе с тем прохладно; ветви деревьев смыкались над водой, среди множества камней образовались маленькие заводи, покрытые рябью, и не так-то просто было забросить муху. Лощина эта, заросшая кустарником, тянулась на многие мили среди теснящихся друг к дружке

холмов. Ее облюбовали сойки; зато здесь было безлюдно, лишь в лачуге, соломенная крыша которой спускалась чуть не до земли, жила вдова фермера; она кормилась тем, что указывала дорогу горожанам, приезжавшим отдохнуть на лоне природы, да так ловко, что они вскоре возвращались к ней напиться чаю.

Стараясь забросить удочку подальше, в затененный, покрытый мелкой рябью уголок, лорд Деннис вдруг услышал громкий шорох и треск — кто-то шел напролом сквозь кусты. Он слегка нахмурился: распугают всю рыбу! Нежданным гостем оказался Милтоун — разгоряченный, бледный, растрепанный, какой-то словно затравленный. При виде дядюшки он круто остановился и тотчас, как под маской, укрылся под своей обычной улыбкой.

Лорд Деннис был отнюдь не склонен замечать то, что для него не предназначено.

— А, Юстас! — сказал он только, словно встретился с племянником где-нибудь в лондонском клубе.

Милтоун не менее учтиво пробормотал:

— Надеюсь, я не спугнул вашу добычу.

Лорд Деннис покачал головой и отложил удочку со словами:

— Присаживайся, дружок, поболтаем. Ты ведь не рыболов?

Он прекрасно разглядел боль под маской Милтоуна; у него и сейчас еще был острый глаз, к тому же он и сам лет двадцать страдал из-за женщины — теперь это была уже старая история — и для человека его лет на удивление чутко подмечал признаки страдания в других.

Милтоун ни от кого не принял бы такого приглашения, но было что-то в лорде Деннисе, перед чем никто не мог устоять; его суховатая, насмешливая учтивость заставляла каждого почувствовать, что ослушаться его было бы неслыханной, непозволительной грубостью.

Они сидели бок о бок на древесных корнях. Поговорили немного о птицах, потом умолкли, да так основательно, что, осмелев, невидимое население ветвей стало громко перекликаться. Наконец лорд Деннис прервал молчание.

— Этот уголок всегда напоминает мне Марка Твена, — сказал он. — Сам не знаю почему, разве, может быть, тем, что здесь всегда зелено. Люблю Твена и Мередита — неувядаемых философов. Мужество — единственное спасение от всех бед, хотя «сильную личность» — повелителя своей души, вроде Хенли, Ницше и прочих, — я нико-

гда не переваривал, эти мне не по нраву. А твое мнение, Юстас?

— У них были благие намерения, — ответил Милтоун, — но они против слишком многого восставали.

Лорд Деннис кивнул.

— Быть повелителем своей души! — с горечью продолжал Милтоун. — Недурно звучит!

— Очень недурно, — пробормотал лорд Деннис.

Милтоун покосился на него:

— И к вам подходит.

— Ну нет, мой милый, — сухо сказал лорд Деннис. — Слава богу, ничего похожего.

Взгляд его был прикован к тишайшей, светлой заводи, где всплыла из глубины крупная форель. Полфунта потянет, не меньше! Мысли его лихорадочно закружились: какая из мух, наколотых у него на шляпе, тут самая подходящая? Руки так и чесались, но он не шелохнулся, и ясень, под которым он сидел, сочувственно зашелестел листвой.

— Смотрите, ястреб, — сказал Милтоун.

Прямо над ними, выше самых высоких холмов, повис в синеве ястреб-канюк. Удивленный их неподвижностью, он присматривался, не съедобны ли они; только раз дрогнули загнутые кверху

кончики широко раскинутых крыльев, словно в доказательство, что обладатель их — живая частица гордого воздушного океана, символ свободы в глазах людей и рыб.

Лорд Деннис посмотрел на внучатого племянника. Мальчику (а кто же он, как не мальчик, если ему тридцать, а тебе уже семьдесят шесть?) — что бы там с ним ни случилось — очень и очень нелегко. Он такой — будет бежать, пока не упадет замертво. Таким труднее всего помочь, это злосчастная порода, из-за всего-то они мучаются! И перед мысленным взором старика предстал терзаемый орлом Прометей. Это была его любимая трагедия, он и сейчас время от времени ее перечитывал в подлиннике, заглядывая в старый греческий лексикон, когда значение какого-нибудь слова уносили воды Леты. Да, Юстас рожден для взлетов и падений.

— Ни о чем таком говорить тебе, должно быть, не хочется? — спросил он негромко.

Милтоун покачал головой, и опять наступило молчание.

Ястреб, увидев, что они зашевелились, медленно взмахнул крыльями, словно бабочка, и исчез. А вместо него с обросшего мхом, обрызганного жаркими солнечными пятнами камня на них

смотрела любопытная малиновка. В том тихом заливчике снова плеснуло.

— Она выскакивает уже второй раз, — прошептал лорд Деннис. — Пожалуй, она клюнет на «Радость рыболова».

Он извлек из шляпы последнюю новинку, привязал к леске и начал тихонько раскачивать удочку.

— Сейчас подцеплю, — пробормотал он.

Но Милтоуна уже не было…

Новая подробность биографии миссис Ноуэл, уже известная Барбаре и сообщаемая местной газетой, стала достоянием обитателей Монкленда лишь после того, как лорд Деннис отправился удить рыбу. Одновременно выяснилось, что Милтоун вернулся из Лондона и тут же ушел, не позавтракав, и потому новость вызвала смешанные чувства. Берти, Харбинджер и Шроптон, наскоро посовещавшись, сошлись на том, что с точки зрения предстоящих выборов, пожалуй, это лучше, чем если бы миссис Ноуэл оказалась divorcée[15], но все же полагали, что нельзя терять ни минуты, — хотя, как тут следует поступить, они решить не могли. Совершенно неизвестно,

[15] Примечания: 15
Разведенная жена *(фр.)*.

как к этому отнесется Милтоун при его трудном характере, а сверх того, задача оказалась дьявольски запутанной, как всегда в тех случаях, о которых справедливо говорится: чем меньше слов, тем меньше вреда. Пред ними встала самая страшная угроза — угроза публичного скандала. Изложить голые факты, не подчеркивая вытекающую из них мораль (а блюсти правила морали обязаны все без исключения), изложить их просто как некие занятные сведения, либо — того хуже — в искренней уверенности, что избиратели не должны слепо голосовать за человека, чья личная жизнь боится гласности, — не правда ли, как все законно и естественно! И, однако, сторонники Милтоуна понимали, что это простое сообщение о том, где он проводит вечера, опасно, как спичка в пороховом погребе, ибо действует на ту область людского воображения, которую легче всего воспламенить. Они хорошо знали, сколь силен некий первобытный инстинкт, который правит миром, сколь трудно ему не покориться и сколь любопытно и увлекательно, особенно в глуши, видеть или слышать, как ему покоряются другие — и сколь это с их стороны предосудительно (хотя втайне, конечно, можно на это смотреть и по-иному). Сторонники Милтоуна слишком хо-

рошо знали, как по душе придется кое-кому этот слух, как будут облизываться добродетельные ханжи. И знали также, как заманчива эта тема для читателей, наделенных хоть малой толикой воображения: представитель высшего общества, стало быть, человек, который не привык ни в чем себе отказывать, бывает у одинокой женщины! Как выразился Харбинджер, положение и впрямь до черта неловкое. Если отвечать на газетную заметку, еще больше народу поверит, что это чистая правда. А между тем она отравляет умы, это они чувствовали и по себе: тайный голос твердил каждому, что они и сами всему поверили бы, не знай они настоящей правды. И, не решаясь что-либо предпринять, они в растерянности ждали Милтоуна.

Леди Вэллис встретила новость вздохом величайшего облегчения, но заметила, что это, вероятно, просто очередная выдумка. Когда же Барбара подтвердила, что газета не лжет, она сказала только: «Бедный Юстас!» — и тотчас написала супругу, что Незнакомка все еще замужем, а значит, самого худшего, к счастью, можно не опасаться.

Милтоун вернулся домой ко второму завтраку, но по его лицу и поведению ничего нельзя было

угадать. Он был, пожалуй, чуть словоохотливей обычного и стал рассказывать о речи Брэбрука — часть ее он слышал. Он многозначительно посматривал на Куртье, а после завтрака спросил:

— Не заглянете ли ко мне?

Эта комната в елизаветинском крыле Монклендской усадьбы была когда-то гостиной, и ее заполняли гобелены, вышивки и молитвенники прекрасных дам, утопавших в кружевах и оборках; теперь их заменили книги, брошюры, дубовые панели, трубки, рапиры, а одну стену занимала коллекция, которую Милтоун вывез из Соединенных Штатов, — оружие и украшения индейцев. На этой стене надо всем царила бронзовая посмертная маска знаменитого вождя племени апашей — копия гипсового слепка, сделанного профессором Йельского университета, который объявил покойного вождя идеальным представителем вымирающей расы. Лицо это, пугавшее странным сходством с Данте, словно накладывало на все в комнате отпечаток какого-то жестокого и трагического стоицизма. Взглянув на него, нельзя было не почувствовать: вот воплощение несокрушимой воли, дающей человеку силы вынести непосильное.

Куртье, увидевший эту маску впервые, сказал:

— Превосходная штука! Кажется, вот-вот оживет.

Милтоун кивнул.

— Садитесь, — предложил он.

Куртье сел.

Последовало долгое молчание — в такие минуты люди, даже очень разные, но которых роднит известная широта души, многое могут без слов сказать друг другу.

Наконец Милтоун заговорил:

— Как видно, до сих пор я витал в облаках. Вы ее старый друг. Самое важное сейчас — сделать так, чтобы эта мерзкая сплетня задела ее возможно меньше.

Слово «мерзкая» прозвучало, как удар хлыста. Даже и сам Куртье не сумел бы вложить в него больше презрения.

— Не обращайте внимания, — сказал он Милтоуну. — Пусть их болтают. Она из-за этого волноваться не станет.

Милтоун слушал молча, с каменным лицом.

— Ваши здешние друзья, кажется, очень всполошились, — чуть презрительно продолжал Куртье. — Не давайте им вмешиваться, пускай помалкивают. Отнеситесь к этой сплетне, как она того заслуживает. Она заглохнет сама собой.

Милтоун скептически улыбнулся.

— Я не уверен, что все выйдет, как вы говорите, — сказал он. — Но я последую вашему совету.

— Что до вашей кандидатуры, всякий, кто не совсем чужд благородства, именно теперь вас и поддержит.

— Возможно, — сказал Милтоун. — Но меня все-таки не изберут.

И, смутно почувствовав, что в их последних словах сказалась вся разница характеров и убеждений, они испытующе посмотрели друг на друга.

— Нет, — сказал Куртье, — никогда не поверю, что люди так низки.

— Пока не увидите этого своими глазами.

— Ну, хоть мы и подходим к этому по-разному, в главном мы согласны.

Милтоун облокотился на каминную доску и заслонил лицо рукой.

— Вы знаете ее судьбу, — сказал он. — Есть какой-нибудь выход?

На лице Куртье появилось выражение, с каким он всегда сражался на стороне тех, кто проигрывает: на него словно лег жаркий отсвет огня, пылавшего в его сердце.

— Выход только один, — сказал он спокойно. —

По крайней мере, так поступил бы я на вашем месте.

— А именно?

— Не посмотрел бы ни на какие законы.

Милтоун отнял руку от лица. Взгляд его, устремленный куда-то вдаль, вновь обратился на Куртье.

— Да, — сказал он. — Другого я от вас и не ждал.

Глава XVII

В эту ночь, когда все в доме стихло, Барбара в халате, с распущенными волосами, выскользнула из своей комнаты в полутемный коридор. Неслышно ступая в обшитых мехом домашних туфлях на босу ногу, она тихо переходила от одной двери к другой. В высокое, незавешенное готическое окно вливался мягкий лунный свет. Барбара остановилась у той двери, перед которой на полу растеклось лунное пятно, и постучала. Никакого ответа. Она осторожно приотворила дверь.

— Юсти, ты спишь?

Опять никакого ответа; она вошла.

Занавеси были задернуты, но пробившийся

между ними луч падал на кровать. Она была пуста. Барбара стояла в нерешительности, прислушиваясь. В самой глубине этой тьмы ей почудилось что-то — не звук, но словно еле уловимая тень звука, странная дрожь, — так беззвучно трепещет в воздухе язычок свечи. Барбара прижала руку к груди, сдерживая стук сердца — казалось, оно вот-вот выпрыгнет, прорвав тонкий шелк. Из какого угла комнаты исходит этот безмолвный трепет? Она подкралась к окну, слегка раздвинула занавеси и обернулась, вглядываясь в темноту. В другом конце комнаты, прямо па полу, обхватив голову руками, лицом к стене лежал Милтоун. Барбара выпустила занавеси и замерла, у нее перехватило дыхание; незнакомое чувство шевельнулось в ней — протест, уязвленная гордость. Но тотчас все захлестнула жалость. Она быстро шагнула вперед, в темноту, и остановилась: ей стало страшно. Весь вечер брат был точно такой же, как всегда. Быть может, чуть больше говорил, чуть больше язвил, чем обычно. И вот что с ним теперь! Барбаре от природы было отпущено не так уж много почтительности, но все, сколько было, безраздельно принадлежало старшему брату. Еще совсем девочкой она чувствовала, что он особенный, недоступный, и с гордостью целовала

его — ведь он никому другому не позволял себя целовать! Несомненно, эта детская ласка радовала ее как завоевание: лицо Милтоуна было для ее губ неведомой страной. Она любила Милтоуна, как любишь то, что возвышает тебя в собственных глазах; и притом было в ее чувстве к нему что-то покровительственное, материнское, точно к кукле, которая немножко не в ладах с другими куклами, и толика непривычного благоговения.

Посмеет ли она ворваться в эту его тайную муку? Что, если бы ее кто-нибудь застал вот так поверженной страданием? Он ее не слышал, и она стала отступать к двери. Но под ногой скрипнула половица; Юстас шевельнулся, и она, отбросив все свои страхи, опустилась подле него на колени:

— Это я, Бэбс!

Не будь в комнате такая непроглядная тьма, она никогда бы на это не осмелилась. Она хотела прижать к себе голову брата, но не нашла ее в темноте и ощутила под рукой его плечо. И стала снова и снова гладить его по плечу. Не возненавидит ли он ее за это на всю жизнь? Какое счастье, что здесь такая тьма, кажется, будто ничего не происходит — и в то же время от этого еще страшнее. И вдруг плечо Юстаса ускользнуло из-под

ее руки. Барбара поднялась и тихо вышла. После темной комнаты коридор показался ей полным серого туманного света, словно призрачные пауки заткали его от стены до стены, и в этих сетях бьется несчетное множество белых мотыльков, таких крохотных, что их и не разглядеть. Всюду чудились какие-то едва уловимые шорохи. Барбару вдруг охватил страх, захотелось тепла, света, ярких красок. Она кинулась к себе. Но уснуть не могла. Ее преследовал тот пугающий незримый трепет в комнате, полной мрака, — словно язычок свечи дрожит в недвижном воздухе; она еще чувствовала на своей щеке пылающую руку брата; вновь и вновь пронзало ее все пережитое в те страшные минуты. Жестокая сила любви впервые открылась ей во всем своем скорбном неистовстве. Вот он каков, алый цветок страсти, одним лишь видом своим он опалил ей щеки; она лежала в прохладной постели, а по всему телу опять и опять пробегала мгновенная жгучая дрожь; невидящими глазами она смотрела в потолок. Быть может, та женщина, которую так любит Юстас, тоже лежит сейчас без сна, распростертая на полу, в напрасной жажде прохлады и покоя прижимаясь пылающим лбом и губами к холодной стене?

Долгие часы Барбара не могла уснуть, а потом ей пригрезилось, что она отчаянно, изо всех сил бежит по лугам, поросшим высокими колючими цветами, похожими на асфодели, а за нею гонится ее двойник.

Утром ей страшно было сойти вниз. Как встретиться с Милтоуном теперь, когда она знает о сжигающей его страсти и он знает, что она знает? Она попросила, чтобы завтрак принесли ей в комнату. Не успела она кончить, как вошел Милтоун. Он казался особенно недоступным, чтобы не сказать насмешливым.

— Если поедешь кататься, вот записка, отвези, пожалуйста, старику Холидею в Уиппинкот, — попросил он.

И Барбара поняла: самым своим приходом он сказал все, что хотел сказать о тех горестных ночных минутах. Да, конечно, о том, что было ночью, надо молчать, иначе просто нельзя будет смотреть друг другу в глаза. И, благодарно поглядев на брата, она взяла записку:

— Хорошо, отвезу.

Милтоун неторопливо обвел взглядом комнату и вышел.

А Барбара осталась растревоженная, лишенная покрова безмятежной уверенности, охвачен-

ная непривычным тревожным ожиданием: вот сейчас перед нею затрепещут пестрые крылья жизни и прозвучит их порывистый шелест. В это утро ее злило каждое слово окружающих: вечно те же разговоры о том, что происходит сегодня и что будет завтра, все принимают мир таким, как он есть, и ничего другого не желают. На прогулку она выехала одна. Ей хотелось услышать не о том, что есть, но о том, что может быть, проникнуть взором сквозь завесу и подсмотреть сокровенную суть вещей, освобожденную от будничной оболочки. Необычное для Барбары настроение; ведь в этом прекрасном, безупречно здоровом теле кровь так спокойно струилась по жилам, что странно было ей не наслаждаться настоящей минутой и ее дарами. Она и сама понимала, как необычно то, что с ней творится. После прогулки верхом она отказалась от второго завтрака и пошла побродить. Но часа в два, изрядно проголодавшись, зашла в первый попавшийся дом и попросила стакан молока. На кухне, на скамье перед очагом, где пылал огонь, точно три галчонка с жадными клювами, сидели три паренька и жевали хлеб с сыром. Над головами у них висело охотничье ружье, в дыму коптилось два окорока. Черноволосая девушка резала лук, у ног ее лежа-

ла старая-престарая овчарка, положив морду на вытянутые лапы, — в маленьких голубых глазах старого пса мерцало предчувствие надвигающейся вечности. Все уставились на Барбару. А один паренек радостно улыбнулся ей, и улыбка так и осталась на его лице; он явно забыл обо всем на свете и видел только ее одну. Барбара выпила молока и неторопливо вышла; спустилась по крутой каменистой тропинке с холма, вышла за ворота и села на нагретый солнцем камень. Солнечные лучи жадно набросились на нее, словно быстрая незримая рука скользила по ней, всего нежней касаясь лица и шеи. Тихий, ласковый ветерок, что летал меж холмов, играя молодым папоротником, прильнул к ней, обдал терпким и свежим ароматом. Все дышало теплом и покоем, лишь где-то далеко в кустах терновника куковала кукушка, тревожа сердце, словно сам Творец отвел ей эти колючие ветви. Но как ни был свеж, напоен благоуханием этот чудесный день, он не приносил Барбаре успокоения. По правде говоря, она и сама не знала, что с ней, только ощущала какую-то тревогу, тоскливую пустоту в душе и жгучую досаду… бог весть на кого и на что. Ее охватило то мучительное чувство, когда кажется, что-то ускользает от тебя, безвозвратно

проходит мимо. Никогда еще она не испытывала ничего подобного, ибо не было на свете девушки, меньше склонной к беспричинной грусти и сожалениям. И все время она невольно сжимала губы и хмурилась, презирая себя за излишнюю чувствительность и малодушие. В ней всегда воспитывали преклонение перед «твердостью», которую никак нельзя было совместить с нахлынувшими на нее сейчас чувствами, и потому она прислушивалась к себе насмешливо и недоверчиво. Не терпеть чувствительности и сумасбродства ни в себе, ни в других — таково было первое правило: никогда не распускаться. Вот почему Барбаре было чуть ли не отвратительно ее новое настроение. И, однако, справиться с ним не удавалось. Тогда она решила махнуть на все рукой и дать себе полную волю. Развязав шарф, она подставила ветру обнаженную шею и раскинула руки, словно готовая его обнять; потом со вздохом поднялась и побрела дальше. Ей вспомнилась Незнакомка, и она снова и снова думала о том, в каком положении очутилась эта женщина. Уже одна мысль, что молодое, красивое существо лишено всех радостей жизни, пробуждала в Барбаре досаду и гнев: попробовали бы проделать такое с нею! Она бы им показала! При всей своей

тщательно воспитываемой «твердости» Барбара не могла видеть чьих бы то ни было страданий. Всякое страдание казалось ей противоестественным. Приходя в больницу, где на средства леди Вэллис содержалась целая палата, или на виллу, куда летом привозили детей-калек, или на благотворительный концерт для изнуренных тяжелым трудом рабочих, Барбара каждый раз чувствовала такую жгучую жалость, что у нее перехватывало дыхание. Однажды, когда она пела в концерте, вид всех этих худых, бледных лиц так потряс ее, что она забыла и слова, и мелодию и, внезапно замолчав, одарила своих слушателей улыбкой, которая, быть может, была им дороже недопетого романса. И каждый раз после подобного зрелища она уносила в душе возмущение, чуть ли не ярость, и продолжала заниматься благотворительностью лишь потому, что знала: в ее кругу не принято от этого уклоняться.

Но не жалость и не возмущение заставили ее остановиться у домика миссис Ноуэл; и не любопытство. Просто ей очень захотелось пожать этой женщине руку.

Одри Ноуэл, видимо, приняла свое горе, как умеют это делать только женщины, неспособные за себя постоять: она вела себя так, как будто

ничего не произошло, разве что побледнела немного да плотно сжаты были губы.

В первую минуту обе молчали и не решались посмотреть друг другу в глаза. Наконец Барбара порывисто шагнула к Одри и поцеловала ее.

После этого, точно двое детей, которые сперва целуются, а потом уже знакомятся, они отступили на шаг и, чуть улыбаясь, молча смотрели друг на друга. Поцелуй этот, полный неподдельной нежности и понимания, словно означал: мы обе — женщины, весь мир против нас, но мы заодно; а через минуту обеим стало немного неловко. Обменялись бы они поцелуем, будь судьба не так жестока? Разве он не знак случившейся беды? Так говорила улыбка миссис Ноуэл, и улыбка Барбары невольно подтверждала ее правоту. Обе поняли, что разговор возможен лишь самый простой, обыденный, и заговорили о музыке, о цветах, о том, какие забавные мохнатые лапки у пчел. Глаза Барбары улыбались, держалась она легко и непринужденно и, однако, поневоле замечала каждую мелочь, по которой женщина всегда угадывает, что творится в душе другой женщины. Она видела, как еле заметно подергиваются уголки рта, как внезапно расширяются и темнеют глаза и судорожный вздох колеблет

тонкую блузку. И воображение, подстегиваемое памятью о минувшей ночи, рисовало ей эту женщину во власти воспоминаний о любви. В ней шевельнулась нетерпеливая досада, с какою прирожденный завоеватель смотрит на натуры безвольные и покорные, — быть может, к досаде примешивалась и капля зависти.

Что бы ни решил Милтоун, эта женщина всему подчинится! Такая покорность, хоть она и упрощала дело, оскорбляла Барбару, ибо какая-то часть ее существа возмущалась всякой бездеятельностью и восставала против каждого, кто подавляет чужую волю, хотя бы это был и ее любимый брат.

— Неужели вы все стерпите? — воскликнула она. — Неужели не попробуете освободиться? Будь я на вашем месте, я бы не успокоилась, пока не добилась бы свободы.

Но миссис Ноуэл не ответила; и, охватив ее взглядом с головы до ног, нежную, женственную, всю в белом, с короной мягких темных волос, Барбара воскликнула:

— Я вижу, вы фаталистка!

И вскоре после этого, не зная, о чем еще говорить, простилась и ушла. Но по дороге домой, в полях, где на легких качелях ветерка весело кача-

лось лето и где уже не было грозного быка, одни бурые коровы щипали лютики и повитель, Барбара неотступно думала над этим неожиданным открытием: оказывается, в мягкости и покорности таится особая сила! Словно в белой стройной фигуре и в голосе Незнакомки она увидела и услышала что-то нездешнее, непостижимое и все же несомненное.

Глава XVIII

Разговоры о войне утихли, и, получив возможность отдохнуть от государственных дел, лорд Вэллис в пятницу вечером возвратился домой. Сказать, что, узнав, что миссис Ноуэл не свободна, он испытал чувство облегчения, было бы слишком мягко. Его взгляды на неравные браки были не столь старомодны, как взгляд его тещи, он готов был признать, что кастовая замкнутость отжила свое, и только посмеивался и пожимал плечами при виде многочисленных союзов, с помощью которых аристократия поправляет свои денежные дела; притом как специалист он не раз говорил об опасных последствиях частых браков в одном и том же узком кругу; но собственная семья — совсем другое дело, тут он был весьма

чувствителен; пожалуй, тому виной было еще и замужество Агаты: Шроптон, конечно, славный малый и богат чрезвычайно, но все же он всего лишь третий баронет, а предки его были уж вовсе не знатного происхождения. Нет, если к тому не вынуждают материальные обстоятельства, не следует выходить за пределы своей среды. Сам он их не преступил. И надо же считаться с чувствами окружающих!

Наутро, еще до завтрака, лорд Вэллис пошел взглянуть на собак и, беседуя с псарем и лаская влажные носы двух своих любимых пойнтеров, почувствовал себя как школьник, отпущенный на каникулы. Красавцы пойнтеры жались к его ногам, виляли хвостами, изнемогая от гордости и преданности, смотрели в лицо хозяину желтыми монгольскими глазами, и у него становилось тепло на душе, как бывает, только когда отдаешься своему заветному пристрастию. Эту пару он получил от родителей, состоящих в самом близком родстве, и огромный риск увенчался успехом. Рискнуть ли еще раз, скрестив эту породистую пару? Может быть, удастся наконец получить потомство без малейших следов рыжины в масти? Это была азартная игра, потому-то она так захватывала.

Тонкий голосок нарушил течение его мыслей; лорд Вэллис обернулся и увидел Энн. Накануне вечером, когда он приехал, она уже спала, а значит, сейчас он был для нее самой последней новостью.

Держа на руках морскую свинку, Энн быстро заговорила:

— Дедушка, тебя бабушка зовет. Она на площадке перед домом, она разговаривает с мистером Куртье. Он мне нравится, он добрый. А если я пущу свинку на землю, собаки ее укусят? Бедненькая, ее не надо кусать! Правда, она милая?

Покручивая усы, лорд Вэллис неодобрительно посмотрел на морскую свинку — он любил только тех животных, которые что-то смыслят.

Сжимая свинку в руках, точно гармонику, Энн раскачивала ее над головами пойнтеров, а те, сморщив носы и скаля зубы, следили за приманкой жадными глазами.

— Бедненькие, они хотят ее съесть, да? Дедушка!

— Что?

— Ты думаешь, новые щенятки будут все-все в пятнышках?

— Очень может быть, — все так же подкручивая усы, ответил лорд Вэллис.

— А почему ты любишь, когда они в пятнышках? Ой, они целуют Самбо! Ну, мне надо идти!

Слегка подняв брови, лорд Вэллис последовал за внучкой.

Жена увидела его и пошла навстречу. Щеки ее раскраснелись, и выражение лица было решительнее обычного — так бывало всегда, когда ей противоречили. А ей только что пришлось скрестить клинки с Куртье, с которым, поскольку он первый открыл Карадокам истинное положение миссис Ноуэл, позволительна была известная откровенность. Спор возник, когда леди Вэллис самым, как ей казалось, естественным образом и без какого-либо недоброго умысла заметила, что во всем случившемся виновата миссис Ноуэл: следовало с самого начала дать Милтоуну понять, что она не свободна.

Куртье мгновенно побагровел:

— Тем, кто не испытал, каково быть одинокой женщиной, очень легко ее осуждать, леди Вэллис.

Не привыкшая к возражениям, она удивленно посмотрела на него:

— Я меньше всего склонна сурово отнестись к женщине только во имя каких-либо условностей. Но мне кажется, такое поведение свидетельству-

ет о бесхарактерности.

Ответ Куртье прозвучал почти грубо:

— Не все растения двужильны, леди Вэллис. Иные, как известно, очень чувствительны.

— Вам угодно называть это столь возвышенно, но есть другое слово: слабы.

Куртье гневно выпрямился, прикусил ус:

— Каких только преступлений не совершают, прикрываясь теорией, что «выживают наиболее приспособленные»! Для всех вас, кому в жизни повезло, это очень удобная теория!

— О, об этом стоит поговорить, — сказала леди Вэллис, гордая своим самообладанием. — Мне кажется, вам не хватает умения философски смотреть на вещи.

Куртье поглядел на нее в упор. Странная, недобрая улыбка кривила его губы; леди Вэллис вдруг и встревожилась, и рассердилась. Конечно, чудака вроде Куртье можно обласкать, можно даже восхищаться им, но всему есть предел. Однако она тут же спохватилась, что он гость в ее доме, и сказала только:

— В конце концов, может быть, нам и не стоит об этом говорить.

И, уже повернувшись, чтобы уйти, услышала ответ Куртье:

— Как бы то ни было, я уверен, Одри Ноуэл ни минуты не хотела ввести вашего сына в заблуждение. Для этого она слишком горда.

Хотя леди Вэллис и была задета, она не могла не оценить, как рыцарски он заступается за эту женщину.

— Мы с вами еще как-нибудь сразимся, мистер Куртье! — сказала она с вызовом.

И пошла навстречу мужу, ощущая приятный воинственный подъем, как всегда после какой-нибудь схватки.

Супруги Вэллис были добрыми друзьями. Они поженились когда-то по любви, и хоть человеку свойственно порою поддаваться соблазнам, надо считать, что союз их оказался прочным и вполне себя оправдал. Поскольку оба, занимая видное положение в обществе, вели жизнь деятельную, им не так уж много приходилось бывать вдвоем, но после этого обоим всегда прибавлялось бодрости и веры в себя. До сих пор они еще не успели обсудить увлечение сына; и теперь, взяв мужа под руку, леди Вэллис увлекла его подальше от дома.

— Я хочу поговорить с тобой о Милтоуне, Джеф.

— Гм... да. У мальчика измученный вид. Хоть бы уж остались позади эти выборы.

— Если он потерпит поражение и не найдет себе какого-то нового серьезного занятия, он совсем изведется из-за этой женщины.

Лорд Вэллис ответил не сразу.

— Не думаю, Гертруда, — сказал он наконец. — У Милтоуна достаточно твердый характер.

— Да, конечно! Но это самая настоящая страсть. А ты ведь знаешь, он не похож на большинство молодых людей, которые довольствуются тем, что само идет в руки.

Она сказала это почти печально.

— Мне ее жаль, — задумчиво промолвил лорд Вэллис. — Право, жаль.

— Говорят, эта сплетня очень повредила Милтоуну.

— Мы пользуемся достаточным влиянием и как-нибудь справимся с этим.

— Да, но это будет нелегко. Хотела бы я знать, что Милтоун намерен делать. Ты его не спросишь?

— Лучше ты сама его спроси, — возразил лорд Вэл-лис. — Такие разговоры не по моей части.

Леди Вэллис смутилась.

— Знаешь, дорогой, с Юстасом мне всегда как-то неловко, — пробормотала она. — Эта его улыбка сразу выбивает у меня почву из-под ног.

— Но тут ведь, без сомнения, женское дело. Кому же с ним и говорить, как не матери.

— Будь это любой из детей, только не Юстас… С ним почему-то чувствуешь себя ужасно неуклюжей.

Лорд Вэллис искоса поглядел на жену. Под влиянием случайно брошенного слова в нем, как всегда, пробудилась критическая жилка. Неуклюжа она? Прежде ему это не приходило в голову.

— Что ж, если так надо, я с ним поговорю, — со вздохом сказала леди Вэллис.

Когда она после завтрака вошла в «берлогу» Милтоуна, он пристегивал шпоры, собираясь ехать в какую-то дальнюю деревню. Под маской вождя апашей стоял Берти, еще более непроницаемый и подтянутый, чем всегда, в безупречно повязанном галстуке, безупречного покроя бриджах и сапогах, начищенных до такого блеска, что желтая кожа их начала отсвечивать черным. Берти Карадок не был заядлым франтом, но он, кажется, скорее умер бы, чем осрамил своим видом лошадь. Острые глаза его, тем более зоркие, что они никогда не раскрывались во всю ширь, мгновенно подметили желание матери остаться наедине со старшим братом, и он тихо вышел из комнаты.

Всех, кому приходилось иметь дело с Милтоуном, рано или поздно сбивало с толку одно малоприятное открытие: никогда нельзя было знать заранее, как он отнесется к вашим словам и поступкам. В складе ума его, как и в лице, была известная правильность, и вдруг — непонятно, как и почему, — все смещалось и искажалось, точно в кривом зеркале. Без сомнения, это сказывалось наследственное своеобычное упорство, которое многим предкам Милтоуна помогло когда-то выдвинуться, ибо в жилах его текла кровь не только Фитц-Харолдов и Карадоков, но и других выдающихся родов английского королевства, и у всех у них в те века, когда главным в человеке еще не были деньги, существовал предок, обладавший нравом, быть может, не всегда приятным, но всегда напористым.

И вот леди Вэллис, хоть была она, как и подобает такой рослой, крепкой женщине, совсем не робкого десятка и терялась нечасто, начала что-то лепетать о политике в надежде, что сын облегчит ей задачу. Но надежда оказалась напрасной, и леди Вэллис все больше нервничала. Наконец, призвав на помощь все свое хладнокровие, она сказала:

— Меня ужасно огорчает вся эта история, мой

мальчик. Отец рассказал мне о вашем разговоре. Старайся не принимать все это слишком близко к сердцу.

Милтоун не ответил, а так как молчания леди Вэллис обычно боялась больше всего, она в поисках спасения произнесла целую речь, обрисовала сыну все случившееся в том свете, как оно ей представлялось, и закончила словами:

— Не стоит из-за этого расстраиваться.

Милтоун выслушал мать с обычным своим отчужденным видом, точно смотрел вдаль сквозь забрало шлема. Потом улыбнулся, сказал: «Благодарю» — и распахнул дверь.

Еще не понимая толком, чего от нее хотят, — по совести говоря, она вообще ничего в эту минуту не понимала, — леди Вэллис вышла из комнаты, и Милтоун притворил за нею дверь.

Десять минут спустя он и Берти уже ехали прочь от дома.

Глава XIX

В этот день ветер, медленно, но неуклонно усиливаясь, нагнал с юго-запада стаи туч. Они рождались где-то над Атлантическим океаном и плыли, сначала легкие, быстрые, точно белые

ладьи — застрельщики могучего флота, потом — все чаще, гуще, заслоняя солнце. Часа в четыре хлынул дождь, ветер с холодным шелестом и свистом нес его струи почти горизонтально. Как умирает сияющая прелесть юного лица под холодными житейскими ливнями, так умерла красота вересковой пустоши. Каменистые холмы превратились из воздвигнутых самой природой замков в уродливые серые наросты. Даль исчезла. Умолкли кукушки. Тут не было и той красоты, какая присуща смерти, ни следа трагического величия, только унылое однообразие. Но около семи часов солнце вновь пробилось сквозь серую пелену и ослепительно засверкало. Словно гигантская звезда, простершая лучи свои вдаль за горизонт, и в самую недосягаемую высь, сияло оно необычайным, грозным блеском; тучи, пронзенные копьями его лучей, налились оранжевым светом и словно в изумлении теснились друг к другу. Под жарким дыханием этого могучего светила вереск начал куриться, и его влажные, еще не раскрывшиеся бубенцы вспыхнули мириадами крохотных дымящихся пожаров. Вымокнув до нитки, братья молча скакали к дому. Они всегда были добрыми друзьями, но говорить им, в сущности, было не о чем: Милтоун понимал,

что его образ мыслей слишком чужд Берти; а Берти даже брату ни намеком не хотел открывать своих мыслей, как не любил он делиться дипломатическими новостями, секретами конюшен и ипподромов и иными своими познаниями, ибо ему казалось, что, разделив их с другими, он уже не будет в жизни господином. Он не любил откровенничать, потому что втайне опасался утратить долю высоко им ценимой независимости — это уязвляло странную гордость, запрятанную глубоко в тайниках его души. Но, скупой на слова, он был склонен к раздумью — дар, которым нередко бывают наделены люди решительные и желчные. Однажды, отправившись на охоту в Непал, он не без удовольствия провел целый месяц с глазу на глаз с единственным слугой-туземцем, не говорившим ни слова по-английски. И когда его потом спрашивали, как он там не умер со скуки, он неизменно отвечал:

— Какая же скука? Я много думал.

Беде Милтоуна он не мог не сочувствовать как брат, но и возмущался ею как убежденный холостяк. Уж эти женщины, с ними хлопот не оберешься! Он испытывал глубочайшее недоверие к этим созданиям, которые так умеют вывернуть вас наизнанку. Берти был из тех мужчин, в ко-

торых женщина может в один прекрасный день пробудить подлинную, глубокую привязанность; но до этого дня они относятся с истинно мужским презрением ко всем женщинам без исключения. А потом ко всем, за исключением одной. Женщины как сама жизнь, за ними надо зорко следить, с осторожностью пользоваться тем, что они могут дать, и держать их в должном повиновении. Вот почему единственный намек на горе Милтоуна, которым ограничился Берти, прозвучал совершенно неожиданно:

— Надеюсь, ты бросишь это гиблое дело.

Ответом было молчание. Но когда они проезжали мимо домика миссис Ноуэл, Милтоун сказал:

— Прихвати мою лошадь; я зайду сюда.

Она сидела у фортепьяно, уронив руки на клавиши и неподвижно глядя в ноты. Она сидела так уже давно, но значки на нотных линейках все еще не дошли до ее сознания.

Когда тень Милтоуна упала на ноты, которых она не видела и при свете, она слегка вздрогнула и поднялась. Но не шагнула ему навстречу и ничего не сказала. Милтоун, тоже не говоря ни слова, прошел к камину и остановился, глядя вниз, на пустую холодную решетку. Дымчатый кот, следивший за полетом ласточек и потревожен-

ный приходом гостя, спрыгнул с подоконника и укрылся под креслом.

Минуты молчания, в которые решалась их судьба, показались обоим бесконечными; но ни тот, ни другая не в силах были прервать его.

Наконец, тронув Милтоуна за рукав, Одри сказала:

— Вы совсем промокли!

От этого прикосновения, робкого и все же словно бы говорящего о каких-то ее правах на него, Милтоун вздрогнул. И опять они застыли в молчании, в котором только и слышалось, как кот вылизывает лапу.

Но Одри лучше умела молчать, чем Милтоун, и пришлось ему заговорить первым.

— Простите, что я пришел. Надо что-то предпринять. Эта сплетня…

— А, вы об этом… — сказала она. — Что я могу сделать, чтобы эти разговоры вам не вредили?

Настала очередь Милтоуна презрительно усмехнуться.

— О господи! Пусть их болтают.

Взоры их встретились и уже не могли оторваться друг от друга.

Наконец миссис Ноуэл сказала:

— Простите ли вы меня когда-нибудь?

— За что же… я сам во всем виноват.

— Нет, я должна была знать вас лучше.

Милтоун поморщился, словно от боли: так много было в этих словах — почти неуловимое и потрясающее признание в том, на что она была готова для него, и горькая мысль, что он не готов и никогда не был готов отстаивать свое чувство наперекор судьбе.

— Дело не в том, что я боюсь… поверьте хотя бы этому.

— Верю.

И опять долгое, долгое молчание. Но хоть они стояли так близко, почти касаясь друг друга, они уже друг на друга не смотрели. Потом Милтоун сказал:

— Что ж, простимся.

Он сказал это внятно, даже чуть улыбаясь, но губы его искривились от боли; и лицо миссис Ноуэл стало белее платья. Но на лице этом горели огромные глаза, и казалось, в них сосредоточена вся ее жизнь, вся гордость и скорбный упрек.

Не в силах унять дрожь, яростно обхватив себя руками за плечи, Милтоун отошел к окну. За его спиной — ни единого звука. Он оглянулся: миссис Ноуэл не сводила с него глаз. Он порывисто закрыл лицо рукой и быстро вышел. Несколько

минут миссис Ноуэл стояла не двигаясь; потом снова подошла к фортепьяно, и села, и опять вперила взгляд в ту же строчку нот. И кот опять прокрался к окну и стал следить за ласточками. На верхних ветвях липы медленно угасал свет заходящего солнца; потом начал накрапывать дождь.

Глава XX

У Клода Фресни, виконта Харбинджера, в тридцать один год было, вероятно, меньше забот, чем у любого другого пэра во всем Соединенном Королевстве. Благодаря одному из предков, который приобрел земли и переселился в лучший мир за сто тридцать лет до того, как на малой части его земель построен был городок Нетлфолд, а также отцу, который умер, когда сын был еще младенцем, но перед смертью очень разумно продал упомянутый городок, виконт Харбинджер, помимо своих земель, обладал весьма солидным доходом. Он был высок, хорошо сложен, с красивым, мужественным лицом, и на первый взгляд все в нем так и дышало силой, но это впечатление почему-то рассеивалось, едва он раскрывал рот. И дело было не столько в его манере говорить

— быстро, небрежно, щеголяя грубоватыми новомодными словечками и все обращая в шутку, сколько в ощущении, что ум, диктующий эти речи, по самому складу своему предпочитает выбирать пути наименьшего сопротивления. И действительно, он был из тех людей, какие нередко играют видную роль в обществе и в политике просто потому, что они недурны собой, богаты, знатны, уверены в себе и довольно деятельны — отчасти по природной склонности, отчасти по унаследованной привычке всегда идти напролом. Бездельником он, во всяком случае, не был: написал книгу, путешествовал, носил звание капитана территориальных войск, был мировым судьей, отлично играл в крикет и много ораторствовал. Сказать, что он лишь притворялся пылким сторонником социальных преобразований, было бы несправедливо. Он по-своему ими увлекался, а стало быть, не лишен был ни воображения, ни доброты. Но в нем была чересчур сильна привычка, смолоду воспитываемая в британцах его круга привилегированной школой, привычка, которая так въелась, что стала второй натурой, — все на свете оценивать с точки зрения мерок и предрассудков своей касты. Поскольку все его друзья и знакомые точно так же были

привержены этой привычке, он, естественно, ее не замечал; напротив, он весьма строго осуждал в политике всякую предубежденность и узость взглядов, которую тотчас подмечал, например, у нонконформистов или лейбористских деятелей. Никогда в жизни он не признался бы, что для него иные двери захлопнулись уже с самого его рождения, закрылись на засов его поступлением в Итон и были заперты наглухо Кембриджем. Никто не стал бы отрицать, что в нем есть немало хорошего: высокая честность, прямодушие, порядочность, душевная чистоплотность, уверенность в своих силах и при этом отвращение ко всему, что, так сказать, официально признано жестокостью; и сознание своего долга — служить государству, которое существует прежде всего для блага привилегированной школы и управляется ее питомцами; но потребовалось бы куда больше самобытности, чем Харбинджеру было отпущено природой, чтобы он сумел взглянуть на жизнь с какой-то иной точки зрения, чем та, что прививалась ему с колыбели. Чтобы до конца понять этого человека, следовало бы без предубеждения, свежим взглядом поглядеть на какие-нибудь крупные крикетные состязания, видным участником которых он бывал в

школьные годы; следовало бы с какого-нибудь нейтрального места, с высоты, в час перерыва понаблюдать за стадионом, сплошь заполненным удивительной толпой, где у всех и каждого в точности та же походка, та же шляпа на голове, и на всех лицах одно и то же выражение, и у всех и каждого в точности те же верования и привычки, — всеобщий стандарт, какого больше нигде и никогда не видывали с сотворения мира. Нет, среда виконта Харбинджера не благоприятствовала развитию самобытного характера. К тому же он от природы отличался скорее стремительностью, чем глубиной, и как-то так выходило, что ему почти не случалось побыть одному и помолчать. Он постоянно сталкивался с людьми, для которых политика в какой-то мере игра; все и всюду за ним ухаживали; всегда он делал что хотел, не ведая никакого принуждения, — и остается лишь удивляться, что он обладал хоть небольшой долей серьезности. Влюблен он тоже никогда не был, и только в прошлом году впервые начавшая выезжать Барбара «положила его на обе лопатки» (как выразился бы он, если б речь шла не о нем самом). Но хоть и отчаянно влюбленный, он до сих пор не просил ее руки — у него, так сказать, не хватило времени, а может быть, и храбро-

сти или уверенности, что иначе нельзя. Вблизи Барбары он просто не мог себе представить, как жить дальше, не зная своей судьбы; а вдали от нее испытывал чуть ли не облегчение: ведь так много всяких дел, о стольком надо поговорить, и вечно ничего не успеваешь. Но в последние две недели, когда ради Барбары Харбинджер деятельно поддерживал кандидатуру Милтоуна, любовь его росла не по дням, а по часам и душевное равновесие несколько нарушилось.

Он не хотел себе признаться, что в его тревоге повинен Куртье: ведь, в конце концов, Куртье просто никто, да еще в придачу «крайний», а люди крайних воззрений вызывали у Харбинджера совсем особенное, чисто физическое чувство, отчего на губах у него начинала играть особенная улыбка и по-особенному звучал голос. И, однако, всякий раз, как он видел перед собою это живое, насмешливое лицо, в глазах его появлялся холодный, испытующий блеск, а порою и тень страха. Правда, они почти не встречались: Харбинджер целыми днями разъезжал в автомобиле и произносил речи, а Куртье целыми днями писал или ездил верхом, так как больная нога его еще недостаточно окрепла для пеших прогулок. Но раза два поздно вечером в курительной виконт затеял

полушутливые споры с рыцарем безнадежных битв; и очень скоро в голосе его поневоле начала звучать плохо скрытая досада. Непостижимо, чего ради человек тратит попусту время и силы в погоне за несбыточной мечтой! Жизнь есть жизнь, человеческую природу не переделаешь! И его безмерно злили насмешливые искорки в глазах Куртье и нотки в голосе, явственно говорившие: «Понапрасну кипятишься, мой юный друг!»

Наутро после одной из таких стычек, увидев, что Барбара выходит из дому одетая для верховой езды, Харбинджер попросил разрешения проводить ее в конюшню и пошел с нею рядом, необычно молчаливый; сердце его как-то странно сжималось, и в горле, бог весть почему, пересохло.

Конюшня в Монкленде была не меньше иного загородного дома. Сейчас тут стояла двадцать одна лошадь, включая и пони маленькой Энн, а могли разместиться все тридцать. Во всем графстве не нашлось бы другой такой высокой и просторной конюшни, с таким превосходным освещением и вентиляцией, где все так и сверкало чистотой. Право, нельзя было себе представить, как в таких хоромах лошадь может еще

помнить, что она всего-навсего лошадь. Каждое утро у главного входа ставили корзинку с морковью, яблоками и кусками сахара к услугам тех, кому захочется побаловать общих любимцев.

С девяти до десяти утра они всегда были на виду: поводья привязаны к медному кольцу в стойле, голова обращена к дверям, шея изогнута, уши торчком, начищенные бока лоснятся; прислушиваясь к знакомому негромкому посвистыванию еще занятых уборкой конюхов, они раздумывали о чем-то своем, готовые приветливо закивать навстречу всякому, кто придет их навестить.

В конце северного крыла конюшни, в просторном деннике, помещался любимец Барбары — гнедой гунтер с громкой родословной: пятнадцать его предков были внесены в племенные книги и только одна шестнадцатая свежей крови текла в жилах, чтоб не портилась порода; заслышав знакомые шаги, он замер, изогнув шею. Несколько минут назад он дожевал яблоко, лежавшее в кормушке среди прочей еды, и еще ощущал аромат этого лакомства, а слух его уже привлек близящийся звук, вместе с которым обычно появлялась морковка. Когда Барбара, отворив дверь денника, позвала: «Хэл», он тотчас направился к кормушке, доказывая свою

независимость, но, услыхав: «Ах так? Ну, хорошо же!» — повернулся и подошел к хозяйке. Выпуклые, сверкающие мягким блеском глаза, затененные густыми каштановыми ресницами, внимательно оглядели ее с головы до ног. Морковки нигде не было видно; он вытянул шею, понюхал ее талию и легонько, одними губами ущипнул руку в перчатке. Не учуяв морковки, он отдернул голову и фыркнул. Потом, осторожно переступив, чтобы не отдавить ей ногу, стал легонько подталкивать ее плечом и наконец ловко зашел сзади и задышал ей в затылок. Но и тут не пахло морковкой, и, потянувшись через плечо Барбары, он уронил капельку слюны ей на щеку. Морковка появилась на уровне ее талии, и он, свесив голову, потянулся к любимому лакомству. Почувствовав под челюстью твердое, прохладное прикосновение, опять втянул ноздрями запах и слегка подтолкнул Барбару коленом. Но морковка все не давалась, и тогда он, вскинув голову, отошел и притворился, что никого не замечает. И вдруг нечто длинное, гибкое с двух сторон обвило его шею и что-то мягкое прильнуло к носу. Он молча терпел, только прижал уши. Мягкое тихонько подуло ему в нос. Он вновь наставил уши и дунул в ответ, но посильнее, с любопытством,

и мягкое отстранилось. И вдруг оказалось, что морковка уже у него в зубах.

Харбинджер, прислонясь к переборке денника, наблюдал эту сценку, и щеки его покрывала непривычная бледность. Когда все это кончилось, он вдруг сказал:

— Леди Бэбс!

Голос его, наверно, и в самом деле прозвучал странно: Барбара круто обернулась.

— Да?

— Долго еще мне так мучиться?

Она не покраснела, не опустила глаза и смотрела на него почти с любопытством. В этом взгляде не было жестокости и ни тени недоброжелательства или женского коварства, но он испугал Харбинджера безмятежной непроницаемостью. Невозможно понять, что скрывается за этим спокойным взором. Харбинджер взял руку Барбары и склонился над нею.

— Вы ведь знаете мои чувства, — сказал он тихо. — Не будьте ко мне жестоки!

Она не отняла руки — видно, ей это было все равно.

— Я ничуть не жестока.

Он поднял глаза и увидел, что она улыбается.

— Но тогда… Бэбс!

Его лицо было совсем близко, но Барбара не отшатнулась. Она только покачала головой. Харбинджер вспыхнул.

— Почему? — спросил он и, словно вдруг пораженный ее безмерной несправедливостью, выпустил ее руку. — Почему? — повторил он резко.

Но ответом было молчание, лишь чирикали воробьи за круглым окошком да Хэл дожевывал морковку. Каждым нервом Харбинджер ощущал сладковатый, терпкий и сухой запах денника, смешавшийся с ароматом волос Барбары и ее платья. И уже почти жалобно он спросил в третий раз:

— Почему?

Заложив руки за спину, она сказала мягко:

— Дорогой мой, откуда же я знаю почему?

Так просто было бы ее обнять, если б только он осмелился; но он не осмелился и опять отошел к переборке. Прикусив палец, он хмуро смотрел на Барбару. Она ласково гладила коня по носу, и в душе отвергнутого начало закипать что-то вроде холодного бешенства. Она ему отказала — ему, Харбинджеру! До этой минуты он не знал, даже не подозревал, как сильна его страсть. Да разве существуют для него другие женщины, когда

есть на свете это юное, спокойное, улыбающееся, дышащее сладостным ароматом создание! От одного ее вида у него кружилась голова, щемило сердце и страстное томление наполняло все его существо! В эту минуту он сам себе казался несчастнейшим из людей.

— Я от вас не отступлюсь, — пробормотал он.

Барбара улыбнулась; в улыбке этой была и капелька любопытства, и сочувствие, и в то же время почти признательность, как будто она говорила: «Спасибо… как знать?»

И сразу же, держась подальше друг от друга и разговаривая только о лошадях, они направились к дому.

Около полудня Барбара в сопровождении Куртье выехала на прогулку.

Дувший три дня кряду юго-западный ветер упал, настала лучезарная тишина, когда дышать — уже счастье. Подле ручья, струившегося по краю вересковой пустоши, у ног каменного истукана, всадники остановили лошадей и постояли, прислушиваясь, вдыхая свежесть чудесного дня. Голоса всего живого слились в нежнейший хор; лепет ручьев и ленивого ветерка, зовы людей и животных, пение птиц и жужжание пчел — все смешалось в единую гармонию, тонким

покровом окутала она землю, и ни единый звук не разрывал ее. Был полдень — час тишины, но гимн во славу солнца, которого не было так долго, не смолкал ни на минуту. А под этим покровом был другой, тончайший, сотканный из душистых соков молодого папоротника, почек вереска, еще не утративших аромата лиственниц, дрока, едва начинающего буреть, и во все вплеталось дыхание боярышника, и откуда-то тянуло дымком. А над двойною одеждой земли — над убором из благоуханий и звуков — простиралось пышное покрывало воздушных высей, беспредельный задумчивый простор, который могут измерить одни лишь крылья Свободы.

Так они стояли, впивая сладость этого дня, потом, лишь изредка перекидываясь словом, поехали в глубь вересковой пустоши, к самой высокой ее точке. И здесь снова долго стояли, не спешиваясь, оглядывая даль, открывшуюся взорам. Далеко на юге и на востоке виднелось море. Под ними, на склоне холма, медленно приближаясь друг к другу, паслись два табунка необъезженных лошадей.

Куртье негромко проговорил:

— «Так буду я петь, держа любимую в объятиях: смешаются наши стада на лугу, и далеко внизу

раскинется моря божественная лазурь».

Вновь наступило молчание. Потом, пристально глядя ей в лицо, он прибавил:

— Боюсь, леди Барбара, что мы видимся наедине в последний раз. Итак, пока еще можно, я должен выразить вам свое восхищение. Вы всегда останетесь для меня божественно прекрасной звездой. Но ваши лучи слишком ослепительны: я буду поклоняться вам издалека. Прошу вас, с вашего седьмого неба порою обращайте на меня снисходительный взор и хоть изредка меня вспоминайте.

Барбара замерла, слушая эту речь, в которой странно смешались ирония и горячее, искреннее чувство; лицо ее пылало.

— Да, — сказал Куртье, — только бессмертному дано заключить в объятия богиню. А я буду сидеть, скрестив ноги, за пределами владений сильных мира сего и трижды в день простираться ниц.

Барбара молчала.

— Рано поутру, — продолжал Куртье, — покинув темные, мрачные обители Свободы, я буду обращаться лицом к храмам великих, и там очами веры я узрю вас.

Он умолк, заметив, что губы Барбары шевель-

нулись.

— Прошу вас, не мучьте меня.

Куртье перегнулся в седле, взял ее руку и поднес к губам.

— Поедемте… — сказал он.

В тот вечер за обедом, сидя напротив своей внучатой племянницы, лорд Деннис всмотрелся в нее и был поражен.

«Необыкновенно красивая девочка, — подумал он. — Нет, она просто очаровательна!»

Барбару посадили между Куртье и Харбинджером. И старик своими все еще зоркими глазами внимательно наблюдал за ее соседями. Оба были внимательны к своим соседкам с другой стороны, но все время украдкой следили за Барбарой и друг за другом. Лорду Деннису все было совершенно ясно, и под его суровыми седыми усами, над аккуратной острой бородкой затаилась улыбка. Но он терпеливо выжидал, чутье рыболова подсказывало ему, что ни одного клочка водяной глади не следует оставлять без внимания; и вот наконец спокойная минута, девочку никто но занимает разговором, — посмотрим, что же вынырнет на поверхность. Барбара мирно, с аппетитом ела, как и полагается молодому здоровому существу, но взгляд ее из-под ресниц скользнул в сторону

Куртье. В этом быстром взгляде лорду Деннису почудилась тревога, словно что-то волновало девушку. Тут заговорил Харбинджер, и она обернулась, отвечая ему. Лицо у нее стало спокойное, чуть улыбающееся, в нем сквозило оживление, неудержимая, почти вызывающая радость бытия. Лорду Деннису невольно вспомнилась собственная молодость. Как они хороши, как подходят друг другу! Если Бэбс выйдет за Харбинджера, лучшей пары не найдешь во всей Англии. Он снова посмотрел на Куртье. Мужественное лицо! Говорят, опасный человек. И чувствуется в нем тщательно сдерживаемый жар… пожалуй, такой может увлечь молодую девушку! Для сугубо практичного и здравомыслящего лорда Денниса Куртье был загадкой. Наружность у него приятная, но как-то смущает эта постоянная усмешка и способность вдруг багроветь, свойственная очень вспыльчивым людям. Этот малый со своей проповедью человеколюбия того и гляди занесется бог весть куда! Лорд Деннис настороженно относился к человеколюбцам. Быть может, они оскорбляли присущее ему безошибочное чувство приличия. Всю– ду и везде они ищут жестокость и несправедливость и, найдя, кажется, приходят в восторг, прямо раздуваются, учуяв что-нибудь такое, — а

поскольку жестокости и несправедливости вокруг немало, они так никогда и не принимают своих естественных размеров. В сущности, люди, которые живут идеями, несколько утомительны для человека, которому вполне довольно и трезвых фактов. Легкое движение Барбары вернуло лорда Денниса к действительности. Неужели обладательница этой короны золотисто-каштановых волос и дивных плеч — та самая малютка Бэбс, которая верхом на пони каталась с ним в Гайд-парке? Черт его знает, как летит время! Барбара что-то искала глазами, и, посмотрев в ту же сторону, лорд Деннис увидел Милтоуна. Какая разница между братом и сестрой! Несомненно, обоих терзает сейчас самая жгучая забота юных лет, та, что иной раз — он знал это по себе — не отпускает чуть ли не до старости. Девочка смотрит на брата как-то странно, словно просит о помощи. На своем веку лорд Деннис немало видел молодых созданий, которые, покинув убежище своей свободы, вступали в дом, где разыгрывается великая лотерея; многие вытянули счастливый билет и уже не знали больше, что значит холод жизни; а многим не повезло, и глаза их угасли в этом доме, за плотными ставнями. Мысль, что и «малютка» Бэбс вступает в эту беспощадную игру,

наполнила его сердце тревожной печалью, и ему противно стало смотреть на этих двух мужчин, подстерегающих ее, точно охотники дичь. Нет, только бы она не выбрала этого рыжего, немолодого, который может, очевидно, похвастать идеями, но отнюдь не родословной; пусть держится своего круга, пусть выйдет замуж за юнца, черт его дери, который похож на греческого бога, отпустившего усы. Старику вспомнилось, что говорила племянница недавно об этих двоих, о том, какая разная у них жизнь. Какие-то романтические представления бродят в ее голове! Лорд Деннис опять посмотрел на Куртье. Есть в нем что-то донкихотское, такие кидаются очертя голову навстречу любой опасности. Все это прекрасно, но не для Бэбс! У нее нет ничего общего с прославленной Анитой, подругой прославленного Гарибальди. Весьма характерно для лорда Денниса — и для многих других, — что умерших борцов за свободу он ценил гораздо выше живых. Нет, Бэбс нужно куда больше или, быть может, меньше, чем такая жизнь, когда над головою звезды вместо крыши и у тебя только и есть, что твой любимый да дело, за которое он сражается. Ей нужны удовольствия, не слишком много усилий, а там и немножко власти; не та неуют-

ная слава, что осенит когда-нибудь женщину, прошедшую через великие испытания, но слава и власть красоты, поклонение высшего света. Должно быть, эта ее прихоть (если она вообще есть) — просто плод девичьей фантазии. Ради мимолетной тени отказаться от того, что прочно и надежно? Немыслимо! И снова лорд Деннис вперил проницательный взор в Барбару. Какие глаза, какая улыбка! Нет, это пройдет, как корь. И она выберет этого греческого бога или умирающего галла — словом, этого юнца с усиками!

Глава XXI

Куртье покинул Монкленд только утром знаменательного дня выборов. Все последнее время его мучили угрызения совести. Колено почти зажило, и он прекрасно понимал, что его удерживает здесь одна лишь Барбара. И самый воздух этого огромного дома с целой армией слуг, которые не дают тебе пальцем шевельнуть самому, и ощущение, что все страсти и тяготы жизни остались за непроницаемой стеной, безмерно раздражали его. Куртье искренне жалел людей, которые вели такое странное существование, словно задыхаясь под бременем собственной значительности. И не

по своей вине. Видно, что они стараются изо всех сил. Отменные представители своей породы: не слишком изнежены и не слишком злоупотребляют роскошью — по нынешним временам, в век расточительства и мотовства, могло быть и похуже, — они явно силятся быть попроще, но от этого только больше их жаль. Судьба обошлась с ними чересчур милостиво. Чей дух способен устоять и не сломиться под натиском стольких материальных благ? Куртье, бездомному кочевнику, казалось, что перед глазами его разыгрывается очень незаметная и все же тяжкая драма; и в самом средоточии ее — девушка, к которой его так влечет. Каждый вечер, возвратясь в великолепную комнату, где так хорошо пахло и где чьи-то невидимые руки делали все, чтобы ему было удобно и уютно, Куртье думал: «Ну, уж завтра непременно уеду!»

И каждое утро, встретясь с нею за чаем, он снова думал: «Завтра, непременно завтра!» — и в иные минуты уже спрашивал себя: «Может быть, эта жизнь меня одурманила и я становлюсь малодушным неженкой?» Ясней чем когда-либо он понимал, что пресловутая искусственная «твердость» патрициев — это просто особый раствор или уксус, которым они пропитываются, движи-

мые инстинктом самосохранения, дабы уберечь от гнили и распада свою избалованную чрезмерным благополучием душу. Даже Барбара и та старается уйти в эту непроницаемую для чувства оболочку, в своеобразный панцирь недоверия ко всему, что волнует и трогает, старается презирать всякие проявления нежности и сострадания. И с каждым днем Куртье все сильнее хотелось грубой рукой сорвать эти покровы и посмотреть, способна ли она вспыхнуть, загореться какой-либо мыслью или чувством. Как ни хорошо она владела собой, он видел, что она понимает его желание сорвать с нее покровы, и ее горящие тревожным нетерпением взгляды вызывали его сделать это.

И однако, прощаясь с нею в канун выборов, он не мог похвалиться, что ему и в самом деле удалось высечь искру из этой души. Да в эту последнюю встречу Барбара и не дала ему случая сказать ей хоть слово с глазу на глаз; она не отходила от остальных женщин, спокойная, улыбающаяся, словно твердо решила, что не позволит ему вновь уязвить ее своим насмешливым поклонением.

Наутро он поднялся спозаранку, надеясь уехать незаметно. У крыльца ждал предоставленный в его распоряжение автомобиль, и на заднем сиде-

нье он увидел девчурку в пышном полотняном платье, которая откинулась на подушки, так что ножки в сандалиях торчали горизонтально, словно указывая на спину шофера. Это маленькая Энн во время своего утреннего обхода обнаружила у крыльца поданную Куртье машину. Дерзкий носик обратился к гостю, дерзкий, приветливый, но не слишком приветливый голосок прозвучал почти как утешение в ушах Куртье:

— Вы уезжаете? Я могу доехать с вами до ворот.

— Какая удача!

— Да. А это весь ваш багаж?

— Увы, да.

— Но ведь у вас очень много вещей, правда?

— Сколько заслужил.

— А морских свинок вы с собой, наверно, не возите?

— Обычно не вожу.

— А мне приходится. Вот прабабушка!

В нескольких шагах от аллеи стояла леди Кастерли, объясняя рослому садовнику, как следует поступить со старым дубом. Куртье вылез из машины и подошел проститься. В ее лице и голосе, когда она с ним заговорила, сквозило какое-то хмурое дружелюбие.

— Итак, вы уезжаете! Я рада, хотя сами вы мне очень по душе, — это вы, конечно, понимаете,

— Да, конечно!

Ее глаза лукаво блеснули.

— Я уже вам говорила: людей, которые смеются, как вы, надо остерегаться! — И прибавила торжественно: — Моя внучка будет женою лорда Харбинджера. Упоминаю об этом, мистер Куртье, для вашего душевного спокойствия. Вы человек чести; это останется между нами.

— Счастливчик Харбинджер! — сказал Куртье, целуя ей руку.

Старая леди и бровью не повела.

— Вы совершенно правы, сэр. Всего наилучшего!

Куртье с улыбкой приподнял шляпу. Щеки его горели. Он сел в автомобиль и оглянулся. Леди Кастерли уже снова наставляла садовника. Голосок Энн прервал мысли Куртье.

— Приезжайте еще. Я, наверно, буду здесь гостить на Рождество, и мои братья тоже приедут, Джок и Тидди, а Кристофер нет, он еще маленький. Ну, мне пора. До свидания! А, Сьюзи!

Она выскользнула из автомобиля и подошла к бледной, худенькой дочурке сторожа, взиравшей на нее с обожанием.

Автомобиль выехал за ворота.

Будь признание леди Кастерли обдуманным заранее (а она его делать не собиралась, но уж так подействовал на нее смех Куртье), она и тогда не могла бы с большей точностью попасть в цель, ибо в нем глубоко укоренилось недоверие, почти презрение вечного скитальца к оседлым, закосневшим в неподвижности аристократам и буржуа и присущее человеку действия отвращение ко всему, что он называл канителью. Преследовать Барбару с какими-либо целями, кроме женитьбы, и в голову не приходило человеку, не слишком чтившему общепринятую мораль, зато наделенному высокой степенью самоуважения; а хитростью оттеснить Харбинджера и жениться на Барбаре, выступив в роли какого-то пирата, тоже было вовсе не по вкусу человеку, привыкшему считать, что он не хуже других.

Он попросил шофера свернуть к домику Одри Ноуэл — не мог же он уехать, не попытавшись подбодрить этот терпящий бедствие корабль.

Увидев его, Одри вышла на веранду. Она крепко пожала ему руку тонкой, тронутой загаром рукой — рукой женщины, не привыкшей к праздности, — и по этому пожатию Куртье понял, что она

ждет от него понимания и сочувствия, а такая безмолвная просьба о заступничестве неизменно пробуждала все лучшее в его душе. Он сказал мягко:

— Держитесь, пусть они не воображают, что вы пали духом. — И, крепко стиснув ее руку, продолжал: — Чего ради ваша жизнь должна пройти впустую! Это просто грешно!

Он посмотрел ей в лицо и замолчал: к чему его слова, когда эти недвижные черты говорят куда больше. Он протестует как цивилизованный человек; ее лицо — протест самой природы, беззвучный крик красоты, обреченной блекнуть, не принося никому радости, — красоты, в которой сама жизнь взывает к объятию, чтобы породить новую жизнь.

— Я вот уезжаю, — сказал Куртье. — Мы с вами тут не ко двору. Вольным птицам здесь не место.

Она еще раз пожала ему руку и ушла в дом, а Куртье стоял и смотрел туда, где только что белело ее платье. Он всегда испытывал к Одри Ноуэл нежность старшего и сильного, и если бы она хоть немного пошла ему навстречу, чувство это могло бы стать более теплым. Но она давно уже, попав в столь трудное, противоестественное положение, считала его верным другом, и ни

за что на свете он не спугнул бы это доверие. И теперь, когда он загляделся в другую сторону, а ее постигла еще горшая беда, в нем поднимался гнев, какой ощущает брат, когда нет для его сестры ни справедливости, ни жалости. Голос Фриса, шофера, прервал его мрачные раздумья:

— Там леди Барбара, сэр!

Проследив за его взглядом, Куртье увидел на фоне неба, на вершине холма над «Причудой Эшмена», всадницу, застывшую на своем коне, точно изваяние. Он тотчас остановил машину и вышел.

Он подошел к ней; за развалинами его не было видно с дороги — благословенный случай всегда на стороне того, кто и сам ему помогает. Куртье не знал, заметила ли его Барбара; он отдал бы все, что имел (не так уж много!), лишь бы сквозь плотное серое сукно и белую кожу заглянуть в таинственную глубь ее сердца. Если бы, подобно сумасброду Эшмену, разом покончить с грубой прозой и обрести блаженство той жизни, где между мужчиной и женщиной нет преград! Улыбка Барбары озадачила его — живая, смелая улыбка на ее губах, точно первый цветок, пробивающийся из земли назло весенним ветрам. Как понять, что она означает? А ведь он гордился

своим знанием женщин, немало повидал их на своем веку. И все же только и нашелся сказать:

— Я рад, что так случилось.

Внезапно подняв глаза, он увидел, что она очень бледна и лицо ее слегка подергивается.

— В Лондоне увидимся! — сказала Барбара, тронула лошадь хлыстом и, не оглядываясь, поскакала прочь.

Куртье вернулся на дорогу и, оказавшись в автомобиле, пробормотал:

— Побыстрее, пожалуйста, Фрис…

Глава XXII

Голосование было уже в разгаре, когда Куртье приехал в Баклендбери; отчасти из вполне естественного любопытства, отчасти в тайной надежде еще раз хоть мельком увидеть Барбару, он отнес чемодан в гостиницу и решил дождаться результатов. Потом вышел на Хай-стрит, приглядываясь и прислушиваясь. Его потрепало в жизни многими ветрами, и он давно уже утратил наивную веру в политику. Он повидал на своем веку несравненно более яркие знамена — и желтый, и синий цвета, притом довольно тусклые и нечистые, не вызывали у него чрезмерного

почтения. При виде их он ощущал глубочайшее философическое равнодушие. Но деваться от них было некуда, в этот день весь мир, казалось, был окрашен в желтое и синее, а третий цвет — красный, принятый обеими партиями, отнюдь не означал, что каждая признает в другой какие-то достоинства; скорее напротив — что каждая жаждет вражеской крови! Но вскоре по тому, какие взгляды бросали встречные на его рассеянное, а вернее, насмешливое лицо, он понял, что философическое равнодушие обе враждующие стороны ненавидят еще сильнее, чем друг друга. Бесстрастного наблюдателя и те и другие готовы были закидать камнями. Ведь философ смотрит дьявольски беспристрастно, не довольствуясь внешней оболочкой, старается проникнуть в суть вещей, — как же не видеть в нем подлинного, злейшего противника, исконного врага всех пресловутых фактов и фактиков: вырядившись в желтую или в синюю одежду, они кричат, бахвалятся, бранятся, сажают друг другу фонари под глазом и в кровь разбивают носы. У этих милых напыщенных крикунов все для виду, все напоказ. Как же им не ненавидеть философа, который, доискиваясь сути, уж непременно заглянет за пышный фасад и обнаружит

пустоту! Лихие ярко-желтые и ярко-синие вояки, размахивая жестяными мечами и трубя в жестяные трубы, глядели из всех окон, со всех стен и уверяли каждого гражданина, что именно они могут послать его в парламент. И не так уж трудно было убедить в этом избирателей: ненавидя всякую неопределенность, они жаждали поверить, что пресловутые факты (желтые или синие — это дело вкуса) в два счета спасут страну от всех бед; притом у избирателя, конечно, была и еще дюжина веских оснований стать на ту или иную сторону: к примеру, за желтых (или за синих) голосовал еще его отец; желтые (или синие) мажут его хлеб маслом; в прошлый раз он голосовал за тех, нынче попробует за этих; он все хорошенько обдумал, и решение его твердо; желтые (или синие) только что без всякой задней мысли угостили его пивом, и он принял угощение; как не проголосовать за его светлость — кто может быть достойнее; или просто ему нравилось выкликать: «От Баклендбери — Чилкокс!» — а главная, единственно достойная уважения причина та, что, насколько они могли судить, истина сегодня окрашена либо в желтый, либо в синий цвет.

Узкая улица кишела голосующими. Расставленным на ней рослым полицейским нечего

было делать. Как видно, уверенность каждого, что победит именно его партия, у всех поддерживала отменное расположение духа. Покуда незачем было проламывать кому-либо череп: как ни зорко все подстерегали — не видать ли кругом равнодушных скептиков, кроме Куртье, равнодушно глядели только младенцы в колясочках, да какой-то старик на расхлябанном велосипеде — он остановился посреди улицы и спросил полицейского, что это нынче в городе за суматоха, да два молодца, изрядно позеленевшие, которые развозили на тележках даровое пиво для синих и желтых.

Но хоть к «фактам» Куртье относился подозрительно, его поразил неподдельный жар разгоревшихся страстей. Люди принимали происходящее всерьез. Они долго ждали этого дня и еще долго будут его вспоминать. Как видно, для них это было некое священнодействие, итог самых возвышенных чувств; и тому, кто сам был человек действия, это казалось вполне естественным, достойным, быть может, жалости, но отнюдь не презрения.

Уже под вечер по улице потянулась вереница «живых сандвичей», у каждого на груди и на спине висели плакаты — красиво выведенные

синим по бледно-голубому полю слова:

НОВЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
ОПАСНОСТЬ ЕЩЕ НЕ МИНОВАЛА
ГОЛОСУЙТЕ ЗА МИЛТОУНА И ПРАВИТЕЛЬСТВО И СПАСИТЕ ИМПЕРИЮ

Куртье остановился и с возмущением посмотрел на плакаты. Слова эти попирали не только дорогую его сердцу веру в мир, он видел в них больше любого менее искушенного человека. Для него это был символ всего показного, крикливого в жизни Англии, невыразимо печальная эпитафия на могиле британского благородства и достоинства. А между тем с партийной точки зрения что может быть оправданнее? Разве не самое главное для синих напрячь сегодня все силы и добиться, чтобы до наступления ночи все желтые если не посинели, то хотя бы позеленели? Разве не святая истина, что империю можно спасти, только голосуя за синих? Могла ли синяя газета не напечатать слова, прочитанные им в это утро, — «Новые осложнения»? Не могла, как не могла желтая газета не напечатать «Вечернее приключение лорда Милтоуна». Синие жаждали одного: победить, воюя по всем правилам. Желтые боролись не по правилам, так было всегда, и самый

бесчестный их прием — обвинять в бесчестной игре синих; поистине смехотворное обвинение! А что до истины… Все, что помогает окрасить мир в синий цвет, безусловно, истина; все остальное, безусловно, ложь. Середины нет! Кто смотрит на вещи иначе, тот безмозглый дурак и плохой англичанин. Поверить, будто желтые говорят, что думают? Желтые-то в искренность синих ни за что не поверят! Все это Куртье прекрасно знал, и, однако, новый плакат возмутил его до глубины души, и он, не удержавшись, ударил тростью по доске одного «сандвича». Громкий стук испугал лошадь мясника, стоявшую у панели. Она встала на дыбы, потом рванулась вперед; Куртье, не задумываясь, ухватил ее под уздцы. Под ноги подвернулся бежавший мимо пес. Куртье споткнулся и упал. Лошадь задела его по голове копытом. На минуту он потерял сознание; а очнувшись, отказался от всякой помощи и пошел к себе в гостиницу. Голова кружилась, он перевязал сильно рассеченный лоб и прилег на кровать.

Улучив минуту после обхода участков (необходимо было показаться избирателям — завершающий «факт» предвыборного церемониала!), к нему заглянул Милтоун.

— Уж этот ваш последний плакат, знаете ли! —

с места в карьер напустился на него Куртье.

— Я только что распорядился, чтоб его убрали.

— Могу поздравить с удачным ходом — теперь вас выберут!

— Это было сделано без моего ведома.

— Милый мой, я в этом не сомневался.

— Знаете, Куртье, когда между паломником и Меккой лежит пустыня, он не повернет вспять оттого, что в пути надо будет умываться грязной водой. Но толпа… как она мне мерзостна!

Такая долго сдерживаемая ярость прорвалась в этих словах, что даже Куртье, всю свою жизнь шедший наперекор большинству, был поражен.

— Ненавижу ее низость, ее тупость, ненавижу ее голос и ее вид — все в ней так уродливо, так мелко… Поверьте, Куртье, одна мысль, что дорогу в парламент мне прокладывают голоса толпы, причиняет мне адские муки. Пользоваться поддержкой черни — тяжкий грех, и я за него расплачиваюсь.

Куртье не сразу ответил на эту странную вспышку.

— Вы переутомились, — сказал он, помолчав, — это вывело вас из равновесия. В конце концов, толпа — это такие же люди, как вы и я.

— Нет, Куртье, не такие. Иначе толпа не была

бы толпой.

— Похоже, что вы взялись не за свое дело, — серьезно сказал Куртье. — Я, например, всегда держался от этого подальше.

— Вы живете по велению сердца. Я не столь счастлив.

С этими словами Милтоун шагнул к двери.

— Бросьте политику, — от души сказал на прощание Куртье. — Если вы так к этому относитесь, бросьте, чего бы вы на этом пути ни искали. Не губите зря свою жизнь и ее жизнь тоже!

Но Милтоун не ответил.

В тихий, погожий час, незадолго до полуночи, надвинув шляпу на перевязанный лоб, рыцарь безнадежных битв вышел из гостиницы и направился к зданию школы узнать, чем кончилось голосование. Он шел на далекий звук, подобный дыханию какого-то чудовища, и, наконец выйдя на пустынную улицу, круто сбегавшую под гору, увидел площадь, сплошь покрытую толпой, точно темным ковром в узоре светлых бликов горящих фонарей. Высоко над толпой на островерхой школьной башенке ярко светился циферблат часов; а еще выше, над жаркими надеждами тысяч сердец, объединенных тревожным ожиданием, раскинулся темно-фиолетовый

простор, не запятнанный ни единым облачком. Куртье спускался к площади, глядя на белеющие внизу, чуть качающиеся, обращенные в одну и ту же сторону лица, и ему казалось, что это колышутся под ветром какие-то огромные цветы на темном лугу. Колдовская ночь развеяла синие и желтые факты и вдохнула в толпу неподдельное волнение. И Куртье вдруг ощутил красоту и значительность этой картины — проявление вечно беспокойных сил, чьи приливы и отливы, покорные закону равновесия, движут миром. Тысячи сердец самозабвенно отдались единому властному чувству!

Стоявший рядом с Куртье старик с длинной седой бородой пробормотал:

— Беспокойное это дело… а я нипочем бы не упустил.

— Хорошо, а? — отозвался Куртье.

— Хорошо, это верно, — сказал старик. — Я такого не видывал с самого сорок восьмого. Великий был год… А, вон они, аристократы!

Куртье взглянул в ту сторону, куда указывала костлявая старческая рука: на балконе стояли рядом лорд и леди Вэллис и невозмутимо смотрели вниз. Тут же, прислонясь к окну, разговаривала с кем-то стоявшим позади Барбара. Старик все

что-то бормотал, глаза его заблестели, гнев и ненависть преобразили его, — он был взволнован до глубины души, и у Куртье потеплело на сердце. И вдруг он поймал на себе взгляд Барбары, она коснулась рукою виска, давая понять, что заметила его повязку. У него хватило самообладания не снять шляпу.

Старик снова заговорил:

— Вы-то, конечно, не помните сорок восьмой. Вот когда поднялся народ! Нас тогда и смерть не страшила. Мне уже восемьдесят четыре, но тот дух до сих пор вот здесь! — Он прижал трясущуюся руку к груди. — Дай бог победы радикалам!

Где-то позади, на самом краю темного людского моря, несколько голосов запели: «Там, далеко, на реке Суони». Песня взлетела, оборвалась, еще раз встрепенулась и замерла.

Тогда на самой середине площади могучий баритон загремел: «Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней?»

Множество голосов, от звонких дискантов до дрожащего баса старого чартиста, подхватили песню; скоро пела уже вся площадь; кое-где люди взялись за руки и раскачивались в такт. В правой руке Куртье оказались нежные пальцы какой-то молодой женщины, в левой — сухая дрожащая

лапа старика чартиста. Он и сам пел во весь голос. Торжественная и трепетная мелодия взлетела ввысь, раскатилась в стороны и затерялась среди холмов. Но едва замерли последние звуки, как тот же мощный баритон взревел: «Боже, храни короля!» Казалось, толпа вдруг стала на два фута выше ростом, и из-под сплошного навеса поднятых шляп вырвался оглушительный хор.

«Вот это свято для всех!» — подумал Куртье.

Пели даже на балконах; он видел при свете фонаря, как сдержанно приоткрывает рот лорд Вэллис, будто ему неловко присоединяться к этому хору; видел, как, откинув голову, прислонясь к столбу балкона, самозабвенно поет Барбара. Не было в толпе человека, который остался бы нем. Словно на крыльях этих звуков вырвалась из темницы привычной сдержанности сама душа английского народа.

Но внезапно, как подстреленная птица, песня смолкла и пала наземь. Под светящимся циферблатом появилась темная фигурка. За нею вышли другие. Куртье разглядел среди них Милтоуна. Где-то далеко одинокий голос выкрикнул:

— Да здравствует Чилкокс!

— Тсс! — пронеслось по площади; настала такая тишина, что за добрую милю явственно донес-

лось пыхтение маневрового паровоза.

Темная фигура под часами выступила вперед, на фоне черного сюртука блеснул листок бумаги.

— Леди и джентльмены! Результаты голосования: Милтоун — четыре тысячи восемьсот девяносто восемь голосов, Чилкокс — четыре тысячи восемьсот два.

Тишина раскололась на тысячи кусков. В хаосе приветственных кликов и ропота Куртье еле пробился сквозь бурлящую толпу к балкону. Лорд Вэллис, широко улыбаясь, наклонился вперед; леди Вэллис провела рукой по глазам; Барбара глядела прямо в лицо Харбинджеру, ее рука была в его руке. Куртье остановился. Старик чартист опять оказался возле него; слезы скатывались по его щекам и терялись в бороде.

На балконе вперед выступил Милтоун и застыл без улыбки, бледный как смерть.

Часть вторая
Глава I

Девятнадцатого июня, в три часа пополудни, Энн Шроптон начала восхождение по главной лестнице особняка Вэллисов в Лондоне. Она медленно взбиралась по самой середине лестницы — крохотная белая фигурка на широких сверкающих ступенях — и считала их вслух. Счет ни разу еще не сошелся два дня подряд, вот почему лестница чрезвычайно привлекала это существо, для которого в новизне была главная прелесть бытия.

Дойдя до того места, где лестница раздваивалась, Энн призадумалась: по которой стороне она шла в прошлый раз? — но так и не вспомнила и села на ступеньку. Ей дали поручение. Когда она пустилась в путь, оно было совсем новенькое, но уже отчасти утратило новизну и, наверно, станет еще более старым, — ведь ей надо пройти всю галерею предков. Она сидела, обдумывая свои дальнейшие странствия, а солнечный свет, вливаясь в широкое окно, наполнил слепящим сиянием просторный мир из полированного

дерева и мрамора, откуда она пришла. Энн не очень-то верила в фей и всяких сказочных духов; о них слишком много говорят, а все-таки они какие-то ненастоящие, неживые — и волшебное сияние, которое переливалось над ее головкой и причудливо играло на колоннах, бессильно было пробудить в ней фантазию или душевный трепет. Ее весьма практический и деятельный ум поглощало одно стремление: дойти до конца галереи предков и узнать, что там есть. Она выбрала левое крыло лестницы, и вот перед нею нескончаемо длинная галерея, узкая, полутемная с завешенными окнами. Энн шла с осторожностью, потому что пол тут был скользкий, и очень серьезная, отчасти из-за темноты, отчасти из-за картин. Что и говорить, в этом полумраке они выглядели внушительно, Карадоки былых времен — иные совсем почерневшие, в воинских доспехах, и, казалось, угрюмо, настороженно и с какой-то жадностью глядели на шагавшую сквозь их суровый строй маленькую праправнучку. Но Энн твердо знала, что они просто нарисованные, и шла своей дорогой, а когда кто-нибудь из них казался ей особенно безобразным, только морщила дерзкий носишко. В конце галереи, как она и предполагала, была дверь. Энн отворила

ее и вышла на площадку. Тут в углу была каменная лестница и еще две двери. Интересно бы подняться по лестнице, но и посмотреть, что за дверьми, тоже интересно. Энн подошла к первой двери и не без волнения повернула ручку. За дверью оказалось помещение из тех, которые необходимы в каждом доме, но которые она не любила; она пренебрежительно захлопнула эту дверь, отворила другую и оказалась в комнате, совсем не похожей на те, что внизу: те все были высокие, с красивой позолотой, а эта напоминала классную комнату — низкий потолок, кожаные кресла и много-много книг. С другого конца комнаты — ей не было видно откуда — послышался такой звук, как будто кого-то чмокнули, и, сама не зная почему, Энн уже хотела уйти, но вдруг у нее с языка сорвалось:

— Это я!

И тут же она увидела у камина бабушку с дедушкой. Не совсем уверенная, что они ей рады, она не стала мешкать.

— Ты всегда здесь сидишь, дедушка? — начала она, подойдя ближе.

— Да.

— Тут очень славно, правда, бабушка? А та лестница куда идет?

— На крышу башни, Энн.

— Ага. Ну, мне надо идти, у меня поручение.

— Очень жаль с тобой расставаться.

— Да. До свидания!

Когда дверь за нею закрылась, лорд и леди Вэллис смущенно посмотрели друг на друга.

Беседа, которую прервала Энн, началась вот почему.

Эта тихая, скромная комната, где его не могли, как в рабочем кабинете, настичь секретари с делами, была излюбленным убежищем лорда Вэллиса, и после второго завтрака он пришел сюда выкурить трубку и побыть наедине с тревожными мыслями.

Его заботило Пендридни, их корнуэлльское имение. Оно давно уже не давало покоя и самому лорду Вэллису, и его поверенному, и теперь надо было что-то решать. Речь шла о двух селениях, примыкавших с севера к землям лорда Вэллиса: тамошние жители кормились тем, что работали в большой каменоломне, а она в последнее время приносила одни убытки.

Лорд Вэллис, человек мягкий, с отвращением думал о каких-либо мерах, которые могли бы ввергнуть в нужду его арендаторов, особенно в тех случаях, когда у него не было с ними никаких

неладов. Но суть дела сводилась к следующему: если не считать эту самую каменоломню, имение Пендридни не только не стоило никаких денег, но и приносило доход, которого хватало бы на лондонский особняк Вэллисов, и на конюшни в Ньюмаркете, и на многое другое; но пока работает эта каменоломня, да при том, что какие-то средства нужны и на содержание и ремонт самого Пендридни, и на пенсии престарелым слугам, оно становится убыточным.

В этот день, покуривая в своем убежище, лорд Вэллис окончательно решил, что у него нет иного выхода, кроме как закрыть каменоломню. Решение это далось ему нелегко; хотя, надо признать, мысль, что корнуэльские, а пожалуй, и лондонские газеты непременно поднимут шум, втайне скорее подстегивала его, чем удерживала от этого шага. Словно ему заранее предписывали, как поступить, а он этого не любил. Если придется лишить бедняков куска хлеба, ему самому это будет куда неприятнее, чем всем, кто по этому случаю поднимет крик, это он знал, и совесть его была чиста; а неизбежные вопли и протесты легко будет презреть, как обычное проявление межпартийной вражды. Он честно старался все как следует обдумать и рассуждал так: сохра-

нив каменоломню, я тем самым признаю закон пауперизации: ведь, на мой взгляд, каждое мое имение должно полностью окупать себя — дом, землю, охоту, да еще давать свою долю на содержание и этого, лондонского, дома, моей семьи, конюшен и прислуги. Допустить, чтобы в одном из моих имений велись какие-то работы, которые не приносят своей доли дохода? Но тогда часть моих арендаторов обнищает и начнет существовать за счет остальных; а это значило бы строить хозяйство на ложной основе, допустить какой-то скрытый социализм. Доведенный до логического конца, такой порядок может меня разорить, против чего я лично, может быть, и не возражал бы, но это значило бы отказаться от убеждения, что я по самому своему происхождению и воспитанию — наилучшее орудие, при помощи которого государство обеспечивает благосостояние народа…

И тут сознание лорда Вэллиса — или, вернее, его сокровенное «я» — в приливе вполне естественного возмущения воскликнуло:

— Вздор!

Объективность была в моде, и, как правило, лорд Вэллис верил в свою способность мыслить объективно. Однако наступает минута, когда, мысля так, изменяешь самому себе, своему со-

словию и своей стране. Конечно, могут сказать: нет ли какой-то несоразмерности в том, что один человек росчерком пера лишает средств к жизни сотни себе подобных? Лорд Вэллис был настолько прозорлив, что сам первый задал себе этот вопрос — и ответил: «Если этого не сделаю я, это сделает какой-нибудь плутократ, или акционерное общество, или — еще того хуже — само государство». Всякие компании и объединенные предприятия, на его взгляд, не соответствовали британскому духу, а значит, иного выхода не оставалось. Факты есть факты, против них не пойдешь!

Несмотря на все эти веские доводы, необходимость принять такое решение огорчала его, ибо, если вышеупомянутая несоразмерность мало смущала его, то он был по крайней мере человек с сердцем.

Он все еще курил трубку, глядя на испещренный цифрами лист бумаги, когда вошла жена. Она пришла спросить его совета по совсем другому поводу, но тотчас увидела, что он чем-то обеспокоен, и спросила:

— Что случилось, Джеф?

Лорд Вэллис поднялся, подошел к камину, неторопливо выбил трубку и наконец протянул жене лист с расчетами.

— Все эта каменоломня! Ничего не поделаешь, придется закрыть.

Леди Вэллис переменилась в лице:

— Нет, нет! Это будет ужасное несчастье.

Лорд Вэллис принялся внимательно разглядывать свои ногти.

— Она лежит тяжким бременем на всем имении, — сказал он.

— Я знаю, но как же мы будем смотреть людям в глаза? Я никогда больше не смогу туда поехать. И у них у всех столько детей.

Муж все еще сосредоточенно рассматривал ногти, и леди Вэллис продолжала с жаром:

— Лучше уж я откажусь от чего-нибудь. Я предпочла бы сдать все Пендридни в аренду, чем лишить этих людей работы. Сдать его, вероятно, удастся?

— Еще бы! В целом свете нет лучшей охоты на вальдшнепов.

Но леди Вэллис занимало другое.

— Со временем мы поможем людям найти какой-то другой заработок, — продолжала она. — Ты советовался с Милтоуном?

— Нет, — сухо ответил лорд Вэллис. — И не собираюсь. Он слишком непрактичен.

— Мне кажется, он всегда прекрасно знает,

чего хочет.

— Поверь мне, Милтоун в таких делах не разбирается, — повторил лорд Вэллис. — У него какие-то средневековые понятия.

Леди Вэллис подошла ближе и положила руку ему на плечи.

— Джеф, ну, право, ради меня… придумай что-нибудь другое.

Лорд Вэллис нахмурился и с минуту смотрел ей в лицо. Наконец он сказал:

— Ради тебя… Хорошо, я отложу это на год.

— По-твоему, это лучше, чем сдать Пендридни в аренду?

— Мне не хочется пускать туда чужих. Еще успеем, если не будет другого выхода. Прими это как мой рождественский подарок.

Леди Вэллис даже покраснела, наклонилась и поцеловала его в ухо.

В эту самую минуту и появилась Энн.

Когда она ушла, они смущенно посмотрели друг на друга.

— Меня беспокоит Бэбс, — сказала леди Вэллис. — Не пойму, что с ней творится с тех пор, как мы переехали в город. Она ко всему охладела.

— Вероятно, на нее действует жара… или Клод Харбинджер, — ответил лорд Вэллис. Хоть он был

не слишком нежным отцом, мысль, что у него отнимут дочь, которой он от души восхищался, была ему неприятна.

— Ну… не знаю, — протянула леди Вэллис.

— То есть?

— С Бэбс происходит что-то странное. Не удивлюсь, если окажется, что она увлеклась этим Куртье.

— Что-о?! — Лицо лорда Вэллиса залил отнюдь не философский румянец.

— Да, именно.

— О господи! Истории с Милтоуном и одной хватит на целый год.

— Даже на двадцать лет, — прошептала леди Вэллис. — Я не спускаю с нее глаз. Говорят, Куртье собирается в Персию.

— Надеюсь, он там сломит себе шею, — проворчал лорд Вэллис. — Нет, право, это уже слишком. Все-таки ты, наверно, ошибаешься.

Леди Вэллис подняла брови. В таких делах мужчины — сущие младенцы.

— Ну, — сказала она, — мне пора на заседание. Возьму ее с собой и попробую что-нибудь разузнать.

Речь шла об учредительном заседании Общества поощрения рождаемости, на котором она

согласилась председательствовать. Она с самого начала всячески поддерживала идею этого общества, вполне отвечавшую ее широкой, полнокровной натуре. Многие благотворительные затеи, в которых она не могла не участвовать, сами по себе мало ее интересовали, — а так приятно, когда хоть какая-то часть твоей деятельности тебя по-настоящему увлекает! Леди Вэллис не была педантична и в дружеском кругу вовсе не настаивала на том, что все женщины обязаны неуклонно исполнять свое предназначение и всемерно содействовать приумножению рода человеческого. Нет, она рассуждала с великолепной широтой, без ханжества. В хорошей, здоровой семье должно быть много детей, но, конечно, возможны исключения. Заветной идеей леди Вэллис было: больше британцев! Ее девиз, который она намеревалась сделать девизом нового общества, был: «De l'audace et encore de l'audace!»[16] Речь идет о полном развитии всех сил нации. Леди Вэллис искренне и даже почти трогательно верила в национальный флаг, независимо от того, что он собой прикрывает, — ей свойствен был особый идеализм.

---

[16] Примечания: 16
Смелость и еще раз смелость! *(фр.)*

— Рассуждайте сколько угодно о том, что жизнь нации следует направлять, сообразуясь с принципами социальной справедливости, — скажет она. — Но какое дело нации до социальной справедливости? Речь идет о большем. О национальном чувстве. Наша нация должна расти и множиться.

Так по дороге на собрание она обдумывала речь, которую ей предстояло произнести, и не пыталась вовлечь Барбару в разговор. С этим придется подождать. Девочка, правда, какая-то вялая и немножко бледна, но так хороша, что приятно прийти с нею на собрание.

В полутемной комнатке позади зала уже дожидался учредительный комитет, и все тотчас вышли на эстраду.

Глава II

Ничуть не смущаясь под взглядами присутствующих, Барбара предалась своим невеселым мыслям.

Три недели, прошедшие с избрания Милтоуна, были заполнены таким множеством всяких собраний и приемов, что у нее просто не оставалось ни времени, ни сил разобраться в собственных

чувствах. После того утра в конюшне, когда Харбинджер глаз не спускал с Барбары, кормившей Хэла морковкой, он, казалось, только ради того и жил, чтобы видеть ее. И его страсть приятно волновала ее. Она ездила с ним верхом, танцевала с ним, и минутами это было почти счастье. Но в другие минуты, — правда, при этом она всегда немного презирала себя, как тогда, сидя у подножия холма, на камне, нагретом солнцем, — странное недовольство просыпалось в ней, жажда чего-то такого, чего нет в окружающем ее мире, где ей приходится изобретать для себя какие-то препятствия и лишения и только играть в серьезность.

За это время она видела Куртье три раза. Однажды он у них обедал, его пригласила леди Вэллис премилой, чуть игривой записочкой, — этот стиль она выработала специально для тех, кто занимал в обществе не столь высокое положение, особенно если эти люди были умны; в другой раз он присутствовал на приеме в саду особняка Вэллисов, и Барбара сказала ему, в котором часу поедет завтра верхом, и увидела его в Гайд-парке; он не катался, а стоял за барьером в том месте, мимо которого она непременно должна была проехать, и на лице его была столь характерная

для него смесь почтительности и насмешливой независимости. Оказалось, что он покидает Англию. Но на ее вопросы, почему и куда он едет, он только пожимал плечами. И вот Барбара сидит на пыльном помосте в душном зале с голыми стенами перед множеством народа и слышит речи, смысл которых она, усталая, занятая своим, не в силах уловить, и этот хаос мыслей, и лица вокруг, и голоса ораторов — все сливается в какой-то кошмар, в котором она только и различает шею матери под черной широкополой шляпой да лицо члена комитета, сидящего справа, который, прикрываясь газетой, усердно грызет ногти. Потом она поняла, что говорит кто-то из зала, отрывисто, словно кидая слова небольшими связками. Это был малорослый человечек в черном, бледное лицо его дергалось вверх и вниз.

— По-моему, это ужасно, — услышала она его слова. — По-моему, это просто кощунство. Пытаться направлять величайшую силу… величайшую, самую священную и таинственную силу… которая движет миром… по-моему, это отвратительно. Я просто слышать этого не могу; мне кажется, от этого все становится таким мелким и ничтожным!

Он сел на свое место, и леди Вэллис поднялась,

чтобы ответить ему.

— Все мы должны отнестись с сочувствием к искренности и до некоторой степени к побуждениям нашего друга — предыдущего оратора. Но спросим себя: вправе ли мы позволить себе роскошь дать волю нашим личным чувствам, когда речь идет об умножении и росте нации? Нет, мы не должны поддаваться чувствам. Наш друг, предыдущий оратор, выступал здесь — да простит он мне такие слова — скорее как поэт, но не как реформатор общества. Боюсь, что, если мы позволим себе предаться поэзии, рождаемость в нашей стране очень скоро тоже превратится в одно лишь поэтическое понятие. А на это, я полагаю, мы не можем смотреть сложа руки. Резолюция, которую я собиралась предложить, когда наш друг, предыдущий оратор…

Но тут Барбара вновь погрузилась в странный хаос мыслей и чувств, из которого так неожиданно вырвал ее человечек в черном. А потом увидела, что все уже расходятся, и услышала голос матери:

— Ну, моя дорогая, сегодня еще надо в больницу. Времени у нас в обрез.

Они снова сели в автомобиль. Барбара откинулась на подушки и, не произнося ни слова,

смотрела прямо перед собой.

Леди Вэллис искоса наблюдала за дочерью.

— Ну и сюрприз поднес этот коротышка! — сказала она. — Должно быть, он попал к нам по недоразумению. Знаешь, Бэбс, говорят, мистер Куртье приглашен сегодня на бал к Элен Глостер.

— Несчастный!

— Но ведь там будешь ты, — сухо возразила леди Вэллис.

Барбара снова откинулась на сиденье:

— Не дразни меня, мама.

По лицу леди Вэллис промелькнула тень раскаяния; она взяла руку Барбары в свои. Но вялая рука дочери не ответила на пожатие.

— Я понимаю твое настроение, дорогая. Чтобы стряхнуть его с себя, нужно собрать все свое мужество; не давай ему тобой завладеть. Поезжай-ка лучше завтра, навести дядю Денниса. Ты чересчур утомилась за эти дни.

Барбара вздохнула:

— Хоть бы уже настало завтра…

Автомобиль остановился у больницы.

— Войдешь? — спросила леди Вэллис. — Или ты слишком устала? На больных твои посещения всегда так хорошо действуют.

— Ты устала вдвое больше меня. Конечно, я пойду.

Когда они появились на пороге, в палате поднялся негромкий говор. Рослая, полная леди Вэллис, излучая деловитую, ободряющую уверенность, проследовала к какой-то постели и уселась. А Барбара стояла в полосе июльского солнечного света, среди обращенных к ней лиц, не зная, к кому первому подойти. Все эти несчастные казались такими смиренными, печальными и усталыми. Одна больная лежала пластом и даже головы не подняла, чтобы посмотреть, кто пришел. Она дремала, бледная, с запавшими щеками, и лицо ее казалось хрупкой фарфоровой маской, готовой рассыпаться от прикосновения, от вздоха; прядь черных, тонких, как шелк, волос упала на лоб; закрытые глаза ввалились; одна рука, чуть не до костей истертая тяжелой работой, лежала на груди. Бескровные губы едва шевелились при дыхании. Странная красота была в спящей. И Барбару при виде ее внезапно охватило волнение. Эта женщина казалась такой далекой от всего окружающего, от этой неуютной, неприветливой палаты.

Вялости и равнодушия, владевших Барбарой, когда она пришла сюда, как не бывало; лицо спя-

щей внезапно напомнило ей о родных скалистых холмах, где свистит ветер и все так пустынно и величественно и порою страшно. Что-то стихийное чудилось в этом спокойном сне. А на соседней койке лежала старуха со сморщенным коричневым лицом и удивительно живыми, блестящими черными глазами; она принялась рассказывать Барбаре, что букетик вереска в банке на подоконнике привезли ей из Уэльса.

— Матушка моя была родом из Стерлинга, милочка, вот я и люблю вереск, хоть сама-то нигде, кроме как в Бетнел-Грине, сроду не бывала.

И ее оживление показалось Барбаре пошлым рядом с отрешенным спокойствием спящей.

Но когда Барбара, пройдя по палате, вернулась, бледная женщина уже проснулась и села, и теперь лицо у нее было совсем заурядное, от хрупкой красоты не осталось и следа.

Как избавление прозвучали слова леди Вэллис:

— Дорогая моя, в половине шестого мне надо быть на благотворительном базаре в пользу моряков, а ты пока поезжай домой, отдохни перед балом. На обед мы приглашены к Плесси.

Бал у герцогини Глостерской, — событие, которое просто невозможно пропустить, — был назначен так поздно потому, что герцогиня

изъявила желание продлить лондонский сезон, чтобы извозчики могли еще немного заработать; и хотя все с этим согласились, однако многие подумали, что проще переселиться за город, а в день бала прикатить в Лондон на автомобиле и на другое утро автомобилем же отправиться восвояси. И всю неделю, на которую продлен был сезон, у вокзалов и на извозчичьих биржах стояли вереницы наемных экипажей, и кучера, не подозревая об оказанной им милости, так же терпеливо, как их лошади, дожидались седоков. И поскольку все честно выполнили свое намерение, у леди Глостер на сей раз собралось еще более многолюдное, изысканное и блестящее общество, чем обычно.

В просторной зале над пестрой толпою танцующих укреплены были опахала, навевавшие прохладу, — эти огромные веера, медленно раскачиваясь, освежали легким ветерком море крахмальных манишек и обнаженных плеч и повсюду разносили аромат украшавших залу бесчисленных цветов.

Поздно вечером у одной из цветочных куп остановилась и заговорила с Берти Карадоком очень хорошенькая женщина. Это была его кузина Лили Мэлвизин, сестра Джефри Уинлоу,

жена пэра-либерала, — очаровательное создание, розовощекое, с блестящими глазами, смеющимся ртом и пухленькой фигуркой, милое и жизнерадостное. Она все время исподтишка лукаво поглядывала на собеседника, словно стараясь стрелами этих взглядов пробить латы, делавшие молодого человека столь неприступным.

— Нет, мой милый, — говорила она насмешливо, — никогда вы меня не убедите, что Милтоун сделает карьеру. Il est trop intransigeant[17]. А вот и Бэбс!

Мимо скользила Барбара, взгляд ее лениво блуждал, губы полураскрылись; белизна шеи почти сливалась с белизною платья; на бледном лице под тяжелым венцом золотисто-каштановых волос лежала печать усталости; и казалось, кружась в вальсе, она вот-вот упадет и только объятия кавалера удерживают ее.

Не шевеля губами — умение, секрет которого знаком всем узникам высшего света, — Лили Мэлвизин шепнула:

— С кем это она танцует, Берти? Это и есть темная лошадка?

И такими же неподвижными губами Берти

---

[17] Примечания: 17
Он слишком нетерпим *(фр.)*.

ответил:

— Шансы сорок против одного.

Но любопытные блестящие глаза все еще провожали Барбару, которая уносилась в танце, точно большая лилия, подхваченная водоворотом у мельничной запруды; и в хорошенькой головке мелькнула мысль: «А ведь Бэбс его поймала. Право, это дурно с ее стороны. — Тут она увидела у колонны еще одного наблюдателя, не сводившего глаз с этой пары, и подумала: — Бедняжка Клод! Неудивительно, что он такой мрачный. Ох, Бэбс!»

Барбара и ее кавалер стояли на площадке перед домом у одной из статуй, там, где деревья, не обезображенные пестрыми фонариками, отбрасывали прохладную, мирную тень.

Непривычно бледная и томная, все еще глубоко дышавшая после вальса, Барбара показалась Куртье неузнаваемо прекрасной. Для чего обращать речи к видению! Перед ним сама красота, запечатленная в воздухе, стоит коснуться ее — и она растает, подобно волшебным теням, что посещают путника ночью в горах, среди снегов, мерцающих под синим звездным небом или в печальном золоте осенних берез. Слова были бы святотатством! Да и что толку говорить в этом

ее мире, таком непонятном и таком самоуверенном; этот мир — точно дом, где закрыты все окна и заперты все ставни. Дом, куда открыт доступ лишь тем, кто поклялся верить в этот мир, только в него и ни во что больше, и за стенами которого нет ничего, кроме обломков камня, пошедшего на его постройку. А он, Куртье, чувствовал себя в этом мире высшего света одиноким путником в пустыне, жаждущим встретить живую душу!

— Леди Бэбс! — послышался позади них голос Харбинджера.

Еще долго огромные опахала овевали своим дыханием многоцветную веселую карусель, и скрипки стонали и жаловались до утра. И вдруг все растаяло, как исчезают, блеснув на траве, капли росы в первых лучах солнца; и в просторных залах остались одни лишь лакеи, отражаясь в блестящем паркете, как фламинго на заре на берегу озера.

Глава III

В старинном кирпичном доме Фитц-Харолдов, на окраине приморского городка Нетлфолд, мирно текли дни лорда Денниса. Здесь, на южном побережье, дыша самым чистым и целительным

воздухом во всей Англии, он медленно старился, почти не думая о смерти и тихо наслаждаясь жизнью. Как и этот старый дом с высокими окнами и приземистыми трубами, он был на удивление сам по себе. У него были книги, ибо он увлекался древними цивилизациями и время от времени суховато и без особой живости сообщал в одном старомодном журнале что-нибудь новенькое о давно забытых нравах и обычаях; и еще микроскоп, ибо он изучал инфузории; и еще лодка его друга, тоже рыболова, Джона Богла, который давно уже догадался, что из всей пойманной им рыбы лорд Деннис — самая крупная; да изредка кто-нибудь навещал его либо он навещал близких в Лондоне, в Монкленде и в других имениях; из всего этого складывалась жизнь, если и не приносящая неслыханных радостей, то неизменно приятная и мирная, которая, бросаясь в глаза своей простотой, несомненно, вредила людям его круга и осложняла их взаимоотношения со всеми остальными. «Вот настоящий джентльмен! — говорили в Нетлфолде. — Были бы все аристократы такие, никто бы против них слова не сказал». Лавочники и содержатели меблированных комнат чувствовали, что куда безопаснее доверить судьбы отечества ему, чем людям, которые во все

суют свой нос ради блага тех, кто вовсе их об этом не просит. Притом человек, который умел так начисто забывать, что он сын герцога, о чем именно поэтому всегда помнили окружающие, был им очень по душе. Правда, он не имел влияния в общественных делах; но на это смотрели сквозь пальцы; захотел бы, и было бы по-другому, а раз не хочет, это только лишнее доказательство, что он настоящий джентльмен.

Как сам лорд Деннис был в этом маленьком городке единственным человеком, против которого никто ничего не имел, так и его дом единственный из всех не в чем было упрекнуть. С годами он стал во всем под стать этому краю. Стены, обвитые плющом, красноватая крыша, местами в желтых пятнах лишайника, протянувшиеся до самого моря тихие луга, где паслись лошади и коровы, — все дышало добродушием. По правде говоря, рядом с ним остальные дома Нетлфолда казались грубыми и безвкусными, — он высился за ними, как повелитель, может быть, даже немного чересчур замкнутый в своем совершенстве и чуждый будничных забот.

Ни с кем из ближайших соседей лорд Деннис не встречался, разве что изредка с Харбинджером, жившим за три мили от него, в Уайтуотере. Но

это его не огорчало: он умел не скучать и наедине с собой. Окрестной бедноте, а особенно рыбакам, чей заработок зимою в наше время ничтожен, он помогал так щедро, что это граничило с мотовством, ибо доходы его были не так уж велики. Но в политической жизни городка участия почти не принимал, только изредка украшал своим присутствием какое-нибудь торжество. Консерватор он был весьма умеренный и не был убежден, что страну можно возродить какими-либо иными средствами, кроме добрых отношений между сословиями. А когда его спрашивали, как установить эти добрые отношения, он с обычной своей суховатой, насмешливой учтивостью отвечал, что, если ворошить палкой осиное гнездо, оттуда непременно вылетят осы. Не имея собственных земель, он избегал затрагивать этот больной вопрос, но, когда ему уж очень докучали, отвечал примерно так:

— В общем, для земли лучше, когда она в наших руках, но хорошо, если бы среди нас было поменьше «собак на сене».

Как подобает людям его породы, он относился к земле с отеческой нежностью и просто подумать не мог, чтобы она попала в равнодушные руки государства. Он посмеивался над теориями

радикалов и социалистов, но не любил, когда их приверженцев оскорбляли за глаза. Однако, надо признаться, когда ему противоречили, он становился весьма язвителен; сидевший в нем природный аристократ, не имея случая высказывать свои взгляды на политической и общественной арене, поневоле искал какой-то иной возможности выразить себя.

Каждый год в конце июля лорд Деннис предоставлял свой дом в распоряжение лорда Вэллиса, которому было очень удобно останавливаться здесь на время Гудвудских скачек.

На другое утро после бала у герцогини Глостерской лорд Деннис получил следующую записку:

«Особняк Вэллисов.

Милый дядюшка Деннис!

Нельзя ли мне приехать к Вам пораньше и немного отдохнуть? В Лондоне жара невыносимая. Маме надо еще побывать на трех заседаниях, и я тоже должна буду вернуться на наш последний политический прием, поэтому не хочется забираться в такую даль — в Монкленд; и всюду такой шум и суета, не то что у Вас. У Юстаса вид совсем измученный. Постараюсь привезти и его. Бабушка просто устрашающе здорова.

Нежно любящая Вас Бэбс».

Она приехала в тот же день, но одна, без Милтоуна; ее довез со станции наемный экипаж. Лорд Деннис встретил ее у ворот, поцеловал и оглядел не без тревоги, поглаживая свою острую седую бородку. Он не мог припомнить случая, чтобы она плохо себя чувствовала, разве только однажды, когда он взял ее на прогулку в лодке Джона Богла. А она и в самом деле побледнела и переменила прическу, — этого он не понял и только забеспокоился, что Бэбс не такая, как всегда. Он взял ее под руку и повел на луг, где еще вовсю цвели лютики, и старый белый пони, на котором она двенадцать лет назад каталась в Гайд-парке, подошел и потерся носом о ее талию. И в душе лорда Денниса вдруг шевельнулось, сильно его смутив, странное подозрение, что если девочка и не заплачет сейчас, ей нужно дать время одолеть подступающие слезы. С таким видом, словно он вовсе и не думал оставлять ее одну, он отошел к ограде и стал смотреть на море.

Прилив почти достиг высшей точки; ветер с юга доносил запах водорослей, мелкая волна шуршала чуть ли не у самых ног. Вдали под солнцем сияющие воды казались почти белыми, таинственными в дымке июльского дня, и от вида их как-то странно щемило в груди. Но хоть в иные

минуты лорд Деннис и поддавался поэтическому волнению, в целом он прекрасно умел поставить море на место, — ведь, в конце концов, это всего-навсего пролив, а как всякий истый англичанин, лорд Деннис полагал, что вещи следует называть своими именами, иначе они перестают быть фактами, а перестав быть фактом, любая вещь может обернуться самим дьяволом! Говоря по совести, он думал не столько о море, сколько о Барбаре. Что-то с ней произошло. Но мысль эта сразу же показалась ему нелепой: что может произойти с Бэбс? Чутье подсказывало ему, что только удар большой силы мог пробить сверкающую броню молодости и благополучия. Это не смерть; значит, любовь; и ему сразу вспомнился тот, рыжеусый. Идеи — пожалуйста, разводите их сколько угодно, когда это к месту, — скажем, за обеденным столом. Но влюбиться (если она и в самом деле влюбилась) в человека с идеями, да еще когда он всю жизнь свою намерен строить в согласии с этими идеями и кормиться только ими одними, — это уже казалось лорду Деннису несколько outré[18].

Барбара тоже подошла к ограде, и он с сомне-

---

[18] Примечания: 18
Чересчур *(фр.)*.

нием на нее посмотрел.

— Ищем покоя в водах Леты, Бэбс? Кстати, ты больше не видела нашего друга мистера Куртье? Весьма колоритны эти его донкихотские понятия о жизни!

Голос лорда Денниса (как бывает у людей утонченных, махнувших рукой на философию) звучал сразу на три лада: тут была и насмешка над идеями, и насмешка над самим собой за эту насмешку над идеями, и все-таки ясно слышалось, что смешна только эта его насмешка над идеями, но не насмехаться над ними ему как будто все же не к лицу.

Но Барбара не ответила на его вопрос и заговорила о другом. И весь этот день и вечер она болтала так легко и непринужденно, что, если бы не чутье лорда Денниса, он бы, пожалуй, обманулся.

Эту улыбающуюся маску — непроницаемость юности — она сбросила только ночью. Сидя у окна в свете луны — «золотистой бабочки, взмывающей медленно в ночные небеса», — она жадно всматривалась в темноту, словно пыталась прочитать в ней что-то очень важное. Изредка она тихонько касалась себя рукой — ощущение собственного тела странно успокаивало. К ней

вернулось давно знакомое тревожное чувство, точно душа ее раздвоилась. И эта ласковая ночь, безмятежное дыхание моря и темный бескрайний простор пробудили в ней жгучее желание слиться воедино с чем-то, с кем-то, не быть одной. Накануне на балу ее вновь охватило «ощущение полета», и оно не проходило — странное проявление ее мятущегося духа. И это следствие встреч с Куртье, это бессильное желание взлететь и ощущение подрезанных крыльев было ей горько и обидно, как обидно ребенку, когда ему что-то запрещают.

Ей вспомнилось: в Монкленде однажды в оранжерею, спасаясь от какого-то врага, залетела сорока, и ее потом приютила экономка. Когда уже казалось, что птицу удалось приручить, ее решили выпустить и посмотреть, вернется ли она. Несколько часов сорока просидела высоко на дереве, а потом возвратилась в клетку; и тогда, опасаясь, что при новой попытке взлететь ее заклюют грачи, ей подрезали одно крыло. После этого пленения птица жила весело и беззаботно, прыгала по своей клетке и по площадке перед домом, куда ее выпускали на прогулку, но порою вдруг становилась беспокойной, пугливой и начинала махать крыльями, словно мечтала

взлететь и грустила, что ей суждено оставаться на земле.

Вот и Барбара, сидя у окна, трепыхала крылышками; потом легла, но не могла уснуть и только все вздыхала и ворочалась. Часы пробили три; ей стало нестерпимо досадно на себя, и, накинув поверх ночной сорочки плащ и сунув ноги в туфли, она выскользнула в коридор. В доме все было тихо. Она крадучись сошла вниз. Ощупью пробралась через сумрачную прихожую, населенную еле различимыми призраками, робкими подобиями света, осторожно сняла дверную цепочку и побежала к морю. Она бежала по росистой траве неслышно, как птица, парящая в воздухе; и две лошади, учуяв ее в темноте, зафыркали, задышали тревожно среди лютиков, сомкнувших на ночь лепестки. Барбара вышла за ограду и оказалась на берегу. Пока она бежала, ей хотелось только одного — кинуться в прохладную воду, но море было такое мрачное, окаймленное едва различимой полоской пены, и небо, тоже черное, беззвездное, застыло в ожидании дневного света!

Барбара остановилась и огляделась. И весь трепет и волнение плоти и духа медленно замерли в этой безмерной тьме и одиночестве, где тишину нарушал лишь задумчивый плеск волн. Ей не

впервые случалось не спать глубокой ночью — только накануне в этот самый час Харбинджер кружил ее в последнем вальсе! Но здесь глубокая ночь была совсем иной, у нее было иное, торжественное лицо, и Барбаре, смотревшей в широко раскрытые глаза ночи, показалось, что тьма заглянула ей в самую душу, и душа пугливо сжалась, стала маленькой и робкой. Барбара дрожала в своем подбитом мехом плаще, ей стало жутковато — такой крохотной и ничтожной казалась она себе перед лицом черного неба и темного моря, которые как будто слились воедино, в нечто огромное и безжалостное. Скорчившись на берегу, она стала ждать зари.

Заря прилетела из-за холмов, обдала ее порывом холодного ветра, устремилась к морю. И Барбара вновь осмелела. Она разделась и вбежала в темные, но быстро светлеющие волны. Они ревниво укрыли ее, и она поплыла. Вода была теплее воздуха. Барбара легла на спину и смотрела, как понемногу розовеет небо. Так славно было плескаться в полутьме, с раскинутыми по волнам волосами, без купального костюма, липнущего к телу, что ей стало весело, как озорному ребенку. Она заплыла дальше, чем следовало, потом вдруг испугалась собственной смелости и под встаю-

щим солнцем поплыла обратно.

На берегу она поспешно накинула свои одеяния, перелезла через ограду и бегом бросилась к дому. Все ее уныние и лихорадочные сомнения как рукой сняло; бодрая, освеженная, она вдруг почувствовала, что умирает с голоду, и, прокравшись в темную столовую, стала шарить всюду в поисках съестного. Нашла печенье и еще жевала, когда на пороге появился лорд Деннис с зажженной свечой в одной руке и с пистолетом в другой. В старом синем халате, с белой бородкой и резкими чертами лица, он выглядел очень внушительно — в эту минуту он очень походил на леди Кастерли, словно близкая опасность облачила его в стальные доспехи.

— И это, по-твоему, называется отдых! — сказал он сухо; и, заметив, что волосы у нее мокрые, прибавил: — Я вижу, ты уже вверила свои тревоги водам Леты.

Но Барбара, не ответив, скрылась в полутемную прихожую и поднялась к себе.

Глава IV

Пока Барбара плавала, встречая рассвет, Милтоун купался в тех водах кротости и правдолюбия,

что плещут в стенах британской палаты общин.

Шли нескончаемые дебаты по земельному вопросу, которых он так долго ждал, готовясь выступить со своей первой речью, и он уже девять раз поднимался с места, но спикер его не замечал, и им постепенно овладевало чувство нереальности. Конечно же, этот торжественный зал, где непрерывно звучит какой-то слабый одинокий голос, перебиваемый странными, какими-то автоматическими взрывами одобрения или недовольства, существует лишь в его воображении! И все эти лица — только плод его фантазии! И когда он наконец получит слово, он будет обращаться лишь к самому себе! Недвижный воздух, отравленный человеческим дыханием, немигающий взгляд бесчисленных ламп, длинные ряды скамей, причудливые овалы бледных прислушивающихся лиц далеко на галерее — все это эманация его собственного духа! Даже когда кто-то входит или выходит между рядами скамей, это просто снуют взад и вперед своевольные частицы его самого! И где-то в самой глубине этого гигантского создания его фантазии слышится неясный ропот — это его еще не произнесенная речь, точно ветром, сносит куда-то мыльные пузыри слов, выдуваемые далеким,

слабым, всякий раз меняющимся голосом.

И вдруг фантастическое видение рассеялось: он был на ногах, сердце сильно билось — он произносил речь.

Скоро внутренняя дрожь утихла, осталось смутное сознание, что голос его звучит необычно, и странное безрадостное удовлетворение оттого, что его слова раздаются в такой тишине. Казалось, вокруг нет людей, только рты и глаза. И Милтоун наслаждался ощущением, что это он своими словами заставил онеметь жадные рты и приковал к себе глаза. Потом он понял, что все уже сказано, и сел, и сидел, не шевелясь, среди разноголосого шума, обхватив руками колено и уставясь в чей-то затылок. Как только вновь раздался тот слабый далекий голос, он взял шляпу и, не глядя ни вправо, ни влево, вышел из зала.

Он не ощутил ни облегчения, ни бурного восторга, какой обычно испытываешь, сделав первый решительный шаг, — душа казалась глубоким темным колодцем, наполненным одной лишь горечью. В сущности, выступив со своей речью, он только утратил то, что до сих пор отчасти утоляло его боль. Он окончательно убедился, что теперь, когда успех его не может разделить Одри Ноуэл, политическая карьера ничуть его не раду-

ет. Медленно пошел он к Темплу по набережной, где фонари, бледнея, уже предвещали ежедневный праздник во славу божества — встречу тьмы и света.

Милтоун был не из тех, кто сдается без боя; все глубоко задевало его, он бунтовал, отчаянно сопротивлялся судьбе. Словно всадник, погоняющий самого себя, он мчался вперед, и горячился, и вздрагивал, когда шпоры безжалостно вонзались в тело; в своем гордом одиноком сердце он нес бремя внутренней борьбы, которое натуры помельче или более общительные разделяют с друзьями.

Он шел домой, и вид у него был почти такой же затравленный, как у бездомных бродяг, каждую ночь засыпающих здесь, на берегу, будто они знают, что близость этой утешительницы, готовой в любую минуту подарить им великое забвение, одна может спасти их от соблазна погрузиться в ее объятия. Быть может, Милтоун был еще несчастнее этих людей, — их по крайней мере давно уже не тревожил беспокойный дух, выдавленный по капле из жалких тел тяжкой пятою жизни.

Теперь, когда Одри Ноуэл была для него потеряна, вся ее прелесть, ее непередаваемое обаяние преследовали его неотступно, точно

мучительный мираж, воплощение недосягаемой красоты, — а ведь он мог ею завладеть, если бы только захотел! Вот что терзало его всего сильнее. Мог бы, если б захотел! К тому же он страдал и физически, его медленным огнем сжигала лихорадка, должно быть, оттого, что он промок насквозь тогда, в день их последней встречи. И этот скрытый жар неприятно приглушал все чувства и впечатления, как только что в палате прежде, чем он выступил, все доходило до него словно сквозь какую-то плотную ткань, которую он не в силах был прорвать. В нем как будто сцепились в смертельной схватке два человека: один свято веровал в божественный промысел и власть, и на этом до сих пор зиждились все его убеждения; другого сводила с ума пламенная любовь. Он был глубоко несчастен и жаждал поговорить с кем-нибудь, кто его выслушает и поймет, но, давно привыкнув не искать наперсников, не знал теперь, как утолить эту жажду.

Уже рассвело, когда он вернулся домой; но, зная, что все равно не уснет, даже не лег, а лишь переоделся, сварил себе кофе и сел у окна, выходившего в сад.

В зале Мидл-Темпл еще не кончился бал, хотя китайские фонарики уже погасли. В тени старого

фонтана Милтоун увидел пару, которая укрылась здесь вместо того, чтобы последний раз потанцевать. Девушка уронила голову на плечо своего кавалера; губы их слились. В окно Милтоуна вместе с мелодией вальса, в котором они должны были бы кружиться, вливался запах гелиотропа. Эти двое, так хитро укрывшиеся в тени фонтана под щебет воробьев и украдкой обнимающиеся в саду, их пугливые взоры и шепчущие губы — все это был мир, от которого он отрекся! Когда он опять посмотрел в ту сторону, они уже исчезли, растаяли как дым; смолкла и музыка, и запах гелиотропа тоже больше не долетал к нему. В тени фонтана притаилась бродячая кошка, подстерегая громко чирикающих воробьев.

Милтоун вышел из дому, свернул на пустынный Стрэнд и побрел, сам не зная куда; около пяти он оказался на Патнийском мосту.

Он постоял, облокотясь на парапет и глядя на серую воду. Солнце едва сквозило в дымке, предвещавшей знойный день; катили мимо ранние повозки, люди уже шли на работу. Для чего течет река, повинуясь приливам и отливам? И для чего дважды в день пересекает ее людская река? Для чего страдают люди? Этот полноводный поток жизни казался Милтоуну таким же бессмыс-

ленным, как кружение чаек в лучах встающего солнца.

Потом он спустился с моста и направился к Барнскому лугу. Здесь, в кустах дрока, серых от паутины и искрящихся каплями росы, еще заплуталась ночь. Милтоун прошел мимо каких-то бродяг, которые крепко спали, всей семьей тесно прижавшись друг к другу. Даже бездомные спят друг у друга в объятиях!

Он вышел на дорогу близ ворот Рэйвеншема, прошел огородом и опустился на скамью подле малинника. Малинник был обнесен сеткой для защиты от воров, но два черных дрозда, заслышав Милтоуна, встрепенулись в кустах, нырнули сквозь нее и полетели прочь.

Неподвижную фигуру на скамье заметил издали садовник, и скоро уже все знали, что в малиннике сидит молодой лорд. Слух этот дошел и до Клифтона, и он самолично вышел посмотреть, в чем дело. Старик неслышно подошел и остановился перед Милтоуном.

— Вы будете завтракать, милорд?

— Если бабушка меня примет, Клифтон.

— Как я понимаю, ваша светлость вчера вечером выступили с речью?

— Да.

— Надеюсь, палата вам понравилась,

— Ничего, Клифтон, спасибо.

— Конечно, она уже не та, что в славные времена вашего дедушки. Он был о ней очень высокого мнения. Но, разумеется, люди теперь другие.

— Tempora mutantur[19].

— Это верно. Я замечаю, к государственным делам стало другое отношение. Взять хоть эти дешевые газетки; читать-то их, конечно, читаешь, но уж одобрить никак нельзя. Мне не терпится прочесть вашу речь. Говорят, в первый раз выступать очень трудно.

— Да, пожалуй.

— Но вам-то, конечно, волноваться не стоило. Я уверен, это была прекрасная речь.

Худые бледные щеки старика, окаймленные снежно-белыми бакенбардами, залила краска.

— Я давно ждал этого дня, — продолжал он запинаясь. — Все годы, сколько знаю вашу светлость… двадцать восемь лет. Это начало.

— Или конец, Клифтон.

Лицо старика вытянулось, он посмотрел на Милтоуна с тревожным недоумением.

— Нет, нет, — сказал он. — В вашем роду такого

---

[19] Примечания: 19
Времена меняются *(лат.)*.

быть не может.

Милтоун взял его за руку:

— Простите, Клифтон. Я не хотел вас огорчить.

С минуту они молчали, в некоторой растерянности глядя на свои соединенные в пожатии руки.

— Не угодно ли вашей светлости принять ванну?.. Завтрак, как всегда, в восемь. Могу достать для вас бритву.

Войдя в столовую, Милтоун застал леди Кастерли с «Таймсом» в руках; перед нею стоял ее обычный завтрак — грейпфрут и сухое печенье. Она казалась совсем не такой «устрашающе здоровой», как писала Барбара; скорее даже побледнела, словно тяжело переносила летнюю жару. Но ее небольшие серо-стальные глаза, как всегда, смотрели зорко и живо, и каждое движение было полно решимости.

— Я вижу, Юстас, ты выбрал собственное направление, — сказала она. — Я не нахожу в этом ничего дурного, напротив. Но помни, мой милый, что бы у тебя там ни переменилось, держись одного. В парламенте важно все время бить в одну точку. Ты что-то плохо выглядишь.

— Спасибо, я здоров, — пробормотал Милтоун, наклоняясь и целуя ее.

— Чепуха. За тобой плохо смотрят. Мама была в палате?

— Кажется, нет.

— Вот именно. А Барбара о чем думает? Уж она-то могла бы о тебе позаботиться.

— Барбара уехала к дяде Деннису.

Леди Кастерли поджала губы; потом, пронизывая внука взглядом, сказала:

— Сегодня же отвезу тебя туда. Морской воздух тебе пойдет на пользу. Что вы на это скажете, Клифтон?

— Его светлость и впрямь очень бледный.

— Распорядитесь насчет экипажа, мы поедем с Клапамского узла. Томас доставит тебе что нужно из платья. А лучше позвоним по телефону твоей маме, пусть пришлет за нами автомобиль, хоть я их терпеть не могу. Слишком жарко ехать поездом. Клифтон, пожалуйста, устройте это.

Милтоун не стал спорить. И всю дорогу сидел глубоко равнодушный и усталый, что леди Кастерли сочла в высшей степени дурным знаком, ибо усталость она почитала состоянием весьма странным и непростительным. Этой примечательной маленькой женщине — хранительнице аристократических принципов, заряженной стремлением сохранить жизнеспо-

собность, свойственна была особая, выработанная поколениями цепкость, которую вынуждено развивать в себе сословие, стоящее на вершине общественной лестницы, затем, чтобы не впасть в ничтожество и не оказаться перед необходимостью начинать все сначала. Говоря начистоту, ей не терпелось любым, самым жестоким способом как-то встряхнуть внука, вывести из оцепенения, ибо она знала, почему он такой, и считала это возмутительным малодушием. Будь на его месте любой другой из ее внуков, она не колебалась бы ни минуты, но в Милтоуне было нечто такое, чего побаивалась даже леди Кастерли, и за четыре часа, проведенные в дороге, она только раз попыталась преодолеть его сдержанность. Сделала она это с необычайной для нее мягкостью, — ведь он, как никто другой, был ее надеждой и ее гордостью! Просунув под его локоть сухую властную ручку, она тихо сказала:

— Не грусти, мой милый. Это никуда не годится.

Но Милтоун мягко высвободился и положил ее руку на плед, прикрывавший колени; он ни слова не ответил и ничем не показал, что слышал ее.

И леди Кастерли, глубоко уязвленная, сжала в ниточку поблекшие губы и сказала резко:

— Пожалуйста, медленнее, Фрис!

Глава V

Только Барбаре Милтоун немного приоткрыл свою смятенную душу; это произошло в тот же день, в час отлива, когда они лежали на берегу в тени лохматого тамариска. Он и с нею не мог бы заговорить откровенно, если бы не та памятная ночь в Монкленде; и, может быть, все равно не заговорил бы, если бы не чувствовал в младшей сестре того живого тепла, которого он так жаждал. В том, что касалось любви, из них двоих старшей была Барбара: помимо присущего почти всем женщинам чутья, ей свойственно было еще врожденное знание света, как и подобало дочери лорда и леди Вэллис. Если она не очень ясно понимала, что творится в ее собственной душе, то сбивали ее с толку не любовь и страсть, как Милтоуна, а разум и любопытство, разбуженные Куртье и пытающиеся неумело трепыхать крылышками. Она горевала о безнадежной любви Милтоуна; и ей тяжело было думать о миссис Ноуэл, которая терзается тоской в своем одиноком домике. Глядя на свою примерную и степенную сестру Агату, Барбара уже давно была

склонна бунтовать против общепринятой морали и отнюдь не склонна к набожности. Раз эти двое не могут быть счастливы врозь, рассуждала она, так во имя всего счастья, какое возможно на земле, пусть будут счастливы вдвоем!

Милтоун лежал на спине под кустами тамариска и смотрел в небо, а она гадала, как бы его утешить, сознавая, что не понимает его взглядов и мыслей. Позади, над полями, жаворонки песней славили зреющие хлеба; берег, обнаженный отливом, пестрел всеми красками, от ярко-зеленого до нежно-розового; у самой воды бродили черные согнутые фигурки — сборщики морского салата. В тени ветвей сладко пахло тамариском; во всем был несказанный покой. И Барбара, окутанная пестрым покрывалом света и тени, не могла без досады думать о страданиях, которые, по ее мнению, вполне можно было исцелить, — надо только действовать. Наконец она набралась храбрости:

— Жизнь коротка, Юсти!

Милтоун не пошевельнулся, но слова его ее испугали:

— Убеди меня в этом, Бэбс, и я стану тебя благословлять. Если пенье жаворонков ничего не значит и эта лазурь над головой — глупая выдум-

ка, если мы пресмыкаемся тут впустую и жизнь наша бессмысленна и бесцельна, ради всего святого, убеди меня в этом!

Барбара растерянно подняла руку, словно защищаясь.

— Не надо так! — вымолвила она. — Ты слишком мрачно на все смотришь!

— Раз ты говоришь, что жизнь коротка, тебе не следует отравлять ее жалостью, — сказал Милтоун со своей обычной улыбкой. — В старину мы шли в Тауэр за свои убеждения. Полагаю, что и сейчас мы способны потерпеть, когда нам достается; или уж нам больше ни на что не хватает пороху?

— Что действительно надо терпеть, мы вытерпим, я полагаю, — резко ответила Барбара, обиженная его насмешливым тоном, — но с какой стати самим себя мучить? Вот чего я не выношу!

— Ох, как мудро!

Барбара густо покраснела.

— Я люблю жизнь! — сказала она.

Золотые корабли заходящего солнца уже плыли на всех парусах прямо к берегу, где все еще низко сгибались черные фигурки сборщиков салата, а жаворонки еще пели над зреющими хлебами,

когда Харбинджер, скакавший по берегу из Уайтуотера к дому лорда Денниса, повстречал брата и сестру, молча возвращавшихся домой обедать.

Сказать, что сей молодой человек тонко чувствовал духовную температуру, значило бы погрешить против истины; но он в этом был не так уж виноват: ведь с самого его рождения все словно сговорилось поддерживать уровень ртути в духовном термометре окружающей его среды на тридцати градусах в тени. И если сейчас столбик ртути его собственного духа подскочил чуть ли не до точки кипения и грозил разорвать стеклянную оболочку, от этого он только еще меньше, чем всегда, способен был замечать, что творится с другими. Однако он заметил, что Барбара бледна и кажется еще прелестнее, чем обычно. С ее старшим братом Харбинджеру почему-то всегда бывало не по себе. Он не решался попросту презирать не знающее компромиссов упорство в человеке своего круга, но и его, как всех, болезненно задевало плохо скрытое язвительное презрение Милтоуна ко всякой банальности; непоколебимо уверенный в себе, как это свойственно крепким, здоровым людям, чей счастливый жребий таков, что едва ли чему-нибудь удастся поколебать эту веру, он терпеть не

мог, когда на него смотрели несколько сверху вниз. И испытал величайшее облегчение, когда Милтоун, сказав, что ему понадобился какой-то журнал, свернул к городку.

Харбинджер, как и Милтоун и Барбара, провел мучительную, беспокойную ночь. Видение в белом, с приоткрывшимися губами, самозабвенно кружащееся в объятиях Куртье, неотступно преследовало его. Танцуя последний вальс с Барбарой, он ожесточенно молчал; ему стоило огромного труда удержаться от едких намеков на «рыжего бахвала», как он втайне прозвал рыцаря безнадежных битв. То, что он чувствовал на балу и после, в сущности, было откровением, вернее, стало бы откровением, умей Харбинджер взглянуть на себя со стороны. Правда, на другой день он держался, по обыкновению, уверенно и небрежно, — ведь не станешь выставлять свои чувства напоказ, — но в нем бушевала такая жгучая, бешеная ревность, что можно было его только пожалеть. Мужчины его склада, рослые, сильные, напористые, отнюдь не отличаются терпением. Шагая с бала домой, он решил поехать за Барбарой к морю, ибо она не без умысла сказала ему, что уезжает. После второй бессонной ночи он больше не колебался. Он должен ее увидеть!

В конце концов, может же человек поехать в собственное имение, а если причины такой поспешности чересчур ясны — что ж, пусть. Ясны? Чем ясней, тем лучше! В нем пробуждалась чисто мужская упрямая и грубая решимость. Нет, она от него не ускользнет!

Но теперь, когда он, ведя лошадь в поводу, шел рядом с Барбарой, вся его решимость и уверенность растаяли, уступив место растерянной робости. Он шел повесив голову, и ему было больно, что она так близко и все же так от него далеко; он злился на свою немоту и неловкость, едва ли не злился и на Барбару за то, что она так хороша и этим заставляет его страдать. Когда они дошли до дома Фитц-Харолдов и Барбара оставила Харбинджера у конюшни, сказав, что ей надо еще нарвать цветов, он с сердцем дернул уздечку и выругал лошадь, которая не сразу пошла в стойло. Его приводила в ужас мысль, что он может уже не застать Барбару в саду, и в то же время он почти боялся найти ее там. Но она все еще рвала гвоздики у живой изгороди, по дороге к оранжерее. А когда кончила и выпрямилась, Харбинджер, сам не зная, что делает, стиснул ее в объятиях и начал неистово целовать.

Барбара как будто и не сопротивлялась, гу-

бы ее оставались безответными, нежные щеки разгорались все жарче; но вдруг Харбинджер отпрянул, и сердце его остановилось от ужаса перед собственной непоправимой дерзостью. Что же он натворил! Барбара прижалась к изгороди, почти утонув в подстриженных кустах букса, и он услышал ее чуть насмешливый голос:

— Ну и ну!

Он готов был упасть на колени, умоляя о прощении, только страх, что кто-нибудь пройдет и увидит, удержал его.

— О господи, я сошел с ума! — пробормотал он и мрачно застыл, страшась собственного безрассудства.

— Это верно, — услышал он тихий ответ.

И, видя, что она приложила руку к губам, как бы стараясь утишить боль, с усилием прошептал:

— Простите меня, Бэбс!

Долгая минута прошла в молчании, он больше не смел поднять на нее глаза и не мог совладать со своим волнением. И наконец в растерянности услышал ее слова:

— Я не сержусь — на сей раз.

Он изумленно вскинул глаза. Как может она говорить так спокойно, если любит его! А если не любит, как может не сердиться!

Она провела ладонями по лицу, пригладила волосы, поправила воротник, приводя себя в порядок после его поцелуев. Затем предложила:

— Пойдемте в дом?

Харбинджер шагнул к ней.

— Я так люблю вас! — сказал он. — Я готов отдать в ваши руки свою жизнь, а вам она не нужна.

Он сам не очень понимал, что говорит, а у Барбары эти слова вызвали улыбку.

— Если я позволю вам подойти ближе чем на три шага, будете вы вести себя прилично?

Он поклонился, и они молча пошли к дому.

За обеденным столом в тот вечер ощущалась какая-то странная неловкость. Но если ни Милтоун, ни лорд Деннис не могли понять, что за комедия разыгрывается у них на глазах, то леди Кастерли была достаточно проницательна; и когда Харбинджер пустился на своем скакуне в обратный путь через пески, она, взяв свечу, позвала Барбару к себе. Введя внучку в комнаты, всегда отводившиеся ей в дни ее пребывания в этом доме и обставленные по ее вкусу, то есть почти пустые, леди Кастерли села, по-хозяйски придирчиво оглядела высокую, стройную фигуру девушки и сказала:

— Итак, хоть ты становишься благоразумной. Поцелуй меня.

Наклонившись к ней для этого священнодействия, Барбара увидела одинокую слезу, скользящую вдоль точеного носа. Понимая, что заметить слезу было бы ужасно, она выпрямилась и отошла к окну. И, глядя на темные поля и темное море, по берегу которого Харбинджер в эти минуты возвращался домой, она прижала руку к губам и в сотый раз подумала: «Так вот как это бывает!»

Глава VI

Спустя три дня после своего первого и, как он себе пообещал, последнего великосветского бала Куртье получил записку от Одри Ноуэл: она писала, что уехала из Монкленда и сняла квартирку на набережной, неподалеку от Вестминстера.

В тот же день он пошел к ней мимо здания парламента, сверкавшего в лучах июльского солнца, согревшего эти стены, которые всегда дышат суровой торжественностью. Куртье на ходу подозрительно на них покосился. Вид этих башен всегда вызывал у него двойственное чувство. Он был не настолько поэтом, чтобы усмотреть в них

всего лишь живописный силуэт на фоне неба, но в достаточной мере поэтом, чтобы ему страстно хотелось дать чему-то или кому-то пинка; в таком настроении он и вышел на набережную.

Миссис Ноуэл не оказалось дома, но горничная сказала, что она скоро вернется, и Куртье решил подождать. Квартирка была на втором этаже, окнами на реку, и, видимо, была снята вместе с обстановкой: заметны были следы недавней борьбы со вкусами, уцелевшими от царствования Эдуарда, Георгов и королевы Виктории. Знаком явной победы в этой борьбе оказалась розовая кушетка в нише у окна, очень удобная и вполне современная, на которой Куртье и уселся, по привычке бывалого солдата не упускать ни минуты отдыха.

Когда-то он относился покровительственно к удивительно миловидной темноволосой девочке; теперь к этому чувству прибавилась не только рыцарственная жалость отзывчивого человека к женщине, сраженной несчастьем, но еще и гнев, естественный для того, кто, по самому складу своего характера, никогда не чувствовал себя угнетенным и возмущается, когда видит, как тиранят и угнетают других.

Еще смутно различимые в сумерках серые баш-

ни, под сенью которых заседали Милтоун и его отец, вызывали у Куртье немалую досаду; в его глазах это был символ власти, заклятого врага его бессмертной возлюбленной — сладостной, нескончаемой и безнадежной битвы за свободу. Но скоро река, наполняемая вольными водами, что омывали несчетные берега, касались всех песков, видели, как восходят и закатываются любые судьбы, так успокоила его своим беззвучным гимном свободе, что, когда Одри Ноуэл с охапкой цветов вошла в комнату, он спал крепким сном, плотно сжав губы.

Неслышно положив цветы, она стала ждать, когда он проснется. Это живое, подвижное лицо с выдающимся подбородком, огненными усами и бровями, сходящимися римской пятеркой над сомкнутыми веками, даже во сне сохраняло выражение веселого вызова; и, должно быть, во всем Лондоне не нашлось бы ему большей противоположности, чем лицо этой женщины в раме мягких темных волос — нежное, покорное, дышащее радостью при виде единственного человека на свете, от которого она, не теряя уважения к себе, могла узнать хоть что-нибудь о Милтоуне.

Наконец он проснулся и без малейшего смущения сказал:

— Это так похоже на вас — не разбудить!

Они долго сидели и разговаривали под ровный, дремотный шумок с набережной, в дремотном аромате цветов, наполняющем комнату; и когда Куртье ушел, сердце его ныло. Одри ни слова не сказала о себе, почти все время она говорила о Барбаре, восхищалась ее красотой и жизнерадостностью; раза два она вдруг бледнела, и видно было, с какой затаенной жадностью впитывает она каждое мелькомброшенное слово о Милтоуне. Несомненно, она все так же любила его, хоть и старалась этого не показывать. Куртье жалел ее теперь почти яростно.

В таком настроении, одолеваемый еще иными противоречивыми чувствами, он надел фрак и отправился на последний в этом сезоне прием в особняк Вэллисов — в такое позднее время, в конце июля, прием этот, по необходимости, носил сугубо политический характер.

Поднимаясь по широкой сверкающей лестнице, на которой так часто сбивалась со счета Энн, он припомнил картинку «Ступени, ведущие к небесам», висевшую в его детской тридцать четыре года назад. На верхней площадке он увидел Харбинджера, окруженного приятелями, тот сухо ему кивнул. Ревнивому глазу Куртье этот

красивый, статный молодой человек показался еще более преуспевающим и самодовольным, чем всегда; и он, едко усмехаясь, прошел мимо и, лавируя в толпе, направился к леди Вэллис, которая, точно генерал, стояла на небольшом свободном пространстве, где непрерывно сходились и вновь расходились, подобно лучам звезды, вереницы гостей. Хозяйка дома выглядела прекрасно, простор и сверкающий мрамор очень гармонировали со всем ее обликом; она поздоровалась с Куртье особенно сердечно, — тут было не только желание подбодрить залетную птицу, которая в этом доме, наверно, чувствует себя чужой, но еще, пожалуй, и некая дипломатия, потому что ей и хотелось его обезоружить, и страшновато было нечаянным словом задеть его и сделать еще более опасным. Она сказала, что слышала, будто он собирается в Персию, и выразила надежду, что он не намерен осложнять и без того трудное положение; затем со словами: «Так мило с вашей стороны, что вы пришли!» — она вернулась к своим обязанностям генерала на поле сражения.

Поняв, что разговор с ним окончен, Куртье отошел к стене и принялся наблюдать. Стоя здесь, в стороне от всех, он напоминал одинокую кукушку, следящую, как кружит в воздухе стая

грачей. Ему, столь далекому от правил и обычаев Вестминстера, вся эта суета казалась не слишком осмысленной. Он слышал, как спорили о речи Милтоуна, подлинное значение которой они только сейчас поняли. До его ушей доносились слова: «доктринер», «экстремист», а вместе с тем — «новая сила». Речь Милтоуна их явно озадачила, обеспокоила, неприятно удивила, словно среди привычных созвездий вдруг появилось неведомое доныне светило.

Отыскивая взглядом в толпе Барбару, Куртье все время чувствовал себя пристыженным. С какой стати он затесался в это глубоко чуждое ему общество — только затем, чтобы ее увидеть? С какой стати вообще он томится по этой девушке, в душе прекрасно зная, что он и недели не вытерпел бы в атмосфере, где дышит она, а она не смогла бы дышать там, куда он мог бы ее привести; да и все равно из-за него ее сердце никогда не забьется сильнее: ведь он вдвое старше ее!

— Мистер Куртье! — раздалось позади него.

Он обернулся и увидел Барбару.

— Мне надо с вами серьезно поговорить. Пройдемте в галерею, хорошо?

Когда наконец они очутились подле семейного портрета Карадоков георгианской эпохи,

в достаточном отдалении от толпы, Барбара заговорила:

— Милтоун ужасно несчастен, и я не знаю, чем ему помочь. Он просто убивает себя!

И неожиданно снизу вверх поглядела на Куртье. В эту минуту она показалась ему очень юной и трогательной. В глазах ее светилось совсем детское доверие, словно она ждала, что он распутает все узлы, поможет ей понять не только беду Милтоуна, но и всю жизнь, ее смысл и секрет — как быть счастливой. И он сказал мягко:

— Что же я могу сделать? Миссис Ноуэл в Лондоне. Но это не поможет, если только… — И он умолк, не зная, как докончить фразу.

— Была бы я на месте Милтоуна… — прошептала Барбара.

Странно прозвучали эти слова; Куртье стоило большого труда не взять в свои ее руки, которые были так близко. Бунтарская вспышка Барбары отозвалась в нем жарким волнением. Но она, словно поняв, что в нем происходит, сказала холодно:

— Все это бесполезно; с моей стороны глупо было вас беспокоить.

— Вы никак не можете меня обеспокоить.

Она перестала рассматривать собственную

перчатку и вдруг посмотрела ему прямо в глаза:

— Это правда, что вы едете в Персию?

— Да.

— Но я не хочу, чтобы вы сейчас уезжали! — сказала Барбара и, повернувшись, быстро вышла из галереи.

Необычно взволнованный, Куртье остался недвижим и вопросительно посмотрел в суровые лица Карадоков.

— Недурная живопись, правда? — раздался голос.

Куртье обернулся — за ним стоял Харбинджер. И снова ему вспомнились слова леди Кастерли; вспомнились двое на балконе, над толпой в день выборов, взявшиеся за руки; встрепенулась острая ревность к этому молодому красивому великану, вся враждебность к тому, в ком Куртье чутьем угадывал умение всегда сражаться на стороне победителей; мысль, что сам он ведет борьбу безнадежную, и сомнение, вправе ли он ее вести, — все это разом вспыхнуло в душе Куртье, и он ответил Харбинджеру молчаливым взглядом в упор. На лице Харбинджера сквозь светскую маску медленно проступило упрямое бешенство.

— Я сказал: «Недурная живопись, правда?» — мистер Куртье.

— Я слышал.

— И что вы соблаговолили ответить?

— Ничего.

— Учтивость, какой от вас и следовало ожидать.

— Если вам угодно разговаривать в таком духе, — с холодным презрением отозвался Куртье, — прошу выбрать место, где я смогу вам ответить.

Он круто повернулся и пошел прочь.

Но, выходя из этого дома, он скрипел зубами.

На выжженной солнцем траве в Гайд-парке не было ни росинки; звезды в небе затянуло пеленой зноя и пыли. Никогда еще Куртье так не жаждал утешения, какое обретаешь, только глядя на небо, благословенного ощущения собственной ничтожности перед лицом темной красоты ночи, которая утишает пустую злобу и нетерпеливые желания, приобщает людей к своему величию, возвышает их и облагораживает.

Глава VII

На другой день в пятом часу Барбара вышла из лондонского особняка Вэллисов; она шла по улице в скромном желтом платье, в котором

надеялась не привлекать внимания, и все взоры обращались на нее. Скоро она взяла такси, доехала до Темпла, остановила машину у входа со стороны Стрэнда и узким проулком вошла в самое сердце обители закона. Слуги его потоком устремлялись из судебных зал и адвокатских контор, спеша подкрепиться чаем, или мчались к Лорду и в Парк — то были молодые слуги закона, еще не подвластные чарам славы или высоких гонораров. И у каждого при виде Барбары чесались руки от желания снять шляпу, и каждый с первого взгляда знал, что это и есть Она. Да и возможно ли иное чувство, если после долгого дня, отданного судебным делам и прецедентам и усилиям понять, велики ли у А шансы отстоять свои права, а у Б — помешать ему в этом, перед тобою вдруг возникает такое невозмутимо спокойное видение, подобное шествующему по земле гибкому золотому деревцу. Один молодой человек, у которого Барбара спросила, как пройти к Милтоуну, застенчиво и церемонно показав ей дорогу, глядел вслед, пока она поднималась по пыльным ступеням, и еще помедлил в надежде, что она не застанет того, к кому пришла, и, возвращаясь, может быть, спросит у него дорогу к выходу. Но она не вернулась, и он печально

побрел прочь, потрясенный до самых недр души — единственного своего достояния.

А между тем на стук Барбары никто не ответил, но, заметив, что дверь не заперта, она через прихожую, мимо каморки секретаря, превращенной в кухоньку, прошла в приемную. Она никогда еще не бывала у Милтоуна и теперь с любопытством осматривалась. Так как Милтоун не практиковал, многих необходимых принадлежностей адвокатской конторы тут не было. Потертый ковер на полу, несколько старых стульев да по стенам, до самого потолка, полки с книгами — вот и вся обстановка. Но простенок между окон занимала громадная карта Англии, сплошь исчерченная какими-то цифрами и крестиками, а перед нею на большущем столе громоздились стопками листы бумаги, исписанные четким, заостренным почерком Милтоуна. Барбара поглядела на них, наморщив лоб; она знала, что Милтоун работает над книгой по земельному вопросу, но никогда не подозревала, что для книги надо так много писать. На поместительном бюро лежала груда газет и Синих книг и стояли бронзовые бюсты Эсхила и Данте.

«До чего же неуютно!» — подумала Барбара. Самый воздух этой комнаты давил и угнетал ее. Из

окна она увидела во дворе несколько цветочков, и ее отчаянно потянуло туда. Потом ей послышался за спиной чей-то голос. Но в комнате никого не было; а все-таки неведомо откуда доносился одинокий голос, произносящий какие-то отрывочные слова, и это было так жутко, что Барбара отступила к двери. Странные звуки, словно две тени переговаривались одним и тем же голосом, стали громче, и Барбара невольно покосилась на бронзовые бюсты. Но и у Эсхила и у Данте вид был самый невинный. Когда она стояла у окна, голос слышался у нее за спиной, теперь, когда она отошла к двери, он опять слышался сзади; и вдруг она поняла, что он доносится из-за книжных полок, посредине стены. Барбара унаследовала отцовское мужество; она подошла к полкам и увидела, что они прикреплены к приотворенной двери, которую собою закрывают. Барбара потянула дверь и вошла в соседнюю комнату. Это была неприбранная спальня, и по ней из угла в угол шагал Милтоун в одной сорочке и брюках. Он был босой, с волос капала вода; Барбара взглянула в его худое, потемневшее лицо, и у нее защемило сердце. Она подбежала к брату и взяла его за руку. Рука была горячая, как огонь, но глаза при виде Барбары словно оледенели, и он умолк, И от этой

обжигающей руки и ледяного молчания Барбаре стало страшно. В замешательстве она свободной рукой коснулась его лба. Он тоже горел огнем.

— Зачем ты пришла? — спросил Милтоун.

Она едва сумела прошептать:

— Ох, Юсти! Ты болен?

Горячими руками он сжал ее запястья:

— Это ничего. Я слишком напряженно работал; меня немного лихорадит.

— Это я вижу, — сказала Барбара. — Тебе надо лечь в постель. Поедем домой.

Милтоун улыбнулся:

— Это не тот случай, когда зовут лекарей.

От его улыбки, от голоса Барбару пробрала дрожь.

— Я не оставлю тебя тут одного, — сказала она.

Милтоун крепче стиснул ее руки:

— Дорогая моя Бэбс, ты сделаешь, как я велю. Иди домой, держи язык за зубами и дай мне спокойно перегореть.

Барбара не поморщилась, хотя руки были как в тисках; к ней вернулось самообладание.

— Но ты должен пойти со мной! У тебя тут ничего нет, даже освежающего питья!

— О господи! Как же без ячменной воды!

Презрение, прозвучавшее в этих словах, было

куда убийственней любых филиппик по поводу спасительности житейских удобств. Барбара, уязвленная, замолкла. Он выпустил ее руки и вновь принялся шагать из угла в угол, но вдруг остановился:

— «Во тьме ни солнца, ни звезды,

Пустынной дали нет конца,

Ни хлеба, ни глотка воды,

Лишь тьма касается лица». — Надо читать Блейка, Одри.

Испуганная Барбара почти выбежала из комнаты. Через приемную и коридор вышла на лестницу. Он болен… Бредит! Казалось, лихорадка, палившая Милтоуна, через жаркие тиски его рук проникла и в ее кровь. Лицо ее горело, мысли путались, дыхание прерывалось. В ней смешались и обида на брата, и горькая жалость к нему; и снова обжигало воспоминание о поцелуях Харбинджера.

Она сбежала с лестницы, пошла, не сознавая, куда идет, и скоро очутилась на набережной. И вдруг, со своей обычной способностью быстро принимать решения, окликнула такси и поехала к ближайшему телефону.

Глава VIII

Женщине, подобно Одри Ноуэл, созданной для того, чтобы стать чьим-то дополнением и отражением, которой чужды самостоятельность, стремление чего-то достичь, заняться какими-то важными делами, резкая перемена образа жизни, даже если она решается на такой шаг по доброй воле, дается очень нелегко.

Лишенная знакомых лиц, цветов, дружеского дыхания липы, бедняков, которым надо помогать, лишенная однообразных мелких хлопот по дому — опоры и утешения одиноких женщин, — она чувствовала себя потерянной и никому не нужной. Даже статьи для музыкального обозрения, казалось, уже не занимали ее. Она никогда не жила в Лондоне, у нее не было здесь любимых уголков и связанных с ними привычек; все надо было создавать заново, а чтобы создать привычки и найти любимые уголки, надо иметь сердце, способное хотя бы протянуть щупальца и коснуться окружающего мира, у ее же сердца сейчас не было на это сил. Она воевала со старомодной обстановкой своей квартиры и налаживала распорядок своих неприхотливых

трапез, а покончив с этим, растерялась, точно узник, выпущенный из тюрьмы, который должен начинать жизнь сначала. Ей даже не надо было скрывать свои чувства из страха кого-то обеспокоить, этой надежной опоры она тоже была лишена. Она оказалась наедине со своей тоской и горем — и некому и нечему было отвлечь ее от нее самой. Но поскольку она сама поставила себя в такое положение, она старалась переносить его с честью, и, во всяком случае, это было не так нестерпимо, как оставаться в Монкленде, где она совершила такую горькую, непростительную ошибку — позволила себе полюбить.

В грехе этом, как и в другом тяжком, непростительном грехе — в своем замужестве, женщина, наделенная великим талантом быть счастливой и дарить счастье, оказалась повинной потому, что слишком легко покорялась чужой воле. Но слабое это было утешение — сознавать, что желание любить и быть любимой дважды разбивало ее жизнь. Из чего бы ни возникло полудетское чувство, побудившее ее в двадцать лет выйти за преподобного Ноуэла, в ее любви к Милтоуну была не просто покорность, а страстное самоотречение. Она жаждала поступать так, как будет лучше для него, и не могла даже утешаться мыс-

лью, что ее жертва принесла ему счастье. От нее ничего не зависело! И, однако, неизменно покорная судьбе, она даже и в душе не бунтовала. Быть может, ей было суждено пятьдесят, а то и шестьдесят лет вести бесплодную, пустую, тоскливую жизнь, искупая ту первую ошибку юности, но если и так, бунтовать все равно было ей несвойственно. Если же она и могла взбунтоваться, то не в мыслях, а на деле. Отвлеченные теории были ей чужды; она не тратила сил на невеселые раздумья о том, справедлива ли ее участь, а лишь старалась примириться с ней.

Назавтра после посещения Куртье она весь день провела в Национальной галерее, — казалось, во всем Лондоне это было ее единственное прибежище. Один портрет кисти какого-то итальянского художника напомнил ей Милтоуна, и она так долго сидела перед ним, что подагрический старик — смотритель зала — стал коситься на нее. Эта женщина с мягким овалом лица, вся ее печальная красота возбудили в нем и любопытство, и кое-какие нравственные сомнения. Безусловно, она ждет любовника. Смотритель по опыту знал, что не станет женщина сидеть так долго перед одной и той же картиной, если у нее нет для этого особого повода; и он глядел в оба, решив

узнать, каков собой этот повод. И ощутил горькое разочарование, когда, вновь обходя зал, увидел, что эта пара избежала его бдительного ока. Так как он весь день провел на ногах, они порядком ныли, и он опустился на мягкую скамью, где прежде сидела посетительница, и невольно тоже стал смотреть на картину. Она была написана в манере, которая ему вовсе не нравилась, и лицо изображенного на ней человека показалось ему странным: как будто этого джентльмена что-то грызет изнутри. Но, просидев так недолгое время, смотритель вдруг заметил, что та женщина стоит подле картины, а нарисованный джентльмен что-то ей говорит, неслышно шевеля губами. Это уже было против правил, и смотритель тотчас поднялся и направился к ним, но почувствовал, что глаза его закрыты, и поспешно их открыл. У картины никого не было.

После Национальной галереи Одри пошла в кондитерскую выпить чаю, а оттуда домой. У подъезда стояло такси, и горничная сообщила, что в гостиной дожидается леди Карадок.

И в самом деле, посреди комнаты стояла Барбара; в лице у нее, как иной раз у ее отца на скачках, на охоте или на бурных заседаниях кабинета министров, были и тревога и решимость.

— Я узнала ваш адрес у мистера Куртье, — тотчас начала она. — Мой брат заболел. Боюсь, что у него горячка, вам надо сейчас же ехать к нему в Темпл; нельзя терять ни минуты.

Комната поплыла перед глазами Одри; и, однако, все ее чувства сверхъестественно обострились, она даже различала доносящийся с реки запах илистого берега, обнаженного отливом. Она сказала дрожащим голосом:

— Я поеду… да, я сейчас же поеду.

— Он совсем один. Он не просил вас позвать; но мне кажется, одна надежда — на вашу помощь. Он принял меня за вас. Когда-то вы мне говорили, что вы неплохая сиделка.

— Да.

Стены уже не плыли перед глазами, но сверхъестественная острота чувств исчезла, все словно окутал туман. Смутно донесся голос Барбары:

— Я довезу вас до самого дома.

— Я сейчас, — пробормотала Одри и ушла в спальню.

Минуту она стояла в растерянности, опустив руки. Потом все мысли захлестнула странная, тихая, почти мучительная радость. Она сразу словно преобразилась; и быстро, обдуманно, без суетливости она стала собираться. Уложила в

чемодан самое необходимое для себя; затем — фланель, вату, одеколон, грелку, спиртовку, плед, термометр — все, что могло пригодиться для ухода за больным. Переоделась в простое, скромное платье и с чемоданом в руках вышла к Барбаре. Они сели в такси. И едва оно тронулось, приближая ее к испытанию, столь желанному и столь страшному, Одри вновь охватил ужас, и, молча, бледная как полотно, она забилась в угол. Потом услышала, как Барбара окликнула шофера:

— Поезжайте через Стрэнд и остановитесь у мясной, нам нужен лед.

И когда им подали ящик со льдом, вновь послышался голос Барбары:

— Если он в самом деле серьезно заболеет, я доставлю вам все, что вы скажете.

Наконец они доехали. Одри увидела распахнутую дверь и лестницу, и тут к ней вернулось мужество.

Теплая рука Барбары сжала ее руку, — и, подхватив чемодан и ящик со льдом, Одри стала поспешно подниматься по ступеням.

Глава IX

Покинув Нетлфолд, Милтоун возвратился к себе и тотчас принялся за работу над своей книгой по земельному вопросу. Он работал всю ночь напролет — это была уже третья бессонная ночь — и весь следующий день. К вечеру он почувствовал, что у него тяжелая голова, вышел из дому и прошелся взад и вперед по набережной. Потом, опасаясь, что будет ворочаться в постели без сна, сел в кресло. Так, сидя, и уснул, но его мучили страшные сны, и, проснувшись, он не почувствовал облегчения. Приняв ванну, выпил кофе и опять заставил себя взяться за работу. Среди дня он совсем обессилел, голова непрестанно кружилась, но есть ничуть не хотелось. Он вышел на раскаленный солнцем Стрэнд, купил понадобившуюся ему книгу, выпил еще стакан кофе и, возвратясь домой, опять сел за работу. Часа в четыре он поймал себя на том, что тупо смотрит на строчки, не понимая ни слова. Лоб и виски горели, он пошел и подставил голову под кран. А потом, сам этого не заметив, начал ходить взад и вперед по спальне и разговаривать сам с собой; и так его застала Барбара.

Едва она ушла, силы совсем оставили его. Над кроватью висело небольшое распятие; Милтоун бросился на колени и замер, зарывшись лицом в постель, протянув руки к стене. Он не молился, только жаждал покоя. Оцепенелый мозг его изредка молниями пронизывали какие-то фантастические образы. А потом он уже ничего не чувствовал, кроме бесконечной тошнотворной слабости, и воля его возмутилась. Нет, он не поддастся болезни, это просто смешно — обратиться в беспомощный чурбан и чтоб с тобой нянчились женщины. Но приступы слабости возвращались все чаще, не отпускали все дольше, и в надежде прогнать их Милтоун поднялся и некоторое время опять шагал по комнате; потом закружилась голова, и пришлось сесть на постель, чтобы не упасть. Жар сменился ледяным ознобом, и он рад был натянуть на себя одеяло. Потом его снова бросило в жар; но инстинкт больного подсказал ему, что надо не раскрываться и лежать тихо. Комнату заполнила какая-то вязкая белая масса; она тучей окутала Милтоуна, и он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Обоняние и слух неестественно обострились; он чувствовал запахи дальних улиц, цветов, пыли, кожаных переплетов, даже слабый запах духов, оставшийся после ухода Бар-

бары, и запах ила, которым тянуло с реки. Часы пробили шесть, он сосчитал удары; и сразу весь мир наполнился боем часов, топотом конских копыт, велосипедными звонками, шарканьем ног. Зато видеть он ничего не видел, кроме окутавшей его белой, плотной, как одеяло, тучи, которая под глухой, непрестанный стук множества молотков подняла его высоко над землей. На поверхности тучи засверкали несчетные золотые пятнышки; они шевелились, и Милтоун понял, что это жабы. Потом за ними возникло огромное, темное, словно отлитое из бронзы лицо с огненными глазами, которые жгли ему мозг. И чем отчаянней Милтоун старался уйти от этих глаз, тем неотступней они сверлили его и жгли. Крикнуть он не мог, у него не было голоса, и внезапно этот грозный лик надвинулся на него.

Когда он очнулся, голова у него была влажная — кто-то, склонясь над ним, придерживал у него на лбу что-то мокрое. Подняв руку, он коснулся чьей-то щеки, услышал всхлип, мгновенно подавленный, и вздохнул. Легкие руки тихо сжали его руку, нежные губы коснулись ее.

В комнате было так темно, что он не различал ее лица, да и в глазах стоял туман; но он слышал ее дыхание, и шорох платья, и малейшее движе-

ние; благоухание ее рук и волос окутывало его, и, как ни мучительна была лихорадка, железный обруч, казалось, уже не так сжимал его мозг. Он не спрашивал, давно ли она здесь, и лежал совсем тихо, стараясь не сводить с нее глаз, в страхе, что тот грозный лик, притаившийся где-то, вновь надвинется на него. Потом вдруг почувствовал, что больше не в силах отгонять это видение, и, знаком подозвав ее, прильнул к ней, ища защиты у нее на груди. На этот раз обморок длился не так долго; потом начался бред, но в минуты просветления он сознавал, что она здесь, и при огоньке затененной свечи видел, как она легко, словно по воздуху, проходит мимо в своей белой одежде или сидит неподвижно, прикрыв его руку своей; и даже радовался, ощущая на голове пузырь со льдом или запах одеколона. И снова переставал сознавать, что она здесь, и погружался в непонятный и страшный мир, где распятие, висевшее над кроватью, вдруг распухало и наклонялось, готовое рухнуть на него. Он решил, что надо сбросить распятие; это желание обуревало его все сильнее, и наконец с великим трудом он приподнялся и сорвал его со стены. И, однако, даже в самых мрачных своих странствиях по той неведомой стране он каким-то чудом все же сознавал, что

она где-то рядом; а однажды она оказалась там вместе с ним, в таинственном сиянии открылись перед ним поля и деревья, темная полоса вересковой пустоши и лучезарное море, и все сверкало белым, чарующим и ослепительным блеском.

На рассвете сознание вернулось к нему надолго, и он с удивлением увидел ее на низеньком стуле у его кровати. Она сидела совсем тихо, в белом свободном платье, бледная от бессонной ночи, не сводя с него глаз, плотно сжав губы и вздрагивая при малейшем его движении. И он жадно впивал прелесть этого лица, дышавшего беззаветным самоотречением.

Глава X

Барбара никому больше не сказала о болезни брата, здравый смысл подсказывал ей, что опасно было бы потревожить его уединение. Она сама пригласила к нему доктора и дважды в день заходила справиться о нем у Одри.

Родители на время Гудвудских скачек уехали к лорду Деннису, и надо было лишь как-то объяснить, почему она сама на сей раз пропускает это излюбленное развлечение. Барбара прибегла к полуправде, сказав, что Юстас просил ее остаться

в городе; и поскольку лорд и леди Вэллис все еще чувствовали себя неловко после того, что произошло со старшим сыном, этого предлога оказалось достаточно.

Только на шестой день, когда кризис уже миновал и температура упала, Барбара возвратилась в Нетлфолд.

Здесь она прежде всего осведомилась, дома ли мать, и застала ее в спальне. Леди Вэллис отдыхала после Гудвуда, где жара была отчаянная.

Барбара не боялась матери, она вообще никого на свете не боялась, кроме Милтоуна, да, пожалуй, немножко побаивалась Куртье; и все же, когда горничная вышла, она не сразу начала свой рассказ. Леди Вэллис, только что услыхавшая в Гудвуде подробности последнего великосветского скандала, начала делиться с нею этой новостью, заботливо опуская все не подходящее для девичьего слуха — не поделиться ни с кем было свыше ее сил.

— Мама, — неожиданно сказала Барбара, — Юстас был болен. Сейчас он уже вне опасности и быстро поправляется. — И, в упор глядя на растерявшуюся леди Вэллис, прибавила: — За ним ухаживает миссис Ноуэл.

Прошедшее время, в котором было упомянуто

о болезни, сразу же успокоило тревогу, охватившую было леди Вэллис, и на смену пришло смятение, вызванное последними словами Барбары. Она собиралась утолить свойственную всем смертным слабость, посплетничав на чужой счет, а вместо этого сплетня и скандал угрожали ей самой и ее семье, — положение не из приятных. Если женщина ухаживает за больным при подобных обстоятельствах, значит, она ему ближе всех, так рассудят люди. А дочь между тем продолжала:

— Это я привела ее к Милтоуну. Другого выхода не было; ведь это все оттого, что он измучился из-за нее. Разумеется, никто ничего не знает, кроме доктора и… Стейси.

— Боже милостивый! — прошептала леди Вэллис.

— Это его спасло.

В леди Вэллис вдруг проснулся страх за сына.

— А ты говоришь правду, Бэбс? Опасность в самом деле миновала? Как нехорошо, что ты ничего мне не сказала раньше!

Но Барбара и бровью не повела; и мать вновь погрузилась в раздумье.

— Стейси просто дрянь! — неожиданно сказала она. В очищенной от всего неподходящего ис-

тории, которую она начала было рассказывать дочери, тоже, как полагается, не обошлось без горничной. Но на сей раз она не уловила комичность такого совпадения. Тут она заметила, что Барбара улыбается, и сказала резко: — Не вижу ничего смешного.

— Нет, мамочка, я только думала, что тебе будет приятно, если я припутаю к этому Стейси.

— Как! Значит, она ничего не знает?

— Ровным счетом ничего.

Леди Вэллис улыбнулась.

— Ты скверная девчонка, Бэбс! — И лукаво прибавила: — Поди переоденься. Сегодня у нас будут Клод с матерью, они с Берти и Лили Мэлвизин приедут из Уайтуотера.

И она так зорко и пытливо посмотрела на дочь, что та залилась румянцем.

Когда Барбара ушла, леди Вэллис позвонила горничной и снова погрузилась в размышления. Сперва она подумала, что надо бы посоветоваться с мужем; затем — что в скрытности сила. Раз уж никто, кроме Бэбс, ничего не знает, пусть никто ничего и не узнает.

Проницательность и жизненный опыт подсказывали ей, что тут возможны далеко идущие последствия. Нельзя допустить ни единого лож-

ного шага. Если ей надо будет следить только за собой и за Барбарой, не опасаясь еще чьего-либо вмешательства, легче избежать ошибки. Странная путаница мыслей и чувств поднялась у нее в душе, почти смешная и едва ли не трагическая: тут были и благоразумие светской женщины, и материнская любовь, искреннее сочувствие всем влюбленным, и трезвая забота о карьере сына. Быть может, еще не поздно предотвратить непоправимое; ведь все в один голос твердят, что эта женщина отнюдь не авантюристка. И ни в коем случае не следует забывать, что она ухаживала за ним во время болезни, спасла ему жизнь, как говорит Барбара! Необходимо отнестись к ней с должной добротой и уважением.

Леди Вэллис поспешила закончить свой туалет, и теперь она, в свою очередь, пошла к дочери.

Барбара, уже одетая, облокотилась на подоконник и глядела на море.

— Скажи, дружок, Юстас уже встал с постели? — почти робко начала леди Вэллис.

— Ему разрешено подняться сегодня на час-другой.

— Понимаю. А ему не повредит, если мы с тобой попробуем заменить миссис Ноуэл?

— Бедный Юсти!

— Да, да. Но постарайся рассуждать здраво. Ему от этого не станет хуже?

Барбара помолчала.

— Нет, — сказала она наконец, — думаю, что теперь опасности никакой нет; но это может решить только доктор.

Леди Вэллис вздохнула с облегчением.

— Ну, разумеется, прежде всего мы посоветуемся с доктором. Я полагаю, на первое время Юстасу понадобится самая обыкновенная сиделка. — Она украдкой взглянула на дочь и прибавила: — Я постараюсь обойтись с нею как можно деликатнее. Но пойми, Бэбс, нельзя давать волю романтическому воображению.

Улыбка, чуть тронувшая губы дочери, отнюдь не успокоила ее, напротив, в ней ожили все недавние страхи за Барбару, ощущение, что и она, как Милтоун, вот-вот решится на какую-нибудь сумасбродную выходку.

— Ну, я иду вниз, дорогая, — сказала она.

Но Барбара еще помедлила в спальне, где десять ночей назад она ворочалась без сна, пока не вскочила в отчаянии и не кинулась искать прохлады в ночных волнах. После мимолетной последней встречи с Куртье не так-то просто было вновь увидеть Харбинджера, с которым в день

приема в особняке Вэллисов она постаралась ни минуты не оставаться наедине. Она сошла вниз позже всех.

Вечером, когда в небе густо высыпали звезды, на дороге, ведущей к берегу, было много гуляющих: это были горожане, приехавшие провести у моря две недели своего отпуска. По двое, по трое и компаниями по шесть — восемь человек они шли мимо невысокой стены, ограждавшей скромные владения лорда Денниса; обрывки разговоров и смех вместе с плеском волн доносились до слуха Берти, Харбинджера, Барбары и Лили Мэлвизин, которые вышли после обеда подышать морем. Приезжие равнодушно скользили взглядом по тем четверым во фраках и вечерних туалетах; они были заняты своими мыслями и с наступлением темноты становились все молчаливее. И тем четверым тоже не хотелось разговаривать. Было что-то в этом теплом темном звездном вечере, наполненном вздохами ветра и волн, отчего разговоры стихали сами собой, и вскоре четверо разделились на пары и пошли немного поодаль друг от друга.

Харбинджер стоял у ограды, вцепившись в нее обеими руками, и ему казалось, что в мире не осталось больше слов. Даже злейший враг не

назвал бы этого молодого человека романтиком; но девушка рядом, чья щека и шея смутно белели в темноте, с небывалой остротой заставила его ощутить присутствие тайны. По натуре и по привычкам человек сугубо деловой, отлично разбирающийся во всем, что конкретно и осязаемо, он лишь смутно сознавал, что во тьме этой ночи, в темных водах моря, в смутно белеющей фигуре девушки, чье сердце тоже было для него темным и непостижимым, таится нечто… да, нечто выходящее за рамки его философии, нечто зовущее его из уютного и тесного угла в пустыню пред лицо божества. Но и это смутное сознание скоро исчезло потому, что аромат ее волос слишком мучительно волновал его, и он жаждал наконец прервать это непонятное, невыносимое молчание.

— Бэбс, — сказал он наконец, — вы меня простили?

— Да. Я ведь вам уже сказала, — ответила она спокойно, равнодушно, даже не повернув головы!

— И это все, что вы можете сказать человеку?

— О чем же нам поговорить? Как великолепно Козетта прошла круг?

У Харбинджера едва не вырвалось проклятие.

Что за враждебная сила заставляет ее так с ним обращаться! Это все тот… тот рыжий! И он вдруг начал:

— Скажите, этот… — Но слова застряли у него в горле. Нет! Если правда такова, он предпочитает ее не слышать. Всему есть предел!

Внизу, по берегу, в молчании прошли, обнявшись, влюбленные.

Барбара повернулась и пошла к дому.

Глава XI

Дни, когда Милтоуну впервые разрешили вставать с постели, были для той, что ходила за ним во время болезни, днями и радости и печали. Она была счастлива, глядя, как он сидит в кресле, удивленный собственным бессилием, но мысль, что отныне он не зависит от нее всецело, что он уже не слаб священной слабостью беспомощного существа, пробуждала в ней грусть матери, чье дитя в ней больше не нуждается. Теперь он с каждым часом будет отходить от нее все дальше, замыкаясь в твердыне своего духа. С каждым часом она все меньше будет его нянькой и утешительницей, все больше — женщиной, которую он любит. И хотя мысль эта освещала туман-

ное будущее, словно лучезарный цветок, она порождала слишком печальную неуверенность в настоящем. Притом теперь, когда тревога за Милтоуна осталась позади, Одри почувствовала, как она устала, так устала, что плохо понимала, куда идет и что делает. Но все та же неизменная улыбка светилась в ее глазах, окруженных тенями усталости, и не сходила с ее губ.

Между бронзовыми бюстами Эсхила и Данте она поставила вазочку с ландышами; и в каждом свободном уголке этого царства книг в честь выздоровления Милтоуна были поставлены розы.

Он полулежал в глубоком кожаном кресле, облаченный в турецкий халат лорда Вэллиса, — это одеяние добыла для него Барбара, отчаявшись найти в его аскетическом гардеробе что-нибудь подходящее. Аромат ландышей оказался сильнее запаха книг, и пчела, смуглая странница, заполнила комнату своим хлопотливым жужжанием.

Они молчали и только, чуть улыбаясь, смотрели друг на друга. В эти тихие минуты, пока вновь не заговорила страсть, в дремотном спокойствии летнего дня сливались их души, медлительно и нежно встречались взоры, и ни тот, ни другая не в силах были отвести глаза. Упиваясь друг другом, льнули друг к другу их души, неразделимые, как

музыка и струны, так самозабвенно теряясь одна в другой, что в эти минуты для них уже не было «я» и «ты».

* * *

Как и было решено, леди Вэллис утренним поездом вернулась в Лондон и часа в три отправилась с Барбарой в Темпл, а по дороге заглянула к доктору. Все станет много проще, если Юстаса сейчас же перевезти в их особняк; к великому ее облегчению, доктор против этого не возражал. Больной замечательно поправился, а ведь был на волосок от горячки! У лорда Милтоуна поразительно крепкий организм. Нет, против его переезда возражать не приходится. В такую жару в его теперешнем жилье слишком душно. Уход за ним превосходный — да, без сомнения! Еще бы! Тут взгляд доктора стал, пожалуй, несколько пристальней прежнего. Насколько он понимает, это не профессиональная сиделка. После переезда можно будет достать другую. Этой леди необходимо дать отдых. Совершенно верно! Что ж, сиделку он пришлет. И рекомендовал бы взять санитарную карету. Все это можно устроить сегодня же, немедля, он сам обо всем позаботится. Лорда Милтоуна можно будет увезти без особых

приготовлений, санитары уже сами будут знать, что делать. А как только у него появится хоть какой-то аппетит — к морю, немедленно к морю! В это время года нет ничего лучше! А чтоб поддержать силы, недурно бы уже сейчас прописать больному чуточку винца, самую малость, четыре раза в день во время еды — только во время еды — смешать с яйцом и тертым яблоком. Через неделю наш пациент встанет на ноги, а после двух недель у моря будет совершенно здоров. Неумеренные труды… не щадил себя… еще бы чуточку… и неизвестно, чем бы это кончилось! Да, да, совершенно верно! Перед обедом он сам еще заглянет, надо лично удостовериться, что все в порядке. Поначалу перемена обстановки все же может чуточку сказаться… На прощание доктор почтительно поклонился леди Вэллис, а когда она ушла, подсел к телефону, и на его резко очерченных губах мелькнула улыбка.

Окончательно утвердившись после этого разговора в своем решении, леди Вэллис села в автомобиль рядом с дочерью; но пока он скользил в потоке других экипажей по оживленным улицам, непривычное беспокойство вновь стало сквозить в ее всегда невозмутимых чертах.

— Хотела бы я, дружок, чтобы этот разговор

взял на себя кто-нибудь другой, — неожиданно сказала она. — Что, если Юстас откажется?

— Не откажется, — сказала Барбара. — У нее такой усталый вид, у бедняжки. И потом…

Леди Вэллис с любопытством посмотрела на юное лицо дочери, которое вдруг густо порозовело. Да, она уже не девочка, и у нее истинно женское чутье. И леди Вэллис сказала серьезно:

— Это был с твоей стороны очень опрометчивый поступок, Бэбс. Будем надеяться, что он не повлечет за собою непоправимого несчастья.

Барбара закусила губу:

— Видела бы ты, в каком он был состоянии! И какое там несчастье? Почему им нельзя любить друг друга, раз они этого хотят?

Леди Вэллис слегка поморщилась. Она и сама так думала. Но все же!..

— Это только начало, — заметила она. — Ты забываешь, какой у Юстаса характер.

— Почему эту несчастную не выпустят из клетки? — воскликнула Барбара. — Кому нужно, чтобы она жила, как в тюрьме? Мама, если я выйду замуж, а потом когда-нибудь захочу стать свободной, я своего добьюсь!

Голос ее, всегда звонкий и веселый, так странно задрожал, что леди Вэллис невольно схватила и

сжала ее руку.

— Девочка моя милая, — сказала она, — зачем такие мрачные мысли?

— Я говорю серьезно. Меня ничто не остановит.

У леди Вэллис вдруг стало суровое лицо.

— Все мы так думаем, дитя мое, а на самом дело это не так просто.

— Уж, во всяком случае, это не хуже, чем быть погребенной заживо, как несчастная миссис Ноуэл, — пробормотала Барбара.

Леди Вэллис не нашлась, что ответить.

— Доктор обещал прислать санитарную карету в четыре часа, — прошептала она. — Что я ей скажу?

— Она поймет тебя с одного взгляда. Она такая.

Дверь им отворила сама миссис Ноуэл.

Леди Вэллис впервые видела ее не на улице и посмотрела на нее не только с напускной уверенностью, прикрывавшей невольную тревогу, но и с неподдельным любопытством. Хорошенькая женщина, просто прелесть! С искренней симпатией она сказала:

— Я вам так признательна! Вы, должно быть, совсем выбились из сил. — Но тут же поспешно прибавила: — Доктор сказал, что его надо увезти

домой, здесь слишком жарко и душно. Мы подождем тут, пока вы его предупредите.

И тут она увидела, что Барбара права: эта женщина из тех, кто все понимает мгновенно.

Оставшись в полутемном коридоре, она оглянулась на Барбару. Та стояла, прислонясь к стене, запрокинув голову. Леди Вэллис не могла разглядеть ее лицо; но вдруг ей стало сильно не по себе, и она прошептала:

— Двойное убийство и кража. Прямо «Наш общий друг», Бэбс.

— Мама!

— Что?

— Какое у нее лицо! Как будто ты хочешь выбросить цветок, а он на тебя смотрит.

— Дорогая моя, — в совершенном отчаянии прошептала леди Вэллис. — Ну что ты сегодня говоришь?

Прятаться в темном коридоре, слышать взволнованный шепот дочери — как все это странно, непривычно и дико!

А потом дверь снова открылась, и она увидела Милтоуна; он полулежал в кресле, очень бледный, но в глазах его и в складке губ было все то же хорошо знакомое леди Вэллис выражение, и она сразу почувствовала себя в чем-то виноватой

и неисправимо легкомысленной.

— Я так рада, что тебе лучше, милый, — начала она почти робко. — Должно быть, это было ужасное время для тебя. Такая жалость, что я до вчерашнего дня ничего не знала!

Но ответ Милтоуна, по обыкновению, совсем сбил ее с толку.

— Благодарю! Я прекрасно провел время и, как видно, должен за это расплачиваться.

Он так улыбнулся, что бедная леди Вэллис уже не могла наклониться и поцеловать его и просто не знала, как же быть дальше. На помощь пришла истинно женская слабость, и на руку Милтоуна вдруг упала слеза.

Обнаружив эту влагу, Милтоун сказал:

— Ничего, мама. Я охотно вернусь домой.

Все еще уязвленная его тоном, леди Вэллис тотчас овладела собой. И пока шли приготовления к отъезду, исподтишка следила за ними обоими. Они почти не смотрели друг на друга, а когда ей случалось поймать такой взгляд, он приводил ее в полнейшее недоумение. Она не могла понять его, словно он был из какого-то незнакомого ей мира, этот глубокий, проникновенный взгляд.

На душе у нее стало гораздо легче, когда Милтоуна, закутанного в меха, перенесли в санитарную

карету, и она задержалась, чтобы сказать несколько слов миссис Ноуэл.

— Мы у вас в неоплатном долгу. Все могло бы кончиться много хуже. Не горюйте. Прилягте, вам нужно хорошенько отдохнуть. — И уже с порога прошептала: — Он придет поблагодарить вас, когда совсем поправится.

Спускаясь по каменным ступеням, она мысленно повторяла: «Незнакомка… Незнакомка… что и говорить, самое подходящее имя». И вдруг увидела, что навстречу почти бегом поднимается Барбара.

— Что случилось, Бэбс?

— Юстас хочет взять с собой немного ландышей, — ответила Барбара и, пройдя мимо матери, поднялась в квартирку Милтоуна.

Миссис Ноуэл уже не было в гостиной, и, подойдя к двери спальни, Бэбс заглянула туда.

Она стояла у кровати и снова и снова медленно разглаживала его подушку. Барбара схватила букетик ландышей и выбежала вон.

Глава XII

Милтоун, унаследовавший железное здоровье леди Кастерли, быстро поправлялся. И на седь-

мой день, как только у него появился аппетит, ему позволено было в сопровождении Барбары отправиться к морю.

Брат и сестра все свое время проводили в маленьком летнем домике на самом берегу; они часами лежали на песке; а когда Милтоун окреп, стали бродить среди меловых холмов и совершали дальние автомобильные прогулки.

Барбаре, зорко наблюдавшей за братом, казалось, что он почти спокойно впивает благотворное дыхание природы, стараясь набраться душевных и физических сил после тяжкой борьбы минувших недель. И однако, ее не оставляло странное ощущение, как будто его тут и нет вовсе; словно перед ней пустой дом, дожидающийся, чтобы кто-то в нем поселился.

За две недели Милтоун ни разу словом не обмолвился о миссис Ноуэл и лишь в последнее утро, когда они вместе глядели па море, сказал с обычной своей непонятной усмешкой:

— Что ж, может быть, она права, что боги древности не умерли. Ты когда-нибудь их видишь, Бэбс, или ты так же слепа и глуха, как я?

Да, конечно, гибкие волны, словно нимфы с пепельными, струящимися волосами, все снова и снова бросались в объятия земли, и было в этом

какое-то древнее языческое упоение, неизбывный восторг, страстная и нежная покорность извечной судьбе, чудесное смирение пред вечно новым таинством бытия.

Но Барбара, которую, как всегда, смутил странный тон Милтоуна и это внезапное погружение в пучину непривычных мыслей, не нашлась, что ему ответить.

А Милтоун продолжал:

— Она еще говорит: только прислушайся, и услышишь пение Аполлона. Попробуем?

Но они услышали только дыхание моря да вздохи ветра в кустах тамариска.

— Нет, — прошептал наконец Милтоун, — она одна умеет его расслышать.

И снова Барбара увидела на его лице знакомую тень — не грусть или нетерпение, но словно бы пустоту и ожидание.

На другой день она уехала в Лондон: там ее ждала мать, уже побывавшая на Каусской регате и у герцогини Глостерской, чтобы сразу по окончании парламентской сессии ехать в Шотландию. И в тот же день Барбара отправилась к миссис Ноуэл. К этому ее побуждало не столько сочувствие, как беспокойство и тревожное любопытство. Теперь, когда Милтоун совсем

поправился, на душе у нее было смутно. Не ошиблась ли она, позвав миссис Ноуэл в сиделки?

Когда она вошла в маленькую гостиную, Одри сидела на кушетке в оконной нише с книгой на коленях; Барбара заметила, что книга раскрыта на оглавлении, — как видно, хозяйка читала не слишком внимательно. Она не выказала волнения при виде гостьи и не спешила расспрашивать о Милтоуне. Но, пробыв в этой комнате каких-нибудь три минуты, Барбара невольно подумала: «Да у нее такое же лицо, как у Юстаса!» И в самом деле, Одри тоже напоминала необитаемый дом: ни нетерпения, ни недовольства, ни скорби — только ожидание! И едва Барбара, смущенная и растерянная, это поняла, доложили о приходе Куртье. Было ли это простое совпадение или некоторый расчет с его стороны (ибо с побережья он получил записку, где говорилось, что Милтоун уже здоров, а она, Барбара, возвращается в Лондон и непременно зайдет поблагодарить миссис Ноуэл) — это было так же неясно, как и охватившие ее чувства; и она приняла неприступный вид, хотя, вероятно, помнила, что Куртье этого не выносит. Во всяком случае, пожимая им обеим руки, он сильно покраснел. Он пришел проститься, сказал он Одри. На той неделе он наверняка

уедет. Там уже дошло до вооруженных столкновений; силы революционеров невелики, у врага огромное численное превосходство. Ему давно уже следовало быть там!

Барбара, еще раньше отошедшая к окну, вдруг обернулась.

— Два месяца тому назад вы проповедовали мир! — сказала она.

— Не всем дано быть безупречно последовательными, леди Барбара, — с поклоном ответил Куртье. — Эти бедняги борются за святое дело.

— Вам кажется, что оно свято, только потому, что они оказались слабы! — И Барбара протянула руку миссис Ноуэл. — До свиданья, миссис Ноуэл. Наш мир предназначен для сильных, не так ли?

Она хотела этими словами задеть его — и по его голосу поняла, что это ей удалось.

— Не говорите так, леди Барбара; это естественно звучит в устах вашей матушки, но не в ваших.

— Но я тоже так думаю. До свиданья! — И она вышла из комнаты.

Она ведь сказала ему, чтобы он не уезжал — что сейчас она этого не хочет, — а он все-таки едет!

Но едва она после своей неожиданной вспышки вышла на улицу, ей пришлось закусить губы,

чтобы сдержаться, так ей стало досадно и горько. Он был груб с нею, а она — с ним, вот как они простились! Потом она ощутила на лице солнечные лучи и подумала: «Что ж, ему все равно, ну, и мне тоже!»

— Разрешите остановить для вас такси? — раздался за нею знакомый голос, и тотчас обида стала утихать; но Барбара не оглянулась, только с улыбкой покачала головой и чуть посторонилась, чтобы он мог идти по тротуару рядом с нею.

Но хотя они пошли пешком, поначалу оба молчали. В Барбару точно бес вселился, ей нестерпимо хотелось понять, что за чувства скрываются за этой почтительной серьезностью. И как бы выпытать, вправду ли ему так уж все равно? Она не поднимала скромно опущенных глаз, но на губах ее играла чуть заметная улыбка, и ее ничуть не огорчало, что щеки ее разгорелись. Неужели она не услышит никакого… никакого… неужели он преспокойно уедет без… «Нет, — подумалось ей, — он должен что-то сказать! Должен объяснить мне — и без этой своей отвратительной иронии!»

Неожиданно для самой себя она сказала:

— Они просто ждут… Что-то должно случиться!

— Очень может быть, — серьезно ответил Куртье.

Барбара посмотрела на него и не без удовольствия увидела, что он вздрогнул, точно пронзенный ее взглядом, и сказала негромко:

— И, по-моему, они будут совершенно правы.

Она понимала, что это опрометчивые слова, да и не слишком задумывалась над их значением, но она знала, что в них звучит бунтарская нотка и что это его взволнует. По его лицу она увидела, что не ошиблась, и, минуту помолчав, сказала:

— Быть счастливыми — это так важно... — И почти с озорной медлительностью прибавила: — Ведь правда, мистер Куртье?

Но всегда оживленное лицо его помрачнело, он стал почти бледен. Приподнял руку и сразу бессильно уронил ее. Барбаре стало его жаль. Словно он просил пощадить его.

— Если уж говорить о счастье, — сказал он, — к сожалению, у судьбы припасены для нас не только розы, но и шипы. Впрочем, иногда жизнь бывает поистине восхитительна.

— Как сейчас, например?

Он серьезно посмотрел на нее и ответил:

— Да, как сейчас.

Никогда еще Барбара не чувствовала себя та-

кой пристыженной. Он слишком сильный, ей с ним не справиться… он нелепый донкихот… она его ненавидит! И, твердо решив ничем себя не выдать, быть такой же сильной, как и он, она сказала спокойно:

— Пожалуй, дальше я поеду на такси.

И когда она уже сидела в автомобиле, а Куртье стоял рядом, приподняв шляпу, она взглянула на него, как умеют смотреть только женщины, — он даже не понял, на него ли она взглянула.

Глава XIII

Придя поблагодарить Одри Ноуэл, Милтоун застал ее в гостиной: она стояла посреди комнаты, вся в белом, губы ее улыбались, улыбались темные глаза, и она была тиха, точно цветок в безветренный день.

Взгляды их встретились, и, счастливые, они сразу забыли обо всем. Ласточки, в первый летний день окунувшись в ласковое тепло, не вспоминают о холодном зимнем ветре и не могут вообразить, что когда-нибудь солнце уже не будет согревать их; часами носятся они над обласканными солнцем полями, и кажется, они уже не птицы, а просто дыхание наступившего

лета, но и ласточки, едва минует пора бедствий, не более забывчивы, чем были эти двое. Во взоре Милтоуна была та же тишина, что во всем облике Одри; а в ее взгляде, обращенном к нему, был покой истинно глубокого чувства.

Потом они сели и заговорили, совсем как в былые дни в Монкленде, когда он приходил к ней так часто и они беседовали обо всем на свете. И, однако, в тихой радости оттого, что они опять вместе, было какое-то благоговение, почти страх. Так бывает перед восходом солнца. Серая от росы паутина окутывала цветы их сердец, но каждый плененный цветок уже можно было разглядеть. И оба словно пытались сквозь эти ревнивые покровы рассмотреть очертания и краски того, что таилось внутри; и ни у одного не хватало мужества заглянуть в сердце другого до самого дна. Они были точно робкие влюбленные, которые плутают в лесу и не смеют оборвать бессвязную болтовню о деревьях, птицах и колокольчиках из страха, как бы путеводная звезда всего, что еще ждет их впереди, не упала с небес и не утонула в пучине первого поцелуя. Каждому часу свое — этот час проходил как бы под знаком белых цветов, стоявших в вазе на окне за спиною Одри.

Они говорили о Монкленде и о болезни Мил-

тоуна; о его первой речи и его впечатлениях от палаты общин; о музыке, о Барбаре, о Куртье, о текущей за окном Темзе. Милтоун рассказал о том, как он выздоравливал, как провел время на взморье. Одри, по своему обыкновению, почти не говорила о себе, уверенная, что даже и ему это не интересно; но рассказала, как была в опере и как увидела в Национальной галерее портрет, напомнивший ей Милтоуна. Всем этим мелочам — и несчетному множеству других — звук их голосов, негромких, спадающих почти до шепота, полных какой-то восторженной нежности, придавал особенную, чудесную значительность, своего рода ореол, который ни Одри, ни Милтоун ни за что не согласились бы у этих мелочей отнять.

Был уже седьмой час, когда Милтоун собрался уходить, и за все время ни на минуту не нарушилась священная тишина, царившая в обоих сердцах. На прощание они обменялись еще одним полным спокойствия взглядом, словно говорившим: «Все хорошо — мы испили счастья».

И это поразительное спокойствие не покидало его до вечера; в половине десятого он направился к парламенту. Был ясный теплый вечер из тех, что за городом обращается в унизанную светляками сказку и даже Лондону придает та-

инственное очарование. И Милтоун, радуясь, что к нему вернулось здоровье и силы, с новой остротой и свежестью ощущая всю прелесть чудесного вечера, наслаждался прогулкой. Он прошел Сент-Джеймсским парком; в кругах света, подле фонарей лежали чернильные тени платанов, и такими живыми и красивыми показались ему четкие тени листьев, что жаль было на них наступать. Всюду вились ночные бабочки и налетевшие с реки комары, от газонов пахло свежескошенной травой. У Милтоуна было легко на душе, точно у ласточки, которую он видел утром: она устремлялась на серое перышко, трепетавшее в воздухе, подхватывала его, и вновь выпускала, и вновь, играя, ловила. Вот такой же восторг переполнял и его в этот вечер. Близ палаты общин он подумал, что хорошо бы пройтись еще немного, и повернул на запад, к реке. Начинался прилив, течение как бы замерло, и вода казалась черной, гладкой косою самой природы, змеившейся по ложу земли в ожидании, когда ее ласково коснется рука божества. Далеко на другом берегу все еще прерывисто и шумно дышала какая-то огромная машина. В темном небе мерцали редкие звезды, но не было луны, которая заставила бы померкнуть ярко горящие фонари.

Прохожие почти не встречались. Милтоун шагал по берегу, потом перешел улицу и оказался перед домом, где жила Одри. У ограды он остановился. В гостиной света не было, но окно — то, что в нише, — стояло настежь, и на подоконнике все еще смутно белел в сумраке букет цветов, точно опрокинутый концами книзу полумесяц. И вдруг так же смутно белеющие руки подняли вазу и скрылись с нею. Он вздрогнул, точно эти руки коснулись его. И снова они выплыли из темноты, белый полумесяц уже не соединял их, в вазе теперь стояли другие цветы, лиловые или алые. Нежданно повеял теплый ветер, в лицо Милтоуну пахнуло гвоздикой, и он едва удержался, чтобы не окликнуть Одри.

И снова руки исчезли, в раскрытом окне стояла тьма; неодолимая страсть охватила Милтоуна, он не в силах был пошевельнуться. Потом донеслись звуки фортепьяно. Мелодия струилась, точно сама ночь — вздыхающая, трепетная, томная. Казалось, этой музыкой она звала его, поверяла свою страсть, тоску своего сердца. Потом музыка замерла, и у окна появилась стройная фигура в белом. Он не мог, да и не пытался отступить перед этим призраком, он шагнул вперед, под свет фонаря. Одри порывисто протянула к нему руки, но

тотчас прижала их к груди. И тут Милтоун забыл обо всем, осталась одна лишь всепоглощающая страсть. Он кинулся через садик, в прихожую, вверх по лестнице.

Дверь ее квартирки была не заперта. Он вошел. В гостиной, полной аромата алых гвоздик, стоявших на окне, было темно, и он не сразу увидел Одри; потом у фортепьяно замерцало белое платье. Она сидела, уронив руки на едва белеющие клавиши. Упав на колени, он зарылся лицом в складки ее платья. Потом, не глядя, поднял руки. Они легли ей на грудь, и ее слезы капали на них, а сердце ее стучало так, словно сама эта полная страсти ночь трепетала в нем, и все исчезло, кроме ночи и ее любви.

Глава XIV

На отроге одного из Суссекских холмов, поодаль от Нетлфолда, стоит буковая роща. Путник, усталый от зноя и слепящих солнечных лучей, входя в эту рощу, мысленно снимает обувь, точно на пороге храма; и, дойдя до середины по чистейшему ковру буковых листьев, он садится, и тишина освежает его чело: здесь, в тени ветвей, солнечные блики редки и неярки, не жужжат пчелы

и почти безмолвны птицы. А на опушке теснятся мирные молочно-белые овцы, укрываясь от полуденной жары. Здесь, высоко над полями и селениями, над неустанно ткущейся сетью людских дел и суетных речей, путника охватывает торжественное умиротворение. Большие белые облака парят над ним на медленных крыльях, слабо ропщет листва, вдали синеет море, и во всем чудится ему присутствие божества. На время отступают все тревоги и страхи, и он познает божественный покой.

Так было и с Милтоуном, когда, на третий день после той памятной ночи, проблуждав несколько часов в одиночестве, в душевном смятении, он достиг этого храма. Три дня его несло течением; и вот, вырвавшись из Лондона, где невозможно было собраться с мыслями, он приехал сюда побродить среди пустынных меловых холмов и обдумать новый поворот своей судьбы.

Он понимал, что все стало очень и очень сложно. Упоенный исполнением желаний, он и не думал отказываться от своего счастья. Она принадлежит ему, он — ей, это решено. Но как быть дальше? У нее нет надежды стать свободной. Как видно, муж ее убежден, что брак не может быть расторгнут ни при каких условиях. Да и ему

самому не стало бы легче после развода, ведь он верил, что оба они виновны, а виновные не могут сочетаться браком. Правда, она ничего не просила, ей довольно было втайне принадлежать ему; и он знал, что почти каждый на его месте согласился бы на это не задумываясь. Ничто на свете не препятствовало ему пойти на это, ничего другого в своей жизни не меняя. Это было бы так легко, так обычно. А она прекрасно умеет держаться в тени, она совсем не будет от этого страдать. Но совесть Милтоуна всегда была жестокой и беспощадной. Во время болезни она обернулась тем грозным ликом, что надвигался на него в бреду. В те недели, пока он выздоравливал, всякая внутренняя борьба утихла, но теперь, когда он поддался страсти, совесть вновь угнетала и мучила его. Он должен открыть тому человеку, ее мужу, правду, он непременно это сделает; но если это и не вызовет громкого скандала, разве может он и дальше обманывать тех, кто, знай они о его беззаконной любви, впредь, конечно, не пожелали бы иметь его своим представителем в парламенте? Знай они, что Одри его любовница, он больше не мог бы заниматься общественной деятельностью. Так разве он сам как честный человек не обязан от нее отказаться? Днем и ночью

его преследовала мысль: «Какое у меня право устанавливать законы для моих ближних, если я сам не повинуюсь законам? Как могу я оставаться общественным деятелем?» Но если он от этой деятельности откажется, что ему тогда делать? Ведь это у него в крови, для этой деятельности он рожден и воспитан; только о ней он мечтал с детства. Никакое другое занятие не увлечет его ни на минуту, и вся жизнь пройдет впустую.

Так бушевала борьба в этой гордой, смятенной душе — все существо Милтоуна властно требовало не отказываться от своего призвания, действовать в полную меру своих сил и способностей, а совесть столь же настойчиво твердила: если хочешь власти над людьми, умей сам чтить власть и закон.

Он вошел в буковую рощу, раздираемый этим мучительным внутренним спором, пылая гневом на судьбу, поставившую его перед таким выбором; в иные минуты его охватывала досада на страсть, за которую он должен расплачиваться либо своей карьерой, либо уважением к себе; и тут же его обжигало стыдом: как мог он хотя бы на миг пожалеть о своей любви к ней, такой нежной и преданной! Разве только с мрачным ликом самого Люцифера могло сравниться искаженное

страданием лицо Милтоуна в полутьме этой буковой рощи, высоко над царствами мира, из-за которых сражались друг о другом его честолюбие и его совесть. Он бросился на землю под деревьями, широко раскинув руки, — и случайно ему под руку попался жук, бессильно барахтавшийся на голой земле. Его искалечила какая-то птица. Милтоун осторожно поднял насекомое. Ножки жука больше не действовали, но он был избавлен от судьбы, ожидавшей его, Милтоуна. Жук, потеряв способность двигаться, не будет сознавать, как он, что жизнь его загублена. Мир вокруг Милтоуна останется прежним. И он, утратив свою силу, будет сознавать, что только зря обременяет землю. Нестерпимо об этом думать! Для чего дано ему было встретить Одри, полюбить ее и быть любимым? Почему он с первой минуты твердо знал, что она создана для него, если рок судил иначе? Проживи он хоть до ста лет, никогда больше ему так не полюбить. Но почему из-за своей любви он должен похоронить свою волю и свои силы? Если Бог так непоследователен в своих деяниях, так и он тоже будет непоследователен! Он будет устанавливать законы, но не будет их соблюдать! Стоит ли зарывать в землю свой талант во имя последовательности, которой нет на свете! Пои-

стине, это было бы еще большим безумием, чем все остальное в этом безумном мире!

Тишина буковой рощи не давала ему ответа, только ворковал голубь да негромко топотали овцы, вновь выходя на солнце. Но понемногу тишина эта влилась и в душу Милтоуна. «Быть может, и в могиле так? — подумалось ему. — И эти ветви — как черная земля надо мной? И шорох ветвей — тот шорох, что слышат мертвые, когда над ними растут цветы и в травах проносится ветер? И могильная земля давит не тяжелее, чем вот это чувство, когда целую вечность лежишь и смотришь в пустоту? Быть может, вся жизнь лишь тяжелый сон, а вот это и есть реальность? И зачем мое неистовство, зачем так мечется ничтожный огонек, ведь ветра нет, недвижный воздух — как саван, а блики солнца — брошенные на мой гроб цветы. И пусть бы мой дух мирно опочил, зачем терзаться и бунтовать? Лучше мне сразу покориться и ждать той подлинной сущности, ибо этот мир — лишь ее тень».

Так он лежал, почти не дыша, глядя вверх, на недвижные ветви — темную оправу жемчужного неба.

«Покой, — думал он, — разве этого мало? Любовь — разве этого мало? Неужели я не могу

довольствоваться этим, как женщина? Разве не в этом спасение и счастье? И что все остальное, как не «безумца бред без смысла и без цели»?»

И, словно опасаясь, как бы эта мысль от него не ускользнула, он поднялся и поспешно пошел из рощи.

Вся ширь полей и лесов, прорезанная светлыми полосками дорог, мерцала в лучах предвечернего солнца. Это был не дикий край, открытый всем ветрам, отливающий багряным и сизым, охраняемый серыми скалами, — прибежище вихрей и древних богов. Все здесь было безмятежно спокойным, отсвечивало золотом и серебром. Пронзительные рыдающие крики ястребов, с высоты подстерегающих добычу, сменились пением невидимых жаворонков, славящих мир и покой; и даже море — словно это не был неукротимый дух, все сметающий с берега взмахом крыла, — мирно прилегло отдохнуть подле суши.

Глава XV

Милтоун не пришел — и все леденящие сомнения, которые отступали лишь в его присутствии, вновь нахлынули на ту, что всегда слишком мало верила своему счастью. Конечно же, оно не могло

длиться — как может быть иначе?

Ведь они такие разные! Даже отдавая себя безраздельно — а это было таким счастьем! — она не могла забыть свои сомнения, потому что слишком многого в Милтоуне не понимала. В поэзии и в природе его привлекало только бурное, неприступное. Пылкость и нежность, тончайшие оттенки и гармония, казалось, нимало его не трогали. И он был равнодушен к простой прелести природы, к птицам и пчелам, к животным, деревьям и цветам, которыми так дорожила и так восхищалась она.

Еще не было четырех часов, а она уже начала сникать, как цветок без воды. Но она решительно подсела к фортепьяно и играла до самого чая, играла, сама не зная что, мысленно скитаясь по Лондону в поисках Милтоуна. После чая она взялась сначала за книгу, потом за шитье и опять вернулась к фортепьяно. Часы пробили шесть, и, словно от их последнего удара, распались доспехи ее души, нестерпимая тревога охватила Одри. Почему его так долго нет? Но она все играла, машинально перелистывая ноты и не видя их, и теперь ее преследовала мысль, что он опять заболел. Не дать ли телеграмму? Но куда? Она ведь понятия не имеет, где он сейчас. И так

страшно было не знать, где любимый, что она уже не могла больше ни о чем думать, и оцепеневшие руки ее соскользнули с клавиш. Теперь ей не сиделось на месте, и она начала бродить от окна к двери, потом выходила в прихожую и вновь спешила к окну. А над тревогой, словно темная туча, сгущались страхи и опасения. Что, если это конец? Если он решил, что это самый милосердный способ с нею расстаться? Но нет, не может он быть таким жестоким! Мысль эта была нестерпима, и она тотчас стала убеждать себя, что думать так просто глупо! Он в парламенте, его задержали какие-нибудь самые обычные дела. И беспокоиться просто смешно! Ей придется к этому привыкнуть. Ужасно было бы стать для него обузой. Уж лучше… да, лучше пусть он не вернется! И она взялась за книгу: решено, она будет спокойно читать до самого его прихода. Но в тот же миг все страхи опять нахлынули на нее — с леденящим, тошнотворным ощущением бессилия она поняла, что ничего не может сделать, только ждать. Суеверная мысль, что, подстерегая его здесь, у окна, она только отдаляет его приход, прогнала ее в спальню. Отсюда ей видны были винно-красные закатные облака над Темзой. Говорливый ветерок пробежал меж

домов; понемногу подкрадывались сумерки. Но она не зажигала огня, обманывая себя, что еще совсем светло! Она стала медленно переодеваться и, желая быть как можно красивее, подолгу занималась каждой мелочью, как-то невольно успокаиваясь при этом. Страшась вернуться в гостиную прежде, чем придет Милтоун, она распустила волосы, хоть они были убраны безукоризненно, и вновь стала их расчесывать. И вдруг с ужасом подумала: зачем же она наряжается и прихорашивается для него, не покарает ли ее судьба за такую самонадеянность?! При малейшем стуке или шорохе она замирала и прислушивалась; вся в белом, бледная — только чернели глаза и волосы, — она походила на склонившийся в сумерках нарцисс, что тянется к едва различимому напеву, звучащему для него где-то в полях. Но всякий раз стуки и шорохи стихали, ничего ей не принося; и тогда душа ее возвращалась в эти слабо отсвечивающие в темноте стены, и вновь оживали медлительные пальцы, сжимавшие гребень. За этот час в спальне она словно годы прожила. Когда она оттуда вышла, было уже совсем темно.

Глава XVI

Милтоун пришел в десятом часу.

Она встретила его в прихожей и без слов, вся дрожа, прильнула к нему; и этот немой, словно бесплотный трепет невысказанного чувства глубоко растрогал Милтоуна. Как она чутка и нежна! Она казалась совсем беззащитной. А между тем ее волнение не только тронуло Милтоуна, но и раздосадовало. В эту минуту она была для него воплощением жизни, какую вынужден отныне принять и он, — жизни бездеятельной, отданной одной лишь любви.

Он долго не мог заговорить о своем решении. Каждым своим взглядом, каждым движением она словно заклинала его не нарушать молчание. Но было в Милтоуне что-то неумолимое, не позволявшее ему уклониться от однажды намеченной цели.

Выслушав его, Одри сказала только:

— Но почему мы не можем и дальше сохранять тайну?

И он почти с ужасом почувствовал, что придется начинать борьбу сызнова. Он встал и распахнул окно. Небо над рекой было совсем

темное, поднялся ветер. Он дохнул в лицо беспокойным ропотом, и Милтоуну показалось, что вся бескрайняя звездная ночь опрокинулась на него. Он повернулся и, прислонясь к подоконнику, посмотрел сверху вниз на Одри. Какая она нежная, точно цветок! Ему вдруг вспомнилось: весною она у него на глазах бросила поникший цветок в огонь. «Не могу видеть, как они вянут! — сказала она тогда. — Уж лучше пусть горят». И сейчас ему почудились те восковые лепестки, вот они съеживаются в жестоких объятиях подползающих все ближе язычков пламени, и гибкий стебель дрожит, вспыхивает, чернеет и корчится, как живое существо. И с отчаянием он заговорил:

— Я не могу жить двойной жизнью. Какое право у меня вести за собой людей, если я не подаю им пример? Я ведь не таков, как наш друг Куртье, который верует в свободу. Я не верю в нее и никогда не поверю. Свобода! Что такое свобода? Только те, кто подчиняется власти, вправе сами обладать властью. Тот, кто диктует законы другим, а сам не в состоянии их соблюдать, просто дрянь. Я не хочу пасть так низко, как те, о ком говорят: «Этот только другим умеет приказывать, а сам…»

— Никто ничего не узнает.

Милтоун отвернулся.

— Я сам буду знать, — сказал он.

Но она не поняла его, это он видел. Лицо у нее стало странно печальное и замкнутое, словно он ее испугал. И мысль, что она не может его понять, рассердила Милтоуна.

— Нет, я не стану заниматься политикой, — сказал он упрямо.

— Но при чем тут политика? Ведь это такие пустяки.

— Будь это пустяки для меня, разве я бросил бы тебя в Монкленде и мучился бы так те пять недель, пока не заболел? Пустяки!

— Но обстоятельства — это и в самом деле пустяки! — с неожиданным жаром воскликнула Одри. — Любовь — вот что важно.

Милтоун посмотрел на нее с изумлением; впервые он понял, что и у нее есть своя философия, столь же продуманная и глубоко укоренившаяся, как и его собственная. Но ответил безжалостно:

— Что ж, это важное меня и победило!

И тут она посмотрела на него так, словно заглянула в тайники его души и открыла там нечто невыразимо страшное. Такой скорбный, такой нечеловечески пристальный был этот взгляд, что Милтоун не выдержал и отвернулся.

— Может быть, это и пустяки, — пробормотал

он. — Не знаю. Не понимаю, как мне быть. Я совсем запутался. Ничего не могу делать, сначала мне надо во всем этом разобраться.

Но она как будто не слышала или не поняла его и опять повторила:

— Нет, нет, пускай все остается по-старому; никогда я не потребую того, чего ты не можешь мне дать.

Ее упорство показалось ему лишенным всякого смысла: ведь он-то решился на такой шаг, после которого он будет принадлежать ей безраздельно!

— Я уже все обдумал, — сказал он. — Не будем больше об этом говорить,

И снова она как-то тоскливо и безнадежно прошептала:

— Нет, нет! Пусть все останется, как было!

Чувствуя, что больше не выдержит, Милтоун положил руки ей на плечи и сказал коротко:

— Довольно!

И сейчас же, охваченный раскаянием, поднял ее и порывисто обнял.

Она не противилась, но была точно неживая, закрыв глаза, не отвечая на поцелуи.

Глава XVII

В канун окончания сессии лорд Вэллис с легким сердцем отправился на прогулку в Гайд-парк. Хотя под ним была горячая чистокровная кобыла, он не пускал в ход ни шпор, ни хлыста, так как отлично ездил верхом, что и немудрено, если человек впервые выехал на охоту семи лет от роду и двадцать лет носил звание полковника кавалерии территориальных войск. Он приветливо раскланивался со всеми своими знакомыми, непринужденно беседовал на любые темы и особенно охотно о политике, втайне наслаждаясь догадками и пророчествами собеседников, частенько попадавших пальцем в небо, и их вопросами, разбивавшимися о его непроницаемое простодушие. Весело говорил он и о Милтоуне, который «опять в добром здравии» и только и ждет осенней сессии, чтобы ринуться в бой. Лорда Мэлвизина он поддразнивал шуточками о его жене: если когда-нибудь в Берти пробудится наконец интерес к политике, сказал он, то единственно по милости вашей супруги! Он проскакал дважды туда и обратно отменным галопом, уверенный, что полиция посмотрит на это сквозь

пальцы. День выдался на славу, и лорду Вэллису жаль было возвращаться домой. Под конец он столкнулся с Харбинджером и пригласил его к завтраку. В последнее время молодой человек заметно переменился, вид у него был какой-то мрачный; лорд Вэллис вдруг почти со страхом вспомнил, что говорила ему жена о своей тревоге за Барбару. В последнее время он мало виделся с младшей дочерью и в обычной для конца сессии суматохе совершенно забыл об этой истории.

Агата с маленькой Энн все еще гостила у них, дожидаясь, когда можно будет поехать с матерью в Шотландию, но сейчас ее не оказалось дома, и они завтракали только вчетвером, с Барбарой и леди Вэллис. Разговор не вязался: молодые люди были необыкновенно молчаливы, леди Вэллис мысленно сочиняла отчет, который надо было подготовить перед отъездом, а лорд Вэллис осторожно наблюдал за дочерью. Услыхав, что пришел лорд Милтоун и сидит в кабинете, все удивились, но невольно вздохнули с облегчением. Слуге велено было позвать его завтракать, но на это последовал ответ, что лорд Милтоун уже завтракал и желает подождать.

— А он знает, что здесь только свои?

— Да, миледи.

Леди Вэллис отодвинула тарелку и поднялась.

— Ну, что ж, — сказала она. — Я уже кончила.

Лорд Вэллис последовал ее примеру, и они вышли вместе, а Барбара, которая тоже встала из-за стола, осталась в столовой, неуверенно глядя на дверь.

Лорду Вэллису лишь недавно рассказали о том, кто ухаживал за его больным сыном, и он был просто обескуражен. Будь Юстас без особенных причуд, как все молодые люди, отец только пожал бы плечами и подумал: «Что ж, бывает!» А сейчас он буквально не знал, что и подумать. И пока они с женой шли через гостиную, отделявшую столовую от кабинета, спросил с тревогой:

— Что же это, Гертруда, опять та женщина, или… в чем дело?

— Одному господу богу известно, дорогой, — ответила леди Вэллис, пожав плечами.

Милтоун стоял в амбразуре окна. Выглядел он вполне окрепшим и поздоровался с родителями самым обычным своим тоном.

— Ну-с, мой друг, — сказал лорд Вэллис, — я вижу, ты опять в добром здоровье. Что нового на свете?

— Только то, что я решил сложить с себя депутатские полномочия.

Лорд Вэллис широко раскрыл глаза:

— Это почему же?

Но леди Вэллис, как и подобает женщине, быстрее угадала, какие причины могут быть у Милтоуна, и густо покраснела.

— Вздор, мой милый, — начала она. — Это совсем необязательно, даже если... — Тут она спохватилась и докончила сухо: — Объяснись, пожалуйста.

— Объяснение очень простое: отныне моя судьба связана с миссис Ноуэл, и я не могу жить двойной жизнью. Если бы это стало известно, я должен был бы немедленно вернуть мандат.

— Боже праведный! — воскликнул лорд Вэллис.

Леди Вэллис сделала порывистое движение. Два глубоко несхожие между собою представителя сильного пола — ее муж и сын — готовы были вступить в ожесточенный спор, и при виде такой опасности она, сбросив маску, стала истинной женщиной. Оба они бессознательно почувствовали перемену и теперь обращались к ней.

— Здесь не о чем спорить, — сказал Милтоун. — Для меня это вопрос чести.

— А дальше что? — спросила мать.

— Видит бог, — прервал ее лорд Вэллис с непод-

дельным волнением, — я полагал, что ты ставишь свое отечество выше личных интересов.

— Джеф! — сказала леди Вэллис.

Но он продолжал:

— Нет, Юстас, ты престранно смотришь на вещи. Я совершенно тебя не понимаю.

— Вот это верно, — подтвердил Милтоун.

— Слушайте меня оба! — сказала леди Вэллис. — Вы слишком разные, и вы не должны ссориться. Я этого не потерплю. Не забывай, Юстас, ты нам сын и тебе не следует так горячиться. Сядьте оба, и обсудим все спокойно.

Она указала мужу на кресло и села сама. Милтоун остался стоять. С внезапным испугом леди Вэллис спросила:

— А это... а ты... а скандала не будет?

Милтоун угрюмо усмехнулся:

— Разумеется, я все скажу ее мужу, но вы можете не беспокоиться; как я понимаю, его взгляды на брак не допускают развода ни при каких обстоятельствах.

У леди Вэллис вырвался вздох глубокого, нескрываемого облегчения.

— Но в таком случае, мой мальчик, — начала она, — даже если ты непременно хочешь все сказать этому человеку, безусловно, незачем

посвящать в это кого-либо еще.

Тут вмешался лорд Вэллис.

— Я был бы рад услышать, какая все же связь между твоей честью и отказом от депутатских обязанностей, — натянутым тоном осведомился он.

Милтоун покачал головой:

— Если вы до сих пор этого не понимаете, объяснять бесполезно.

— Да, я не понимаю. История эта весьма… весьма прискорбная, но без крайней необходимости отказываться от дела своей жизни было бы, с моей точки зрения, противоестественно и нелепо. Много ли найдется мужчин, которым ни разу в жизни не случалось вступить в подобную связь? Если тебя послушать, половину наших соотечественников придется считать недостойными и неправомочными.

В эту критическую минуту он, казалось, и избегал встречаться глазами с женой, и взглядом спрашивал ее совета, искал ее поддержки, и вместе с тем старался соблюсти приличия. И как ни сильна была тревога леди Вэллис, на минуту чувство юмора взяло верх. Забавно, что Джеф так себя выдает! Она просто не могла удержаться и посмотрела на него в упор.

— Дорогой мой, ты сильно преуменьшаешь, — мягко поправила она. — Таких мужчин не половина, а самое малое три четверти.

Но лорд Вэллис перед лицом опасности вновь обрел твердость духа.

— Не знаю, зачем тебе понадобилось смешивать любовные дела с политикой, — сказал он сыну. — Это выше моего понимания.

Милтоун ответил так медленно, словно признание жгло ему губы:

— Существует же на свете такая вещь, как убеждения. Я, например, не считаю, что жизнь можно делить на две независимые части — одна для общества, другая для себя. Моей мечте пришел конец, она разбита. Теперь меня не влечет общественная деятельность… Я больше не вижу в ней ни смысла… ни цели.

Леди Вэллис схватила его за руку:

— Ох, милый, это уж какая-то чрезмерная святость… — Но, заметив кривую усмешку Милтоуна, поспешно исправилась: — Я хочу сказать, чересчур строгая логика.

— Ради бога, Юстас, призови на помощь свой здравый смысл, — опять вмешался лорд Вэллис. — Не кажется ли тебе, что твой прямой долг — спрятать в карман излишнюю щепетильность

и отдать все свои силы и дарования на службу отечеству?!

— Я не обладаю здравым смыслом.

— В таком случае, разумеется, тебе действительно лучше отказаться от общественной деятельности.

Милтоун поклонился.

— Что за вздор! — воскликнула леди Вэллис. — Ты не понимаешь, Джеф. Еще раз тебя спрашиваю, Юстас, что ты будешь делать дальше?

— Не знаю.

— Ты изведешься.

— Вполне возможно,

— Если уж ты никак не можешь поладить со своей совестью, — опять прервал лорд Вэллис, — так будь, ради бога, мужчиной, расстанься с этой женщиной и разруби все узлы.

— Прошу прощенья, сэр, я вас не понял, — ледяным тоном проговорил Милтоун.

Леди Вэллис положила руку ему на плечо:

— Попробуем все же рассуждать логично, милый. Неужели ты серьезно думаешь, будто она захочет, чтобы ты ради нее погубил свою жизнь? Я не так уж плохо разбираюсь в людях.

У Милтоуна так потемнело лицо, что она умолкла на полуслове.

— Вы слишком торопитесь, — сказал он. — Быть может, я еще буду свободен, как ветер.

Слова эти показались леди Вэллис загадочными и зловещими, и она не нашлась, что ответить.

— Если тебе кажется, что из-за этого… этого увлечения у тебя уходит почва из-под ног, ради бога, ничего не решай наспех, — снова заговорил лорд Вэллис. — Подожди! Поезжай за границу. Верни себе душевное равновесие. Вот увидишь, пройдет несколько месяцев, и все уладится. Не торопи события; осеннюю сессию ты можешь пропустить, сославшись на свое здоровье.

— В самом деле, — с жаром подхватила леди Вэллис, — ты ужасно все преувеличиваешь. Ну что такое любовная связь? Милый мой мальчик, неужели, по-твоему, из-за этого кто-нибудь станет думать о тебе хуже, если даже люди и узнают? Да и незачем никому об этом знать.

— Меня ничуть не интересует, что обо мне подумают.

— Значит, просто в тебе говорит гордость! — воскликнула уязвленная леди Вэллис.

— Вы совершенно правы.

— Не думал я, что у меня и у моего сына могут быть разные понятия о чести, — сказал лорд Вэллис, не глядя на Милтоуна, с болью в голосе.

А леди Вэллис, услыхав слово «честь», воскликнула:

— Юстас, дай мне слово, что ты ничего не предпримешь, пока не посоветуешься с дядей Деннисом!

Милтоун усмехнулся.

— Это превращается в комедию, — сказал он.

Слова эти, показавшиеся родителям дикими и неуместными, повергли их в безмолвное изумление, и все трое застыли, глядя друг на друга. Легкий шорох в дверях прервал эту немую сцену.

Глава XVIII

Когда родители вышли, предоставив ей одной занимать Харбинджера, Барбара сказала:

— Кофе будем пить там, — и перешла в гостиную.

С тех пор как Харбинджер поцеловал ее возле живой изгороди, Барбара ни разу не оставалась с ним наедине, если не считать того вечера, когда они стояли над берегом, глядя на гуляющих. И теперь, после минутного смущения, она смотрела на него спокойно, хотя в груди что-то трепетало, как будто в этой нежной и прочной клетке легонько билась плененная птица. У нее еще

ныло сердце от последнего обидного разговора с Куртье. И притом, что нового ей может дать Харбинджер?

Словно нимфа, за которой гонится фавн — властитель лесов, она, убегая, то и дело оглядывалась на преследователя. В его волшебном лесу не было ничего неизвестного ей, ни единой чащи, где она еще не побывала, ни единого ручья, через который она не переправлялась, не было поцелуя, который она не могла бы возвратить. Его владения были уже открытой страной, и здесь она могла царствовать по праву. Ей нечего было от него ждать, кроме власти и надежного, спокойного благополучия. И взгляд ее говорил: как знать, не захочется ли мне большего? А если я стану задыхаться в твоих объятиях? Если меня пресытит все, что ты можешь мне дать? Разве я еще не все от тебя получила?

Харбинджер опустил голову, он был мрачнее тучи, и Барбара поняла, что она кажется ему жестокой, и пожалела его. И, желая быть добрее, спросила почти робко:

— Вы все еще на меня сердитесь, Клод?

Харбинджер поднял голову:

— Почему вы так жестоки?

— Я не жестока.

— Нет, жестоки. Есть ли у вас сердце?

— Есть! — сказала Барбара и прижала руку к груди.

— Мне совсем не до шуток, — пробормотал он.

— Неужели это так серьезно, милый? — спросила она кротко.

Но этот ласковый голос только подлил масла в огонь.

— За этим что-то кроется! — с усилием выговорил он. — Вы не имеете права меня дурачить!

— Простите, а что же такое тут кроется?

— Это вас надо спросить. Но я не слепой. Что вы скажете об этом Куртье?

В эту минуту перед Барбарой предстало нечто ей еще незнакомое — истинный мужчина. Нет, жить с ним будет, пожалуй, не так уж скучно!

Лицо его потемнело, глаза расширились, он, казалось, даже стал выше ростом. Барбара вдруг заметила, что руки его, стиснутые в кулаки, покрыты волосами. Его светской обходительности как не бывало. Он подошел совсем близко.

Сколько времени они смотрели друг другу в глаза и что было в этом взгляде, Барбара понимала смутно; мысли и чувства неслись, обгоняя друг друга. Он был ей и противен, и мил, она презирала его и восхищалась им, странное удовольствие

и отвращение — все смешалось; так в майский день налетит град, и тут же солнце пробьется сквозь тучи, и трава курится паром.

Потом Харбинджер сказал хрипло:

— Вы сводите меня с ума, Бэбс!

Прижав пальцы к губам, словно стараясь унять их дрожь, она ответила:

— Да, пожалуй, с меня довольно — и пошла в отцовский кабинет.

При виде родителей, которые остановившимися глазами смотрели на Милтоуна, к ней вернулось самообладание. Зрелище показалось ей комическим, хоть она и не подозревала, что именно это слово было всему виною. Но поистине контраст между Милтоуном и его родителями доходил в эту минуту до смешного.

Леди Вэллис заговорила первая:

— Лучше комедия, чем романтика. Полагаю, Барбаре тоже следует знать, в чем дело, поскольку она внесла свою лепту. Твой брат хочет сложить с себя обязанности депутата, дорогая; при его теперешних обстоятельствах совесть не позволяет ему оставаться членом парламента.

— Как! — воскликнула Барбара. — Но ведь…

— Мы уже обсудили все это, Бэбс, — прервал лорд Вэллис. — Если у тебя нет более веских дово-

дов, чем все, что диктует простой здравый смысл, сознание долга перед обществом и перед семьей, не стоит возобновлять этот разговор.

Барбара посмотрела на Милтоуна: лицо его было как маска, жили одни глаза.

— Ох, Юсти! — сказала она. — Неужели ты вот так загубишь свою жизнь! Подумай, ведь я никогда себе этого не прощу.

— Ты поступила, как считала правильным, так же поступаю и я, — холодно сказал Милтоун.

— И этого хочет она?

— Нет.

— Я думаю, единственный человек на свете, который хочет, чтобы твой брат похоронил себя заживо, это он сам, — вставил лорд Вэллис. — Но на него такие доводы не действуют.

— Подумай, что будет с бабушкой! — воскликнула Барбара.

— Что до меня, я стараюсь об этом не думать, — отозвалась леди Вэллис.

— Ты вся ее радость и надежда, Юсти. Она всегда так в тебя верила.

Милтоун вздохнул. Барбара, ободренная этим вздохом, подошла ближе.

Видно было, что бесстрастие его только кажущееся и прикрывает отчаянную внутреннюю

борьбу. Наконец он заговорил:

— Меня уже умоляла и заклинала женщина, которая мне дороже всего на свете, и все-таки я не уступил, потому что еще сильней во мне чувство, которое вам непонятно. Прошу извинить, что я сейчас употребил слово «комедия», мне следовало сказать — трагедия. Я поставлю в известность дядю Денниса, если это вас утешит; но, в сущности, все это никого, кроме меня, не касается.

И, ни на кого не взглянув, не сказав больше ни слова, он вышел.

Барбара бросилась к двери.

— Господи боже мой! — воскликнула она, чуть ли не ломая руки, что было совсем на нее не похоже. И, отвернувшись к книжному шкафу, заплакала.

Такой взрыв чувств, перед которым бледнело даже их собственное волнение, глубоко поразил лорда и леди Вэллис, не подозревавших, что нервы дочери были взвинчены еще до того, как она вошла в кабинет. Они не видели Барбару в слезах с тех пор, как она была совсем крошкой. Перед лицом такого горя они забыли все упреки, которыми готовы были осыпать дочь за то, что она толкнула Милтоуна в объятия миссис Ноуэл. Лорд Вэллис, особенно тронутый, подошел к ней

и остановился рядом, в темном углу у книжного шкафа, не говоря ни слова и только тихо поглаживая ее руку. Леди Вэллис, чувствуя, что и сама готова заплакать, укрылась в амбразуре окна.

Всхлипывания Барбары скоро утихли.

— Это потому, что у него было такое лицо… — объяснила она. — И зачем он так? Зачем? Никому это не нужно!

Лорд Вэллис, безжалостно теребя усы, пробормотал:

— Вот именно! Только сам себе портит жизнь!

— Да, — прошептала у окна леди Вэллис, — он всегда был такой — весь из острых углов. Даже в детстве. Берти никогда таким не был.

Потом наступило молчание, только сердито сморкалась Барбара.

— Поеду посоветуюсь с мамой, — вдруг прервала молчание леди Вэллис. — Вся жизнь мальчика пойдет прахом, если мы его не остановим. Поедешь со мной, детка?

Но Барбара отказалась.

Она ушла к себе. Роковой перелом в жизни Милтоуна глубоко потряс ее. Словно сама судьба открыла ей, что значит сойти хоть на шаг с проторенного пути, и она вдруг оказалась в разладе с собой. Расправить крылья и взлететь! Вот что из

этого получается! Если Милтоун не передумает и откажется от общественной деятельности, он пропал! А она, Барбара? Разве не безрассудно восхищалась она рыцарством Куртье, его отвагой, которая словно рвется навстречу опасности? Да и восхищалась ли? А может быть, просто ей приятно было, что он ею восхищается? В путанице этих мыслей вдруг возник образ Харбинджера — лицо его, придвинувшееся совсем близко, сжатые кулаки и как внезапное откровение — его угрожающая мужская воля. Это был какой-то дурной сон, вихрь странных, пугающих чувств, над которыми она не властна. Привычная философия завоевательницы впервые изменила Барбаре. И вновь ее мысль устремилась к Милтоуну. Итак, то, что она тогда прочитала в их лицах, свершилось! И, представив себе ужас Агаты, когда она об этом узнает, она не могла сдержать улыбку. Бедный Юстас! Почему он все принимает так близко к сердцу? Ведь если он сделает, как решил, — а он никогда не отступает от своих решений, — это будет трагедия! Для него все будет кончено!

А вдруг после этого миссис Ноуэл ему надоест? Нет, такие женщины не надоедают, это чувствовала даже Барбара, при всей своей неискушенности. У нее столько душевного такта,

она сумеет не докучать ему, никогда ничего не станет требовать, не даст ему почувствовать, что он хотя бы тончайшим волоском с нею связан. Ах, почему они не могут жить по-прежнему, как будто ничего не случилось? Неужели никто не в силах убедить Милтоуна? И опять она подумала о Куртье. Он знает их обоих и так привязан к миссис Ноуэл, — что, если ему поговорить с Милтоуном? Пусть бы объяснил, что у каждого человека есть право быть счастливым и право взбунтоваться! Юстасу надо взбунтоваться! Это его долг. Она села и написала несколько строк; потом надела шляпу, взяла записку и потихоньку вышла из дому.

Глава XIX

Летние цветы в просторной теплице Рэйвеншема стояли последнюю вечернюю стражу, когда Клифтон предстал перед леди Кастерли со словами:

— В белой гостиной ожидает леди Вэллис.

С того дня, как старой леди сообщили, что Милтоун болен и при нем находится миссис Ноуэл, она выжидала; правда, нередко ею овладевали дурные предчувствия: как-то повлияет эта

женщина на жизнь ее любимца; она ощущала и нечто подобное ревности, в чем не признавалась себе даже в молитвах, — молилась она довольно часто, но, пожалуй, не слишком горячо. В последнее время она не очень любила уезжать из дому даже в Кэттон, свое имение, и жила все еще в Рэйвеншеме, куда к ней приехал погостить лорд Деннис сразу после отъезда Милтоуна из его приморского домика. Но леди Кастерли никогда особенно не нуждалась в чьем бы то ни было обществе. Она не утратила неизменного своего интереса к политике и по-прежнему состояла в переписке с разными выдающимися людьми. Недавно возобновились было июньские страхи, что возможна война, и леди Кастерли даже помолодела, как бывало с нею всегда, когда отечеству грозила хотя бы тень опасности. При звуке трубы неукротимый дух ее, как и в былые годы, воспрянув, выхватывал меч из ножен и замирал в торжественной готовности. В подобных случаях она раньше поднималась по утрам, позднее ложилась, менее подвержена была действию сквозняков и решительно отказывалась хоть что-нибудь перекусить в промежутках между трапезами. И собственноручно писала письма, которые при других обстоятельствах продик-

товала бы секретарю. К несчастью, разговоры о войне почти тотчас прекратились; а после того, как минует опасность, леди Кастерли всегда бывала несколько раздражена. Приезд леди Вэллис пришелся очень кстати.

Поцеловав дочь, она подозрительно оглядела ее: что-то в ее поведении ей не понравилось.

— Ну, разумеется, я здорова! — сказала она. — А почему ты не привезла с собой Барбару?

— Она очень устала.

— Гм. Наглупила тогда с Юстасом, а теперь не хочет попадаться мне на глаза. Хорошенько смотри за девочкой, Гертруда, не то она и сама выкинет какую-нибудь глупость. Не нравится мне, что она все водит за нос Клода Харбинджера.

— Я привезла дурные вести о Юстасе, — прервала эти рассуждения дочь.

Последняя краска сбежала с бледных щек леди Кастерли, и избыток сердитой энергии тоже оставил ее.

— Что такое? Говори скорее!

Выслушав новость, она ничего не сказала, но леди Вэллис со страхом увидела, что глаза матери потускнели, словно их затянуло старческой пленкой.

— Что же вы посоветуете? — спросила она.

Сама усталая и огорченная, она вдруг непривычно пала духом при виде этой маленькой притихшей фигурки в белой тихой комнате. Казалось, над матерью прошумели зловещие темные крылья — впервые у нее было такое лицо, словно она потерпела поражение. И в порыве нежности к хрупкому, иссохшему телу, когда-то давшему ей жизнь, она прошептала, сама себе удивляясь:

— Мамочка, милая!

— Да, — сказала леди Кастерли, словно думая вслух, — мальчик все копит в себе; он не дает воли чувствам, а потом они вырываются наружу, и он уже не может с ними совладать. Сначала любовь, теперь совесть. В нем живут два человека: но на этот раз один из них погибнет. — И, подняв глаза на дочь, неожиданно прибавила: — Ты когда-нибудь слыхала, Гертруда, что с ним было в Оксфорде? Однажды он сбежал и беспутничал, как самый настоящий блудный сын. Ты об этом так и не узнала. Еще бы — ты ведь никогда ничего о нем не знала.

Леди Вэллис вспыхнула: как смел кто-то знать ее сына лучше, чем она сама! Но вид этой маленькой хрупкой старушки сразу утишил ее обиду, и она только спросила со вздохом:

— Что же делать?

— Уезжай, Гертруда, — прошептала в ответ леди Кастерли. — Мне надо подумать. Ты говоришь, он обещал посоветоваться с Деннисом? А адрес *той* ты знаешь? Когда вернешься домой, спроси у Барбары и скажи мне по телефону. — И в ответ на прощальный поцелуй дочери прибавила хмуро: — Я еще доживу до того дня, когда он станет у кормила, хоть мне и семьдесят восемь.

Как только дочь уехала, леди Кастерли позвонила.

— Клифтон, если леди Вэллис позвонит по телефону, не спрашивайте ее, что мне передать, а позовите меня. — И, видя, что Клифтон не уходит, спросила резко: — Что еще?

— Я надеюсь, здоровье молодого лорда не стало хуже?

— Нет.

— Прошу прощенья, миледи, но я давно уже хотел вас спросить…

И старик с необычайным достоинством поднял руку, словно говоря: прошу извинить меня за то, что сейчас я говорю с вами просто как человек с человеком.

— Мне известна привязанность его светлости, — продолжал Клифтон. — Когда он был здесь в июле месяце, он сказал очень странные слова.

Хорошо зная его светлость, я был ими чрезвычайно взволнован. Я был бы счастлив услышать от вас, миледи, что карьере его светлости ничто не воспрепятствует.

Лицо леди Кастерли выразило удивительнейшую смесь изумления, доброты, настороженности и досады, точно перед нею был малый ребенок.

— Постараюсь, чтобы этого не случилось, Клифтон, — коротко сказала она. — Можете не беспокоиться.

Клифтон поклонился:

— Прошу извинить, что я об этом заговорил, миледи. — По лицу его, обрамленному длинными белоснежными баками, прошла дрожь. — Но благополучие его светлости для меня гораздо важнее моего собственного.

Когда он ушел, леди Кастерли опустилась в низкое креслице; долго сидела она у нетопленого камина, пока в комнате не стало совсем темно.

Глава XX

Неподалеку от загадочного, таинственного преддверия ада, где пребывала великая полуправда — Власть, страшное пугало Чарльза Куртье,

за пятнадцать шиллингов в неделю снимал две комнатки сам Куртье. Главная их прелесть заключалась в том, что в их пользу говорила другая великая полуправда — Свобода. Они его никак не связывали, но всегда были к его услугам, когда он попадал в Лондон; потому что хозяйка, хоть такого уговора у них и не было, всегда сдавала эти комнаты другим постояльцам с условием, что за нею остается право выставить любого из них, предупредив всего лишь за неделю. Это была тихая, кроткая женщина, на двадцать лет моложе своего супруга — водопроводчика по профессии, социалиста по убеждениям. Сей достойный муж наградил ее двумя сынишками, и все трое держали ее в такой строгости, что у нее и просвета в жизни не было, кроме присутствия Куртье. Когда он пускался в свои странствия, движимый духом то ли миссионера, то ли исследователя или, может быть, искателя приключений, она складывала все его пожитки в два обитых жестью сундучка и убирала их в шкаф, где попахивало мышами. А когда Куртье возвращался, сундуки вновь открывались, и из них вырывался сильный аромат засушенных розовых лепестков. Зная, что все изделия рук человеческих преходящи, она каждое лето доставала у своей сестры, муж

которой выращивал цветы на продажу, запас этого душистого товара, любовно зашивала его в мешочки и год за годом укладывала в сундук к Куртье. Только этим, да еще мастерски поджаривая до хруста хлеб к завтраку и тщательно проветривая постельное белье, и могла она выразить свои чувства к человеку столь независимого нрава, который к тому же привык всегда сам о себе заботиться.

Поняв по уже знакомым приметам, что он снова собирается в дорогу, она скрывалась в каком-нибудь чулане или кладовой, подальше от водопроводчика и двух живых свидетельств его любви, и тихо плакала; но при Куртье ей никогда и в голову не приходило выказать свое горе, как не рыдала она в час рождения или смерти или иной великой радости или беды. Она постигла с юных лет, что в жизни самое лучшее — следовать простому глаголу: sto — stare — держаться стойко.

А Куртье для нее был жизнью, самой сутью жизни, средоточием всех устремлений, утренней и вечерней звездой.

Итак, когда спустя пять дней после прощального визита к миссис Ноуэл он спросил свой чемодан слоновой кожи, неизменный спутник

его скитаний, она, как всегда, укрылась в чулане, а затем, как всегда, вошла к нему, неся на подносе мешочки с сухими розовыми лепестками и в придачу — записку; Куртье она застала без пиджака: он укладывался.

— Ну-с, миссис Бентон, вот я опять уезжаю!

Миссис Бентон, в чьей внешности и повадках еще сохранилось что-то от маленькой девочки, застенчиво переплела пальцы и ответила грустным, но спокойным голосом:

— Да, сэр. Надеюсь, на этот раз вы не поедете куда-нибудь, где уж очень опасно. По-моему, вы всегда ездите в разные опасные места.

— Еду в Персию, миссис Бентон, — знаете, откуда привозят ковры.

— А… понимаю, сэр. Прачка только что принесла ваше белье.

Словно бы не поднимая глаз, она подмечала многое множество мелочей: как растут у него волосы, какая у него спина, какого цвета подтяжки. И вдруг сказала каким-то необычным голосом:

— А у вас не найдется лишней фотографической карточки, сэр? Мистер Бентон только вчера мне говорил: может, говорит, он больше не приедет, а у нас ничего нет от него на память.

— Вот, есть одна старая.

Миссис Бентон взяла фотографию.

— Ничего, — сказала она, — все-таки видно, что это вы. — И, держа карточку, пожалуй, излишне крепко, потому что пальцы ее дрожали, она прибавила: — Тут вам записка, сэр. Посыльный ждет ответа.

Пока он читал записку, она с огорчением заметила, что он весь красный, — видно, устал укладывать чемоданы…

Когда Куртье, как просили его в записке, вошел в модную кондитерскую Гастарда, для чая было еще рано, и ему показалось, что здесь пусто; лишь три немолодые женщины перевязывали коробки с конфетами; потом в углу он увидел Барбару. Теперь кровь отхлынула от его лица; бледный, шел он по этой комнате, отделанной под красное дерево и пропитанной запахом свадебного пирога. Барбара тоже была бледна.

Сидеть так близко к ней, что он мог сосчитать все ее ресницы, и вдыхать аромат ее волос и одежды, и слушать, как она, запинаясь, нерешительно и печально рассказывает о Милтоуне, было все равно, что ждать с веревкой на шее и выслушивать, как тебе рассказывают про чью-то зубную боль. Право же, судьба могла бы не подвергать его еще и этому испытанию! И, как назло, ему вспом-

нилась их прогулка верхом по согретой солнцем вересковой пустоши, когда он переиначивал старую сицилийскую песню: «Здесь буду я сидеть и петь, держа любимую в объятьях». Нет, теперь ему было не до песен, и любимую он не держал в объятьях. Была перед ним чашка чая, и пахло свадебным пирогом, и минутами доносилось благоухание апельсиновой корки.

— Понимаю, — сказал он, когда Барбара закончила свой рассказ. — «Славно пиршество Свободы!» Вы хотите, чтоб я пошел к вашему брату и начал цитировать Бернса? Вы ведь знаете, он считает меня человеком опасным.

— Да, но он вас уважает, и вы ему нравитесь.

— И мне он нравится, и я тоже его уважаю, — сказал Куртье.

Одна из пожилых женщин прошла мимо с большой белой картонкой в руках; в полной тишине слышалось поскрипывание ее корсета.

— Вы всегда были так добры ко мне, — неожиданно сказала Барбара.

Сердце Куртье дрогнуло и словно перевернулось в груди; не поднимая глаз от чашки с чаем, он ответил:

— Всякий будет любезен с вечерней звездой. Я сейчас же пойду к вашему брату. Когда сообщить

вам новости?

— Завтра в пять я буду дома.

— Завтра в пять, — повторил он и встал.

На пороге он обернулся, увидел в ее лице недоумение и едва ли не упрек и угрюмо вышел. Ему все еще мерещился запах свадебного пирога и апельсиновой корки, скрип корсета той женщины, стены под красное дерево; а в душе кипела глухая, подавленная ярость. Почему он не воспользовался нежданным случаем? Почему не решился на страстное объяснение в любви? Не в меру совестливый болван! Да нет, все это вздор. Она слишком молода. Видит бог, он счастлив будет убраться отсюда подальше. Если не уехать, он, того и гляди, наделает глупостей. Но ее слова: «Вы всегда были так добры ко мне» — преследовали его; и ее лицо — полное недоумения и упрека. Да, останься он в Лондоне, он неизбежно наделал бы глупостей! Он просил бы ее стать женою человека вдвое старше ее, без всякого положения в обществе, сверх того, какое он сам себе создал, и без гроша за душой. И он просил бы ее об этом так, что ей, возможно, не совсем легко и просто было бы отказать. Он дал бы себе волю. А ей всего двадцать лет, и при всех своих повадках светской женщины она еще просто ребенок. Нет!

На сей раз он постарается быть ей полезным, если сумеет, а затем — прочь отсюда!

Глава XXI

Выйдя из особняка Вэллисов, Милтоун пошел в сторону Вестминстера. Вот уже пять дней, как он вернулся в Лондон, но еще ни разу не переступил порог палаты общин. После затворничества из-за болезни его почти мучительно влекли суета и многолюдье городских улиц. Все увиденное и услышанное он воспринимал с необыкновенной остротой. Львы на Трафальгарской площади и огромные дома на улице Уайтхолл наполнили его чуть ли не восторгом. Он походил на человека, который после долгого морского плавания наконец увидел вдали землю и, напрягая зрение, едва дыша, одну за другой вновь узнает ее родные черты. Он вступил на Вестминстерский мост и, дойдя до середины, оглянулся назад.

Говорят, любовь к башням Вестминстера входит в плоть и кровь. Говорят, тот, кого они осеняли, никогда уже не будет прежним. Да, это верно, для него — до отчаяния верно. Сам он провел там всего каких-нибудь три недели, но у него было такое чувство, будто он сидел там многие сотни лет. И

подумать, что отныне ему уже нет места в этих стенах! В нем поднялось неистовое желание вырваться из пут. Не горько ли оказаться пленником самого сокровенного своего желания — желания власти! Быть не вправе обладать властью, ибо это было бы кощунством! Господи! Это нестерпимо! Он отвернулся от башен и, в надежде рассеяться, стал разглядывать лица прохожих.

Конечно же, каждому из них приходится так или иначе бороться за то, чтобы сохранить уважение к себе. Или, может быть, они и понятия не имеют ни о борьбе, ни о самоуважении и предоставляют все на волю судьбы? На то похоже, судя почти по всем лицам. Он глядел на них, и в нем поднималось врожденное презрение ко всему заурядному и посредственному. Да, похоже, что все они такие! Напрасно он надеялся, что вид этих людей укрепит его в решении пойти на компромисс; вместо этого все его существо лишь еще упорней отказывалось идти на компромисс. Они такие неуверенные, поникшие, ни следа гордости или силы воли, словно они понимают, что жизнь им не по силам, и постыдно мирятся с этим. Они так явно нуждаются в том, чтобы им указывали, что делать и куда идти; они примут это, как принимают свою работу или развлечения. А он

отныне лишен права им указывать, — мысль эта неистово терзала его. Они же, в свою очередь, мимоходом поглядывали на высокого человека, прислонившегося к парапету, не ведая, что в эти минуты решается их судьба. В двух-трех прохожих его худое, изжелта-бледное лицо и тревожный, ищущий взгляд, возможно, пробудили интерес или беспокойство; но для большинства он, конечно, был просто обыкновенный встречный, один из многих в уличной сутолоке. У них не было ни времени, ни охоты задумываться над этим изваянием, олицетворявшим собою волю к власти, что бьется в путах своей веры во власть, ибо не было у них вкуса к трагедии: они не желали видеть муки души, припертой к стене.

Милтоун простоял на мосту до пяти часов, потом прошел, точно изгнанник, мимо врат Церкви и Государства и направился в клуб дяди Денниса. По дороге он послал телеграмму Одри, извещая, в котором часу можно завтра его ждать, а выходя с почты, увидел в соседней витрине несколько репродукций старых итальянских шедевров и среди них Боттичеллиево «Рождение Венеры». Он никогда не видел этой картины, но, вспомнив, что Одри называла ее среди своих любимых полотен, остановился взглянуть. Он неплохо разбирался в

живописи, как и подобает человеку его круга, но ему не дано было умения покоряться тайной силе искусства, которое, проникая в святая святых души, незаметно подменяет отдельное, замкнутое «я» всеобъемлющим «я» всего мира; и он разглядывал прославленное изображение языческой богини холодно, даже с досадой. Рисунок тела показался ему грубым, а вся картина скучноватой и слишком примитивной, и Флора ему не понравилась. Счастливое спокойствие и нежность, о которых говорила Одри, оставляли его равнодушным. Потом он поймал себя на том, что смотрит в лицо богини, и медленно, но с какой-то пугающей уверенностью почувствовал, что перед ним сама Одри. Волосы не те — золотые, и глаза не те — серые, и губы немного полнее; и, однако, это ее лицо: тот же овал, те же изогнутые, широко расставленные брови, то же удивительно нежное, неуловимое выражение. И, словно оскорбленный, он повернулся и пошел прочь. В витрине лавчонки он увидел образ той, на которую он променял все в жизни, — воплощение покорной, оплетающей любви, кроткое создание, которое так беззаветно ему отдалось и которое, кроме любви, цветов и деревьев, птиц, музыки, неба и стремительных ручейков, ничего не требует от

жизни; создание, которое, подобно той богине, казалось, само удивляется тому, что живет. И тут в нем вспыхнула искра понимания, поистине неожиданная для человека, столь мало способного читать в чужих сердцах. Зачем эта женщина рождена на свет, место ли ей в этом мире? Но вспышку проницательности тут же погасили болезненно-мучительные мысли о его собственной судьбе, которые теперь ни на час его не оставляли. Что бы там ни было, а с этими мучениями надо покончить! Ну, а что же он теперь станет делать? Писать книги? Но какие книги он может писать? Только такие, в которых выразятся его гражданские чувства, его политическое и социальное кредо. Но ведь это все равно, что остаться в парламенте! Он никогда не сможет слиться с беспечным племенем служителей искусства — с этими изнеженными и неустойчивыми душами, не признающими никаких преград, которым достаточно понимать, истолковывать и творить. Представить себя среди них? Немыслимо! Пойти в адвокаты… Что ж, допустим. Ну, а дальше? Стать судьей? С таким же успехом можно остаться в парламенте! Начинать дипломатическую карьеру слишком поздно. Военную — тоже, да и не влечет его воинская слава. Похоронить себя в

деревне, как дядя Деннис, и управлять одним из отцовских имений? Это ничуть не лучше смерти. Посвятить себя бедным? Быть может, в этом его новое призвание? Но что он станет делать среди бедняков? Устраивать их жизнь, когда он и свою-то не сумел устроить? Или просто служить для них источником денег? Но ведь он убежден, что благотворительность губит страну! Куда ни поверни, всюду преграждает дорогу демон или ангел с обнаженным мечом. И тогда он подумал: раз церковь и государство его отвергают, почему бы не вести себя в новой роли — роли падшего ангела — как подобает мужчине: стать Люцифером и разрушать! И ему представилось, как он возвращается под эти своды, переходит на другую сторону, присоединяется к революционерам, радикалам, вольнодумцам, бичует свою теперешнюю партию, партию власти и порядка. Но он тут же понял всю нелепость этой идеи и прямо посреди улицы громко расхохотался.

Клуб на улице Сент-Джеймс, членом которого состоял лорд Деннис, был тихой заводью, до которой не докатывались волны моды. Милтоун нашел дядю в библиотеке, он читал путевые записки Бартона и прихлебывал чай.

— Сюда никто не заходит, — сказал он, — так

что, несмотря на эту надпись на двери, мы можем поговорить. Пожалуйста, еще чаю, — обратился он к лакею.

Нетерпеливо, но не без сострадания Милтоун смотрел, как изысканно изящно каждое движение лорда Денниса, — с трогательной стариковской рачительностью он пытался всему, что делал, придать особое значение, хотя бы в собственных глазах. Что бы ни сказал дядя, уже один его вид — самое убедительное предостережение! Неужели стать всего лишь наблюдателем, как этот старик, и смотреть, как жизнь проходит мимо, и допустить, чтобы твой меч ржавел в ножнах! Надо было объяснить причину своего прихода, и все существо Милтоуна возмущалось против этого, но он дал слово; и вот, черпая силы в своем затаенном гневе, он начал:

— Я обещал матушке спросить вашего совета, дядя Деннис. Полагаю, вы знаете о моей привязанности?

Лорд Деннис наклонил голову.

— Так вот, я связал свою жизнь с жизнью этой леди. Скандала не будет, но я считаю своим долгом выйти из парламента и отказаться от всякой общественной деятельности. Как по-вашему, прав я или нет?

Лорд Деннис долго молча смотрел на племянника. Его темные от загара щеки чуть порозовели. Казалось, он мысленно перенесся в прошлое.

— Думаю, что не прав, — сказал он наконец.

— Могу я узнать почему?

— Я не имею удовольствия знать эту леди, поэтому мне затруднительно судить, но, сдается мне, твое решение несправедливо по отношению к ней.

— Не понимаю.

— Ты задал мне прямой вопрос и, очевидно, ждешь прямого ответа?

Милтоун кивнул.

— Тогда, дорогой мой, не пеняй, если мои слова не придутся тебе по вкусу.

— Не буду.

— Хорошо. Ты говоришь, что хочешь отказаться от общественной деятельности, чтобы тебя не мучили угрызения совести. Я не стал бы возражать, если бы на этом все и кончилось.

Он умолк и добрую минуту молчал, видимо, подыскивая слова, чтобы выразить какой-то сложный ход мысли.

— Но этим не кончится, Юстас. Общественный деятель в тебе перевешивает другую сторону твоей натуры. Власть тебе нужнее любви. Твоя

жертва убьет твое чувство. То, что кажется тебе твоей утратой и болью, обернется в конце концов утратой и болью для этой леди.

Милтоун улыбнулся.

— Ты со мной не согласен, — сухо, даже почти зло продолжал лорд Деннис, — но я вижу, что подспудно эта перемена уже совершается. В тебе есть что-то иезуитское, Юстас. Если ты чего-нибудь не хочешь видеть, ты и не взглянешь в ту сторону.

— Значит, вы советуете мне пойти на компромисс?

— Напротив, я объясняю тебе, что компромиссом будет попытка сохранить и чистую совесть, и любовь. Ты погонишься за двумя зайцами.

— Вот это интересно.

— И не поймаешь ни одного, — резко докончил лорд Деннис.

Милтоун поднялся.

— Иными словами, вы, как и все прочие, советуете мне покинуть женщину, которая любит меня и которую я люблю. А ведь говорят, дядя, что вы сами…

Но лорд Деннис тоже встал, и ничто в нем сейчас не напоминало о преклонных летах.

— Сейчас речь не обо мне, — оборвал он. — Я не советую тебе никого покидать, ты меня не понял.

Я тебе советую познать самого себя. И высказываю свое мнение о тебе: природа создала тебя государственным деятелем, а не любовником! В твоей душе что-то зачерствело, Юстас, а может быть, это произошло со всем нашим сословием. Мы слишком долго соблюдали условности и ритуалы. Мы разучились смотреть на мир глазами сердца.

— К несчастью, я не могу совершить низость, чтобы подтвердить вашу теорию.

Лорд Деннис зашагал по комнате. Губы его были плотно сжаты.

— Человек, дающий советы, всегда кажется глупцом, — сказал он наконец. — Однако ты меня не понял. Я не настолько бесцеремонен, чтобы пытаться влезть к тебе в душу. Я просто сказал тебе, что, на мой взгляд, куда честнее по отношению к самому себе и справедливее по отношению к этой леди вступить в сделку с совестью и сохранить и любовь, и общественную деятельность, нежели притворяться, будто ты способен пожертвовать тем, что в тебе всего сильнее, ради того, что в твоей натуре отнюдь не главное. Ты, верно, помнишь изречение — кажется, Демокрита: «Нрав человека — его рок». Советую об этом не забывать.

Долгую минуту Милтоун стоял молча, потом сказал:

— Простите, что обеспокоил вас, дядя Деннис. Я не умею сидеть меж двух стульев. До свиданья!

Он круто повернулся и вышел.

Глава XXII

В холле кто-то поднялся с дивана и шагнул ему навстречу. Это был Куртье.

— Наконец-то я вас поймал, — сказал он. — Давайте пообедаем вместе. Завтра вечером я уезжаю из Англии, а мне надо с вами поговорить.

«Неужели знает?» — промелькнуло в голове Милтоуна. Но он все-таки согласился, и они вместе вышли на улицу.

— Нелегко найти тихое местечко, — сказал Куртье, — но это, кажется, подойдет.

То был ресторанчик при маленькой гостинице, славившийся своими бифштексами, который посещали завсегдатаи скачек; сейчас он был почти пуст. Они уселись друг против друга, и Милтоун подумал: «Конечно же, знает. Но неужели надо вытерпеть еще один такой разговор?» И он чуть не с бешенством ждал нападения.

— Итак, вы решили выйти из парламента? —

сказал Куртье.

Несколько мгновений Милтоун молча мерил его взглядом.

— Какой звонарь раззвонил вам об этом? — спросил он наконец.

Но в лице Куртье было столько дружелюбия, что гнев его сразу остыл.

— Я, пожалуй, единственный ее друг, — серьезно продолжал Куртье, — и это для меня последняя возможность… не говорю уже о моем, поверьте, самом искреннем расположении к вам.

— Что ж, я слушаю, — пробормотал Милтоун,

— Простите за прямоту. Но вы когда-нибудь задумывались о том, каково было ее положение до встречи с вами?

Кровь бросилась в лицо Милтоуну, но он только сжал кулаки так, что ногти вонзились в ладони, и промолчал.

— Да, да, — сказал Куртье. — А меня бесит эта точка зрения… Вы и сами ее придерживались. Либо женщину обязывают похоронить себя заживо, либо обрекают на духовный адюльтер — иначе это не назовешь. Третьего не дано, не спорьте. У вас было право восстать против этой системы не только на словах, но на деле. Вы и восстали, я знаю; но теперешнее ваше решение — шаг назад.

Это все равно что признать себя неправым.

— Я не могу это обсуждать, — сказал Милтоун и поднялся.

— Вы должны — ради нее. Если вы отречетесь от общественной деятельности, вы еще раз искалечите ее жизнь.

Милтоун вновь опустился на стул. Слово «должны» ожесточило его; хорошо же, он готов все это выслушать! И в глазах его появилось что-то от старого кардинала.

— Мы с вами слишком разные люди, Куртье. Нам не понять друг друга.

— Это не важно, — возразил Куртье. — Вы признаете, что оба пути чудовищны, чего, впрочем, никогда бы не сделали, не коснись дело лично вас — и…

— Вы не имеете права так говорить, — ледяным топом прервал Милтоун.

— Во всяком случае, вы это признаете. И если вы убеждены, что не вправе были ее спасти, то из какого же принципа вы исходите?

Милтоун облокотился о стол и, подперев ладонью подбородок, молча уставился на рыцаря безнадежных битв. В душе его бушевала такая буря, что ему стоило величайшего труда заговорить: губы его не слушались.

— По какому праву вы меня спрашиваете? — сказал он наконец.

Куртье побагровел и яростно задергал свои огненные усы, но в ответе его, как всегда, звучала невозмутимая ирония.

— Что ж, прикажете мне в последний вечер сидеть смирно и даже пальцем не пошевельнуть, когда вы губите женщину, которая мне все равно что сестра? Я скажу вам, из чего вы исходите: какова бы ни была власть — справедливая или несправедливая, желанная или нежеланная, подчиняйся ей беспрекословно. Преступить закон — не важно, почему или ради кого, — все равно что преступить заповедь…

— Не стесняйтесь, говорите — заповедь Божью?

— Непогрешимой власти предержащей. Правильно я определяю ваш принцип?

— Пожалуй, да, — сквозь зубы ответил Милтоун.

— Исключения лишь подтверждают правило.

— А в трудных тяжбах винят закон.

Куртье усмехнулся:

— Так я и знал, что вы это скажете. Но в данном случае закон и в самом деле безнадежно плох. Вы имели право спасти эту женщину.

— Нет, Куртье, если уж воевать, давайте воевать, опираясь на бесспорные факты. Я никого не спасал. Просто я предпочел украсть, чтобы не умереть с голоду. Вот почему я не могу притязать на право быть примером. Если бы это выплыло наружу, я бы и часу не продержался в парламенте. Я не могу пользоваться тем, что случайно это пока никому не известно. А вы бы могли?

Куртье молчал, а Милтоун так впился в него глазами, словно хотел убить взглядом.

— Я бы мог, — ответил наконец Куртье. — Раз закон приводит тех, кто возненавидел своего мужа или жену, к духовному адюльтеру, то есть нарушает святость брака — ту самую святость, которую он якобы охраняет, надо быть готовыми к тому, что мыслящие мужчины и женщины будут нарушать его, не утрачивая при этом самоуважения.

В Милтоуне пробуждалась неодолимая страсть к острым словесным битвам, которая была у него в крови. Он даже, казалось, забыл, что речь идет о его собственной судьбе. В его полнокровном собеседнике, который спорил так горячо, воплотилось все, с чем он органически не мог и не желал мириться.

— Нет, — сказал он, — это все какая-то извра-

щенная логика. Я не признаю за человеком права быть судьей самому себе.

— Ага! Вот мы и подошли к главному. Кстати, не выбраться ли нам из этого пекла?

Они вышли на улицу, где было прохладнее, и тотчас Куртье заговорил снова:

— Недоверие к человеческой природе и страх перед нею — вот на чем основана деятельность людей вашего склада. Вы отрицаете право человека судить самого себя, ибо не верите, что по сути своей человек добр; в глубине души вы убеждены, что он зол. Вы не даете людям воли, ничего не позволяете им, потому что уверены: их решения приведут их не вверх, а вниз. Тут-то и кроется коренная разница между аристократическим и демократическим отношением к жизни. Как вы однажды сами мне сказали, вы ненавидите толпу и боитесь ее.

Милтоун с неодобрением смотрел на уверенное, оживленное лицо противника.

— Да, — сказал он, — вы правы. Я считаю, что людей надо вести к совершенству насильно, наперекор их природе.

— Вы по крайней мере откровенны. Кто же должен их вести?

В груди Милтоуна опять начало закипать бе-

шенство. Сейчас он прикончит этого рыжего бунтаря. И он ответил со свирепой насмешкой:

— Как ни странно, то существо, которое вы не желаете упоминать, — через посредство лучших.

— Верховный жрец! Взгляните-ка, вон девушка жмется к стене и поглядывает на нас; если бы вы не отстранялись брезгливо, а подошли и заговорили с нею, заставили бы ее открыть вам, что она думает и чувствует, вас бы многое поразило. В основе своей человечество прекрасно. И оно идет к совершенству, сэр, силой собственных устремлений. Вы ни разу не замечали, что чувства народные всегда опережают закон?

— И это говорите вы, человек, который никогда не принимает сторону большинства!

Рыцарь безнадежных битв отрывисто засмеялся:

— «Никогда» — это слишком сильно сказано. Все меняется, и жизнь не свод правил, вывешенных в канцелярии. Куда это нас с вами занесло?

Им преградила дорогу толпа на тротуаре перед Куинс-холл.

— Не зайти ли? Послушаем музыку и дадим отдых языкам.

Милтоун кивнул, и они вошли.

Сияющий огнями зал был набит до отказа и

весь курился синеватыми дымками сигар.

Заняв место среди бесчисленных соломенных шляп, Милтоун услышал позади насмешливый голос Куртье:

— Profanum vulgus![20] Пришли послушать прекраснейшую музыку на свете! Простонародье, которое, по-вашему, не понимает, что для него хорошо, а что плохо! Плачевное зрелище, правда?

Милтоун не ответил. Первые неторопливые звуки Седьмой симфонии Бетховена уже пробивались сквозь строй цветов на краю эстрады, и, если не считать голубоватых дымков — как бы фимиама, что курился в честь бога мелодии, — весь зал замер, словно один ум, одна душа скрывались за всеми этими бледными лицами, обращенными к музыке, которая нарастала и гасла, точно вздохи ветра, приветствуя несущихся из глубины времен освобожденных духов красоты.

Едва симфония отзвучала, Милтоун повернулся и вышел.

— Что ж, — раздался за его спиной голос Куртье, — теперь вы, надеюсь, видите, как все растет и совершенствуется, как чудесен мир?

Милтоун улыбнулся:

---

[20] Примечания: 20
Чернь! *(лат.)*

— Я вижу лишь, какой прекрасный мир может создать великий человек.

И вдруг, словно под напором музыки в душе его прорвалась какая-то плотина, он разразился потоком слов:

— Посмотрите на эту толпу, Куртье, нигде в мире нет толпы, которую так спокойно можно бы предоставить самой себе; здесь, в сердце величайшего, благополучнейшего в мире города, она ограждена от чумы, землетрясений, циклонов, засухи, от нестерпимой жары и леденящего холода, — и, однако, видите, вот он, полисмен! Какой бы свободной и безобидной она ни казалась, как бы мирно ни была настроена, в ней всегда есть и должна быть какая-то сдерживающая сила. Откуда исходит эта сила? Вы говорите: из самой толпы. Я отвечаю: нет. Оглянитесь назад, на истоки человеческих сообществ. С самых первых шагов бессознательными орудиями власти, сдерживающего и направляющего начала, божественной силы оказывались лучшие люди. Такой человек, ощутив в себе мощь — поначалу физическую, — пользовался ею, чтобы захватить первенство, и с тех пор удерживает его и должен удерживать всегда. Все эти ваши выборы, так называемые демократические органы — лишь

отговорка для вопрошающих, подачка голодному, бальзам, утоляющий гордость бунтаря. Это не более как видимость, иллюзия, они не могут помешать лучшим людям достичь полноты власти, ибо такие люди ближе всего к божеству и раньше и лучше всех улавливают исходящие от него волны. Я говорю не о наследственных правах. Лучший — необязательно тот, кто принадлежит к моему сословию, во всяком случае, я не думаю, чтобы в моем сословии лучшие люди появлялись чаще, чем в других.

Он замолчал так же внезапно, как начал.

— Не беспокойтесь, — сказал Куртье, — я вовсе не считаю вас человеком заурядным. Просто мы с вами на разных полюсах и, скорее всего, оба далеки от истины. Но миром правит не сила и не страх перед этой силой, как думаете вы; миром правит любовь. Общество держится врожденной порядочностью человека, содружеством людей. В сущности, это и есть презираемый вами демократизм. Человек, предоставленный самому себе, стремится ввысь. Будь это не так, ваши полицейские ни за что бы не могли блюсти порядок. Человек интуитивно знает, что можно делать и чего нельзя, не теряя уважения к себе. Он впитывает это знание с каждым вдохом. Законы и

власть — это еще далеко не все, это лишь механизмы, трубопроводы, подъездные пути, словом, вспомогательные средства. Это не само здание, а лишь строительные леса.

— Без которых не построишь ни одного здания, — возразил Милтоун.

— Да, милый друг, но это далеко не одно и то же, — отпарировал Куртье. — Леса снимают, как только в них отпадает надобность, и открывается сооружение, которое берет начало на земле, а отнюдь не в небе. Все леса закона возводятся лишь для того, чтобы сэкономить время и предохранить храм, пока его строят, сберечь верность и чистоту его линий.

— Нет, — сказал Милтоун, — нет! Леса, как вы их называете, — это материальное воплощение воли зодчего, без них не воздвигается и не может быть воздвигнут храм; и зодчий этот — сам Всевышний, передающий волю свою через тех, чей ум и душа всего ближе к нему.

— Наконец-то мы добрались до самой сути! — воскликнул Куртье. — Ваш бог вне нашего мира. Мой — внутри.

— И им никогда не встретиться!

Только теперь Милтоун заметил, что они вышли на Лестер-сквер — здесь стояла тишина,

театры еще не успели извергнуть шумные толпы; но в тишине этой было ожидание, фонари, точно приспущенные с темного неба желтые звезды, жались к белым стенам мюзик-холлов и кафе, и в их трепетном сиянии недвижная листва платанов казалась совсем светлой.

— Невинная распутница — вот что такое эта площадь! — сказал Куртье. — Изменчивая, точно лицо женщины, всегда прекрасная в своей сомнительной прелести! Но, черт возьми, если заглянуть поглубже, и здесь тоже есть добродетель.

— И порок, но его вы не желаете замечать, — сказал Милтоун.

Он вдруг очень устал, ему хотелось поскорей добраться до дому, и уже не было охоты продолжать спор, который не принес ему ни малейшего облегчения. А Куртье все говорил, и он с трудом заставил себя прислушаться.

— Давайте прогуляем всю ночь, ведь завтра нам конец… Вы хотели бы обуздать распущенность извне, я — изнутри. Если бы, просыпаясь и засыпая, глядя на человека, на дерево или цветок, я не чувствовал бы, что созерцаю само божество, я распрощался бы с этим многоцветным миром хотя бы из одной только скуки. Вы же, как я понимаю,

можете взирать на своего бога, лишь удалившись куда-нибудь на вершины. Но не одиноко ли там?

Милтоун не ответил, и некоторое время они шли молча. И вдруг он не выдержал:

— Вы говорите, тирания! Какая тирания может сравниться с тиранией вашей пресловутой свободы? Какая тирания может быть хуже тирании этой «свободной» грязной, узкой улицы, которая кишмя кишит газетами, — а для чего? Это детище вашей свободы, Куртье, не способно ни на восторг, ни на самообуздание, ни на жертву, оно признает лишь куплю-продажу да распущенность.

Минуту Куртье молчал, и Милтоун повернул в сторону реки, прочь от высоких домов, к освещенным окнам которых он только что обращал свои речи.

— Нет, — услышал он, — в чем бы ни была грешна эта улица, на ней дует свежий ветер, здесь тоже все может перемениться. Господи, да по мне лучше самые слабые звезды, что пробиваются в темном небе, чем все ваше распрекрасное искусственное освещение!

И вдруг Милтоуну показалось, что его вечно будет преследовать этот голос — от него не уйти, нечего и пытаться.

— Мы повторяемся, — сухо сказал он.

Безмолвно, медлительно, точно отдыхая, река катила свои черные воды, слабо освещенные неполной луной. Окутанные тьмой, громоздились на другом берегу краны, высокие строения, пристани; спали, уткнувшись в него, баржи; несметное множество загадочных темных силуэтов жило какой-то своей, напряженной жизнью. Там все полно было странной, величавой красоты. А фонари — жалкие цветы ночи — осыпали могучую спокойную подругу человека лепестками бледного сияния, и с запада веял благоухающий ветерок, пока еще слабый, неся трепет и аромат несчетных дерев и полей, которым река, скользя мимо, дарила свою ласку. Она текла почти беззвучно, слышался лишь еле уловимый ропот, точно сердце шептало сердцу.

Потом раздались всплески весел и скрип уключин. И под самым берегом промелькнул маленький тупоносый ялик с двумя гребцами.

— Итак, «завтра нам конец»? — спросил Милтоун. — Вы, очевидно, хотите сказать, что общественная деятельность нужна мне как воздух и отказ от нее для меня равносилен смерти?

Куртье кивнул.

— На этот крестовый поход вас благословила

моя младшая сестра, правда?

Куртье не ответил.

— Итак, — продолжал Милтоун, пронизывая его взглядом, — завтра и ваш последний день? Что ж, вы правы, что уезжаете. Она отнюдь не гадкий утенок, который сумеет жить вне привычного общественного пруда; ей всегда будет недоставать родной стихии. А теперь простимся! Что бы ни случилось с нами обоими, этот вечер я не забуду. — Он с улыбкой протянул руку. — Moriturus te saluto[21].

Глава XXIII

Дожидаясь условленных пяти часов, Куртье сидел в Гайд-парке.

День, обещавший поутру быть пасмурным, посветлел, словно за долгое жаркое лето воздух слишком накалился, чтобы уступить первой же атаке ненастья. Солнце, пробиваясь сквозь кудрявые облачка, подобные перьям на груди нежных голубок, пронзало своими лучами яркие листья и осыпало землю их мягкими тенями. Впервые, и словно бы слишком рано, стал ощутим щемящий

---

[21] Примечания: 21
Идущий на смерть приветствует тебя *(лат.)*.

душу аромат листвы, готовой вот-вот облететь. Загрустившие птицы настраивали свои свирели на осенний лад, но еще нет-нет да и сбивались на весенние гимны свободе.

Куртье думал о Милтоуне и его возлюбленной. Что за прихоть судьбы свела этих двух людей? К чему приведет их любовь? Семена скорби уже посеяны; что вырастет из них: цветы беспросветного горя или мятежа? Он мысленно вдруг увидел Одри задумчивой, мечтательной девочкой с кроткими, широко расставленными глазами под темными дугами бровей, с ямочкой в уголке рта, которая появлялась всякий раз, как он ее поддразнивал. И такому нежному созданию, которое скорее умрет, чем навяжет кому-либо свою волю, суждено было полюбить именно такого человека! Этого аристократа по натуре и по рождению, с душой, иссушенной лихорадочным жаром, вскормленного и воспитанного для служения власти, который отрицает единство всего живого и поклоняется древнему богу. Богу, который бичом учит людей послушанию. Бога этого Куртье еще и сейчас помнил взирающим со стен детской. В этого бога верил его отец. Это Бог Ветхого Завета, не ведающий ни жалости, ни понимания. Как странно, что Он все еще жив, что

тысячи людей и по сей день поклоняются Ему! А впрочем, не так уж странно — ведь говорят, что человек сотворил бога по своему образу и подобию! Да, удивительное получилось сочетание того, что философы назвали бы волей к любви и волей к власти!

Солдат с девушкой подошли и сели на соседнюю скамью. Они искоса поглядывали на подтянутого, хорошо одетого господина с воинственным лицом; но что-то неуловимое подсказало им, что он не из опасного племени повелителей, и тогда они перестали его замечать и предались безмолвному, не выразимому словами блаженству. Они сидели рука в руке, тесно прижавшись друг к другу, и Куртье залюбовался ими: вид людей, так самозабвенно отдающихся минуте, никогда не оставлял равнодушным этого человека, в чьих жилах текла слишком горячая кровь, чтобы он мог надолго задумываться о будущем или долго предаваться воспоминаниям.

Желтый лист, разомлевший под солнцем, сорвался с сучка над головой Куртье и упал к его ногам. Как быстро они увядают!

Не характерно ли: он, который всегда так горячо принимал сторону тех, кто проигрывает, сидя здесь за полчаса до того, как сам должен

был окончательно проиграть, оставался совсем спокоен, чуть ли не равнодушен. Равнодушен отчасти потому, что унывать он был не способен и жизнь тщетно пыталась заставить его хоть раз пасть духом; а отчасти в силу неизлечимой привычки не дорожить собой и своей удачей.

Ему все еще не верилось, что он потерпит поражение и вынужден будет признаться самому себе, что все последнее время страстно мечтал об этой девушке, а завтра всему конец — она будет так далека от него, словно он никогда ее и не видел. И это было не смирение, нет, просто он не способен был добиваться чего-нибудь для себя. Вот если бы это касалось кого-то другого! Как храбро он кинулся бы на приступ — и уж наверно пленил бы ее! Если бы только он сам мог оказаться этим другим, с какой легкостью, как пылко полились бы из его уст все те слова, которые просились на язык с той самой минуты, как он впервые увидел ее, и прозвучали бы так нелепо и недостойно, скажи он их ради себя! Да, ради другого он вынес бы ее из-под неприятельских пуль; уж он бы захватил эту прекраснейшую в мире добычу.

Так он сидел с видом странно веселого равнодушия, которое, пожалуй, сродни отчаянию, и смотрел, как срываются и падают листья, и время

от времени взмахом палки рассекал воздух, в котором уже чувствовалось дыхание осени. Ему чудилось, будто он увлекает ее в глушь, в пустыню, и своей преданностью делает ее день ото дня счастливее, и, понимая, как далеко занесся он в мечтах, он невольно усмехался, а раза два крепко стиснул зубы.

Солдат с девушкой поднялись и пошли по аллее для верховой езды. Он смотрел, как медленно удаляются освещенные солнцем две фигуры — алая и синяя, потом их заслонила другая пара. Весело было смотреть, как приближаются эти двое — рослые, статные, как высоко они держат головы, как поворачиваются друг к другу, обмениваясь словом или улыбкой. Даже издали было ясно, что они принадлежат к высшему свету: в их походке чувствовалось почти вызывающее спокойствие людей, которым неведомы сомнения и заботы, уверенных в окружающем мире и в самих себе. На девушке было золотисто-коричневое платье в тон волосам и шляпа того же цвета, и солнце, посылая лучи ей вслед, окутало ее сияющим ореолом. И вдруг Куртье узнал эту пару!

Ни единым звуком или движением он не выдал своего присутствия, лишь невольно скрипнул зубами, и они прошли мимо, не заметив его. Если

не слова, то голос ее он слышал отчетливо. Он видел, как она взяла Харбинджера под руку и тотчас его отпустила. Усмешка, о которой он и не подозревал, тронула губы Куртье. Он встал, встряхнулся, точно пес после трепки, и, плотно сжав губы, пошел прочь.

Глава XXIV

Оказавшись одна в пустой кондитерской, уставленной столиками красного дерева, где вкусно пахло свадебным пирогом и апельсиновой коркой, Барбара сидела некоторое время, не поднимая глаз, точно ребенок, у которого отняли игрушку, не умея сразу разобраться в своих чувствах. Потом расплатилась с немолодой официанткой и вышла на площадь. Духовой оркестр исполнял делибовскую «Коппелию», и загубленная столь малоподходящим исполнением мелодия преследовала ее всю дорогу.

Она пошла прямо домой. В комнате, где три часа назад ее оставили после обеда наедине с Харбинджером, в оконной нише сидела явно расстроенная Агата. Уже целый час она не находила покоя. Зайдя с Энн в кондитерскую, где можно было купить особый сорт тянучек, по

ее мнению, наиболее полезный для детей, она занялась покупкой и вдруг заметила, что Энн стоит как вкопанная, раскрыв рот и устремив дерзкий носик в глубь кафе; проследив за ее удивленным, вопрошающим взглядом, Агата, к своему изумлению, увидела Барбару с мужчиной, в котором тотчас узнала Куртье. С похвальной решительностью она сунула Энн в рот тянучку, распорядилась, чтобы остальное прислали на дом, и, взяв девочку за руку, вышла на улицу. Беда никогда не приходит одна: едва переступив порог дома, Агата услышала от отца, к чему привел роман Милтоуна. Барбара застала сестру искренне удрученной и расстроенной: она никак не могла решить, надо ли рассказать родителям о том, чему она была свидетельницей, но в то же время была возмущена до глубины души, как может быть возмущена преданная семье женщина, увидев попранными все свои идеалы.

Поняв по лицу сестры, что она, очевидно, узнала о Милтоуне, Барбара сказала:

— Итак, мой ангел, меня ждет выговор?

— По-моему, ты сошла с ума. Зачем ты привела к нему миссис Ноуэл? — холодно ответила Агата.

— Женщина непременно должна быть чуточку сумасшедшей, — словно про себя сказала Бар-

бара.

Агата молча посмотрела на нее.

— Не могу тебя понять, — сказала она наконец. — Ты ведь не глупая!

— Нет, но хитрая.

— Может быть, тебе и весело, когда рушится вся жизнь Милтоуна, — пробормотала Агата. — А мне нет.

Глаза Барбары сверкнули.

— Мир не ограничивается детской, мой ангел, — холодно ответила она.

Агата поджала губы, всем своим видом говоря: «И это очень жаль», — но сказала только:

— Ты, наверно, не знаешь, что я сейчас видела тебя в кондитерской Гастарда.

Мгновение Барбара изумленно смотрела на нее, потом рассмеялась.

— Вон оно что! — сказала она. — Какая чудовищная безнравственность!.. Бедный старик Гастард!

И, все еще смеясь злым смехом, повернулась и вышла.

За обедом и после него весь вечер она была молчалива, и с лица ее не сходило выражение, какое бывало у нее обычно на охоте, особенно в трудные минуты, когда она боялась упустить

дичь. Оставшись наконец одна в своей комнате, она испытала страстное желание досадить кому-нибудь, хоть бы и самой себе, чтобы отвести душу. Ложиться не стоило: в таком настроении ни за что не уснуть, только изведешься, ворочаясь с боку на бок. Не ускользнуть ли из дому? Это было бы забавно, и она досадила бы им всем; но нет, это не так-то просто. Ее могут увидеть, поднимется шум, это слишком унизительно. А что, если выбраться на крышу башни? Однажды в детстве она уже это проделала. Там свежий воздух, там можно дышать, можно избавиться от владеющего ею беспокойства. Со злым удовольствием балованного ребенка, решившего всех наказать, она оставила дверь своей комнаты настежь — пусть горничная увидит, что ее нет, и встревожится, и растревожит их всех. Через залитую лунным светом галерею предков она выскользнула на площадку за отцовским кабинетом, откуда каменная узкая лестница вела на крышу, и стала по ней взбираться. Казалось, ступенькам не будет конца, но вот они все же позади; тяжело дыша, она стоит на крыше в северном конце дома, а земля далеко внизу, в добрых ста футах. От этой высоты у нее слегка закружилась голова, и она постояла, вцепившись в перила, идущие по само-

му краю плоской крыши, все еще поглощенная своими бунтарскими мыслями. Но постепенно картина, открывшаяся взору, захватила ее. Вознесенная высоко над всеми соседними домами, она была почти испугана величием увиденного. Город в вечернем убранстве, такой далекий и таинственный, такой ослепительный и живой, сверкающий мириадами золотых цветов огня, что распустились на его лиловых холмах и в долинах, город, из недр которого доносится непрестанный глухой ропот, — неужели это тот Лондон, по которому она шла всего несколько часов назад! Великий, тоскующий дух его всплыл над погруженным в сон телом и низко парил над ним, искушая Барбару своей таинственной прелестью. Она поглядела в другую сторону: ей хотелось охватить взором всю эту поразительную панораму — от черных аллей Гайд-парка, раскинувшегося прямо перед нею, до белого, точно припудренного призрака церкви вдали, на востоке. Чудо как хорош этот ночной город! И перед лицом этого гигантского, полного беспокойных мыслей прекрасного творения рук человеческих она почувствовала себя маленькой и робкой, как тогда, в предрассветный час, у бескрайнего, объятого тьмой моря. Вон там смутно виднеются

здания Пиккадилли, а за ними дворцы и башни Вестминстера и Уайтхолла; и повсюду под темно-фиолетовым небом завораживает глаз хаос темных силуэтов и бледных извилистых цепочек света. А здесь, совсем близко, ясно видны все еще освещенные окна, автомобили, скользящие меж домов, на самом дне, и даже крохотные фигурки пешеходов; и не верится, что каждая фигурка — такой же человек, как и она, со своей жизнью, со своими мыслями и чувствами.

Испив из этого волшебного кубка, Барбара ощутила странное опьянение и уже не казалась себе маленькой и ничтожной; скорее наоборот, она обрела силу, как тогда во сне в Монкленде. Как и великий город там, внизу, она точно вырвалась из своего тела, чтобы не ощущать никаких преград — блаженно парить, словно растворяясь в воздухе. Казалось, она слилась воедино с освобожденным духом города, погруженного в созерцание своего великолепия. Потом и это ощущение исчезло — она стояла, хмурясь и зябко вздрагивая, хотя ветер, дувший с запада, был совсем теплый. Что за нелепая причуда — забираться на крышу! Она тихонько спустилась и уже на пороге галереи услышала удивленный возглас матери:

— Это ты, Бэбс?

Обернувшись, она увидела леди Вэллис в дверях кабинета.

Барбара тотчас овладела собой и, готовая к отпору, молча смотрела на мать.

— Не войдешь ли на минутку, дорогая? — неуверенно предложила леди Вэллис.

В комнате, где все было создано для удобства и покоя, стоял спиной к камину лорд Вэллис, и лицо его выражало обиду и решимость. Сомнения Агаты, надо ли сказать родителям о встрече у Гастарда, разрешились самым жестоким образом: дождавшись первой же паузы в разговоре взрослых, Энн объявила:

— А мы видели в кондитерской тетю Бэбс с мистером Куртье, только мы с ними не поздоровались.

Леди Вэллис весь день была подавлена объяснением с Милтоуном, и обычное savoir faire[22] ей изменило. На сей раз она не могла не поделиться с мужем. Подобная встреча в кондитерской, знаменитой разве что свадебными пирогами, — в сущности, пустяк; но оба были уже расстроены решением Милтоуна, и выходка Барбары

---

[22] Примечания: 22
Находчивость *(фр.)*.

показалась им зловещей, точно само небо вознамерилось погубить их семью. Лорд Вэллис был оскорблен в своих лучших чувствах: ведь он всегда так восхищался младшей дочерью; притом жена уже с месяц назад предостерегала его, а он так легкомысленно отнесся к ее словам… И однако, сколько они ни толковали меж собой, они пришли лишь к тому, что леди Вэллис надо поговорить с Барбарой. Не обладая особой чуткостью, супруги были в достаточной мере наделены здравым смыслом и хорошо понимали, что перечить Барбаре опасно. Это не помешало лорду Вэллису весьма резко высказаться по адресу «этого субъекта без стыда и совести» и составить свой тайный план действий. Леди Вэллис, которая знала дочь куда лучше и, как всякая женщина, была куда снисходительнее к мужчинам, хоть и не собиралась оправдывать Куртье, но про себя подумала: «Бэбс — ужасная кокетка», ибо прекрасно помнила, какою была сама в молодые годы.

Столь неожиданно призванная к ответу, Барбара крепко сжала губы и с невозмутимым видом остановилась у отцовского письменного стола.

Застигнутый врасплох ее появлением, лорд Вэллис инстинктивно перестал хмуриться; долгий опыт политика и дипломата помог ему принять

вид невозмутимый и бесстрастный, который никак не соответствовал его чувствам. Он предпочел бы оказаться лицом к лицу с враждебно настроенной чернью, чем столкнуться по такому поводу со своей любимицей. Хоть он этого и не сознавал, в его смуглом от загара лице с жесткими седеющими усами, в самой посадке головы было сейчас больше истинно военного, чем обычно. Веки чуть опустились, брови слегка поднялись.

Перед тем как взобраться на крышу, Барбара поверх вечернего платья накинула голубую накидку, и он невольно ухватился за этот пустяк, чтобы начать разговор.

— А, Бэбс! Ты выходила из дому?

Она вся насторожилась, но сдержала внутреннюю дрожь и ответила спокойно:

— Нет, только на крышу башни.

И не без злорадства заметила, что отец, несмотря на полную достоинства осанку, явно растерялся. Лорд Вэллис почувствовал в ее тоне скрытую насмешку и сказал сухо:

— Любовалась звездами?

И вдруг со свойственной ему порывистой решимостью, точно ему несносно стало тянуть и медлить, прибавил:

— Я не уверен, знаешь ли, что это очень разум-

но — назначать свидания в кондитерской, когда Энн в Лондоне.

Опасная искорка, блеснувшая в глазах Барбары, ускользнула от его внимания, но леди Вэллис ее заметила и поспешила вмешаться.

— У тебя, конечно, были самые веские причины, дорогая.

Губы Барбары скривились в загадочной усмешке. Не будь тягостного разговора с Милтоуном, не будь родители не на шутку встревожены, они бы, несомненно, поняли, что, когда дочь в таком настроении, чем меньше будет сказано, тем лучше. Но оба слишком переволновались, и лорд Вэллис не сдержался.

— Ты, видно, не считаешь нужным объяснять свои поступки, — сказал он с плохо скрытым раздражением.

— Нет, — ответила Барбара.

— Гм… понимаю. Объяснения можно будет, разумеется, получить у джентльмена, который столь возомнил о себе, что посмел это предложить.

— Это не он предложил, а я.

Брови лорда Вэллиса поднялись еще выше.

— Вот как!

— Джефри, — негромко сказала леди Вэллис, —

лучше я сама поговорю с Бэбс.

— Это было бы куда разумнее.

У Барбары, которой впервые в жизни выговаривали всерьез, было чрезвычайно странное ощущение — точно в тело ее вонзались острые когти; ей было и тошно, и в то же время словно бес в нее вселился. Она готова была убить отца. Но она опустила глаза и ничем не выдала обуревавших ее чувств.

— Дальше что? — спросила она.

Челюсть лорда Вэллиса вдруг выдвинулась вперед.

— Если вспомнить о твоей роли в истории с Милтоуном, эта новая выходка особенно очаровательна.

— Дорогой мой, — поспешила вмешаться леди Вэллис, — Бэбс мне все расскажет. Это просто пустяки, я уверена.

— Дальше что? — снова прозвучал спокойный голос Барбары.

При этих повторенных ледяным тоном словах лорду Вэллису едва окончательно не изменила сохраняемая с величайшим трудом выдержка.

— От тебя не требуется ничего, — с холодностью ответил он. — Я буду иметь честь высказать этому джентльмену, что я о нем думаю.

Барбара внутренне подобралась и посмотрела сперва на отца, потом на мать.

Этот взгляд при всей его ледяной твердости был так красноречив, что и лорду, и леди Вэллис стало не по себе. Словно дочь сорвала с них маски благовоспитанности и обнажила подлинные лица людей, столь давно привыкших быть довольными собой, что они утратили гибкость, широту и стали куда более заурядными, чем сами подозревали. Страшная то была минута! Наконец Барбара сказала:

— Если от меня больше ничего не требуется, я пойду спать. Спокойной ночи!

И вышла с таким же невозмутимым видом, как вошла.

Оказавшись у себя в комнате, она заперлась, сбросила накидку и поглядела в зеркало. Ей было приятно увидеть, что зубы ее крепко сжаты, тяжело вздымается и опускается грудь и глаза точно пронзают насквозь.

«Ну хорошо же, мои дорогие! — думала она. — Хорошо же!»

Глава XXV

С этим чувством обиды и возмущения она и уснула. И, как ни странно, приснился ей не тот, кого она в душе так яростно защищала, а Харбинджер. Ей привиделось, что она в заточении, лежит в темнице, убранной, как гостиная в приморском домике, а в соседней темнице, в которую ей каким-то образом удается заглянуть, вонзается ногтями в стену Харбинджер. Она ясно видела поросшие волосами кисти его рук, слышала его дыхание. Отверстие в стене становилось все шире и шире. Сердце Барбары неистово заколотилось, и она открыла глаза.

Она встала со злой решимостью ничем не выказывать своего бунта, весь день вести себя так, словно ничего не случилось, обмануть их всех, а потом… что именно значило это «а потом», она не объясняла даже самой себе.

В соответствии с этим планом она вышла к завтраку безмятежно спокойная, покаталась верхом с Энн, а потом с матерью ездила по магазинам. Из-за неожиданного решения Милтоуна отъезд в Шотландию откладывался. Хладнокровно и искусно Барбара отражала все попытки леди Вэл-

лис завести разговор о свидании в кондитерской и о брате тоже не желала говорить; но в остальном она была такая же, как всегда. Среди дня она вызвалась сопровождать мать к старой леди Харбинджер, жившей по соседству с Принс-Гейт. Там наверняка будет и Клод; она думала об этом не без злорадства, ведь в пять у нее свидание с тем, другим. Как ловко она сумела отвести им всем глаза! Там, чувствуя себя великим мастером интриги, она сказала Харбинджеру так, чтобы леди Вэллис тоже слышала, что идет домой пешком и он может проводить ее, если хочет. Он, разумеется, хотел.

Но стоило ей ощутить на лице предвечернюю свежесть, легкий юго-западный ветерок в ласковой тени деревьев, и ее мятежного безрассудства как не бывало: она вдруг почувствовала себя счастливой, доброй, и так приятно было, что рядом идет Клод. Он тоже в этот день был весел, словно решил не портить ей настроение; и она была благодарна ему за это. Раз-другой, когда ей хотелось, чтобы он поглядел на птиц или на деревья, она даже дружески брала его за рукав и после долгих часов горечи радовалась возможности дарить счастье. Расставшись с ним у особняка Вэллисов, она поглядела ему вслед со

странной, чуть ли не печальной улыбкой, ибо настал урочный час.

Она уселась ждать в маленькой уединенной приемной, сверкающей белыми панелями и полированной мебелью. Отсюда была видна аллея, ведущая к дому: Барбара хотела встретить Куртье в холле как бы случайно. Она волновалась и слегка презирала себя за это. Она думала, что он будет точен, но вот уже шестой час; скоро ей стало не по себе; да ведь это просто смешно — сидеть в комнате, куда никто никогда не заходит. Она подошла к окну и выглянула.

— Тетя Бэбс! — вдруг послышалось у нее за спиной.

Обернувшись, она увидела Энн, которая смотрела на нее своими широко раскрытыми, ясными карими глазами. Барбара невольно поежилась.

— Это твоя комната? Какая хорошенькая комната, правда?

— Правда, Энн.

— Да. А я еще никогда тут не была. Кто-то пришел. Ну, мне пора.

Барбара машинально прижала ладони к щекам и вместе с племянницей быстро вышла в холл. И Уильям, лакей, тотчас подал ей записку. Она посмотрела на надпись. От Куртье. И пошла обратно

в приемную. Из-за неплотно прикрытой двери она видела Энн — расставив ножки, держась за низко повязанный поясок и задрав дерзкий носишко, девочка смотрела на Уильяма. Барбара захлопнула дверь, сломала печать и прочла:

«Дорогая леди Барбара,

с огорчением сообщаю Вам, что мой разговор с Вашим братом ни к чему не привел.

Мне случилось только что сидеть в Парке, и я хочу на прощание пожелать Вам всяческого счастья. Знакомство с Вами было для меня величайшей радостью. Я всегда буду думать о Вас с гордостью, и воспоминание о Вас поможет мне верить, что жизнь хороша. Если на душе у меня вдруг станет темно, я вспомню, что в этом мире живете Вы. С глубоким почтением я снимаю шляпу перед красотой и счастьем, благодарный за то, что был удостоен Вашего внимания. Итак, прощайте, и да благословит Вас Бог.

Ваш покорный слуга Чарльз Куртье».

Щеки ее горели, с губ слетали быстрые вздохи; она принялась было перечитывать письмо, но так и не кончила: туман застлал ей глаза. Будь в этом письме хоть слово жалобы или сожаления! Нет, она не допустит, чтобы он так уехал: не простясь, не выслушав ее объяснений. Не должен он

думать, что она холодная, бессердечная кокетка и просто хотела поиграть им недельку-другую. Она непременно объяснит ему, что он ошибается. Она заставит его понять, что он не так о ней подумал… что ей хотелось… хотелось… В голове у нее все перепуталось. «Что же это такое? — думала она. — Что я натворила?» И в гневе на самое себя она, скомкав, сунула письмо в перчатку и выбежала из дому. Она быстро пошла к Пиккадилли и дальше, через улицу, в Грин-парк. Здесь она чуть не столкнулась с лордом Мэлвизином, который неторопливо шел с приятелем к Гайд-парку, и едва им кивнула. Сейчас ей тошно было смотреть на этих вылощенных, холеных мужчин. Ей хотелось бежать, лететь на это свидание: надо поскорей переубедить его, ведь он, конечно, уверен, будто она, Барбара Карадок, пошлая пожирательница сердец, низкая обманщица и кокетка! А его письмо — без тени упрека! Лицо ее так пылало, что она невольно пыталась укрыть его от прохожих.

До его дома было уже совсем недалеко, и она пошла медленнее, заставляя себя думать о том, как же ей себя вести и чего она от него хочет. Но она все так же решительно шла вперед. Она не отступит… чем бы это ни кончилось! Сердце ее трепетало, потом, кажется, совсем перестало

биться и снова затрепетало. Она стиснула зубы; в ней поднималась какая-то отчаянная веселость. Да, это настоящее приключение! И тут на нее нахлынуло чувство, которое она испытала тогда на крыше. Все это дико, нелепо! Она приостановилась и вынула из перчатки письмо. Может, и нелепо, но так надо. И, крепко сжав губы, она пошла дальше. В мыслях своих она уже стояла перед ним, с закрытыми глазами, с бешено колотящимся сердцем, и ждала, что же она почувствует, когда он заговорит, а быть может, коснется губами ее лица или руки. И ей представилось, как она стоит — ресницы опущены, губы приоткрыты… Но странно: его она почему-то не видела. И тут оказалось, что она уже перед дверью его дома.

Она спокойно позвонила, но не опустила руку, а приложила выглядывавшую из перчатки ладонь к лицу — неужели это ее щеки так горят?

Дверь растворилась, и она увидела прихожую, лестницу, устланную красным ковром, и у ее подножия — старого лохматого коричневого с белым пса, которого явно одолевали блохи и печаль. Неизвестно почему Барбару обуял страх; она стояла как статуя, но душа ее метнулась обратно, через Грин-парк, домой, в особняк Вэллисов. Но тут к ней вышла молодая женщина в синем фартуке, с

кроткими покрасневшими глазами.

— Здесь живет мистер Куртье?

— Да, мисс.

У этой еще молодой женщины было совсем мало зубов, да и те несколько почерневшие, и, не в силах вымолвить ни слова, Барбара смотрела на нее, застыв на пороге, между солнечной улицей и сумрачной прихожей, которая вела… куда?

Женщина снова заговорила:

— Очень жалко, если он вам нужен, мисс. Он только что уехал.

Сердце Барбары дрогнуло, как внезапно отпущенная струна. Она наклонилась и погладила по голове старого пса, который обнюхивал ее туфли.

— И я, конечно, не могу вам дать его адрес, — сказала женщина. — Потому что он уехал в чужие края.

Барбара пробормотала что-то невнятное и выбежала на залитую солнцем улицу. Рада ли она? Огорчена ли? На углу она остановилась и обернулась; две головы — женщины и собаки — все еще выглядывали из дверей.

Ей вдруг ужасно захотелось расхохотаться и почти тотчас — расплакаться.

Глава XXVI

Западный ветер, шепот которого слышали накануне вечером Куртье и Милтоун, нес вдоль реки первые осенние облака. Кудрявые, серые, они медленно наползали на солнце, словно стараясь его пересилить, и даже в этот ранний час оно светило лишь урывками. Пока Одри Ноуэл одевалась, солнечные лучи самозабвенно плясали на белой стене, точно погибшие души, у которых нет будущего, или мошкара, которая кружит и кружит в краткий миг отпущенной ей радости и не оставляет по себе следа. От бокового окна, завешенного темной шторой, сквозь просветы тянулись к зеркалу, которое тыльной стороной преграждало им путь, дымчатые нити. Они свивались в серые дрожащие спирали, такие плотные на взгляд, что странно было, почему рука не может их поймать; ревниво, точно призраки, оберегая пространство, которым завладели, они на миг развлекли сердце, лишенное счастья. Ибо могла ли она быть счастливой, если не видела любимого уже тридцать часов, и в последнее свидание его поцелуи не рассеяли ощущения непоправимой беды, которое нахлынуло на нее,

когда он сказал ей о своем решении. Она видела глубже, чем он: рок послал ей весть.

Быть тяжким бременем, помешать ему приносить пользу; быть не опорой, а обузой; не вдохновляющими небесами, но тучей! И все из-за его щепетильности, которой она не могла понять! Одри не сердилась на эту непонятную щепетильность, но она была фаталистка, притом хорошо знала Милтоуна и потому предугадывала, к чему это приведет. Он скоро почувствует, что ее любовь калечит ему жизнь; даже если он все еще будет желать ее, то лишь плотью. И раз уж из-за этой щепетильности он способен отказаться от общественной деятельности, он способен оставаться с ней, даже если любовь его умрет! Мысль эта была невыносима. Она жгла ее. Но нет, жизнь не может быть такой жестокой — подарить такое счастье лишь затем, чтобы его отнять! Неужели ее любви дан такой короткий век, а вся его любовь — лишь одно объятие — и конец навсегда!

В это утро отчаяние придало ей уверенности, и она призналась себе, что хороша. Он поймет, он должен понять, что она ему нужней и желанней, чем та, другая жизнь, при одной мысли о которой лицо Одри темнело. Эта другая жизнь такая жестокая и так от нее далека! В ней нет

души, в ней все — только видимость, и все же для него это и есть настоящая жизнь, до отчаяния, до отвращения настоящая! Если ему и в самом деле надо расстаться с общественной деятельностью, неужели жизнь, которую они поведут, не возместит ему потерю? Сколько может у них быть простых и светлых радостей: путешествия, музыка, картины, цветы, великое разнообразие природы, друзья, которым они дороги сами по себе; и можно быть добрыми к людям, помогать бедным и несчастным и любить друг друга! Но нет, такая жизнь не по нем! Что толку обманывать себя? Конечно же, справедливо и естественно его желание, чтобы силы его не пропали даром. Его призвание — вести за собой и служить отечеству! Она и не хотела бы видеть его другим. Мысли эти, сменяя друг друга, проносились у нее в голове, пока она заплетала и укладывала свои темные волосы и хоронила сердце за кружевной броней. С привычным вниманием она заметила в вазе на туалетном столике два увядших цветка, выбросила их и сменила воду.

Солнечные лучи уже не плясали на стене, и серые спирали света тоже исчезли. В небе осень вступила в свои права. Одри вышла из спальни; зеркало в прихожей всегда было немилостиво

к ней, и, проходя мимо, она не решилась в него посмотреться. Но внезапно ей пришла на помощь истинно женская вера в неотразимость ее чар; ей стало спокойно и радостно: конечно же, он любит ее больше своей совести! Но то была слишком трепетная уверенность, ее так легко было спугнуть. Даже приветливая румяная горничная, казалось, смотрела на нее сегодня с состраданием; и в ней тотчас поднялось врожденное чувство не столько «хорошего тона», сколько такта, которое всегда заставляло ее избегать всего, что может взволновать или огорчить кого-то или навести на мысль, что ее надо пожалеть; и она тщательней обычного старалась скрыть свою тоску и тревогу даже от себя самой. Все утро она машинально занималась привычными мелочами. Но ее ни на минуту не покидала мечта увезти Милтоуна из Англии, — может быть, при виде тысячи красот, которые она ему покажет, он все же загорится любовью ко всему, что любит она! В юности она провела за границей три года.

А ведь Юстас никогда не был в Италии, не был в ее любимых горных долинах! Потом ей представилась его квартирка в Темпле и заслонила это видение. Нет, ни пышные золотистые ковры горечавки, ни альпийские розы не опьянят

восторгом любителя этих книг, этих бумаг, этой огромной карты. И она вдруг с такой остротой ощутила запах кожаных переплетов, словно опять хлопотала вокруг него, скользя по этой комнате неслышной походкой сиделки. Потом на нее вновь нахлынула радость, что наполняла ее в те счастливые дни, — радость любви, которая втайне знает о близящемся торжестве и завершении; несказанная отрада — отдавать все свое время, все помыслы и все силы; и сладкое неосознанное ожидание чудесного неотвратимого мгновения, когда она наконец отдаст ему себя всю. И еще вспомнилась усталость тех дней, священная усталость, и улыбка, не сходившая с ее губ от мысли, что устает она ради него.

Раздался звонок — она вздрогнула. Ведь в его телеграмме было сказано: днем. Она решила ничем не выдавать своей тревоги, омрачавшей для нее весь мир, и глубоко вздохнула в предчувствии его поцелуя.

То был не Милтоун, а леди Кастерли.

От неожиданности кровь бешено застучала в висках. Потом Одри увидела, что маленькая фигурка, появившаяся перед ней, тоже вся дрожит, и придвинула кресло.

— Не угодно ли вам присесть? — сказала она.

Старческий голос поблагодарил, и Одри вдруг вспомнила сад в Монкленде, залитый ласковыми лучами летнего солнца, и Барбару у калитки, возвышавшуюся над маленькой фигуркой, что сидит сейчас такая тихая, без кровинки в лице. Это лицо, эти точеные черты, эти острые, хоть и подернутые дымкой глаза так часто преследовали ее! Казалось, дурной сон стал явью.

— Моего внука здесь нет?

Одри покачала головой.

— Мы слышали о его решении. Не стану ходить вокруг да около. Это — несчастье, а для меня — тяжкий удар. Я его знаю и люблю со дня его рождения, и я была настолько глупа, что мечтала о его будущем. Вы, может быть, не знаете, сколь многого мы от него ждали. Простите меня, старуху, что я вот так к вам пришла. В мои годы уже мало что важно, но это немногое — очень важно.

«А в мои годы важно только одно, но это одно важнее жизни», — подумала Одри. Но ничего не сказала. Кому, зачем говорить? Этой черствой старухе — воплощению высшего света? Что толку от слов! Серая фигурка, казалось, заполонила всю комнату. Леди Кастерли продолжала:

— Вам я могу сказать то, чего не в силах была сказать никому, ибо сердце у вас доброе.

Сердце, которому воздали такую хвалу, дрогнуло, и дрожь передалась губам. Да, сердце у нее доброе! Она способна даже посочувствовать этой старухе, в чьем голосе тревога заглушила обычную властность.

— Для Юстаса нет жизни вне его карьеры. Карьера — это и есть он сам, он должен действовать, руководить, дать волю своим силам. То, что он отдал вам, это не настоящее его «я». Не хочу причинять вам боль, но от правды не уйдешь, перед ней все мы должны склониться. Быть может, я жестока, но я умею уважать горе.

Уважать горе! Да, эта серая гостья умеет уважать горе, как ветер, проносящийся над морем, уважает морскую гладь, как воздух уважает нежные лепестки розы, но уметь проникнуть в молодое сердце, понять его горе — на это старики не способны. Им это не легче, чем разгадать, что за тайные знаки чертят вон те ласточки, летая над рекой, или проследить до самых истоков слабый аромат лилий вон в той вазе! Откуда ей знать, этой старухе, чья кровь давно остыла, что творится в ее душе? И Одри казалось, что она смотрит со стороны, как в нее швыряют жалкими остатками ее мечты. Ей хотелось встать, взять эту старческую руку — холодную, иссохшую паучью

лапку, — приложить ее к своей груди и сказать: «Тронь — и замолчи!»

И однако, ее не оставляло какое-то глухое сострадание к этой старухе с бледным точеным лицом. Она не виновата, что пришла!

— Это еще только начало, — снова заговорила леди Кастерли. — Если вы не откажетесь от него сейчас, сразу, очень скоро вам придется еще тяжелее. Вы знаете, какой он непреклонный. Он не изменит своего решения. Если вы оторвете его от дела его жизни, это отзовется на вас. Я понимаю, что за мои слова вы меня возненавидите, но поверьте, в конечном счете это не только для его, но и для вашего блага.

В душе Одри вспыхнула яростная ирония, сердце неистово заколотилось. Для ее блага! Для блага мертвеца, только что испустившего последний вздох; для блага цветка, попавшего под каблук; для блага собаки, которую покидает хозяин. Свинцовая тяжесть медленно надвинулась на ее сердце и остановила его трепет. Если она не откажется от него сразу! Вот они прозвучали, слова, которые уже много часов, невысказанные, давили ей грудь. Да, если она этого не сделает, не знать ей ни минуты покоя, всегда она будет мучиться тем, что загубила его жизнь, осквернила

свою любовь и гордость! И она дождалась, что ей это подсказали! Не она сама, а кто-то другой — жестокая старуха из жестокого мира облекла в слова то, что терзало ее любовь и гордость уже целую вечность — с тех самых пор, как Милтоун сказал ей о своем решении: кто-то должен был сказать ей то, что в сердце своем она знала уже так давно! Эта мысль была как удар ножа. Нет, это невыносимо!

Она поднялась и сказала:

— Теперь оставьте меня, прошу вас! У меня слишком много дел перед отъездом.

Не без удовольствия она увидела замешательство на лице старухи, не без удовольствия заметила, как дрожат руки, которыми она, вставая, опирается на ручки кресла, и услышала запинающийся голос:

— Вы уезжаете? Не… не дождавшись его? Вы… вы больше с ним не увидитесь?

Не без удовольствия она видела, что старуха в нерешимости: не знает, то ли благодарить, то ли благословить, то ли скрыться без единого слова. Не без удовольствия она следила, как залились краской поблекшие щеки, как сжались увядшие губы. Но, уловив шепот: «Благодарю вас, дорогая!» — она отвернулась, не в силах больше

ни видеть эту гостью, ни слышать ее голос. Она подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу, стараясь ни о чем не думать. Послышался шум колес — леди Кастерли уехала. И тогда Одри узнала самое ужасное из всех чувств, какие дано испытать человеку: у нее не было слез!

В этот самый горький и одинокий час своей жизни она была до странности спокойна, ясно понимала, что и как делать и куда ехать. Надо все делать быстро, иначе это уже никогда не будет сделано! Быстро! И без суеты! Она уложила самое необходимое, послала горничную за такси и села писать письмо.

Не надо ни делать, ни писать ничего такого, что слишком бы его взволновало и могло вернуть болезнь. Пусть письмо будет рассудительное, трезвое! Очень просто было бы сообщить, куда она едет, написать так, что он тотчас помчится за ней. Но писать спокойные, рассудительные слова, которые заставят его ждать и думать и никогда не приведут его к ней, было нестерпимо больно.

Она кончила письмо, запечатала его и сидела, не шевелясь, чувствуя, что и руки, и мозг оцепенели, пытаясь сообразить, что же делать дальше. Ехать — других дел нет!

Чемоданы были уже вынесены. Она выбрала

шляпку, в которой особенно ему нравилась, и прикрепила к ней самую густую свою вуаль. Потом надела дорожное пальто и перчатки и взглянула в зеркало; больше задерживаться было не из-за чего, она взяла свой несессер и вышла.

На набережной плакал ребенок; он отчаянно рыдал, прерывисто всхлипывая, и Одри закусила губы, точно услышав стенания своей отлетевшей души.

— Подите утешьте его, Элла, — сказала она горничной, уже сидя в такси.

Только оставшись одна в вагоне, уверенная, что ее никто не видит, дала она волю слезам. Белый дым, клубившийся за окном, был не долговечней ее счастья, ибо она не обольщалась — это конец! С первой их встречи до последней и года не прошло! Но даже в эту минуту она не жалела, что у нее была эта любовь, уже схороненная теперь, точно мертвое дитя, которое вечно будет касаться ее груди своими тоскующими пальчиками.

Глава XXVII

Вернувшись из покинутого дома Куртье, Барбара была встречена сообщением, что леди Кастерли просит ее немедленно приехать.

Она послушно отправилась в Рэйвеншем и застала бабушку и лорда Денниса в белой комнате. Оба стояли у одного из высоких окон и, казалось, любовались видом. При звуке ее шагов они обернулись, но не заговорили и не кивнули. Барбара не видела деда с тех пор, как заболел Милтоун, и такой прием показался ей странным; она тоже молча стала у окна. Огромная оса взбиралась по стеклу, потом, слабо жужжа, соскальзывала вниз.

— Убей ее! — неожиданно потребовала леди Кастерли.

Лорд Деннис вытащил носовой платок.

— Не этим, Деннис. Так выйдет одна пачкотня. Возьми разрезальный нож.

— Я хотел ее выгнать, — пробормотал лорд Деннис.

— Лучше пусть Барбара: она в перчатках.

Барбара подошла.

— По-моему, это шершень, — сказала она.

— Он самый, — мечтательно произнес лорд Деннис.

— Чепуха, — возразила леди Кастерли. — Обыкновенная оса.

— Это шершень, бабушка, я знаю. У него полоски темнее.

Леди Кастерли нагнулась, а когда выпрямилась, в руках у нее была домашняя туфля.

— Не дразните его! — воскликнула Барбара, схватив ее за руку. Но леди Кастерли высвободилась.

— Не мешай! — сказала она и прихлопнула насекомое подошвой так, что оно мертвое упало на пол. — Не залетал бы куда не надо.

И, словно не они здесь только что суетились, все трое снова молча уставились в окно.

Наконец леди Кастерли обернулась к Барбаре:

— Ну, теперь ты понимаешь, что натворила?

— Энн! — вполголоса сказал лорд Деннис.

— Да, да. Она твоя любимица, но это ей не поможет. Эта женщина… должна сказать к ее чести… я говорю, к ее чести… уехала, чтобы Юстас не мог найти ее, пока он не образумится.

У Барбары перехватило дыхание.

— Бедняжка! — вырвалось у нее.

Лицо леди Кастерли стало почти жестоким.

— Вот именно, — сказала она. — Но, как ни странно, я думаю о Юстасе. — Маленькая, сухонькая, она вся дрожала с ног до головы. — Будешь теперь знать, как играть с огнем.

— Энн! — опять негромко окликнул сестру лорд Деннис и ласково взял Барбару под руку.

— Наш мир — это мир фактов, а не романтических прихотей, — продолжала леди Кастерли. — Ты такое натворила, что вряд ли можно поправить. Я сама была у нее. Я глубоко тронута. Если бы не твое глупое поведение…

— Энн! — снова повторил лорд Деннис.

Леди Кастерли умолкла; слышно было лишь, как она притопывает по полу своей маленькой ножкой. Глаза Барбары блеснули.

— Вы бы хотели еще кого-нибудь раздавить, бабушка?

— Бэбс! — взмолился лорд Деннис. Но Барбара, сама того не замечая, прижала его руку к сердцу и продолжала:

— Ваше счастье, что вы ругаете меня сегодня. Случись это вчера…

При этих загадочных словах леди Кастерли отвернулась и пошла в другой конец комнаты, оставляя на блестящем паркете маленькие тусклые следы.

Барбара притянула к горячей щеке стариковские пальцы, которые перед тем судорожно сжимала в своих.

— Пусть она замолчит, дядя! — прошептала она. — Сейчас я не могу слушать!

— Да, да, родная, — забормотал лорд Деннис. —

Да, конечно… на сегодня довольно.

— Это все ты, — донесся через всю комнату голос леди Кастерли. — Твои сентиментальные глупости навлекли на мальчика несчастье.

Рука лорда Денниса вновь сжала локоть Барбары, и она послушно промолчала; и в тишине послышались легкие приближающиеся шаги. Ни старик, ни Барбара не обернулись; шаги снова стали удаляться; потом опять приблизились.

— Бабушка, ради бога, остановитесь! — вдруг воскликнула Барбара, показывая на пол. — Вы и так уже растоптали несчастного шершня, довольно с него, даже если и вправду он залетел куда не надо!

Леди Кастерли посмотрела на то, что осталось от насекомого.

— Отвратительно! — сказала она; но когда заговорила снова, в голосе ее слышалась уже не столько суровость, сколько досада. — А этот… как его там… ты от него отделалась?

Барбара вспыхнула до корней волос:

— Если вы будете оскорблять моих друзей, я сейчас же уеду домой и никогда больше не стану с вами разговаривать.

Казалось, леди Кастерли вот-вот ударит внучку; потом на ее губах появилась слабая язвительная

усмешка.

— Похвальное чувство! — сказала она.

— Все равно я ухожу! — крикнула Барбара, выпуская руку дяди. — Не понимаю, зачем вы меня звали!

— Затем, чтобы ты и твоя мать знали, как самоотверженно поступила эта женщина, — холодно ответила леди Кастерли. — Затем, чтобы вы были начеку: неизвестно, чего сейчас ждать от Юстаса; и я хотела дать тебе случай загладить свою вину. И, кроме того, предостеречь тебя… — Она не договорила.

— Да?

— Лучше я… — вмешался лорд Деннис.

— Нет, дядя Деннис, пусть бабушка возьмется за свою туфлю!

Она прислонилась к стене, высокая и даже внушительная, гордо вскинув голову. Леди Кастерли молчала.

— Ну, вы приготовились? — крикнула Барбара. — К несчастью, он ускользнул!

— Лорд Милтоун, — раздалось в дверях.

Он вошел неслышно и быстро, опередив лакея, и прежде, чем его заметили, оказался почти вплотную к группе у окна. Лицо у него было серое — такими бывают смуглые лица, когда в минуту

волнения от них вдруг отхлынет вся кровь, а глаза, по которым всегда легче всего было прочесть его чувства, горели таким гневом, что все трое невольно потупились.

— Я должен поговорить с вами наедине, — обратился он к леди Кастерли.

И, быть может, впервые в жизни эта неукротимая маленькая женщина дрогнула. Лорд Деннис увлек за собою Барбару, но в дверях прошептал:

— Останься, Бэбс, и молчи. Мне все это очень не нравится.

И никем не замеченная Барбара осталась.

Из дальнего конца длинной белой комнаты до нее с неправдоподобной ясностью доносились два негромких голоса; волнение придавало каждому слову сверхъестественную силу и отчетливость; и ее тревожному взгляду чудилась в каждом движении обоих непостижимая точность, словно у марионеток, которых она видела однажды в парижском кукольном театре. Ей слышны были беспощадно злые и горькие слова упрека, обращенные Милтоуном к бабке. Незаметно она подходила все ближе и, увидев, что ее не замечают, точно она не живой человек, а статуя, снова заняла свое место у окна.

Говорила леди Кастерли.

— Я не желала видеть тебя поверженным, Юстас. То, что я сделала, мне далось нелегко. Но я сделала для тебя все, что могла.

Ужасная улыбка исказила лицо Милтоуна — такой ненавидящей улыбкой жертва бросает вызов палачу.

— Я вижу, ты вне себя, — продолжала леди Кастерли. — Можешь меня возненавидеть… но не предавай нас, не падай духом оттого, что не можешь достать луну с неба. Облачись в доспехи и иди в бой. Не будь трусом, мальчик!

Ответ Милтоуна был как удар хлыста.

— Замолчите!

И — о чудо! — она замолчала. Не грубость этих слов, но вид силы, внезапно сбросившей все покровы, — точно свирепый пес, которого на миг спустили с цепи, — заставил Барбару испуганно ахнуть. Леди Кастерли, вся дрожа, упала в кресло. Даже не взглянув на нее, Милтоун метнулся мимо кресла. И Барбара поняла, что, упади их бабка мертвой, он и тогда не взглянул бы. Она кинулась к старухе, но та отмахнулась.

— Ступай за ним, — сказала она. — Не оставляй его одного.

И, заразившись страхом, который звучал в этом безжизненном голосе, Барбара выбежала

из комнаты.

Она догнала брата, когда он садился в такси, в котором приехал, и, не говоря ни слова, скользнула за ним. Шофер обернулся, ожидая приказаний, но Милтоун лишь мотнул головой, как бы говоря: куда угодно, лишь бы вон отсюда!

«Только бы удержать его здесь, со мной!» — пронеслось в голове у Барбары.

Она нагнулась к шоферу и тихонько сказала:

— В Нетлфолд, Суссекс… о бензине не заботьтесь… достанете по дороге. Я заплачу сколько хотите. Скорей!

Шофер подумал, поглядел ей в лицо и сказал:

— Хорошо, мисс. Через Доркинг поедем?

Барбара кивнула.

Глава XXVIII

Когда Милтоун и Барбара выехали за чугунные ворота в своей стремительной, припахивающей бензином колеснице, часы над конюшней отбивали семь. Автомобиль был закрытый, но брызги дождя залетали через опущенные стекла, освежая пылающее лицо Барбары, слегка утишая ее страх перед этой поездкой, ибо теперь, когда судьба оказалась по-настоящему жестокой, когда

избавление от мук уже не зависело от Милтоуна, сердце ее обливалось кровью, и она, чего давно уже не бывало, совсем забыла о себе. Безучастность, с какой он отнесся к ее появлению, ничего доброго не предвещала. Барбара молча сидела в своем углу, но мысль ее напряженно работала, с отчаянным, чисто женским упорством отыскивая способ пробиться в эту наглухо замкнувшуюся душу. Он, видно, даже не заметил, что они повернули прочь от Лондона и въехали в Ричмонд-парк.

Деревья, темные от дождя, казалось, мрачно наблюдали за шумным красным ящиком на колесах, все еще не желая мириться с вторжением этих грубых пришельцев в их овеваемую свежим ветром обитель. И лани, резвившиеся на душистых лужайках, вскинув головы, тревожно принюхивались, словно говорили: вот кто оскверняет папоротник! Вот кто оставляет в воздухе отравленный след!

Барбара смутно ощущала покой, которым были напоены облака, и деревья, и ветер. Если б только он проник и в эту полутемную движущуюся тюрьму и помог ей! Если бы он обернулся сном и унес черную скорбь и мгновенно превратил горе в радость! Но он парил на задумчивых крылах, не

заглядывая в их темницу; и не было моста через пропасть, разделявшую две души, ибо что могла она сказать? Как заставить его заговорить о том, что он намерен делать? Какой выбор стоит сейчас перед ним? Выйдет ли он в угрюмой решимости из парламента и будет ждать часа, когда вновь найдет Одри Ноуэл? Но если он и разыщет ее, они опять окажутся в том же тупике. Ведь она уехала, чтобы не связывать его, — и опять будет все то же самое! Или он, как требовала бабушка, облачится в доспехи и ринется в бой? Но тогда это конец, ибо, если у Одри хватило сил уехать сейчас, она, конечно же, не вернется, не вторгнется второй раз в его жизнь. Страшная мысль поразила Барбару. Что, если он решил на всем поставить крест! Уйти в небытие! Ведь так случалось иногда с людьми, над которыми судьба посмеялась в самый разгар страсти. Но нет, Милтоун этого не сделает: его удержит вера. «Если пение жаворонка ничего не значит… и эта лазурь над головой — пустая прихоть нашего воображения… если мы пресмыкаемся тут впустую и жизнь наша бессмысленна и бесцельна, убеди меня в этом, Бэбс, и я стану тебя благословлять». Но удержит ли его и сейчас этот якорь, не унесет ли его в неизвестность? Барбара, для которой жизнь всегда была радо-

стью, а великое безмолвие чем-то неведомым, при этой внезапной мысли о смерти похолодела от ужаса. Она уставилась на спину шофера, на его серую куртку с красным воротником, и эта широкая спина ее немного успокоила. Ведь она в такси, они едут через Ричмонд-парк! Смерть… Нелепо, невероятно! Не глупо ли так пугаться? Она заставила себя посмотреть на Милтоуна. Он словно уснул: глаза закрыты, руки сложены; только дрожь ресниц выдавала его. Как угадать, что скрывается за этой угрюмой маской сна наяву? Он так ушел в себя, что Барбаре казалось, будто ее здесь вовсе нет.

Он открыл глаза и неожиданно проговорил:

— Итак, Бэбс, ты думаешь, что я собираюсь наложить на себя руки?

Он прочел ее мысли! Безмерно испуганная, она только и могла забиться еще дальше в угол и прошептала запинаясь:

— Нет, нет!

— Куда мы едем?

— В Нетлфолд. Может быть, остановить его?

— Мне все равно, пусть едет.

Боясь, что он снова погрузится в мрачное молчание, она робко завладела его рукой.

Быстро смеркалось; оставив позади виллы

Сербитона, автомобиль мчался среди сосен и зарослей вереска, хмурых в угасающем свете дня.

— Если я захочу, довольно открыть дверцу и выпрыгнуть, — странным тихим голосом сказал Милтоун. — Вы, которые верите, что нам «завтра конец», убедите меня, что этот прыжок освободит меня от всего, и я не стану медлить!

Барбара испуганно сжала его руку, и он, словно пожалев ее, прибавил:

— Не бойся, Бэбс, сегодня мы спокойно выспимся в наших постелях.

Но в голосе его слышалось такое отчаяние, что уж лучше бы он ничего не говорил.

— Будем по крайней мере молчать, когда с нас заживо сдирают кожу, — пробормотал он еще. — Прости, что растревожил тебя.

— Если б только… — прошептала, прижавшись к нему, Барбара. — Не молчи!

Но Милтоун не ответил, лишь молча погладил ее по руке.

Автомобиль, уныло урча, с непривычной скоростью мчался по пустынным дорогам; и Барбаре страстно хотелось прижать голову брата к своей груди и убаюкать его, но она не смела. В сердце была пустота и робость; вот если бы у нее на груди покоилось что-то живое, теплое, все бы-

ло бы по-другому. Все реальное, вещественное, успокаивающее, казалось, куда-то исчезло. Среди летящих навстречу темных призраков сосен, словно на безлюдной границе, она чувствовала себя потерянной, как ребенок в лесу; ощущение чьей-то щеки, прижавшейся к ее груди, одно могло бы утишить ее тревогу.

Автомобиль замедлил ход; шофер зажигал фары, потом в окошке появилось его обветренное лицо.

— Надо сделать остановку, мисс. Бензин кончился. Будете обедать или сразу поедем дальше?

— Дальше, — ответила Барбара.

Пока они проезжали незнакомым городком, покупали бензин, спрашивали дорогу, она чувствовала себя не такой несчастной и даже не без любопытства оглядывалась по сторонам. А когда снова двинулись в путь, подумала: «Хоть бы мне заставить его уснуть, а там море его успокоит!» Но Милтоун пристально смотрел в одну точку широко раскрытыми глазами. Тогда она сама притворилась спящей: чуть склонила голову набок и ровно, глубоко задышала. Шум колес, жалобное поскрипывание рессор, проносящиеся мимо темные деревья, запах влажного папоротника, приносимый ветром, — все это не может не

усыпить его! И правда, скоро он стал растворяться во тьме… а потом… потом она уже ничего не видела и не слышала.

Когда она очнулась от сна, в который, как ей казалось, погрузился и Милтоун, автомобиль медленно взбирался на крутой холм, а над холмом светила луна. Воздух пах крепко и пряно, точно впитал в себя аромат бесчисленных лугов.

«Где это мы? — подумала Барбара. — Должно быть, я спала!»

И вдруг с ужасом оглянулась: здесь ли Милтоун? Но он все так же сидел в своем углу, откинувшись на спинку, глядя перед собой широко раскрытыми глазами и не подавая признаков жизни. Еще не совсем проснувшись, точно большое, теплое, сонное дитя, внезапно разбуженное среди глубокой ночи, она схватилась за него обеими руками и прильнула к нему. Мучительно было думать, что она предательски уснула на своем посту, а он сидел там, в углу, и душа его была далеко-далеко. Но он не отозвался на ее движение, и, окончательно проснувшись, пристыженная, огорченная, Барбара отодвинулась и подставила лицо ветру.

А там, на воле, два плоских густо-черных облака сошлись, как два ястребиных крыла, и совсем закрыли луну, так что от нее осталось одно лишь

сияние меж двух быстрых взмахов тьмы, точно горящие глаза хищной птицы. Этот огромный пугающий призрак, зловеще простершийся над высокими, бледными в лунном свете холмами, словно ждал только удобной минуты, чтобы ринуться вниз, растерзать когтями и пожрать все, что вторгалось в дикие просторы этих вольных равнин. Барбаре казалось: вот-вот послышится протяжный ястребиный свист. И ей снова вспомнился тот чудесный сон. Где ее крылья — крылья, что в сновидении вознесли ее к звездам, крылья, которые наяву никогда не поднимут ее над землей? А где крылья Милтоуна? И опять она забилась в свой угол; из-под сомкнутых век выкатилась слезинка… за ней другая, третья. Они набегали все быстрей и быстрей. Потом рука Милтоуна обняла ее за плечи, и она услышала:

— Не плачь, Бэбс!

Чутье подсказало ей, что делать. Она прижалась головой к его груди и горько заплакала. И, пытаясь сдержать рыдания, с каждой минутой все больше успокаивалась: она знала, что теперь он уже никогда не будет чувствовать себя таким одиноким, как прежде, до той минуты, когда начал ее утешать. Все это дурной сон, и они скоро проснутся! И будут счастливы, как были счастли-

вы раньше… До этих последних месяцев. И она прошептала:

— Я сейчас, Юсти, сейчас.

Глава XXIX

В первых числах февраля умерла старая леди Харбинджер, и свадьбу Барбары с ее сыном отложили до июня.

В утро свадьбы вокруг Монкленда еще совсем по-весеннему буйно зеленел вереск.

Барбара встала пораньше, и, когда горничная пришла ее будить, была уже одета для верховой езды; заметив, что девушка удивленно смотрит на ее сапожки, она спросила:

— Ну что, Стейси?

— Вы устанете.

— Пустяки, я ненадолго.

Она не пожелала, чтобы ее сопровождал грум, и одна направилась к вересковой пустоши, где каталась год назад с Куртье. Там, среди высоких холмов, мили на полторы протянулась ровная, поросшая невысоким, еще не расцветшим вереском полоса земли, удобная для верховой езды. Барбара подымалась в гору, а душа ее словно мчалась впереди. Ей хотелось поскорей очутить-

ся среди чибисов и кроншнепов, увидеть, как убегает из-под ног коня пружинистая, торфянистая земля, подставить лицо свежему ветру, что гуляет там, под синими небесами. Ее любимец Хэл горячился, и так и играл каждой жилкой под лоснящейся шерстью, и посапывал, и фыркал от радостного нетерпения, и косил глазом, пытаясь угадать ее намерения, и звонко грыз удила, и, казалось, надеялся ее напугать, чтобы она тесней прильнула к нему, а ей было весело и ни до чего не было дела, хотелось только длить это чудесное слияние с прекрасной несущей ее силой.

Взобравшись на плато, она пустила Хэла галопом. Ветер яростно набросился на нее, дул в лицо и шею, все ее мышцы напряглись, кровь бурлила — что может быть лучше!

Она остановила коня там, откуда они с Куртье смотрели на табунок лошадей. Теперь это было просто воспоминание, смутное и нежное, словно память о каком-нибудь на редкость прекрасном вешнем дне, когда деревья, кажется, распускаются прямо на глазах и будто из озорства источают запах лимона. Лошади паслись на том же месте, и так же, как тогда, вдали поблескивало море. И она думала только об одном: как это чудесно — жить! Во всем такая полнота, и свежесть, и свобода, и

сила! На западе над одинокой фермой кружили два ястреба, высматривая добычу. Барбара не завидовала им: она была счастлива, счастлива, как это весеннее утро. И вдруг на нее нахлынула жаркая, неодолимая тоска по небесным высям.

«Я должна, — подумала она. — Я не могу иначе».

Спешившись, она легла на спину, и тотчас все исчезло, осталось только небо. Она лежала на теплом и мягком вереске, покрывшем жесткую землю, и над нею пролетал неслышный, неощутимый ветерок. Душа ее слилась воедино с этим непостижимым вольным покоем. И она уже не знала, довольна ли она, счастлива ли.

Хэл принялся жевать ее рукав, и Барбара очнулась. Она вскочила в седло и пустилась в обратный путь. Неподалеку от дома она взяла напрямик через луг, по которому бежали два узеньких светлых ручейка; лужок между ними зарос сонным розовато-лиловым болотным ятрышником и желтым касатиком. Из конца в конец по этому длинному лугу, такому пестрому, где всего было вдоволь — и деревьев, и камней, и цветов, и воды, — медленно отступала весна.

Несколько любопытных и боязливых лошадок подкрались поближе к Барбаре и ее скакуну и

остановились, вытянув шеи, недоверчиво принюхиваясь и со свистом помахивая тощими хвостами. И вдруг высоко-высоко вдогонку своему крику устремились к вересковой пустоши в поисках боярышника две кукушки. Они летели, точно две стрелы, и, провожая их взглядом, Барбара увидела, что из-за буковой рощи кто-то идет ей навстречу, и вдруг узнала миссис Ноуэл.

Вспыхнув, она продолжала свой путь. Что можно сказать? Заговорить о своей свадьбе и выдать присутствие Милтоуна? Что ни скажешь, от любого слова той будет больно… Она с досадой подавила свою нерешительность и сказала:

— Я так рада вас видеть. Я не знала, что вы еще здесь.

— Я только вчера вернулась в Англию и вот приехала сюда распорядиться, чтобы уложили мои вещи.

— А-а! — пробормотала Барбара. — Вы, наверно, знаете, какой у меня сегодня день?

Миссис Ноуэл улыбнулась, подняла на нее глаза и сказала:

— Да, я узнала еще вчера вечером. Желаю вам много радости!

Барбара почувствовала ком в горле.

— Я так рада, что повидала вас, — тихо повто-

рила она. — Мне, пожалуй, пора… Прощайте…

— Прощайте… — отозвалось негромкое эхо, и она поехала прочь.

Но радость ее погасла; даже Хэл — и тот, казалось, шел невесело, хоть и возвращался в конюшню, где обычно рад был бы очутиться уже через десять минут после того, как ее покинул.

Миссис Ноуэл ничуть не переменилась, только глаза словно еще потемнели. Если бы она хоть чем-то показала, что чувствует себя несчастной, Барбаре не было бы так горько и грустно.

Выйдя из конюшни, она увидела, что ветер гонит по небу белую светящуюся тучу. «Кажется, в конце концов все будет хорошо», — подумала она.

Она вошла в дом старинным, так называемым потайным ходом, который вел прямо в библиотеку, и, чтобы попасть к себе, ей надо было пересечь всю эту большую сумрачную комнату. Здесь перед камином в глубоком кресле сидел Милтоун, на коленях у него лежала раскрытая книга, но он не читал, он смотрел на портрет старого кардинала. Затаив дыхание, Барбара быстро на цыпочках прокралась по мягкому ковру: она страшилась прервать этот странный немой разговор и чувствовала себя виноватой от того, что узнала на

прогулке и чем не собиралась с ним делиться. Однажды она уже обожглась пламенем, горевшим между ними; больше она этого не сделает!

Через окно в дальнем конце библиотеки она увидела, что туча разразилась проливным дождем. Никем не замеченная, она пробралась к себе. Там, на вересковой пустоши, ей было хорошо и радостно, и все же эта последняя в ее девичьей жизни прогулка оказалась не вполне удачной; на нее вновь нахлынули былые чувства, былые сомнения; а ведь она думала, что с ними покончено навсегда. Эти двое! Закрыть на все глаза и быть счастливой, возможно ли это? Большая радуга внезапно возникла совсем рядом, над садом, — никогда еще Барбара не видела ее так близко, — второй конец вонзился в соседнее поле. Сквозь уносимый ветром дождь уже пробилось и засияло солнце. Меж белых, черных, золотых туч засверкали, точно драгоценные камни, голубые просветы. Странно белый свет — призрак уходящей буйной и щедрой весны — тронул каждый лист каждого дерева; пустошь и луга заиграли сотнями ярких красок, точно на них опустилась стая райских птиц.

От этой неистовой красоты у Барбары перехватило дыхание. Сердце бешено заколотилось. Она

прижала руки к груди, словно пытаясь удержать прекрасное мгновение. Далеко-далеко закуковала кукушка, и ветер подхватил этот извечный зов. Казалось, в этом зове проносится мимо вся красота, свет и радость, все упоение жизни. Если б только можно было поймать его и навсегда сохранить в сердце, как вон те лютики захватили в плен солнце и как в каждой дождевой капле на лепестках роз под окнами заточен переменчивый свет дня! Если бы в мире не было ни цепей, ни стен и ничто не решалось навечно!

Часы пробили десять. Завтра в этот час! Ее обдало жаром; она посмотрела в зеркало — щеки пылают, губы кривит презрительная усмешка и глаза какие-то чужие. Она долго стояла так и смотрела на себя, и мало-помалу все следы волнения исчезли и лицо вновь стало невозмутимым, исполненным решимости. Сердце уже не колотилось как бешеное, щеки побледнели. Она смотрела на себя как бы со стороны, и ей приятно было видеть свою спокойную, лучезарную красоту, которая вновь обрела сброшенные на миг доспехи.

* * *

Вечером, после обеда, когда мужчины вышли из столовой, Милтоун ускользнул к себе. Из всех присутствовавших в маленькой церкви он казался самым безучастным, но был взволнован больше всех. И хотя свадьба была очень тихая и скромная, он досадовал на дешевую пышность, сопровождавшую уход его младшей сестренки. Он предпочел бы, чтобы ее венчали в темной домовой часовенке, где уже давно не служили; и пусть бы там были только жених с невестой да священник. Здесь же, в этой полуязыческой деревенской церквушке, наскоро заставленной цветами, с полуязыческим крикливым хором, полной любопытных и почтительных сельских жителей, его все коробило, а от всего, что последовало за этим, стало совсем тошно. Сменив фрак на старую домашнюю куртку, он вышел на луг. Быть может, эта бескрайняя тьма ночи утишит его раздражение.

С того дня, как его избрали в парламент, он еще ни разу не был в Монкленде; после исчезновения миссис Ноуэл он ни разу не выезжал из Лондона. Он весь погрузился в Лондон и в работу; Лондоном и работой он тогда спасся! Он вступил в бой.

Роса еще не выпала, и он пошел напрямик через луга. Не было ни луны, ни звезд, ни ветра; коровы бесшумно лежали под деревьями; не слышно было уханья совы, криков козодоя, даже легкомысленные майские жуки не летали. В этой ночной тиши жил один лишь ручей. Милтоун шел узенькой, едва различимой тропкой среди слабо светящихся маргариток и лютиков, и странное чувство возникло у него, будто вокруг царит не сон, а нескончаемое ожидание. Звук его шагов казался святотатством. Такой благоговейной была эта тишина, курившаяся терпким фимиамом миллионов листьев и былинок.

Последний перелаз остался позади, и вот он уже подле ее покинутого домика, под ее липой, которая в ночь, когда Куртье повредил ногу, окружала луну иссиня-черным узором своих ветвей. С этой стороны сад отделяли от луга лишь невысокая ограда да редкие кусты.

Домик стоял совсем темный, но высокие белые цветы, точно светящийся пар, поднимающийся с земли, реяли над клумбами. Милтоун прислонился к старой липе и отдался воспоминаниям.

Среди осенявших его молчаливых ветвей пискнула сонная пичуга; в траве у его ног прошуршал еж или еще какой-то ночной зверек; в поисках

пламени свечи пролетел мотылек. И что-то в сердце Милтоуна рванулось за ним, в тоске по теплу и свету, по угасшему пламени своей любви. Потом в тишине раздался звук, словно в высокой траве прошелестела ветка; все тише, слабее; и опять явственнее, и снова слабее; но что порождало этот бесприютный шелест, он разглядеть не мог. Ему стало чудиться, что совсем близко ходит кто-то незримый, и даже волосы зашевелились у него на голове. Если бы взошла луна или звезды, чтобы он мог увидеть! Если бы положить предел ожиданию, которым полна эта ночь, если бы засветилась хотя бы одна-единственная искорка в ее саду и одна-единственная искорка в его груди! Но тьма не расступалась, и бесприютному шелесту не было конца. А что, если звук этот исходит из его собственного сердца, которое блуждает по саду в поисках утраченного тепла? Он закрыл глаза и тотчас понял, что то звучит не его сердце, но и в самом деле бродит кто-то безутешный. И, протянув руки, он пошел вперед, чтобы остановить этот шелест! Но когда он достиг ограды, звук прекратился. Вспыхнул огонек, по траве пролегла бледная дорожка света.

И, поняв, что она здесь, в доме, он едва не задохнулся. Он и не заметил, как вцепился в ограду

с такой силой, что ломались ногти. Им овладело совсем иное чувство, чем в памятный вечер, когда алые гвоздики на ее подоконнике овеяли его своим ароматом; это был не просто порыв неодолимой страсти. Та жажда любви, что поднималась в нем сейчас, была глубже, грознее, словно он знал, что, если ныне он не утолит ее, никогда уж ей больше не ожить и любовь его падет бездыханная на эту темную траву, под этими темными ветвями. А если она восторжествует — что тогда? Он неслышно отступил под дерево.

Маленькие белые мотыльки летели по световой дорожке; белые цветы были теперь ясно видны — бледные часовые, охраняющие своих темных спящих собратьев; и он стоял, не рассуждая, почти уже ничего не чувствуя, ошеломленный, подавленный. Лицо и руки его стали липкими от медвяной росы — медленно, незаметно ее источала липа. Он наклонился и тронул рукой траву. И вдруг с несомненностью понял, что Одри совсем близко. Да, она здесь, на веранде! Он увидел ее всю с головы до ног; и, не понимая, что она его не видит, ждал: вот сейчас она вскрикнет! Но она не вскрикнула, не протянула к нему руки — она повернулась и вошла в дом. Милтоун рванулся к ограде. И опять остановился — без

мыслей, без чувств, словно потеряв себя. И вдруг заметил, что прижимает руку к губам, словно пытаясь удержать хлынувшую из сердца кровь.

Все еще прижимая руку к губам, стараясь бесшумно ступать по высокой траве, он крадучись пошел прочь.

Глава XXX

В просторной теплице Рэйвеншема у японских лилий стояла леди Кастерли с письмом в руке. Она была очень бледна, ибо сегодня впервые поднялась после инфлюэнцы; и в руке ее, державшей письмо, уже не было прежней твердости. Она прочла:

«Монкленд.

Пока не ушла почта, спешу в двух словах сообщить Вам, дорогая, что Бэбс благополучно родила прелестную малютку. Она шлет Вам сердечный привет и просит передать какие-то непонятные слова, которым Вы якобы будете рады: что теперь она в полной безопасности и обеими ногами твердо стоит на земле».

По бледным губам леди Кастерли пробежала невеселая усмешка. Ну еще бы, давно пора! Девочка была на самом краю пропасти! Чуть было

не совершила непоправимую романтическую глупость! С этим покончено. И, опять поднеся к глазам письмо, она стала читать дальше:

«По этому случаю мы все, разумеется, были у нее, а завтра возвращаемся домой. Джефри сам не свой. Нам очень не хватает Бэбс. Я все время приглядываюсь к Юстасу и думаю, что он наконец оправился от своего опасного увлечения. В палате он делает сейчас большие успехи. Джефри говорит, что его речь по поводу закона о бедных была несравнимо лучше всех других».

Леди Кастерли уронила руку с письмом. Оправился? Да, опасность миновала. Он поступил правильно… как и следовало! И когда-нибудь будет счастлив! Он вознесется на вершины власти, о чем она мечтала для него, когда он был еще крошкой, мечтала с тех самых пор, когда они бродили среди цветов или среди старинной мебели в высоких комнатах и его тоненькая смуглая ручонка цеплялась за ее руку.

Так думала она, стоя среди стройных лилий, наполнявших своим ароматом просторную теплицу, бледно-серая, точно маленький непреклонный призрак, и, однако, рука ее комкала письмо и по лицу скользили тени. Отбрасывали их резвые лучи полуденного солнца? Или ей

забрезжил смысл древнегреческого изречения: «Нрав человека — его рок» — и открылась всеобъемлющая истина, что от себя не уйдешь и каждый в конечном счете становится рабом того, к чему больше всего стремится.

1911